ПАМЯТНИКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

ВОЛЬТЕР

ВОЛЬТЕР

Философские сочинения

Издательство «Наука»

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Институт философии

Издательство «Наука»
Москва 1988

ПАМЯТНИКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Редакционная коллегия серии
«Памятники философской мысли»:

Б. М. КЕДРОВ (председатель), В. М. БОГУСЛАВСКИЙ,
А. В. ГУЛЫГА, В. Ё. ЕВГРАФОВ, И. С. НАРСКИЙ,
Т. И. ОЙЗЕРМАН, В. В. СОКОЛОВ (зам. председателя),
Р. М. ГАБИТОВА (уч. секретарь)

ВОЛЬТЕР

Философские сочинения

Ответственный редактор,
составитель и автор вступительной статьи
доктор философских наук
В. Н. КУЗНЕЦОВ

Перевод с французского
С. Я. ШЕЙНМАН-ТОПШТЕЙН

Издательство «Наука»
Москва 1988

В книге впервые публикуются на русском языке важнейшие философские сочинения (трактаты, диалоги, письма) и новые переводы нескольких статей из «Философского словаря» крупнейшего представителя французского Просвещения XVIII в. Вольтера. Эти работы дают достаточно полное представление о комплексе его философских воззрений.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей философской мысли.

Рецензенты
И. А. ГОБОЗОВ, Б. В. МЕЕРОВСКИЙ,
Х. Н. МОМДЖЯН

В $\frac{0302010000-204}{042(02)-88}$ 2—1988—I

ISBN 5—02—008001—2

© Издательство «Наука», 1988 г.

ФИЛОСОФСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВОЛЬТЕРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Франсуа Мари Вольтер (1694—1778) принадлежит к крупнейшим деятелям французской и мировой культуры. Историческая роль Вольтера определяется прежде всего тем, что он явился зачинателем, «патриархом» и на протяжении более шестидесяти лет своей творческой деятельности оставался самым активным и влиятельным представителем французского Просвещения. Это эпохальное культурно-идеологическое течение общественной мысли (стимулировавшее аналогичные процессы в ряде других стран и приобретшее всемирно-историческое значение), успешно развив лучшие традиции Возрождения и передовых мыслителей XVII в., вдребезги разбило унаследованную от средневековья систему теологического миросозерцания, социальная функция которого состояла в освящении отношений эксплуатации и угнетения, свойственных феодально-монархическому строю. В условиях углублявшегося социально-политического кризиса французского абсолютизма просветителями велась, как отмечал В. И. Ленин, «решительная битва против всяческого средневекового хлама, против крепостничества в учреждениях и в идеях...»[1]. Плеяда выдающихся мыслителей, в которой наряду с Вольтером почетное место занимают Монтескье, Руссо, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах и многие другие, произвела, по сути дела, весьма эффективную идеологическую подготовку Великой французской революции, которая в 1789—1794 гг. до основания разрушила прогнивший «старый режим». Ф. Энгельс подчеркивал, что «великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 43.

подвергнуто самой беспощадной критике; все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него ... Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам... Отныне суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы, и неотъемлемым правам человека»[2].

После разрушения феодально-абсолютистского строя политическую власть во Франции захватила буржуазия как ведущая классовая сила «третьего сословия», совершившего революцию. Поэтому возвещавшееся просветителями «государство разума ... оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой ...»[3]. Отмечая историческую прогрессивность революционного перехода от феодальной общественно-экономической формации к капитализму, следует помнить разъяснение В. И. Ленина о том, что «в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, *все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия... в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе, и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»[4].

Выработанный просветителями идеал «царства разума» как справедливого общественного устройства, создающего возможности для счастья всех людей, не мог быть реализован в условиях буржуазного общества. Осознание этого факта вскоре после завершения Великой французской революции привело к формированию и последующему значительному развитию в первой поло-

[2] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 16—17.
[3] Там же. С. 17.
[4] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 2. С. 520.

вине XIX в. французского утопического социализма, который явился одним из теоретических источников марксизма. Ф. Энгельс указывал, что если «современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения, с одной стороны, господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, капиталистами и наемными рабочими, а с другой — царящей в производстве анархии», то «по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века»[5].

Термин «просветители» применительно к Вольтеру и другим деятелям передовой французской культуры XVIII в. утвердился уже после того, как большинство из них закончило свой жизненный путь, хотя призыв к «просвещению» людей зазвучал в самых ранних вольтеровских произведениях и впоследствии становился все более настойчивым, завоевывая расширяющийся круг приверженцев. В разгар же просветительского движения его представителей называли «философами». Это имя оставалось в силе и после того, как вскоре за началом издания «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» (1751—1780), возглавляемой Дидро и ставшей мощным рупором разрабатываемого просветителями мировоззрения, их стали называть также «энциклопедистами». Энциклопедистами становились именно «философы», и Вольтер с гордостью за то, служению чему он отдавал все свои силы, писал, что «философия сделала столько чести Франции в „Энциклопедии“» (С. 684) *. Вольтер сыграл инициативную роль в том, что философия стала орудием как критическо-деструктивной, так и конструктивно-творческой деятельности просветителей. Именуемый людьми, симпатизирующими Просвещению, «королем философов», а недругами этого движения саркастически называемый «оракулом новых философов», он уже в ранних своих произведениях стремился осмысливать жизнь и действовать в ней, руководствуясь философскими принципами. В послании к аббату Сервьену (1714), который за вольнодумство был заключен в тюрь-

[5] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 189.

* Здесь и далее в круглых скобках указаны страницы настоящего издания.

му, юный Вольтер советовал не предаваться меланхолии, а сохранять бодрость духа и веселость, поскольку-де «философ свободен и в цепях»[6]. Спустя несколько лет, сам оказавшись в главной королевской тюрьме Бастилии (1717—1718) за обличение социальных язв своей страны, Вольтер действовал в духе названного принципа: обманывая бдительность тюремщиков, он написал трагедию «Эдип», в которой развенчивал пиетет перед духовенством и монархической властью. Поставленная в 1718 г. на парижской сцене и принесшая Вольтеру славу достойного преемника великих французских драматургов XVII в., эта трагедия может, по сути дела, рассматриваться как первое значительное и вызвавшее общественный резонанс проявление просветительских идей с характерным для них акцентом на необходимости рационально-критического отношения личности к авторитарно навязываемым верованиям. Призывая не разделять отношение «суеверного народа» к священнослужителям, вся «мудрость» которых «создана нашей доверчивостью», героиня трагедии Иокаста провозглашает: «Будем доверять только себе, на все будем смотреть своими глазами — в них наши треножники, наши оракулы»[7]. В поэме — «За и против» (1722) Вольтер прямо говорит о необходимости использовать философию для того, чтобы освободить людей от пагубной власти суеверий и указать им верный путь к счастью в их жизни на Земле.

С самого начала творчество Вольтера было насыщено и сцементировано определенными философскими идеями. Они являлись теоретической основой неприятия Вольтером религиозных догматов, отрицания божественного откровения и провидения, убеждения в реальности внешнего мира, взгляда на человека как на природное в своей основе существо, у которого нет и не может быть иной жизни, кроме существования во плоти и крови, и которое в созданных самими людьми обществах имеет право быть счастливым, для чего необходимо перестраивать социальные отношения на началах разума и справедливости. То были онтологические, гносеологические, этические и социальные идеи, связанные как с

[6] См.: *Voltaire.* Oeuvres complètes./Ed. Moland. P., 1877—1882. T. 10. P. 218.
[7] Ibid. P. 93, 80.

античными, так и — в основном — с новоевропейскими, преимущественно французскими, течениями материалистической мысли.

Философичен огромный по объему (более 50 пьес) и пользовавшийся колоссальным успехом не только во Франции, но и во многих других европейских странах «театр Вольтера» — крупнейшего драматурга XVIII в. Философична обширная и разножанровая поэзия Вольтера, величайшего, по мнению современников, французского поэта своего столетия. Вся художественная проза Вольтера — это философские повести и романы. Философский подход характерен и для его работ по вопросам религии и церкви, экономики и политики, права и судопроизводства. О трудах Вольтера по истории, сыгравших важную роль в развитии этой отрасли знания и одновременно открывших для философской рефлексии неизвестную ранее проблемную область, А. С. Пушкин имел основание сказать: «Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные Архивы Истории»[8]. Вольтер является автором «Философского словаря», который в последнем Полном собрании его сочинений занимает 5 томов по 35—40 печатных листов каждый.

Первостепенное значение в философском наследии Вольтера имеют трактаты и диалоги, которые в целостном и вместе с тем структурированном виде выражают понимание им мировоззренческих вопросов. В предлагаемой вниманию читателей книге эти произведения наряду с отдельными статьями из его «Философского словаря» впервые публикуются на русском языке. Их издание позволяет существенно расширить возможности ознакомления в нашей стране с творчеством великого французского просветителя[9].

---

[8] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 95.

[9] Важнейшими публикациями вольтеровского наследия на русском языке являются: *Вольтер.* Избр. произв./Вступ. ст. акад. В. П. Волгина. М., 1947; *Вольтер.* Философ. повести/Послесл. Е. Книпович и Б. Песис. М., 1953; *Вольтер.* Избр. произв. по уголовному праву и процессу/Послесл. А. Герцензона. М., 1956; *Вольтер.* Филос. повести/Послесл. С. Артамонова. М., 1960; *Вольтер.* Бог и люди. М., 1961. Т. 1—2; *Вольтер.* Эстетика/Вступ. ст. В. Я. Бахмутского. М., 1974.

ФИЛОСОФСКИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Первую работу, понимание которой автором как существенно философской было зафиксировано в самом ее заглавии — «Философские письма», Вольтер создавал на пороге своего сорокалетия. К тому времени как Вольтер высоко поднял знамя философии над развертывавшимся просветительским движением и стал в общественном мнении философии par exellence, он подошел с большим и во многом нелегким жизненным опытом выдающегося деятеля французской культуры, оппозиционной по отношению к существовавшему в стране социально-политическому строю и его идеологии. Детские и юношеские годы Франсуа Мари Аруэ, который лишь после создания «Эдипа» стал именовать себя Вольтером, пришлись на последние десятилетия царствования Людовика XIV, когда французский абсолютизм достиг вершины своего могущества и вместе с тем вплотную приблизился к порогу длительного кризиса, завершившегося революционным взрывом 1789 г. Одним из предвестий этого кризиса было распространение на рубеже XVII—XVIII вв. антиклерикальных и антиабсолютистских идей в прослойке высокообразованных и культурно рафинированных аристократов, вынужденных находиться вдали от королевского двора. Духовный сын парижских вольнодумцев («либертенов»), в кружок которых он был введен принадлежавшим к их числу своим крестным отцом и наставником аббатом де Шатонеф как многообещающий поэтический талант, юный Франсуа Мари в общении с ними усваивал жизнерадостный эпикуреизм, элементы критической рациональности картезианства, монтеневский и бейлевский скепсис по отношению к теологическим догматам. Успехи на поприще драматургии и эпической поэзии (1718—1723) открыли Вольтеру широкий доступ в «высшее общество», где он, однако, вскоре очень остро ощутил свое социальное бесправие как выходец из третьего сословия. За колкий ответ, парирующий оскорбительное замечание в свой адрес некоего раздосадованного вольтеровской независимостью аристократа, Вольтер был избит лакеями последнего. Не найдя защиты ни у своих давних аристократических знакомцев, ни у королевского правосудия, он попытался вызвать обидчика на дуэль, за что

был арестован и после двухнедельного заключения в Бастилии выслан из Франции.

Три года изгнания (1726—1729) Вольтер провел в Англии, где был принят с величайшим почетом как крупнейший деятель французской культуры. С жадным вниманием знакомился он с различными сторонами жизни столь гостеприимной в отношении него страны, приходя к выводу, что у англичан имеются поучительные для других народов достижения в экономике, государственном управлении, религиозной жизни, естествознании и философии. Позже Вольтер напишет: «ничто не приносило большего блага англичанам», чем философия (с. 682). Над книгой, характеризующей существенные стороны английской действительности с точки зрения философа-просветителя, он начал работать сразу по возвращении на родину. Опубликовав ее сначала в Лондоне на английском языке как «Письма об англичанах» (1733), Вольтер во французском издании, содержащем очень важное дополнение в виде критических «Замечаний на „Мысли" Паскаля», изменил заглавие книги на «Философские письма» (1734).

«Философские письма» свидетельствовали о творческом включении в вольтеровское мировоззрение нового богатого комплекса философских идей, выработанных представителями английской материалистической мысли XVII — начала XVIII в. Синтез этих идей, сопряженный с переосмыслением их компонентов, стимулировал развитие философской мысли Вольтера как вширь, так и вглубь. Именно после «Философских писем» он начинает напряженно трудиться над разработкой целостного философского мировоззрения, первым выражением которого является «Метафизический трактат» (1734), а последним — опубликованные за год до кончины Вольтера «Диалоги Эвгемера» (1777).

Ряд положений работ, непосредственно примыкавших к «Философским письмам», был для французской (и в известной мере всей европейской) материалистической мысли значительным шагом вперед.

Вольтер постоянно освещал вопрос о существенном отличии провозглашаемой им философии от многих ее прежних форм, а своего понимания философии — от того, как на нее ранее смотрело большинство людей, включая самых выдающихся мыслителей. Некоторые вольте-

ровские новации характеризуются им самим, но научное понимание, как и значение для развития философской мысли XVIII в. всей совокупности его фактически имевших место мировоззренческих нововведений, дается лишь исследованием, проводимым с марксистско-ленинских позиций.

Предельно широкое определение Вольтером философии как любви к мудрости, как бы воспроизводящее античные дефиниции, по сути дела, выражало просветительское убеждение, что философскому осмыслению должны быть подвергнуты все без исключения предметы, привлекающие к себе внимание человека и существенно важные для человеческого рода. Так, в «Философских письмах» наряду с характеристикой учений английских материалистов освещаются физическая теория Ньютона, положение религии и вопросы здравоохранения в Англии, социально-политический строй и торговля этой страны, английская поэзия, драматургия и художественная литература, статус деятелей культуры в английском обществе и роль академий в стимулировании творческой деятельности, проблема датировки исторических событий и природа человека. Тем самым очерчивался весьма обширный, в принципе безграничный круг вопросов, достойных философского рассмотрения и настоятельно нуждающихся в нем. Намеченное здесь значительное расширение предмета философии шаг за шагом реализуется в трактатах и диалогах Вольтера, достигнув максимума в «Философском словаре». Последний создавался в качестве своего рода вольтеровского варианта «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», имея в виду которую Ф. Энгельс писал о французских просветителях: «...чтобы доказать всеобщую применимость своей теории, они избрали кратчайший путь: они смело применили ее ко всем объектам знания...»[10]. Глубоким основанием подобной экспансии философского разума была, во-первых, исторически назревшая необходимость глобальной детеологизации мировоззрения с целью очищения его от средневековых представлений.

Просветительская философия формировалась и развивалась как *антитеза теологии.* С удовлетворением

[10] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., Т. 22. С. 311.

констатируя, что дух строгой научности, «распространившейся столь явно в Европе, сильно обесценил всю теологию», Вольтер подчеркивал: «истинные философы не могли себе отказать в том, чтобы выразить самое глубокое презрение к химерическим диспутам (теологов. — *В. К.*), в которых никогда не определялись посылки и которые построены на словесах столь же непостижимых, как и их суть». Иронически перечисляя — на примере величайшего авторитета средневековой схоластики Фомы Аквинского — «знания» теолога, Вольтер писал, что с точки зрения здравомыслящего человека они дают право их носителю не на присвоение ученой степени, а на помещение его в сумасшедший дом. Искренне сожалел Вольтер о способных людях, растрачивающих свои интеллектуальные силы в бесплодных мудрствованиях. В то же время он призывал решительно противодействовать «цепным псам теологии», злейшим преследователям новейшего философского вольномыслия. В трудах Вольтера философия последовательно противопоставляется теологии как подлинный носитель истины, необходимой людям. Утверждения, что «Цезарь, Цицерон, Сенека, Плиний и Марк Аврелий сколько угодно могли быть философами, однако это непозволительно вельшам» («эзоповское» именование французов. — *В. К.*), Вольтер с возмущением отвергал, заявляя: «это более чем разрешено и почитается очень полезным у французов... (С. 714, 682).

Во-вторых, экспансия философского разума была обусловлена необходимостью его *«обмирщения»*, включения в сферу его рассмотрения вопросов социальной практики, прежде всего той, которая имела антифеодальный характер. В этом плане просветительская философия выступала как антипод тех философских концепций XVII в., которые получили название «метафизических» из-за свойственного им сосредоточения внимания преимущественно на характеристике лежащего за пределами человеческой практики «сверхчувственного», вечного и неизменного «основополагающего» бытия. Ссылаясь на мнение Вольтера, что равнодушие французов XVIII в. к спорам между различными направлениями католицизма «вызвано было не столько философией, сколько финансовыми спекуляциями Ло», К. Маркс писал: «И в самом деле, низвержение метафизики XVII

века может быть объяснено влиянием материалистической теории XVIII века лишь постольку, поскольку само это теоретическое движение находит себе объяснение в практическом характере тогдашней французской жизни. Жизнь эта была направлена на непосредственную действительность, на мирское наслаждение и мирские интересы, на *земной* мир. Ее антитеологической, антиметафизической, материалистической практике должны были соответствовать антитеологические, антиметафизические, материалистические теории»[11].

Хотя в некоторых немаловажных отношениях Вольтер не преодолел вышеназванную «метафизику», линия на обмирщение философии была выражена им с полной определенностью и проводилась неукоснительно. Ярче всего это проявляется в большом внимании Вольтера — даже в самых «метафизических» его философских произведениях — к острейшим социально-политическим проблемам своей эпохи. Резко критикуя присущие феодализму экономические отношения и политические структуры, юридические законы и судопроизводство, Вольтер вместе с тем намечал достаточно четкие альтернативы тому социальному строю, который он считал в высшей степени неразумным, несправедливым, бесчеловечным. Идеолог буржуазии, Вольтер выражал не только ее узкоклассовые интересы, но известным образом и интересы крестьянства, как самой многочисленной и вместе с тем наиболее угнетенной и эксплуатируемой части третьего сословия. Он негодующе писал в «Философских письмах», что в большинстве европейских стран крестьяне со времен средневековья влачат жалкое существование, являясь «крепостными сеньора, неким родом скотины, продаваемой и покупаемой вместе с землей». В Англии же, замечал Вольтер, где сельские труженики давно освобождены от крепостной зависимости, «ноги крестьянина не стирают деревянные башмаки, он ест белый хлеб, хорошо одевается, не боится увеличить поголовье своего стада или покрыть свою крышу черепицей под угрозой повышения налога в следующем году. Здесь много крестьян, владеющих состоянием, равным примерно двумстам тысячам франков, и при этом они вовсе не считают чем-то зазорным для себя продолжать

[11] Там же. Т. 2. С. 140—141.

обрабатывать землю, которая принесла им богатство и на которой они живут свободными людьми» (С. 96—98). Господствующим сословиям феодального общества, рассматриваемым как паразитирующие на труде угнетенного большинства, Вольтер противопоставлял народ, созидающий общественное богатство и выступающий как «самая добродетельная, а следовательно, и самая достойная часть человечества», в которой «нет ни капли тиранических устремлений...» (с. 95). Лишение аристократии ее феодальных привилегий было, по мнению Вольтера, одной из самых привлекательных сторон английской жизни. К достоинствам последней он относил, наконец, ограничение королевской власти конституцией и парламентом, рассматриваемым им как полномочный представительный орган всех слоев населения, в том числе народа.

В течение всей своей последующей жизни Вольтер вел неустанную борьбу против таких социальных зол, как «искусство вырывать хлеб и одежду из рук тех, кто засевает поля и производит шерсть, искусство собирать все сокровища целой нации в сундуках пяти или шести сотен людей, искусство торжественно убивать на людях с помощью полулистка бумаги тех, кто вам не угодил... пылающие костры, отточенные кинжалы и заранее воздвигнутые эшафоты в качестве высших аргументов ...», неизменно включая в этот мрачный список то, что обрекает людей на жестокие страдания, а также искусство «регулярно истреблять род человеческий при помощи войны...». Хотя Вольтер не переставал относить Англию к странам, которые «далеко обогнали нас в прогрессе разума», в поздних произведениях он уже не обходил молчанием ее социальные язвы, делая отсюда вывод, что в большей или меньшей мере «все народы больны нравственно» (С. 470), т. е. в общественном устройстве жизни людей.

Теоретической основой *социальной философии* Вольтера была такая модификация договорной теории, согласно которой в основе общества и государства лежало молчаливое соглашение, обязывающее верховную власть действовать на благо своих подданных и обеспечивать соблюдение их «естественных» прав, важнейшими из которых считались свобода, равенство перед законом и собственность на продукты своего труда. «Быть

свободным, знать только равных — вот истинная жизнь, естественная жизнь человека... Люди могли утратить естественное состояние только по трусости и по глупости» — провозглашается в одной из самых значительных работ Вольтера по социально-политическим проблемам — «Разговоры между А, В и С». Неоспоримый урок истории, утверждал Вольтер, заключается в том, что, «чем больше законы, созданные по договору между людьми, приближаются к естественному закону, тем более сносна жизнь»[12]. Размышляя в «Философских письмах» над тем, каким образом англичанам удалось приблизиться к «естественному состоянию», Вольтер обращал внимание на их многовековую борьбу за гражданскую свободу, начиная с Великой хартии вольностей и кончая революцией середины XVII в. Касаясь последней, Вольтер замечал, что «установить свободу в Англии стоило недешево. Идол деспотической власти был потоплен в морях крови; однако англичане вовсе не считали, что они слишком дорого заплатили за достойное законодательство. Другие нации пережили не меньше смут и пролили не меньшее количество крови; но кровь эта, которую они проливали за дело своей свободы, только крепче сцементировала их рабство» (С. 92). Тем самым Вольтер, несмотря на многочисленные оговорки, давал, по сути дела, социальное оправдание английской революции, что не могло не стимулировать последующую разработку во французском Просвещении идеи преобразования общества путем революционной борьбы, вооруженного восстания против королевской власти.

Правда, социальная философия самого Вольтера развивалась в ином направлении. Он разрабатывает и настойчиво пытается провести в жизнь концепцию «просвещенного правления», которое мыслится им как своего рода союз философов и государей, где первым предназначена законодательная власть в полном смысле этого слова, а вторым — исполнительная, причем в очень ограниченном плане: философы просвещают государей об истинных принципах общественного устройства, а государи реализуют эти принципы, воплощая их в новых политико-юридических законах и в повсе-

[12] *Вольтер.* Избр. произв. М., 1947. С. 499, 526, 476, 479.

дневной практике управления государством. Согласно Вольтеру, «народы были бы счастливы, имея государей-философов», и в то же время «государи были бы еще более счастливы, имея значительное число подданных-философов»[13]. Фактически речь шла о таком изменении социальной сущности королевской власти и ограничении ее объема, что она утрачивала свой феодальный характер и переставала быть абсолютной. «Счастье» государей при таком положении вещей Вольтер усматривал в том, что получающие из их рук свои «естественные права» народы станут поэтому абсолютно лояльными подданными, которых никто не сможет вовлечь в антимонархический заговор, мятеж или революцию. Направленная на мирное преобразование общества «сверху», концепция «просвещенного правления» в принципе отвергала революцию, но постоянно напоминала о ее возможности в случае отказа государей пойти на установление такого правления. Данная концепция, разделявшаяся подавляющим большинством просветителей, вносила немаловажную лепту в дело идеологической подготовки Великой французской революции, несмотря на свое сугубо «реформистское» облачение. Как показывает переписка Вольтера, он вовсе не исключал возможности грядущего революционного взрыва во Франции и временами рассматривал эту перспективу весьма сочувственно. «Все, что я вижу, — пророчески заявлял Вольтер в письме к пользовавшемуся его доверием Шовлену от 2 апреля 1761 г., — сеет семена революции, которая неизбежно настанет... Французы всегда запаздывают, но в конце концов они все же приходят к цели; свет понемногу настолько распространился, что взрыв произойдет при первом же случае, и тогда будет изрядная кутерьма. Молодые люди поистине счастливы: они увидят прекрасные вещи». В общественное сознание западали тираноборческие мотивы, сильно звучавшие в некоторых пьесах Вольтера. Во время французской революции процессия парижан распевала перед королевским дворцом зажигательную и грозную строфу из вольтеровского «Самсона» (1732): «Народ, проснись, порви свои оковы; тебя призывает свобода, ты рожден для нее; восстанови свое согласие! Народ, пробудись и порви свои оковы!»[14]

[13] *Voltaire.* Oeuvres complètes. T. 14. P. 538—539.
[14] Ibid. T. 38. P. 58.

Примечательно, что в последний год своей жизни Вольтер писал трагедию «Агафокл», прославляющую свержение тирана античных Сиракуз и установление в этом городе-государстве республиканского правления. Ее лейтмотив: «Свобода, свобода, ты всегда была священна!» [15]

Все перечисленные аспекты просветительской философии органично соединялись с ее *антиклерикальной направленностью,* с выражения которой, собственно, и начинаются «Философские письма». Характерному для Франции и других феодально-абсолютистских стран сращению церкви с государством, жестоко преследующим поэтому подданных за отступления от официального вероисповедания, Вольтер противопоставил пеструю (и несколько идеализированную) картину религиозной жизни Англии, где признание одной религии (англиканства) в качестве государственной не сопровождается гонением на другие религии и наделением священнослужителей юридическо-политическими полномочиями. В результате в Англии царит благодетельная веротерпимость, страну не потрясают религиозные распри и люди, по-разному почитающие христианского бога или других богов, мирно сотрудничают между собой в созидании необходимых им земных благ и приумножении национального богатства.

В принудительном навязывании людям того или иного вероисповедания Вольтер видел недопустимое ущемление их свободы, попрание одного из важнейших прав личности, сопровождающееся, как правило, проповедью непримиримой враждебности по отношению к инаковерующим. Все это Вольтер считал бесчеловечным и гибельным для общественного блага фанатизмом, который философы призваны разоблачать, а «просвещенные государи» — искоренять. Истоки фанатизма Вольтер усматривал в древневосточных религиях, особенно в иудаизме, с которым затем оказались генетически связаны две наиболее влиятельные с точки зрения всемирной истории религии — христианство и ислам. Всем этим религиям, отмечал Вольтер, присуще стремление утвердить свой диктат в обществе и подчинить себе государственную власть, приводя временами к ее превращению

[15] Ibid. T. 7. P. 409.

в гибельную для народов теократию. В фокусе вольтеровской борьбы против религиозного фанатизма находилась римско-католическая церковь, которую Энгельс назвал «крупным интернациональным центром феодальной системы» западноевропейского средневековья, освящавшей эту систему «ореолом божественной благодати» [16]. Изрядно потесненная в ходе Реформации различными формами протестантизма, эта церковь во многих европейских странах, включая Францию, сумела в основном сохранить свои позиции в экономике, политике и идеологии. Обличение Вольтером религиозного фанатизма органично сочетало в себе гуманистическую ориентацию с социально-политической критикой. Выявление бесчеловечной жестокости таких евангельских максим, как «принуди их внити», «не мир пришел я принести, но меч», «а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь», дополнялось Вольтером указанием на то, что «христианская религия всюду включена в систему государства и что, начиная от папы и кончая последним капуцином, каждый воздвигает на ней свой трон или свою кухню» [17]. Значительная часть вольтеровской критики социального гнета развертывалась в форме выявления вредоносности тех принципов отношений между государем и подданными, которые освящались христианством и другими религиями. Именно этот смысл имеет утверждение Вольтера, что «когда суеверие властвует над государем, то мешает ему делать добро для своего народа...» [18], поскольку уверовавший в свое «божественное право» «король рассматривает почти весь человеческий род как существа, созданные для подчинения ему и ему подобным (С. 227). Вольтер ошибочно принимал религиозные обоснования деспотического правления за первопричину последнего, но необходимость антиклерикальной заостренности борьбы просветителей с ненавистным им строем определялась при этом практически верно.

Изучение истории, согласно Вольтеру, со всей очевидностью показывает, какое страшное зло причинили народам религиозный фанатизм и клерикальный гнет.

---

[16] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 306.
[17] *Вольтер.* Избр. произв. С. 501—502, 524.
[18] *Voltaire.* Oeuvres complètes. T. 23. P. 70.

На основании, например, фактов преследования христианской церковью «язычников», борьбы с еретическими движениями, проведения крестовых походов и религиозных войн, истребления туземцев во время колониальных захватов и т. д. Вольтер заключал, что «христианская религия стоила человечеству более семнадцати миллионов жизней, если считать по одному миллиону в столетие — как тех, кто погиб от рук палачей правосудия, так и тех, кто умер от рук других, наемных палачей, построенных в боевом порядке...» (С. 627). Отвергая рассуждения о том, что эти кровавые злодеяния суть нечто случайное в истории церкви, Вольтер разъяснял, что если реально эта история предстает как «непрерывная цепь распрей, обмана, притеснений, мошенничеств, насилий и убийств», то «тем самым доказано, что злоупотребление относится к самому существу дела, как доказано, что волк всегда был хищником и вовсе не вследствие некоторых случайных злоупотреблений пил кровь наших овец» [19].

По поводу обличения Вольтером и другими просветителями пагубных последствий религиозного фанатизма уместны два пояснения. Во-первых, оно было неотделимо от утверждения принципа свободы вероисповедания и ни в коей мере не было направлено на дискредитацию приверженцев любой религии, исповедующих ее без агрессивной враждебности по отношению к инаковерующим. Во-вторых, вопреки утверждениям современных буржуазных и ревизионистских фальсификаторов Просвещения критика его представителями всевозможных видов религиозного фанатизма не сеяла каких-либо национальных фобий. Напротив, она была самым решительным образом направлена на то, чтобы устранить едва ли не самый опасный идеологический источник вражды между различными нациями и народами. Разъяснение того, что здравомыслящие люди должны преодолеть эту вражду и строить свои отношения на началах братского единения, Вольтер относил к числу важнейших задач философии. К людям различных вероисповеданий он обращался с призывом, чтобы «все они объединились между собой во имя взаимной помощи и поддержки, взаимной любви и намерения сделать друг

[19] *Вольтер*. Избр. произв. С. 520.

друга счастливыми...». Для достижения этой цели Вольтер считал необходимым прекратить все теологические споры и диспуты о преимуществах какой-либо религии перед другими. Люди должны читать не пронизанные религиозным фанатизмом книжицы, являющиеся «попросту пищей для гражданской войны дураков», а написанные в духе свободомыслия произведения Цицерона, Монтеня, Лафонтена, так как «подобное чтение незаметно располагает людей к согласию, до сих пор вызывавшему отвращение у всех теологов» (С. 537). Люди тогда станут смотреть друг на друга, как на братьев, «будь то деист, турок, язычник, христианин-грек или христианин-латинянин, англиканин или скандинав, иудей или атеист...» (Там же). Здесь следует отметить, что во французском Просвещении идея братства всех людей и народов (включенная наряду с идеями свободы и равенства в знаменитую триаду лозунгов Великой французской революции) утверждалась именно как антитеза той враждебности между ними, которую разжигали религиозные фанатики, видевшие своих духовных братьев лишь в единоверцах и отождествлявших братское единение с религиозным убожеством.

В качестве первого шага на пути преодоления клерикального гнета и религиозного фанатизма Вольтер предлагал «поставить религию в абсолютную зависимость от государя и властей» при условии, что «государь и власти — люди просвещенные, умеют быть одинаково терпимыми ко всякой религии, смотреть на всех людей как на своих братьев ... давать им свободу в их общении с богом и связывать их только законами в их обязанностях по отношению к людям. И нужно рассматривать как диких зверей тех представителей власти, которые поддерживали бы свою религию при помощи палачей»[20]. Радикально же опасность религиозного фанатизма будет устранена, считал Вольтер, лишь в результате эффективного просвещения философией всего человечества.

Наиболее полно вольтеровский антиклерикализм, неразрывно соединенный с критическим изучением религий и церквей в их прошлом и настоящем, выражен в таких его произведениях, как «Важное исследование

[20] *Вольтер.* Избр. произв. С. 521.

милорда Болинброка, или Могила фанатизма» (1767), «Бог и люди» (1769), «Письма Амабеда» (1769), «Наконец-то объясненная Библия» (1776), «История установления христианства» (1777)[21]. Вместе с другими французскими просветителями XVIII в. Вольтер внес значительный вклад в религиоведение. Он способствовал уяснению ряда вопросов происхождения, сущности и социальной роли различных религий, в особенности иудаизма и христианства, развенчивая мифы об их богооткровенности, сверхъестественном утверждении и благодетельности для исповедовавших их народов. Вскрывая ограниченность трактовки просветителями религии, обусловленную отсутствием у них материалистического понимания истории, классики марксизма-ленинизма в то же время высоко оценивали достижения просветительской мысли в борьбе с религиозным дурманом и клерикальным гнетом, учили творчески использовать их. Эта задача является по-новому злободневной в обстановке нынешних попыток стимулировать «религиозное возрождение», ревнители которого в своем безудержном славословии религии идут вспять не только от марксистского атеизма, но становятся значительно ниже ее просветительского понимания, воспроизводя, по сути дела, богословско-апологетическую архаику, завуалированную новомодной терминологией.

ДЕИСТСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ ВОЛЬТЕРА: ДОСТИЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Помещенные в настоящей книге произведения Вольтера можно разделить на две группы. Ближайшим основанием этого деления является хронологическое. В первую группу входят работы, написанные в 30-е годы («Философские письма», «Метафизический трактат», «Основы философии Ньютона»), во вторую — все остальные, созданные в 60—70-е годы. Но имеется также серьезное содержательное основание для различения этих двух групп работ. Разделяющий их четвертьвеко-

[21] Антиклерикальные разделы этих произведений составляют содержание книги: *Вольтер.* Бог и люди. М., 1961. Т. 1—2.

вой период был ознаменован возникновением во Франции благодаря деятельности Ламетри, Дидро, Гельвеция и Гольбаха новой формы материалистической мысли, которая объясняла природу и человека без каких бы то ни было ссылок на божественное творение или устроение, доказывая, что бога не существует и что различным образом видоизменяющаяся материя представляет собой во Вселенной единственную субстанцию, а «человек является самым совершенным ее проявлением»[22]. И если философские произведения Вольтера 30-х годов находились на вершине развития тогдашней философской мысли во Франции, то работы, написанные в 60—70-е годы, оказались не просто ниже уровня, достигнутого ею уже во второй половине 40-х годов, но и активно (хотя и безуспешно) противодействующими ее дальнейшему мощному развертыванию. «Замечательно следить, — писал Герцен при изучении истории французского Просвещения,— как в начале своей карьеры Вольтер дивит, поражает смелостью своих религиозных мнений, — и через два десятка лет Гольбах, Дидро; он отстал, материализм распахнулся во всей силе»[23]. Герцен приводит относящиеся к этому второму периоду слова о Вольтере видного деятеля просветительского движения Гримма: «Патриарх не желает отказываться от своего воздающего мстителя, он рассуждает об этом, как ребенок»[24]. Тем не менее весьма неравнозначные по своей исторической значимости произведения Вольтера как первой, так и второй группы существенно важны для понимания диалектики развития французской философской мысли XVIII в.

Остановимся прежде всего на тех новых моментах в понимании природы, человеческого бытия, сознания и деятельности, благодаря которым вышеназванные работы Вольтера 30-х годов сыграли значительную роль в развитии французской философии того периода. Все они были тесно связаны с *усвоением и творческим переосмыслением достижений английской мысли предшествующего столетия в области философии и естествознания.* У истоков той философии, под знамя которой он вста-

---

[22] *Ламетри Ж. О.* Соч. М., 1976. С. 236.
[23] *Герцен А. И.* Избр. филос. произв. М., 1948. Т. 1. С. 294.
[24] Там же. С. 294—295.

вал, Вольтер помещал Френсиса Бэкона, а ее крупнейшим представителем считал Джона Локка, полагая, что она неотделима также от воззрений величайшего физика Нового времени Исаака Ньютона. Характеристике взглядов этих мыслителей, представляющей, по сути дела, радикальную просветительскую переоценку с «антиметафизической» точки зрения мировоззренческих концепций XVII в., Вольтер уделил в «Философских письмах» очень большое внимание. Центральным из них (конечно, отнюдь не по «топологическим» соображениям) является, несомненно, тринадцатое письмо «О Локке», в котором говорится, что, «быть может, никогда не существовало более мудрого методического ума и более точной логики, чем у г-на Локка...» (С. 109). Вольтер был прав, указывая в своих мемуарах, что до «Философских писем» во Франции и во многих других европейских странах «учение Локка не вызывало никаких разговоров, так как доктора богословия читали Фому Аквината и Кенеля, а широкая публика читала романы. Когда я похвалил Локка, поднялись вопли и против него, и против меня... Нельзя себе представить, с каким остервенением и с какой невежественной неустрашимостью накинулись на меня...»[25]. Именно с Вольтера началась всеевропейская известность Локка. Для французского Просвещения освоение философского наследия Локка имело фундаментальное значение, поскольку, как указывал К. Маркс, кроме осуществленного Бейлем «отрицательного опровержения теологии и метафизики XVII века необходима была еще *положительная антиметафизическая* система. Чувствовалась необходимость в такой книге, которая привела бы в систему тогдашнюю жизненную практику и дала бы ей теоретическое обоснование. Сочинение *Локка* о происхождении человеческого разума очень кстати явилось с того берега Ла-Манша. Оно встречено было с энтузиазмом, как давно и страстно ожидаемый гость»[26]. Уточним, что вначале оно нашло подобный прием у одного Вольтера, которому пришлось приложить большие усилия и преодолеть значительное противодействие, прежде чем учение Локка оказалось прочно включенным — примерно

[25] *Вольтер.* Избр. произв. С. 407.
[26] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 142.

к середине 40-х годов — в передовое философское сознание Франции, о чем свидетельствовали начавшие появляться в то время труды второго поколения французских просветителей — Ламетри, Кондильяка, Дидро.

Трактуемая в локковском «Опыте о человеческом разуме» *проблема происхождения человеческих «идей»* (чувственных образов и мыслей, верований и убеждений, теоретических принципов и моральных норм) относилась к числу кардинальных в новоевропейской философии. Наряду с основным для нее гносеологическим значением она приобретала также значение онтологическое и социальное. Материалистическое решение этой проблемы, детально разработанное Локком, заключалось в том, что врожденных и доопытных идей не существует, а все наличные в сознании индивидов идеи проистекают в конечном счете из чувственного опыта, понимаемого как совокупность ощущений, вызываемых материальными причинами. Эту эмпирико-сенсуалистическую концепцию Вольтер счел безупречно обоснованной, заявляя, что «Локк развернул перед человеком картину человеческого разума, как превосходный анатом объясняет механизм человеческого тела». «Вдребезги разбив врожденные идеи, — пишет далее Вольтер, — ... Локк устанавливает, что все наши идеи мы получаем через ощущения, исследует наши простые идеи, а также и более сложные, прослеживает человеческое сознание во всех его функциях...» В дальнейших своих работах Вольтер твердо держался убеждения, что «все знания в мире даются нам только опытом». Примечательно, что в вольтеровском изложении начал локковского сенсуализма рефлексия («внутренний опыт») не фигурирует в качестве особого и тем более самостоятельного источника идей. Это было сделано, видимо, с учетом субъективно-идеалистической интерпретации сенсуализма Беркли и в противовес ей, намечая в то же время путь для той разработки сенсуализма, которая вскоре была осуществлена Кондильяком. Следует отметить, что в понятие опыта как основы познания Вольтер включал в качестве его наиболее надежного компонента естественнонаучное экспериментирование, указывая, что принципы последнего, разработанные Ф. Бэконом, явились «помостом, на котором была воздвигнута новая философия... (С. 110, 111, 326, 105).

Изложение принципов локковского сенсуализма сочеталось у Вольтера с *разработкой вопроса о том, что такое душа.* Поставленный на заре философии, он оживленно обсуждался на протяжении всей ее дальнейшей истории и всегда относился к числу самых острых. В новоевропейской философии он оказался сопряжен с решением проблемы субстанции. Давая критический обзор различных воззрений на душу с античности до конца XVII в., Вольтер главное внимание уделил основополагающему для новейшего спиритуализма учению Декарта о том, что «душа человека — это субстанция, сущность которой — мышление...». Общий порок всех долокковских трактовок души Вольтер усматривал в их спекулятивности, отсутствии у них надежного опытного основания, в результате чего прежние философы создавали лишь различные варианты «романа о душе». Локк же — истинный мудрец, который не стремится сразу дать определение души (что было бы оправданно лишь в случае обладания полным знанием о ней), а «шаг за шагом исследует то, что мы хотели бы знать», создавая своего рода «историю души» в виде точного описания различных проявлений психики: «Он исследует ребенка с момента его рождения, постепенно прослеживает развитие его сознания, усматривает, что общего у него с животными и в чем он их превосходит, особенно беря в свидетели самого себя, показания собственной сознательной мысли» (С. 115, 111). Детская психология, сравнительная психология человека и животных, интроспекция, дополняемая, как это явствует из дальнейших разъяснений, сравнительной анатомией их органов чувств и мышления, — таков внушительный арсенал средств, которые, согласно Вольтеру, обеспечивают надежную эмпирическую основу для обобщения, посредством которого слово «душа» может стать содержательным философским понятием.

Считая целесообразным «именовать „душой" способность думать и чувствовать, подобно тому как мы именуем *зрением* способность видеть, *волей* — способность желать и т. д.» (с. 116), т. е. отказываясь от презумпции субстанциальности души и ставя в центр внимания основные психические функции, реальность которых очевидна, Вольтер затем задается вопросом, как они связаны с телесной организацией чувствующего и мысля-

щего существа, которая столь же несомненно является материальной. В постановке и решении этого вопроса он следует за Локком и одновременно продолжает традиции материалистической ветви картезианства, о виднейшем представителе которой — Леруа — К. Маркс писал, что он «перенес декартовскую конструкцию *животного* на человека (нечто подобное в XVIII веке сделал *Ламетри)* и объявил душу *модусом тела...*»[27]. Вольтер утверждает, что нет доказательств невозможности для материальных существ как таковых обладать способностью чувствовать и мыслить, равно как невозможности для бога «даровать» им эту способность. «Разумеется,— полемизирует он с теологами, — вы восстанете против этого допущения, вы сочтете безбожием эту смелость — утверждать, будто тело способно мыслить. Но что вы возразите, ответил бы вам г-н Локк, если окажется, что в данном случае вы сами повинны в безбожии — вы, осмеливающиеся ограничивать могущество бога? И какой человек на Земле смеет, не впадая во вздорное нечестие, утверждать, будто для бога невозможно придать материи чувство и мысль?» (С. 120—121). Эта аргументация в духе давней традиции британского материализма восходила к схоластику Дунсу Скоту, который, как отмечал Маркс, «спрашивал себя: „*не способна ли материя мыслить?*" Чтобы сделать возможным такое чудо, он прибегал к всемогуществу божьему, т. е. заставлял самое теологию проповедовать материализм»[28].

Наряду с этими «благочестивыми» доводами вольтеровскую трактовку души подкрепляли отсутствовавшие у Локка и связанные с материалистическим картезианством соображения естественнонаучного характера, которые позволяли подняться над локковскими колебаниями в вопросе о соотношении мышления и материи и уверенно заявить: «я могу приписать способность думать и чувствовать своему телу; итак, я не должен искать эту способность в ином существе, именуемом *душою* или *духом,* о котором я не могу иметь ни малейшего понятия». «Фантазиям философов», выдвигавших априорные дефиниции души, Вольтер противопоставил философское обобщение естественнонаучных наблюдений и экспери-

---

[27] Там же. С. 140.
[28] Там же. С. 142.

ментов относительно связи психических функций с определенными материальными органами. При этом он аргументированно отверг взгляд Декарта на животных как на чисто механические устройства, «машины», указывая, что наличие у животных органов чувств, аналогичных человеческим, заставляет с несомненностью заключить, что, подобно людям, животные чувствуют, а наличие у них мозга — что они в той или иной мере, варьирующейся у различных видов в зависимости от степени совершенства их мозга, обладают тем, что мы называем мышлением. Материалистический взгляд на психику обосновывается и приводимыми Вольтером фактами о том, что у всех животных — будь то канарейка, собака, кошка или человек — она развивается по мере их взросления, в ходе которого соответствующие органы становятся способными выполнять свои функции. Ссылается он и на то, что серьезные патологические изменения в организме живых существ (например, «непомерные кровопускания») приводят к резкому ослаблению психической деятельности: «кажется, что идеи их вытекают из них вместе с кровью». Логическим выводом из этих рассуждений является отрицание Вольтером бессмертия «души». Хотя всемогущий бог и «может продлить навсегда способность к мышлению у части тела», связав ее с каким-то неразрушимым атомом в составе мозга, тем не менее, указывал он, ничто не подтверждает этого допущения и «никоим образом нельзя усмотреть, будто сознание, ощущение человека — бессмертная вещь...» (С. 120, 119). Учение о бессмертии души Вольтер называет «химерой».

Существенно важное значение для развития материализма имела в рассматриваемых работах Вольтера также резкая *критика двух наиболее значительных в первой половине XVIII в. антиматериалистических концепций — берклианства и лейбницеанства.* Трактовка Вольтером локковского сенсуализма, верно выражающая и даже усиливающая его материалистический смысл, была фактически антитезой субъективно-идеалистическому истолкованию Беркли этого учения. Эта глубоко продуманная позиция Вольтера, которому были хорошо известны воззрения Беркли, эффективно противодействовала попытке наполнить сенсуализм и тесно связанный с ним эмпиризм антиматериалистическим

содержанием, открывая плодотворный путь их разработки французскими просветителями. Наряду с этим Вольтер подверг берклианский идеализм прямой и весьма содержательной критике, которая получила развитие в трудах других французских философов, в том числе великих французских материалистов. Антиберклианская четвертая глава («О том, что внешние объекты действительно существуют») «Метафизического трактата» следовала сразу же за главой «О том, что все идеи мы получаем при помощи чувств». «Вряд ли, — пишет Вольтер, — кто-нибудь вздумал бы трактовать этот предмет, если бы философы не пытались усомниться в самых что ни на есть очевидных вещах... Наши чувства, говорят они, поставляют нам идеи; но очень может быть, что наше сознание получает эти восприятия без того, чтобы вне нас существовали какие-либо объекты». Хотя формально вольтеровская критика обращена в адрес античных скептиков (пирронистов) во главе с Секстом Эмпириком, ее главным адресатом является философия Беркли с характерной для нее попыткой свести материальные предметы к их свойствам, а последние — к их чувственному восприятию. В рассуждениях Вольтера материалистическое обоснование реальности внешнего мира неотделимо от борьбы с агностическим обесценением познавательного значения чувственного опыта. Вслед за указанием на полное несоответствие мнений пирронистов тому, как люди реально действуют и мыслят, он стремится в составе самих чувственных восприятий найти такие, объективная значимость которых несомненна. Согласно Вольтеру, это свойственно осязательным восприятиям: «осязание в прямом смысле этого слова, сближение моего тела с другим, дает мне независимо от иных моих чувств идею материи; ибо, когда я трогаю камень, я отлично чувствую, что не могу встать на его место, а значит, здесь находится нечто протяженное и непроницаемое». Эта, а также следующая мысль может рассматриваться как зародыш того воззрения, которое было детально разработано в кондильяковском «Трактате об ощущениях» (1754) и приобрело большой авторитет в философии французского Просвещения: «Итак, если предположить... что человек имел бы все чувства, за исключением осязания в собственном смысле слова, человек этот мог бы вполне сом-

неваться в существовании внешних объектов и даже, быть может, долго оставаться без какой бы то ни было их идеи; но глухой и слепой, который бы их осязал, не способен был бы сомневаться в существовании вещей, вызывающих у него ощущение жесткости...». Вольтер категорически заявлял, что он «скорее убежден в существовании тел, нежели в большинстве геометрических истин». Что касается пирронистов с их скепсисом, то, писал он, пусть они «позволят мне начать с твердой веры в существование тел, ибо в противном случае мне следовало бы отказать этим господам в существовании» (С. 247—250). По своему смыслу вольтеровская критика пирронизма, заостренная против берклианства, оказывалась противостоящей также юмовскому агностицизму, возникшему в конце 30-х годов, но начавшему приобретать известность лишь десятилетием позже. Для Вольтера в отличие от Юма убеждение в существовании внешнего мира — это не следствие безотчетной веры, а надежно обоснованное знание.

В восьмой главе «Основ философии Ньютона» Вольтер высказал развернутые критические суждения по поводу учения Лейбница о том, что сущностью бытия являются духовные субстанции — монады, а материя есть лишь феномен, существующий на уровне чувственного восприятия. «Дерзким и несостоятельным» назвал Вольтер мнение Лейбница, согласно которому «следует искать основание, причину протяженных вещей в вещах, не являющихся протяженными, в простых вещах, т. е. в *монадах*». Обвиняя Лейбница в злоупотреблении логикой и геометрией, заводящем мысль в лабиринт ошибок, Вольтер этой обманчивой видимости проникновения в сущность вещей предпочитал «признание человеческого неведения относительно первоначал [éléments] материи». В данном случае вольтеровское «неведение» означало согласие со «скромным» мнением Ньютона, что «элементы материи материальны, или, иначе говоря, что они являются протяженной и непроницаемой субстанцией...» (С. 308, 309, 307). Вольтер считал правильной атомистическую теорию строения материи, подчеркивая, что современная наука в лице Ньютона и Бойля подтвердила представления Демокрита, Эпикура и Лукреция. Позволяя себе вместе с тем отвергнуть некоторые не подтверждаемые эксперимен-

том заключения этих ученых, Вольтер настаивал на том, что атомы не разрушимы, т. е. в сущности на том, что материя не уничтожается.

Ознакомлению французского общества с *физикой Ньютона* Вольтер придавал не меньшее значение, чем пропаганде философии Локка, встретив при решении этой задачи столь же ожесточенное сопротивление. «Я,— с гордостью вспоминал впоследствии Вольтер,— первый посмел понятным языком растолковать своему народу открытия Ньютона. Картезианские предрассудки, которые во Франции пришли на смену предрассудкам перипатетиков, коренились в то время еще так глубоко, что канцлер д'Агессо усматривал врага здравого рассудка и государства во всяком, кто приобщался к открытиям, сделанным в Англии. Он так и не разрешил напечатать «Основы философии Ньютона»[29]. Высоко оценивая открытия Декарта в геометрии и оптике, а также его рационалистический метод в плане критического преодоления всевозможных предрассудков, Вольтер в то же время считал несостоятельной — после ознакомления с ньютоновской физикой — декартовскую теорию вихрей и трех элементов. Эту часть декартовской физики он относил к ненаучным спекулятивным построениям и называл ее «романом о мире». При характеристике ньютоновской физики Вольтер подчеркивал ее строго научный характер, выражающийся в полном согласии математически разработанных теоретических выводов с данными наблюдения и опыта. Философы в своем понимании природы могут и должны, настаивал Вольтер, опираться только на такого рода построения естествоиспытателей. Эти положения вносили очень важные антиспекулятивные, в сущности, «антиметафизические» и материалистические по своему духу коррективы в уже прочно утвердившийся в новоевропейском сознании принцип связи философии с естествознанием.

В физической теории Ньютона главное внимание Вольтера привлекал закон всемирного тяготения, поскольку «притяжение — великая движущая пружина всей природы». В полемике с противниками ньютонианства, которые в принятии силы тяготения усматривали недопустимое возвращение к схоластической концепции

[29] *Вольтер.* Избр. произв. С. 406.

«скрытых качеств», Вольтер высказал ряд соображений материалистического характера, важных для последующего развития французской философии. Во-первых, он разъяснял, что незнание сущности притяжения, непонятность действия этой силы между телами, разделенными между собой сколь угодно большими пространствами, не могут служить достаточным основанием для отрицания этого физического феномена. Одновременно он указывал на то, что понятность декартовского принципа близкодействия не обеспечивает истинности учения о том, что всякое физическое действие во вселенной осуществляется посредством толчка, т. е. непосредственного воздействия одного тела на другое. По-своему утверждая примат бытия по отношению к мышлению и отвергая отождествление реальных оснований с логическими, Вольтер писал, что притяжение есть «нечто реальное» потому, что надежными физическими средствами «доказано его действие и подсчитаны соответствующие количественные соотношения» (С. 141, 143).

Основываясь на высказывании Ньютона о том, что притяжение действует иначе, чем известные до сих про «механические причины», он заключал, что это «очень точное и предельно недвусмысленное указание на то, что притяжение — вовсе не механический принцип» (С. 320). Ставя тем самым вопрос об ограниченности сугубо механистического понимания природы, Вольтер в ньютоновской теории всемирного тяготения усматривал первый шаг на пути подъема естествознания на более высокую ступень своего развития, позволяющую глубже познавать материальный мир. Согласно Вольтеру, Ньютон «раскрыл новое свойство материи» (С. 143). При этом Вольтер был убежден, что «принцип тяготения» — вовсе не единственная «пружина природы», поскольку он объясняет в ней далеко не все. Вольтер находил достаточные основания для вывода, что «материя имеет гораздо большее число свойств, нежели те, что нам известны» (С. 320). Одновременно он выражал надежду, что, «быть может, придет время, когда люди накопят достаточное количество опыта для познания некоторых других скрытых пружин... Пока мы находимся всего лишь на берегу огромного океана: сколько еще надо сделать открытий!» (Там же). Уверенность в грядущем значительном углублении позна-

ния природы основывалась прежде всего на колоссальных успехах предшествующего новоевропейского естествознания. В XVII в., писал Вольтер, трудами Галилея, Кеплера, в известной мере Декарта, Ньютона была «открыта новая Вселенная» и обнажена «механика пружин мира». Между тем ранее «самым мудрым людям казалась дерзостью одна только мысль о том, что можно разгадать, по каким законам движутся небесные тела и каков механизм света» (С. 144). Все это настраивало философские умы на внимательное отношение к новым отраслям естествознания и на такое обобщение их достижений, которое не боится преодолеть узкомеханистическое понимание материи.

К числу важнейших аспектов философских работ Вольтера 30-х годов относились, наконец, *размышления о человеке как социальном существе,* заостренные против религиозной и религиозно-философской антропологии. Их открыла полемика в последнем из «Философских писем» против учения французского мыслителя XVII в. Паскаля (чьи естественнонаучные открытия и разоблачения аморализма иезуитов Вольтер высоко ценил) о том, что человек сам по себе ничтожен и потому обречен на невыносимое отчаяние, от которого его может избавить лишь христианская религия, и служению ей он должен посвятить всю свою жизнь без остатка, вдохновляемый надеждой на посмертное вечное блаженство праведников в царстве божием. Принимая «сторону человечества против этого возвышенного мизантропа», Вольтер проводил мысль о том, что человек в своем бытии, познании и деятельности вовсе не ничтожен. Во всем этом он лишь ограничен, что не мешает ему, однако, испытывать при благоприятных условиях многие радости, достигать большего или меньшего счастья, проявлять подлинное величие. Паскалевскому тезису о неизбывном одиночестве людей и их трагической затерянности в чуждой им вселенной Вольтер противопоставлял горделивое указание на существование цивилизованных обществ и впечатляющие плоды их созидательной деятельности. Если Паскаль с его теоцентризмом клеймил всякие «мирские» дела человека как опасное «отвлечение» от служения богу (и одновременно недостойное «развлечение»), то Вольтер воспевал их как единственное реальное средство бо-

роться с угрожающими человеку несчастьями и обеспечивать ему жизненные блага. Согласно Вольтеру, заложенный в человеке «инстинкт» деятельности — «гораздо больше есть орудие нашего счастья, чем озлобление против нашего жалкого состояния». Решительно возражал он против трактовки Паскалем стремления человека к своему благополучию — «любви к себе» — как порочного эгоизма. Он считал, что «именно наша любовь к самим себе помогает любви к другим; именно наши взаимные потребности делают нас полезными для человечества; это — основа любого обмена; это — извечное связующее звено между людьми». (С. 190, 205, 199).

Эти парадоксально звучащие положения были эксплицированы и развиты затем в «Метафизическом трактате», где Вольтер изложил свое понимание естественных причин образования человеческих обществ и перехода их от состояния дикости к цивилизации. У человека, писал он, нет инстинкта, который побуждал бы его, как муравьев или пчел, жить вместе с себе подобными существами, но «если взглянуть на его потребности, его страсти и разум, сразу становится ясным, что он не мог долго оставаться совсем в диком состоянии». По мысли Вольтера, любовь человека к себе обусловлена необходимостью удовлетворять свои потребности, которые среди прочего ведут к любви между мужчинами и женщинами, родителями и детьми: этого достаточно, чтобы первобытные люди стали жить сообществами, а вместе с тем «разбудить их трудолюбие и дать начало примитивным росткам искусств». Данные небольшие союзы людей укрепляла «естественная благожелательность», свойственная людям в отличие от животных. Любовь человека к себе Вольтер считал прирожденной, первичной и, так сказать, базисной «страстью», на основе которой возникает целая гамма других, уже не имеющих природного характера страстей: честолюбие, властолюбие, алчность, соперничество. Именно эта совокупность «великих страстей» ведет к образованию «великих империй и процветающих городов». Будучи «пружинами» и «шестернями» социальных «механизмов», «одни лишь страсти объединили людей и извлекли из недр земных все искусства и удовольствия». Вольтер называл химерическим религиозное представление, согласно которому «человек был рожден

без страстей и обрел эти страсти лишь для того, чтобы лишить бога своего повиновения». «Любовь к себе и все ее ответвления столь же необходимы человеку, — полагал он, — сколь кровь, текущая в его жилах...» (С. 265—267).

Переходя затем к проблеме регулирования человеческих отношений и указывая, что, «для того чтобы общество существовало, нужны были законы», Вольтер категорически отрицал, что последние являются результатом божественного откровения. Он отмечал, что «из всех тех, кто осмелился дать людям законы от имени бога, нет ни одного, кто бы дал нам десятитысячную долю правил, в которых мы нуждаемся для нашего поведения в жизни». Никакой голос свыше не предписывал людям, какому образу действий они должны следовать, а какого избегать. Люди сами устанавливают необходимые для общества законы, которые оказываются определенными естественными причинами: «...они зависят от интересов, страстей и мнений тех, кто их придумал, и от характера климата местностей, где люди объединились в общество» (С. 268, 273). Точно так же люди сами определяют различие между добродетелью и пороком, наполняя смыслом эти понятия.

Вслед за Локком Вольтер констатировал величайшее разнообразие правовых и нравственных норм, доходящее до полной противоположности того, что в разных обществах предписывается или запрещается делать. Вместе с тем он отвергал релятивистский взгляд на эти нормы, настойчиво пытаясь отыскать в них некий инвариант, причем более всего в этом плане его интересовала нравственность. В размышлениях на эту тему отмечается прежде всего, что «все эти народы, чье поведение столь различно, бывают единодушны в одном: они называют *добродетельным* то, что соответствует учрежденным ими законам, и *преступным* то, что их нарушает». Тезис о детерминации нравственных норм юридическо-политическими законами сменяется вскоре более широкой точкой зрения, согласно которой *«добродетель и порок, моральное добро и зло во всех странах являются тем, что́ полезно, либо вредно обществу...»*. Выявляя социальную определенность фундаментальных категорий морали и заявляя, что «не бывает блага самого по себе, независимого от человека...», Вольтер

считал несомненным, что «благо общества... является единственной мерой нравственного добра и зла...». Наряду со всем этим он апеллирует к столь же несомненному для него существованию «естественных законов», «с которыми люди всего мира должны быть согласны» даже «вопреки тем законам, что у них есть». Он высказывает мысли о натуралистическо-эмотивистском основании нравственности, указывая на присущие человеку в силу его организации «определенные чувства, от которых тот никогда не может избавиться и которые служат вечными звеньями и основными законами общества». По его мнению, это выражается в том, что «доброжелательность по отношению к себе подобным родилась вместе с нами и продолжает всегда в нас действовать...». Но категоричность этого утверждения, по сути дела, перечеркивается его концовкой, гласящей: «...по крайней мере, до тех пор, пока ее не побеждает любовь человека к себе, которой всегда дано ее одолеть» (С. 269—271).

В «Основах философии Ньютона» Вольтер со всей определенностью отмежевывается от концепции прирожденности человеку нравственного чувства. Со ссылкой на авторитет Ньютона он полностью солидаризируется с локковским отрицанием каких бы то ни было врожденных идей или принципов поведения: «Ньютон действительно не допускал у нас никаких врожденных знаний, идей, чувств или принципов. Вместе с Локком он был убежден в том, что все идеи мы получаем посредством чувств по мере того, как [органы] чувств развиваются...». В то же время ему представляется, что он — опять-таки вместе с Ньютоном — находит на почве самого антиниеистского сенсуализма Локка не замечавшееся последним радикальное средство преодоления этического релятивизма: из одинакового устройства органов чувств у всех людей «вытекает одинаковость их потребностей и ощущений, а это приводит к одинаковости грубых понятий, повсюду являющихся базисом общества» (Там же). Другими словами, «идеи, полученные с помощью одинаковых органов чувств людьми, организованными сходным образом», приводят к тому, что в определенном возрасте у них постепенно формируются «одни и те же принципы, необходимые всякому обществу», в результате чего на

всей Земле «от Сиама до Мексики в почете правда, признательность, дружба и т. д.». Теперь принципы нравственности рассматриваются Вольтером как результат деятельности разума, который опирается на определенный чувственный опыт, имеющийся у каждого человека о жизни в обществе. «Естественный закон» нравственности, «заставляющий поступать со своим ближним, как с самим собой, является естественным следствием самых первых понятий и бывает рано или поздно услышан сердцами всех людей, ибо, поскольку разум у всех одинаков, необходимо, чтобы рано или поздно плоды этого древа оказались между собой сходными...». Определение содержания «естественного закона» через известное с древности «золотое правило» нравственности — поступай «со своим ближним, как с самим собой» — придавало гуманистический характер понятию общественного интереса как критерия добродетели. Вольтер уточняет, что «общественное благо» означает благополучную, не знающую материальной обездоленности и гнета деспотической власти жизнь людей в обществе, где они могут быть счастливы. Согласно Вольтеру, гуманность — это главная добродетель, а все остальные являются производными от нее (С. 292—294).

«Естественный закон» нравственности Вольтер именует также «естественной религией», усматривая в ней единственную достойную человека форму религиозности и радикально отличая ее от всех реально существующих религий, в особенности от христианства, ислама и иудаизма. Следует подчеркнуть, что в рассматриваемый период Вольтер целиком и полностью редуцировал естественную религию» к «естественному закону». «Я, — писал он, — понимаю под естественной религией принципы морали, общие для всего человечества». Важнейшим проявлением этого редуцирования служит разработка Вольтером вопроса о сугубо мирских, посюсторонних, человеческих мотивациях нравственного поведения. Тем, кто из отсутствия богооткровенных предписаний людям делает вывод, что можно «безоглядно предаться всей исступленности своих необузданных вожделений» и «безнаказанно вершить что угодно», Вольтер разъясняет, что в таком случае они будут действенно наказаны, «будь то при помощи кар, мудро

изобретенных людьми для врагов общества, или одним только страхом пред этими карами». Им угрожает также презрение со стороны окружающих, которое, быть может, «и есть самая сильная узда, накинутая природой на человеческие несправедливости». Не требуется много ума, чтобы понять, что «жизнь людей, бросающих вызов законам, обычно самая жалкая», и потому «любой из людей разумно заключит, что явно в его интересах быть порядочным человеком», «добрым гражданином и выполнять свои жизненные обязанности» (С. 292, 273, 274). Все эти выводы, по Вольтеру, с необходимостью делает всякий живущий в обществе человек, когда его разум достаточно развивается для того, чтобы осмыслить жизненный опыт, и это способны сделать самые простые, не получающие какого-либо образования люди.

Данная концепция имела ярко выраженную иррелигиозную направленность. Вольтер заявлял, что «те, кто нуждается в поддержке религии для того, чтобы быть порядочными людьми, достойны всяческого сожаления; надо быть изгоями общества, чтобы не находить в самих себе чувств, необходимых для этого общества, и быть вынужденными заимствовать извне то, что должно быть присуще нам по природе». В высшей степени знаменательно, кого противопоставил Вольтер названным «изгоям» как людей, которые нравственны по достойным человека основаниям: «...философы (которых окрестили атеистами и вольнодумцами) во все времена были самыми порядочными людьми на свете». Он уточняет, что Ламот Левайе, Бейль, Локк, Спиноза, Шефтсбери, Коллинз «были людьми суровейшей добродетели», подчеркивая, что «при этом не один только страх перед людским презрением сделал их добродетельными, но и вкус к добродетели как таковой». Этот «вкус» определялся, согласно Вольтеру, не чем иным, как разумным усмотрением, ибо «правильный ум бывает честным...» (С. 274).

Все эти положения вольтеровских работ 30-х годов стали высшими достижениями материалистической мысли своего времени; вместе с тем они были точками ее роста.

Однако в произведениях Вольтера названные положения не получили последовательного развития и не

сложились в целостное материалистическое понимание природы и места человека в ней. Наряду с существованием материальной природы, в которой все происходит в соответствии с естественными законами и в силу естественных причин, Вольтер признавал также бытие бога как сверхъестественной, «метафизической» первопричины Вселенной. Его воззрения на бога, находящиеся в противоречии с материалистическими положениями его философии, являются тем не менее существенным компонентом этой философии.

Вольтер именовал эти воззрения «теизмом» (от греч. θεός — бог). Согласно же современной философской терминологии их следует квалифицировать как *деизм* (от лат. deus — бог), поскольку с начала XIX в. понятие «теизм» стало применяться лишь для обозначения философско-религиозных концепций, которые теоретически обосновывали теологию, а за понятием «деизм» закрепилось значение такого воззрения на бога, которое противостоит теологии.

Возникший в XVI в. и просуществовавший (с серьезными видоизменениями) как весьма значительное явление философской мысли вплоть до конца XVIII в. деизм (наряду с пантеизмом) был одним из магистральных путей становления и развития новоевропейского свободомыслия в процессе ниспровержения им теологического мировоззрения. Начав с отрицания божественного откровения, «богодухновенности» Библии, авторитета церкви, деисты на основе принятия и разработки ряда материалистических взглядов на природу и человека стали отрицать также возможность какого-либо воздействия бога на ход событий в мире, характеризуя предания о якобы совершенных богом «чудесах» как не заслуживающие доверия мифы. В трудах английских философов Д. Локка (1632—1677), Д. Толанда (1670—1722), А. Коллинза (1676—1729), У. Кауарда (1656—1725) стала складываться «деистская форма материализма» (Ф. Энгельс), которая была воспринята Вольтером и в его сочинениях получила дальнейшую разработку.

Следует заметить, что на протяжении длительного периода материалистическая философия Нового времени существовала лишь в деистической или пантеистической форме. Ее неспособность полностью объяснить

материальный мир из него самого и возвыситься до убедительно обоснованного атеизма зависела в основном от исторически неизбежной ограниченности естествознания, на которое она опиралась в своем осмыслении природы. Вследствие того что в XVII — первой половине XVIII в. только механика (наряду с тесно связанным с нею математическим знанием) была разработана как подлинная наука, а остальные отрасли естествознания находились в зачаточном состоянии, все естествознание было механистическим и суть его заключалась в применении «исключительно масштаба механики к процессам химического и органического характера» [30], вообще ко всему происходящему в природе. Такого рода механицизм приводил к тому, что представлялось принципиально невозможным естественнонаучное познание всех процессов природы, в которых проявлялись формы движения более высокие, нежели механическое движение.

Для Вольтера задача философского осмысления природы осложнялась тем, что он стремился опираться в ее решении исключительно на ньютоновскую физику, в которой к общей мировоззренческой ограниченности механицизма добавлялись еще такие, которые проистекали из свойственного Ньютону сугубо неисторического воззрения на Вселенную и из его приверженности христианской религии. Если Декарт в рамках своей механистической физики предпринял смелую попытку выдвинуть космогоническую гипотезу, рисующую — хотя и без строгого научного обоснования — картину естественного, постепенного образования звезд и планет из первичного бесструктурного скопления материальных частиц в мировом пространстве, то Ньютон характеризовал Солнечную систему и другие системы космических тел как возникшие сразу в том виде, в каком они находятся ныне, т. е. не изменявшиеся за все время своего существования. Полностью разделяя это фиксистское (от лат. fixus — неизменный) воззрение, Вольтер усматривал его подтверждение в наличии законов природы, постоянство которых им абсолютизировалось. Космологический фиксизм Ньютона был в вольтеровской концепции природы соединен с биологи-

[30] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 286.

ческим фиксизмом одного из крупнейших натуралистов XVIII в. — К. Линнея (1707—1778), учившего о неизменности видов растений и животных.

Будучи по своей методологическо-мировоззренческой сути метафизическим (антидиалектическим) воззрением на природу, фиксизм, органично связанный с механицизмом, закрывал путь к пониманию происхождения Солнечной системы и населяющих Землю видов растений и животных как естественного процесса. В попытках дать какое-то объяснение возникновению этих сложных материальных образований естествоиспытатели-фиксисты обращались в своем большинстве к божественной первопричине. Многие же из них, в том числе Ньютон и Линней, были искренне верующими христианами и были склонны истолковывать выводы своих исследований как подтверждающие библейскую теологию. Особенно усердствовали в теологическом истолковании физики Ньютона издатель его сочинений Котс и английский религиозный философ С. Кларк. Знаменитый химик Р. Бойль (1627—1691), друг и единомышленник Ньютона в научных и мировоззренческих вопросах, даже завещал значительную сумму денег для ежегодного чтения курса лекций, в котором бы на основе научных данных доказывалось бытие бога; и такого рода курс в течение длительного времени действительно читался философствующим теологом Р. Бентли. Давая характеристику подобной науке, Ф. Энгельс отмечал, что она «все еще глубоко увязает в теологии. Она повсюду ищет и находит в качестве последней причины толчок извне, необъяснимый из самой природы... Как возникли бесчисленные виды растений и животных? И как, в особенности, возник человек..? На все подобные вопросы естествознание слишком часто отвечало только тем, что объявляло ответственным за все это творца всех вещей» [31].

Вольтер, на которого «доказательства» бытия бога на основе естественнонаучного материала произвели неотразимое впечатление, разорвал их связь с поддержкой христианской теологии и придал им сугубо деистический характер: ими обосновывалось бытие только такого бога, который не имел никакой конфес-

[31] Там же. Т. 20. С. 349—350.

сиональной и собственно теологической определенности.

Переход от констатации актуальных границ естественнонаучного объяснения важнейших природных образований к объяснению их происхождения божественной первопричиной в рассуждениях Вольтера опосредовался далеко идущими аналогиями между этими образованиями и определенными изделиями человека. Основание для этих аналогий он усматривал в создававшихся в XVII—XVIII вв. впечатляющих механических устройствах, имитирующих с большей или меньшей точностью движение планет вокруг Солнца, а также движения животных (например, плавающей утки) и человека (например, играющего флейтиста). Из того факта, что для изготовления этих в общем весьма несовершенных подобий нужны были изощренные разумные замыслы, сложные математические расчеты и незаурядное механическое искусство, Вольтер делал заключение, что созидание соответствующих природных оригиналов могло быть лишь результатом деятельности «высшего Разума», «высшего Математика (Геометра)», «высшего Механика» и все эти сверхъестественные созидательные способности могут сочетаться лишь в боге как «высшем Мастере», «Демиурге». «Замыслы» данного божественного «Созидателя» Вольтер рассматривал как «цели» («конечные причины»), которыми объясняется законосообразность движения небесных тел (и вообще наличие всех законов природы) и функциональное совершенство органического строения видов животных и растений, равно как и человеческого организма. Эти вольтеровские «доказательства» бытия бога как одно из самых ярких проявлений механицизма, исходя из которого осмысливалось возникновение важнейших формообразований неорганического и органического мира, вместе с тем опирались на идеалистический телеологизм Платона, Аристотеля, Лейбница и ряда других философов. Идеалистические по своей мировоззренческой сути, эти физико-телеологические «доказательства» сродни, в частности, той «плоской вольфовской телеологии», которую Энгельс иронически характеризовал как «высшую обобщающую мысль», «до которой поднялось» в XVIII в. сугубо механистическое естествознание, ут-

верждавшее метафизическое «представление *об абсолютной неизменяемости природы*» [32].

Деизм Вольтера опирался также на космологическое «доказательство» («самое метафизическое» и самое важное для характеристики бога, по мнению Вольтера), навеянное лейбницевскими рассуждениями о божественном бытии как необходимой причине природного бытия. Оставаясь верным метафизическим принципам своей философии и не принимая глубоко диалектическую мысль Спинозы о природе-субстанции как причине самой себя, Вольтер вслед за Лейбницем считал, будто включенность всякого материального бытия в бесконечную цепь взаимообусловленности лишает существование материи подлинной необходимости, и потому абсолютно необходимое бытие должно быть сверхприродным, имматериальным, божественным.

Вольтер высказывал уверенность, что всеми этими аргументами «доказано, что бог существует», а потому считал оправданным объяснять высшие загадки мироздания созидательной активностью бога: «Именно он вложил в планеты ту силу, с которой они передвигаются с запада на восток; именно он заставил эти планеты и Солнце вращаться вокруг собственной оси.

Он начертал для всех тел единый закон, согласно которому все они одинаково тяготеют к своему центру. Наконец, он создал живые существа, которым даровал активную силу, с помощью которой они вызывают к жизни движение» (С. 239, 310).

Вольтеровский вариант деистической формы материализма быстро получил широкое распространение во Франции, встречая по мере развития и распространения идей Просвещения сочувственный прием также и в других странах. Приобщение всевозраставшего числа мыслящих людей к Просвещению, означавшее разрыв с официальной идеологией феодально-абсолютистского общества и религиозно-теологическим мировоззрением, происходило в основном через усвоение ими философии Вольтера. Полностью или частично многие из них оставались верными ей до конца своих дней. А для наиболее творческих умов она играла роль стартовой площадки, с которой начинался взлет более глубоких

[32] Там же. С. 348.

философских учений, в том числе таких, которыми впервые в новоевропейской философии было создано имеющее солидное естественнонаучное обоснование последовательно материалистическое, атеистическое воззрение на природу и место человека в ней.

Самостоятельно осмысливая философскую концепцию Вольтера, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах сумели быстро разглядеть ее противоречивость, отдав должное при этом обоснованности содержавшихся в ней материалистических положений и поняв недоказанность ее деистических утверждений. Ими была понята, во-первых, логическая некорректность перехода от констатации неведения естественных причин возникновения «совершенных» природных образований, материальность которых несомненна, к заключению о необходимости признать духовно-божественную первопричину, ибо не было никаких надежных свидетельств существования чисто духовных существ и само понятие чистого духа, в сущности, оказывалось бессодержательным и сводилось к отрицанию материальности, т. е. имело негативный смысл. Возможно, что осознать этот дефект деистической аргументации Вольтера помогло им знакомство с рукописью «Завещания» их фактического предшественника на пути создания последовательно материалистического миропонимания Ж. Мелье, который в полемике с «богопоклонниками» разъяснял, что если видимый материальный мир с его совершенствами «есть воочию бытие весьма реальное, весьма действительное», то, наоборот, бог с приписываемыми ему абсолютными совершенствами «есть существо воображаемое, которого нельзя видеть и нигде нельзя встретить...». Отсюда Мелье заключал, что имеется «гораздо больше оснований приписывать самостоятельное существование этому миру и тем его совершенствам, которые мы в нем видим, нежели приписывать его предполагаемому бесконечно совершенному существу», т. е. богу [33]. Вольтер, в распоряжении которого рукопись Мелье оказалась уже после того, как в основных чертах сложилось его философское мировоззрение, явно недооценил силы этого и других атеистических положений «Завещания» (произошло

[33] *Мелье Ж.* Завещание. М., 1954. Т. 2. С. 304.

это в значительной мере, видимо, потому, что у материалистических положений Мелье отсутствовало естественнонаучное обоснование). Во-вторых, на основании вольтеровских признаний, что одинаково абсурдно рассматривать созидание мира богом как «извлечение» мира «из небытия, либо из собственного божественного существа» (С. 234) и что вообще невозможно постичь, каким образом могла осуществляться миросозидающая деятельность божественной первопричины, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах делали вывод, что, по сути дела, Вольтер вовсе не доказывает, а лишь постулирует сотворенность мира богом.

Уяснение этими мыслителями логических неувязок деистической аргументации Вольтера дополнялось пониманием ими того, что новейшее, развивавшееся с 40-х годов XVIII в. естествознание, осмысливая быстро расширяющуюся область новых фактов палеонтологического, геологического, биологического, химического характера, выдвигало гипотезы и теории, позволявшие на научной основе строить последовательно материалистическое воззрение на природу и место человека в ней. Ламетри и Дидро — первые в плеяде великих французских материалистов, — преодолевая деизм Вольтера, в то же время ясно осознавали связь своего мировоззрения с материалистическими положениями философии Вольтера. Эпиграфом к своему главному произведению «Человек—машина» Ламетри взял следующие стихотворные строки Вольтера, развенчивающие спиритуалистическое учение о душе как бессмертном духовно-субстанциальном начале, на время соединяемом по божественному соизволению с человеческим материальным телом:

Так вот он — луч, что с неба к нам идет,
Пред чьим сиянием толпа благоговеет!
Так вот он дух, что нас переживет!
Он вместе с чувствами рожден,
растет, слабеет...
Увы, он с ними и умрет [34].

Дидро, посылая Вольтеру экземпляр своего первого материалистическо-атеистического произведения «Пись-

[34] *Ламетри Ж. О.* Указ. соч. С. 183.

ма о слепых» (1749), начал сопроводительное письмо словами «дорогой учитель».

Выдающийся русский просветитель XIX в., философ-материалист Д. И. Писарев, рассматривая движение ряда воспитанных на произведениях Вольтера просветителей второй генерации от его противоречивого мировоззрения к атеизму, имел основание заметить, что «виновность» Вольтера за такой переход «нисколько не уменьшается тем обстоятельством, что он не одобрял крайних выводов, добытых его учениками. Поставивши этих учеников в такое положение, в котором не могут удержаться сильные и последовательные умы, Вольтер обязан отвечать за все дальнейшие умозрения французских мыслителей. Деизм Вольтера составляет только станцию на дороге к дальнейшим выводам Дидро, Гольбаха и Гельвеция» [35].

С атеистическими положениями «Писем о слепых» Вольтер не согласился и в ответном письме к Дидро попытался их опровергнуть. Уклончивый ответ Дидро, не желавшего раздувать обнаружившееся философское расхождение с «дорогим учителем», мог создать у Вольтера впечатление, что ему удалось переубедить своего корреспондента. Оно, однако, оказалось обманчивым: в последующие годы атеизм Дидро упрочивался и развивался. В 1758 г. было опубликовано материалистическо-атеистическое произведение еще одного бывшего ученика Вольтера — Гельвеция. Со вступлением на поприще философского творчества Гольбаха, которое произошло в начале 60-х годов, написанные им многочисленные произведения (публиковавшиеся под различными псевдонимами) широко распространили атеизм во французском обществе. Особенно важное значение в истории французского материализма XVIII в. имела его «Система природы» (1770); специальная глава в этой работе была посвящена сокрушительной критике деизма.

---

[35] *Писарев Д. И.* Избр. филос. и обществ.-полит. статьи. М., 1949, С. 537.

ПОЛЕМИКА С АТЕИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛИЗМОМ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КРАХ ДЕИЗМА

Защита деизма и полемика с атеистами пронизывают все философские работы Вольтера 60—70-х годов, хотя главное острие вольтеровского деизма по-прежнему было направлено против теологии и христианской религии.

Как раз с начала 60-х годов резко усилилось наступление просветителей на религиозно-клерикальную опору феодально-абсолютистского строя, превратившееся в настоящий ее штурм, в ходе которого деисты боролись рука об руку с атеистами. Самым горячим сторонником такого сплочения был Вольтер, призывавший объединенными усилиями «раздавить гадину». Объединенные действия просветителей в этом направлении были настолько успешными, что в 1770 г. королевский прокурор Сегье в обвинительном заключении о книгах, подрывающих христианство (в их числе наряду с несколькими произведениями Гольбаха находилась также большая работа Вольтера «Бог и люди»), панически писал о том, что «едва становятся известны они в столице, как распространяются, подобно бурному потоку, в провинциях, сметая все на своем пути. Осталось мало убежищ, которые свободны от этого заражения. Оно проникло в мастерские и достигло хижин.., Прежде народ был беден, но имел утешение; ныне он угнетен своими трудами и сомнениями... Ныне религия насчитывает почти столько же открытых врагов, сколько имеется так называемых философов.., Их приверженцы умножились, их учения распространились, и королевства ощутили, как зашатались их древние основания» [36]. В идеологической подготовке Великой французской революции деисты и атеисты были несомненными союзниками, и именно в 60—70-е годы они сплотились единым фронтом для борьбы с общим врагом — воинствующим клерикализмом.

---

[36] *Seguier.* Réquisitoire sur lequel est intervenu l'Arrêt du Parlement du 18 août 1770 qui condamne à être brûler différents livres ou brochures.., P., 1770, P. 5—6.

В эти же годы со всей силой обнаружилась философская неоднородность французского Просвещения. Произошло решительное мировоззренческое размежевание деистов и атеистов, и между ними разгорелась ожесточенная полемика. Интенсивное и массированное развертывание Гольбахом системы атеистических выводов из последовательно материалистического понимания вселенной вынудило Вольтера встать на защиту деистического взгляда на мир и вступить в сражение с философским противником, которого он ошибочно считал поверженным своими работами 30-х годов при критике в них взглядов предшествующих материалистов. Поздние философские произведения Вольтера изобилуют утверждениями, что «теизм» одерживает верх над атеизмом; выведенные в вольтеровских диалогах последователи атеистов один за другим оставляют свои прежние взгляды и признают правоту «теизма». Реальных атеистов из среды французских философов-просветителей Вольтеру, однако, переубедить не удалось, и даже многие несогласные с ними проницательные мыслители (например, Д'Аламбер) не находили весомыми вольтеровские аргументы.

Вдумываясь в эти произведения, нетрудно заметить, что в них вольтеровский деизм, сталкиваясь с воинствующим материализмом, претерпевает существенные изменения, которые объективно означают его теоретический крах. Вопреки победным реляциям Вольтера, которые могли ввести в заблуждение лишь философски малоподготовленных читателей, он в сражении с французскими материалистами отступает едва ли не на всех фронтах, правда, очень искусно затушевывая этот неприятный для него факт.

Серьезно изменились, во-первых, взгляды Вольтера на соотношение материи и движения, которое он практически почти полностью перестал рассматривать как привносимое извне, сверхъестественным образом. Признавая абсолютность движения в материальном мире — «в природе все находится в движении», — он со ссылкой на «древних философов» высказывает мысль о том, что движение может быть извечно присуще материи, как присущи ей протяженность и непроницаемость. Интересно, что ряд важных аспектов разработки французскими материалистами учения о движении как атри-

буте материи был намечен Вольтером в «Основах философии Ньютона» (С. 502, 681, 275), но он в то время не усмотрел их перспективности и по деистическим соображениям поспешил отойти от них.

Во-вторых, в результате философского осмысления новых естественнонаучных данных Вольтер был вынужден признать вечность существования материи (хотя это логически вытекало из содержавшегося еще в ранних его философских произведениях положения о неразрушимости материи). Но при этом он старался избегать каких-либо атеистических выводов. Признание неразрушимости материи он пытался совместить с креационизмом, который теперь принимал новую форму, являвшуюся, по сути дела, рецепцией неоплатоновской идеи эманации. Вечность материального мира трактуется Вольтером как его совечность богу в качестве некоего «истечения» сущности последнего. В «Диалогах Эвгемера» провозглашается, что «всеобщность вещей является эманацией этого бога, который один только существует сам по себе и является творцом всего». Здесь же поясняется, что «творения вечного Демиурга по необходимости стали вечными, подобно тому как с первого же момента существования Солнца стало необходимым, чтобы его лучи проникали пространство прямолинейно» (С. 570, 563). Выше названный «принцип действия» (в причудливом соединении с представлением о мире как результате божественной эманации) приобретал в произведениях Вольтера также черты аристотелевского перводвигателя.

Не имея под собой никакого естественнонаучного основания, идеи эманации и перводвигателя при их последовательном проведении влекли за собой совершенно несовместимое с деизмом заключение о перманентном творении мира богом и приведении им этого мира в движение.

Важно, что выраженная здесь концепция божественного мироустроения связывается с признанием несотворенности материи, ее самостоятельного, независимого от бога извечного существования — правда, лишь в виде хаотически движущихся частиц: положение о присущности материи движения вписывалось именно в эту концепцию, обосновываемую прежде всего ссылка-

ми на мнение древних. Вольтер писал, что «идея хаоса, упорядоченного богом, содержится во всех древних теогониях», которые «материю в божьих руках рассматривали как глину на гончарном кругу», и уточнял: «Хаос был беспорядочным движением, а космос — движением упорядоченным, которое господин мира сообщил всем телам». Впрочем, отход Вольтера от креационизма был лишь частичным: если находящаяся во вселенной совокупность материальных частиц не создана богом, то он является творцом всех определенных видов материального бытия. В полемике с материалистами, учившими об их естественном возникновении, Вольтер утверждал, что истинной является «система великого бытия, все сотворившего и давшего каждому элементу, каждому виду и роду свою форму, место и вечное предназначение. Великое бытие, создавшее золото и железо, деревья, траву, человека и муравья, создало также океан и горы» (С. 679, 680, 417).

Прямо связанная с фиксистским представлением, что в природе «все, вероятно, было тем, что́ оно и есть, в силу незыблемых законов», эта «система» деистического креационизма находилась в резком противоречии с выводами прогрессирующего естествознания, в котором к середине XVIII в. появились солидно обоснованные трансформистские концепции (от лат. transformatio — изменение), взятые на вооружение французскими материалистами при разработке учения о развитии природы, ее «непрерывном продвижении» от простых форм материального бытия ко все более сложным [37]. В 1748 г. во Франции была опубликована (спустя десятилетие после написания) книга покойного натуралиста-любителя де Майе «Телиамед, или Беседы индийского философа об уменьшении моря, образовании суши и происхождении человека». В следующем году увидела свет работа крупнейшего французского естествоиспытателя XVIII в. Ж. Л. Бюффона (1707—1788) «Теория земли», излагавшая гипотезу образования нашей и других планет в результате выброса вещества Солнца после столкновения последнего с каким-то массивным небесным телом («кометой»). Вынужденное церковниками формальное отречение Бюф-

[37] *Гольбах П. А.* Избр. произв.: В 2 т. М., 1963. Т. 1. С. 90.

фона от этой гипотезы лишь подогрело интерес к ней *, причем вскоре она была дополнена им всеобъемлющей эволюционистской концепцией. Вольтер прилагал большие усилия, чтобы дискредитировать «системы» Майе и Бюффона, в том числе посредством иронии, основной материал для которой давало его собственное, очень упрощенное изложение их содержания. Одновременно он отрицал правомерность естественнонаучных гипотез как таковых, безосновательно ставя их в один ряд с отвергаемыми просветительской мыслью «метафизическими системами», к каковым могли быть отнесены, однако, его собственные деистические построения, противопоставляемые этим гипотезам в качестве приемлемых альтернатив. Против трансформизма Майе и Бюффона Вольтер направлял также положение о «неведении» человека относительно «первых принципов» и происхождения всех вещей, особенно сильно зазвучавшее именно в 60—70-е годы и по-прежнему нелогично соединяемое с убеждением в истинности деистического решения проблемы «начал»: мы «не можем постичь ни единой первичной пружины, ни одного первичного принципа», «в устроении звезд, в организации клеща и человека есть первый принцип, доступ к которому неизбежно для нас закрыт», но «...мы, несомненно, творения бога» (С. 417, 327, 328, 336). Поскольку утверждения подобного рода неизменно сопровождались подчеркиванием радикального «неведения» человека относительно того, что же именно представляет собой и каким образом происходит декларируемое Вольтером творение, французские материалисты были правы, разъясняя, что «слово „бог" всегда будет означать лишь неизвестную причину явлений...»[38].

Попытки Вольтера вести борьбу с трансформистскими гипотезами на почве самого естествознания приводили его, с одной стороны, к безуспешному отрицанию ряда научно установленных фактов, в частности палеонтологических. Находимые в земных глубинах, в том числе в горных местностях, скопления окаменевших раковин древних морских животных Вольтер объявлял

* В отличие от гипотезы Ж. Л. Бюффона замечательная космогоническая гипотеза И. Канта, выдвинутая им в 1755 г., оставалась практически неизвестной вплоть до конца XVIII в.

[38] *Гольбах П. А.* Избр. произв. Т. 1. С. 429.

то чисто минералогическими образованиями, имеющими случайное сходство с органическими формами, то результатом их переноса на сушу людьми, то, наконец, останками озерных животных. Первое псевдообъяснение Вольтер выдвигал также в отношении окаменевших отпечатков тропических растений, обнаруживаемых при раскопках в странах умеренного и холодного климатических поясов. Извлекаемые же при этом скелеты крупных тропических животных Вольтер считал «естественным» рассматривать как погребенные в земле останки тех зверей, которые в незапамятные времена были вывезены из жарких стран некими любителями «естественной истории».

В то же время Вольтеру удавалось выявлять некоторые несообразности в ряде трансформистских гипотез, например односторонне «нептунистских», объяснявших все изменения на поверхности земного шара вплоть до горообразования исключительно действием морских вод. Такого рода критика была научно плодотворной, давая импульсы для более корректной разработки трансформизма. Принципиально важно при этом, что с течением времени Вольтер вынужден был принять некоторые трансформистские выводы, признавая, что «наша планета, несомненно, переживала какие-то свои метаморфозы, какие-то изменения формы, причем любая планета претерпевала свои преобразования, ибо, поскольку все находится в движении, все должно претерпевать перемены... Мы обнаруживаем тысячи признаков изменений на нашем маленьком шарике... Извержения вулканов, землетрясения, оседание почв должны были изменить достаточно большую поверхность Земли; исчезали озера, речные русла, поглощались города, возникали острова, разделялись материки... Далее я признаю наглядно доказанным, что требовался длиннейший ряд веков для выполнения всех перемен, происшедших на нашей планете, о чем мы имеем непреложные свидетельства» (С. 432, 433). Эти пассажи из вольтеровского произведения «О феноменах природы» (1768) созвучны тому взгляду на материальный мир, который двумя годами позже был изложен Гольбахом в его «Системе природы». Однако Вольтер, отходя от фиксизма, продолжал отстаивать «систему великого Существа», все сотворившего.

Не затронутой трансформизмом осталась в вольтеровском воззрении на природу сфера биологических явлений. Убеждение Вольтера в том, что «все виды неизменно остаются одними и теми же», обосновывалось лишь рассуждениями о невозможности совершенно фантастических превращений одних видов в предельно далекие от них другие виды: «...никакое движение, никакое искусство никогда не сумело произрастить на поле вместо пшеницы рыб, мушмулу вместо ягненка в утробе овцы, розы на вершине дуба или копыта у роя пчел и т. д.». В лучшем случае данными рассуждениями в какой-то мере затрагивались некоторые древние натурфилософские взгляды, но не эволюционизм XVIII в. как таковой, делавший акцент на сугубой малости и постепенности изменений, приводящих к появлению нового вида, который вначале лишь немногим отличается от исходной формы, так что значительные различия могут появиться не иначе как через множество промежуточных видов на лестнице эволюции. Место конкретного рассмотрения эволюционизма занимала у Вольтера легковесная ирония. В качестве единственного принимаемого материалистами способа образования всех видов растений и животных, в том числе и прежде всего самых сложных, Вольтер считал механическое смешение частиц вещества, бесконечно многообразное комбинирование которых должно привести к возникновению первичных существ, становящихся прародителями нового вида. Он яростно оспаривал то, чтобы одно только движение такого рода «создавало существа, снабженные органами... чтобы эти органы находились по отношению друг к другу в определенном соответствии; ...чтобы все живые существа производили себе подобных; ...всё это никакие комбинации не могут произвести сами по себе без мастера... Целая вечность всевозможных движений никогда не вызовет ни ощущения, ни идеи...» (С. 304, 375—376).

Важнейшую роль в полемике Вольтера с французскими материалистами играет отрицание им естественного возникновения жизни на Земле, обосновываемое ссылкой на выводы ряда биологов во главе со Спалланцани (1729—1799) о том, что всякое живое существо образуется из зародыша, порожденного другим живым существом. «Ныне, — писал Вольтер, — доказано

наглядно и умозрительно, что без своего зародыша не существует ни одно растение, ни одно животное. Зародыш содержится в яйце курицы, точно так же как в желуде дуба. Созидающая потенция руководит всеми этими процессами развития от одного конца универсума до другого». Своих оппонентов он упрекал в неоправданном доверии к утверждениям другого известного натуралиста XVIII в. — Нидгема, что в экспериментах с растворами некоторых веществ органического происхождения наблюдается образование массы мельчайших, видимых лишь под микроскопом живых существ — «угорьков», происходит научно доказанное «самопроизвольное зарождение». Он неустанно клеймил «злополучные опыты Нидгема, столь основательно уличенные в фальсификации г-ном Спалланцани...» (С. 437—438). Шарлатанскими опыты Нидгема Вольтер называл безосновательно; они в действительности были лишь некорректно поставленными, что окончательно прояснилось столетием позже. В XVIII же веке в споре между Нидгемом и Спалланцани, каждый из которых имел множество приверженцев среди естествоиспытателей и философов, «никто не победил, вопрос остался неразрешенным» [39]. Проницательность в оценке научной значимости опытов Спалланцани по сравнению с нидгемовскими сочеталась, однако, у Вольтера с неоправданными антиматериалистическими выводами из того факта, что в современных условиях никакие известные организмы не возникают на Земле из неживой материи. Постулирование Вольтером божественного «Мастера» в качестве творца «первоорганизмов» не имело какого-либо естественнонаучного обоснования. Надо сказать, что положение французских материалистов о естественном происхождении жизни обосновывалось не только ссылкой на нидгемовские опыты; они высказывали также более осторожные и здравые мысли о том, что этот процесс имел место и в далеком прошлом, когда на Земле были иные, чем ныне, условия, о которых пока можно строить лишь догадки, но которые можно надеяться прояснить по мере прогресса в деле научного изучения природы.

---

[39] *Плавильщиков Н. Н.* Очерки по истории зоологии. М., 1941. С. 72.

В целом в отношении естественнонаучного аспекта проблем возникновения и функционирования сложных структур в природе французские материалисты считали необходимым прямо говорить об актуальном незнании, что являлось немаловажным стимулом для дальнейшего развития научной мысли. «Удовольствуемся, — писал Гольбах, — признанием, что природа обладает неизвестными нам средствами, и не будем заменять ускользающие от нас причины призраками, фикциями или лишенными смысла словами. В противном случае мы лишь утвердимся в своем незнании и прекратим изыскания, чтобы упрямо коснеть в заблуждениях» [40]. Необходимый для естествоиспытателей мировоззренческий ориентир давался разъяснениями, что «если в цепи причин встречаются некоторые препятствия, мешающие нашим исследованиям, мы должны стараться их преодолеть», а «если же это нам не удается, мы ни в коем случае не имеем права заключать, будто эта цепь обрывается и в действие вступает сверхъестественная причина» [41]. Эти разъяснения играли также роль убедительных возражений Вольтеру, который постоянно осаждал своих материалистических оппонентов вопросами типа: «Что такое Солнце?», «Почему оно вращается вокруг своей оси?», «И почему в одном направлении, а не в другом?» — и, не получая на них ответа, делал отсюда вывод о реальности божественного мироустроения. Несостоятельность такого хода мысли, включающего в себя и утверждение, что «если творения людей... вынуждают меня признать в нас интеллект, я должен признать значительно более высокий интеллект, проявляющийся в массе подобных творений» в природе (С. 328—334), едко разоблачал Дидро: «Если какое-нибудь явление природы превышает, по нашему мнению, силы человека, мы тотчас говорим: «это — дело божие», наше тщеславие не может удовольствоваться меньшим. Не лучше ли было бы, если бы мы вкладывали в свои рассуждения несколько меньше гордости и несколько больше философии? Если природа представляет нам какую-либо загадку, какой-нибудь трудно распутываемый узел, то оставим его таким, ка-

---

[40] *Гольбах П. А.* Избр. произв. Т. 1. С. 94.
[41] Там же.

ков он есть, и не будем стараться разрубить его рукой существа, которое становится для нас затем новым узлом, еще труднее распутываемым, чем первый» [42].

«СОЦИАЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ» ВОЛЬТЕРОВСКОГО ДЕИЗМА И ЕГО АНТИНОМИИ

Косвенным, но весьма существенным проявлением силы материалистических аргументов выступает в работах Вольтера 60—70-х годов своеобразное девальвирование метафизического аспекта деизма, распространяющееся на всю метафизику, которая в «Философском словаре» характеризуется как «роман ума», а не действительное учение о том, что предполагается существующим «за пределами природы». Заключения о бытии бога исходя из естественнонаучных данных и определенного их осмысления рассматриваются Вольтером во все большей мере лишь как вероятные, а не совершенно достоверные. Вообще метафизика, по его мнению, ограничивается сферой вероятного знания, и человеческая мысль движется в ней от сомнения к сомнению, от предположения к предположению. Поэтому при обсуждении вопроса о существовании бога он торопится перейти от метафизических аргументов к ранее не встречавшимся в его сочинениях соображениям морально-юридического порядка, фактически придавая последним решающее значение в ходе обоснования деизма. Заявляя в «Философском словаре»,что«можно развить целый ряд доказательств, разрушающих атеизм в философии», Вольтер даже не перечисляет их, а предпочитает сразу поставить вопрос в иной плоскости: «Ясно, что в морали гораздо больший смысл имеет признавать бога, чем не допускать его существование. В интересах всего человечества, чтобы существовал бог, который карал бы то, что не в состоянии подавить человеческое правосудие...». Намечаемый тем самым переход от попыток теоретически доказать бытие бога к простому его постулированию по практическим соображениям выражается с еще боль-

[42] *Дидро.* Избр. филос. произв. М., 1941. С. 251.

шей откровенностью в статье «Бог, боги» названного словаря: «Объектом большого интереса, как мне это представляется, будет не метафизическая аргументация, но возможность взвесить вопрос, необходимо ли для общего блага всех людей, этих несчастных и мыслящих существ допускать существование бога — вознаграждающего и мстителя, служащего одновременно для нас уздой и утешением, или нам надо отбросить эту идею и отдаться нашим бедствиям без надежды и нашим преступлениям без угрызений совести» (С. 682, 681, 622, 623, 668). Эта линия на постулирование бытия бога находит предельное выражение в известной вольтеровской сентенции начала 70-х годов: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать».

Предпосылкой того, что получило наименование *«социального аргумента»* вольтеровского деизма, является не только ранее несвойственная Вольтеру, но и негодующе отвергавшаяся им мысль о том, что без веры в божественное правосудие невозможно столь необходимое для общества неукоснительное соблюдение «естественного закона». Теперь Вольтер настаивает на том, что «бог — существо бесконечно мыслящее — должен быть безгранично справедлив» и что «следует признавать бога — вознаграждающего и мстителя или же не следует признавать его вообще». Учение древнейших религий о справедливо распределяемых божеством посмертных наградах и карах начинает представляться ему «гласом природы, к которому прислушивались все древнейшие люди». Вновь обращаясь к «парадоксу» Бейля о возможности существования общества, состоящего из одних только атеистов, Вольтер на этот раз отрицал его. «В чем, — разъяснял он свою позицию, — усматривают немыслимость общества атеистов? Да в том, что считают людей, не имеющих узды (религиозной. — *В. К.*), неспособными к сосуществованию; в том, что законы бессильны против тайных преступлений; наконец, в том, что необходим бог-мститель, который карал бы на этом или на том свете злодеев, ускользнувших от человеческого правосудия». По мнению Вольтера, «следует различать народ в собственном смысле этого слова и сообщество философов, стоящее над народом», и учитывать, что, в сущности, «Бейль не сказал бы этого эпикурейцам — людям богатым, влюбленным в спокойный досуг, культи-

вировавшим все социальные добродетели, и особенно дружбу, избегавшим сложностей и опасностей общественных дел, ведшим, наконец, приятный и невинный образ жизни» (С. 380, 381, 642, 631, 632).

Широко известны слова Вольтера, что «в любой стране население нуждается в крепкой узде; и если бы Бейль распоряжался хотя бы пятьюстами или шестьюстами крестьян, он не обошелся бы без провозглашения пред ними существования бога — карающего и воздающего». Этими и другими аналогичными высказываниями выявляется направленность «социального аргумента» вольтеровского деизма против неимущих социальных низов, на которые необходимо, с точки зрения буржуазного идеолога, набросить узду религии для того, чтобы они считали частную собственность священным и неприкосновенным общественным установлением. Но подобная направленность вовсе не является главной в обосновании Вольтером социальной необходимости веры в бога как высшего справедливого судию, не оставляющего безнаказанным ни одно преступление. Прежде всего и всего более его занимала возможность придать вере в такого бога характер узды для сильных мира сего, над которыми не властно никакое человеческое правосудие, даже если их преступления совершаются на виду у всех. Именно этот смысл имеет утверждение Вольтера, что «атеизм — весьма опасное чудище, когда оно находится в тех, кто стоит у власти...», и что «атеизм был философией всех могущественных людей, проведших свою жизнь в том заколдованном кругу преступлений, который глупцы именуют *политикой, государственным переворотом, искусством править*». «Я бы,— писал Вольтер,— не хотел иметь дело с государем-атеистом, заинтересованным в том, чтобы истолочь меня в ступе: уверен, что в этом случае меня стерли бы в порошок» (С. 631, 645, 644, 384). Пропагандируемая Вольтером (и большинством французских просветителей, включая крупнейшего идеолога их революционно-демократического крыла Руссо) деистическая сакрализация «естественного закона» имела своей основной задачей поставить действенные этические барьеры практике феодально-абсолютистского (в принципе — всякого «деспотического», т. е. бесчеловечного, несправедливого) правления, одновременно спо-

собствуя реализации идеала «просвещенного правления» (по Руссо, истинного «общественного договора»).

Эта пропаганда не случайно развернулась в самый разгар штурма французскими просветителями идеологических устоев французского абсолютизма. Она выражает, по сути дела, не усиление в мировоззрении Вольтера собственно религиозных мотивов как таковых, а широко распространенную во французском Просвещении попытку коренным образом переосмыслить содержание религии, используя эту укоренившуюся в жизни народов форму общественного сознания в интересах прогрессивного социального преобразования. Практически все реально существовавшие религии Вольтер зачислял в разряд «суеверия», которое, «делая бога тираном, побуждает людей к тирании». Основываясь на ложном представлении о том, что почитание бога несовместимо с заботой о счастье людей на Земле, «суеверный человек становится сам себе палачом; палач он и для всякого, кто мыслит не так, как он». Порождаемый суеверием фанатизм вел к самым страшным преступлениям против человечности, и потому, считал Вольтер, «с лица Земли надо стереть... суеверие...». Он выражал надежду, что «можно — пером и словом — сделать людей лучше и просвещеннее». «Теизм» как единственно верная «религия» — без корпорации, без культа и без обрядов, без диспутов и ложного рвения» (С. 393, 397, 393, 394, 626) — рассматривался им как действенная и необходимая альтернатива «суеверию».

В социальном плане деизм Вольтера с его так называемым «социальным аргументом» наряду с другими разновидностями просветительского деизма играл, несомненно, прогрессивную роль, занимая важное место в идеологической подготовке Великой французской революции. Но укрепляя позиции вольтеровского деизма в общественном сознании, «социальный аргумент» еще больше ослаблял теоретическое оснащение этой разновидности деизма и вместе с тем порождал серьезную мировоззренческую путаницу. Французским материалистам пришлось вести борьбу с вольтеровской дискредитацией атеизма, показывая, что она зиждется на искажении его действительного смысла и приписывании вере в бога несвойственных ей функций.

Не ставя под сомнение высоконравственный образ жизни исторически реальных атеистов, к которым относились философы материалистического направления, именуемые Вольтером «кабинетными атеистами», он бездоказательно отнес к «атеистам на троне» целый ряд правителей, печально знаменитых своими злодеяниями, —от иудейского царя Давида и древнеримских диктаторов Ма́рия и Суллы до Чезаре Борджа в эпоху Возрождения и многих последующих кровавых деспотов. Ведь, как видно из работ самого Вольтера, единственным основанием для того, чтобы назвать их атеистами, он считает совершенные ими беззастенчивые преступления, уничтожение ими массы ни в чем не повинных людей. Из этих же работ видно, что многие перечисляемые Вольтером «самовластительные злодеи» отличались не просто неукоснительным соблюдением религиозного культа, но и сами были его высшими служителями. Давид, который совершал «прелюбодеяния, убийства и бесчисленные жестокости» и который даже на смертном одре упорствовал «в своей кровожадности и жестокой жажде мести», советовал «своему преемнику повелеть убить старого Семея, своего министра, и своего военачальника Иоава», представлен в Библии как один из самых угодных богу иудейских царей, все действия которого впоследствии с позиций христианской религии «старался обелить святой Амвросий». Чезаре Борджа, который, «чтобы обелить кровосмешение сына, подряд пустил в ход предательство, открытое насилие, кинжал, веревку и яд», — это папа Александр VI, издевавшийся «над суеверной слабостью тех, кого он убивал» и кому причиняя варварские муки, давая им «индульгенции и отпущение грехов во время их предсмертных конвульсий». Папой был и фигурирующий в вольтеровском списке «атеистов у власти» Сикст IV, приказавший «убить обоих Медичи в церкви Репараты, в тот самый миг, как перед лицом народа прославляли бога, коему этот народ поклонялся». Далее говорится об архиепископе Тролле, который приказал «убить у себя на глазах всех магистратов Стокгольма», о занимавшем министерский пост французском кардинале Ришелье, который по сфабрикованному обвинению «приказал двенадцати убийцам в судейских мантиях, состоявшим у него на жалованье, осудить на смертную казнь» одного из лиц госу-

дарства, «причем происходило это в его собственном загородном доме и в то самое время, как он предавался блуду со своими девками...». Французские материалисты на основании подобных фактов логично заключали, что на всем протяжении истории вера в справедливый «божий суд» (особенно сильная в иудаизме и христианстве) могла служить лишь иллюзорным утешением для жертв человеческой несправедливости, но показала свою полную неэффективность в качестве «узды» для преступлений всякого рода, и в первую очередь со стороны власть имущих. Верными в рассуждениях Вольтера на эту тему были лишь противоречащие его концепции «воздающего мстителя» признания (соответствующие фактам), что «может статься, — и это бывает слишком часто — убежденность в божественной справедливости не окажется уздой для вспышки страстей». Впрочем, Вольтер тут же возвращался к своей концепции, заявляя, что для верующего в божественную справедливость человека наказанием будут уже мучительные угрызения совести, когда после «опьянения» страстями «разум вступает в свои права» (С. 385, 383, 384, 385, 383). Не находя, однако, у названных «бичей человечества» подобных угрызений, Вольтер усматривал в этом самое бесспорное свидетельство их... безбожия и сразу же истолковывал последнее как причину отсутствия угрызений совести. Вольтер снова грешил против логики и фактов, которые утверждали обратное (и об этом писали французские материалисты): угрызения совести вовсе не являются непременной чертой религиозного сознания; они могут действенно проявляться на иррелигиозной основе.

Следует заметить, что самые серьезные инвективы Вольтера в адрес атеизма оказывались фактически подорванными его последующими характеристиками «суеверия», т. е. исторически реальных религий. Указание Вольтера, что «суеверный человек становится фанатиком, и тогда его рвение толкает его на любые злодейства во имя господа», давало ключ к пониманию того факта, что самая искренняя вера в бога сама по себе вовсе не обязательно сопровождается соблюдением гуманистического «естественного закона», а зачастую ведет к его беззастенчивому попранию. Как отмечал Вольтер, «преступления освящались почти всеми народами

мира...». В свете антиклерикальных разоблачений Вольтером социальной опасности религиозного учения о государях как «божьих помазанниках» и церковных иерархах как «наместниках бога на земле» логически и эмпирически обоснованным являлся вывод, что именно такого рода властитель по причинам, никоим образом не связанным с атеистическими убеждениями, «приносит себе в жертву все, чего желает или что стоит на его пути», и «оказывается самому себе богом» (с. 387, 385, 384), т. е. утверждается в преступной вседозволенности.

Французские материалисты убедительно показали также несостоятельность любых, включая вольтеровские, попыток возложить ответственность за злодеяния не верующих в бога людей на атеизм как философскую концепцию, органично связанную с материализмом. Они разъясняли, что в целом для последней как в древности, так и в новое время было характерно стремление свойственными ей чисто философскими и одновременно сугубо мирскими соображениями обосновать императивность необходимых людям норм и законов общежития, важность их неукоснительного соблюдения по внутреннему убеждению. Одну из самых серьезных опасностей связывания морали с верой в бога как «воздающего мстителя» французские материалисты усматривали в том, что при мало-мальски вдумчивом отношении к религии, неизбежно распространяющемся по мере успехов цивилизации, она «не выдерживает критики и кто открыл несостоятельность религии, тот, пожалуй, решит, что и мораль — такой же фантом, как и религия, на которой она якобы покоится»[43]. Согласно Гольбаху, к этому ложному заключению люди склоняются из-за отсутствия у них философски углубленных атеистических убеждений: «Освободившись от рабства суеверия, они впадают в полную анархию; убедившись в призрачности религии, они считают все для себя дозволенным»[44]. Гольбах подчеркивал, что «правильно понятый атеизм основывается на требованиях природы и разума, которые в отличие от религии никогда не оправдывают преступлений дурных людей»[45]. Сформулированная Голь-

---

[43] *Гольбах П. А.* Избр. произв. М., 1936. Т. 1. С. 286.
[44] Там же.
[45] Там же. С. 630.

бахом этическая концепция французского материализма гласила, что «интересы человеческого рода требуют, чтобы мы были всегда склонны делать людям добро, всегда готовы приносить пользу любому человеческому существу и чтобы эта готовность стала нашей привычкой»[46]. И Вольтер, естественно, должен был признать за автором «Системы природы» намерение, чтобы «люди стали добродетельными, но стали бы ими без бога...» (С. 672).

К числу важнейших слабостей социального постулата вольтеровского деизма относилось, далее, то, что тезис о божественном правосудии повисал в воздухе из-за неопределенности вопроса о субъекте посмертных вознаграждений и кар. Дело в том, что бессмертие души Вольтер продолжал отвергать, но не уходил и от рассуждений о возможности для бога соединить чувствование и мышление с неким неразрушимым атомом («монадой»), сохраняющимся после смерти человека и разрушения его тела. «Вы согласитесь, — говорит один из собеседников (Калликрат) в «Диалогах Евгемера», — что, если изобретение этой монады и не совсем нелепо, оно все же очень рискованно; не стоит основывать свою философию на вероятностях». Евгемер, предстающий в данном произведении выразителем вольтеровского деизма, в сущности, не в состоянии ничего возразить на это критическое замечание. Вдобавок он признается в полной неясности для него способа осуществления богом своего правосудия: «Я сохраняю благоговейное молчание относительно кар, коими он казнит преступников, и наград, воздаваемых справедливым» (С. 573, 571).

Камнем преткновения для деистических построений Вольтера являлась наконец *проблема зла,* которую он характеризовал как создающую непреодолимые трудности на пути всех учений, принимающих бытие бога. Внимание Вольтера к этой проблеме определялось его убеждением в том, что «созерцание наших человеческих зол и преступлений» — это главная причина атеизма, приверженцы которого считают реальность зла несовместимой с допущением существования бога как бесконечно могущественного, разумного и благого творца всех существ. В 30-е годы задачу теодицеи, т. е. обос-

[46] Там же. Т. 2. С. 55.

нования «невиновности» бога за наличное в мире зло, Вольтер пытался решить средствами, в значительной мере заимствованными из «теории оптимизма», развитой Лейбницем в Германии и рядом английских мыслителей (Поп, Шефтсбери, Болинброк). На сетования атеиста по поводу человеческих несчастий Вольтер отвечал: «...то, что скверно по отношению лично к вам, есть благо с точки зрения всеобщего порядка», и доказано-де, что «в этом мире существует больше добра, чем зла...». Во второй половине 50-х годов Вольтер, никогда не принимавший теории оптимизма полностью, резко отмежевался от нее и подверг ее наряду с теоретической критикой беспощадному осмеянию в философском романе «Кандид». Ни в коей мере не утрачивая уверенности, высказанной в полемике с паскалевским пессимизмом, в отсутствии фатальной обреченности человека на страдания и в возможности наполнить свою жизнь счастьем, Вольтер в 60—70-е годы неустанно подчеркивал масштабность и глубину гнетущего людей зла. В «Письмах Мемния Цицерону» (1771) мир назывался «клоакой несчастий и преступлений», говорилось, что во всех странах можно увидеть «одних лишь рабов и тиранов, опустошения, заговоры и казни» и что «животные еще более несчастны, чем мы: они подвержены тем же болезням, но лишены всякой помощи; рожденные все без исключения чувствующими существами, они взаимно пожирают друг друга» (С. 480, 279, 481).

На фоне этой мрачной картины задача теодицеи была для Вольтера особенно сложной. Он продолжил и развил намеченную им ранее линию объяснения физических и «моральных» зол исключительно естественными причинами. В самом строении и функционировании живых существ, в их отношениях с внешней средой Вольтер усматривал объяснение того, что они испытывают боль, претерпевают страдания, подвержены болезням и старению, наконец, умирают. Что касается «моральных» зол — несправедливости, обездоленности, гнета, насилия, жестокости и т. д., то причиной их являются сами люди. Основная масса этих зол, указывал Вольтер, исходит от дурных государей, употребляющих власть на то, чтобы «опустошать мир, посылая на смерть одну часть людей и ввергая в нищету другую». Социально остро Вольтер разъяснял, что это вина не бога, а «са-

мих людей, терпящих подобные суровые расправы»; за деспотических правителей народы должны упрекать «одних лишь себя и негодные законы, учрежденные ими, либо недостаток у себя смелости, мешающий им заставить других исполнять законы хорошие» (С. 272).

Вольтеровская детеологизация проблемы зла, наносившая завершающий удар по идее божественного провидения, была весьма последовательной и распространялась на понимание творения богом всех видов природного бытия. Снимая с бога ответственность за то, что в устроенном им мире живые существа сотворены так, что они с необходимостью должны испытывать страдания и гибнуть, Вольтер был вынужден допустить ограниченность божественного могущества и благости: «единственным средством, остающимся нам для его оправдания, является признание, что мощи его не хватило для торжества над физическим и моральным злом» (С. 482). Этот тезис был сопряжен с допущением Вольтером действительно извечного и независимого от бога существования материи с рядом присущих ей свойств. Ограниченный в своем могуществе и благости бог предстает как «Мастер», создающий «механизм природы» из наличного материала, свойств которого он не может изменить. Вольтер не замечал, что допущение ограничения божественного могущества подрывало и взгляд на бога как на олицетворение абсолютной справедливости.

Так, снимая одни трудности, возникавшие перед деизмом, Вольтер, в сущности, создавал для него другие, еще большие, правда не столь заметные для поверхностного взгляда. В общем, в конфронтации с атеизмом французских материалистов деизм Вольтера утрачивал одно за другим свои прежние теоретические основания, запутывался в логических противоречиях, безуспешно пытаясь прикрыть все эти слабости завесой якобы фатального «невежества» философов относительно «первых пружин» и «начал» мироздания.

Теоретическая несостоятельность вольтеровского «деизма разума» как философского учения сочеталась, однако, с его широким распространением — наряду с теоретически еще более слабым руссоистским «деизмом чувства» — в общественном сознании не только Франции, но и ряда других стран, затронутых Просвещением во второй половине XVIII в. Подавляющее большинство

французских просветителей стояли на позициях деизма и не принимали атеизма. Деизм стал философско-религиозной платформой Великой французской революции, самые радикальные деятели которой — якобинцы во главе с Робеспьером — даже декретировали в мае 1794 г. введение во Франции деистического культа Верховного Существа в качестве общеобязательной «гражданской» религии. Правда, якобинцы выступали глашатаями руссоистского деизма, но у последнего было много общего с вольтеровским. Оно рельефно проявилось при обосновании Робеспьером в Конвенте декрета о новом культе, когда прозвучал ряд деистических доводов Вольтера, в частности, его фраза о том, что если бы бога не было, его надо было выдумать. На состоявшемся 8 июля 1794 г. празднестве в честь установления культа Верховного Существа была торжественно сожжена «гидра атеизма».

Причины подобной экспансии деизма были преимущественно социальными, в значительной мере — социально-психологическими. Господствовавшая среди просветителей установка на преобразование общества в «царство разума» реформаторской деятельностью «просвещенных государей» побуждала отдавать предпочтение философии, которая из-за своей религиозной формы могла представляться — и действительно представлялась — ряду влиятельнейших европейских монархов, прекрасно осведомленных о традиционной опоре монархической власти на религию, несравненно более «благонадежной», нежели атеистический материализм. Чрезвычайно заманчивым для просветителей было, далее, использование ценностных аспектов антитезы «религия —суеверие», прочно укоренившейся в общественном сознании, для критики христианства и других исторически реальных религий, дававших идеологическое обоснование феодально-абсолютистским режимам и через свои церковные организации сраставшихся с последними. Утверждение веры в деистического бога казалось просветителям также наиболее простым и эффективным средством придать непререкаемый авторитет социально-нравственным принципам «царства разума», добиваясь их неукоснительного соблюдения по внутреннему убеждению не только узким кругом философов, но всей массой населения — и власть имущими, и подданными

вплоть до социальных низов. Учитывалось деистами, наконец, и то, что их учение гораздо доступнее для усвоения, нежели атеизм,требующий от своих сознательных приверженцев высокой философской культуры. Руссо, исходя из последнего соображения, стремился к максимальному упрощению самого деизма, поскольку находил его вольтеровскую версию усложненной: на место «деизма разума», оперирующего «метафизическими» аргументами, он стремился поставить «деизм чувства», опирающийся на непосредственное убеждение в существовании бога, возникающее у обладающего сознанием человека без того, чтобы для этого требовалась какая-либо образованность.

История показала, что деизм весьма эффективно способствовал идеологической подготовке Великой французской революции, и с этой точки зрения надежды, возлагавшиеся на него просветителями, оказались обоснованными. Однако предпринятая якобинцами в интересах укрепления осуществляемой ими революционной диктатуры институциализация деизма потерпела провал.

Не прошло и трех недель после празднества в честь Верховного Существа, как контрреволюционный переворот 27 июля 1794 г. смел якобинскую диктатуру, а вместе с ней ушел в небытие и деистический культ, учрежденный ею.

Вчитываясь в деистические рассуждения Вольтера и других французских просветителей, нетрудно заметить, что обосновываемая ими вера в бога предназначалась, в сущности, для «внешнего потребления». Разрабатывавшаяся философами и именовавшаяся «религией философов», эта вера ими самими считалась общественно необходимой лишь для тех, кто не входил в «сообщество философов» и потому не признавался способным соблюдать «естественный закон» по внутреннему убеждению, — для власть имущих и для народа. Для одобрявших деизм «просвещенных государей» он был ценен, однако, лишь как узда в отношении мятежных устремлений и поступков подданных. В народных же массах, сохранявших приверженность религии, деизм принципиально не мог распространиться и стать действенной альтернативой христианству: лишенный мистицизма, веры в чудо,

не вызывающий соответствующих эмоций, деизм представлял собой не более чем просветительский суррогат религии.

* * *

Для обладающего марксистской культурой советского читателя философские произведения Вольтера, публикуемые в настоящей книге, интересны как своими сильными, так и слабыми сторонами. Их сильная сторона — это прежде всего комплекс идей, явившийся важным этапом в развитии материалистической философии Нового времени на пороге возникновения французского материализма XVIII в. Это, далее, передовые социально-политические и антиклерикальные идеи, посредством которых осуществлялась идеологическая подготовка величайшей антифеодальной революции рассматриваемой эпохи и которые вместе с тем приобрели всемирно-историческое значение для духовной культуры человечества, эффективно способствуя изживанию ряда наиболее опасных видов отчуждения. Слабая сторона этих произведений — это полемика Вольтера против последовательно материалистического понимания природы и места человека в ней и это неразрывно связанные с данной полемикой попытки Вольтера доказать бытие бога как творца или устроителя мира и обосновать общественную необходимость веры в бога как высшего судию, не оставляющего безнаказанным ни одно злодеяние и не вознагражденным ни одно доброе дело людей. Сочетание слабой и сильной сторон в мировоззрении Вольтера — это не сугубо индивидуальный факт, а яркое выражение противоречивости всей той исторически значительной фазы новоевропейской философии, которую Ф. Энгельс квалифицировал как «деистскую форму материализма». Очень важно то, что предпринятое Вольтером развертывание деизма в «систему верховного Существа» способствовало наглядному обнаружению теоретической необоснованности и внутренней несогласованности этого учения. То, что было задумано Вольтером как триумфальная апология деизма, обернулось фактически философской дискредитацией последнего, причем в этот процесс оказались вовлечены и ассимилированные деизмом традиционные теологические «доказательства» бы-

тия бога, которые до сих пор имеют хождение в религиозной литературе.

Предлагаемые вниманию читателей произведения Вольтера не только дают возможность углубить и конкретизировать представление о сложной диалектике развития философской мысли XVIII в. Их осмысление может способствовать также решению таких актуальных идеологических задач, как формирование научно-материалистического мировоззрения и борьба со всевозможными современными проявлениями «богоискательства», с попытками «религиозного возрождения».

Философские размышления Вольтера даже о самых абстрактных предметах всегда тесно связаны с социально-нравственными вопросами человеческого бытия. Они оживлены страстью борца с несправедливостью и мракобесием, полны юмора, а порой и сарказма, что придает им особую действенность. Вольтер, по словам Белинского, «орудием насмешки» потушил «в Европе костры фанатизма и невежества...»[47]. В наше время, когда по-новому остро встают вопросы о сущности религии и ее роли в истории народов, чтобы не начинать их рассмотрение «с нуля», полезно обратиться к произведениям мыслителей, которые в прежние времена способствовали освобождению человечества от ига клерикализма и религиозного дурмана. В процессе «воспитания историей», которому ныне придается огромное значение, воспитание историей философии должно, несомненно, играть немаловажную роль.

В. Н. Кузнецов

[47] *Белинский В. Г.* Эстетика и литературная критика: В 2 т. М., 1959. Т. 2. С. 635—636.

ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА

Письмо первое
О КВАКЕРАХ

Я решил, что учение и история столь необычных людей заслуживают любознательного отношения разумного человека. Дабы просветиться в этом вопросе, я собрался встретиться с одним из самых знаменитых квакеров[1] Англии, который после тридцати лет занятий коммерцией сумел положить предел росту своего состояния и своим вожделениям и удалился в деревню под Лондоном. Мне надлежало разыскать его в его убежище; это был небольшой дом добротной постройки, сверкавший незатейливой чистотой. Сам квакер был бодрым стариком, никогда не страдавшим никакими недугами, ибо он не ведал страстей и ему была чужда невоздержанность. В жизни своей я не лицезрел более благородного и привлекательного облика. Одет он был, как все люди его религии, в платье без боковых складок и пуговиц на карманах и на манжетах и носил большую шляпу с загнутыми полями, как наши священники. Принял он меня в той же шляпе, и, когда ступил мне навстречу, в его осанке нельзя было заметить даже намека на поклон; однако в его открытом и исполненном человеческого достоинства лице было гораздо больше предупредительности, чем у тех, кто привык шаркать ногой или держать в руках предмет, предназначенный для покрытия головы.

— Друг, — сказал он мне, — я вижу, ты иностранец: если я могу быть тебе чем-то полезен, только скажи.

— Месье, — отвечал я, согнувшись в поклоне и скользя по направлению к нему ногой по нашему обычаю, — я льщу себя надеждой, что мое справедливое любопытство не будет вам неприятно и вы снизойдете ко мне и окажете мне честь просветить меня в вашей религии.

— Люди твоей земли, — возразил он мне, — слишком склонны к любезностям и реверансам, однако я не

встречал еще ни одного, кто был бы столь любознателен, как ты. Входи, и сначала давай пообедаем вместе.

Я произнес еще несколько нелепых приветствий — трудно ведь сразу отрешиться от своих привычек; после здоровой и скромной еды, начавшейся и закончившейся молитвой, я стал расспрашивать моего нового друга. Я начал с вопроса, который добрые католики не раз задавали гугенотам.

— Дорогой сэр, — спросил я его, — вы крещены?

— Нет, — отвечал мне квакер, — точно так же как и мои собратья.

— Значит, черт побери, — воскликнул я, — вы не христианин?

— Сын мой, — с живостью возразил он мягко, — не надо браниться: мы христиане и стараемся быть добрыми христианами, но мы не считаем, будто суть христианской веры состоит в поливании головы чуть посоленной холодной водой.

— Проклятье — вскричал я, пораженный таким нечестьем, — вы, верно, забыли, что Иисус Христос был крещен Иоанном?

— Друг, еще раз прошу, обойдемся же без проклятий, — молвил добродушный квакер. — Христос принял крещение Иоанна, но сам не крестил никого; мы же ученики Христа, а не Иоанна.

— Увы! — сказал я, — в стране, где есть инквизиция, вы были бы попросту сожжены, бедняга... Во имя любви к богу давайте я вас окрещу и сделаю христианином!

— Если бы требовалось лишь это для снисхождения к твоей слабости, — возразил он серьезно, — мы охотно бы это сделали; мы никого не осуждаем за выполнение обряда крещения, но мы верим, что те, кто исповедует абсолютно священную и духовную религию, должны, елико возможно, воздерживаться от иудейских обрядов.

— Так что же, крещение, — вскричал я, — это один из иудейских обрядов?!

— Да, мой сын, — продолжал он, — он настолько иудейский, что многие евреи еще и поныне пользуются иногда крещением Иоанна. Обратись к античности, и ты узнаешь, что Иоанн просто воскресил эту практику, действовавшую задолго до него у евреев, подобно тому как паломничество в Мекку было принято у исмаилитов.

Иисус пожелал принять крещение Иоанна, точно так же как он подверг себя и обрезанию, но то и другое — и обрезание и омовение водой — было упразднено крещением Христа — этим крещением духа, омовением души, спасающим людей; так, предтеча Иоанн сказал: «Я крещу вас водою истине, но другой придет после меня, более могущественный, чем я, которому я недостоин даже подать сандалии; он окрестит вас огнем и Св. Духом». Точно так же великий апостол язычников Павел писал коринфянам: «Христос послал меня не крестить, но проповедовать Евангелие». Таким образом, этот самый Павел никогда никого не крестил водой, кроме двух человек, да и то против своей воли. Он сделал обрезание своему ученику Тимофею, другие апостолы также делали обрезание всем, кто этого желал. А ты обрезан? — обратил он ко мне вопрос.

Я ответил ему, что не имел этой чести.

— Прекрасно, друг, — сказал он, — ты христианин без обрезания, а я — без крещения.

Вот таким образом мой святой человек тенденциозно злоупотребил тремя-четырьмя местами Священного писания, которые, казалось бы, оправдывали его секту, но он самым искренним образом забыл добрую сотню мест, кои ее уничтожают. Я поостерегся вступать с ним в какой бы то ни было спор — когда имеешь дело с одержимым, это ничего не дает: никогда не следует говорить человеку о недостатках его возлюбленной, как ни в коей мере не следует объяснять истцу слабые стороны его дела или приводить доводы рассудка ясновидцу; итак, я перешел к другим вопросам.

— А как вы относитесь к причастию? — спросил я его.

— Мы вообще им не пользуемся, — сказал он.

— Как! Вы вообще обходитесь без причастия?

— Нет, но мы признаем только причастие сердца.

После этого он снова стал цитировать мне Писание. Он произнес предо мной внушительную речь, направленную против причастия, говоря со мной вдохновенным тоном, дабы внушить мне, что все святые таинства — это выдумки людей и что слово «таинство» ни разу не встречается в Евангелии.

— Извини, — сказал он,— мое невежество, я не привел тебе и сотой доли доказательств моей религии, но ты

можешь их прочесть в изложении нашего символа веры у Роберта Беркли[2]: это одна из лучших книг, вышедших когда-либо из рук человеческих. Наши враги считают ее очень опасной, именно это показывает, насколько она разумна.

Я обещал ему прочесть эту книгу, и мой квакер решил, что я уже обращен.

Далее он изложил мне в немногих словах основание тех странностей, которые служат причиной презрения, питаемого к этой секте другими.

— Признайся, — сказал он, — что тебе стоило больших усилий не рассмеяться, когда на все твои любезности я отвечал тебе, не снимая с головы шляпы и разговаривая с тобой на «ты», а между тем ты мне кажешься слишком образованным человеком, чтобы не знать, что во времена Христа ни одна нация не впадала в эту смехотворную подмену единственного числа множественным. Цезарю Августу говорили: «Я тебя люблю, я тебя прошу, благодарю тебя»; он не терпел даже, чтобы его называли «Господин, *Dominus*» *. И лишь гораздо позже люди решили обращаться друг к другу на «вы» вместо «ты», словно вместо одного человека налицо два, и присвоить себе заносчивые титулы «Ваше высочество», «Превосходительство», «Преосвященство», которые земные черви дают другим земным червям, заверяя их в том, что они являются почтительнейшими (и бесчестно двоедушными!), ничтожнейшими и покорнейшими их слугами. Именно для того, чтобы сильнее остерегаться этого недостойного обмена лживыми и льстивыми заверениями, мы одинаково обращаемся на «ты» к королям и холодным сапожникам и никому не кланяемся, сохраняя к людям лишь милосердие, уважение же — только к законам.

Мы также носим одеяние, несколько отличное от одежды других людей, дабы это было нам постоянным напоминанием о том, что мы не должны на них походить. Другие люди носят знаки своего сана, мы же — знаки христианского смирения; мы избегаем веселых сборищ, зрелищ, игр, ибо это дало бы нам повод сетовать на то, что сердца наши заполнены подобными пустяками вместо того, чтобы там обитал бог; мы никогда

* *Повелитель* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

не даем клятвенных заверений даже в судах, ибо считаем, что имя Всевышнего не подобает произносить всуе в мелочных спорах людей. Когда мы должны явиться пред должностным лицом для устроения чужих дел (у нас самих никогда не бывает тяжб), мы подтверждаем истину простым «да» или «нет», и судьи верят нам на слово, в то время как великое множество христиан ложно клянутся на Евангелии. Мы никогда не идем на войну, но не потому, что боимся смерти; напротив, мы благословляем миг, соединяющий нас с Первосущим, но мы ведь не волки, не тигры и не псы, а люди и христиане. Наш бог, повелевший нам возлюбить своих врагов и страдать безропотно, несомненно, не желает того, чтобы мы переплывали море и убивали наших собратьев, потому что убийцы в алых плащах и высоких двурогих шлемах вербуют горожан, поднимая шум при помощи двух палочек, коими ударяют по туго натянутой ослиной коже; и когда после выигранного сражения весь Лондон сверкает иллюминацией и небо загорается от ракет, а воздух оглашается шумом благодарственных молебнов, звоном колоколов, звучанием органов и пушечными выстрелами, мы содрогаемся в тиши от этих убийств — причины всеобщего ликования.

Письмо второе
О КВАКЕРАХ

Примерно таков был разговор, состоявшийся между мной и этим необычным человеком; но еще гораздо больше я был поражен, когда в следующее воскресенье он повел меня в церковь квакеров. В Лондоне у них много часовен; та, в которой я оказался, расположена рядом со знаменитым столпом [3], именуемым Монументом. Когда я вошел вместе со своим провожатым, все были уже в сборе. В церкви находилось около четырехсот мужчин и трехсот женщин; эти последние прикрывали свои лица веерами, головы мужчин были покрыты широкополыми шляпами; все сидели в глубоком молчании. Я прошел между ними вперед, при этом никто даже на меня не взглянул. Молчание это длилось четверть часа. Наконец, один из них поднялся с места, снял свою шляпу и после нескольких ужимок и вздохов, действуя

отчасти ртом, а отчасти носом, понес галиматью, взятую, как он считал, из Евангелия, но в которой ни он сам, ни кто-либо из присутствовавших не поняли ни слова. Когда этот конвульсионер завершил свой великолепный монолог, а собрание разошлось, совершенно оглушенное полученным наставлением, я спросил у моего приятеля, для чего наиболее мудрые среди них терпят подобные глупости.

— Мы обязаны их терпеливо переносить, — отвечал он мне, — потому что не можем знать, вдохновлен ли человек, встающий, чтобы держать речь, разумом или же глупостью; в этом сомнении мы весьма терпеливо слушаем, мы разрешаем говорить даже женщинам. Часто случается, что вдохновленными оказываются сразу двое или трое наших богомольцев, и тогда в доме господнем поднимается порядочный шум.

— Значит, у вас вообще нет священников? — спросил я его.

— Нет, мой друг, — сказал квакер, — и мы прекрасно без них обходимся. Богу не угодно, чтобы благодать святого духа нисходила по воскресеньям на кого-либо одного и чтобы мы осмеливались отстранять от этого других верующих. Благодарение небу, мы — единственные люди на Земле, совсем не имеющие проповедников. Не хочешь ли ты лишить нас этого счастливейшего отличия? В самом деле, для чего нам отлучать от груди свое собственное дитя и отдавать его наемной кормилице, если у нас самих есть молоко, чтобы его напитать? Эти наемницы тотчас же станут госпожами в доме и подчинят себе и мать и дитя. Бог рек: *Даром получили, даром и отдайте.*

Станем ли мы после подобных слов торговать Евангелием и святым духом и превращать собрание христиан в купеческую лавку?

Мы не даем ни гроша людям, одетым в черное, для того чтобы они помогали нашим бедным, хоронили наших умерших, проповедовали бы верующим: священные эти обязанности слишком нам дороги, чтобы перекладывать их на чужие плечи.

— Но как можете вы различить, что именно дух божий вдохновляет вас в ваших речах? — спросил я настойчиво.

— Всякий, — сказал он, — кто молит бога о том, чтобы он его просветил, и кто возвещает прочувствованные им евангельские истины, может быть уверен в том, что его вдохновляет бог.

Вслед затем он забросал меня цитатами из Евангелия, долженствующими, по его мнению, доказать, что не существует христианской веры без непосредственного откровения. Он добавил также следующие примечательные слова:

— Когда ты двигаешь каким-либо из своих членов, двигает ли его при этом собственная твоя сила? Разумеется, нет, ибо у члена этого часто бывают непроизвольные движения. Именно тот, кто создал твое тело, поднимает это тело с земли; а идеи, получаемые твоей душой, — разве ты их сам образуешь? Менее всего, ибо они приходят к тебе вопреки твоей воле. Таким образом, твои идеи дает тебе Создатель твоей души; но, поскольку он сохранил свободу для твоего сердца, он дает твоему уму идеи, кои твое сердце заслуживает; ты живешь в боге, действуешь и мыслишь в боге, и тебе остается лишь раскрыть глаза на тот свет, что просвещает всех людей; тогда ты узришь истину и заставишь узреть ее других.

— Э, вот и отец Мальбранш [4] во всей его наготе! — воскликнул я.

— Я знаю твоего Мальбранша, он был чуть-чуть квакером, но был им не в достаточной мере.

Вот главное, что я извлек из доктрины квакеров; в следующем письме перед вами пройдет их история, которая должна показаться вам еще более необычной, чем их учение.

Письмо третье

О КВАКЕРАХ

Вы уже видели, что история квакеров начинается с Иисуса Христа, который, согласно их учению, был первым квакером. Религия, говорят они, подверглась искажению почти сразу же после его смерти и пребывала в таком искаженном виде около 1600 лет; однако в мире всегда существовали отдельные тайные квакеры, брав-

шие на себя заботу о поддержании священного огня, затухающего по милости остальных, пока, наконец, этот светоч не возгорелся в 1642 году[5] в Англии.

Случилось это в то время, когда три или четыре секты раздирали на части Великобританию гражданскими войнами[6], затевавшимися во имя божье: некий человек по имени Джордж Фокс из графства Лестер, сын шелкодела, принял решение выступить с проповедями, по его собственному утверждению, в качестве истинного апостола; иначе говоря, он брался проповедовать, не умея ни читать, ни писать. Это был молодой человек двадцатипятилетнего возраста, безупречной нравственности, но сумасброд. Он был с головы до пят облачен в кожу и так ходил из деревни в деревню, выкрикивая протесты против войны и духовенства. Если бы его проповеди были направлены только против солдат, ему нечего было бы опасаться, но он нападал на церковь и потому немедленно был заточен в тюрьму. Его препроводили в Дерби к мировому судье. Фокс предстал перед судьей в своем кожаном колпаке. Сержант закатил ему тяжелую оплеуху, приговаривая: «Нищий бродяга, или ты не знаешь, что перед господином судьей надо стоять с непокрытой головой?» Фокс подставил ему другую щеку и попросил у сержанта милости, чтобы он во имя любви к богу дал ему другую пощечину. Мировой судья хотел привести его к присяге перед допросом. «Друг мой, — отвечал он судье, — знай, я никогда не произношу имени Господа всуе». Когда судья услыхал, что человек этот обращается к нему на *ты*, он послал его в исправительное заведение графства, чтобы ему дали там розог. Джордж Фокс отправился в дом умалишенных, славя бога, и там без промедления над ним была учинена экзекуция в точном соответствии с приговором судьи. Те, кто выполнял эту палочную эпитимью, были поражены, когда он попросил добавить ему еще несколько ударов розгами ради спасения его души. Господа эти не заставили себя долго просить, Фокс получил двойную порцию розог, за что он их поблагодарил самым сердечным образом. Затем он принялся им проповедовать. Сначала раздался смех, затем они стали прислушиваться, и поскольку одержимость — заразная болезнь, многие почувствовали себя убежденными; так люди, учинившие ему порку, стали его первыми учениками.

Освобожденный из своего заточения, он бродил по полям с двенадцатью своими приверженцами, без устали проповедуя против духовенства и время от времени подвергаясь порке. В один прекрасный день, привязанный к позорному столбу, он произнес перед народом такую страстную речь, что обратил в свою веру полсотни слушателей, остальных же сделал столь ревностными своими приспешниками, что, возбужденные, они освободили его от позорного ошейника. После этого было послано за англиканским священником, коему было поручено осуждение Фокса на эту казнь, и тот был водворен на свое место у позорного столба.

Он осмелился даже обратить нескольких солдат Кромвеля [7], которые бросили после этого военное ремесло и отказались дать присягу на верность. Кромвелю не нужна была секта, члены которой вообще не желали сражаться, тем более что Сикст Пятый [8] изрек дурное пророчество о секте *dove non si chiavava* *. Кромвель воспользовался своей властью для преследования этих новоявленных апостолов, и ими стали заполнять тюрьмы; однако преследования имеют всегда один результат — они создают прозелитов; последние выходят из тюрем укрепленными в своей вере и сопровождаемые обращенными ими тюремщиками. Однако вот что более всего послужило расширению секты: Фокс считал себя боговдохновенным. Вследствие этого он полагал, что обязан говорить иначе, чем прочие люди: проповедуя, он начинал дрожать, делать всевозможные ужимки и гримасы, задерживать дыхание и выдыхать с силой; сама дельфийская жрица не выполнила бы всего этого лучше. В короткий срок он усвоил стойкую привычку к боговдохновенности, а уж после этого было не в его власти говорить иначе. Это было его первым даром своим ученикам. Они добросовестно повторяли все гримасы своего мэтра и дрожали изо всех сил в момент вдохновения. Отсюда и получили они имя «квакеры», что означает «трясуны». Простой народ забавлялся тем, что им подражал. Люди дрожали, говорили в нос, бились в конвульсиях и верили при этом, что они одержимы святым духом. Им недоставало только чудес — чудеса были им даны.

---

* Которая отвергает мученичество (ст. ит.)— *Примеч. переводчика.*

Патриарх Фокс сказал публично, в присутствии большого собрания, некоему мировому судье: «Друг, будь осторожен, бог не замедлит покарать тебя за преследование святых». Судья этот был пьяницей, дни напролет пившим скверное пиво и водку; он умер от апоплексического удара через два дня, именно в тот момент, как собирался подписать ордер на тюремное заключение нескольких квакеров. Эта внезапная смерть не была приписана его невоздержанности: весь свет рассматривал ее как действие предсказания святого человека.

Смерть эта породила большее число квакеров, чем тысячи проповедей и несчетное множество конвульсий. Кромвель, видя, что число квакеров растет с каждым днем, вознамерился привлечь их на свою сторону. Он велел предложить им денег, но они оказались неподкупными, и однажды он сказал, что религия эта — единственная, которую он не сумел одолеть с помощью гиней.

Иногда они подвергались преследованиям при Карле II [9], но не за свою религию, а за нежелание платить десятину духовенству, за обращение на *ты* к должностным лицам и за отказ от присяг, предусмотренных законом.

Наконец, в 1675 году шотландец Роберт Беркли представил королю свою «Апологию квакеров» — прекраснейшее сочинение. Посвятительное письмо Карлу II содержит там не низкую лесть, но смелые истины и справедливые советы.

«Ты испытал, — говорил он в конце этого письма Карлу II, — и сладость и горечь, благополучие и величайшие бедствия; тебя изгнали из страны, где ты царствуешь, ты почувствовал тяжесть притеснений, и ты должен знать, сколь презренен угнетатель перед лицом бога и людей. И если бы ты после стольких испытаний и благословений судьбы ожесточился в своем сердце и забыл бога, который помнил о тебе в твоей юдоли, преступление твое было бы еще горше и осуждение твое — еще ужасней. Поэтому, вместо того чтобы слушать лесть своего двора, послушайся голоса своей совести, которая тебе никогда не польстит. Твой верный друг и подданный Беркли».

Самое поразительное, что письмо это, написанное королю безвестным частным лицом, произвело свое действие и преследование прекратилось.

Письмо четвертое
О КВАКЕРАХ

Примерно в это время появился знаменитый Уильям Пенн [10], установивший власть квакеров в Америке и снискавший им уважение в Европе, если только люди способны уважать добродетель, выступающую в шутовской личине. Человек этот был единственным сыном сэра Пенна, вице-адмирала Англии и фаворита герцога Йорка начиная со времен Якова II [11].

Уильям Пенн в возрасте пятнадцати лет встретил в Оксфорде, где он учился, некоего квакера. Последний его убедил, и молодой человек, отличавшийся живостью, природным красноречием и благородством лица и манер, тотчас же завербовал нескольких своих товарищей. Он незаметно учредил Общество юных квакеров, собиравшихся в его доме. Таким образом, в свои шестнадцать лет он оказался главою секты.

По окончании колледжа и возвращении к своему отцу-адмиралу он, вместо того чтобы пасть перед ним ниц и просить его благословения, как это принято у англичан, подошел к отцу с покрытой головой и обратился к нему с такими словами: «Я весьма рад, друг, видеть тебя в добром здоровье». Вице-адмирал решил, что сын его спятил, но скоро понял, что тот стал квакером. Он пустил в ход все доступные человеческому рассудку средства, чтобы убедить его жить, как все люди. Но единственным ответом молодого человека были уговоры, направленные на то, чтобы его отец сам стал квакером.

В конце концов отец немного уступил сыну под единственным условием, что, когда тот отправится с визитом к королю и герцогу Йорку, он будет держать шляпу в руке и не будет говорить им *ты*. Уильям отвечал, что его совесть ему этого не позволяет. Возмущенный и отчаявшийся отец прогнал его из своего дома. Юный Пенн возблагодарил бога за то, что тот даровал ему пострадать за свое дело, отправился проповедовать в Сити и завоевал там много приверженцев.

Озарения каждодневно нисходили на проповедников секты, а так как Пенн был юн, прекрасен и ладно скроен, придворные дамы и горожанки благочестиво спешили его послушать. Слава его заставила патриарха Джорджа Фокса явиться из глубины Англии в Лондон

на него взглянуть. Вместе они решили отправиться с миссией в чужие страны. Они направили свой путь в Голландию, оставив достаточно много работников, которым надлежало возделывать лондонский виноградник. В Амстердаме труды их увенчались блестящим успехом; но более всего чести принес им и сильнее всего подверг опасности их скромность прием, оказанный им княгиней папского двора Елизаветой, теткой английского короля Георга I [12], женщиной, знаменитой своим умом и ученостью, которой Декарт посвятил свой «Философский роман» [13].

В то время она удалилась на покой в Ла Э, где и встретила этих *друзей:* именно так именовали тогда квакеров в Голландии. У нее состоялось несколько собеседований с ними; они нередко читали проповеди в ее доме, и если они не превратили ее в законченную квакершу, то по крайней мере признали, что она недалека от царствия небесного.

«Друзья» посеяли свои семена также в Германии, но урожай был невелик. Манера обращаться на «ты» не пришлась по вкусу в стране, где все были обязаны постоянно иметь на устах титулы «Ваше высочество» и «Ваше превосходительство». Пенн, получив сообщение о болезни отца, незамедлительно вернулся в Англию; он явился как раз, чтобы присутствовать при его последних вздохах. Вице-адмирал примирился с ним и нежно его обнял, несмотря на то что сын исповедовал другую религию. Уильям убеждал его вообще не принимать причастия и умереть квакером, в то время как старый добряк безрезультатно советовал сыну носить на манжетах пуговицы и перья на шляпе.

Уильям унаследовал огромное состояние, в том числе и королевские долги за авансы, выплаченные вице-адмиралом во время морских походов. В те времена не существовало ничего более неверного, чем деньги, которые задолжал король. Пенн вынужден был не один раз обратиться на «ты» к Карлу II и его министрам, добиваясь их выплаты. В 1680 году правительство даровало ему вместо денег в собственность и владение американскую провинцию к югу от Мериленда [14]; таким образом, квакер стал сувереном. Он выехал в свои новые владения на двух кораблях, битком набитых последовавшими за ним квакерами. С тех пор эту землю стали называть

по его имени *Пенсильванией*. Он основал там город *Филадельфию*, в нынешнее время весьма процветающий. Начал он с того, что заключил союз со своими соседями-американцами. То был единственный договор между этими народами и христианами, при заключении которого не давалось клятв и который не был нарушен. Новый суверен стал также законодателем Пенсильвании, он дал ей весьма мудрые законы, ни один из которых не был после него изменен. Первым среди них был закон о недопустимости преследования кого бы то ни было за его религиозные убеждения и о том, что все люди, верующие в бога, должны считать себя братьями.

Едва лишь установил он свое правление, как множество американских торговцев явились заселить эту колонию. Туземцы, вместо того чтобы бежать в леса, незаметно привыкли к миролюбивым квакерам; насколько они питали отвращение к другим христианам — завоевателям и разрушителям Америки, настолько же они любили этих новых пришельцев. По прошествии небольшого времени множество этих так называемых дикарей, очарованных мягкостью своих соседей, явились толпою просить Уильяма Пенна принять их в число своих вассалов. Зрелище было необычное: суверен, которому все без исключения говорили «ты» и беседовали с ним, не снимая с головы шляпу; губернаторство без священников, народ без армии, граждане, поголовно равные старшему должностному лицу, и соседи без чувства соперничества.

Уильям Пенн мог похваляться тем, что принес на Землю золотой век — эту обычную притчу во языцех — и что век этот, по-видимому, народился лишь в Пенсильвании. После смерти Карла II он возвратился в Англию по делам своей новой страны. Король Яков, любивший его отца, питал ту же слабость и к сыну. Он не смотрел на него больше как на темного сектанта, но отдавал ему должное как великому человеку. Политика короля совпадала в данном случае с его привязанностью: вздумав потакать квакерам, он упразднил законы, направленные против нонконформистов, дабы получить возможность ввести католическую религию под покровом этой свободы. Все английские секты разглядели ловушку и не дали себя в нее поймать. Они всегда объединялись перед лицом католицизма — их общего врага; однако

Пенн не посчитал, что он должен отречься от своих принципов ради блага протестантов, его ненавидевших, и пойти против короля, который его любил. Учредив свободу совести в Америке, он не желал явиться ее разрушителем в Европе; итак, он остался верен Якову II, и дело дошло до того, что он был всеми ославлен иезуитом. Эта клевета глубоко задела его, и он был вынужден защищаться в печати. Между тем злополучный Яков II, который, как почти все Стюарты, являл собой сочетание величия и слабости и, так же как они, чересчур мало отдавал себе в этом отчет, утратил свое королевство таким образом, что трудно было сказать, как это произошло [15].

Все английские секты получили от Вильгельма III и его парламента ту свободу, которую они не желали принять из рук Якова. Тогда и создалось такое положение, при котором квакеры получили под покровительством законов все те привилегии, которыми они пользуются и по сей день. Пенн, убедившись, что секта его без всяких разногласий утвердилась в его отечестве, вернулся в Пенсильванию. Его люди, а также американцы встретили его со слезами радости, как если бы он был отцом, вернувшимся к своим детям. Все его законы в его отсутствие соблюдались с религиозным пиететом, что до него не случалось ни с одним законодателем. В течение нескольких лет он оставался в Филадельфии, но в конце концов вопреки своей воле уехал оттуда в Лондон, чтобы добиться там новых привилегий для торговых дел пенсильванцев. В дальнейшем он жил в Лондоне вплоть до глубокой старости, считаясь вождем народа и главой религиозного вероисповедания. Умер он лишь в 1718 году.

За его потомками было сохранено владение и управление Пенсильванией, но они продали это правление королю за двенадцать тысяч монет. Состояние казны короля позволило ему уплатить только тысячу. Французский читатель мог бы тут подумать, будто правительство выплатило остальное под честное слово короля и навсегда захватило правление страной. Ничуть не бывало: коронная казна не смогла в означенный срок выплатить кредиторам всю сумму, и контракт был объявлен недействительным. Семья Пенна вновь вступила в свои права.

Я не могу предсказать, какова будет судьба квакерской религии в Америке, но я вижу, что в Лондоне она хиреет с каждым днем. Во всех странах без исключения господствующая религия, если она не занимается преследованиями, поглощает в конце концов остальные. Квакеры не могут быть членами парламента, не имеют права владеть какой-либо конторой, ибо в этом случае полагается приносить присягу, а они не желают клясться. Поэтому они вынуждены зарабатывать себе деньги торговлей. Дети их, обогатившись благодаря деятельности отцов, стремятся к удовольствиям, к почестям, они хотят носить манжеты и пуговицы и стыдятся имени «квакер»; они становятся протестантами, чтобы идти в ногу с модой.

Письмо пятое

ПО ПОВОДУ АНГЛИКАНСКОЙ РЕЛИГИИ

Англия — страна сект. Англичанин — человек свободный — отправляется на небо тем путем, какой он сам себе избирает.

Однако, хотя каждый может здесь служить богу на свой лад, истинная религия англичан — та, которая помогает составить себе состояние, — это епископальная секта, именуемая англиканской, или истинной, церковью [16]. Ни в Англии, ни в Ирландии нельзя получить должность, не числясь среди ревностных англикан. Это — превосходное доказательство, сумевшее обратить множество нонконформистов, так что в наши дни вне лона господствующей церкви существует меньше двадцатой части нации.

Англиканское духовенство сохранило многие католические обряды, особенно же педантически-дотошное взимание десятины. Помимо этого, для них, как и для католических священников, характерно благочестивое и одновременно честолюбивое стремление быть наставниками.

Более того, они как только могут разжигают в своей пастве священный гнев против нонконформистов. Негодование это было довольно оживленным еще в правление тори [17], в последние годы царствования королевы Анны [18]; однако оно не шло далее обычая время от времени разбивать стекла в зданиях еретических часовен,

потому что сектантская ярость прекратилась в Англии с гражданской войной и в царствование Анны сохранились лишь глухие всплески морской стихии, продолжавшей бесшумно волноваться тогда, когда буря уже улеглась. Поскольку виги[19] и тори раздирали свою страну на части так, как некогда гвельфы и гиббелины[20], в религии неизбежно возникли партии. Тори стояли за епископат, виги стремились его упразднить, однако удовлетворились тем, что принизили его, когда пришли к власти.

Во времена, когда граф Оскфордский Харлей[21] и милорд Болинброк[22] провозглашали тосты за здоровье тори, англиканская церковь смотрела на них как на защитников своих святых привилегий. Собору низшего духовенства (некоему роду палаты общин с представителями от церкви) тогда еще до некоторой степени доверяли, по крайней мере он пользовался свободой собраний и мнений, а также располагал возможностью время от времени сжигать некоторые нечестивые книги, т. е. книги, направленные против него же.

Нынешний кабинет министров, состоящий из вигов, не разрешает только этим господам устраивать свои сборища, и они удалились под сень своих приходских часовен во имя печальной обязанности молить бога за правительство, не упуская при этом случая вставить ему палки в колеса. Что до епископов, которых здесь всего двадцать шесть, то они, к досаде вигов, имеют право заседать в верхней палате, ибо до сих пор действует древнее злоупотребление, согласно которому их считают баронами; однако они обладают в палате не бóльшим влиянием, чем герцоги и пэры в парижском парламенте. Есть один пункт в присяге, приносимой государству, который словно создан для испытания христианского терпения этих господ.

Согласно этому пункту дается обещание принадлежать к законной церкви. На свете нет епископа, декана или архидиакона, который не считал бы себя обладателем божественного права, а потому это рассматривается ими как великое унижение — быть вынужденными подчиняться тому, что, по их мнению, является всего-навсего жалким законом, установленным мирскими профанами. Один монах (отец Курейэ)[23] недавно написал книгу, доказывающую законность и преемственность англиканской иерархической лестницы. Труд этот был запре-

щен во Франции; однако не думаете ли вы, что он понравился правительству Англии? Отнюдь. Этим проклятым вигам было мало горя, нарушалась ли у них епископская преемственность или нет и был ли епископ Паркер[24] рукоположен в сан в кабаке (ходили такие слухи) или в церкви; они даже предпочитали, чтобы епископы получали свою власть не из рук апостолов, а от парламента. Лорд Б. сказал, что божественное право создано лишь для того, чтобы плодить тиранов в рясах и стихарях, граждан же создает Закон.

С точки зрения нравов англиканское духовенство более умеренно, чем французское, и вот по какой причине: все духовные лица воспитываются в Оксфордском или же Кембриджском университете, вдали от столичного разврата; они весьма поздно рукополагаются в церковный сан — в возрасте, когда их честолюбию недостает пищи и единственной страстью человека остается скупость. Должности здесь являются компенсацией за длительное служение в церкви, точно так же как это бывает в армии. В Англии нельзя увидеть молодых епископов или полковников по выпуске из колледжа. Помимо того, что почти все священники бывают женаты, дурные манеры, усвоенные в университете, и недостаточно широкое общение с женщинами ведут к тому, что, как правило, епископ вынужден довольствоваться своей женой. Святые отцы посещают иногда кабаки, ибо обычай им это разрешает, а если они и напиваются, то с серьезным видом и без скандалов.

Неопределенное существо — полуцерковник-полумирянин, имя которому «аббат», принадлежит к роду существ, неведомых в Англии; все священники без исключения здесь люди скрытные и педанты. Когда до них доходят слухи, что во Франции молодые люди, известные своими дебошами и вскормленные для прелатуры интригами женщин, занимаются любовными похождениями, забавляются сочинением нежных песенок, каждодневно задают обильные изысканные ужины и прямо с них отправляются молить св. духа о просветлении, дерзновенно называя себя при этом преемниками апостолов, они славят бога за то, что они протестанты. Но ведь они — мерзкие еретики, достойные того, чтобы быть сожженными ко всем чертям, как сказал мэтр Франсуа Рабле[25]; поэтому я не стану вмешиваться в их дела.

Письмо шестое
О ПРЕСВИТЕРИАНАХ

Англиканская религия распространена только в Англии и Ирландии. Пресвитерианство — это не что иное, как кальвинизм в чистом виде, такой, каким он был учрежден во Франции и продолжает существовать в Женеве. Поскольку священники этой секты получают от своей церкви лишь весьма скромное жалованье и потому не могут жить в такой же роскоши, как епископы, они, естественно, стали выступать против почестей, которых сами не могут добиться. Вообразите себе надменного Диогена[26], грубо попирающего гордость Платона[27]: шотландские пресвитериане недалеко ушли от этого спесивого нищего болтуна. Они относились к королю Карлу II с меньшим уважением, чем Диоген выказывал Александру[28]. Ибо, когда они подняли оружие за него против Кромвеля, который их обманул, они принуждали и этого бедного короля выдерживать по четыре проповеди на дню, запрещали ему играть в карты, наложили на него епитимью, так что Карлу очень скоро наскучило править такими педантами и он ускользнул из их рук, как школьник убегает из колледжа.

В сравнении с юным, темпераментным французским бакалавром, по утрам ведущим диспуты в школе теологов, а вечерами занимающимся вокалом с дамами, англиканский теолог — сущий Катон[29], но Катон этот кажется настоящим любезником в сравнении с шотландским пресвитерианином. Этот последний выступает серьезной поступью, с кислой миной, носит огромную шляпу, длинную мантию поверх короткого платья; проповеди он произносит в нос и именует вавилонской блудницей любую церковь, некоторые служители которой настолько удачливы, что обладают пятьюдесятью тысячами ливров ренты, а народ так добр, что терпит это и именует их «Монсеньорами», «Вашими преосвященствами» и «Высокопреосвященствами».

Господа эти, имеющие также несколько приходов в Англии, напустили на себя серьезный и важный вид в соответствии с модой этой страны. Именно им мы обязаны тем, что в трех Королевствах[30] воскресенье стало священным днем; в этот день запрещено трудиться и

развлекаться, что является двойной суровостью в сравнении с обычаями католических церквей: никаких опер, комедий или концертов по воскресным дням в Лондоне; даже карты настолько решительно запрещены, что лишь очень высокопоставленные персоны и те, кого именуют «порядочными людьми», могут себе позволить игру в этот день. Остальная часть нации отправляется слушать проповедь, либо в кабак или к веселым девицам.

Хотя епископат и пресвитериане являются двумя господствующими сектами в Великобритании, все прочие секты чувствуют себя там как дома и достаточно дружно уживаются между собой, несмотря на то что большинство их проповедников взаимно презирают друг друга почти с той же искренностью, с какой янсенист [31] осуждает иезуита [32].

Если вы придете на лондонскую биржу — место, более респектабельное, чем многие королевские дворы, — вы увидите скопление представителей всех народов, собравшихся там ради пользы людей: здесь иудеи, магометане и христиане общаются друг с другом так, как если бы они принадлежали одной религии, и называют «неверными» лишь тех, кто объявляет себя банкротом; здесь пресвитерианин доверяется анабаптисту и англиканин верит на слово квакеру. Уходя с этих свободных, мирных собраний, одни отправляются в синагогу, другие — выпить, этот собирается дать себя окунуть в глубокий чан во имя отца и сына и святого духа, тот устраивает обрезание крайней плоти своему сыну и позволяет бормотать над ним еврейские слова, которых он и сам-то не понимает; иные идут в свою церковь со своими шляпами на головах, чтобы дождаться там божественного вдохновения,— и все без исключения довольны.

Если бы в Англии была только одна религия, следовало бы опасаться ее деспотизма; если бы их было две, представители каждой перерезали бы друг другу горло; но их там тридцать, а потому они живут в благодатном мире.

Письмо седьмое

О СОЦИНИАНАХ, ИЛИ АРИАНАХ, ИЛИ АНТИТРИНИТАРИЯХ [33]

Здесь существует небольшая секта, состоящая из духовных лиц и нескольких мирян, весьма ученых и не принимающих имени ни ариан, ни социниан; однако они совершенно не согласны со святым Афанасием [34] по пункту, касающемуся троицы, и прямо говорят вам, что Отец выше Сына.

Припоминаете ли вы известного ортодоксального епископа, который, дабы убедить императора в единосущности Отца и Сына, вздумал взять сына императора под подбородок и потянуть его за нос в присутствии священной особы его величества. Император сильно вознегодовал на епископа, но этот славный малый обратил к нему следующие прекрасные и убедительные слова: «Мой повелитель, если ваше величество пребывает в гневе по поводу того, что к вашему сыну было проявлено недостаточно уважения, как, полагаете вы, должен обойтись бог-отец с теми, кто отказывает Иисусу Христу в титулах, с которыми они должны к нему обращаться?»

Люди, о коих я вам рассказываю, уверяют, что святой отец был очень неосмотрителен: аргумент оказался совсем неубедительным, и император вполне мог ему ответить: «Заметьте себе, что существуют два способа проявить ко мне неуважение: первый — не воздать достаточной чести моему сыну, а второй — оказать ему ту же честь, что и мне».

Как бы то ни было, партия Ария заново начинает возрождаться как в Англии, так и в Голландии и Польше. Великий господин Ньютон оказал честь этому направлению, взяв его под свою защиту. Философ этот считал, что унитарии в своих рассуждениях были лучшими геометрами, чем мы [35]. Но наиболее стойким патроном арианской доктрины является славный доктор Кларк [36]. Человек этот отличается суровой добродетелью и мягким характером, он скорее влюблен в свои мнения, чем одержим страстью вербовать прозелитов, и занят исключительно вычислениями и доказательствами — настоящая рассуждающая машина.

Именно он является автором одной весьма малопонятной книги, чтимой, однако, за веру в существование бога [37], и другой книги, легче постижимой, но достаточно презираемой за положение об истинности христианской религии [38].

Он совершенно не вмешивался в торжественные схоластические диспуты, которые наш друг... именует «почтенной чепухой». Он удовольствовался тем, что опубликовал книгу, содержащую все свидетельства ранних веков в пользу и против унитариев, и предоставил читателю заботу подсчитывать голоса и выносить приговор [39]. Эта ученая книга завоевала ему много приверженцев, но помешала стать архиепископом Кентерберийским. Боюсь, что ученый доктор просчитался, ибо гораздо лучше быть примасом Англии, чем арианским попом.

Таким образом, вы наглядно видите, какие перевороты происходят как в области мнений, так и в империях. Партия Ария после трехвекового триумфа и двенадцативекового забвения возрождается в конце концов вновь из пепла; правда, она весьма скверно выбрала время своего нового появления — век, когда весь свет по горло сыт диспутами и сектами. Эта секта пока еще слишком мала, чтобы добиться свободы публичных собраний, но, без сомнения, она ее добьется, если станет более многочисленной. Однако сейчас все настолько ко всем этим вещам равнодушны, что новую или обновленную религию не ждут никакие удачи. Не забавно ли, что Лютер [40], Кальвин [41] и Цвингли [42] — одним словом, все нечитабельные писатели основали секты, раздиравшие Европу на части, что невежественный Магомет [43] основал религию в Азии и Африке, а в то же время господа Ньютон, Кларк, Локк [44], Леклерк [45] — величайшие философы и лучшие стилисты своего времени — едва-едва сумели добиться создания небольшой паствы, вдобавок редеющей с каждым днем!

Вот что значит кстати явиться в мир. Если бы кардинал де Рец [46] появился вновь в наше время, он наверняка не взбунтовал бы даже десятка парижских женщин.

Если бы вновь народился Кромвель — тот, кто велел обезглавить своего короля и сам стал правителем, — он был бы обыкновенным торговцем в Лондоне.

Письмо восьмое
О ПАРЛАМЕНТЕ

Члены английского парламента любят сопоставлять себя при каждой возможности с древними римлянами. Совсем недавно г-н Шиппинг[47] начал свою речь в палате общин следующими словами: *Величие английского народа было бы попрано* и т. д. Необычность такого способа выражения вызвала громовой хохот; однако Шиппинг, ничуть не смутившись, твердо повторил те же слова, и смеха уже не последовало. Признаюсь, я не усматриваю ничего общего между тем и другим правлением; правда, в Лондоне существует сенат, членов которого подозревают (несомненно, ошибочно) в том, что они при случае продают свои голоса точно так же, как это делалось в Риме. Вот и все сходство, во всем же остальном два этих народа представляются мне в корне различными, будь то в хорошем или дурном. Риму была совершенно неведома ужасающая нелепость религиозных войн, гнусность эта была сохранена для благочестивых проповедников самоуничижения и терпения. Марий[48] и Сулла[49], Помпей[50] и Цезарь[51], Антоний[52] и Август[53] сражались вовсе не из-за спора о том, должны ли фламины[54] носить свое облачение поверх тоги или под ней, а священные цыплята, для того чтобы предзнаменования были верны, есть и пить или же только есть. Англичане, наоборот, готовы повесить друг друга во имя своих устоев и истребляли друг друга в боевом строю из-за споров подобного рода. Епископальная церковь и пресвитерианство на определенный период заставили этих серьезных людей потерять головы. Я представляю себе, что подобных глупостей более там не случится; горький опыт, кажется мне, их умудрил, и я не замечаю у них больше ни малейшего желания лезть на рожон из-за силлогизмов.

А вот и еще более существенное различие между Римом и Англией, полностью говорящее в пользу этой последней, а именно плодом гражданских войн в Риме было рабство, плодом английских смут — свобода. Английская нация — единственная на Земле, добившаяся ограничения королевской власти путем сопротивления, а также установившая с помощью последовательных усилий то мудрое правление, при котором государь, всемо-

гущий, когда речь идет о благих делах, оказывается связанным по рукам и ногам, если он намеревается совершить зло; при котором вельможи являются грандами без надменности и вассалов, а народ без смут принимает участие в управлении.

Палата пэров и палата общин являются посредниками нации, король — верховным посредником. Этого равновесия недоставало римлянам, вельможи и народ постоянно были там между собой разделены, причем отсутствовала посредническая власть, которая могла бы устанавливать между ними согласие. Римский сенат, исполненный неправедного и достойного кары чванства, мешавшего ему хоть чем-нибудь поступиться в пользу плебеев, владел единственным в своем роде секретом, помогавшим ему отстранять их от правления, а именно: он постоянно занимал плебеев внешними войнами. Сенаторы смотрели на Народ как на дикого зверя, которого необходимо было натравливать на соседей, дабы он не пожрал своих господ; так величайший порок правления римлян сделал из них завоевателей: поскольку они были неудачливы у себя дома, они стали господами мира, пока в конце концов их раздоры не сделали их рабами.

Правление Англии не создано ни для столь величавого блеска, ни для столь мрачного конца; цель его вовсе не в блистательной глупости завоеваний, наоборот, цель эта состоит в том, чтобы такое завоевание не совершили ее соседи; народ этот ревниво блюдет не только свою свободу, но и свободу других народов. Англичане ожесточились против Людовика XIV[55] единственно потому, что они приписывали ему честолюбивые чаяния. Они пошли на него войной просто так, без какой бы то ни было особой заинтересованности.

Без сомнения, установить свободу в Англии стоило недешево. Идол деспотической власти был потоплен в морях крови; однако англичане вовсе не считали, что они слишком дорого заплатили за достойное законодательство. Другие нации пережили не меньше смут и пролили не меньшее количество крови; но кровь эта, которую они проливали за дело своей свободы, только крепче сцементировала их рабство.

То, что стало в Англии революцией, в других странах было не более как мятежом: какой-нибудь город —

будь то в Испании, Берберии или Турции — становится под ружье во имя защиты своих привилегий, и тотчас же его подавляют наемные солдаты, палачи вершат казни, а оставшейся в живых части нации остается лишь целовать свои цепи. Французы считают, что правление на этом острове более бурно, чем море, омывающее его берега, и это верно; но происходит это лишь тогда, когда король сам вздымает бурю, когда он хочет стать хозяином судна, на котором он всего только главный кормчий. Гражданские войны во Франции были продолжительнее, ожесточеннее и изобильнее преступлениями, чем такие же войны в Англии; но ни одна из этих гражданских войн не имела своей целью мудрую свободу.

В гнусные времена Карла IX[56] и Генриха III[57] речь шла лишь о том, чтобы выяснить, будут ли французы рабами Гизов[58]. Что касается последней Парижской войны[59], то она заслуживает лишь того, чтобы быть ошиканной; мне так и видятся школяры, взбунтовавшиеся против ректора колледжа, за что в конце концов они и были высечены розгами; кардинал де Рец, исполненный боевого духа, заслуживающего лучшего применения, взбунтовался без всякого видимого повода; он был мятежником без определенного плана, вождем партии, не имеющей армии, заговорщиком ради заговора, и казалось, что он затеял гражданскую войну лишь ради собственного своего развлечения. Парламент не понимал ни того, что́ он хочет, ни того, что́ ему не угодно. Он всполошил войска приказом об их аресте, он их разбил, он угрожал, просил прощения, объявил в качестве награды голову кардинала Мазарини[60], а вслед за этим явился приветствовать его во время торжественной церемонии. При Карле IX[61] наши гражданские войны были жестокими, во времена Лиги[62] — омерзительными, в период же Фронды война была просто смешной.

Более всего во Франции ставят в упрек англичанам казнь Карла I[63], хотя его победители поступили с ним так, как поступил бы с ними он сам, если бы был удачлив.

Наконец, взгляните, с одной стороны, на Карла I, побежденного в честном бою, взятого в плен, судимого и осужденного в Вестминстере, а с другой — на императора Генриха VII[64], отравленного своим капелланом во время причастия, на Генриха III, убитого монахом —

орудием ярости целой партии, а также на тридцать убийств, замышлявшихся против Генриха IV[65], причем несколько покушений было осуществлено, и последнее из них лишило, наконец, Францию этого великого короля. Взвесьте все эти преступления и судите сами.

Письмо девятое

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Счастливое это сочетание в правлении Англии, это согласие, существующее между общинами, лордами и королем, было не всегда. Английская земля долго оставалась рабыней — римлян, саксонцев, датчан, французов. Особенно Вильгельм Завоеватель правил железной рукой, он распоряжался жизнью и состоянием своих новых подданных, словно восточный монарх. Он запретил под страхом смерти всем без исключения англичанам разжигать огонь и освещать свои дома после восьми часов вечера, и они не смели этого делать, хотя оставалось непонятным, стремился ли он таким образом предупредить возможность ночных сборищ или же решил при помощи столь нелепого запрета доказать, как велика может быть власть одного человека над другими.

Правда, до и после Вильгельма Завоевателя[66] англичане имели парламенты, и они этим похваляются, словно сборища эти, именовавшиеся и тогда парламентами и состоявшие из церковных тиранов и мародеров, называвших себя баронами, были стражами свободы и общественного благополучия.

Варвары, хлынувшие с берегов Балтийского моря на прочую часть Европы, принесли с собой обычай этих генеральных штатов, или парламентов, по поводу которого бывает столько шума, но который очень мало известен. Правда, короли в те времена вовсе не были деспотами, но народ не меньше от этого изнывал в жалком рабстве. Главари этих дикарей, опустошивших Францию, Италию, Испанию, Англию, провозгласили себя монархами; их предводители разделили между собой земли побежденных, откуда и возникли маркграфы, лорды, бароны — все эти маленькие тираны, зачастую оспаривавшие у своих королей шкуру, сдиравшуюся ими со своих народов. Это были хищные ястребы, сражав-

шиеся с орлом за право пить кровь голубок; таким образом, каждый народ имел сто тиранов вместо одного господина. Священники тотчас же вошли в долю. Во все времена уделом галлов, германцев, островитян Англии было подчиняться власти своих друидов и сельских старост — старинной разновидности баронов, однако с менее тираническими наклонностями, чем их наследники. Упомянутые друиды называли себя посредниками между божеством и людьми, они издавали законы, отлучали от культа, осуждали на казнь. Постепенно в правление готов и вандалов их власть сменилась властью епископов. Во главе епископов встали папы и с помощью своих бреве, булл и монахов заставили трепетать королей; они их низлагали, подсылали к ним убийц и вытягивали из них все деньги, которые можно было получить от Европы. Слабоумный Инас [67], один из тиранов английской гептархии, был первым, кто во время паломничества в Рим обязался платить динарий святого Петра (в переводе на нашу монету это было примерно одно экю) за каждый дом на своей территории. Весь остров тотчас же последовал этому примеру; Англия мало-помалу превратилась в провинцию папы, святой отец посылал туда время от времени своих легатов, дабы взимать там непомерные подати. Иоанн Безземельный [68] в конце концов в приличной форме уступил свое королевство его святейшеству, который отлучил его от церкви; бароны же, не усмотрев в этом для себя выгоды, изгнали этого жалкого короля и посадили на его место Людовика VIII [69], отца Людовика Святого [70], короля Франции; однако очень скоро они разочаровались в этом новоявленном короле и заставили его уплыть восвояси.

В то время как бароны, епископы, папы раздирали таким образом на части английскую землю, на которой все они хотели повелевать, народ — самая многочисленная, более того, самая добродетельная, а следовательно, и самая достойная часть человечества, — народ, состоящий из правоведов и ученых, негоциантов и ремесленников, одним словом, из всех тех, в ком нет ни капли тираних устремлений, рассматривался всеми этими господами как стадо животных, подчиненное человеку.

Менее всего тогда общины могли участвовать в управлении, они считались презренной чернью: их труд, их

кровь принадлежали их господам, именовавшим себя знатью. Самая многочисленная часть человечества была тогда в Европе тем, чем она и посейчас является во многих северных странах, — крепостными сеньора, неким родом скотины, продаваемой и покупаемой вместе с землей.

Понадобились столетия, чтобы человечеству была отдана дань справедливости, чтобы был прочувствован весь ужас того, что малое число людей пожинает посев большинства, и не явилось ли счастьем для рода человеческого то, что власть этих мелких грабителей была подавлена во Франции легитимным владычеством наших королей, а в Англии — легитимным господством королей и народа?

Счастливым образом в потрясениях, вызванных в империях спорами королей и вельмож, оружие народов до некоторой степени притупилось; свобода родилась в Англии из споров тиранов, бароны вынудили Иоанна Безземельного и Генриха III [71] даровать знаменитую Хартию [72], непосредственной целью которой было на самом деле поставить королей в зависимость от лордов, но согласно которой остальная часть нации получила некоторые поблажки, с тем чтобы при случае она приняла сторону своих так называемых покровителей. Эта великая Хартия, рассматриваемая как священный принцип английских свобод, сама позволяет понять, сколь мало тогда была знакома свобода. Одно только ее заглавие доказывает, что король приписывал себе абсолютные правомочия, а бароны и духовенство даже не пытались заставить его отречься от этого пресловутого «права», поскольку высшее могущество принадлежало им.

Вот как начинается великая Хартия: «Мы жалуем по нашей свободной воле следующие привилегии архиепископам, епископам, аббатам, приорам и баронам нашего королевства» и т. д.

В параграфах этой Хартии не сказано ни единого слова о палате общин — доказательство того, что ее не было еще и в помине или же что она существовала, не обладая никакими полномочиями. Здесь содержатся оговорки в отношении свободных людей Англии — печальное указание на то, что были среди них и другие. Из параграфа 32 видно, что эти так называемые «сво-

бодные» были обязаны работать на своих господ. Подобная свобода еще сильно попахивала рабством.

Согласно параграфу 21, король повелевает, чтобы его служащие впредь не смели насильно и бесплатно отнимать лошадей и повозки у свободных людей, и это предписание показалось народу воистину свободой, ибо оно избавляло его от более тяжкого произвола.

Генрих VII [73], удачливый узурпатор и великий политик, делавший вид, что он любит баронов, на самом же деле ненавидевший их и боявшийся, решил позаботиться об отчуждении их земель. С этого момента чернь, постепенно составлявшая себе своими трудами состояния, стала покупать замки знаменитых пэров, разорившихся из-за своих безумств. Мало-помалу все земли сменили своих хозяев.

Палата общин становилась со дня на день все более могущественной, древние семьи пэров со временем вымерли, и, поскольку в соответствии с буквой закона знатью в Англии считаются только пэры, в этой стране совсем не осталось бы аристократии, если бы короли время от времени не создавали новых баронов, сохраняя, таким образом, сословие пэров, которого они некогда так страшились, дабы противопоставить его сословию общинников, ставшему весьма ненадежным.

Все эти новые пэры, составляющие верховную палату, получают от короля свои титулы и ничего больше: почти ни один из них не владеет землей, имя которой он носит. Кто-то из них может именоваться герцогом Дорсетским, но не иметь ни пяди земли в Дорсетшире.

Другой является графом какого-либо села, но едва ли даже знает, где это село расположено. Власть их сильна в парламенте и нигде больше.

Вы не услышите здесь разговоров о верховном, среднем и низшем суде, ни равным образом о праве охотиться на своих землях, ибо гражданин не волен ни в едином выстреле на своем собственном поле.

Человек в силу своей принадлежности к знати или к духовному сословию не освобождается от уплаты определенных налогов, причем все обложения регулируются палатой общин, которая по своему рангу стоит на втором месте, но по своему влиянию занимает первое.

Правда, вельможи и епископы могут отклонить билль общин о налогах, но им не дозволено ничего в нем

менять: они должны либо принять его, либо безоговорочно отклонить. Когда билль подписан лордами и получил одобрение короля, все без исключения обязаны платить, причем каждый вносит налог не согласно своему титулу (это было бы нелепо), но в соответствии со своим доходом. В Англии не существует никаких видов произвольной подушной подати, но только реальный поземельный налог. При превосходном короле Вильгельме III [74] была произведена *денежная оценка* всех земель и таким образом установлена их твердая стоимость.

Налог и теперь остается таким же, хотя доходы с земель возросли, поэтому никто не чувствует себя угнетенным и обиженным. Ноги крестьянина не стирают деревянные башмаки, он ест белый хлеб, хорошо одевается, не боится увеличить поголовье своего стада или покрыть свою крышу черепицей под угрозой повышения налога в следующем году. Здесь много крестьян, владеющих состоянием, равным примерно двумстам тысячам франков, и при этом они вовсе не считают чем-то зазорным для себя продолжать обрабатывать землю, которая принесла им богатство и на которой они живут свободными людьми.

Письмо десятое
О ТОРГОВЛЕ

Торговля, обогатившая английских горожан, способствовала их освобождению, а свобода эта, в свою очередь, вызвала расширение торговли; отсюда и рост величия государства: именно торговля мало-помалу породила морские силы, с помощью которых англичане стали повелителями морей. В настоящее время они располагают почти двумястами военными судами, и потомки, быть может, с удивлением узнают, что маленький остров, имевший в собственном распоряжении лишь немного свинца, олова, земли для сукновален и грубой шерсти, достиг благодаря своей торговле такого могущества, что смог в 1723 году [75] отправить три эскадры сразу в три различных конца света: одну — к Гибралтару, который был завоеван и подчинен ее оружием, другую — в Портобелло, дабы лишить короля Испании радости наслаждения индийскими сокровищами, и третью — в

Балтийское море, дабы воспрепятствовать междоусобице северных держав.

В то время, когда Людовик XIV наводил ужас на Италию и когда его армии, уже овладевшие Савойей и Пьемонтом, готовы были взять Турин, случилось, что принц Евгений[76] выступил из сердца Германии на помощь герцогу Савойскому; у него не было за душой ни гроша, а ведь без денег нельзя ни брать, ни защищать города, и он обратился к английским купцам: за полчаса ему было предложено пятьдесят миллионов, с помощью которых он освободил Турин, сразился с французами, после чего отправил тем, кто предоставил ему упомянутую сумму, маленькую записочку: «Господа, я получил ваши деньги и льщу себя надеждой, что употребил их к вашему вящему удовлетворению».

Все это вызывает у английского купца справедливое чувство гордости и заставляет его, не без некоторого основания, сравнивать себя с римским гражданином, поэтому младшие сыновья пэров королевства вовсе не пренебрегают коммерцией. Милорд *Таунсенд*[77], премьер-министр, имеет брата, довольствующегося положением торговца в Сити. Когда милорд Оксфорд[78] управлял Англией, его младший сын был комиссионером в Алеппо, откуда не хотел возвращаться на родину и где он умер.

Обычай этот, правда чересчур сильно распространившийся, представляется чудовищным немцам, помешанным на своих казармах; они не могут взять в толк, как это сын английского пэра может быть всего лишь богатым и могущественным буржуа, в то время как в Германии повсюду одни только принцы. Нам случалось видеть там до тридцати высочеств, носящих одно и то же имя, все состояние которых составляют их герб и их высокомерие.

Во Франции распоряжаются маркизы, и любой из них, прибыв в Париж из глубокой провинции с шальными деньгами и титулом маркиза Ака или Иля, может говорить о себе: «Человек, подобный мне, человек моего положения» — и гордо презирать негоцианта; сам негоциант так часто слышит презрительные отзывы о своей профессии, что имеет глупость за нее краснеть. Однако я не знаю, какая из этих двух профессий полезнее государству — профессия ли напудренного вельможи, кото-

рому точно известно, в какое время встает ото сна король и когда он ложится, и который принимает величественный вид, играя роль прихлебателя в приемной министра, или же профессия негоцианта, обогащающего свою страну, раздающего из своего кабинета приказания Сюратту и Каиру и содействующего процветанию всего света.

Письмо одиннадцатое
ПРИВИВКА ОСПЫ

В христианской Европе потихоньку именуют англичан глупцами и сумасбродами: глупцами — потому что они прививают оспу своим детям для того, чтобы помешать их заболеванию этим недугом; безумцами — потому что они с легким сердцем заражают своих детей неизбежной страшной болезнью, имея в виду предотвратить сомнительную беду. На это англичане, в свою очередь, возражают: «Все европейцы, кроме нас, — трусы и извращенцы; трусы они потому, что боятся причинить малейшую боль своим детям, извращенцы же потому, что дают им в один прекрасный день умереть от оспы». Дабы можно было судить о том, кто прав в этом споре, я изложу историю этой пресловутой прививки, о которой за пределами Англии говорят с таким ужасом.

У черкесских женщин с незапамятных времен существует обычай прививать оспу своим детям, даже с шестимесячного возраста: им делается надрез на руке и в этот надрез вводится пустула, аккуратно снятая с тела другого ребенка. Пустула эта производит в руке, в которую она введена, такое же действие, как дрожжевая закваска в куске теста: она вызывает брожение и распространяет по всей крови свои характерные свойства; нарывчики ребенка, которому привили эту искусственную оспу, служат для прививки той же болезни другим детям; таков почти постоянный круговорот этой прививки в Черкесии; и когда, по несчастью, в стране совсем исчезает оспа, там царит такое же замешательство, как в других странах в неурожайный год.

Причина, послужившая в Черкесии утверждению этого обычая, кажущегося столь странным другим на-

родам, существует тем не менее повсеместно: это материнская нежность и забота.

Черкесы бедны, а дочери их красивы, и потому из своих дочерей они извлекают максимум выгоды: они поставляют красавиц в гаремы султана, персидского суфия и всех тех, кто достаточно богат для того, чтобы покупать и содержать этот драгоценный товар; они взращивают дочерей в чести и холе, дабы научить их ласкать мужчин, исполнять пляски, полные неги и сладострастия, разжигать самыми сластолюбивыми способами и средствами похоть горделивых господ, служению которым они предназначены; несчастные эти создания каждодневно твердят свой урок со своими мамашами, подобно тому как наши девочки твердят свой катехизис, ничего в нем не смысля.

Однако нередко случается, что отец и мать, затратив огромный труд на хорошее воспитание своих детей, внезапно видят себя обманутыми в своих лучших надеждах: на семью обрушивается оспа, одна дочь умирает, другая теряет глаз, третья выздоравливает, но остается с раздутым носом, и бедные эти люди оказываются безнадежно разоренными. Зачастую, когда заболевание оспой принимает эпидемический характер, торговля полностью прерывается на ряд лет, а это производит заметные опустошения в сералях Персии и Турции.

Торгующая нация всегда очень крепко стоит на страже своих интересов и не пренебрегает никакими знаниями, способными принести пользу ее торговле. Черкесы приметили, что на тысячу человек едва ли найдется один, который заразился бы дважды настоящей оспой, и на самом деле иногда переносят трижды или четырежды легкую оспу, но никогда не болеют двумя выраженными и опасными формами; одним словом, они поняли, что в действительности этой болезнью дважды в своей жизни не болеют. Они заметили также, что, когда оспа носит наиболее благоприятный характер и ее высыпание поражает только тонкий и нежный кожный покров, она не оставляет никаких следов на лице. Из этих естественных наблюдений они сделали вывод, что, если шестимесячный или годовалый ребенок перенесет благоприятную форму оспы, он от нее не умрет, не будет обезображен ее следами и расквитается с этой болезнью на всю свою будущую жизнь.

Итак, оставалось лишь сберечь своим детям жизнь и красоту при помощи сделанной в добрый час прививки. Это и было достигнуто тем, что в тело ребенка вводили гнойничок, взятый от наиболее полноценной оспы, имеющей в то же время самый, какой только возможен, благоприятный исход.

Опыт не мог не увенчаться успехом. Турки, люди весьма здравомыслящие, тотчас же переняли этот обычай, и ныне нет в Константинополе того паши, который не прививал бы оспу своему сыну или дочери, отнимая их от груди матери.

Некоторые утверждают, что черкесы некогда переняли этот обычай у арабов, но мы прольем свет на этот исторический факт с помощью некоего ученого бенедиктинца, не преминувшего составить по его поводу несколько томов in-folio, наполненных доказательствами. Все, что я имею сказать по этому вопросу, есть следующее: в царствование Георга Первого мадам Уортлей-Монтэгю, одна из умнейших английских женщин, обладавшая к тому же огромным влиянием на умы, во время посольской миссии своего мужа в Константинополе приняла решение без лишних колебаний привить оспу ребенку, рожденному ею в этой стране. Капеллан ее мог ей сколько угодно твердить, что это не христианский обычай, приносящий успех лишь неверным, — сын [79] мадам Уортлей чувствовал себя после прививки великолепно. По возвращении в Лондон эта дама поделилась своим опытом с принцессой Галльской, нынешней королевой [80]. Следует признать, что независимо от титулов и корон принцесса эта была рождена для поощрения всевозможных искусств и для блага людей; она — очаровательный философ на троне, ни разу в жизни не упустивший случая пополнить свое образование или проявить свою щедрость. Именно она, услыхав разговоры о том, что жива еще дочь Мильтона [81] и что живет она в нищете, тут же послала ей дорогой презент; именно она покровительствует этому бедняге отцу Курайэ; именно она снизошла до того, чтобы стать посредницей между доктором Кларком и г-ном Лейбницем [82]. С того момента, как до нее дошли слухи о прививке, или внедрении, оспы, она велела произвести опыт на четырех преступниках, осужденных на смерть: тем самым она вдвойне спасла им жизнь, ибо она не только избавила их от виселицы,

но и с помощью искусственно привитой оспы предохранила их от возможного заболевания натуральной оспой, от которой они могли умереть с течением времени.

Принцесса, убедившись в пользе эксперимента, велела привить оспу своим детям. Англия последовала ее примеру, и с этого времени по меньшей мере десять тысяч первенцев обязаны своей жизнью королеве и мадам Уортлей-Монтэгю и столько же дочерей обязаны им своей красотой.

На сто человек в мире приходится по меньшей мере шестьдесят болеющих оспой, а из этих шестидесяти в самые благоприятные годы умирают двадцать человек и двадцать сохраняют на всю жизнь ее пагубные следы; таким образом, болезнь эта наверняка убивает или обезображивает пятую часть человечества. Из всех тех, кому была привита оспа в Турции или Англии, не умирает ни один человек, если только он не болен и не обречен на смерть по другим причинам; никто из них не бывает отмечен следами оспы, и никто не болеет ею во второй раз, если только прививка была сделана по всем правилам. Несомненно, если бы какая-нибудь супруга французского посла поведала Парижу этот константинопольский секрет, она оказала бы бессмертную услугу своей нации; во всяком случае, герцог де Вийкье, отец нынешнего герцога Омонтского, один из самых крепких и здоровых людей во Франции, не умер бы в расцвете своих лет.

Принц Субизский, пользовавшийся самым блестящим здоровьем, не был бы унесен смертью в возрасте двадцати пяти лет; его высочество дед Людовика XV[83] не был бы похоронен на пятидесятом году своей жизни, и двадцать тысяч человек, умерших в Париже от оспы в 1723 году, были бы сейчас живы. В чем же дело? Ужели французы совершенно не любят жизнь, а их жены совсем не заботятся о своей красоте? Поистине, мы странные люди. Возможно, мы переймем этот английский метод еще через десять лет, если только нам разрешат это приходские священники и врачи, а может случиться и так, что французам уже через три месяца придет в голову фантазия делать себе прививки, если англичане в силу изменчивости своей натуры утратят к ним вкус.

Я узнал, что уже сто лет как китайцы практикуют у себя этот обычай; пример нации, слывущей самой муд-

рой и цивилизованной во вселенной, должен считаться серьезным прецедентом. Правда, китайцы пользуются иным приемом: они не делают никаких надрезов, но дают вдохнуть оспенный пузырек через нос, как понюшку табаку. Способ этот более приятен, но эффект он дает тот же самый и позволяет точно таким же образом утверждать, что, если бы во Франции существовала практика прививок, была бы спасена жизнь тысячам людей.

Письмо двенадцатое
О КАНЦЛЕРЕ БЭКОНЕ [84]

Совсем недавно в одной знаменитой компании был поднят известный пустой и банальный вопрос: кто из великих людей — Цезарь, Александр, Тамерлан [85] или Кромвель и т. д. — был более велик?

Один из участников спора сказал, что, вне всякого сомнения, самым великим был Исаак Ньютон; он оказался прав, ибо если истинное величие состоит в том, чтобы, получив в дар от неба мощный талант, использовать его для самообразования и просвещения других, то человек, подобный г-ну Ньютону, едва ли встречающийся однажды на протяжении десяти веков, действительно велик, в то время как все эти политики и завоеватели, без которых не обошлось ни одно столетие, обычно суть не что иное, как именитые злодеи. Мы чтим тех, кто владеет умами силою своей правды, но не тех, кто путем насилия создает рабов; тех, кто познал вселенную, а не тех, кто ее обезобразил.

Однако, поскольку вы требуете, чтобы я рассказал вам о знаменитых людях, порожденных Англией, я начну с Бэкона, Локка, Ньютона и им подобных. Очередь генералов и министров наступит позже.

Первым здесь следует назвать знаменитого барона Веруламского, известного в Европе под фамильным именем Бэкон. Он был сыном лорда — хранителя печати и в течение долгого времени занимал должность канцлера при короле Якове I [86]. Тем не менее среди придворных интриг и забот по своей должности, требовавшей полной самоотдачи, он нашел время, чтобы стать великим философом, добросовестным историком и изящным писателем, причем еще более поразительно то,

что он жил в столетие, которому искусство изящного слога было совсем неведомо и еще менее была ведома здравомыслящая философия. Как это обычно среди людей, он был более чтим после своей кончины, чем при жизни: врагами его были лондонские придворные, поклонниками — люди всей Европы.

Когда маркиз д'Эффиа привез в Англию принцессу Марию, дочь Генриха Великого, которой предстояло стать супругой принца Галльского, министр этот отправился с визитом к Бэкону, прикованному тогда болезнью к ложу и принявшему его поэтому за задернутым занавесом. «Вы напоминаете ангелов, — сказал ему д'Эффиа. — О них постоянно слышишь, их считаешь существами гораздо более возвышенными, чем люди, но никогда не пользуешься утешительным счастьем их видеть».

Вам известно, Месье, каким образом Бэкон был обвинен в преступлении, совершенно несвойственном философу, а именно в том, что он дал подкупить себя деньгами. Вы также знаете, что он был присужден палатой пэров к штрафу в четыреста тысяч ливров в нашей монете и лишен своего звания канцлера и пэра.

Ныне англичане чтят его память настолько, что не желают признавать за ним этой вины. Если вы зададите мне вопрос, что́ я думаю по этому поводу, я воспользуюсь для ответа словами, которые слышал от милорда Болинброка: в его присутствии говорили о скупости, в которой обвинялся герцог Мальборо, и перечисляли характерные его черточки, в свидетели подлинности которых призывался милорд Болинброк, бывший его открытым врагом; он с легкостью мог сказать, как обстояло дело в действительности, однако ответил: «Это был столь великий человек, что я позабыл о его пороках».

Я ограничусь здесь рассказом о том, что принесло канцлеру Бэкону уважение всей Европы.

Самый примечательный и лучший из его трудов — тот, что сегодня наименее читаем и наиболее бесполезен: я имею в виду его «Novum scientiarum organum»* [87] — тот помост, на котором была воздвигнута новая философия; когда же здание ее было построено,

---

* «Новый органон наук» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

хоть и наполовину, помост потерял какое бы то ни было значение.

Канцлер Бэкон еще не знал природы, но он знал и указал все пути, ведущие к ней. Он пренебрег в добрый час всем тем, что в университетах именуется философией, и сделал все зависящее от него, чтобы эти общества, учрежденные ради усовершенствования человеческого разума, перестали сбивать его с толку своими *чтойностями, боязнью пустоты, субстанциальными формами* и всеми этими претенциозными словечками, которые не только невежество сделало уважаемыми, но и смехотворная путаница с религией превратила почти в святыни.

Бэкон — отец экспериментальной философии, но, правда, до него были раскрыты поразительные секреты. Были открыты компас, книгопечатание, эстампная гравюра, живопись маслом, стеклянные зеркала, искусство возвращать старикам зрение с помощью увеличительных стекол, именуемых «очками», порох и т. д. Был исследован, найден и завоеван новый мир. Кто бы не подумал, что эти открытия были сделаны более крупными философами и в гораздо более просвещенное время, чем нынешнее? Но ничуть не бывало: именно во времена самого тупого варварства произошли на Земле эти огромные перемены; почти все эти изобретения были делом случая, и весьма вероятно, что именно случай, как это принято называть, сыграл немалую роль в открытии Америки; по крайней мере, всегда считалось, что Христофор Колумб совершил свое путешествие исключительно потому, что поверил на слово капитану судна, заброшенного бурей на широту Карибских островов.

Как бы то ни было, люди уже научились отправляться на самый край света, они умели разрушать города при помощи искусственного взрыва, более ужасного, чем природный гром; но они ничего не знали о циркуляции крови, о весе воздуха, законах движения, свете, о количестве наших планет и т. д., и человек, умеющий защищать тезис, касающийся Аристотелевых категорий или универсалии *a parte rei* *, а также любую подобную чушь, считался пророком.

---

* *обособленной от реалии* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

Самые поразительные и полезные открытия не делают тем не менее самой высокой чести человеческому уму.

Мы обязаны всеми искусствами механическому инстинкту, присущему большинству людей, но вовсе не рациональной философии.

Конечно, открытие огня, искусство хлебопечения, плавки и изготовления металлов, постройки жилищ, изобретение ткацкого челнока вызваны к жизни потребностями совсем иного рода, чем те, что породили книгопечатание и компас, но при всем том искусства эти были изобретены еще дикарями.

Какого только изумительного употребления не сделали греки и римляне из механических изобретений? А между тем в их времена верили, будто существует хрустальное небо [88] и звезды — это маленькие светильники, падающие иногда в море, а один из их великих философов после тщательных изысканий пришел к выводу, что звезды — это кусочки кремния, отделившиеся от земли [89].

Одним словом, до канцлера Бэкона никто и не слыхивал об экспериментальной философии, а из всех физических экспериментов, поставленных после него, нет почти ни единого, который не был бы упомянут в его книге. Он сам осуществил некоторые из них, создал различные виды пневматических машин, с помощью которых разгадал упругость воздуха; отсюда он шаг за шагом извлекал представление о его весомости, он подошел к этому вплотную; за истину эту ухватился потом Торичелли [90]. По прошествии небольшого времени экспериментальная физика внезапно стала культивироваться одновременно почти во всех частях Европы. Это был скрытый клад, о котором Бэкон догадывался и который все философы, воодушевленные его обещанием, постарались извлечь на свет.

Но что более всего меня потрясло, это найденное мной в его книге четкое определение притяжения — того новшества, изобретателем которого слывет господин Ньютон.

«Надо исследовать, — пишет Бэкон, — не существует ли вообще некоего рода магнетической силы, которая действует между Землей и тяжелыми предметами, между Луной и океаном, между планетами и т. д.».

В другом месте он пишет:

«Необходимо, чтобы тяжелые тела либо сами устремлялись к центру Земли, либо чтобы между ними и этим центром существовало взаимное притяжение, причем в этом последнем случае ясно, что, чем больше тела, падая, приблизятся к Земле, тем более сильное притяжение они будут испытывать. Надо, — продолжает он, — опытным путем исследовать, пойдут ли одни и те же гиревые часы быстрее на вершине горы или на дне шахты; если сила гирь уменьшается на горе и увеличивается в шахте, становится очевидным, что Земля обладает истинным притяжением».

Этот предтеча в области философии был также изящным стилистом, историком, остроумнейшим человеком.

Его эссе о морали [91] высоко ценятся, но они написаны скорее с нравоучительной целью, чем с развлекательной; они не содержат в себе ни сатиры на человеческую природу, подобную изречениям г-на Ларошфуко [92], ни философии скептицизма, как у Монтеня [93], и потому их меньше читают, чем эти две искусные книги.

Его «История Генриха VII» [94] считалась шедевром, но я сделал бы большую ошибку, если бы решился сравнить ее с трудом нашего прославленного де Ту [95].

Вот каким образом выражается канцлер Бэкон, говоря о пресловутом обманщике и самозванце Паркинсе [96], еврее по происхождению, дерзостно принявшем по наущению герцогини Бургундской имя Ричарда IV, короля Англии:

«Приблизительно в это время короля Генриха обуяли злые духи, вызванные магическими заклинаниями герцогини Бургундской, призвавшей из преисподней тень Эдуарда IV, дабы она мучила короля Генриха.

После того как герцогиня Бургундская подучила Паркинса, она принялась прикидывать, в какой области неба устроить появление этой кометы, и решила, что сначала она должна засверкать на горизонте Ирландии».

Мне думается, что наш мудрый де Ту совсем не пользуется таким стилем, считавшимся некогда возвышенным, но в наше время резонно именуемым галиматьей.

Письмо тринадцатое
О Г-НЕ ЛОККЕ

Быть может, никогда не существовало более мудрого методического ума и более точной логики, чем у г-на Локка, а между тем он вовсе не был великим математиком. Он никогда не умел отдаться целиком утомительным вычислениям и сухим математическим истинам, не дающим, прежде всего, ничего ни уму, ни сердцу, и никто лучше него не доказал, что можно обладать геометрическим умом без содействия геометрии. До него великие философы рассуждали о том, что́ такое человеческая душа, но, так как они ничего ровным счетом в этом не понимали, естественно, мнения их по этому поводу полностью расходились.

В Греции, колыбели искусств и заблуждений, где величие и вздорность человеческого ума завели его в непроходимые дебри, так же как у нас, велись рассуждения о душе.

Божественный Анаксагор, которому был воздвигнут алтарь за то, что он поведал людям, будто Солнце больше Пелопоннеса, снег черен, а небеса сделаны из камня, утверждал, что душа — это воздушное дуновение, и притом бессмертное.

Другой такой же философ, Диоген, ставший киником после того, как он подвизался в качестве фальшивомонетчика, уверял, будто душа — это частица субстанции самого бога; идея эта, по крайней мере, была блестящей.

Эпикур[97] сделал душу составленной из частиц, как тело. Аристотель[98], истолкованный на тысячу различных ладов из-за невразумительности своих писаний, считал, если верить здесь некоторым его ученикам, что разум всех людей — это одна и та же субстанция.

Божественный Платон, учитель божественного Аристотеля, и божественный Сократ[99], учитель божественного Платона, считали душу телесной и бессмертной: вне всякого сомнения, им пояснил, как с этим обстоит дело, гений Сократа. Правда, существуют люди, утверждающие, будто человек, похваляющийся тем, что в его распоряжении имеется собственный гений, несомненно, либо глупец, либо плут; однако люди эти чересчур уж придирчивы.

Что до наших отцов церкви, то многие из них в первые века верили, будто человеческая душа, ангелы и бог телесны [100].

Человечество шаг за шагом становится все утонченнее. Святой Бернар [101], по мнению отца Мабильона [102], учил о душе, что после смерти [человека] она вовсе не созерцает бога на небесах, но общается лишь с народом Христовым; однако на сей раз мы не верим ему на слово. Авантюра крестового похода несколько дискредитировала его прорицания. Затем появились тысячи схоластов — всякие там доктора несгибаемые, утонченные, ангельские, серафические, херувимские [103], и все они были вполне уверены в том, что имеют весьма ясное представление о душе, однако старались говорить о ней так, как если бы хотели лишь одного, а именно чтобы ни одна живая душа ничего в этом не поняла.

Наш Декарт [104], рожденный для того, чтобы вскрыть заблуждения античности, но также и для того, чтобы на их место водрузить свои собственные, будучи увлечен духом систематизации, ослепляющим самых великих людей, вообразил, что сумел доказать, будто душа — то же самое, что мышление, подобно тому как материя, по его мнению, то же самое, что протяженность; он уверял, что люди мыслят постоянно и что душа прибывает в тело, заранее снабженная всеми метафизическими понятиями, имеющая представления о боге, пространстве и бесконечности, обладающая всеми абстрактными идеями и, наконец, преисполненная всех тех прекрасных знаний, которые она, к несчастью, забывает, когда выходит из материнского чрева.

Г-н Мальбранш, член конгрегации ораторианцев, в своих возвышенных иллюзиях не только допустил врожденные идеи, но даже не сомневался в том, что мы живем целиком и полностью в боге и бог, так сказать, и есть наша душа.

В то время как множество резонеров создавали роман о душе, явился мудрец, скромно написавший ее историю. Локк развернул перед человеком картину человеческого разума, как превосходный анатом объясняет механизм человеческого тела. Всюду он пользовался светочем физики, иногда он осмеливается утверждать, но осмеливается также и сомневаться; вместо того чтобы сразу же дать определение всему тому, чего мы не

знаем, он шаг за шагом исследует то, что мы хотели бы знать. Он исследует ребенка с момента его рождения, постепенно прослеживает развитие его сознания, усматривает, что общего у него с животными и в чем он их превосходит, особенно беря в свидетели самого себя, показания собственной сознательной мысли.

«Я оставляю тем, — говорит он, — кто разбирается в этом лучше меня, рассуждать, получает ли наша душа существование до или после формирования нашего тела; но признаюсь, мне выпала на долю одна из тех грубых душ, что мыслят не непрерывно; более того, я имею несчастье не понимать, почему душе больше необходимо постоянно мыслить, чем телу — постоянно находиться в движении».

Что до меня, то я горжусь честью быть в этом пункте таким же тупицей, как Локк: ни одна живая душа никогда не заставит меня поверить, будто я постоянно мыслю; и я не более, чем он, чувствую себя настроенным воображать, будто уже через несколько недель после моего зачатия я обладал весьма ученой душой, знавшей тогда тысячи вещей, кои я позабыл, рождаясь на свет, и без всякой пользы располагавшей в *материнской утробе* знаниями, ускользнувшими от меня как раз в тот момент, когда они могли мне понадобиться; вдобавок ко всему я никогда не сумел их себе вернуть.

Вдребезги разбив врожденные идеи и полностью отвергнув тщеславное убеждение, будто мы постоянно мыслим, Локк устанавливает, что все наши идеи мы получаем через ощущения, исследует наши простые идеи, а также и более сложные, прослеживает человеческое сознание во всех его функциях, показывает, насколько несовершенны языки, которыми пользуются люди, и как мы постоянно злоупотребляем словами.

Наконец, он подходит к рассмотрению объема, или, точнее сказать, ничтожности человеческих знаний. Именно в этом разделе он осмеливается скромно произнести следующие слова: *Быть может, мы никогда не сумеем узнать, мыслит ли или нет чисто материальное существо.*

Эти мудрые слова показались многим теологам скандальным заявлением, утверждающим материальность и смертность души.

Некоторые англичане, верные своему обычаю, забили тревогу. Суеверные люди в обществе — то же самое, что трусы в армии: они сами питают панические страхи и заражают ими других. Раздались вопли, что Локк решил ниспровергнуть религию. Однако здесь шла речь вовсе не о религии: это был чисто философский вопрос, совершенно независимый от веры и откровения; нужно было только беспристрастно исследовать, существует ли какое-то противоречие в положении *материя способна мыслить* и может ли бог сообщить материи мышление. Однако теологи слишком часто начинают кричать об оскорблении бога в тех случаях, когда кто-то не согласен с ними самими. Это очень напоминает скверных поэтов, вопивших, что Депро [105] оскорбляет величество, в то время как он смеялся только над ними.

Доктор Стиллингфлит [106] заслужил себе репутацию умеренного теолога тем, что не поносил откровенно Локка. Он вступил с ним в полемику, однако был побежден: дело в том, что он рассуждал как доктор теологии, Локк же — как философ, знакомый с силой и слабостью человеческого ума и сражавшийся оружием, крепость закалки которого была ему хорошо известна.

Если бы я осмелился после г-на Локка говорить на столь щекотливую тему, я бы сказал, что люди уже очень давно спорят по поводу природы и бессмертия души. Что до бессмертия души, то доказать его невозможно, поскольку спор пока идет еще о ее природе и, разумеется, надо познать творение до основания раньше, чем решать, бессмертно оно или нет. Разум человеческий сам по себе столь мало способен доказать бессмертие души, что религия вынуждена была сообщить нам о нем при помощи откровения. Всеобщее благо людей требует веры в бессмертную душу, религия нам это повелевает — чего же более, вопрос решен. На самом деле природа души вовсе не такова, и для религии совершенно безразлично, что представляет собой субстанция души, была бы она только добродетельной; душа — это часовой механизм, данный нам для самоуправления, однако мастер не сообщил нам, из чего сделана движущая пружина этого механизма.

Я — тело, и я мыслю: это все, что я знаю. Стану ли я приписывать неведомой причине то, что́ я с такой легкостью могу приписать лишь второй причине, которая

мне знакома? Но тут все схоластические философы пресекают мою аргументацию, провозглашая: «У тела нет ничего, кроме протяженности и плотности, а потому оно может обладать лишь движением и формой. Но движение и форма, протяженность и плотность не могут порождать мысль, а следовательно, душа не может быть материальной». Все эти грандиозные рассуждения, многократно повторяемые, сводятся лишь к следующему: «Я совершенно не знаю материи и лишь приблизительно угадываю некоторые ее свойства; однако я абсолютно не знаю, можно ли связывать эти свойства с мыслью. Все же, поскольку я ничего не знаю, я положительно утверждаю, что материя не умеет мыслить». Таков примерный метод рассуждения схоластов. Локк попросту ответил бы этим господам: «Признайтесь, по крайней мере, что вы так же невежественны, как я: ни ваше, ни мое воображение не способно постичь, каким образом тело может иметь идеи, но лучше ли вы понимаете, каким образом может их иметь субстанция, что бы она собой ни представляла? Вы не постигаете ни материи, ни духа, как же смеете вы что-либо утверждать?».

Тут выскакивает вперед педант и заявляет, что во имя спасения их собственных душ надо сжечь всех тех, кто предполагает, будто можно мыслить с помощью одного только тела. Но что бы эти господа сказали, если бы оказалось, что именно им вменяется в вину безверие? В самом деле, кто из людей, если только он не вздорный нечестивец, посмеет утверждать, будто Творец не способен сообщить материи мысль и чувство?! Посмотрите же, прошу вас, в какое трудное положение вы попали, если ограничиваете таким образом могущество Творца! Животные обладают теми же органами, что и мы, теми же ощущениями, теми же восприятиями; у них есть память, они способны комбинировать некоторые идеи. Если бог не способен был одушевить материю и сообщить ей ощущение, то одно из двух: либо животные — просто механизмы, либо они обладают духовной душой.

Мне представляется почти доказанным, что животные не могут быть простыми машинами, и вот мой довод: бог создал для них точно такие же органы чувств, что и для нас, а значит, если они ничего не чувствуют, он проделал бесполезную работу. Но бог, по вашему

собственному признанию, ничего не делает зря, а значит, он не мог сотворить столько органов чувств во имя полного отсутствия ощущения; итак, животные вовсе не являются только машинами.

Согласно вашему мнению, животные не могут обладать духовной душой, следовательно, остается утверждать лишь одно, а именно: что вопреки вам бог сообщал материальным органам зверей способность чувствовать и замечать, каковую вы именуете их инстинктом.

Но кто мог помешать богу сообщить нашим более утонченным органам эту способность чувствовать, замечать и мыслить, именуемую нами человеческим разумом? Куда вы ни повернитесь, вы вынуждены будете признать собственное невежество и необъятное могущество Творца; так не восставайте же больше против мудрой и непритязательной философии Локка: она вовсе не противоречит религии и, наоборот, помогает ей доказательством, если религия в этом нуждается. В самом деле, может ли существовать более религиозная философия, чем эта, которая, не утверждая ничего, кроме вещей, до конца ей понятных, и умея признавать свою слабость, говорит вам, что, как только вы приступаете к исследованию первопричин, надо тотчас же прибегать к богу.

Впрочем, никогда не следует бояться, что какая-либо философская мысль может повредить отечественной религии. И хотя наши таинства находятся в великолепном противоречии с нашими доказательствами, их тем не менее высоко чтят христианские философы, понимающие, что объекты разума и веры имеют различную природу. Никогда в жизни философы не образуют религиозную секту. А почему? Да потому, что они пишут не для толпы и, помимо этого, им чужд фанатизм.

Разделим человеческий род на двадцать частей. Девятнадцать из них будут составлять те, кто живет трудом своих рук и кому никогда не придет в голову, что на свете жил некий г-н Локк; и как же мало в оставшейся двадцатой части людей, привыкших читать! А среди тех, кто читает, на двадцать человек, зачитывающихся романами, приходится всего один, штудирующий философию; число же тех, кто мыслит, вообще крайне невелико, и людям этим не приходит в голову блажь сотрясать мир.

Ни Монтень, ни Локк, ни Бейль[107], ни Спиноза[108], ни Гоббс[109], ни милорд Шефтсбери[110], ни г-н Коллинз[111], ни г-н Толанд[112] и т. д. не зажгли факела раздора в своем отечестве; большей частью такими людьми оказывались теологи; они питают честолюбивые чаяния главарей сект, но кончается это обычно тем, что они стремятся стать во главе партий.

Да что там говорить! Все книги новейших философов, вместе взятые, никогда не устроят в мире такого шума, какой вызвал некогда один лишь диспут францисканцев[113] по поводу фасона их рукавов и капюшона.

Приложение первое

ПИСЬМО О ДУШЕ (ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ПИСЬМА XIII)

Письмо о г-не Локке

Надо признаться, что, когда я читал непогрешимого Аристотеля, божественного Платона, Доктора утонченного и Доктора ангельского, я принял все эти эпитеты за шутливые клички. Я не увидел в философах, трактовавших вопрос о человеческой душе, ничего, кроме слепцов, преисполненных безрассудства и очень болтливых; они силятся убедить, что обладают орлиным взором, других слепцов, любопытных и вздорных, верящих им на слово и тотчас же начинающих воображать, будто и они кое-что усмотрели.

Не скрою, я помещаю в ряд этих мастеров ошибок Декарта и Мальбранша. Первый из них уверяет нас, что душа человека — это субстанция, сущность которой — мышление, что она постоянно мыслит и в материнской утробе занята великими метафизическими идеями или не менее замечательными всеобщими аксиомами, которые в дальнейшем позабывает.

Что до отца Мальбранша, то он вполне убежден, будто мы усматриваем все в боге; он приобрел сторонников, потому что именно самые дерзновенные басни лучше всего усваиваются слабым воображением людей. Многие философы создавали роман о душе, но наконец явился мудрец, скромно написавший ее историю. Я вам

сейчас вкратце изложу эту историю в соответствии с тем, как я ее разумею. Я отлично понимаю, что никто в целом свете не согласится с идеями г-на Локка; может статься, г-н Локк прав в отношении Декарта и Мальбранша и не прав перед Сорбонной; я ни за что здесь не отвечаю: я пишу, следуя светочу философии, а не откровениям веры. Мне свойственно всего лишь человеческое мышление; теологи принимают божественные решения — что ж, это совсем иное дело. Разум и вера имеют противоположную природу. Одним словом, я даю краткое изложение г-на Локка, которое я подверг бы критике, если бы был теологом, и которое я на мгновение допускаю как чистую гипотезу, как догадку бесхитростной философии.

Говоря по-человечески, речь идет о том, чтобы понять, что́ такое душа.

1) Слово *душа* принадлежит к тем словам, которые всякий произносит, не понимая их смысла. Мы понимаем лишь вещи, относительно которых имеем какую-либо идею; но у нас нет никакой идеи души, или разума, следовательно, мы его не понимаем.

2) Мы предпочитаем именовать «душой» способность думать и чувствовать, подобно тому как мы именуем *зрением* способность видеть, *волей* — способность желать и т. д.

Но потом явились резонеры, заявившие:

«Человек состоит из материи и духа: материя протяженна и делима, дух — не протяжен и неделим; итак, он — иной природы, — утверждают они, — итак, человек — это сочетание сущностей, не имеющих друг к другу никакого отношения и объединенных между собой богом вопреки их природе. Мы имеем приблизительное представление о теле, но совсем не имеем представления о душе; последняя не поделена на части, следовательно, она вечна; она обладает чистыми духовными идеями, а значит, она не может их получать от материи, она не получает их также и от самой себя, следовательно, их дарует ей бог, и, значит, рождаясь, она несет в себе идею бога, бесконечности и все прочие всеобщие идеи».

По-прежнему рассуждая как человек, я отвечаю этим господам, что они — весьма ученые люди. Сначала они предполагают существование души, а потом гово-

рят нам, чем она должна быть; они произносят слово «материя», а затем точно решают, что́ она собой представляет. Я же со своей стороны говорю им: «Вы не знаете ни материи, ни духа; в связи с духом вы можете вообразить лишь способность мышления; *в связи* с материей вы не в состоянии представить себе ничего, кроме определенного сочетания качеств — цветов, протяженности, плотности; вам взбрело на ум именовать это материей, и вы обозначили границы материи и души раньше, чем убедились хотя бы в существовании той и другой. Но по поводу материи вы серьезно учите, будто в ней нет ничего, кроме протяженности и плотности; я же скромно вам укажу, что ей присущи тысячи свойств, о которых ни вам, ни мне ничего не известно. Вы утверждаете, что душа неделима, вечна, и, таким образом, допускаете то, что само находится под вопросом.

Вы очень напоминаете того регента колледжа, который, ни разу в своей жизни не видав часов, внезапно стал обладателем английских часов с репетицией. Человек этот, честный перипатетик, был потрясен точностью, с которой стрелки отмеряют и указывают время, и еще больше был поражен тем, что кнопка, когда ее нажимают пальцем, отбивает в точности тот самый час, на который указывает стрелка. Философ мой тотчас же заключил, что у этого механизма есть душа, им управляющая и перемещающая его пружины, и он научно доказал свою мысль путем сравнения с ангелами, сообщающими движение небесным сферам; таким образом он защитил в своем классе тезис, касающийся души часов. Тогда один из его учеников вскрывает часы: он не видит там ничего, кроме пружин, а между тем система души продолжает действовать, ибо она считается доказанной. Я — этот ученик: давайте вскроем часы, именуемые человеком, и вместо того, чтобы храбро определять то, чего мы не знаем, попробуем шаг за шагом исследовать то, что́ мы желали бы узнать.

Возьмем ребенка в момент его рождения и проследим поступательный ход развития его разума. Вы оказываете мне честь сообщением, что бог взял на себя труд создать душу, дабы поместить ее в это тело.

По прошествии примерно шести недель душа эта прибывает на место, вооруженная метафизическими идеями и весьма точным знанием бога, духа, абстракт-

ных понятий и бесконечности, одним словом, она является в качестве весьма ученой особы. Но увы, из чрева матери она выходит грубо невежественной; 18 месяцев она проводит, не ведая ничего, кроме груди своей кормилицы, а когда хотят в возрасте 20 лет вернуть этой душе память обо всех тех ученых идеях, коими она обладала в момент своего слияния с телом, она часто оказывается настолько тупой, что бывает не способна воспринять ни одну из них. Существуют целые народы, никогда в жизни не располагавшие ни единой из этих идей; в самом деле, о чем думали души Декарта и Мальбранша, когда они сочиняли подобные бредни?

Проследим же историю маленького ребенка, не задерживаясь более на фантазиях философов. В день, когда его мать разрешается им и его душой, в его доме рождаются также собака, кошка и канарейка. К концу третьего месяца я научаю канарейку исполнять менуэт, по истечении полутора лет превращаю собаку в превосходного охотника, кошка уже после шести недель проделывает все свои штуки, а ребенок, когда ему исполняется четыре года, не делает ничего. Я, человек невежественный и грубый, будучи свидетелем этой поразительной разницы и никогда раньше не видав ребенка, сразу предполагаю, что собака, кошка и канарейка — весьма разумные создания, маленький же ребенок — автомат; однако мало-помалу я замечаю, что ребенок этот также обладает идеями, памятью, что у него те же страсти, что у этих животных, и тогда я признаю, что и он, подобно им, разумное существо. Он делится со мной различными идеями при помощи нескольких выученных им слов, так же как моя собака своими разнородными криками точно сообщает мне о различных своих потребностях. Я замечаю, что к 6—7 годам ребенок в своем маленьком мозгу комбинирует почти столько же идей, сколько моя охотничья собака — в своем. Наконец, с возрастом он достигает бесчисленного количества познаний. И что я тогда должен о нем подумать? Поверю ли я, что он — совсем особая натура? Разумеется, нет, ибо вы, наблюдая, с одной стороны, глупца, а с другой — г-на Ньютона, утверждаете тем не менее, что они — существа одной и той же породы; следовательно, я с еще бóльшим основанием должен настаивать на том, что моя собака и мой ребенок в основе своей принадле-

жат к одному и тому же виду и между ними существует лишь количественная разница. Дабы лучше убедиться в правдоподобии моего мнения, я изучаю моего ребенка и мою собаку во время их бодрствования и сна. Я велю делать им — и той, и другому — непомерные кровопускания, и тогда кажется, что идеи их вытекают из них вместе с кровью. В этом состоянии я их зову, но они мне больше не отвечают, и, если я выпускаю из них еще несколько порций крови, оба мои механизма, за час до того обладавшие огромным количеством идей и всевозможными страстями, перестают что бы то ни было чувствовать.

Я исследую также обоих моих животных во время их сна; я отмечаю, что собака после чрезмерной еды во сне грезит: она охотится, лает после добычи. Что касается моего молодца, находящегося в подобном же состоянии, то он разговаривает со своей возлюбленной и во сне предается любви. Если тот и другая поели умеренно, ни он, ни она не грезят; в результате я вижу, что их способность чувствовать, воспринимать, выражать свои идеи развилась у них постепенно и ослабевает таким же образом. Я замечаю между ними во сто крат больше связи, чем можно найти между неким интеллектуалом и неким другим человеком, полностью слабоумным.

Какое же, однако, мнение вынесу я относительно их природы? Да то, что́ имели все народы до того, как египетская политика изобрела духовность и бессмертность души. Я могу подозревать, хоть и с изрядной долей правдоподобия, что Архимед[114] и какой-нибудь крот принадлежат к одному и тому же роду, хотя вид их различен: это подобно тому, как дуб и побег горчичного зернышка созданы по одним и тем же принципам, хотя первый — большое дерево, а второй — маленькое растеньице.

Я могу думать, что бог придал частицы разума частицам материи, организованным так, что они способны мыслить; я могу считать, что материя мыслит в соответствии с тонкостью ее ощущений и что именно ощущения — это ворота и мерило наших идей; я могу полагать, что у устрицы, заключенной в раковину, меньше разума, чем у меня, ибо у нее меньшее количество ощущений, и я бы считал, что у нее меньше ощущений и чувств потому, что душа ее, прикрепленная к своей ра-

ковине, не нуждается в 5 чувствах. Существует много животных, имеющих всего лишь 2 чувства; у нас их 5, и это совсем не так много: надо полагать, что в других мирах есть другие живые существа, пользующиеся 20 или 30 чувствами, и что существуют иные виды, еще более совершенные, обладающие бесконечным числом чувств.

Мне представляется, что наиболее естественный способ изложения доказательств — догадываться и предполагать. Разумеется, прошло много времени до тех пор, когда люди вообразили себе неведомое существо, живущее внутри нас и все внутри нас совершающее, которое вовсе не есть то же, что мы, и которое живет после нас. По-видимому, к постижению столь дерзновенной идеи можно было прийти лишь постепенно. Сначала слово *душа* обозначало «жизнь» и было общим для нас и прочих живых существ, но затем наша гордыня сотворила нам отдельную душу и заставила нас вообразить субстанциальную силу для всех остальных созданий.

Эта человеческая гордыня потребует от меня затем ответа на вопрос, чем является та способность воспринимать и чувствовать, которую она именует душой в человеке и инстинктом в животном. Я дам удовлетворительный ответ на этот вопрос, когда университеты мне разъяснят, что такое *движение, звук, свет, пространство, тело, время.* И тогда я скажу в духе мудрого г-на Локка: «Смысл философии заключается в том, чтобы остановиться, как только нам начинает недоставать светоча физики». Я наблюдаю в природе следствия, но признаюсь вам, что не более вас осведомлен относительно первопричин. Все сказанное мною означает лишь, что я не должен приписывать множеству причин, тем более причинам неизвестным, то, что я могу приписать единственной мне известной причине: ведь я могу приписать способность думать и чувствовать своему телу; итак, я не должен искать эту способность в ином существе, именуемом *душою*, или *духом*, о котором я не могу иметь ни малейшего понятия. Разумеется, вы восстанете против этого допущения, вы сочтете безбожием эту смелость — утверждать, будто тело способно мыслить. Но что вы возразите, ответил бы вам г-н Локк, если окажется, что в данном случае вы сами повинны в безбожии — вы, осмеливающиеся ограничивать могущество бога? И какой

человек на Земле смеет, не впадая во вздорное нечестие, утверждать, будто для бога невозможно придать материи чувство и мысль? Слабые и дерзкие существа, вы выдвигаете довод, будто материя вообще не способна мыслить, поскольку вы не постигаете, что может мыслить протяженная субстанция, но разве вы успешнее постигаете, каким образом вообще мыслит субстанция, какой бы она ни была?

Великие философы, выносящие решение относительно могущества бога и утверждающие, что бог способен сделать из камня ангела, разве вы не понимаете, что, согласно вашим собственным представлениям, бог в данном случае только придал бы камню способность мыслить? Ибо, если бы материи камня больше не стало, это уже не был бы камень, превращенный в ангела, это был бы уничтоженный камень и сотворенный ангел. С какой стороны ни возьмись, вы вынуждены признать две вещи — свое собственное невежество и безмерное могущество Творца: свое невежество, восстающее против мыслящей материи, и могущество Творца, для которого, конечно же, в этом нет ничего невозможного.

Зная, что материя не уничтожается, вы тем не менее оспариваете у бога способность сохранять в этой материи прекраснейшее качество, каким он ее украсил! Протяженность существует сама по себе, без присутствия тел, потому что есть философы, признающие пустоту; среди христиан акциденции спокойно существуют без субстанции, ибо они верят в транссубстанциацию. Бог, говорите вы, не мог создать ничего содержащего в себе противоречие. Это верно, если знать, что мыслящая материя является чем-то противоречивым, но чтобы это утверждать, надо обладать знаниями, коих у вас нет, и, как бы вы ни бились, вы никогда не узнаете больше того, что вы — тела и вы мыслите.

Многие, научившиеся у схоластов ни в чем не сомневаться и принимающие свои силлогизмы за пророчества, а свое суеверие — за религию, считают г-на Локка опасным нечестивцем. Суеверные люди в человеческом обществе — то же самое, что трусы в армии: они питают сами и сеют вокруг себя панические страхи.

Надо быть милосердным и рассеять эти страхи; пусть люди знают, что мнения философов никогда не причиняли вреда религии.

Установлено, что свет исходит от Солнца и планеты вращаются вокруг этого светила, но это не мешает Библии назидательно поучать, что свет был сотворен до Солнца и что Солнце остановилось над селением Гаваон.

Доказано, что радуга образуется только дождем; тем не менее мы продолжаем чтить священный текст, гласящий, что бог водрузил свою дугу в облаках после потопа в знак того, что наводнение больше не предвидится.

Таинства троицы и причастия могут сколько угодно противоречить известным доказательствам, тем не менее католические философы, отлично понимающие разность природы объектов разума и объектов веры, перед ними благоговеют.

Представление об антиподах было осуждено как еретическое папами и соборами, но вопреки этому постановлению люди, признающие и пап и соборы, открыли антиподов и привнесли в их среду ту самую христианскую религию, полным крахом которой считалась возможность обнаружения человека, который имел бы (как тогда говорили) голову внизу, а ноги — вверху по отношению к нам и который, как замечает весьма слабый философ св. Августин, падал бы, таким образом, на небо.

Философы никогда в жизни не нанесут ущерба религии, господствующей в их отечестве. Почему? Да потому, что они — не фанатики и пишут не для народа.

Разделите человеческий род на 20 частей. Девятнадцать из них будут состоять из тех, кто живет трудом своих рук и кому никогда не придет в голову, что на свете жил некий г-н Локк; и как же мало в оставшейся двадцатой части людей, привыкших читать! А среди тех, кто читает, на двадцать человек, зачитывающихся романами, приходится всего один, штудирующий философию; число же тех, кто мыслит, вообще очень невелико, и людям этим не приходит в голову блажь сотрясать мир.

Ни Монтель, ни Локк, ни Бейль, ни Спиноза, ни Гоббс, ни Шефтсбери, ни г-н Коллинз, ни Толанд и т. д. не зажгли факела раздора в своем отечестве. Большей частью такими людьми оказывались теологи; сначала они питают честолюбивые чаяния главарей сект, но кончается это обычно тем, что они стремятся стать во гла-

ве партий. Да что там говорить! Все книги новейших философов, вместе взятые, никогда не устроят в мире такого шума, какой вызвал некогда один лишь диспут францисканцев по поводу фасона их рукавов и капюшона.

Наконец, месье, я снова хочу повторить, что, свободно вам все это излагая, я не даю, однако, ручательства ни за одно из высказанных здесь мнений; я не ответственен ни за что. Быть может, среди сновидений рассудка и есть какие-то грезы, коим я отдал бы свое предпочтение, но нет среди них ни одной, которой я тотчас же не пожертвовал бы ради религии и моего отечества.

де Вольтер

Приложение II

КОНЕЦ ПИСЬМА XIII, НАЧИНАЯ С 1748—1751 ГГ.

Продолжение той же темы

Я представляю себе дюжину добрых философов на острове, где они никогда не видели ничего, кроме растительности. Правда, отыскать такой остров, и особенно двенадцать добрых философов, очень трудно, но в конце концов такая фантазия вполне позволительна. Они с восхищением наблюдают жизнь, циркулирующую в фибрах растений, — жизнь, которая кажется то исчезающей, то возникающей вновь; при этом, не зная как следует, каким образом эти растения рождаются, питаются и вырастают, они нарекают эту жизнь *растительной душой.*

— Что вы понимаете под «растительной душой»? — спрашивают их. — Это слово, — отвечают они, — служащее для обозначения неизвестной силы, управляющей всеми этими процессами. — Но разве вы не понимаете, — говорит им некий механик, — что все это происходит естественным путем, благодаря силе тяжести, рычагам, колесикам, блокам? — Нет, — возразят наши философы, если они люди просвещенные. — Во всей этой растительности присутствует нечто иное, помимо обычных движений; тут есть какая-то тайная сила, по-

могающая всем растениям впитывать в себя питательный сок без какого бы то ни было импульса; и сила эта, которую нельзя объяснить с помощью какого бы то ни было механического устройства, есть божий дар материи, природы которого ни вы, ни мы не понимаем.

Поспоривши таким образом, наши мыслители в конце концов обнаруживают животных. — О, о! — восклицают они после длительного исследования, — вот существа, устроенные так же, как мы! Они, бесспорно, обладают памятью, часто даже лучшей, чем мы. У них наши страсти; они способны познавать; они могут сообщить обо всех своих нуждах; они, так же как мы, продолжают свой род.

Наши философы анатомируют несколько этих существ и находят у них сердце и мозг. — Как! — восклицают они. — Создатель этих машин, ничего не делающий впустую, придал им все органы чувств для того, чтобы они ничего не чувствовали?! Было бы нелепостью так считать. Несомненно, у них есть нечто такое, что мы именуем также *душой* за неимением лучшего: нечто, вызывающее ощущения и обладающее определенным числом идей. Однако что это за первоначало? Чистый ли это дух? Или это нечто промежуточное между материей, которую мы совершенно не знаем, и чистым духом, тоже нам неизвестным? Или это свойство, сообщенное богом организованной материи?

Далее они ставят опыты на насекомых, на земляных червях; они расчленяют их на несколько частей и бывают поражены тем, что по прошествии некоторого времени у каждой отсеченной части появляется голова; одно и то же существо самовоспроизводится и из самого своего разрушения извлекает возможность своего размножения. Обладает ли оно несколькими душами, ожидающими лишь своей очереди оживить эти части, восстановившиеся после того, как от первичного туловища была отсечена голова? Существо это напоминает деревья, у которых вновь отрастают ветви и которые развиваются из черенка; что же, у этих деревьев несколько душ? По-видимому, нет; однако весьма возможно, что душа этих тварей иной природы, чем та, каковую мы именуем у растений *растительной душой;* по-видимому, это потенция высшего порядка, которую бог удостоил даровать определенным частям материи; это — новое

доказательство его могущества и новый повод для поклонения.

Некий необузданный человек, к тому же дурной мыслитель, услышав все эти рассуждения, им говорит: «Вы — преступники, и ваши тела надо сжечь ради блага ваших же душ: ведь вы отрицаете бессмертие души человека». Наши философы переглядываются между собой, пораженные насмерть, один из них мягко ему возражает: «Зачем же нас так поспешно сжигать? На каком основании могли вы подумать, будто мы одержимы идеей, согласно которой ваша жестокая душа смертна?» — «Да потому, — отвечает тот, — что вы верите, будто бог дал животным, устроенным так же, как мы, способность чувствовать и иметь идеи. А поскольку эта душа животных погибает одновременно с ними, значит, вы полагаете, что и душа человека гибнет также».

Философ возражает: «Мы совсем не уверены, будто то, что мы именуем *душою* в животных, погибает одновременно с ними, мы слишком хорошо знаем, что материя не уничтожается, и возможно (мы так полагаем), бог вложил в живые существа нечто такое, что навеки может сохранить, если бог того пожелает, способность иметь идеи. Мы далеко не утверждаем, что дело обстоит именно таким образом, ибо человеку вовсе не свойственно быть столь самоуверенным; но мы не осмеливаемся ограничивать могущество божье. Мы найдем весьма вероятным, что животные, являющиеся материей, получили от бога в дар разум. Мы с каждым днем будем открывать все новые свойства материи, иначе говоря, признаки присутствия бога, о которых до того мы не подозревали; сначала мы определили материю как протяженную субстанцию; затем мы признали, что ей следует приписать также плотность, а еще некоторое время спустя возникла необходимость в допущении, что эта материя обладает силой, именуемой силой инерции, после чего все мы были поражены необходимостью признать, что материи свойственно тяготение. Когда мы пожелали продолжить наши исследования, мы вынуждены были признать также существование вещей, кое в чем напоминающих материю и тем не менее лишенных других присущих ей атрибутов.

Например, простой огонь воздействует на наши чувства как другие тела, однако он не тяготеет, подобно

им, к центру, наоборот, он устремляется равномерно во все стороны прочь от него. По-видимому, он не подчиняется законам тяготения и притяжения, как другие тела. Наконец, существуют тайны оптики, объяснимые исключительно с помощью дерзкого предположения, гласящего, что одни лучи света проникают в другие. Ведь когда пятьсот тысяч человек, стоящих с одной стороны, и столько же — с другой, наблюдают небольшой предмет, раскрашенный во множество цветов и помещающийся на вершине башни, необходимо, чтобы столько же лучей — и еще в тысячу миллионов раз больше — исходило от этих маленьких цветных точек; все они неизбежно будут между собой пересекаться перед тем, как дойдут до глаз; однако каким же образом они достигнут их, каждый неся свой цвет, если по пути они взаимно пересекаются? Мы вынуждены поэтому предположить, что они могут быть взаимопроницаемыми; но если это так, они весьма отличны от той материи, что нам знакома. По-видимому, свет — это нечто промежуточное между телами и другим видом вещей, нам неизвестным. Вполне возможно, что эти вещи иного рода сами представляют собой некую среду, ведущую к иным творениям, и, таким образом, возникает цепь субстанций, уходящая в бесконечность.

Usque adeo quod tangit idem est, tamen ultima distant *

Идея эта кажется нам достойной величия бога, если вообще что-либо на свете его достойно. Среди этих субстанций может, без сомнения, быть выбрана одна, вложенная им в наши тела, которую именуют душой человека; эта имматериальная субстанция бессмертна. Мы весьма далеки от того, чтобы хоть чуточку сомневаться в этом, однако мы не осмеливаемся утверждать, будто абсолютный владыка всего не смог также придать творению, именуемому материей, чувства и восприятия. Вы

---

* См.: *Овидий.* Метаморфозы, VI, 64—67:

Радуга аркой встает и пространство небес украшает,
Рядом сияют на ней различные тысячи красок.
Самый же их переход ускользает от взора людского.
Краски сливаются здесь, хоть крайние очень отличны.

(лат.; перев. С. Шервинского; ст. 67, цитируемый Вольтером, уточнен нами).— *Примеч. переводчика.*

убеждены в том, что сущность вашей души — мышление, мы же не настолько в этом уверены, ибо, когда мы исследуем зародыш, мы едва ли можем поверить, будто душа его имеет в своем ларце много идей; и мы сильно сомневаемся, что в глубоком и полном сне или во время полной летаргии происходят какие-либо размышления. Итак, представляется нам, мышление вполне может быть не сущностью мыслящего существа, но лишь даром, ниспосланным Творцом тем существам, которые мы именуем мыслящими; все это заставляет нас сделать предположение, что, если бы он того пожелал, он мог бы ниспослать такой же дар атому и навеки сохранить этот атом вместе с указанным даром или же разрушить его по своему усмотрению. Трудность состоит не столько в том, чтобы разгадать, каким образом может мыслить материя, сколько в том, чтобы понять, каким образом может мыслить вообще какая бы то ни было субстанция. У вас есть идеи лишь потому, что богу заблагорассудилось вам их даровать, так зачем же вы стремитесь ему помешать даровать эти идеи другим видам существ? Так ли уж вы дерзки, чтобы осмеливаться считать, будто душа ваша сотворена из той самой материи, какая образует субстанции, наиболее близкие к божеству? Весьма очевидно, что субстанции эти достаточно высокого порядка, а следовательно, бог удостоил даровать им сравнительно прекрасный образ мышления, точно так же как он пожаловал весьма посредственную меру идей животным, стоящим ступенью ниже, чем вы. И что же, во всем этом нет ничего, что наталкивало бы на вывод относительно смертности ваших душ? Повторяю, мы мыслим так же, как вы, относительно бессмертия ваших душ; но мы считаем, что мы слишком невежественны, чтобы утверждать, будто бог не был столь всемогущ, чтобы пожаловать мышление любому существу по своему усмотрению. Вы ограничиваете могущество бога, которое не имеет границ, мы же считаем, что оно простирается столь же далеко, сколь его существование. Простите нас за то, что мы считаем его всемогущим, как мы вам прощаем ограничение его мощи. Несомненно, вам известно все, что он может, мы же не знаем здесь ничего. Давайте жить в братском согласии и мирно поклоняться нашему общему Отцу: вы — с вашими учеными и дерзкими душами, мы — с нашими ду-

шами невежественными и робкими. Нам дана лишь одна жизнь на Земле, проживем же ее в покое, не ссорясь из-за трудных вопросов: они разъяснятся в бессмертной жизни, которая начнется потом».

О том, что философы ни в коем случае не могут причинить вред

Неуч, не умея возразить ничего дельного, пространно разглагольствует и долго сердится. Наши беднягифилософы предались в течение нескольких недель чтению истории и, после того как они хорошенько вчитались, вот что они ответили этому варвару, совершенно недостойному иметь бессмертную душу: «Друг мой, мы прочли, что в течение всей античности дела шли так же прекрасно, как в наше время, что тогда существовало даже большее количество великих добродетелей, а философов совсем не преследовали за их мнения. Зачем же вы хотите причинить нам зло за мнения, которые мы не лелеем? Мы прочли, что вся античность считала материю вечной. Те, кто усмотрел, что она была сотворена, оставляли прочих в покое. Пифагор считал себя петухом, родственники его были свиньями, и никто против этого не возражал, а секта его пользовалась любовью и почитанием у всего света, за исключением мясников и тех, кто торговал бобами.

Стоики признавали бога, примерно такого, какой позже был столь смело допущен спинозистами; стоицизм был, однако, сектой, более других отличавшейся обилием героических доблестей и пользовавшейся самым большим доверием.

Эпикурейцы сделали своих богов похожими на наших каноников, ленивая дородность которых поддерживает в них божественность; боги эти мирно вкушают свою амброзию и нектар и решительно ни во что не вмешиваются. Эпикурейцы дерзко учили о материальности и смертности души — но их не меньше уважали. Их допускали к любым занятиям, и их крючковатые атомы не принесли никакого зла миру.

Платоники, подобно гимнософистам, не делали нам чести допускать, будто бог удостоил нас сотворить сам. По их мнению, он предоставил эту заботу своим служителям, гениям, а эти последние допустили в своей работе немало глупостей. Бог платоников был превосход-

ным демиургом, поручившим дело здесь, на Земле, весьма посредственным ученикам. Но люди из-за этого не стали меньше почитать школу Платона.

Одним словом, и у греков, и у римлян было столько же способов мышления о боге, душе, о прошлом и будущем, сколько сект, и ни одна из этих сект не занималась преследованиями. Все они заблуждались, и мы по этому поводу весьма негодуем; но все они были мирными — и именно это нас обвиняет и осуждает; именно это заставляет нас видеть, что большинство современных мыслителей — монстры, в то время как античные мыслители были людьми.

В римском театре публично пели: «*Post mortem nihil est; ipsaque mors nihil*»*. Подобные мысли не делали людей ни лучше, ни хуже; государства управлялись, все шло своим чередом; и Титы, Траяны, Марки Аврелии правили Землей, покровительствуемые благими богами.

Переходя от греков и римлян к варварам, задержимся только на иудеях. Каким бы суеверным, жестоким и невежественным ни был этот злополучный народ, он тем не менее чтил фарисеев, допускавших роковую предопределенность и метемпсихоз; они отдавали также должное садуккеям, решительно отрицавшим бессмертие души и существование духов и опиравшимся на закон Моисея, в котором ни слова нет о посмертной каре и вознаграждениях. Ессены, также верившие в судьбу и никогда не приносившие храмовых жертв, пользовались еще большим уважением, чем фарисеи и садуккеи. Ни одно из их мнений никогда не посеяло смуты в правлении. А между тем было немало вещей, из-за которых можно было устроить резню, сожжения на костре, взаимное истребление — было бы только желание. Несчастные люди, извлеките урок из этих примеров! Мыслите сами и разрешайте мыслить другим. Мышление — утеха наших слабых умов в этой быстротекущей жизни. «Как! Вы вежливо встречаете турка, верящего в то, что Магомет путешествовал на Луну, вы остерегаетесь не угодить паше Бонневалю, и вы же собираетесь запереть в тюрьму своего ближнего за его веру в то, что бог мо-

* «*После смерти нет ничего; сама смерть — тоже ничто*» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

жет даровать разум всем существам?» — так молвил один философ; другой же добавил: «Поверьте мне, [этого делать не следует]...».

Письмо четырнадцатое
О ДЕКАРТЕ И НЬЮТОНЕ

Француз, прибывающий в Лондон, замечает в философии, как и во всем прочем, сильные перемены. Он покинул заполненный мир, а прибыл в пустой[115]; в Париже вселенную считают состоящей из вихрей тончайшей материи — в Лондоне не усматривают ничего подобного; у нас давление Луны вызывает морские приливы, у англичан же, наоборот, море тяготеет к Луне; дело доходит до того, что тогда, когда вы считаете, будто Луна должна вызвать прилив, эти господа считают, наоборот, что происходит отлив, и, к несчастью, это не подлежит проверке, ибо, чтобы внести в это дело ясность, необходимо исследовать Луну и моря с первого момента творения.

Вдобавок вам предстоит заметить, что Солнце, во Франции совсем не принимающееся при этом в расчет, здесь на одну четвертую часть принимает участие в деле; у ваших картезианцев все совершается путем импульса, абсолютно непостижимого; у г-на Ньютона действует притяжение, причина которого не более ясна; в Париже вы воображаете себе Землю в форме дыни, в Лондоне же она сплюснута с двух концов. Для картезианца свет разлит в воздухе, для ньютонианца он приходит за шесть с половиной минут от Солнца. Ваша химия манипулирует кислотами, щелочами и тонкой материей; у англичан даже в химии господствует притяжение.

Самая сущность вещей здесь совершенно меняется; вы не согласитесь ни со здешним определением души, ни с понятием о материи. Декарт уверяет, что душа идентична мысли, Локк столь же убедительно доказывает ему противоположное.

Декарт также уверяет, что одна только протяженность образует материю, Ньютон добавляет сюда и плотность. Ужасные крайности!

Non nostrum inter vos tantas componere lites *.

Этот прославленный Ньютон, разрушитель картезианской системы, умер в марте месяце прошлого, 1727 года. Он жил, чтимый своими соотечественниками, и был погребен, как король, облагодетельствовавший своих подданных.

Здесь с жадностью читали и перевели на английский язык «Похвальное слово» Ньютону, прочитанное г-ном Фонтенелем [116] в Академии наук. В Англии ожидали суждения г-на Фонтенеля, как торжественной декларации, подтверждающей превосходство английской философии; но когда там увидели, что он сравнивает Ньютона с Декартом, все лондонское Королевское общество возмутилось. Его речь критиковали, отнюдь не соглашаясь с его суждением, многие (и это не лучшие среди философов) были шокированы таким сопоставлением единственно потому, что Декарт — француз.

Следует признать, что два этих великих человека весьма различались между собой по своему поведению, своей судьбе и своей философии.

Декарт родился с сильным и живым воображением, благодаря которому он стал незаурядным человеком как в своей частной жизни, так и в свойственном ему методе рассуждения; воображение это прорывалось даже в его философских трудах, где на каждом шагу можно видеть блестящие и находчивые сравнения; природа сделала его почти поэтом, и в самом деле, он сочинил для шведской королевы дивертисмент в стихах, который, чтя его память, не опубликовали в печати.

Некоторое время он подвизался на военном поприще, а окончательно став философом, не считал недостойным себя заниматься любовью. От своей любовницы он имел дочь по имени Франсина, рано ушедшую из жизни, о гибели которой он сильно скорбел; таким образом, он испытал все, что присуще испытывать человеку.

Долго он считал, что ради свободного философствования надо бежать от людей, и особенно — от своей родины. И он был прав, ибо его современники не были до-

* Нам не дано усмирить столь великие ваши раздоры (лат.). — *Примеч. переводчика.*

статочно учены, чтобы его просвещать, и могли лишь ему повредить.

Он оставил Францию, потому что искал истину, преследовавшуюся тогда жалкой схоластической философией, однако он не обнаружил большего разума в университетах Голландии, куда он подался; во времена, когда во Франции осуждались единственно верные тезисы его философии, он подвергался преследованиям также со стороны мнимых философов Голландии, понимавших его не лучше; ближе познакомившись с его славой, они сильнее возненавидели в нем человека. Он был вынужден уехать из Утрехта и пережить обвинение в атеизме (последнем прибежище клеветников), когда, потратив всю свою проницательность на изыскание новых доказательств существования бога, он был заподозрен в том, что его отрицает.

Такие преследования предполагают великие заслуги и блистательную славу: итак, у него было и то, и другое. Разум проник даже немного в мир сквозь темную чащу схоластики и предрассудков народного суеверия; имя Декарта наделало в конце концов столько шума, что его пожелали привлечь обратно во Францию с помощью вознаграждений; ему была предложена пенсия в тысячу экю; с этой надеждой он вернулся, уплатив издержки по патенту, который тогда продавался, не получил никакой пенсии и вернулся философствовать в одиночестве в Северную Голландию в те времена, когда восьмидесятилетний великий Галилей томился в тюрьмах инквизиции[117] за то, что доказал вращение Земли. Наконец, Декарт умер в Стокгольме преждевременной смертью, вызванной скверным режимом, окруженный несколькими учеными — его врагами и на руках у врача, который его ненавидел.

Карьера сэра Ньютона была совсем иной. Он прожил восемьдесят пять лет в полной безмятежности, счастливый и почитаемый у себя на родине.

Великое его счастье состояло не только в том, что он родился в свободной стране, но и в том, что родился он во времена, когда схоластическая нетерпимость была изгнана, когда культивировался лишь разум и мир мог быть лишь его учеником, но не его врагом.

Своеобразный контраст по отношению к Декарту составляло в нем то, что на протяжении столь долгой

жизни он не испытал ни страсти, ни слабости; он ни разу не приблизился ни к одной женщине: это мне поверил врач и хирург, на руках которого он скончался. Можно восхищаться этим в Ньютоне, но не следует порицать Декарта.

Согласно общественному мнению, сложившемуся относительно этих двух философов в Англии, первый из них был мечтателем, второй — мудрецом.

Очень мало кто в Лондоне читает Декарта, труды которого действительно утратили свою пользу, но мало кто читает также Ньютона, ибо надо обладать большой ученостью, чтобы его понимать; однако весь свет о них говорит. Французу совсем не отдают должного, зато всяческую хвалу получает там англичанин. Некоторые люди считают, что если они не испытывают больше ужаса перед пустотой, если они знают, что воздух весóм и пользуются увеличительными стеклами, то этим они обязаны Ньютону. Здесь он — мифический Геракл, которому невежды приписывают все свершения других героев.

Лондонские критики речи г-на Фонтенеля осмелились утверждать, будто Декарт не был великим геометром. Те, кто ведет подобные речи, могут упрекнуть себя в том, что они избивают свою кормилицу. Декарт проделал такой огромный путь от того уровня, на каком он застал геометрию, до того, насколько он ее продвинул, что Ньютон был лишь его эпигоном: Декарт первый нашел способ алгебраического выражения уравнений кривизны. Благодаря ему эта геометрия, ставшая ныне общедоступной, была для его времени настолько глубокой, что ни один профессор не отважился взяться за ее истолкование, и в Голландии не было никого, кроме Схоотена, а во Франции — кроме Ферма [118], кто бы ее понимал.

Он внес этот дух геометрии и изобретательства в диоптрику, ставшую в его руках совсем новым искусством, и если в чем-то он и ошибался, то лишь потому, что человек, открывающий новые пределы, не может сразу познать все их особенности; те, кто приходит после него, обязаны ему, по крайней мере, этим открытием. Но я не стану отрицать, что другие труды г-на Декарта пестрят ошибками.

Геометрия была путеводной звездой, которую он сам

до некоторой степени создал, и она уверенно вела его по путям физики; но в конце концов он оставил эту звезду и предался духу системосозидания; с этого момента его философия стала всего лишь увлекательным романом, самое большее, правдоподобным для невежд. Он ошибался по поводу природы души, по поводу доказательств существования бога, по поводу материи и законов движения, а также относительно природы света; он допускает врожденные идеи, открывает новые элементы, творит мир, преобразует человека на свой собственный лад, и потому справедливо говорят, что человек Декарта на самом деле и есть всего лишь его человек, весьма далекий от человека подлинного.

Он зашел в своих метафизических ошибках столь далеко, что утверждал, будто два плюс два дают четыре лишь потому, что того пожелал бог. Но не будет сильным преувеличением сказать, что даже в своих заблуждениях он заслуживал уважения: он ошибался, но, по крайней мере, за этим стоял его метод и дух последовательности; он сокрушил нелепые химеры, которыми забивали головы юношества в течение двух тысяч лет; он научил своих современников рассуждать и даже обращать его оружие против него самого; и если он платил неполноценной монетой, то, по крайней мере, ему принадлежит заслуга обесценения фальшивых денег.

Я не считаю возможным, чтобы действительно кто-то осмелился свести на нет его философию в сравнении с философией Ньютона; первая — это опыт, вторая — шедевр; но тот, кто направил нас по пути истины, быть может, вполне равен тому, кто после него завершил этот путь.

Декарт дал слепцам зрение, и они узрели ошибки античности и свои собственные. Дорога, которую он открыл, стала после него бескрайней. Небольшая книжечка Рого[119] в течение определенного времени служила полным курсом физики; ныне все собрания сочинений европейских академий не составляют даже начала системы: когда углубились в эту пропасть, она оказалась бесконечной. Теперь же нам надо посмотреть, что́ извлек г-н Ньютон из этой бездны.

Письмо пятнадцатое

О СИСТЕМЕ ТЯГОТЕНИЯ

Открытия сэра Ньютона, создавшие ему столь всеобъемлющую славу, относятся к системе мира, света, геометрической бесконечности и, наконец, к хронологии, которой он забавлялся ради отдохновения.

Я хочу поделиться с вами (если только смогу сделать это без пустословия) тем немногим, что я сумел уловить во всех этих высоких идеях.

Что касается системы нашего мира, то долгое время шли споры о причине вращения всех планет, удерживающей их на своих орбитах, и о причине, заставляющей все тела падать на поверхность Земли.

Система Декарта, истолкованная и подвергшаяся сильным изменениям после него, по-видимому, давала правдоподобное объяснение всем этим явлениям, причем объяснение это представлялось тем более истинным, чем более оно просто и доступно пониманию всего света. Однако в философии следует остерегаться того, что считается чересчур доступным для понимания, точно так же как и того, чего́ люди не понимают.

Сила тяготения, ускорение при падении тел на Землю, круговое движение планет по своим орбитам, их вращение вокруг собственной оси — все это относится к движению, но движение может быть понято лишь как результат импульса — итак, все тела испытали импульс. Однако что дало им его? Пространство представляет собой нечто сплошное, иначе говоря, оно заполнено тончайшей материей, которую мы поэтому не замечаем, и материя эта движется с запада на восток, ибо с запада на восток направлено движение всех планет. Так от предположения к предположению и от вероятности к вероятности вообразили себе огромный вихрь тонкой материи, в котором планеты движутся вокруг Солнца; был создан еще особый вихрь, плывущий внутри большого вихря и ежедневно совершающий оборот вокруг каждой планеты. Когда все таким образом было построено, стали утверждать, что сила тяготения зависит от этого ежедневного вращения; ибо (так рассуждали) тонкая материя, вращающаяся вокруг нашего малого вихря, должна передвигаться в семнадцать раз быстрее

Земли; но если она передвигается в семнадцать раз быстрее Земли, она должна иметь несравненно более высокую центробежную силу и именно поэтому отталкивать все тела по направлению к Земле. Такова причина тяготения согласно картезианской системе.

Однако, до того как делать расчет центробежной силы и скорости этой тончайшей материи, следовало бы убедиться в том, что она существует; но если она и существует, доказательство того, что она может служить причиной тяготения, ошибочно.

Г-н Ньютон, по-видимому, окончательно уничтожил все эти вихри — большие и малые — и те, что увлекают планеты к вращению вокруг Солнца, и те, что заставляют каждую планету вращаться вокруг своей оси.

Прежде всего, в отношении предполагаемого малого вихря Земли доказано, что он должен постепенно утрачивать свое движение, а также, что, если Земля плавает в жидкости, эта жидкость должна иметь ту же плотность, что и Земля, и, если она обладает такой же плотностью, все тела, которые мы передвигаем, должны испытывать крайне высокое сопротивление, или, иначе говоря, нужен рычаг длиной равный длине Земли, чтобы поднять фунт веса.

2) Что касается больших вихрей, то они еще более химеричны: их невозможно согласовать с законами Кеплера[120], истинность которых доказана. Господин Ньютон показал, что вращение жидкости, в которой, согласно предположению, вращается Юпитер, иначе относится к вращению жидкости Земли, чем вращение самого Юпитера к вращению Земли.

Он доказывает, что все планеты, проделывая свои вращения по эллипсам, оказываются, таким образом, гораздо более удаленными друг от друга, когда они попадают в свои *афелии*, чем когда они находятся в *перигелиях*, и Земля, например, должна была бы совершать движение более быстро, находясь вблизи от Венеры и Марса, потому что увлекающая ее жидкость, будучи более сжатой, должна быть более подвижной, однако именно в это время движение Земли замедляется.

Он доказывает, что не существует никакой небесной материи, движущейся с запада на восток, потому что кометы пересекают это пространство то с востока на запад, то с севера на юг.

Наконец, чтобы еще лучше разрешить, если только это возможно, любую трудность, он доказывает или, по крайней мере, делает вполне вероятным и даже основанным на опытах, что заполненное пространство немыслимо, и возвращает нам пустоту, которую Аристотель и Декарт изгнали из мира.

Ниспровергнув по всем этим причинам и еще по многим другим вихри картезианцев, он потерял надежду на возможность когда-либо познать, существует ли в природе скрытый принцип, разом обусловливающий движения всех небесных тел и создающий тяготение на Земле. Удалившись в 1666 году в деревню под Кембриджем, в один прекрасный день, прогуливаясь по своему саду, он увидел, как падают с дерева плоды, и предался глубокому размышлению по поводу этой силы притяжения, причину которой столь долго и тщетно искали все философы и в которой обыватель не усматривает, собственно говоря, ничего таинственного. Он сказал себе: «С какой бы высоты в нашей гемисфере ни падали эти тела, их падение, несомнено, происходит по прогрессии, открытой Галилеем; пути, проделанные ими, пропорциональны квадратам времени их падения. Сила эта, заставляющая падать тяжелые тела, остается одной и той же, без какого бы то ни было заметного ослабления, на любой глубине Земли и на самых высоких горах. Почему же не предположить, что эта же сила распространяется вплоть до Луны? И если верно, что она проникает и в сию область, то нет ли большой вероятности, что эта сила удерживает Луну на ее орбите и обусловливает ее движения? Однако, если Луна подчиняется данному принципу — что бы он собой ни представлял, — не разумно ли будет считать, что другие планеты также ему покорны?

Если такая сила существует, она должна (впрочем, это уже доказано) увеличиваться обратно пропорционально квадратам расстояний. Значит, остается исследовать путь, который проделывает тяжелое тело, падая на Землю с некой средней высоты, а также путь, проделываемый за то же самое время телом, которое падало бы с орбиты Луны. Чтобы это узнать, надо только получить размеры Земли и расстояния до нее от Луны».

Так рассуждал г-н Ньютон. Но в те времена в Англии располагали лишь весьма ошибочными размерами

нашего земного шара; в этом отношении полагались на неточный расчет лоцманов, принимавших за один градус шестьдесят английских миль, в то время как градусом следовало считать почти семьдесят миль. И поскольку эти ошибочные расчеты не согласовались с выводами, желательными для г-на Ньютона, он от своих выводов до поры отказался. Посредственный философ, которым руководило бы одно лишь тщеславие, совместил бы как мог размер Земли со своей системой. Г-н Ньютон предпочел временно отложить свой замысел. Но после того как г-н Пикар[121] получил точный размер Земли, начертав тот меридиан, что принес столько славы Франции, г-н Ньютон вернулся к своим первоначальным идеям и нашел, что его устраивает расчет г-на Пикара; мне всегда казался достойным восхищения тот факт, что столь высокие истины были открыты с помощью четверти окружности и несложных арифметических действий.

Окружность Земли равна ста двадцати трем миллионам двумстам сорока девяти тысячам и шестистам парижским футам. Только на основе одного этого факта может быть построена вся система тяготения.

Итак, была известна окружность Земли, длина лунной орбиты и ее диаметр. Кругооборот Луны по этой орбите совершается за двадцать семь дней, семь часов и сорок три минуты; таким образом, было показано, что Луна в своем среднем движении совершает сто восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят парижских футов в минуту, а потому в соответствии с известной теоремой было доказано, что центростремительная сила, заставляющая падать какое-либо тело с высоты Луны, в первую минуту заставляла бы его проходить всего лишь пятнадцать парижских футов.

Таким образом, если верен закон, согласно которому телам присущи вес, взаимное тяготение и притяжение, обратно пропорциональные квадратам расстояний, и если одна и та же сила, как гласит этот закон, действует повсюду в природе, становится очевидным, что, поскольку Земля отстоит от Луны на расстояние шестидесяти своих полудиаметров, тяжелое тело, находящееся вблизи Земли, должно, падая на Землю, пройти пятнадцать футов за первую секунду и пятьдесят четыре тысячи футов за первую минуту.

Но если около Земли тяжелое тело действительно проходит пятнадцать футов за первую секунду и за первую минуту — пятьдесят четыре тысячи футов (число, полученное от умножения квадрата шестидесяти на пятнадцать), то тела имеют вес, обратно пропорциональный квадратам расстояний, и одна и та же сила образует тяготение на Земле и удерживает Луну на ее орбите.

После того как было доказано, что Луна тяготеет к Земле, являющейся центром ее частного вращения, тем самым было доказано и то, что Земля и Луна тяготеют к Солнцу, являющемуся центром их годичного вращения.

Остальные планеты должны подчиняться этому всеобщему закону, и коль скоро он существует, эти планеты [в своих движениях] должны следовать правилам, установленным Кеплером. В самом деле, все эти правила и отношения соблюдаются планетами с самой высокой точностью, а значит, сила гравитации заставляет все планеты тяготеть к Солнцу так же, как наш земной шар; наконец, поскольку противодействие всех тел пропорционально действию, остается достоверным, что Земля, в свою очередь тяготеет к Луне, а Солнце — к той и другой, что каждый из спутников Сатурна тяготеет к остальным четырем, а эти четыре, в свою очередь, к нему и все пять вместе — к Сатурну, а Сатурн — ко всем ним; что таким же образом обстоит дело с Юпитером и что все эти шары притягиваются Солнцем, которое взаимно притягивается ими.

Гравитационная сила действует пропорционально массе, которую содержат в себе тела; эту истину г-н Ньютон доказал на опытах. Новое это открытие послужило пониманию того, что Солнце, центр [притяжения] всех планет, притягивает их прямо пропорционально их массе, с учетом их удаленности. Постепенно поднимаясь от этого исходного пункта к познаниям, которые, казалось бы, недоступны человеческому уму, он отважился сосчитать количество материи, содержащейся в Солнце, а также в каждой планете, и таким образом показал, что в силу простых законов механики каждый небесный шар необходимо должен занимать именно то место, в котором он и находится. Его единственный принцип законов гравитации объясняет все кажущиеся неравно-

мерности движения небесных сфер. Различные изменения [в движении] Луны оказываются необходимым следствием этих законов. Более того, стало совершенно очевидным, почему узлы Луны совершают свой кругооборот за девятнадцать лет, а узлы Земли — в течение приблизительно двадцати шести тысяч лет. Прилив и отлив моря также являются весьма простым результатом этого притяжения. Близость Луны во время полнолуния и новолуния и ее удаленность, когда она находится в фазе одной четверти, соединенные с воздействием Солнца, создают ощутимую основу для подъема и падения уровня океана.

Объяснив с помощью своей величественной теории движение и его неравномерность у планет, он привязал кометы к узде того же закона. Эти огни, долго оставававшиеся непознанными, пугало для всех и камень преткновения философии, помещенные Аристотелем под Луной и поднятые Декартом выше Сатурна, были наконец водворены на их истинное место Ньютоном.

Он доказал, что это плотные тела, передвигающиеся в сфере влияния Солнца и описывающие эллипс, столь эксцентрический и так сильно приближающийся к параболе, что некоторые кометы должны проделывать свое вращение более чем за пятьсот лет.

Господин Галлей [122] считает, что комета 1680 года — та же, что появлялась во времена Юлия Цезаря; на примере этой кометы особенно хорошо видно, что кометы представляют собой твердые и непрозрачные тела; она оказалась так близко от Солнца, что была удалена от него не более чем на одну шестую часть солнечного диска; следовательно, она должна была достичь степени нагрева, в две тысячи раз превышающей температуру самого высокого накала железа. Она должна была бы рассеяться и исчезнуть в кратчайший срок, если бы она не была плотным телом. Тогда возникла мода прослеживать путь комет. Знаменитый математик Яков Бернулли [123] заключил на основе своей системы, что эта знаменитая комета 1680 года вновь появится 17 мая 1719 года. Ни один из европейских астрономов не ложился спать этой ночью 17 мая, но знаменитая комета не появилась. Во всяком случае, более ловко, если и не более безопасно, было предоставить ей пятьсот семьдесят пять лет для нового появления. Один английский

геометр по имени Вильстон [124] (имя не менее нелепое, чем «геометр») серьезно уверял, что во времена потопа существовала комета, которая и вызвала наводнение на земном шаре, и он еще несправедливо удивлялся, что над ним смеются. Античность рассуждала почти в духе Вильстона: тогда верили, что кометы всегда бывают предвестницами великих бед на Земле. Ньютон же, наоборот, предполагает, что кометы очень благоприятны и что исходящие от них пары служат единственно тому, чтобы поддерживать и оживлять планеты, пропитывающиеся на своем пути всеми теми частицами, которые Солнце отторгло от комет. Эта мысль, по крайней мере, более правдоподобна, чем та.

Однако это не все. Если указанная сила гравитации, притяжения, действует в отношении всех небесных тел, то она воздействует, несомненно, и на все части этих сфер; ибо если тела взаимно притягиваются пропорционально своим массам, то это должно происходить и пропорционально количеству их частей, и если эта сила [притяжения] содержится в целом, то, вне всякого сомнения, она содержится и в половине, в четверти, в восьмой части и так до бесконечности; более того, если бы эта сила не была равномерной в каждой части, то всегда какие-то участки шара обладали бы бóльшим тяготением, чем другие, однако этого не бывает; следовательно, сила эта действительно присуща всей материи в целом, а также мельчайшим ее частицам.

Вот что такое притяжение — великая движущая пружина всей природы.

Ньютон отлично предвидел, после того как доказал существование данного принципа, что возмутятся против самого этого имени; не раз в своей книге он даже предостерегает своего читателя относительно самого притяжения, предупреждает, чтобы он не смешивал притяжение с оккультными качествами у древних и удовлетворился познанием того, что всем телам присуща центростремительная сила, воздействующая от одного края вселенной до другого на тела как наиболее близкие, так и наиболее удаленные друг от друга, согласно незыблемым законам механики.

Поразительно, что, несмотря на торжественные заверения этого великого философа, г-н Сорен [125] и г-н де Фонтенель, сами заслуживающие этот титул, откровенно

его упрекали в химерах перипатетизма: г-н Сорен сделал это в Докладах Академии за 1709 год, а г-н Фонтенель — в самóм «похвальном слове» г-ну Ньютону.

Почти все французы — и ученые, и другие — повторили этот упрек. Всюду только и можно было слышать: «Почему Ньютон не воспользовался словом „импульс", таким понятным, вместо термина „притяжение", который никто не понимает?».

Ньютон мог бы ответить всем этим критикам: «Прежде всего, вы не лучше понимаете слово „импульс", чем слово „притяжение", и если вы не постигаете, почему одно тело устремляется к центру другого тела, то вы не более того можете себе представить, с помощью какой силы одно тело может толкать другое.

Во-вторых, я не могу допустить импульс, ибо для этого надо, чтобы я узнал, что некая небесная материя действительно толкает планеты; но я не только не знаю такой материи, я доказал, что ее не существует.

В-третьих, я пользуюсь словом „притяжение" лишь для обозначения открытого мной в природе достоверного и неоспоримого действия неизвестного принципа, качества, присущего материи, причину которого я предоставляю открыть, если они это смогут, людям более искусным, чем я».

— Так чему же вы нас научили? — продолжают настаивать его оппоненты, — и зачем делать столько расчетов, если вы сообщаете нам то, чего сами не понимаете?

«Я научил вас тому (мог бы продолжать г-н Ньютон), что механика центростремительных сил заставляет все тела испытывать тяготение пропорционально их массе, что одни только эти центростремительные силы заставляют планеты и кометы передвигаться в соответствии с указанными пропорциями. Я доказываю вам, что немыслимо существование иной причины тяготения и движения всех небесных тел: ведь поскольку тяжелые тела падают на землю согласно доказанной пропорции центростремительных сил, а планеты выполняют свои круговращения в соответствии с теми же самыми пропорциями, если бы существовала еще какая-то сила, воздействующая на все эти тела, она повышала бы их скорости или изменяла бы направление их движений. Однако никогда ни одно тело не обладало ни в какой

степени движением, скоростью или детерминацией, которые не были бы в соответствии с моим доказательством результатом действия центростремительных сил; итак, существование какого-либо иного принципа немыслимо».

Позвольте мне еще на мгновение дать слово Ньютону. Разве следующие его слова не будут хорошо приняты: «Я нахожусь в положении, весьма отличном от древних: они видели, например, что вода поднимается в насосе, и говорили, что поднимается она в силу боязни пустоты. В моем случае я напоминаю человека, который первым заметил, что вода поднимается в насосах, и предоставил другим заботу объяснить причину этого явления. Анатом, первым высказавший мысль, что рука движется потому, что происходит сокращение мышц, преподал людям неоспоримую истину; и разве мы ему меньше обязаны из-за того, что он не знал причины, по которой сокращаются мышцы? Причина упругости воздуха неизвестна; тот, кто открыл упругость, оказал великую услугу физике. Пружина, которую открыл я, была более скрытой, более всеобщей, и потому люди должны быть мне больше признательны. Я раскрыл новое свойство материи — один из секретов Творца, я произвел расчеты, показал действия этого свойства, так зачем же придираться к имени, которое я ему дал?

Как раз именно вихри можно назвать оккультным качеством, ибо никто не доказал их существования. Притяжение же, наоборот, есть нечто реальное, поскольку доказано его действие и подсчитаны соответствующие количественные соотношения. Причина же этой причины лежит в лоне божьем».

Procedes huc, et non ibis amplius *.

Письмо шестнадцатое

ОПТИКА Г-НА НЬЮТОНА

Философами последнего столетия была открыта новая вселенная, причем этот новый мир было тем более трудно познать, что раньше не подозревали даже о его

* Дойдешь до этого предела, а дальше — ни шагу (лат.; *Иов*, XXVII, 11).— *Примеч. переводчика.*

существовании. Самым мудрым людям казалась дерзостью одна только мысль о том, что можно разгадать, по каким законам движутся небесные тела и каков механизм света.

Галилей в своих астрономических открытиях, Кеплер своими расчетами, Декарт, по крайней мере в своей «Диоптрике», и Ньютон во всех своих трудах усмотрели механику движущих сил мира. В геометрии бесконечность подчинили расчетам. Циркуляция крови у животных и сока в растениях изменила для нас лицо природы. Телам был дан новый способ существования благодаря пневматической машине; объекты приблизились к нашим глазам благодаря телескопу; наконец, то, что Ньютон открыл в отношении света, стоит всего самого дерзновенного, на что могло рассчитывать человеческое любопытство после всех этих новшеств.

Вплоть до Антонио де Домини [126] радуга казалась необъяснимым чудом; философ этот разгадал, что она — необходимый результат дождя и солнца. Декарт сделал свое имя бессмертным, дав математическое объяснение этого столь естественного феномена: он подсчитал отражения и преломления света в каплях дождя, и эта прозорливость имела в себе в те времена нечто божественное.

Но что бы он сказал, если бы ему сообщили, что он ошибался относительно природы света? Что у него не было никаких оснований утверждать, будто свет — это шарообразные тельца, что ошибочно, будто эта материя, распространяющаяся по всей вселенной, только и ждет импульса от Солнца, чтобы начать действовать, подобно длинной палке, действующей одним своим концом, когда надавливают на другой? Что в высшей степени истинно представление об излучении ее Солнцем и, наконец, что свет переносится с Солнца на Землю за время, приблизительно равное семи минутам, тогда как пушечное ядро, перемещающееся с постоянной скоростью, способно проделать тот же путь лишь за двадцать пять лет?

Сколь велико было бы его удивление, если бы ему сказали: ошибочно, что свет получает прямое отражение, отскакивая от плотных частиц тела; ошибочно, что тела бывают прозрачными, когда они обладают широкими порами; придет человек, который объяснит эти

парадоксы и произведет анатомию одного-единственного луча света с бóльшим искусством, чем самый умелый мастер вскрывает человеческое тела.

И человек этот пришел. Ньютон с помощью одной только призмы наглядно показал, что свет — это скопление цветных лучей, которые все вместе дают белый цвет. Один луч был расчленен им на семь лучей, располагающихся на белом холсте или белой бумаге в ряд, один над другим, на неравномерных расстояниях друг от друга; первый из них огненного цвета, второй — лимонный, третий — желтый, четвертый — зеленый, пятый — голубой, шестой — цвета индиго, седьмой — фиолетовый; каждый из этих лучей, последовательно пропущенный затем через сто других призм, никогда не меняет своего цвета, подобно тому как очищенное золото не изменяет своего вида в горнилах; и если вы хотите получить лишнее доказательство того, что каждый из этих простых лучей несет в самом себе свойство, придающее ему в наших глазах его собственную окраску, возьмите небольшой кусочек дерева, например желтого, и подставьте его под луч огненного цвета: дерево это окрасится тут же в огненный цвет; если вы подставите его под зеленый луч, он примет зеленую окраску, и так во всех прочих случаях.

Но какова же причина различной окраски в природе? Причина эта не иная, как расположение частей, способствующее отражению лучей определенного ряда и поглощению всех остальных. Каково же это таинственное расположение? Ньютон доказывает, что это всего лишь плотность мелких частиц, образующих тела. Но каким же образом происходит такое отражение? Ранее считали, что происходит оно в результате отскакивания лучей наподобие мяча от поверхности плотного тела. На самом же деле — ничего подобного. Ньютон объясняет пораженным философам, что тела непроницаемы именно потому, что поры их широки, и свет отражается в направлении наших глаз из глубины этих пор; что, чем меньше поры какого-либо тела, тем более это тело прозрачно; так, если бумага отражает свет, когда она суха, то она пропускает его, будучи промасленной, потому что масло, заполняя его поры, делает их значительно меньшими.

Исследуя при этом наивысшую пористость тел и по-

казав, что каждая частица тела имеет свои поры, а каждая частица этих частиц — свои, он дает понять, что вовсе нельзя быть уверенным в том, будто во вселенной существует хотя бы кубическая пядь плотной материи,— вот как далеко зашел наш ум в понимании того, что́ такое материя.

Разложив таким образом свет и доведя прозорливость своих открытий вплоть до указания средства познать сложный цвет через первичные цвета, он показал, что эти простые лучи, разделенные между собой посредством призмы, расположены в определенном порядке лишь потому, что именно в таком порядке происходит их преломление; именно это неведомое до него свойство, эту неравномерную рефракцию лучей, эту способность красного цвета преломляться меньше, чем цвет оранжевый, и т. д. он и назвал преломляемостью.

Наиболее сильно отражающиеся лучи — это наиболее сильно преломляемые, и отсюда он сделал вывод, что одна и та же сила вызывает отражение света и его преломление.

Все эти чудеса — только начало его открытий; он раскрыл секрет наблюдения бесконечно возникающих и исчезающих вибраций, дрожаний света, проводящих свет или отражающих его в соответствии с плотностью частей [материи], с которыми они встречаются; он осмелился подсчитать плотность частиц воздуха, находящегося между двумя положенными одно на другое стеклами — плоским и выпуклым, — необходимую для обеспечения той или иной проводимости или отражения либо создания той или иной окраски.

Из всех этих комбинаций он извлек пропорцию, в какой свет воздействует на тела, а тела — на него.

Он так хорошо понимал свет, что сумел определить границы искусства усиливать наше зрение и помогать ему телескопами.

Декарт с благородной доверчивостью, вполне извинительной для энтузиазма, внушенного ему первыми шагами искусства, почти им же самим и изобретенного, надеялся рассмотреть на звездах с помощью увеличительных стекол объекты столь же мелкие, какие можно различать на земле.

Ньютон показал, что нельзя далее усовершенствовать увеличительные стекла из-за рефракции и самой

способности к преломлению, приближающих к нам объекты и тем самым слишком далеко отклоняющих простые лучи; он подсчитал в этих стеклах пропорцию отклонения красных и синих лучей и, перенеся доказательство в область, о существовании которой никто не подозревал, исследовал неравномерности, производимые формой стекла, и неравномерность, создаваемую преломляемостью. Он нашел, что, если в стеклянном объективе подзорной трубы, выпуклом с одной стороны и плоском — с другой, плоская сторона обращена в стороны объекта, ошибка, проистекающая от конструкции и положения стекла, в пять тысяч раз меньше, чем ошибка, причиной которой является преломляемость; таким образом, не форма стекла виновна в том, что нельзя усовершенствовать подзорную трубу, но сама материя света.

По этой причине он изобрел телескоп, увеличивающий объекты благодаря отражению, а не преломлению. Этот новый вид подзорной трубы очень труден для изготовления и не слишком удобен для пользования, но в Англии говорят, что телескоп, основанный на принципе отражения, размером в пять футов, дает тот же эффект, что [обычные] увеличительные стекла размером в сто футов.

Письмо семнадцатое

О БЕСКОНЕЧНОСТИ И ХРОНОЛОГИИ

Лабиринт и пропасть бесконечности — также новый путь, проделанный Ньютоном, и именно от него протягивается здесь путеводная нить.

Декарт оказывается его предшественником и в этом поразительном новшестве: он в своей геометрии продвинулся крупными шагами в направлении бесконечности, но остановился у края. Г-н Уоллис[127] около середины минувшего столетия был первым, кто привел дробь путем непрерывного деления к бесконечному ряду.

Милорд Брункер[128] воспользовался этим рядом для получения квадратуры гиперболы.

Меркатор[129] опубликовал доказательство этой квадратуры. Произошло это почти в то же самое время, как

Ньютон в двадцатитрехлетнем возрасте изобрел всеобщий метод, дающий возможность производить над всеми кривыми то действие, которое попробовали перед тем произвести над гиперболой.

Это тот самый метод повсеместного подведения бесконечности под алгебраический расчет, именуемый дифференциальным исчислением, или методом флюксий, и исчислением интегральным. Это искусство точно вычислять и измерять то, существование чего невозможно даже постичь.

В самом деле, не кажется ли вам, что над вами пытаются посмеяться, когда вас уверяют, будто существуют бесконечно длинные линии, образующие бесконечно малый угол?

Или когда вам говорят, будто прямая, являющаяся прямой, пока она конечна, когда изменяет бесконечно мало свое направление, становится бесконечной кривой? Иначе говоря, будто кривая может стать бесконечно мало кривой?

Или будто существуют квадраты бесконечности, кубы бесконечности и бесконечности бесконечностей, предпоследние из которых ничто в сравнении с последними?

Все это, представляющееся в первый момент верхом безрассудства, на самом деле является результатом усилия тонкого и емкого человеческого ума и методом отыскания истин, до сих пор неизвестных.

Это столь дерзкое построение покоится на самых простых идеях. Речь идет о том, чтобы измерить диагональ квадрата, получить выражение кривой и определить квадратный корень числа, не имеющего его в обычной арифметике.

Наконец, все эти ряды бесконечных не более должны возмущать наше воображение, чем широко известная теорема, гласящая, что между окружностью и касательной можно провести бесконечное число кривых, или чем другое положение — относительно бесконечной делимости материи. Обе эти истины давно доказаны, а между тем они не более постижимы, чем все остальное.

Долгое время у Ньютона оспаривали изобретение этого знаменитого исчисления. В Германии изобретателем дифференциалов, которые Ньютон именовал флюк-

сиями, слыл Лейбниц, а Бернулли считал себя автором интегрального исчисления; однако честь первого открытия осталась за Ньютоном, на долю же других выпала слава возможности сомневаться, он или они были первыми.

Подобным же образом оспаривали у Гарвея [130] открытие циркуляции крови, у г-на Перро [131] — открытие циркуляции сока [растений]. Гартсукер [132] и Левенгук [133] оспаривали друг у друга честь первыми увидеть крошечных червячков, из которых мы развиваемся. Тот же Гартсукер оспаривал у г-на Гюйгенса [134] изобретение нового способа подсчета удаленности неподвижной звезды. И пока еще неизвестно, кто из философов разрешил проблему рулетки.

Как бы то ни было, именно с помощью этой геометрии бесконечности Ньютон пришел к самым величественным познаниям.

Мне остается поведать вам о другой работе, более доступной пониманию рода человеческого, но в которой, как всегда, чувствуется творческий дух, вносимый Ньютоном во все его поиски: это совершенно новая хронология [135], ибо во всех своих предприятиях он непременно изменял идеи, принятые среди других людей.

Привыкнув вносить ясность в хаос, он пожелал, по крайней мере, внести некоторый свет в хаос древних мифов, перемешанных с историей, и установить точную хронологию вместо недостоверной. Правда, не существует семьи, города, нации, которые не стремились бы отодвинуть в глубь веков свое происхождение; кроме того, первые историки — самые небрежные в установлении дат; книги были тогда в тысячу раз менее доступными, чем теперь; они меньше подлежали критике, а потому можно было более безнаказанно вводить в заблуждение весь свет; и, поскольку факты носили явно предположительный характер, вполне возможно, что столь же предположительными были и даты.

В целом Ньютону показалось, что мир на пятьсот лет моложе, чем это утверждают летописцы; он основывает свою идею на обычном ходе развития природы и на астрономических наблюдениях.

Здесь под ходом развития природы подразумевается время жизни каждого людского поколения. Египтяне

первыми стали пользоваться этим неточным способом подсчета. Когда они хотели указать начало своей истории, они принимали в расчет триста сорок одно поколение, начиная от Менеса [136] и до Сетона [137], причем, не располагая точными датами, они приравнивали длительность жизни трех поколений к ста годам; таким образом, они считали, что от царствования Менеса до царствования Сетона прошло одиннадцать тысяч триста сорок лет.

Греки до того, как стали вести счет по Олимпиадам, следовали египетскому методу; они лишь несколько растянули срок жизни поколения, считая продолжительность жизни для каждого поколения равной сорока годам.

Но в данном случае и египтяне, и греки ошибались в своих подсчетах. Правда, согласно обычному ходу природы три поколения живут около ста — ста двадцати лет, но это вовсе не означает, что такова же продолжительность трех царствований. Совершенно очевидно, что, как правило, люди живут дольше, чем царствуют короли; таким образом, человек, который пожелает написать историю, не располагая точными датами и зная, что у какого-то народа было девять царей, совершит большой промах, если положит этим девяти царям срок в триста лет. На долю каждого поколения приходится около тридцати шести лет, каждое царствование, сменяя другое в непрерывном ряду, продолжается около двадцати лет. Если взять тридцать королей Англии, начиная с Вильгельма Завоевателя и кончая Георгом Первым, то они царствовали шестьсот сорок восемь лет; разделите эти годы между тридцатью королями, и на долю царствования каждого из них придется двадцать один год с половиной. Шестьдесят три короля Франции царствовали, наследуя друг другу, приблизительно по двадцати лет каждый. Таково обычное течение природы; следовательно, древние ошибались, когда они в целом приравнивали продолжительность царствования ко времени жизни поколения; итак, счет их завышен и уместно из него кое-что вычесть.

Астрономические наблюдения как будто оказывают еще большее содействие нашему философу, он становится благодаря им более сильным, воюя, таким образом, на родной почве.

Вы знаете, Месье, что Земля, помимо своего годичного вращения вокруг Солнца с запада на восток, имеет еще и особое вращение, до последнего времени остававшееся совсем неизвестным. Ее полюса очень медленно перемещаются в обратном направлении, с востока на запад, благодаря чему их каждодневное положение неточно соответствует одним и тем же точкам небес. Различие это, незаметное на протяжении одного года, становится весьма сильным с течением времени, и к концу семьдесят второго года оно становится равным одному градусу, или иначе говоря, триста шестидесятой части всего неба. Таким образом, по истечении семидесяти двух лет колюр весеннего равноденствия, проходивший через постоянную точку, соответствует другой постоянной точке; отсюда происходит, что Солнце, вместо того чтобы находиться в части неба, где во времена Гиппарха было созвездие Овна, занимает в небе положение, соответствующее положению созвездия Тельца, а Близнецы оказываются в той части неба, где тогда был Телец. Все небесные знаки меняют свое место; между тем мы сохраняем античный способ выражения: мы говорим, что Солнце находится в созвездии Овна, с той же самой неточностью, с какой мы говорим о вращении Солнца.

Гиппарх [138] был первый среди греков, заметивший некоторые изменения в положении созвездий по отношению к [кругам] равноденствий, точнее, он узнал это от египтян. Философы приписали это движение звездам: ведь тогда были очень далеки от представления о подобном вращении Земли, ее считали во всех отношениях неподвижной. Итак, древние создали небо, к которому они прикрепили все звезды, и придали этому небу особое движение по направлению к востоку, в то время как все звезды совершали, как казалось, свой каждодневный путь с востока на запад. К этой ошибке они добавили вторую, более существенную: они считали, что так называемое небо неподвижных звезд передвигается по направлению к востоку со скоростью одного градуса за сто лет; таким образом, они ошибались в своих астрономических подсчетах точно так же, как в своей физической системе. Например, какой-нибудь астроном мог бы сказать: «[Точка] весеннего равноденствия во времена такого-то наблюдателя находилась в таком-то

знаке, у такой-то звезды; после этого наблюдения и до нашего времени точка эта переместилась на два градуса; но изменение на два градуса соответствует промежутку времени в двести лет; итак, наблюдатель этот жил за двести лет до меня». Ясно, что астроном, который рассуждал бы подобным образом, ошибся бы ровно на пятьдесят четыре года. Вот почему древние, совершая двойную ошибку, принимали за великий мировой год (так именовался кругооборот всего неба) примерно тридцать шесть тысяч лет. Но современные ученые знают, что это воображаемое вращение неба неподвижных звезд есть не что иное, как вращение полюсов Земли, совершающееся за двадцать пять тысяч девятьсот лет. Здесь уместно мимоходом заметить, что Ньютон, определяя форму Земли, очень удачно объяснил причину этого вращения.

Если допустить все вышесказанное, то для уточнения хронологии достаточно посмотреть, у какой звезды в наше время колюр весеннего равноденствия пересекает эклиптику, и попытаться при этом выяснить, не сообщает ли какой-либо древний наблюдатель, в какой точке пересекалась эклиптика тем же самым колюром равноденствия в его время.

Климент Александрийский [139] сообщает, что Хирон, участник похода аргонавтов, наблюдал созвездия во время этой знаменитой экспедиции и установил, что линия весеннего равноденствия проходит посредине созвездия Овна, линия осеннего равноденствия — посредине созвездия Весов, линия нашего летнего солнцестояния — посредине созвездия Рака, а линия зимнего солнцестояния — посредине созвездия Козерога.

Много лет спустя после похода аргонавтов, за год до Пелопоннесской войны, Метон [140] сделал наблюдение, что линия летнего солнцестояния проходила тогда через восьмой градус созвездия Рака.

Каждое созвездие зодиака насчитывает в себе тридцать градусов. Во времена Хирона линия солнцестояния проходила посредине знака, или, иначе говоря, пересекала его пятнадцатый градус; за год до Пелопоннесской войны она проходила через восьмой градус, следовательно, она отступила на семь градусов. Один градус соответствует промежутку времени в семьдесят два года, значит, от начала Пелопоннесской войны до пред-

приятия аргонавтов надо отсчитать семь раз по семьдесят два года, что составляет пятьсот четыре года, а вовсе не семьсот лет, как утверждают греки; сравнивая, таким образом, состояние неба на сегодняшний день с положением, существовавшим в те времена, мы видим, что экспедиция аргонавтов должна быть отнесена примерно к девятому веку до рождества Христова, а не к четырнадцатому веку, а следовательно, мир на самом деле приблизительно на пять столетий моложе, чем предполагали. Благодаря этому все эпохи приблизились и события происходили позже, чем это считали. Я не знаю, окажется ли эта остроумная система очень удачливой и захотят ли успокоиться на этой идее преобразования хронологии мира; быть может, ученые сочтут чрезмерным излишеством приписывать одному и тому же человеку честь усовершенствования сразу физики, геометрии и истории: это было бы каким-то родом вселенской монархии, а человеческое самолюбие с трудом может к этому приспособиться. Итак, во времена, когда крупнейшие философы атаковали притяжение, другие сражались с хронологической системой Ньютона. Время, которое должно показать, кому следует присудить победу, быть может, сделает исход этого спора еще более сомнительным.

Приложение первое

ИСТОРИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ

ГЛАВА XIX

Первые геометры, без сомнения, обратили внимание на одиннадцать или двенадцать теорем, и если бы они следовали им без отклонений, они оказались бы на краю пропасти; не могли они и не заметить того, что отдельные неопровержимые истины, открытые ими, окружены бесконечностью. Эта догадка смутно мелькнула у них с того момента, как подумали о том, что сторона квадрата никоим образом не может быть соизмерима с диагональю, или о том, что различные окружности всегда могут быть проведены между кругом и его касательной, и т. д.

Если даже кто-то просто вычислял квадратный корень числа 6, он отлично мог заметить, что это — число, лежащее между двумя и тремя, но, какое бы он ни производил деление, корень этот, к значению которого он постоянно приближался, никогда не будет найден. Если рассматривали прямую линию, пересекающую под прямым углом другую прямую, то замечали, что они пересекаются между собой в неделимой точке; но если линии эти пересекались под косым углом, это либо вынуждало допустить, что одна точка превышает по размеру другую, либо мешало что бы то ни было понять в природе точек и начале любой величины.

Одно только наблюдение конуса *должно поражать* ум, ибо его основание, представляющее собой круг, содержит бесконечное количество линий. Вершина конуса представляет собой нечто бесконечно отличное от линии. Если рассечь этот конус параллельно его оси, мы получим фигуру, стороны которой все больше и больше будут приближаться к сторонам треугольника, образованного конусом, но никогда с ними не совпадут. Бесконечность была повсюду; каким образом получить площадь круга? Как выразить какую бы то ни было кривую?

До Аполлония [141] круг был изучен лишь как мера углов и как то, что дает определенные средние пропорциональные. Это, кстати, доказывает, что египтяне, обучившие греков геометрии, были весьма посредственными геометрами, хотя и вполне хорошими астрономами. Аполлоний детально занялся сечениями конуса. Архимед рассматривал круг как фигуру, состоящую из бесконечного числа углов, и определил отношение диаметра к окружности настолько точно, насколько это доступно человеческому уму. Он нашел площадь параболы; Гиппократ из Хиоса [142] нашел площадь сегментов круга.

Удвоение куба, тройное сечение угла, недоступные обычной геометрии, и квадратура круга, немыслимая для любой геометрии, были объектом бесполезных поисков древних. На этом пути они раскрыли некоторые секреты, как это произошло и с искателями философского камня. Стала известна циссоида Диоклеса [143], приближающаяся к своей директрисе, но так и не совпадающая с ней, конкоида Никомеда [144], судьба которой

аналогична, спираль Архимеда. Все это было открыто без алгебры, без счета, так сильно помогающего человеческому уму и служащего ему не столько просветителем, сколько проводником.

Как, например, два знатока арифметики, которым надо сделать подсчет, причем один из них делает его, постоянно имея перед своим умственным взором числа, а другой водит по бумаге счетной линейкой, старинной, но надежной, за которой он усматривает искомую истину лишь после нахождения результата и как человек, пришедший к ней с закрытыми глазами, почти так же различаются между собой геометр, не пользующийся счетом, но наблюдающий фигуры и устанавливающий отношения между ними, и алгебраист, выясняющий эти отношения с помощью действий, ничего не говорящих его уму. Однако с помощью первого из этих методов не уйдешь далеко: быть может, он предназначен для существ, стоящих на более высокой ступени, чем мы. Мы же нуждаемся во вспомогательных средствах, подтверждающих нашу слабость. По мере того как объем геометрии расширился, эти вспомогательные средства стали нам более необходимы.

Англичанин Гариот [145], Вьетт из Пуату [146] и особенно знаменитый Декарт применяли знаки и буквы. Декарт подчинил кривые алгебре и привел все к алгебраическим уравнениям.

Во времена Декарта, Кавальери [147], священник Ордена иезуитов, в наше время более не существующего, опубликовал в 1635 году «Геометрию неделимых»: это совсем новая геометрия, согласно которой плоскости образуются бесконечным числом линий, а тела — бесконечным числом плоскостей. Правда, он не более осмеливался произнести слово «бесконечность» в математике, чем Декарт — в физике. Оба они пользовались смягченным термином *неопределенность*. Между тем у Роберваля [148] во Франции были те же идеи, а в Брюгге жил иезуит, который сделал гигантские шаги на этом пути, но идя иной дорогой. Это был Грегуар де Сент-Винсент [149], который, поставив перед собой ошибочную цель и считая, что он открыл квадратуру круга, и в самом деле открыл удивительные вещи. Он привел к конечным отношениям саму бесконечность и познал ее в великом и малом.

Но исследования эти были потоплены в трех томах in-folio: в них недоставало методичности, и, что самое худшее, явная ошибка в конце книги повредила всем содержащимся в ней истинам.

Между тем продолжались непрерывные поиски квадратур кривых. Декарт пользовался касательными; Ферма, советник из Тулузы, применил свой закон *максимальных* и *минимальных*; закон этот заслуживал более справедливого отношения, чем проявил к нему Декарт. Англичанин Уоллис в 1655 году отважно предложил арифметику бесконечных [чисел] и бесконечных рядов в числе.

Милорд Брункер воспользовался таким рядом, чтобы получить квадратуру гиперболы. Значительная доля этого открытия принадлежит Меркатору де Гольстейну; однако главным образом речь шла здесь о построении кривых, т. е. о том, за что так удачно взялся лорд Брункер. Шли поиски всеобщего метода подчинения бесконечности алгебре, подобно тому как Декарт подчинил ей конечное; именно этот метод и открыл Ньютон в возрасте двадцати трех лет; за это он заслуживает такого же восхищения, как наш юный г-н Клеро [150], который в возрасте тринадцати лет сумел опубликовать *Трактат по измерению кривых с двойным изгибом.* Метод Ньютона состоит из двух частей — дифференциального и интегрального исчисления.

Дифференциальное исчисление состоит в том, чтобы найти величину, меньшую любой определимой и которая, будучи взята бесконечное число раз, оказывается равной данной величине; именно это в Англии называют методом флюент, или флюксий.

Интегрирование состоит в получении итоговой суммы дифференциальных величин.

Знаменитый философ Лейбниц и глубокий математик Бернулли заявляли свои права, один — на дифференциальное, другой — на интегральное исчисление; надо быть способным открывать столь великие вещи, чтобы осмелиться приписать себе честь этого открытия. Почему трем великим математикам, ищущим истину, ее не открыть? Торичелли, Ла Лубер [151], Декарт, Роберваль, Паскаль разве не доказали, каждый со своей стороны, свойства циклоиды, именовавшейся в их время рулеткой? Не наблюдали ли мы часто ораторов, трак-

тующих один и тот же предмет, использующих одни и те же мысли, но под различными названиями? Символы, которыми пользовались Ньютон и Лейбниц, были различными, но мысли их были одни и те же.

Как бы то ни было, бесконечность стали в то время подчинять счету. Незаметно привыкли к тому, что получали бесконечные величины неравной величины. Это столь дерзкое построение испугало одного из своих архитекторов. Лейбниц не осмелился своим бесконечным дать иное наименование, кроме «несоизмеримых»; но г-н де Фонтенель пришел наконец к тому, что установил эти различные ряды бесконечных без всяких оговорок, и, конечно, он был совершенно уверен в *своем деянии*, коль скоро он на него дерзнул.

Приложение II

О НЬЮТОНЕ

Ньютон сначала предназначал себя служению церкви. Он начал свой путь как теолог, и следы этого заметны на всей его жизни. Он серьезно принял сторону Ария [152] против Афанасия. Он пошел даже несколько дальше Ария, так же как все социниане. В Европе в настоящее время многие ученые придерживаются этого мнения (я не могу сказать: «этой общины», потому что они не образуют корпорации). Среди них самих существуют разногласия, и многие из них сводят свою систему к чистому деизму, приспособленному к христианской морали. Ньютон не принадлежал к этим последним. Он расходился с англиканской церковью лишь по догмату о *единосущности*, всему остальному он давал веру.

Доказательством его чистосердечной веры может служить то, что он комментировал Апокалипсис [153]. В этом комментарии он недвусмысленно заявляет, что папа — антихрист; впрочем, он толкует эту книгу так же, как и все те, кто к ней прикасался. Этим комментарием он явно хотел успокоить человеческий род относительно своего над ним превосходства.

Многие, прочитав кое-что из «Метафизики», помещенной Ньютоном в конце его *Математических принципов*, нашли там некоторые вещи столь же темными, как

Апокалипсис. Метафизики и теологи весьма напоминают тех гладиаторов, которых заставляли сражаться с повязкой на глазах. Но когда Ньютон трудился с открытыми глазами над своей математикой, взгляд его достигал границ мира.

Он изобрел счет, именуемый исчислением бесконечного; он открыл и доказал новый принцип, являющийся двигателем всей природы. До него не был познан свет. Относительно света имелись лишь смутные и ошибочные идеи. Он рек: «Да буден познан свет!» — и свет был познан.

Зеркальные телескопы были изобретены Ньютоном. Первый из них был сделан его собственными руками; и он показал, почему нельзя увеличить силу и дальность обычных телескопов. В связи с появлением его нового телескопа один немецкий иезуит принял Ньютона за мастерового, за изготовителя увеличительных стекол. *Artifex quidam nomine Newton* * — записал он в своей маленькой книжице. Потомство впоследствии за него как следует отомстило. Но во Франции по отношению к нему была проявлена еще большая несправедливость: его принимали за экспериментатора, который ошибался, и, поскольку Мариотт [154] пользовался плохими призмами, открытия Ньютона были отвергнуты.

Соотечественники его восхищались им с первого момента его писаний и его деятельности. Во Франции же его хорошо узнали лишь в конце сорокового года его жизни. Взамен мы имели пористую и разветвленную материю Декарта и маленькие вялые вихри преподобного отца Мальбранша; еще у нас была система г-на Прива де Мольера [155], который не сто́ит, однако, и мизинца Поклена де Мольера [156].

Из всех тех, кто хоть немного общался с г-ном кардиналом де Полиньяком [157], нет ни одного человека, который бы не слыхал от него, что Ньютон — перипатетик и что его разноцветные лучи, и особенно его притяжение, сильно попахивают атеизмом. Ко всем преимуществам, данным ему природой, у кардинала Полиньяка присоединялось еще огромное красноречие. Он со счастливой и поражающей легкостью сочинял латинские

---

* *Некий ремесленник по имени Ньютон* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

стихи, но знал он только Декартову философию и запомнил рассуждения Декарта так, как запоминают даты. Он ничуть не стал геометром и не был рожден философом. Он мог судить о «Катилинариях» и «Энеиде», но не о Ньютоне и Локке.

Если подумать, что Ньютон, Локк, Кларк, Лейбниц подвергались преследованиям во Франции, попадали под арест в Риме, [а книги их] сжигались в Лиссабоне, что́ следует сказать о человеческом разуме? В нашем веке он народился в Англии. Во времена королевы Марии [158] существовали довольно жесткие преследования за манеру греческого произношения, причем преследователи заблуждались. Те, кто наложил на Галилея епитимью, заблуждались еще больше. Любой инквизитор должен был бы до самой глубины души залиться краской стыда при взгляде на один только глобус Коперника [159]. Между тем, если бы Ньютон был рожден в Португалии и какой-нибудь доминиканец усмотрел ересь в обратной пропорциональности квадрату расстояний, сэра Исаака Ньютона облачили бы в покаянную одежду и отправили бы на аутодафе.

Нередко спрашивают, почему те, кому их служение повелевает быть учеными и терпимыми, столь часто бывали невежественными и бессердечными. Они были невежественны потому, что слишком долго учились, и жестокими потому, что чувствовали, как их никчемные занятия становятся объектом презрения мудрых людей. Разумеется, инквизиторам, имевшим бесстыдство проклясть систему Коперника не только как еретическую, но и как абсурдную, нечего было страшиться этой системы. Земля, как и другие планеты, могла сколько угодно вращаться вокруг Солнца, они от этого не теряли ни капли своих доходов и почестей.

Религиозная догма всегда в безопасности, когда ее опровергают только философы: все академики вселенной ничего не изменят в веровании народа. Какова же причина ярости, столько раз возбуждавшей Анита против Сократа? Да та, что Аниты говорят себе в глубине души: «Сократы нас презирают».

В молодости моей я полагал, что Ньютон составил себе состояние благодаря своим исключительным заслугам. Я воображал, что двор и Лондон без голосования признали его главным смотрителем королевского

Монетного двора. Ничуть не бывало. Исаак Ньютон имел довольно хорошенькую племянницу, прозванную «Мадам Кондюит». Она очень нравилась великому казначею Галифаксу. Исчисление бесконечно малых и гравитация ничего не дали бы Ньютону, не будь у него красивой племянницы.

Письмо восемнадцатое
О ТРАГЕДИИ

У англичан уже был театр, равно как и у испанцев, тогда, когда французы не имели ничего, кроме балаганов. Шекспир [160], слывущий английским Корнелем [161], процветал приблизительно во времена Лопе де Веги [162]; он создал театр; он был гением, исполненным творческой силы, естественности и возвышенности, но без малейшей искорки хорошего вкуса и какого бы то ни было знания правил. Я намерен сказать вам нечто рискованное, но истинное, а именно что достоинства этого автора погубили английский театр. В его чудовищных фарсах, именуемых трагедиями, повсюду разбросаны такие прекрасные сцены, столь величественные и страшные отрывки, что *эти* пьесы всегда игрались с огромным успехом. Время, которое одно только создает людям славу, в конце концов делает почтенными даже их недостатки. Большинство причудливых идей и преувеличений этого автора получили по истечении двухсот лет право слыть возвышенными. Новые авторы почти все ему подражали, но то, что пользовалось успехом у Шекспира, было освистано у них, и поверьте, что преклонение перед этим старым автором возрастает в меру того презрения, которое питают к авторам новым. При этом не размышляют о том, что не следовало бы ему подражать, и провал подражателей заставляет лишь думать, что Шекспир неподражаем.

Вы знаете, что в трагедии «Венецианский мавр» [163], весьма трогательной пьесе, муж удушает на сцене свою жену и эта бедная женщина, умирая, вскрикивает, что погибает совсем невинной. Вам также известно, что в «Гамлете» могильщики роют могилу и при этом пьют вино, поют водевильные песенки и отпускают по поводу отрытой ими мертвой головы шуточки, достойные людей их профессии; но вы будете поражены, если узнае-

те, что эти нелепости вызвали подражания в царствование Карла Второго, отличавшееся отменной учтивостью и бывшее золотым веком изящных искусств.

Отуэй [164] в своей «Спасенной Венеции» выводит сенатора Антонио и куртизанку Наки в разгар ужасов заговора маркиза де Бедмара. Старик-сенатор, увиваясь за своей куртизанкой, проделывает перед ней всевозможные ужимки старого бессильного развратника, абсолютно лишенные здравого смысла: он изображает быка и кобеля, кусает икры своей любовницы, получая от нее за это удар ногой или хлыстом. Из пьес Отуэя были изъяты все эти буффонады презренного негодяя, однако в «Юлии Цезаре» Шекспира оставили шуточки римских сапожников и башмачников в сцене Брута и Кассия. И это потому, что глупости Отуэя новы, а глупости Шекспира стары.

Вы, конечно, посетуете, что все сообщенное вам до сих пор об английском театре, и особенно знаменитом Шекспире, показывает вам пока только его ошибки, и никто не потрудился дать перевод хотя бы одного из тех потрясающих мест, которые служат извинением всех его погрешностей. Я отвечу вам на это, что весьма легко рассказывать в прозе об ошибках поэта, но очень трудно перевести его прекрасные стихи. Все писаки, выступающие в качестве критиков знаменитых писателей, компилируют целые тома; я предпочел бы две странички, которые познакомили бы нас с какими-то красотами; ибо я всегда буду утверждать вместе с людьми, обладающими хорошим вкусом, что можно извлечь гораздо больше пользы из дюжины стихов Гомера [165] или Вергилия [166], чем из всех критических писаний, относящихся к двум этим великим людям.

Я осмелился перевести несколько отрывков из лучших английских поэтов и предлагаю вам отрывок из Шекспира. Будьте снисходительны к переводу во имя оригинала и вспоминайте всякий раз, когда вы видите перевод, что перед вами всего лишь бледная копия прекрасной картины.

Я выбрал монолог из трагедии «Гамлет», известный всему миру и начинающийся со стиха:

To be or not to be, that is the question *.

* Быть или не быть — таков вопрос (англ.).— *Примеч. переводчика.*

Это слова Гамлета, принца Датского.

Остановись; необходимо выбрать и внезапно перейти
От жизни к смерти, иль от бытия к небытию.
Жестокие боги! Если только вы можете, осветите путь моему мужеству.
Надо ли состариться согбенным той рукой, что меня гнетет,
Надо ли терпеть мой несчастный жребий или положить ему конец?
Кто я? Кто остановит меня? И что такое смерть?
Это — конец наших бед, мой единственный приют;
После долгих мытарств — это спокойный сон;
Мы засыпаем и все умирает с нами; но, быть может, страшное пробуждение
Должно последовать за сладким сном.
Нам угрожают и говорят, что за этой краткой жизнью
Тотчас же последуют вечные муки.
О смерть! Час роковой! Страшная вечность!
Все сердце цепенеет от ужаса при одном твоем имени!
Кто мог бы без тебя выносить эту жизнь
И благословлять лживое лицемерие наших духовных отцов,
Льстить прегрешеньям недостойной возлюбленной,
Пресмыкаться перед министром, преклоняться пред его величием
И показывать слабость своей поверженной души
Неблагодарным друзьям, отвращающим свой взгляд?
Смерть чересчур сладка в таких крайних обстоятельствах;
Но тут возникает сомнение и кричит нам: Остановитесь!
Оно запрещает нашим рукам это счастливое человекоубийство
И превращает воинственного героя в смиренного христианина,
и т. д.

Не думайте, что я передал здесь английский текст слово в слово. Горе тем, кто переводит буквально и, передавая каждое слово, обескровливает смысл. Именно в этих случаях следует сказать, что буква убивает, а дух дает жизнь.

Вот еще один отрывок из знаменитого английского трагика Драйдена [167], поэта времен Карла Второго, автора скорее плодовитого, чем здравомыслящего, который пользовался бы незапятнанной репутацией, если бы написал не более десятой части своих сочинений, и чьим большим недостатком было стремление к универсальности. Отрывок этот начинается так:

When I consider life, t'is all a cheat.
Yet fool'd by hope men favour the deceit *.
Сожаление о замыслах и ложные желания...
Безрассудные смертные пестуют свое безумие.
В своих насущных бедах и надеждах на наслажденье
Мы не живем, мы ожидаем жизнь.
Завтра, завтра,— говорим мы себе,— исполнятся все наши желания;
Но приходит это завтра и оставляет нас еще более несчастными.
Какая страшная ошибка, увы,— эта забота, пожирающая нас!
Никто из нас не пожелал бы проделать свой путь сначала:
С первых же наших минут мы проклинаем зарю
И от надвигающейся ночи продолжаем ждать
Того, что вотще нам сулил прекраснейший из наших дней, и т. д.

Именно этими отрывками до сих пор блистали английские трагические поэты: в их пьесах, которые почти все варварски грубы, лишены благопристойности, порядка и правдоподобия, бывают поразительные проблески света среди ночного мрака. Стиль их чрезмерно выспрен, неестествен и слишком напоминает манеру еврейских писателей, исполненную азиатской напыщенности; однако следует также признать, что ходули образного стиля, на которые взбирается английский язык, поднимают также достаточно высоко и смысл, хотя и неупорядоченным путем.

Первый из англичан, создавший дельную пьесу и написавший ее от начала до конца с изяществом,— это прославленный г-н Аддисон [168]. Его «Катон Утический» — шедевр по своему слогу и красоте стиха. Роль Катона, на мой вкус, стоит по своим достоинствам значительно выше роли Корнелия в «Помпее» Корнеля, ибо Катон велик без напыщенности, а Корнелий, который и вообще-то не является необходимым персонажем, иногда ударяется в галиматью. Катон г-на Аддисона кажется мне самым прекрасным действующим лицом, какое когда-либо появлялось на сцене, но остальные роли пьесы ему не соответствуют, и сочинение это, так прекрасно написанное, обезображено холодной любовной интригой, разливающей по пьесе тоску, которая ее убивает.

* Я вижу, в жизни все — обман,
Надежды полные, благословляем ложь (англ.).— *Примеч. переводчика.*

Обычай вводить невпопад любовь в драматические произведения перешел из Парижа в Лондон около 1600 года вместе с нашими лентами и париками. Дамы, украшающие там театральные залы, так же как у нас, не желают, чтобы им говорили о чем-либо, кроме любви. Мудрый Аддисон с мягкой услужливостью подчинял суровость своего характера нравам своего времени и исказил шедевр во имя желания нравиться.

После него пьесы стали более упорядоченными, публика — более придирчивой, а авторы — более корректными и менее смелыми. Я видел новые пьесы, очень мудрые, но холодные. По-видимому, до сих пор англичане были созданы лишь для того, чтобы творить беспорядочную красоту. Блистательные чудища Шекспира доставляют в тысячу раз большее наслаждение, чем современная умудренность. Поэтический гений англичан до настоящего времени напоминал густое дерево, рожденное природой, беспорядочно разбрасывающее тысячи ветвей и растущее с неравномерной силой; оно погибает, если вы хотите принудить его природу и подрезать его наподобие деревьев в садах Марли.

Письмо девятнадцатое
О КОМЕДИИ

Не знаю, каким образом мудрый и остроумный г-н де Мюро [169], письмами которого об англичанах и французах мы располагаем, ограничился, говоря о комедии, критикой одного лишь комедиографа по имени Шадуол [170].

Автор этот был в свое время достаточно презираем; он не был поэтом людей порядочных: его пьесами, которыми в течение нескольких представлений наслаждался народ, пренебрегали все люди с хорошим вкусом; они напоминали пьесы, которые во Франции, как мне случалось видеть, привлекали толпу и возмущали читателей и о которых можно сказать:

Весь Париж их проклинает, весь Парнж их избегает.

Г-н де Мюро должен бы, кажется, рассказать нам о выдающемся авторе, жившем в те времена,— это г-н Уичерли [171], который долгое время был официальным

возлюбленным самой знаменитой фаворитки Карла Второго. Человек этот, живший среди высшего света, в совершенстве знал его пороки и смешные стороны и набросал их самыми сильными мазками и самыми правдоподобными красками.

Он вывел мизантропа, списанного им с мизантропа Мольера. Все характеристики Уичерли сильнее и смелее, чем у нашего Мизантропа, но в то же время они менее тонки и благопристойны. Английский автор исправил единственный недостаток пьесы Мольера, а именно отсутствие интересной интриги. Английская пьеса интересна, и интрига в ней остроумна, но для наших нравов она, конечно, слишком смела. Там выведен капитан корабля, исполненный мужества и чистосердечия, а также презрения к человеческому роду; у него есть мудрый и искренний друг, которому он не доверяет, и любовница, нежно его любящая, которую он не удостаивает даже взгляда; напротив, он отдает все свое доверие ложному другу — самому недостойному из живущих на Земле людей, а свое сердце — самой кокетливой и вероломной из женщин; он совершенно уверен, что женщина эта — Пенелопа, а его ложный друг — сам Катон. Он отправляется сражаться с голландцами, оставив все свои деньги, драгоценности и все, чем он владеет в мире, этой «благородной» женщине и саму эту женщину поручает своему «верному» другу, на которого он так полагается. Между тем истинно порядочный человек, от которого он так решительно отвернулся, отправляется в путешествие вместе с ним, а любовница, которую он не удостаивал даже взгляда, переодевается пажом и сопровождает его, так что капитан не замечает ее настоящего пола в течение всей кампании. Подорвав свое судно в битве, капитан возвращается в Лондон без средств, без судна и без денег, со своим пажом и с другом, не понимая ни дружбы одного, ни любви другой. Он прямо направляется к «жемчужине среди женщин», рассчитывая найти у нее свою шкатулку и верность, однако он застает ее замужем за «честным» негодяем, которому он ее поручил, а от его отданных на хранение сокровищ остались лишь жалкие крохи. Герою нашему трудней всего на свете поверить, что честная женщина способна на подобные фокусы; но словно чтобы лучше его в том убедить, эта благородная дама влюбляется в

маленького пажа и хочет взять его силой; однако поскольку необходимо, чтобы восторжествовала справедливость, и потому, что в театральной пьесе порок должен быть наказан, а добродетель — вознаграждена, в конце концов получается, что капитан подменяет пажа, спит со своей неверной возлюбленной, наставляет рога своему другу-предателю, пронзает его насквозь добрым ударом шпаги, возвращает себе шкатулку и женится на своем паже. Заметьте, что в пьесу эту еще втиснута некая графиня Пимбеш, старая сутяга, родственница капитана,— самое забавное существо и лучшая характерная роль, какая встречалась когда-либо в театре.

Уичерли позаимствовал у Мольера еще одну пьесу, не менее необычную и не менее смелую,— подражание «Школе жен».

Главный персонаж этой пьесы — богатый шалопай, пугало лондонских мужей, который, дабы более преуспеть в своем деле, решает распустить слух, что во время его последней болезни хирурги сочли нужным сделать его евнухом. При столь великолепной репутации все мужья стали приводить к нему своих жен, и бедняге оставалось единственное препятствие — трудность выбора; он отдает особое предпочтение маленькой крестьяночке, совершенно невинной и очень темпераментной, делающей своего мужа рогоносцем с чистосердечием, которое вполне стóит коварства более опытных дам. Пьеса эта, если вам угодно, не является школой хороших нравов, но это поистине школа остроумия и истинного комизма.

Некий сэр Ванбру [172] писал комедии еще более забавные, хотя и менее остроумные. Господин этот был светским человеком и сверх того еще поэтом и архитектором; считают, что он писал так же, как строил,— несколько грубовато. Именно он построил знаменитый замок Бленгейм, тяжеловесный и прочный памятник нашей злополучной битвы при Гохштедте. Если бы только его апартаменты были так же обширны, как толсты его стены, замок этот был бы весьма удобным.

В эпитафии Ванбру выражено пожелание, чтобы земля не была ему пухом, ибо при жизни своей он ее так безжалостно отягощал.

Господин этот во время своего путешествия во Фран-

цию перед войной 1701 года был брошен в Бастилию и оставался там некоторое время, совершенно не ведая, за что наше правительство почтило его этим отличием. В Бастилии он сочинил комедию, и что меня весьма удивляет, так это полное отсутствие в этой пьесе выпадов против страны, в которой он претерпел такое насилие.

Из всех англичан более всех содействовал росту славы комедийного театра покойный г-н Конгрив [173]. Он написал мало пьес, но все они в своем роде выдающиеся. В них строго соблюдаются сценические правила и многочисленные типы даны в высшей степени тонкой нюансировке; в этих комедиях совершенно нетерпимы шутки дурного тона; повсюду в них царит речь порядочных людей, соединенная с поступками плутов, что доказывает его отличное знание своего окружения — так называемого порядочного общества. Когда я его узнал, он был немощен и почти при смерти; у него был один недостаток — он мало уважал свое главное занятие, писательство, составившее ему имя и состояние. Он говорил мне о своих сочинениях как о безделках, которые его недостойны, и в первой же беседе со мной просил меня относиться к нему лишь как к дворянину, весьма просто живущему. Я отвечал ему, что, если бы он имел несчастье быть лишь дворянином, как любой другой, я никогда не нанес бы ему визита; я был очень шокирован этим столь неуместным тщеславием.

Его пьесы — самые остроумные и меткие; комедии Ванбру — самые веселые, а комедии Уичерли — самые сильные.

Следует заметить, что никто из этих остроумцев не отзывался плохо о Мольере. Только плохие английские авторы говорили дурно об этом великом человеке. Так, именно скверные итальянские музыканты презирают Люлли [174], но Бонончини [175] его уважает и отдает ему должное, точно так же как Мead [176] высоко ценит Гельвеция [177] и Сильву [178].

В Англии есть и другие хорошие комические поэты, такие, как сэр Стил [179] и г-н Сиббер [180], великолепный комедиограф и, кроме того, королевский поэт; титул этот кажется смешным, но он обычно дает тысячу экю ренты и значительные привилегии. Наш великий Корнель столько не имел.

Наконец, не просите меня, чтобы я входил здесь в мельчайшие подробности английских пьес, великим поклонником которых я являюсь, или чтобы я передал вам какую-либо остроту или шутку Уичерл[ей] и Конгрив[ов]: перевод не вызывает смеха. Если вы хотите познакомиться с английской комедией, единственное для этого средство — отправиться в Лондон, хорошенько изучить английский язык и каждый день смотреть в театре комедию. Я не получаю большого удовольствия от чтения Плавта [181] и Аристофана [182], а почему? Да потому, что я не грек и не римлянин. Тонкость острот, намек, злободневность — все это пропадает для иностранца.

Иначе обстоит дело в трагедии — там речь идет лишь о великих страстях и героических глупостях, освященных древними ошибками мифов или истории. Эдип, Электра [183] принадлежат испанцам, англичанам и нам точно так же, как грекам. Но хорошая комедия — это живая картина смешных сторон нации, и, если вы не знаете глубоко эту нацию, вы не можете судить о картине.

Письмо двадцатое

О ВЕЛЬМОЖАХ, КУЛЬТИВИРУЮЩИХ ЛИТЕРАТУРУ

Во Франции существовали времена, когда изящные искусства находились под покровительством первых лиц государства. В особенности придворные вопреки рассеянному образу жизни, жалким вкусам и страсти к интригам растрачивали на это все богатства страны.

Ныне, как мне кажется, при дворе господствуют совсем иные вкусы, чем вкус к литературе, но, быть может, туда скоро вернется мода мыслить: ведь королю стоит только пожелать — и из этой нации можно сделать все что угодно. В Англии, как правило, мыслят, и литература там в большем почете, чем во Франции. Преимущество это — необходимое следствие формы тамошнего правления. В Лондоне около восьмиста лиц пользуются правом публичных выступлений в поддержку национальных интересов; в свою очередь, пять или шесть тысяч человек претендуют на ту же самую честь, все остальные считают себя их судьями и каждый имеет возможность опубликовать в печати свое мнение по

поводу общественных дел. Таким образом, вся нация в целом поставлена перед необходимостью получать образование. Здесь то и дело слышишь об афинском или римском государственном строе, поэтому волей-неволей приходится читать авторов, трактующих этот предмет, и занятия эти, естественно, заставляют обращаться к изящной литературе. Обычно умонастроение людей совпадает с духом их занятий. Почему, как правило, наши должностные лица, адвокаты, врачи и многие представители духовенства обладают бóльшим образованием, вкусом и умом, чем люди всех остальных профессий? Да потому, что их положение действительно требует просвещенного ума, точно так же как профессия торговца требует знания своей области коммерции. Недавно один очень важный английский вельможа [184] навестил меня в Париже на обратном пути из Италии; он сочинил описание этой страны в стихах, ничуть не уступающее по изяществу всему тому, что написали граф Рочестер [185] и наши Шолье [186], Саррасен [187] и Шапелль [188].

Перевод, сделанный мной, столь далек от силы и изящного остроумия оригинала, что я вынужден серьезно просить прощения у автора и у тех, кто понимает английский язык; однако поскольку у меня нет иного средства познакомить вас со стихами Милорда... то вот мой перевод:

Что видел я в Италии?
Горделивое чванство, интриги и бедность,
Высокопарную лесть, мало доброты
И множество церемоний:
Нелепую комедию,
Кою инквизиция * часто требует
Именовать религией,
Но которую мы здесь называем сумасбродством.
Напрасно благодетельная природа
Тщится обогатить эти прелестные края:
Священники пагубной рукой
Удушают прекраснейшие ее дары.
Мнимо великие монсеньоры,

---

* Без сомнения, он подразумевает здесь фарсы, разыгрываемые некоторыми проповедниками на городских площадях.— *Примеч. Вольтера.*

Одинокие в своих великолепных дворцах,
Живут там знатными тунеядцами
Без денег и без слуг.
Для малых мучеников тягостного ярма,
Лишенных свободы,
Они сотворили обет бедности;
В праздности они возносят молитвы богу
И вечно соблюдают голодный пост.
Эти прекрасные священные пределы пап
Кажутся населенными дьяволами,
И их злополучные обитатели
Прокляты в раю.

Быть может, мне скажут, что стихи эти принадлежат еретику. Но ведь сплошь и рядом делаются переводы, и довольно скверные, из Горация [189] и Ювенала [190], имевших несчастье быть язычниками. Вы отлично знаете, что переводчик не должен отвечать за мысли оригинала; единственное, что ему доступно, — это молить бога за свой перевод; что я и делаю, прося милости бога к моему переводу стихов Милорда.

Письмо двадцать первое
О ГРАФЕ РОЧЕСТЕРЕ И Г-НЕ УОЛЛЕРЕ

Всему свету известна репутация графа Рочестера. Г-н де Сент-Эвремон [191] много писал об этом, однако он познакомил нас со славным Рочестером лишь как с ловеласом и прожигателем жизни, я же хочу рассказать о нем как о талантливом человеке и большом поэте. Среди других творений, блиставших пламенной силой воображения, присущей лишь ему одному, он сочинил несколько сатир на те же темы, что и наш знаменитый Депрео. Я не знаю лучшего средства для совершенствования вкуса, чем сравнение между собой великих талантов, работавших над одинаковыми сюжетами.

Вот каким образом высказывается г-н Депрео против человеческого разума в своей сатире на человека [192]:

Между тем, его можно видеть подбитым ветерком,
Убаюкивающим самого себя собственными химерами.
Он — единственное основание и опора всей природы,
И десятое небо вращается лишь для него.

Он здесь повелитель всех живых существ;
Но ты спрашиваешь: кто может его отрицать? Быть может, я!
Этот мнимый повелитель, издающий для них законы,
Этот царь животных — сколько у него самого царей?

А вот как изъясняется граф де Рочестер в своей сатире на человека: правда, читателю необходимо постоянно помнить о том, что мы даем здесь свободные переводы английских поэтов и что природа нашего стихосложения и деликатная пристойность нашего языка не способны адекватно выразить буйную вольность английского стиля.

Сей разум, ненавистный мне, исполненный ошибок,
Принадлежит не мне: он твой, ученый доктор.
Сей разум легковесен, беспокоен, спесив,
Он — надменный соперник мудрых животных,
Полагающий, что занимает место между ними и ангелами,
И воображающий, что являет собой образ бога здесь, на Земле.
Подлый, назойливый атом, верующий, сомневающийся, дискутирующий,
Раболепствующий, вздымающийся ввысь, низвергающийся стремглав и вдобавок еще отрицающий свое падение,
Он говорит нам: «Я свободен», и в то же время грозит нам своим оружием;
Его неверный и лживый взор думает проникнуть вселенную.
Ну же, преподобные дурни, блаженные фанатики,
Сочиняйте груды вашей схоластической ерунды!
Вы — отцы фантазий и священных ребусов,
Создатели лабиринта, в котором вы сами заблудились;
Давайте же путаные объяснения ваших тайн
И спешите в Школу, чтобы поклоняться своим химерам.
Есть и другие ошибки — ошибки тех ханжей,
Что сами себя присудили к нудному ничегонеделанью.
И этот запертый в уединении мистик, гордый своею ленью,
Сподобившийся покоя в лоне божьем — на что он способен?
Он мыслит.
Нет, злополучный! Ты не мыслишь, ты спишь!
Бесполезный Земле, причисленный к мертвецам,
Твой раздраженный разум коснеет в неге.
Проснись, стань человеком, стряхни с себя дурман!
Человек создан для действия, ты же притязаешь на роль мыслителя!

Истинны ли или ложны эти идеи, верно лишь одно: они выражены с энергией, выдающей поэта.

Я поостерегусь исследовать этот предмет как философ и бросить сейчас кисть ради компаса. Единственная моя цель в этом письме — продемонстрировать гений английских поэтов, и потому я буду продолжать в той же тональности.

Во Франции много слышали о знаменитом Уоллере [193]. Похвальное слово ему произнесли господа де Лафонтен, Сент-Эвремон и Бейль, однако широко известно лишь его имя. В Лондоне он пользовался примерно такой же репутацией, как Вуатюр [194] в Париже, и, думается мне, он с бóльшим правом ее заслужил. Вуатюр появился во времена, когда мы только-только выходили из варварства и когда еще царило невежество. Стремились к остроумию, но пока что им не обладали; хватались за ловкие обороты, заменявшие мысль — ведь фальшивые бриллианты легче отыскать, чем драгоценные камни. Вуатюр, от природы обладавший фривольным и легковесным талантом, был первым, кто блистал на заре французской литературы; если бы он явился после великих людей, украсивших собой век Людовика XIV, он либо остался бы неизвестен, либо о нем говорили бы с худо скрытым пренебрежением, либо, наконец, он должен был исправить свой стиль. Г-н Депрео хвалит его, но лишь в своих ранних сатирах, т. е. в то время, когда собственный вкус Депрео не сформировался; он был молод и находился в том возрасте, когда о людях судят по их репутации, а не в соответствии с собственным их достоинством; впрочем, Депрео в своих похвалах и в критике часто бывал несправедлив. Он хвалил Сегрэ [195], которого не читала ни одна живая душа; он бранил Кино [196], которого весь свет знает наизусть, и ничего не сказал о Лафонтене. Уоллер, лучший поэт, чем Вуатюр, был, однако, далек от совершенства: его галантные стихи дышат грацией, но небрежность делает их тягучими, и часто их обезображивают ложные мысли. К его времени англичане не научились еще писать в соответствии с правилами. Его серьезные произведения исполнены силы, которой трудно было бы ожидать от его остальных, вялых, пьес. Он написал надгробное слово Кромвелю, которое при всех своих недостатках считается шедевром: дабы почувствовать это

творение, надо знать, что Кромвель скончался в день, когда бушевал ураган исключительной силы.

Вещь эта начинается так:

Его больше нет, все кончено, покоримся жребию.
Небо отметило этот день бурей,
И звук грома, разносившийся над нашими головами,
Возвестил его смерть.
Своим последним вздохом он сотряс этот Остров,
Тот Остров, который его руки не раз заставляли содрогаться,
Когда в ходе своих деяний
Он разбивал головы Королей
И подчинял свой народ, покорный лишь его игу.
Море, тебя взбаламутила его смерть. О море! Твои всколыхнувшиеся валы,
Казалось, с ревом рассказывают далеким берегам о том,
Что гроза Земли и твой господин более не существует.
Так некогда вознесся в небо Ромул,
Также оставив Землю окутанной грозами,
И так же ему воздавал почести воинственный народ:
Живому ему покорялись, после смерти ему поклонялись,
Дворец его был храмом, и т. д.

Именно по поводу этого надгробного слова Кромвелю Уоллер дал тот ответ королю Карлу Второму, который мы находим в словаре Бейля. Когда Уоллер по обычаю королей и поэтов явился к этому королю, дабы преподнести поэму, начиненную славословиями, тот упрекнул его в том, что для Кромвеля он сочинил лучшую вещь, но Уоллер ему ответил: «Государь, мы, поэты, лучше преуспеваем в вымыслах, чем в правде». Однако этот ответ был не столь искренним, как ответ голландского посла, который, когда тот же самый король жаловался, что к нему питают меньшее уважение, чем к Кромвелю, сказал: «О Государь, Кромвель — ведь это нечто совсем иное!».

Не моя цель — давать пояснения к характеру Уоллера или кого бы то ни было другого; после их смерти я оцениваю людей лишь по их трудам; все остальное для меня уже не существует. Замечу только, что Уоллер, рожденный при дворе и обладавший шестьюдесятью тысячами ливров ренты, никогда не отличался ни глупой спесью, ни той нерадивостью, которая заставила бы его зарыть свой талант в землю. Графы де Дорсет [197] и де

Роскоммон [198], оба герцога Букингэмские [199], милорд Галифакс [200] и многие другие не считали для себя унизительным стать великими поэтами и знаменитыми писателями. Труды их делают им больше чести, чем их имя. Они культивировали литературу так, как если бы ожидали, что это принесет им богатство, более того, они сделали искусства почетными в глазах народа, который вообще-то нуждается в водительстве знати, а между тем в Англии меньше подчиняется ее руководству, чем где бы то ни было в мире.

Письмо двадцать второе

О Г-НЕ ПОПЕ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЗНАМЕНИТЫХ ПОЭТАХ

Я хотел рассказать вам о г-не Приоре [201] — одном из самых приятных поэтов Англии, которого вы могли видеть в Париже, в 1712 году, полномочным и экстраординарным посланником. Я рассчитывал также дать вам некоторое представление о стихах милорда Роскоммона, милорда Дорсета и др., но я чувствую, что это грозит превратиться в большую книгу и после тяжких трудов я сумею вам дать лишь весьма несовершенное представление относительно всех этих сочинений. Поэзия — род музыки, и, чтобы о ней судить, надо ее слышать. Когда я перевожу вам некоторые отрывки из этих чужеземных стихов, я несовершенным способом записываю для вас их музыку, но я не в состоянии передать их песенную манеру.

Особенно это относится к одной английской поэме; я отчаиваюсь дать вам ее почувствовать. Называется она «Гудибрас» [202], ее сюжет — гражданская война и секта пуритан, представленная в комическом свете. Это «Дон-Кихот» и наша «Мениппова сатира» [203], слитые воедино; из всех книг, когда-либо читанных мной, именно здесь я обнаружил более всего ума; но одновременно это и самая непереводимая книга. Кто бы подумал, что сочинение, в котором схвачены все смешные стороны человека и в котором больше мыслей, чем слов, не выдерживает перевода? И это потому, что почти все в нем служит намеком на частные похождения; самая сильная насмешка выпадает главным образом на долю теологов,

которых вообще мало кто понимает; каждая деталь требует тут комментария, а ведь разъясненная шутка перестает быть смешной; любой комментатор остроты — просто глупец.

Вот почему во Франции никогда не будут как следует поняты книги гениального доктора Свифта [204], стяжавшего себе имя английского Рабле. Он, как и Рабле, имеет честь быть священником и, как он, подвергает осмеянию всё и вся; однако, по-моему слабому разумению, ему причиняют немалый ущерб, величая его этим именем. Рабле по всей своей экстравагантной и непостижимой книге рассыпал полными пригоршнями веселье и несказанную дерзость; он расточает в ней эрудицию, сквернословие и скуку; добрый рассказ в две страницы покупается ценой многотомных глупостей; лишь небольшое число людей с причудливым вкусом похваляются тем, что они понимают и чтут этот труд, остальная часть нации смеется над шуточками Рабле и презирает саму его книгу. Его считают царем шутов и досадуют на то, что человек такого ума сделал из этого ума столь жалкое употребление; он — пьяный философ, который писал лишь тогда, когда был во хмелю.

Г-н Свифт — Рабле в хорошем смысле этого слова, Рабле, вращающийся в хорошем обществе; правда, он не обладает веселостью этого последнего, но зато он обладает всей той изысканностью, тем разумом, взыскательностью и хорошим вкусом, которых так недостает нашему «Медонскому кюре». Стихи его отличаются отменным вкусом, почти неподражаемым; само деление его текста на стихи и прозу — это добрая шутка, но дабы хорошенько его понять, необходимо совершить небольшое путешествие в его пределы.

Более легко вы можете себе составить представление о г-не Попе [205]; это, думается мне, самый изысканный и корректный, более того, самый гармоничный поэт английской земли. Он транспонировал резкий посвист английской трубы в звуки сладкоголосой флейты; его можно переводить, потому что он предельно ясен, а сюжеты его большей частью общераспространенны и достойны любой из наций.

Во Франции очень скоро познакомятся с его «Опытом о критике» по стихотворному переводу, выполненному аббатом де Ренель.

А вот отрывок из его поэмы о локоне, который я даю в своем обычном вольном переводе:

Внезапно Умбриэль, старый угрюмый гном,
Грузнокрылый и с нахмуренным челом
Бросился, ворча, искать глубокую пещеру,
Где вдали от нежных лучей, испускаемых оком мира,
Нашла свой приют богиня — повелительница паров.
Там вокруг свистят мрачные аквилоны,
И нездоровое веяние их сухого дыхания
Приносит в те края мигрень и лихорадку.
На богатой софе, за ширмой,
Вдали от светильников, шума речей и ветров,
Безмятежно покоится капризная богиня,
С сердцем, исполненным печали, причины которой она не ведает,
Ибо она никогда не мыслила и ум ее всегда помрачен,
Взгляд тяжел, лицо бледно, она распираема ипохондрией.
Злоречивая Зависть сидит подле нее,
Старый женский призрак, дряхлая дева,
С фанатичной яростью раздирающая на куски своих ближних
И с Евангелием в руках хулящая людей.
На ложе из цветов, небрежно откинувшись
Покоится неподалеку от нее юная красавица:
Это — Притворство, занимающееся болтовней, лежа в постели;
Оно слушает, не понимая, и смотрит через лорнет,
Бесстыдно краснеет и вечно смеется без радости,
Изображает себя жертвой сотни бед,
Пышет здоровьем под покровом румян и притираний,
Слабо плачется и искусно теряет сознание.

Если бы вы прочли этот отрывок в оригинале, вместо того чтобы читать его в этом слабом переводе, вы могли бы сравнить его с описанием Неги у Ле Лютрена [208].

Итак, к великой чести английских поэтов, я затронул для вас в немногих словах и их философов; что до хороших английских историков, то о них я пока не столь осведомлен; нужно было, чтобы француз написал историю англичан. Быть может, английский гений, то хладнокровный, то пылкий, еще не овладел наивным красноречием и благородным в своей простоте обликом Истории; быть может также, дух партийности, помутняющий

взор, подорвал доверие ко всем их историкам: ведь одна половина английской нации всегда противостоит другой. Я встречал людей, уверявших меня, будто милорд Мальборо [207] — трус, а г-н Поп — глупец; это так же как во Франции некоторые иезуиты считают Паскаля недоумком, а отдельные янсенисты утверждают, что отец Бурдалу [208] был просто болтун. Для якобитов Мария Стюарт [209] — святая подвижница, для всех остальных она распутница, прелюбодейка и человекоубийца. Таким образом, англичане располагают пасквилями, но не историей. Правда, в настоящее время там есть некий г-н Гордон, великолепный переводчик Тацита, весьма способный написать историю своей страны, но г-н Рапэн де Туара [210] его упредил. В итоге мне кажется, что у англичан вовсе нет таких хороших историков, как у нас, что у них нет настоящих трагедий, но что они имеют прелестные комедии, восхитительные образчики поэзии и философов, которые должны были бы стать наставниками человечества.

Англичане извлекли большую пользу из трудов, написанных на нашем языке, и мы, в свою очередь, должны воспользоваться их опытом, после того как мы им дали в долг свой: и англичане, и мы — наследники итальянцев, которые были во всем нашими мэтрами и которых мы кое в чем превзошли. Не знаю, какой из трех наций следует отдать предпочтение; счастлив, однако, тот, кто умеет понять различие их заслуг.

Приложение

Есть одна английская поэма, которую трудно дать вам почувствовать, название ее — «Гудибрас». Это — сплошь комедийное сочинение, и, однако, сюжетом его является гражданская война времен Кромвеля. Тот, по чьей милости было пролито столько крови и слез, дал жизнь поэме, заставляющей самого серьезного читателя смеяться. Образчик подобного контраста можно найти в нашей *Менипповой сатире.* Разумеется, римляне не стали бы создавать бурлескную поэму по поводу войн между Цезарем и Помпеем или на сюжет проскрипций Октавиана и Антония. Почему же страшные бедствия, причиненные Лигой во Франции или войнами между

королем и парламентом в Англии, сумели стать объектом смеха? Да потому, что в основе этих пагубных раздоров было заложено нечто смешное. Парижские буржуа, возглавлявшие группировку Шестнадцати, примешали к фракционным ужасам развязную наглость. Женские интриги, козни легата и монахов вопреки вызванным ими бедствиям имели комический аспект. Богословские диспуты и фанатизм пуритан в Англии также были весьма смехотворны; вот эта-то смешная основа, как следует усиленная, могла стать забавной при условии, что будут удалены скрывающие ее трагические ужасы. Если булла «*Unigenitus* [211]»* вызвала кровопролитие, то поэма «Филотанус» не менее соответствовала своему сюжету, и ее нельзя было упрекнуть даже в том, что она не столь весела, забавна и развлекательна, как могла бы быть, и не содержит в основной своей части того, что обещает начало.

Поэма «Гудибрас», о которой я вам повествую, представляется сочетанием «Менипповой сатиры» и «Дон-Кихота»; преимуществом ее перед этими сочинениями является стихотворная форма; другое преимущество — ум: «Менипнова сатира» от этого далека; она — весьма посредственное произведение. Но сила ума автора «Гудибраса» открыла ему секрет, как оказаться значительно ниже автора «Дон-Кихота». Вкус, простота, искусство рассказчика, уместное включение похождений, умение ничего не расточать даром — все это сто́ит гораздо дороже, чем ум; итак, «Дон-Кихот» читаем всеми народами, а «Гудибрас» — одними лишь англичанами.

Автора этой столь необычной поэмы звали Батлер; он был современником Мильтона и пользовался неизмеримо большей известностью, чем этот последний, потому что был забавен, поэма же Мильтона печальна. Батлер выставил в смешном свете врагов короля Карла II; единственным вознаграждением, которое он получил, было то, что король часто цитировал его стихи. Битвы сэра Гудибраса были шире известны, чем сражения ангелов и дьяволов в «Потерянном рае». Однако английский двор обошелся с шутником Батлером не лучше, чем небесный двор поступил с серьезным Миль-

---

* «*Единородный*» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

тоном: оба они умерли от голода или чуть не умерли от него.

Герой поэмы Батлера не был вымышленным персонажем, как Дон-Кихот Мигеля Сервантеса: это вполне реальный сэр и баронет, бывший одним из поклонников Кромвеля и его полководцев. Звался он сэр Сэмюел Люк. Дабы дать почувствовать дух этой поэмы, единственной в своем роде, надо выбросить три четверти любого пассажа, который собираешься переводить, ибо этот Батлер не умеет остановиться. Итак, стремясь избежать многословия, я свел приблизительно к ста стихам четыреста первых строк «Гудибраса».

Когда миряне и святые
Бранились в Англии между собой
И сражались за церкви
Столь же яростно, как за шлюх,
Когда англикане и пуритане
Затеяли столь страшную войну
И проповедники Назарета,
Выходя из кабака,
Отправлялись на кафедры бить в барабаны,
Когда повсюду, неведомо почему,
Во имя неба и короля
Покрыли Землю вооруженные люди,—
Тогда Господин Рыцарь,
Долгое время пребывавший в праздности, как Ахилл,
Преисполненный священного гнева,
В сопровождении своего обер-шталмейстера
Вскочил с своего насеста
С саблей в руках и Евангелием
И решил отправиться на войну.

Сэр Гудибрас, этот редкий человек,
Был, как говорят, исполнен чести
И обладал умом и сердцем;
Однако в глубине этого сердца он был жаден и скуп.
Впрочем, благодаря некоему новому таланту,
Он был весьма способен к судебным тяжбам,
Равно как и к жестоким сражениям.
Велик в судебном кресле, велик и в седле,
На поле сражения и за конторкой,
Он напоминал тех земноводных крыс,
Что являются в двух обличьях —

Как полевые крысы и водяные.
Но вопреки своему великому красноречию,
Своим заслугам и осмотрительности,
Он слыл среди некоторых знающих людей
Одним из тех орудий,
Которыми мошенники искусно
Умеют пользоваться без слов
И ловко ими крутить и вертеть!
Орудие это зовется «глупцом».
Но не потому, что он
Не был тонким знатоком
В теологии, логике и астрологии!
Он умел расчленить ниточку рассуждения на четыре нити,
Никогда не сдавался в диспутах,
Не сходя с места, изменял тезис,
Всегда был готов толочь воду в ступе,
Когда вовсе не нужно было распространяться.

Вера Гудибраса
Была подобна его разуму:
Она была бессмысленна и очень глубока.
Божественное пуританство,
Лучшая из сект на земле,
Не имеющая в себе ничего человеческого;
Истинная воинствующая церковь,
Проповедующая с огнестрельным оружием в руках,
Дабы получше обратить своих ближних,
Пускающая в ход аргумент сабельных ударов,
Сулящая небесное блаженство
С помощью перекладины и веревки
И безжалостно проклинающая
Грехи всех прочих христиан,
Дабы получше обелить свои;
Разрушительная секта,
В конце концов разрушающая самое себя:
Так Самсон своей могущественной рукой
Разрушил храм филистимлян;
Но мстительность его погубила,
И он похоронил сам себя,
Раздавленный страшным падением
Этого храма, который он уничтожил.
Под носом античного воина

Свисали два могучих уса,
К которым Парки привязали
Судьбу Республики.
Он тщательно их оберегает,
Ибо, если усы эти будут вырваны,
В тот роковой момент вместе с его усами
Должно пасть целое государство.
Так Талиакоцит,
Великий этрусский целитель,
Восстанавливал все утраченные носы
С помощью нового искусства:
Он проворно брал
Кусочек кожи с зада бедняка
И аккуратно прилаживал его к носу;
В конце концов получалось,
Что в момент смерти заимодавца
Нос получателя отсыхал:
При этом часто в тот же гроб
Во имя справедливости и доброго согласия,
По воле умершего
Клали его нос подле его задницы.
Наш могучий герой Альбиона
Взгромоздившись на свою клячу,
Алкая отмщения за веру,
Приторочил к луке своего седла
Два пистолета и свиной окорок;
Но у него была лишь одна шпора.
Такова была его всегдашняя привычка:
Он знал, что если задник его сапога
Врезается в один бок животного,
То другой его бок не отстанет от первого.
Итак, Гудибрас отправился в путь.
Пусть бог благословит его поход,
Его аргументы и его партию,
Его рыжую бороду и отвагу.

Человек, воображение которого обладало бы десятой долей остроумия — тонкого или же грубого, — царящего в этой книге, все-таки был бы весьма забавен; однако пусть он как следует поостережется переводить «Гудибраса». Это было бы прекрасным средством заставить читателей-иностранцев смеяться над нелепостями, забытыми уже среди того народа, у которого они поль-

зовались такой славой. В Европе больше не читают Данте [212], ибо у него все полно намеков на незнакомые факты; то же самое относится к «Гудибрасу». Большая часть шуток в этом сочинении касается богословия и богословов того времени. Каждая мелочь требовала бы комментария. Но ведь разъясненная шутка перестает быть смешной; комментарий к остротам не может ничего объяснить.

Письмо двадцать третье

ОБ УВАЖЕНИИ, КОТОРОЕ НАМ НАДЛЕЖИТ ОКАЗЫВАТЬ ОБРАЗОВАННЫМ ЛЮДЯМ

Ни в Англии, ни в какой-либо иной стране мира нет институтов, созданных, как во Франции, во имя процветания изящных искусств. Почти повсюду имеются университеты; но лишь в одной Франции существуют поощрительные мероприятия в пользу астрономии, всех разделов математики, медицины, исследований античности, живописи, скульптуры и архитектуры. Людовик XIV обессмертил себя всеми этими учреждениями, причем бессмертие это стоило ему менее двухсот тысяч франков в год.

Признаюсь, одной из причин моего изумления является то, что английскому парламенту, решившемуся посулить двадцать тысяч гиней человеку, который совершит открытие долгот, считавшееся невероятным, ни разу не пришло в голову взять пример с великой щедрости Людовика XIV по отношению к искусствам.

Правда, заслуги получают в Англии иные вознаграждения, делающие бóльшую честь нации: уважение, питаемое народом Англии к талантам, столь велико, что человек заслуженный всегда завоевывает себе там положение. Во Франции г-н Аддисон был бы членом какой-нибудь академии и мог бы получить благодаря покровительству какой-то дамы пенсию в двенадцать тысяч ливров, а еще скорее ему причинили бы много хлопот под предлогом того, что в его трагедии «Катон» можно заметить отдельные выпады против привратника человека, занимающего высокое положение; в Англии же он был государственным секретарем. Г-н Ньютон

был интендантом королевского Монетного двора; г-н Конгрив занимал важную должность; г-н Приор был полномочным послом; доктор Свифт является ирландским деканом и почитаем там выше примаса. И если религия г-на Попа не позволяла ему служить, то, по крайней мере, она не помешала ему получить за свой перевод Гомера двести тысяч франков. В давние времена я видел, как автор «Радамиста»[213] почти умирал во Франции с голоду, а сын одного из величайших людей[214], какими когда-либо гордилась Франция, пошедший по стопам своего отца, был бы доведен до нищеты без помощи г-на Фагона.

Более всего поддерживает искусства в Англии то уважение, коим они пользуются: портрет премьер-министра стоит обычно на камине в его кабинете, но я видел портрет г-на Попа в двадцати домах.

Г-н Ньютон пользовался почестями при жизни, а после смерти ему также было воздано по заслугам. Лучшие люди нации спорили между собой о чести нести балдахин в его похоронной процессии. Если вы войдете в Вестминстер[215], то увидите, что там поклоняются не усыпальницам королей, но памятникам, которые благодарная нация воздвигала величайшим людям, содействовавшим ее прославлению; вы заметите там их статуи, подобно тому как в Афинах можно было видеть статуи Софокла и Платона, и я убежден, что один только вид этих славных монументов взволновал множество умов и создал целый ряд великих людей.

Англичан даже упрекали в том, что они слишком усердствуют в воздавании почестей за скромные заслуги; поводом к порицанию послужило, например, погребение в Вестминстере знаменитой комедийной актрисы мадемуазель Олдфилд[216], совершенное почти с теми же почестями, какие были оказаны сэру Ньютону; нашлись люди, утверждавшие, будто англичане притворно оказали столь высокие почести этой актрисе, дабы посильнее дать нам почувствовать их упрек в варварской и трусливой несправедливости, с какой мы выбросили на свалку тело мадемуазель Лекуврер[217].

Но смею вас заверить, что англичане, совершая торжественное погребение мадемуазель Олдфилд, захороненной в их Сен-Дени, совещались лишь со своим собственным вкусом; они далеки от того, чтобы клеймить

бесчестием искусство софоклов и еврипидов и изничтожать тела своих сограждан — тех, кто посвятил себя чтению со сцены творений, которыми гордится их нация.

Со времен Карла Первого и в начале этих гражданских войн, затеянных фанатичными ригористами, которые сами в конце концов пали их жертвами, много писалось против зрелищ, тем более что Карл Первый и его супруга, дочь нашего Генриха Великого, в высшей степени их любили.

Некий доктор по имени Прюнн [218], считавший, что будет проклят, если станет носить *сутану вместо короткого плаща,* и пожелавший, чтобы одна половина человечества была истреблена другой во славу божию и во имя propaganda fide *, вздумал написать скверную книгу против вполне приличных комедий, каждодневно игравшихся — и вполне невинно — пред лицом короля и королевы. Он ссылался на авторитет раввинов и на несколько мест из святого Бонавентуры для доказательства того, что «Эдип» Софокла был делом рук дьявола, что отлучение Теренция [219] было чем-то ipso facto **, и добавлял, что Брут, суровейший янсенист, убил Цезаря, занимавшего должность великого понтифика, лишь потому, что тот сочинил трагедию об Эдипе; наконец, он заявлял, что все лица, присутствующие на каком-либо спектакле, — отступники, отвергающие свое помазание и крещение. Это означало оскорбление величества и всей королевской фамилии. Англичане чтили в те времена Карла Первого и не желали, чтобы кто-то говорил об отлучении того самого государя, которому они позднее приказали отрубить голову. Дело господина Прюнна было заслушано в Звездной палате, и он был осужден лицезреть свою прелестную книгу сжигаемой рукой палача, самому же ему отрубили уши; процесс его зафиксирован в государственных судебных актах.

В Италии очень остерегаются клеймить позором оперу и отлучать от церкви сеньора Сенезини [220] или сеньору Куззони [221]; я же осмеливаюсь утверждать, что во Франции можно сколько угодно запрещать скверные книги, направленные против нашего театра; ибо, когда итальянцы и англичане узнают, что мы клеймили страш-

---

* распространения веры (лат.).— *Примеч. переводчика.*

** само собой разумеющимся (лат.).— *Примеч. переводчика.*

нейшим позором искусство [222], в котором достигли высочайшего мастерства, что у нас осуждается, как безбожный, спектакль, поставленный у святых отцов и в монастыре [223], что мы бесчестим игры, в коих Людовик XIV и Людовик XV были актерами, что объявляются делом рук дьявола пьесы, просмотренные самыми строгими цензорами и показанные добродетельной королеве [224], — когда, повторяю, иностранцы бывают свидетелями этой неслыханной наглости, этого недостатка уважения к королевской власти и готического варварства, которое осмеливаются именовать христианской суровостью,— что, полагаете вы, должны они думать о нашей нации и как могут они постичь одно из двух: либо что законы наши покровительствуют отверженному и презренному искусству, либо что у нас осмеливаются клеймить столь страшным позором искусство, находящееся под защитой законов, вознаграждаемое государями, культивируемое самыми значительными людьми и являющееся предметом восхищения нации? Как им понять, что в одной и той же библиотеке можно найти рядом с бессмертными творениями Расина, Корнеля, Мольера и других филиппику отца де Брена [225] против нашего театра?

Письмо двадцать четвертое

ОБ АКАДЕМИЯХ

У англичан задолго до нас существовала Академия наук [226]; правда она не столь хорошо организована, как наша, быть может, лишь по одной той причине, что она древнее; ведь если бы она была создана после Парижской академии, она могла бы заимствовать у нее некоторые мудрые установления и усовершенствовать остальные.

Лондонскому Королевскому Обществу недостает двух вещей, наиболее нужных людям, — вознаграждений и правил. В Париже геометру или химику место в академии приносит небольшие, но верные средства; напротив, в Лондоне надо платить за то, чтобы стать членом Королевского Общества. Тот в Англии, кто говорит: *Я люблю искусства,* и желает стать членом Общества, немедленно им становится; во Франции же для того,

чтобы стать членом и пенсионером академии, недостаточно быть любителем, надо быть ученым и уметь оспаривать место у своих соперников, тем более опасных, что их воодушевляют слава, деньги, даже сами трудности и та непреклонность ума, которая вырабатывается обычно при упорных занятиях вычислительными науками.

Академия наук разумно ограничивается исследованием природы, и это поле деятельности поистине достаточно обширно для того, чтобы занять его вспашкой пятьдесят или шестьдесят человек. Лондонская академия спокойно смешивает литературу с физикой; мне, однако, кажется, что лучше иметь специальную Академию изящных литератур, дабы избежать такого смешения и не защищать диссертаций о римских прическах рядом с сотнями диссертаций на тему о новых кривых.

Поскольку в Лондонском Обществе мало порядка и нет никаких поощрений, а Парижское поставлено совсем на иную ногу, не приходится удивляться тому, что труды нашей Академии превосходят труды английских коллег: дисциплинированные и хорошо оплачиваемые солдаты должны в конце концов одолеть волонтеров. Правда, Королевское Общество имело Ньютона, но не оно его создало; там было даже весьма мало коллег, которые бы его понимали; гений, подобный г-ну Ньютону, принадлежал всем академиям Европы, ибо все могли многому у него научиться.

Прославленный доктор Свифт в последние годы царствования королевы Анны предложил проект основания академии [английского] языка по образцу Французской академии; проект этот поддерживал главный казначей граф Оксфордский, а еще больше — виконт Болинброк, государственный секретарь, обладавший даром произносить экспромтом речи в парламенте, отличавшиеся такой же чистотой языка, как кабинетные сочинения Свифта; он был протектором и украшением этой Академии. Членами ее надлежало стать людям, сочинения которых должны были жить до тех пор, пока будет жить английский язык: то были доктор Свифт и г-н Приор, которого мы лицезрели здесь при исполнении должности государственного посла и который в Англии пользуется такой же репутацией, как у нас Лафонтен; то был г-н Поп — английский Буало; г-н Конгрив, кото-

рого мы вправе назвать английским Мольером; и многие другие, имена которых сейчас у меня ускользнули из памяти, способствовали бы процветанию этого товарищества от самого его рождения... но внезапно умерла королева; виги забрали себе в голову идею повесить покровителей Академии, что, как вы отлично понимаете, было смертельным для изящной словесности. Члены этой когорты имели бы огромное преимущество перед первыми людьми, составлявшими французскую Академию, ибо Свифт, Приор, Конгрив, Драйден, Поп, Аддисон и другие закрепили своими писаниями английский язык; что же касается Шаплена, Колетта, Кассена, Фаре, Перрэна, Котэна, то наши первые академики были позором нашей нации, и имена их стали столь смехотворны, что, если какой-либо мало-мальски приличный автор имел несчастье именоваться Шапленом или Котэном, он вынужден бывал изменить свое имя. В особенности же Английская академия должна была избрать себе занятия, совершенно отличные от дел нашей. Однажды некий образованный англичанин попросил у меня труды французской Академии; я ответил, что Академия эта вообще не пишет трудов, однако она выпустила шестьдесят или восемьдесят печатных томов славословий; он просмотрел один или два таких тома, но совсем не сумел почувствовать этот стиль, хотя он отлично понимает наших хороших авторов. «Все, что я здесь успел заметить, — сказал он мне, — это расточаемые кандидатом уверения в том, что его предшественник был великим человеком, кардинал Ришелье — весьма великим, канцлер Сегье — довольно великим, а Людовик XIV — более чем великим, причем ректор ему вторит совсем в том же духе и добавляет, что кандидат может с равным успехом стать неким родом великого человека, что же касается его, ректора, то он примет в этом посильное участие».

Легко понять, в силу какого злого рока почти все подобные речи делают так мало чести этой корпорации: *Vitium est temporis potius quam hominis**. Незаметно установился обычай повторять эти панегирики при приеме: то было неким законным способом доса-

* *Это больше порок времени, чем человека* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

дить публике. Если же кто станет доискиваться до причины, по которой величайшие гении, принятые в это сообщество, иногда произносили самые скверные актовые речи, то ее совсем нетрудно понять: они стремились блистать, они хотели по-новому осветить затасканный предмет; необходимость держать речь, смущение из-за отсутствия мыслей и жажда быть остроумным — это три вещи, способные сделать смешным самого великого человека: не находя новых мыслей, они ищут новые обороты и бездумно вещают, как люди, которые жевали бы пустоту и, погибая от истощения, делали бы вид, что они поглощают пищу.

Лучше, если бы вместо пункта устава, действующего во Французской академии и предписывающего публиковать все эти речи, только которыми она и известна, существовал бы закон, запрещающий их печатать.

Академия изящной словесности поставила перед собой более мудрую и полезную цель, а именно выпустить для читающей публики собрание трудов, включающих интересные исследования и критику. Труды эти уже заслужили внимание иностранцев, и единственным пожеланием, кое может быть высказано, является просьба углубить одни предметы и совсем отказаться от трактовки других. К примеру, можно было бы с легкостью обойтись без какой-то там диссертации о преимуществах правой руки перед левой и без некоторых других подобных же изысканий, хотя и носящих менее смешное название, однако не менее легковесных.

Академия наук в своих исследованиях, более серьезных и приносящих более ощутимую пользу, охватывает тему познания природы и усовершенствования искусств. Надо полагать, что столь глубокое и настойчивое исследование, столь точные вычисления и тонкие открытия, столь значительные воззрения создадут в конце концов нечто такое, что послужит ко благу вселенной.

До сих пор, как мы уже вместе с вами отметили, самые полезные открытия делались в самые варварские века; по-видимому, на долю самых просвещенных времен и наиболее ученых сообществ остаются рассуждения по поводу того, что было изобретено невеждами. Ныне после продолжительных дискуссий между господами Гюйгенсом и Рено известно определение наиболее выгодного угла между рулем корабля и килем, но Хрис-

тофор Колумб открыл Америку, ничего не подозревая об этом угле.

Я весьма далек от того, чтобы делать из этого вывод о преимуществе слепой практики, однако было бы очень удачно, если бы физики и геометры, насколько лишь это возможно, соединяли умозрения с практикой. Быть может, то, что делает всего больше чести человеческому уму, часто бывает меньше всего полезным? Человек, владеющий четырьмя правилами арифметики и здравым смыслом, становится великим негоциантом — Жаком Кёром [227], Дельме [228], Бернардом [229], а какой-нибудь несчастный алгебраист проводит всю свою жизнь в поисках отношений между числами и их поразительных свойств, причем пользы от этого нет никакой и это не научает его тому, что́ представляет собой обмен. Относится это почти ко всем искусствам без исключения: существует предел, за которым исследования производятся только из любопытства; эти остроумные и бесполезные истины подобны звездам, расположенным чересчур далеко от нас и потому не дающим нам света.

Что касается Французской академии, то какую услугу оказала бы она литературе, языку, нации, если бы вместо печатаемых ежегодно панегириков публиковала добрые сочинения века Людовика XIV, очищенные от всех вкравшихся в них языковых ошибок! У Корнеля и Мольера полно таких ошибок, сочинения Лафонтена ими кишат; те же ошибки, что невозможно исправить, следовало хотя бы отметить. Европа, читающая всех этих авторов, воспринимала бы от них наш язык с уверенностью в его чистоте, которая навсегда осталась бы зафиксированной; хорошие французские книги, опубликованные с такой тщательностью за счет короля, стали бы одним из славных национальных памятников. Осмелюсь заметить, что г-н Депрео когда-то внес такое предложение и оно было возобновлено человеком, чей ум, мудрость и здравый критический смысл всем известны [230]; однако идея эта испытала ту же участь, что и многие другие полезные проекты: она была одобрена и заброшена.

Письмо двадцать пятое
ЗАМЕЧАНИЯ НА «МЫСЛИ» Г-НА ПАСКАЛЯ

Я посылаю вам уже давно написанные мной критические замечания на мысли господина Паскаля. Прошу вас, не сравнивайте меня в этом отношении с Езекией, хотевшим сжечь все книги Соломона. Я чту гений и красноречие Паскаля, но, чем больше я их уважаю, тем больше проникаюсь уверенностью, что он сам захотел бы исправить многие из этих мыслей, небрежно набросанных им на бумаге, с тем чтобы позднее подвергнуть их исследованию; именно потому, что я восхищаюсь его талантом, я и оспариваю некоторые его идеи.

Мне представляется, что в целом настроение, в котором г-н Паскаль писал эти мысли, можно определить как стремление показать человека в одиозном свете. Он упорно старается изобразить всех нас дурными и жалкими: он выступает против человеческой природы почти в том же духе, как он выступал против иезуитов; он приписывает существу нашей природы то, что присуще лишь некоторым из людей; он сыплет красноречивыми инвективами по адресу человеческого рода. Я осмеливаюсь стать на защиту человечества против этого возвышенного мизантропа; я осмеливаюсь утверждать, что мы не так злы и не так жалки, как он говорит; более того, я сильно убежден в том, что, если бы он следовал в задуманной им книге плану, проступающему в его мыслях, книга эта оказалась бы наполненной красноречивыми паралогизмами и восхитительно извлеченными ложными выводами. Я даже считаю, что все недавно выпущенные книги, направленные на обоснование христианской религии, более способны шокировать, чем служить поучению. Все эти авторы, видимо, претендуют на то, что смыслят в этом предмете больше, чем Иисус Христос и апостолы! Ведь это значит поддерживать дуб оградой из роз: можно убрать бесполезные розы, не страшась причинить ущерб дереву.

Я тщательно отобрал отдельные мысли Паскаля, на которые ниже даю ответы. Судите сами, прав я или же нет.

I

Величие и ничтожность человека настолько зримы, что истинной религии необходимо поучать нас тому, что в человеке заложен некий огромный принцип величия и одновременно — некий огромный принцип ничтожества. Ибо истинная религия должна до основания проникать в нашу природу, т. е. познавать все, что в ней есть великого и ничтожного, а также причины того и другого. Необходимо также, чтобы она обосновывала поразительные контрасты нашей природы.

Подобный метод рассуждения представляется ошибочным и опасным; ведь миф о Прометее и Пандоре или платоновский миф об андрогинах, а также догмы сиамцев дают достаточно веское обоснование этих очевидных контрастов. Христианская религия не станет менее истинной, даже если из нее не будут извлекаться подобные остроумные выводы, единственная цель которых — явить блестки ума.

Христианство учит лишь простоте, человечности, милосердию: попытка превратить его в метафизику может только сделать его источником ошибок.

II

Пусть исследуют на этот предмет все религии мира и посмотрят, существует ли какая-либо религия, кроме христианской, которая удовлетворяла бы этому требованию.

Может ли быть таковой религия, которую нам проповедовали философы, предлагавшие нам взамен всех благ благо, заключенное в нас самих? Разве здесь надо искать истинное благо? Нашли ли философы средство исцеления наших зол? Разве можно исцелить высокомерие человека, приравнивая его к богу? Нашли ли исцеляющее средство от наших вожделений те, кто приравнивал нас к животным и кто выдавал земные радости за высшее благо?

Философы вообще не проповедовали религию: речь идет вовсе не о том, чтобы сражаться с их философией. Никогда философ не говорит, что он вдохновлен богом, ибо с этого момента он перестает быть философом и становится пророком. Дело не в том, чтобы понять,

взял ли Иисус Христос верх над Аристотелем, дело в доказательстве того, что религия Иисуса Христа была истинной, а религии Магомета, язычников и всех прочих — ложными.

III

А между тем, и помимо этой загадки, самой непостижимой из всех, мы непостижимы для нас самих. Гордиев узел нашего состояния завязан своими извивами и складками в бездонной пропасти первородного греха, так что человек оказывается еще более непостижимым без этой тайны, чем эта тайна непостижима для человека.

Раньше, чем произносить слова, надо подумать. *Человек непостижим без этой непостижимой загадки:* зачем стремиться идти дальше, чем шло Писание? Не дерзостно ли это — полагать, что оно нуждается в поддержке и что эти философские идеи могут такую поддержку ему оказать?

Что отвечал бы г-н Паскаль человеку, который бы ему молвил: «Я знаю, что тайна первородного греха является объектом моей веры, но не моего разума. Я отлично постигаю вне всяких тайн, что́ представляет собой человек. Я вижу, что он появляется на свет, как все остальные животные; что роды матерей более болезненны, [чем у самок], потому что они обладают более хрупким сложением; что иногда и женщины, и самки умирают во время схваток; что бывают иногда дети с ущербною конституцией, лишенные в жизни одного или даже двух чувств, а также способности мыслить; что люди, обладающие наиболее совершенной конституцией, обычно наделены самыми живыми страстями; что всем людям свойственна одинаковая любовь к себе и она столь же необходима им, как и пять их чувств; что эта любовь к себе дана нам богом ради сохранения нашего бытия и что он дал нам также религию, дабы эту любовь к себе направлять; что идеи наши бывают правильными или же непоследовательными, туманными или яркими в соответствии с тем, насколько крепки наши органы чувств, насколько они утонченны и насколько мы сами эмоциональны; что мы целиком зависим от воздуха, который нас окружает, от пищи, поглощаемой нами, и что во всем этом нет ровно никаких противоречий. Человек — вовсе не загадка, как вы это вообразн-

ли, дабы доставить себе удовольствие ее разгадать. Человек, как нам представляется, занимает свое место в природе, более высокое, чем животные, которых он напоминает своей конституцией, и более низкое, чем другие существа, которым он уподобляется, возможно, своей способностью мыслить. Так же как и всё, что нас окружает, он причастен добру и злу, удовольствию и страданию. Он наделен страстями, чтобы действовать, и разумом, чтобы управлять своими поступками. Если бы человек был совершенным, он был бы богом, и пресловутые контрасты, которые вы именуете противоречиями, суть необходимые составные части конституции человека, являющегося тем, чем он и должен быть».

IV

Проследим за нашими побуждениями, понаблюдаем самих себя — и мы ясно увидим живые признаки этих двух наших натур.

Могут ли подобные противоречия содержаться в простом субъекте?

Эта двойственность человека столь очевидна, что находились люди, полагавшие, будто мы имеем две души, ибо простой субъект казался им неспособным на такие и столь внезапные смены обличья, на смену безмерного высокомерия ужасающим упадком духа.

Наши различные волеизъявления не являются противоречиями нашей природы, и человек вовсе не есть простой субъект. Он состоит из бесчисленного количества органов. Когда один-единственный из этих органов хоть немного подвергается изменению, необходимо изменяются все впечатления, получаемые мозгом, и живое существо обретает новые мысли и волевые импульсы. Весьма верно, что мы бываем то сражены печалью, то преисполнены высокомерием, — это, естественно, происходит, когда мы оказываемся в противоречивых ситуациях. Животное, которое его хозяин ласкает и кормит, и другое, которое медленно и искусно убивают, чтобы затем его препарировать, испытывают прямо противоположные ощущения; точно так же и мы: различные наши состояния столь мало противоречивы, что было бы противоречием, если бы их у нас не было.

Глупцы, высказавшие мысль, что у нас две души, с равным успехом могли бы приписать нам тридцать или сорок душ, ибо человек, охваченный великой страстью, часто имеет тридцать или сорок различных идей по поводу одного и того же предмета, да и должен их иметь в силу необходимости, поскольку объект его страсти предстает ему в различных обличьях.

Пресловутая двойственность человека — идея столь же нелепая, сколь и метафизическая. С таким же успехом я мог бы сказать, что двойственна собака, которая ластится и кусает, двойственна курица, проявляющая столько заботы о малых цыплятах и затем покидающая их вплоть до того, что она их не узнает, двойственно зеркало, отражающее различные предметы, наконец, двойственно дерево, то отягченное листьями, то лишенное их. Я признаю, что человек непостижим, но столь же непостижима и вся остальная природа, и в человеке не больше очевидных противоречий, чем во всем остальном.

V

Если не ручаться за то, что бог есть, это значит ручаться за то, что его нет. Какую позицию вы займете? Взвесим выигрыш и убыток в случае, если признается существование бога. Если вы выиграете, вы выиграете всё, если же проиграете, то не потеряете ничего. Итак, не колеблясь, ручайтесь за то, что он есть.— Да, следует побиться об заклад, но, быть может, я в этом пересолил.— Что ж, поскольку шансы на выигрыш и потерю равны, то при условии, что у вас всего только два пути к выигрышу вместо одного, вы все-таки можете побиться об заклад.

Явно ошибочно говорить: *не ручаться за то, что бог есть, — значит ручаться за то, что его нет,* ведь тот, кто сомневается и нуждается в просвещении, не может с уверенностью ручаться ни за, ни против.

Впрочем, параграф этот кажется немного неприличным и ребяческим; эта идея игры, выигрыша и проигрыша не подобает серьезности предмета.

Более того, моя заинтересованность в том, чтобы во что-то верить, не является доказательством существования этой вещи. Я подарил бы вам, говорите вы мне,

власть над миром, если бы верил в то, что вы правы. Итак, я от всего сердца желаю, чтобы вы были правы, но, пока вы мне этого не докажете, я не могу вам верить.

Начните с того, можно было бы сказать г-ну Паскалю, чтобы убедить мой разум: конечно, я заинтересован в том, чтобы бог был, но, если согласно вашей системе бог явился лишь очень небольшому числу людей, если это небольшое число избранных столь отпугивающе ужасно, если я сам не могу здесь ничего сделать, скажите мне, прошу вас, какой интерес мне вам верить? И разве у меня нет вполне ощутимого интереса быть убежденным в противоположном? С каким лицом осмеливаетесь вы указывать мне на вечное блаженство, на которое из миллиона людей может рассчитывать едва ли один? Если вы стремитесь меня убедить, возьмитесь за это иначе и не говорите мне то об игре, случае, о пари, орле или решке, то об устрашающих терниях, рассыпаемых вами на пути, коим я хочу и должен идти. Ваше рассуждение может только породить атеистов, коль скоро голос всей нашей природы нам не станет кричать, что бог есть, с той же силой, с какой отмечены слабостью все эти тонкие ухищрения.

VI

Глядя на слепоту и убожество человека и поразительные контрасты, обнаруживаемые его природой; наблюдая немоту вселенной и непросвещенность человека, отчужденного от самого себя и как бы затерявшегося в этом закоулке вселенной, лишенного знания о том, кто его туда поместил, что́ он должен там делать и чем он станет там после смерти, я бываю охвачен ужасом, как человек, которого бы во время сна перенесли на страшный необитаемый остров и который проснулся бы, не ведая, где он находится, и не имея ни малейшего средства оттуда уйти; поэтому-то я и бываю поражен мыслью, каким образом люди не впадают в отчаяние, находясь в столь жалостном состоянии?

В то время как я читал это размышление, я получил письмо от одного из моих друзей, живущих в весьма удаленной стране. Вот его слова:

«Я живу так, как вы меня здесь оставили: ни веселее, ни печальнее, ни более богато и ни более бедно; я пользуюсь отличным здоровьем, имею все то, что делает жизнь приятной, без любви, без алчности, без честолюбия и зависти, и до тех пор, пока так будет продолжаться, я буду смело называть себя счастливейшим человеком».

Существует много людей, столь же счастливых, как он; у человека с этим обстоит так же, как у животных. Один пес ест и спит со своей подругой, другой крутит вертел и вполне этим доволен, третий впадает в бешенство, и его убивают. Что до меня, то, когда я наблюдаю Париж или Лондон, я не усматриваю никакой причины для того отчаяния, о котором говорит г-н Паскаль: я вижу город, ничем не напоминающий пустынный остров; напротив, он населен, изобилен, цивилизован, и люди там счастливы настолько, насколько это позволяет человеческая природа. Мудр ли человек, готовый повеситься из-за того, что он никогда не видел бога в лицо и что его разум не в состоянии разгадать таинство святой троицы? Ведь с таким же успехом можно приходить в отчаяние оттого, что не имеешь четырех ног и двух крыльев.

Зачем нам приходить в ужас от нашего существа? Существование наше вовсе не так злосчастно, как нас хотят заставить поверить. Смотреть на вселенную как на карцер и считать всех людей преступниками, живущими в ожидании казни, — это идея фанатика; а полагать, что мир — это место услад, где люди должны лишь получать удовольствия, — это химерическая мечта сибарита. Мудрому человеку, по-моему, свойственно думать, что земля, люди и звери являются именно тем, чем им и надлежит быть в порядке, созданном провидением.

VII

(Иудеи считают), что бог не оставит другие народы навеки в этих потемках; что он явится избавителем для всех; что их миссия в этом мире — его возвестить; что они созданы с явным намерением сделать их глашатаями этого великого пришествия, дабы они призвали все народы присоединиться к ним в этом ожидании избавителя.

Иудеи всегда ожидали избавителя, но их избавитель — для них, не для нас; они ожидают мессию, который сделал бы иудеев властителями над христианами, мы же уповаем, что мессия в один прекрасный день объединит иудеев и христиан; их мысли на этот счет прямо противоположны нашим.

VIII

Закон, которым управляется этот народ, в целом представляет собой древнейший из законов мира, самый совершенный и единственный постоянно и неукоснительно соблюдавшийся в государстве. Именно это показывает в различных местах иудей Филон, а также великолепно излагает Иосиф в сочинении «Против Аппиона», где он дает понять, что закон этот столь древен, что даже само слово «закон» не было известно людям, более древним, чем те, что жили на тысячу с чем-то лет позже, так что Гомер, повествующий о стольких народах, никогда им не пользовался. Легко судить о совершенстве этого закона по простоте его выражения, в которой можно заметить, с какой мудростью, справедливостью и здравым смыслом в нем все предусмотрено так, что древнейшие законодатели греков и римлян, хоть сколько-нибудь в нем разбиравшиеся, заимствовали из него свои главные установления; это ясно следует из их так называемых Законов двенадцати таблиц и из других доказательств, приводимых в этом сочинении Иосифом.

Утверждение, что закон иудеев — самый древний, весьма ошибочно, ибо до законодателя евреев Моисея они жили в Египте, стране, наиболее прославленной на Земле своими мудрыми законами.

Большой ошибкой является также утверждение, будто слово «закон» стало известно лишь после Гомера: Гомер говорит о законах Миноса; слово «закон» встречается у Гесиода; и даже если бы это слово не встречалось ни у Гесиода ни у Гомера, это ровным счетом ничего бы не доказывало.

Еще одной большой ошибкой является мысль о том, что греки и римляне заимствовали якобы свои законы у иудеев. Этого не могло быть в ранний период их рес-

публик, ибо тогда они не могли знать иудеев; этого не могло быть и во времена их величия, ибо тогда они питали к этим варварам презрение, известное всему свету.

IX

Народ этот, кроме того, заслуживает восхищения за свою искренность. Они с любовью и верностью хранят книгу, где Моисей заявляет, что они постоянно были неблагодарными в отношении бога и ему известно, что они станут такими еще больше после его смерти; однако он призывает небо и Землю в свидетели того, что он достаточно много об этом им говорил; что, наконец, бог, разгневавшись на них, рассеет их по всем народам земли; что, поскольку они разгневали его, поклоняясь богам, которые вовсе не были их богами, он вселит в них гнев тем, что наречет их народом, не являвшимся его народом. И все-таки эту книгу, позорящую их таким образом, они берегут ценой своей жизни. Подобное чистосердечие не имеет себе примера в мире, как не имеет оно и естественного основания.

Искренность эта имеет примеры повсюду, и коренится она только в естестве. Высокомерие каждого иудея заставляет его верить в то, что вовсе не его омерзительная политика, не его невежество в искусствах и грубость погубили его, но что его покарал божий гнев. Он с удовлетворением полагает, будто понадобился ряд чудес, чтобы его сразить, и будто нация его по-прежнему остается возлюбленной бога, который ее карает.

Если какой-нибудь проповедник провозгласит с кафедры по-французски: «Вы — нечестивцы без сердца и правил, вы были разбиты при Гохштедте и Рамильи, потому что не сумели себя защитить», — его забросают камнями; но если он говорит: «Вы — католики, возлюбленные богом; ваши нечестивые прегрешения разгневали всевышнего, и он отдал вас на растерзание еретикам при Гохштедте и Рамильи; но когда вы вернулись к вашему господу, он благословил ваше мужество при Денэне» — слова эти обеспечивают ему любовь слушателей.

X

Если есть бог, надо любить лишь его, а не его творения.

Нужно любить творения, и очень нежно; нужно любить свою родину, свою жену, своего отца и своих детей, и любить их тем более, что бог заставляет нас их любить вопреки нам самим. Противоположные принципы способны лишь творить жестоких резонеров.

XI

Мы рождаемся неправедными, ибо каждый тяготеет к самому себе. Это противоречит всякому порядку. Следует тяготеть ко всеобщему. Склонность к самому себе бывает началом всяческого беспорядка на войне, в общественной жизни, хозяйстве и т. д.

Это совершенно в порядке вещей. Невозможно, чтобы какое-либо общество сформировалось и продолжало существовать без любви человека к себе, как невозможно рожать детей без вожделения или мечтать о пропитании без аппетита и т. д. Именно наша любовь к самим себе помогает любви к другим; именно наши взаимные потребности делают нас полезными для человечества; это — основа любого обмена; это — извечное связующее звено между людьми. Без любви к себе не могло бы быть изобретено ни одно искусство или образовано общество хотя бы из десяти человек; именно эта любовь к себе, полученная каждым живым существом в удел от природы, подсказывает нам уважение к самолюбию других людей. Закон направляет эту любовь к себе, религия ее совершенствует. Разумеется, бог мог бы создать тварей внимательными единственно только к благу другого. В этом случае купцы находились бы в Индии исключительно в благотворительных целях, а каменщики дробили бы камни, чтобы доставить удовольствие своему ближнему. Но бог устроил вещи иначе. Так не будем же обвинять дарованный нам богом инстинкт и извлечем из него ту пользу, которую он нам и велит извлекать.

XII

(Скрытый смысл пророчеств) не может ввести в заблуждение, и только один этот народ был настолько плотским, что мог в этих случаях ошибаться.

Ведь когда блага обещаны в изобилии, что мешает понимать их как истинные блага, кроме алчности людей, связывающей это чувство с земными благами?

Клянусь честью, разве самый духовный народ на Земле мог бы понять это иначе? Они были рабами римлян; они ожидали избавителя, который принес бы им победу и заставил весь мир уважать Иерусалим. Как, обладая столь малопросвещенными умами, могли они усмотреть этого победителя, этого властелина в бедном Иисусе, распятом на кресте? Как могли они под именем своей столицы подразумевать Небесный Иерусалим? Они, кому *десять заповедей* ничего не сообщали относительно бессмертия души?! Каким образом народ, столь приверженный своему закону, мог бы без высшего озарения признать в пророчествах, не совпадавших с их законом, бога, скрытого за обличьем обрезанного еврея, который своей новой религией разрушил и сделал ненавистными обрезание и субботу, священные основы иудейского закона! Паскаль, если бы был рожден в еврейской среде, заблуждался бы в этом, как и они. Еще раз: давайте поклоняться богу, не стремясь проникнуть во мрак его таинств.

XIII

Время первого пришествия Иисуса Христа было предсказано; время же второго пришествия никак не предречено, ибо первому надлежало быть тайным, в то время как второе должно быть столь явным и ярким, что его признáют даже его враги.

Время второго пришествия Иисуса Христа было предсказано еще яснее, чем время первого. Г-н Паскаль явно забыл, что в главе 21 святого Луки Иисус Христос недвусмысленно заявляет:

«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его... Иерусалим будет попираем язычниками... И будут знамения в солнце и луне и звездах... и море восшумит и возмутится... силы небесные поколеблются, и тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою».

Разве это не ясное предсказание второго пришествия? Но если этого до сих пор не случилось, нам не дано осмеливаться вопрошать провидение.

XIV

По мнению плотских иудеев, мессия должен быть великим мирским владыкой. По мнению плотских христиан, он явился, дабы разрешить нас от любви к богу *и даровать нам таинства,* свершающие все *помимо нас. Ни то ни другое не является ни христианской, ни иудейской религией.*

Параграф этот — скорее сатирический выпад, чем размышление христианина. Ясно, что выпад этот направлен против иезуитов. Но на самом деле сказал ли когда-либо кто из иезуитов, будто Иисус Христос *явился, дабы разрешить нас* от любви к богу? Дискуссия о любви к богу — чисто словесный спор, как и бóльшая часть других ученых споров, породивших столь живую ненависть и столь пагубные последствия.

В этом параграфе есть и другой недостаток: в нем предполагается, что ожидание мессии было религиозной догмой евреев. На самом деле это была просто утешительная идея, распространенная среди этой нации. Евреи уповали на избавителя. Однако вера в него не была им предписана в качестве религиозной догмы. Вся их религия заключалась в книге Закона. Пророки никогда не считались у иудеев законодателями.

XV

Чтобы исследовать пророчества, надо их понимать. Ведь если считать, что в них содержится лишь прямой смысл, можно быть уверенным, что мессия никогда не придет; но если в них есть скрытый смысл, можно с уверенностью сказать, что он явится в образе Иисуса Христа.

Христианская религия столь истинна, что она не нуждается в сомнительных доказательствах; но если что-либо в состоянии поколебать основы этой святой и разумной религии, то это приведенное здесь соображение г-на Паскаля. Он претендует на то, что все в Писании имеет двойной смысл; однако тот, кто имел бы несчастье быть атеистом, мог бы ему сказать: придающий своим словам двойной смысл стремится к обману людей, и двусмысленность эта всегда карается закона-

ми. Как можете вы, не краснея, предполагать у бога то, что отвратительно людям и влечет за собой наказание? Да и что сказать? С каким презрением и негодованием отвергаете вы языческих оракулов за их двусмысленность! Не следует ли, скорее, утверждать, что прорицания, непосредственно имеющие в виду Иисуса Христа, такие, как пророчества Даниила, Михея и других, имеют лишь прямой смысл? И не следует ли также настаивать, что, даже если бы у нас не было никакого понимания пророчеств, религия от этого не стала бы менее обоснованной?

XVI

Бесконечная дистанция между телами и умами помогает вообразить дистанцию, бесконечно более бесконечную, между умами и благодатью, поскольку эта последняя сверхъестественна.

Надо полагать, г-н Паскаль не включил бы эту галиматью в свой труд, если бы он имел достаточно времени для его завершения.

XVII

Наиболее явные слабости превращаются в силу для тех, кто обладает непредвзятым подходом. Например, две генеалогии — святого Матфея и святого Луки: очевидно, что они не были между собой согласованы.

Разве должны были издатели «Мыслей» Паскаля публиковать эту мысль, одно только изложение которой может причинить вред религии? К чему говорить, что эти генеалогии, эти краеугольные камни христианской религии противоречат друг другу, если при этом не указывается, в чем они могут совпадать? Необходимо было вместе с ядом дать и противоядие. Что подумали бы вы об адвокате, который бы изрек: «Мой подзащитный себе противоречит, однако слабость эта превращается в силу для тех, кто обладает непредвзятым подходом»?

XVIII

Пусть нас больше не упрекают в недостатке ясности, ибо мы этим гордимся. Следует признавать истинность религии в самой ее непостижимости, в малой на-

шей просвещенности в ней и в нашем безразличии по отношению к ее постижению.

Весьма странные признаки истинности приводит здесь г-н Паскаль! Тогда каковы же признаки лжи? Как! Чтобы тебе поверили, достаточно сказать: *я темен, я непостижим?* Было бы гораздо разумнее предъявлять нам лишь светочи веры вместо этих потемок эрудиции.

XIX

Если бы существовала лишь одна религия, бог был бы слишком понятен.

Как! Вы утверждаете, что, если бы существовала лишь одна религия, бог был бы слишком понятен? Итак, вы забыли, что сами на каждой странице говорите о дне, когда на свете будет только одна религия? Если вам верить, значит, бог станет тогда чересчур понятным.

XX

Я утверждаю, что иудейская религия не заключалась ни в одной из этих вещей, но исключительно в любви к богу, причем бог отвергал все остальное.

Как! Бог отвергал все то, что он сам предписал иудеям с такой заботой и так необыкновенно подробно! Не правильнее ли будет сказать, что Моисеев закон состоял из любви и культа? Сводить все к любви к богу — это гораздо меньше отдает любовью к богу, чем ненавистью, кою все янсенисты питают к своему ближнему — молинисту.

XXI

Самая важная вещь в жизни — это выбор профессии; здесь все решает случай, а привычка создает каменщиков, солдат, кровельщиков.

Что же еще может определить человека в солдаты, каменщики или в мастера любого другого технического ремесла, если не так называемый случай и привычка? Только в отношении духовных искусств человек принимает решение сам, а в отношении занятий, на которые

способен весь свет, вполне естественно и разумно, что здесь решает вопрос привычка.

XXII

Пусть каждый исследует свои мысли, и он обнаружит, что они постоянно заняты прошедшим или же будущим. Мы почти совсем не думаем о настоящем; если же мы о нем думаем, то лишь затем, чтобы отыскать там способ для устроения будущего. Настоящее никогда не является нашей целью. Прошлое и настоящее — наши средства, и только будущее — объект наших стремлений.

Нам надлежит, отнюдь не жалуясь и не сетуя, поблагодарить творца природы за то, что он вложил в нас этот инстинкт, устремляющий нас непрестанно к будущему. *Надежда* эта — самое драгоценное сокровище человека, смягчающее наши печали и в самом обладании сиюминутными наслаждениями рисующее нам наслаждения будущие. Если бы люди имели великое несчастье быть занятыми лишь настоящим, они не сеяли бы, не воздвигали бы здания, не сажали деревьев и ничего бы не предусматривали: упоенные этим ложным наслаждением, они были бы лишены всего. Мог ли такой умный человек, как г-н Паскаль, впасть в столь ложную банальность? Природа устроила так, что каждый человек наслаждается настоящим, когда он ест, зачинает детей, слышит приятные звуки, дает пищу своей способности мыслить и чувствовать, а выходя из этих состояний — зачастую в самый их разгар, — начинает думать о завтрашнем дне, без чего он уже сегодня погиб бы от нищеты.

XXIII

Но когда я присмотрелся пристальнее, я понял, что отвращение, которое люди питают к бездеятельности, к пребыванию наедине с самими собой, проистекает из весьма действенной причины, а именно из природного злополучия нашего слабого и смертного существа, столь жалкого, что ничему не дано нас утешить, когда ничто не мешает нам об этом думать и поскольку мы видим только самих себя.

Это выражение — *видеть только самих себя* — совершенно бессмысленно.

Что это за человек, который совсем не действует и который, согласно предположению, созерцает самого себя? Я сказал бы не только, что человек этот — слабоумный, бесполезный для общества, но и что такого человека не может быть, ибо что именно стал бы он созерцать? Свое тело, ноги, руки, свои пять чувств? Но либо он был бы идиотом, либо должен бы дать всему этому применение: в таком случае ему оставалось бы, по-видимому, созерцать свою способность мышления. Но он не может созерцать эту способность, не упражняя ее. Либо он ни о чем не будет думать, либо он будет мыслить об идеях, уже пришедших ему в голову, либо станет образовывать из них новые; однако идеи он может получать лишь извне. Итак, будучи по необходимости занят либо своими чувствами, либо своими идеями, он должен либо выходить за пределы самого себя, либо быть идиотом.

И опять-таки человеческой природе невозможно пребывать в этом воображаемом оцепенении; нелепо думать так, и неразумно на это претендовать. Человек рожден для действия, подобно тому как огонь стремится ввысь, а камень падает вниз. Для человека быть лишенным занятия совершенно равнозначно тому, чтобы не существовать. Различие здесь можно провести только между спокойными и волнующими занятиями, опасными или полезными.

XXIV

У людей есть тайный инстинкт, влекущий их к поискам развлечений и занятий вовне и берущий свое начало в негодовании, вызванном их вечно жалким положением; но у них есть и другой тайный инстинкт, оставшийся от величия их первичной природы и заставляющий их сознавать, что счастье на самом деле заключено в покое.

Этот тайный инстинкт, являющийся первоначалом и основанием общества, проистекает, скорее, от милости божьей, и он гораздо больше есть орудие нашего счастья, чем озлобление против нашего жалкого состояния. Я не знаю, что́ наши прародители делали в земном раю,

однако, если бы каждый из них думал только о себе, существование рода человеческого было бы подвергнуто большому риску. Не бессмысленно ли считать, будто они обладали совершенными чувствами, или, иначе говоря, совершенными орудиями действия, лишь для того, чтобы созерцать? И не забавно ли, что мыслящие головы способны вообразить, будто бездействие — это знак величия, а деятельность — знамение упадка нашей натуры?

XXV

Поэтому-то, когда Киней сказал Пирру, предполагавшему наслаждаться покоем вместе со своими друзьями после того, как он завоюет большую часть мира, что он поступил бы лучше, если бы сам ускорил свое счастье, начав наслаждаться этим покоем с данной минуты и не отправляясь искать его посредством столь тяжких трудов, он дал ему совет, влекущий за собой великие трудности и бывший не более разумным, чем планы этого юного честолюбца. Тот и другой исходили из предположения, что человек может удовлетвориться самим собой и своими наличными благами и не станет заполнять пустоту своего сердца несбыточными надеждами, а предположение это ложно. Пирр не мог быть счастливым ни до, ни после завоевания мира.

Пример Кинея уместен в сатирах Депрео, но не в философской книге. Мудрый король может быть счастлив у себя дома; и если нам выдают Пирра за глупца, то это нельзя переносить на все человечество.

XXVI

Итак, следует признать: человек настолько несчастен, что он томится скукой без всякой внешней причины для скуки, в силу самого своего состояния и положения.

Напротив, человек в этом отношении достаточно счастлив, и мы весьма обязаны творцу природы, связавшему скуку с бездействием, дабы тем самым вынудить нас быть полезными нашему ближнему и самим себе.

XXVII

Какова причина того, что человек, недавно потерявший единственного сына или удрученный процессом и

тяжбами и потому сильно опечаленный сегодня утром, вскоре перестает обо всем этом думать? Не изумляйтесь: он целиком поглощен мыслью о том, где пройдет олень, которого псы его ревностно преследовали в течение шести часов. Большего и не нужно человеку, как бы он ни был исполнен печали. Если можно добиться от него, чтобы он отдался какому-нибудь развлечению, вот перед вами и счастливец на все это время.

Человек этот прекрасно поступает: рассеяние — более верное средство от печали, чем хина от лихорадки. Не будем же осуждать за это природу, всегда готовую нам помочь.

XXVIII

Вообразите себе некое количество людей, закованных в кандалы и поголовно осужденных на смерть, причем одним из них каждодневно перерезают горло на глазах у других, а оставшиеся в живых могут наглядно усмотреть свое собственное положение в положении им подобных: взглядывая друг на друга с безнадежной печалью, они ожидают своей череды. Такова картина положения, в котором находятся люди.

Сравнение это, без сомнения, неправомерно: несчастные, закованные в кандалы, которых убивают одного за другим, несчастны не только потому, что они страдают, но и потому, что на их долю выпало испытание, от которого не страдают другие люди. Естественный жребий человека — не быть ни закованным, ни убитым; все люди созданы, так же как животные и растения, для того, чтобы расти, жить в течение определенного срока, производить себе подобных и затем умереть. В сатире можно показать человека с какой угодно плохой стороны, но, если пустить в ход хоть капельку разума, следует признать, что из всех живых существ человек наиболее совершенен, счастлив и живет дольше других. Вместо того чтобы изумляться и сетовать по поводу несчастий и краткосрочности нашей жизни, нам следует изумляться и поздравлять себя с нашим счастьем и его продолжительностью. Рассуждая лишь как философ, я осмелюсь утверждать, что притязания на

более совершенную природу, которая нам не дана, весьма заносчивы и дерзки.

XXIX

Среди язычников мудрецы, утверждавшие, что есть лишь единый бог, подвергались преследованиям; иудеев ненавидели, христиан — еще больше.

Да, они иногда подвергались преследованиям, как подвергался бы им в наше время человек, который явился бы с проповедью поклонения богу, независимо от принятого культа. Сократ был осужден не за то, что он сказал: *есть лишь единый бог*, а за то, что он восстал против отечественных внешних обрядов и весьма некстати создал себе этим могущественных врагов. Что касается иудеев, то их ненавидели не за то, что они верили в единого бога, но за то, что они самым смехотворным образом ненавидели другие народы: то были варвары, безжалостно истреблявшие своих побежденных врагов, потому что этот подлый народ, суеверный, невежественный, не имевший искусств и торговли, презирал более цивилизованные народы. Что до христиан, то язычники ненавидели их потому, что они стремились сокрушить религию и империю, которой они в конце концов овладели, подобно тому как протестанты стали господами в тех самых странах, где они были долгое время ненавидимы, преследуемы и истребляемы.

XXX

Монтеню свойственны большие недостатки. Его сочинения полны непристойностей и неприличных выражений. Это никуда не годится. Его мысли по поводу добровольного самоубийства и смерти ужасны.

Монтень пишет как философ, не как христианин: он указывает все «за» и «против» добровольного самоубийства. Если рассуждать философски, то какой ущерб причиняет обществу человек, покидающий его в тот момент, когда он больше не может ему служить? У старого человека каменная болезнь, и он невыносимо страдает; ему говорят: «Если вы не дадите сделать вам операцию, вы умрете; если вам ее сделают, вы сможете еще болтать вздор, пускать слюну и влачить свое суще-

ствование в течение года, будучи обузой самому себе и вашим близким». Я полагаю, что честный человек примет в этом случае решение не быть более в тягость никому, — вот приблизительно тот пример, который приводит Монтень.

XXXI

Сколько звезд открыли нам телескопы, остававшихся неизвестными философам прежних времен? Делались дерзкие нападки на Писание по поводу многочисленных его мест, гласящих, что звезд существует несметное число. Утверждали, что их не более тысячи двадцати двух; нам это известно.

Известно, что священное Писание в области физики всегда сообразовалось с общепринятыми идеями; так, оно допускает, что Земля неподвижна, Солнце движется и т. д. Оно утверждает, что звезды бесчисленны, вовсе не в силу астрономической изощренности, но лишь приспосабливаясь к общераспространенным идеям. В самом деле, хотя глаза наши обнаруживают не более чем около тысячи двадцати двух звезд, тем не менее, когда пристально наблюдают небо, ослепленное зрение усматривает там несметное их количество. Писание высказывается, таким образом, в соответствии с этим тривиальнейшим предрассудком, ибо оно дано нам вовсе не для того, чтобы создавать из нас физиков. При этом весьма очевидно, что бог не открыл ни Аввакуму, ни Баруху, ни Михею, что в один прекрасный день некий англичанин по имени Фламстед поместит в свой каталог более семи тысяч звезд, увиденных с помощью телескопа.

XXXII

Хватит ли смелости у умирающего человека, впадающего в расслабленность и агонию, восстать против всемогущего и вечного бога?

Этого никогда не случалось. Только в исступлении мозговой горячки может человек сказать: «Я верю в бога и бросаю ему вызов».

XXXIII

Я охотно верю историям, свидетели которых позволяют себя убить.

Трудность состоит не только в том, чтобы понять, следует ли верить свидетелям, умирающим во имя подкрепления своего свидетельства, как поступают многочисленные фанатики; она состоит еще и в том, чтобы понять, действительно ли эти свидетели умерли за свои слова, сохранились ли их свидетельства и обитали ли они в тех странах, кои называют местом их смерти. Почему Иосиф, родившийся во времена смерти Христа, враг Ирода, человек, мало связанный с иудаизмом, не говорит обо всем этом ни слова? Вот что г-н Паскаль мог бы разъяснить с успехом, как это сделало впоследствии столько красноречивых писателей.

XXXIV

Знаниям свойственны две соприкасающиеся крайности. Первая из них — чисто естественное невежество, в котором пребывают все люди с момента рождения; вторая — та, в которую впадают великие души, кои, обозрев все доступное знанию людей, обнаруживают, что они ничего не знают, и в этом незнании встречают самих себя в своем естестве.

Эта мысль — софизм чистой воды; ложность его заключена в этом словечке *незнание,* которое воспринимается в двояком смысле: тот, кто не умеет ни читать, ни писать, — невежда; однако математик в своем незнании скрытых первоначал природы находится не в том пункте невежества, от которого он отталкивался, когда начинал учиться читать. Г-н Ньютон не знал, почему человек делает движение рукой, когда он этого хочет; однако от этого он не был менее знающим во всем остальном. Тот, кто не знает еврейский язык и знает латынь, будет ученым в сравнении с тем, кто знает только французский.

XXXV

Иметь возможность тешить себя развлечениями — не значит быть счастливым, ибо развлечение приходит извне, из другого места; таким образом, человек зависим, а следовательно, он подвержен тысячам случайных тревог, причиняющих неизбежные огорчения.

Тот, кто получает удовольствие, действительно счастлив, причем удовольствие это может прийти к нему только извне. У нас не может быть ни ощущения, ни идеи иначе, как от внешних объектов, подобно тому как мы не можем питать наше тело иначе, как вводя в него посторонние субстанции, превращающиеся затем в нашу собственную.

XXXVI

Высшее проявление ума осуждается как безумие, как крайний его недостаток. Одобрение получает только посредственность.

В безумии обвиняют не высшее проявление ума, но его крайнюю живость и подвижность. Высшее проявление ума — это высшая справедливость, высшая утонченность, высшая широта, диаметрально противоположные безумию.

Крайний *недостаток* ума — это недостаток понимания, отсутствие идей; это не безумие, это тупость. Безумие — расстройство органов чувств, заставляющее чересчур живо воспринимать множество объектов или, наоборот, приковывающее воображение с неистовой настойчивостью к одному и тому же объекту. Одобрение получает вовсе не посредственность, но удаленность от этих порочных крайностей, и именуется это не *посредственностью*, а *золотой серединой*.

XXXVII

Если бы наше положение действительно было счастливым, не нужно было бы нас отвлекать от мыслей об этом.

Наше положение требует именно размышления над внешними объектами, с которыми мы вступаем в необходимые отношения. Мысль, что человека можно отвлечь от размышления над человеческим положением, ложна, ибо, к чему бы он ни прилагал свой ум, он прилагает его к тому, что необходимо связано с положением человека; и опять-таки, если думать о себе, абстрагируясь от естественных объектов, это значит не думать ни о чем: я разумею, ни о чем из всех тех вещей, которых надо остерегаться.

Вовсе не препятствуя человеку размышлять о своем положении, с ним говорят обычно лишь о приятных его сторонах. С ученым говорят о его добром имени и о науке, с государем — о том, что имеет отношение к его величию, с любым человеком — об удовольствиях.

XXXVIII

Великие и малые подвержены одним и тем же случайностям, одним и тем же досадным обстоятельствам и страстям. Но одни находятся на краю колеса, другие же — неподалеку от его центра, и потому их меньше затрагивает то же вращение.

Неверно, что малых вращение колеса затрагивает менее, чем великих; напротив, их отчаяние бывает более живым, ибо средства их незначительней. Из ста человек в Лондоне, кончающих жизнь самоубийством, девяносто девять принадлежат к простонародью и лишь один — к высшим слоям общества. Сравнение с колесом остроумно, но ложно.

XXXIX

Людей не учат быть порядочными, зато их обучают всему остальному, а между тем более всего они претендуют именно на порядочность. Таким образом, они претендуют на знание в той единственной области, в которой они круглые невежды.

Людей учат быть порядочными, и без этого мало кто мог бы стать порядочным человеком. Позвольте вашему сыну забирать себе все, что ему попадается под руку, и к пятнадцати годам он станет разбойником на большой дороге; похвалите его за ложь, и он станет тогда лжесвидетелем; угождайте его вожделениям, он станет развратником. Людей учат всему — добродетели и религии.

XL

Какой нелепый замысел питал Монтень — изобразить самого себя! И это не мимоходом, не вопреки своим правилам, как бывает свойственно впадать в заблуждение всему свету, но в согласии с собственными максимами и своим первым и основным намерением. Ведь

говорить глупости по случайной слабости — ординарное зло, но говорить их намеренно — это уже невыносимо, тем более когда говорят глупости, подобные этим.

Великолепен замысел Монтеня — изобразить себя с той наивной простотой, с какой он это делает! Ибо он изображает человеческую природу. И убого намерение Николя Мальбранша и Паскаля очернить Монтеня!

XLI

Когда я размышлял о том, откуда берется столько веры, даруемой мошенникам, заявляющим, что у них есть целительные снадобья, вплоть до того, что люди отдают свою жизнь в их руки, мне показалось, что истинной причиной этого является существование действенных средств; ведь немыслимо, чтобы при наличии множества ложных средств люди давали бы им столько веры, если бы не существовало средств истинных. Если бы вообще их не существовало и все болезни были неискоренимы, людям немыслимо было бы даже вообразить, что они могут верить в такие средства, и еще более немыслимо было бы для всех прочих давать веру тем, кто похваляется, будто они владеют этими средствами. Так, если бы кто-то кичился уменьем воспрепятствовать смерти, никто бы ему не поверил, ибо не существует такого примера. Но поскольку существует значительное число лекарств, обнаруживших свою действенность благодаря познаниям более осведомленных лиц, вера людей возросла, ибо, если что-то нельзя отрицать в целом, потому что существуют частные результаты, которые следует признать действенными, люди, не умеющие различить, какие из этих частных результатов истинны, верят во все без исключения. Точно так же вера в большое количество ложных влияний Луны обусловлена тем, что существуют действительные ее воздействия, такие, например, как морской прилив.

Таким образом, мне представляется очевидным, что число ложных чудес, откровений, чар и т. п. столь велико потому, что ведь существуют и чудеса истинные.

Мне кажется, что человеческая природа не нуждается в истине для того, чтобы впасть в заблуждение. Луне приписывали тысячи ложных воздействий задолго

до того, как людям пришла в голову мысль о малейшей истинной связи между ней и морским приливом. Первый человек, который заболел, без труда дал веру первому встречному шарлатану; никто не видел ни оборотней, ни колдунов, но многие в них верили; никто не видел превращения металлов, но многие разорились из-за веры в философский камень. Разве римляне, греки и все язычники верили в буквально захлестывавшие их ложные чудеса лишь потому, что они видели чудеса истинные?

XLII

Гавань указывает путь тем, кто находится на корабле. Но где мы найдем такую опору в морали?

В одном-единственном основоположении, принятом у всех народов: «Не причиняйте другому то, чего вы не хотели бы испытать сами».

XLIII

Ferox gens nullam esse vitam sine armis putat *. *Дикари больше любят смерть, чем мир, другие же любят больше смерть, чем войну. Любое мнение можно предпочесть жизни, любовь к которой представляется столь сильной и естественной.*

Тацит сказал это о каталонцах; там, однако, не содержится пункта, в котором было бы сказано или согласно которому можно было бы сказать, что *народ этот больше любит смерть, чем войну.*

XLIV

Чем больше у человека ума, тем больше он усматривает оригинальных людей. Заурядный человек не видит различия между людьми.

Весьма редко встречаются действительно оригинальные люди: почти все управляют собой, мыслят и чувствуют под влиянием обычая и воспитания; ничто так не редко, как ум, пролагающий для себя новый путь;

---

* Дикий народ не признает жизни без войны (лат.; *Тит Ливий*, XXXIV, 17, взято из Монтеня, I, 40).— *Примеч. переводчика.*

но среди толпы людей, заслуживающих того, чтобы быть членами общества, каждый обладает небольшими отличиями в поведении, которые подмечает утонченный взгляд.

XLV

Итак, существуют два вида ума: один из них живо и глубоко проникает в следствия основоположений — и это правильный ум; другой постигает большое число основоположений без того, чтобы их углублять, — и это геометрический ум.

Мне кажется, в настоящее время обычай требует именовать геометрическим умом ум методический и последовательный.

XLVI

Легче перенести смерть, если о ней не думать, чем мысль о смерти, когда нет опасности.

Нельзя говорить, что человек переносит смерть легко или с трудом, если он ни о чем подобном не думает. Кто ничего не чувствует, тот ничего и не терпит.

XLVII

Мы предполагаем, что все люди одинаковым образом воспринимают и чувствуют представляющиеся им объекты; но это наше предположение лишено оснований, ибо мы не имеем тому никаких доказательств. Я прекрасно понимаю, что в одних и тех же случаях употребляются одни и те же слова и что всякий раз, как два человека видят, например, снег, они употребляют для обозначения внешнего вида этого объекта одни и те же выражения, говоря друг другу, что снег бел. Но из этого совпадения наименований делают решительный вывод о совпадении идей; однако вывод этот не убедителен, хотя и можно было бы вполне побиться об заклад в пользу его правильности.

В качестве доказательства здесь не следует приводить белый цвет. Представляющий собой смесь всех лучей, он кажется сверкающим всему свету и в конце концов немного нас ослепляет, производя одно и то же

воздействие на глаза всех людей; но допустимо сказать, что другие цвета, быть может, не воспринимаются одинаковым образом всеми глазами.

XLVIII

Все наши рассуждения сводятся к уступке чувству.

Наши рассуждения сводятся к уступке чувству в вопросах вкуса, но не знания.

XLIX

Те, кто судит о произведении на основе правил, относятся к другим людям, как те, кто имеет часы, к тем, кто их не имеет. Один говорит: «Мы здесь находимся уже два часа»; другой: «Мы здесь всего лишь три четверти часа». Я взглядываю на свои часы и говорю первому: «Вы скучаете», а второму: «Время летит для вас».

В произведениях изящных искусств — музыкальных, поэтических, живописных — часы заменяет вкус: тот, кто судит здесь лишь на основе правил, судит скверно.

L

Мне кажется, Цезарь был чересчур стар, чтобы пуститься в такое развлечение, как завоевание мира. Подобная забава была хороша для Александра. Он был юношей, которого трудно было остановить, но Цезарь должен был быть более зрелым человеком.

Обычно воображают, будто Александр и Цезарь выступили походом из своих стран с целью завоевать всю Землю. На самом деле это совсем не так. Александр унаследовал от Филиппа звание верховного главнокомандующего Греции, и на него была возложена справедливая задача отомстить персидскому царю за оскорбления, нанесенные грекам. Он поверг их общего врага и продолжил свои завоевания вплоть до Индии, ибо до Индии простиралось царство Дария; подобно этому без маршала Виллара герцог Мальборо дошел бы до Лиона.

Что до Цезаря, то он был один из первых людей Республики. Он рассорился с Помпеем, как янсенисты рассорились с молинистами, и дело тогда было в том, кто кого истребит. Одна-единственная битва, в которой не досчитались десяти тысяч убитых, решила все.

Наконец, мысль г-на Паскаля, быть может, ложна во всех смыслах. Требовалась зрелость Цезаря, чтобы выпутаться из такой сети интриг, и поразительно, что Александр в свои годы отказался от удовольствий, с тем чтобы провести столь тягостную войну.

LI

Забавно наблюдать, как в мире существуют люди, которые, отвергнув все законы бога и природы, создали себе свои законы, коим они неукоснительно следуют, как, например, это принято у воров и т. д.

Наблюдать это не столь забавно, сколько полезно: ведь такие наблюдения доказывают, что ни одно человеческое общество не может существовать ни единого дня без правил.

LII

Человек — не ангел и не зверь, и беда состоит в том, что люди, желающие создать [*из него*] *ангела, творят зверя.*

Ангела хочет создать тот, кто стремится уничтожить страсти, вместо того чтобы их упорядочивать.

LIII

Конь не стремится вызывать восхищение своего сотоварища. Между ними существует некий род соревнования во время бега, но они не делают из этого соревнования выводов. Ведь, когда лошадь находится в стойле, самая тяжеловесная и нескладная из них не уступает в силу этого свой овес другой. У людей дело обстоит иначе: добродетель их не довольствуется самой собой; они не успокаиваются до тех пор, пока не извлекут из нее преимущество над остальными.

Самый нескладный человек не уступает тем не менее свой хлеб другому, но самый сильный отнимает его

у самого слабого. И у животных, и у людей большие пожирают малых.

LIV

Если человек станет себя изучать, он увидит, насколько он не способен выйти за пределы самого себя. Да и как может быть, чтобы часть познала целое? Быть может, он будет стремиться познать, по крайней мере те части, с которыми у него есть некоторое соответствие. Однако части мира находятся между собой в таком соотношении и такой связи одна с другой, что я считаю невозможным познать одну без другой и без целого.

Никоим образом не следует отвлекать человека от исследования того, что ему полезно, при помощи соображения, гласящего, что ему не все дано познать.

Non possis [oculo] quantum contendere Linceus
Non tamen idcirco contemnas lippus inungi *.

Нам известны многие истины; мы сделали много полезных изобретений. Утешимся в том, что мы не знаем соотношений, могущих быть установленными между паутиной и кольцом Сатурна, и будем продолжать исследовать то, что нам доступно.

LV

Если молния ударяла бы в низменность, поэтам и всем тем, кто умеет рассуждать лишь о вещах подобного рода, недоставало бы доказательств.

Сравнение не является доказательством ни в поэзии, ни в прозе; в поэзии оно служит для украшения, в прозе — для уяснения и большей ощутимости предмета. Поэты, сравнивавшие несчастья великих людей с молнией, поражающей горы, сделали бы противоположное сравнение, если бы происходили противоположные явления.

---

* «Ты многого не можешь достичь [взором], Линкей, однако не следует из-за этого тебе, у кого гноятся глаза, пренебрегать мазью» (лат.; *Гораций.* Послания, I, 1, ст. 28—29).— *Примеч. переводчика.*

LVI

Именно сочетание духа и тела сделало то, что почти все философы смешивали идеи вещей и приписывали телу то, что принадлежит только духу, а духу то, что может быть свойством одного только тела.

Если бы мы знали, что это такое — *дух,* мы могли бы сетовать на то, что философы приписали ему неподобающие свойства; но мы не знаем ни духа, ни тела; у нас нет никакого представления о первом и есть лишь весьма несовершенные идеи относительно второго. Таким образом, мы не может знать, каковы их границы.

LVII

Говорят обычно «поэтическая красота», *и следовало бы так же говорить* «геометрическая красота», «красота медицинская». *Однако так никогда не говорят. Причина этого заключена в том, что объект геометрии хорошо известен, точно так же как и объект медицины; в то же время мы совершенно не знаем, в чем состоит изящество, являющееся предметом поэзии. Нам неизвестно, что это за естественный образец, которому следует подражать, и за отсутствием этого знания было изобретено определенное количество причудливых определений:* «золотой век», «чудо наших дней», «роковые лавры», «прекрасная звезда» *и т. п., и этот жаргон именуют поэтической красотой. Но если бы кто-то вообразил себе женщину, одетую в соответствии с этой моделью, он увидел бы прелестную барышню, увешанную зеркалами и латунными цепочками.*

Мысль эта в высшей степени ложна; вовсе не следует говорить *«геометрическая красота»* или *«красота медицинская»,* ибо ни теорема, ни прием слабительного не вызывают приятного чувства, а имя «красивое» дается лишь тем вещам, что чаруют чувства, — музыке, живописи, красноречию, поэзии, правильной архитектуре и т. д.

Довод, приводимый г-ном Паскалем, также совершенно ложен; мы отлично знаем, в чем состоит предмет поэзии: он состоит в том, чтобы образы были сильными, точными, изящными и гармоничными; поэзия — это гар-

мическое красноречие. Видимо, у г-на Паскаля весьма мало вкуса, если он говорит, что *«роковые лавры», «прекрасная звезда»* и прочие подобные глупости — это поэтические красоты, а издатели настоящих «Мыслей» были, по всей вероятности, людьми весьма неопытными в области изящной литературы, раз они опубликовали размышление, столь недостойное своего знаменитого автора.

Я не посылаю вам других моих замечаний на «Мысли» г-на Паскаля, ибо они повлекли бы за собой слишком длинные дискуссии. Достаточно, если я верно подметил некоторые погрешности, вызванные невниманием этого великого гения. Для ума, столь ограниченного, как мой, уверенность в том, что самым выдающимся людям столь же свойственно ошибаться, как и толпе, является утешительной.

Конец

Приложение
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ПАСКАЛЮ

LVIII

Мы появляемся на свет вовсе не для того, чтобы заявить о себе в стихах, если мы не приклеили себе ярлыка поэта, или чтобы проявить себя в области математики, в случае если мы не приклеили себе ярлыка математика; действительно порядочные люди не желают носить ярлыки.

С этой точки зрения иметь профессию, заметный талант и отличаться в какой-то области — плохо? Вергилий, Гомер, Корнель, Ньютон, маркиз Л'Опиталь приклеили себе ярлыки. Счастливы те, кто преуспел в искусстве и заявил о себе другим!

LIX

Народ обладает весьма здравыми мнениями: например, он предпочитает развлечения и охоту поэзии и т. п.

Можно подумать, что народу предлагают играть в шары или сочинять стихи. Отнюдь. Просто люди с более грубыми органами чувств ищут удовольствий, в которых душа не принимает участия; те же, кто обладает более утонченными ощущениями, стремятся к более изящным забавам: каждому человеку надо жить.

LX

Когда Вселенная сокрушает человека, последний оказывается более благородным, чем то, что его убивает, потому что он знает, что умирает, Вселенная же ничего не знает о своем преимуществе над ним.

Что должно означать это слово — *благородный?* Верно, что моя мысль — это нечто иное, чем солнечный шар; но разве четко доказано, будто живое существо, имея некоторые мысли, является более благородным, чем Солнце, вдыхающее жизнь во все известные нам в природе вещи? И человеку ли дано выносить об этом суждение? Ведь он — и судья, и заинтересованное лицо. Говорят, что одно творение превосходит другое, когда оно стоило своему творцу большей затраты труда и когда оно приносит бóльшую пользу. Но меньшего ли труда стоило Творцу создать Солнце, чем вылепить существо ростом около пяти футов, умеющее хорошо ли худо ли рассуждать? Что более полезно для мира — это существо или звезда, освещающая столько шаровидных тел? И в какой мере можно предпочесть материальной Вселенной несколько идей, воспринятых чьим-то мозгом?

LXI

Выберите любое положение по вашему вкусу и включите в него все блага и довольства, какими только может удовлетвориться человек, все равно тот, кто будет поставлен в подобную ситуацию, но не будет иметь занятий и развлечений, если дать ему поразмыслить над тем, чтó он собой представляет, не сможет найти поддержки в этом тоскливом счастье.

Каким образом можно собрать все блага и довольства вокруг одного человека и оставить его в то же самое

время без занятий и развлечений? Не заключено ли здесь явное противоречие?

LXII

Оставьте какого-нибудь короля в полном одиночестве, лишенным любого удовлетворения чувств и любой заботы ума, а также общества, и предоставьте ему свободный досуг для размышления о самом себе, и вы увидите, что познающий себя король — это человек, исполненный печалей и переживающий их так же, как все остальные.

Все тот же софизм. Король, уединяющийся для размышлений, тем самым бывает весьма занят. Но если он остановит свои мысли на себе самом, сказав себе: «Я царствую, и баста!», он будет просто идиотом.

LXIII

Любая религия, не признающая Иисуса Христа, заведомо ложна, и чудеса не могут принести ей никакой пользы.

Что такое чудо? Какое бы понятие себе о нем ни составить, оно есть то, что дано творить одному лишь богу. Однако здесь делается предположение, что бог может творить чудеса для поддержания ложной религии: это заслуживает более углубленного подхода; каждый из возникающих тут вопросов может составить целую книгу.

LXIV

Сказано: «Верьте церкви», но не сказано: «Верьте чудесам», ибо последнее естественно, первое же — нет. Одно нуждается в предписании, другое — отнюдь.

Здесь, как я думаю, явное противоречие. С одной стороны, в определенных случаях чудеса не приносят никакой пользы, а с другой, чудесам совершенно необходимо верить, и довод этот выдается за столь убедительный, что он якобы не нуждается даже в рекомендации. Это явно означает говорить одновременно и за, и против.

LXV

Я не считаю, что более трудно поверить в воскресение мертвых и в непорочное зачатие, чем в акт творения. Разве труднее воспроизвести человека, чем создать его заново?

С помощью одного лишь рассуждения можно прийти к доказательствам акта творения, ибо, если учесть, что материя не существует сама по себе, не имеет сама по себе движения и т. д., это приводит к признанию необходимости ее сотворения; в то же время рассуждение не может привести к мысли, будто постоянно изменяющееся тело должно в один прекрасный день восстановиться таким, каким оно было в то самое время, когда претерпевало изменения. Точно так же рассуждение не приводит к выводу, будто человек должен родиться без семени. Таким образом, если творение — это объект разума, то оба других чуда — объект веры.

10 мая сего 1738 года

Недавно я прочел «Мысли» Паскаля, еще не опубликованные. Отец де Молле получил их в виде рукописи этого знаменитого автора, и [было] предпринято их издание; мне кажется, они подкрепляют уже высказанное мной соображение, а именно что великий гений разбросал наудачу все эти мысли, с тем чтобы часть их затем переделать, другую часть использовать и т. д.

Среди этих последних мыслей, которые издатели «Трудов» Паскаля изъяли из его Собрания сочинений, мне кажется, есть многие, заслуживающие того, чтобы их сохранить; вот несколько из них, которые этот великий человек должен был бы, по-моему, исправить.

I

Всякий раз, как какое-либо положение оказывается непостижимым, не следует его отвергать под этим предлогом, но надо исследовать противоположный тезис, и если он окажется явно ложным, можно смело утверждать противное, каким бы непостижимым оно ни было.

Мне представляется очевидным, что ложными могут быть два противоположных тезиса. Крылатый бык летит

на юг, бескрылый бык летит на север; двадцать тысяч ангелов умертвили вчера двадцать тысяч людей, двадцать тысяч людей умертвили вчера двадцать тысяч ангелов: эти противоположные тезисы явно ложны.

II

Сколько суетного тщеславия в живописи, вызывающей восхищение сходством вещей, оригиналами которых не восхищаются!

Несомненно, заслуга портрета заключается вовсе не в доброте характера изображенного на нем человека, но в сходстве. Цезарем восхищаются в одном смысле, а его статуей или живописным изображением — совсем в другом.

III

Если бы врачи не носили халатов и шлепанцев, а ученые не имели своих четырехугольных колпаков и широченных мантий, они никогда не пользовались бы тем уважением, какое к ним обычно питают в свете.

Наоборот, медики перестали быть смешными и стали пользоваться истинным уважением лишь с тех пор, как они отбросили свои ливреи и свой педантизм; ученых принимают в свете, в кругу порядочных людей, лишь тогда, когда они предстают там без четырехугольных колпаков и без своих аргументов.

Существуют даже страны, где заставляют себя уважать без всякой помпы судебные власти. Есть весьма законопослушные христианские короли, пренебрегающие церемонией коронации и посвящения в сан. По мере того как люди становятся просвещеннее, все показное становится бесполезным, и только для простонародья оно бывает подчас необходимым: *ad populum phaleras* *.

IV

Согласно этим естественным понятиям, бог, если он существует, бесконечно непостижим, ибо, не имея ни частей, ни границ, он не стоит к нам ни в каком отно-

---

* Знаки отличия — для толпы (лат.; *Персий* Сатиры, III, 26).— *Примеч. переводчика.*

шении, и мы, таким образом, не способны познать, ни что́ он есть, ни есть ли он.

Странно, что г-н Паскаль допустил, будто можно с помощью разума разгадать первородный грех, и он же утверждает, что разум не может постичь, есть ли бог. Ясно, что прочтение именно этой мысли побудило отца Гардуэна поместить Паскаля в свой нелепый перечень атеистов; Паскаль, несомненно, отбросил бы эту идею, ибо он опровергает ее в других местах. Действительно, мы вынуждены допускать вещи, которые мы не постигаем: я существую, значит, нечто существует от века — это очевидное положение, однако постигаем ли мы вечность?

V

Вы полагаете невозможным, чтобы бог был бесконечным, не имея частей? Да, но я все-таки хочу вам показать одну бесконечную и неделимую вещь: это — точка, движущаяся во всех направлениях с бесконечной скоростью, ибо она одновременно находится всюду, причем в каждом из мест — целиком.

Здесь заключены четыре заметные ошибки:

1) положение, что математическая точка существует сама по себе;

2) что она одновременно передвигается и вправо, и влево;

3) что она движется с бесконечной скоростью, ибо нет той большой скорости, которую нельзя было бы увеличить;

4) что эта точка целиком находится всюду.

VI

Гомер создал роман, который он за таковой и выдает. Никто не сомневается в том, что Троя и Агамемнон существовали не более чем золотое яблоко.

Никогда ни один писатель не ставил под сомнение существование Трои. Вымысел относительно золотого яблока не бросает тень на истинность основного сюжета. Склянка, доставленная голубем, и хоругвь, принесен-

ная ангелом, не препятствуют тому, что Хлодвиг действительно царствовал во Франции.

VII

Я не стал бы здесь доказывать с помощью естественных доводов ни существование бога, ни троицу, ни бессмертие души, ибо я не чувствую себя достаточно сильным для того, чтобы отыскать в природе доводы, которыми я мог бы убедить закоренелых атеистов.

Еще раз: возможно ли, что это Паскаль не чувствует себя достаточно сильным для доказательства существования бога?

VIII

Разнузданные мнения столь естественным образом нравятся людям, что странно бывает, когда они им не нравятся.

Не доказывает ли, наоборот, опыт, что завоевать умы народов можно, лишь предлагая им для их веры и действий нечто трудное, даже невыполнимое? Стоиков уважали, потому что они подавляли человеческую природу. Если вы будете предлагать лишь разумные вещи, весь свет вам ответит: «Мы все хорошо это знаем». Нетрудно взять себе за образец нечто заурядное; но приказывайте вещи суровые, неосуществимые, рисуйте образ бога, постоянно вооруженного молниями, проливайте кровь у подножия его алтарей — и толпа будет вас слушать, каждый скажет про вас: «Видно, он прав, ибо так отважно вещает столь странные вещи».

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

Введение.
СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЧЕЛОВЕКА

Мало кто из людей воображает, будто имеет подлинное понятие относительно того, что́ представляет собой человек. Сельские жители известной части Европы не имеют иной идеи о нашем роде, кроме той, что человек — существо о двух ногах, с обветренной кожей, издающее несколько членораздельных звуков, обрабатывающее землю, уплачивающее, неизвестно почему, определенную дань другому существу, именуемому ими «король», продающее свои продовольственные припасы по возможно более дорогой цене и собирающееся в определенные дни года вместе с другими подобными ему существами, чтобы читать нараспев молитвы на языке, который им совсем незнаком.

Король рассматривает почти весь человеческий род как существа, созданные для подчинения ему и ему подобным. Молодая парижанка, вступающая в свет, усматривает в нем лишь пищу для своего тщеславия; смутная идея, имеющаяся у нее относительно счастья, блеск и шум окружающего мешают ее душе услышать голос всего, что́ еще есть в природе. Юный турок в тишине сераля взирает на мужчин как на высшие существа, предназначенные известным законом к тому, чтобы каждую пятницу всходить на ложе своих рабынь; воображение его не выходит за эти пределы. Священник разделяет людей на служителей культа и мирян; и, ничтоже сумняшеся, он рассматривает духовенство как самую благородную часть человечества, предназначенную руководительствовать другой его частью, и т. д.

Если бы кто решил, что наиболее полной идеей человеческой природы обладают философы, он бы очень ошибся: ведь, если исключить из их среды Гоббса, Локка, Декарта, Бейля и еще весьма небольшое число мудрых умов, прочие создают себе странное мнение о человеке, столь же ограниченное, как мнение толпы,

и лишь еще более смутное. Спросите у отца Мальбранша, что́ такое человек, он вам ответит, что это — субстанция, сотворенная по образу божьему, весьма подпорченная в результате первородного греха, но между тем более сильно связанная с богом, чем со своим собственным телом, всё усматривающая в боге, всё мыслящая и чувствующая в нем же.

Паскаль рассматривает весь мир как сборище злодеев и горемык, созданных для того, чтобы быть проклятыми, хотя бог и выбрал среди них на вечные времена несколько душ (т. е. одну на пять или шесть миллионов), заслуживающих спасения.

Один говорит: человек — душа, сопряженная с телом, и, когда тело умирает, душа живет вечно сама по себе. Другой уверяет, что человек — тело, в силу необходимости мыслящее; при этом ни тот ни другой не доказывает свои положения. Я желал бы при исследовании человека поступать так же, как в своих астрономических изысканиях: мысль моя иногда выходит за пределы земного шара, с которого все движения небесных тел должны представляться неправильными и запутанными. После того как я понаблюдаю за движениями планет так, как если бы я находился на Солнце, я сравниваю кажущиеся движения, видимые мной с Земли, с истинными движениями, которые наблюдал бы, находясь на Солнце. Таким же точно образом я попытаюсь, исследуя человека, выйти прежде всего за пределы сферы человеческих интересов, отделаться от всех предрассудков воспитания, места рождения, и особенно от предрассудков философа.

Например, я предполагаю, что, рожденный со способностями мыслить и чувствовать, каковыми я в настоящее время владею, и вовсе не имея человеческого облика, я спускаюсь сюда с планеты Марс или Юпитер. Я могу охватить быстрым взором все времена, все страны и, следовательно, все глупости этого малого шарика. По крайней мере, подобное предположение сделать столь же легко, как вообразить себя находящимся на Солнце и рассматривающим оттуда шестнадцать планет[1], регулярно вращающихся в пространстве, окружающем это светило.

Глава I
О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЛЮДЕЙ

Спустившись на этот небольшой комок грязи и имея не большее представление о человеке, чем человек имеет об обитателях Марса или Юпитера, я держу свой путь к берегам Океана, высаживаюсь в стране кафров и прежде всего начинаю искать *человека.* Я вижу обезьян, слонов, негров, и на всех них лежит некий отблеск несовершенного разума. Все они пользуются языком, коего я не понимаю, и все их действия одинаково кажутся направленными к определенной цели. Если бы я судил о вещах на основании первого произведенного на меня впечатления, я был бы склонен сначала думать, будто из всех этих существ разумным является слон; однако, чтобы не принимать решения слишком поспешно, я беру детенышей всех этих различных животных; я исследую шестимесячного ребенка-негра, маленького слоненка и обезьянку, львенка, щенка; я вижу, что, вне всякого сомнения, эти молодые зверята обладают неизмеримо большей силой и ловкостью, имеют больше идей и страстей, а также более сильную память, чем маленький негритенок, что они гораздо ощутимее выражают все свои желания; по прошествии некоторого времени негритенок приобретает ничуть не меньше идей, чем все они. Я даже замечаю, что эти негритянские существа общаются между собой с помощью гораздо более членораздельной и разнообразной речи, чем остальные животные. У меня было время изучить этот язык; и наконец благодаря усмотрению небольшой степени превосходства, которой они обладают в сравнении с обезьянами и слонами, я отваживаюсь вынести суждение: передо мной действительно *человек*; и тогда я создаю для себя самого следующее определение:

Человек — это черное существо с головою, покрытой шерстью, передвигающееся на двух лапах, почти столь же проворное, как обезьяна, менее сильное, чем другие животные его роста, имеющее несколько больше идей, чем они, и с большей легкостью их выражающее; впрочем, оно подвержено все тем же нуждам, рождаясь, живя и умирая в точности, как они.

Проведя некоторое время среди этих особей, я отправляюсь в морские пределы Восточной Индии, и я поражен тем, что вижу: слоны, львы, обезьяны, попугаи там не совсем такие, как в стране кафров, а что до человека, то он кажется совершенно иным; кожа этих людей красивого смуглого цвета, шерсть полностью отсутствует, зато головы их покрыты густыми черными гривами. Представляется, что их идеи обо всем без исключения противоположны идеям негров. Итак, я вынужден изменить свое определение и разделить человеческую породу на два вида: смуглолицых людей с конскими гривами и черных с головами, покрытыми шерстью.

Однако в Батавии, Гоа и Сюратте, где встречаются между собой все народы, я вижу огромную массу европейцев, белокожих и имеющих на головах не шерсть и не гриву, но тонкие белокурые волосы и бороду на подбородке. Мне показывают также многочисленных американцев, совсем не носящих бороды; итак, мое определение и градация видов сильно вырастают в объеме.

В Гоа я встречаюсь с видом, еще более необычным, чем эти: предо мной человек, облаченный в длинную черную сутану и заявляющий, что его миссия — наставлять других. Все эти многоразличные люди, говорит он мне, которых вы видите, рождены от одного и того же отца; после чего он повествует мне длинную историю. Однако то, что сообщает это существо, кажется мне весьма подозрительным. Я осведомляюсь, рожают ли когда-нибудь негр и негритянка, имеющие на голове шерсть и на лице — приплюснутый нос, белых детей с белокурыми волосами, орлиным носом и голубыми глазами, а также — произошли ли безбородые нации от бородатых людей и верно ли, что белые мужчины и женщины никогда не производили на свет смуглокожее потомство. Мне отвечают: нет, негры, переселенные, например, в Германию, порождают на свет одних только негров, разве лишь немцы сами поставят перед собой задачу переменить вид,— и то же самое относится ко всем остальным. При этом добавляют, что никогда ни один мало-мальски образованный человек не выдвигал идеи, будто несмешанные виды вырождаются, и только аббат Дюбо сморозил эту глупость в книге, озаглавленной «Размышления о живописи и поэзии и т. д.».[2]

Тогда, как мне начинает казаться, у меня появляются все основания полагать, что с людьми в данном случае обстоит, как с деревьями: поскольку грушевые, еловые, дубовые и абрикосовые деревья не происходят от одного и того же дерева, постольку белые бородатые люди, негры, чьи головы увенчаны шерстью, смуглолицые люди с гривами и люди, не носящие бороды, не происходят от одного и того же человека.

Глава II

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОГ?

Нам предстоит исследовать, чем является способность мышления у этих различных видов людей и каким образом к человеку приходят его идеи, если ему присуща душа, отдельная от тела, если душа эта вечна, свободна и обладает достоинствами, а также пороками и т. д.; однако большинство таких представлений находится в зависимости от существования или несуществования бога. Итак, по-моему, следует начать с глубокого зондирования бездны этого великого первоначала. Отстранимся здесь более, чем где-либо, от всякой пристрастности и всех предрассудков и рассмотрим со всей добросовестностью то, что наш разум может нам сообщить по вопросу: *существует ли бог или не существует?*

Прежде всего, замечаю я, есть люди, не имеющие ни малейшего представления о боге-творце; подобные люди поистине — варвары, и их весьма мало; однако это все-таки люди, и если бы познание бога было человеческому существу необходимо, дикари-готтентоты имели бы о высшем существе столь же возвышенную идею, как мы. Более того, среди цивилизованных народов не существует такого ребенка, в голове которого пребывала бы хоть какая-то идея бога. Детям эту идею вдалбливают с трудом; зачастую они всю свою жизнь произносят слово *бог*, не связывая с ним никакого определенного понятия; впрочем, вы можете видеть, что идеи бога среди людей столь же различны, как их религии и законы, почему я и не могу удержаться от следующего размышления: возможно ли, что познание бога, нашего создателя, хранителя, нашего абсолюта, менее необходимо человеку, чем нос и пять пальцев? Все люди

рождаются с носом и пятью пальцами, но ни один из них не появляется на свет со знанием бога; прискорбно это или же нет, но таково, несомненно, человеческое состояние.

Посмотрим, достигаем ли мы со временем познания бога, подобно тому как мы приобретаем математические понятия и некоторые метафизические идеи. Можем ли мы поступить правильнее в столь важном исследовании, чем взвесить всё, что можно сказать за и против, и присоединиться к тому, что представится нам наиболее соответствующим нашему пониманию?

КРАТКИЙ ОБЗОР ДОВОДОВ В ПОЛЬЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА

Есть два способа создать себе понятие о существе, правящем вселенной. Самый естественный и совершенный способ для обычного восприятия — наблюдать не только порядок, существующий во Вселенной, но и цель, к которой, по-видимому, устремляется каждая вещь. По поводу одной только этой идеи было сочинено множество толстых книг, и все эти объемистые тома, вместе взятые, содержат всего лишь один-единственный аргумент, а именно: когда я смотрю на часы, стрелка которых указывает время, я заключаю, что некое разумное существо наладило пружины этого механизма таким образом, чтобы стрелка это время указывала. Точно так же, когда я наблюдаю пружины человеческого тела, я заключаю, что некое разумное существо устроило все эти органы с тем, чтобы они были восприняты и вскормлены в матке в течение девяти месяцев; что глаза даны нам, чтобы видеть, руки — чтобы брать и т. д. Но из этого единственного аргумента я не могу извлечь ничего иного, кроме того, что, возможно, некое разумное высшее бытие искусно приготовило и сформировало материю; однако из одного этого я не могу сделать вывод, будто бытие это создало материю из ничего и что оно во всех отношениях бесконечно. Я могу сколько угодно изыскивать в своем уме связь между следующими идеями: *Возможно, я являюсь творением бытия, более могущественного, чем я, а значит, бытие это существует извечно и создало всё, почему следует признать его бесконечным, и т. д.*, но я не усматриваю

той цепочки, коя непосредственно приводила бы к этому заключению; я вижу только, что есть нечто более могущественное, чем я,— и ничего больше.

Второй аргумент метафизичнее, он меньше способен быть воспринят грубыми умами и ведет к гораздо более обширным познаниям; вот его краткое изложение:

Я существую, следовательно, нечто существует. Если нечто существует, значит, нечто существовало извечно; ведь то, что́ есть, либо существует само по себе, либо получило свое существование от другого бытия. Если оно существует само по себе, оно существует в силу необходимости, всегда существовало в силу необходимости, и это — бог; если же оно получило свое существование от другого бытия, а это другое — от третьего, то бытие, от которого это последнее получило свое существование, необходимо должно быть богом. Ибо нельзя постичь, каким образом одно бытие может дать существование другому, если оно не обладает созидательной силой; кроме того, если вы утверждаете, будто какая-то вещь получает — не говорю «свою форму», но свое существование от другого бытия, а это другое — от третьего, третье — еще от другого и так до бесконечности, утверждение ваше абсурдно. Ибо все эти виды бытия не имеют в таком случае никакой причины для своего существования. Вместе взятые, они не имеют никакой внешней причины своего существования; взятые же по отдельности, они лишены какой-либо внутренней для него причины; иначе говоря, взятые вместе, они ничему не обязаны своим существованием, если же их взять по отдельности, ни одно из них не существует само по себе: значит, ни одно из них не может существовать в силу необходимости.

Итак, я вынужден признать, что есть бытие, в силу необходимости существующее само по себе извечно и являющееся первопричиной всех остальных видов бытия. Отсюда, по сути, вытекает, что бытие это безгранично длительно, велико и могущественно, ибо кто может его ограничить? Но, скажете вы мне, материальный мир и есть то бытие, что́ мы ищем. Исследуем тщательно, насколько это возможно.

Если этот материальный мир существует сам по себе в силу абсолютной необходимости, возникает противоречие в терминах из-за предположения, что мельчайшая

частица этой вселенной может существовать иначе, чем она существует; ибо, если она в данный момент абсолютно необходима, одно это выражение исключает любой другой способ ее существования; но, разумеется, стол, за которым я пишу, и перо, которым я пользуюсь, не были извечно тем, что́ они есть; мысли, кои я набрасываю на лист бумаги, не существовали всего лишь за мгновенье до этого, а следовательно, они не существуют необходимо. Однако раз каждая часть не существует в силу абсолютной необходимости, значит, невероятно, чтобы целое существовало само по себе. Я произвожу движение, значит, движения этого раньше не было; следовательно, движение несущественно для материи и материя получает его извне, а значит, есть бог, который его ей сообщает. Точно так же и разумение не присуще материи, ибо скала или пшеничные злаки вовсе не мыслят. Откуда же мыслящие и ощущающие части материи могли получить чувство и мысль? Не от себя самих, ибо они мыслят вопреки себе; не от материи в целом, ибо мысль и ощущение не причастны материи по существу; следовательно, они получили эти дары из рук высшего существа, — разумного, бесконечного, являющегося первопричиной для всех остальных существ.

Вот в немногих словах доказательства существования бога и резюме, извлеченное из многих томов; резюме это каждый читатель может воспринять по своему усмотрению.

Далее столь же кратко я приведу возражения, которые могут быть сделаны против этой системы.

СОМНЕНИЯ В СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА

1) Если бог — не этот материальный мир, значит, он его создал (или, если угодно, он дал некоему иному существу силу его создать, что сводится к тому же); но, создавая этот мир, он либо извлек его из небытия, либо из собственного божественного существа. Он не мог извлечь его из небытия, ибо небытие — ничто; он не мог извлечь его из себя, ибо в таком случае этот мир был бы по своему существу частью божественной сущности; итак, у меня не может быть идеи творения, и я не могу это творение допустить.

2) Бог мог бы сотворить этот мир либо в силу

необходимости, либо по произволу; если он создал его по необходимости, он должен был бы создавать его постоянно, ибо необходимость эта вечна; но в таком случае мир был бы одновременно вечным и сотворенным, а это содержит в себе противоречие. Если бог создал его добровольно, по свободному выбору и без какой-либо предшествующей причины — это также противоречие, ибо предполагать безгранично мудрое существо, творящее все без какой-либо детерминирующей причины, и безгранично могущественное существо, проведшее вечность, не делая никакого употребления из своего могущества,— значит себе противоречить.

3) Если большинству людей кажется, что некое разумное бытие наложило печать мудрости на всю природу без исключения и что каждая вещь, по-видимому, создана с определенной целью, то на взгляд философов представляется еще более истинным, что в природе все происходит по извечным законам математики — незыблемым и независимым; строение и продолжительность жизни тела человека — следствие равновесия жидкостей и силы приводных рычагов. Чем больше совершается открытий в области строения Вселенной, тем более становится очевидным, что всё в ней — от светил до маленького клеща — организовано в соответствии с математическими законами. Поэтому позволительно думать, что законы эти, действующие в соответствии со своей природой, производят необходимые следствия, принимаемые обычно за произвольные детерминации разумной силы. К примеру, поле дает рост траве потому, что такова природа его почвы, орошенной дождем, а не потому, что существуют лошади, нуждающиеся в сене и овсе; то же самое относится и ко всему остальному.

4) Если устроение частей этого света и всего происходящего среди существ, обладающих чувствующей и мыслящей жизнью, указывает на создателя и господина, то еще более оно указывает на варварски жестокое существо; ибо, если допустить конечные причины, надо будет сказать, что бесконечно мудрый и бесконечно благой бог дал всем существам жизнь, дабы они пожирали друг друга. В самом деле, если взглянуть на все живые существа, мы увидим, что в каждом их виде живет неодолимый инстинкт, заставляющий его

уничтожать другой вид. С точки зрения людских несчастий есть в чем упрекать божество в течение всей нашей жизни. Нам можно сколько угодно внушать, что мудрость и милосердие божье совсем не походят на наши,— аргумент этот теряет всякую силу для умов большинства людей, могущих ответить, что они не способны судить о справедливости иначе, чем на основании той идеи, которую, согласно предположению, дал им о ней сам бог, и что измерять можно лишь той мерой, которой мы располагаем, а также, что немыслимо не считать очень жестоким существо, ведущее себя как жестокий человек, и невозможно полагать, будто какое-либо существо не имеет в длину шести футов, после того как, измерив его аршином, мы убеждаемся, что таков его рост.

Если нам ответят, добавляют они, что измерение наше ошибочно, нам скажут нечто, содержащее в себе противоречие: ведь не кто иной, как бог вложил в нас эту ложную идею, а значит, он создал нас лишь для того, чтобы вводить в заблуждение. Иначе говоря, это значит утверждать, будто существо, могущее обладать одними лишь совершенствами, ввергает свои твари в ошибку, являющуюся, собственно говоря, обыкновеннейшим несовершенством; а это означает противоречить себе самим. Наконец, материалисты скажут: нам предстоит истребить меньшее количество нелепостей в системе атеизма, чем в системе теизма; ибо, с одной стороны, нам действительно необходимо понимать этот видимый нами мир как вечный и бесконечный; но, с другой стороны, мы должны представлять себе иное бесконечное и вечное бытие, коему мы обязаны приписать акт творения, идеи которого мы не можем иметь. Таким образом, заключат они, для нас проще не верить в бога, чем верить в него.

ОТВЕТ НА ЭТИ ВОЗРАЖЕНИЯ

Возражения против акта творения сводятся к указанию на то, что нам невозможно его постичь, иначе говоря, постичь способ, которым оно произошло; но речь не идет о том, будто оно немыслимо само по себе: ведь для того, чтобы оно оказалось немыслимым, сначала следовало бы доказать невозможность существования

бога; однако, не имея возможности это доказать, мы бываем вынуждены признать немыслимость его небытия. Аргумент, гласящий, что вне нас должно быть бесконечное, вечное, необъятное, всемогущее, свободное и разумное бытие, и мрак, сопутствующий этому светочу, служат лишь доказательству того, что светоч этот существует: ибо из одного лишь того, что нам доказано существование бесконечного бытия, мы получаем доказательство немыслимости постижения этого бытия бытием конечным.

Мне представляется, что, когда пытаются отрицать необходимость бытия самого по себе или когда стремятся утверждать, будто таким бытием является материя, это сводится к абсурдным заявлениям и софизмам. Однако, когда речь идет о том, чтобы установить и обсудить атрибуты этого бытия, существование которого доказано, это — совсем иное дело.

Мастера искусства рассуждения — Локк, Кларк — нам говорят: «Бытие это разумно, ибо то, что произвело всё, должно обладать всеми теми совершенствами, которые оно вложило в свои творения; без этого следствие было бы совершеннее, нежели причина; или, иначе говоря, тогда в следствии содержалось бы совершенство, кое было бы создано из ничего, а это явно нелепо; итак, поскольку существуют разумные существа, а материя не могла придать себе способность мыслить, из этого необходимо следует, что бог должен быть разумным существом». Но разве довод этот нельзя опровергнуть следующими словами: «Необходимо, чтобы бог был материей», ибо есть материальные существа: разве в противном случае материя не была бы создана из ничего и причина не порождала бы следствие, принцип которого не заложен в ней самой? Полагали, что аргумент этот можно обойти, ввернув словечко *совершенство*: г-н Кларк, по-видимому, его предвосхитил, однако не осмелился произнести в полный голос; он делает самому себе следующее возражение: «Могут сказать, что бог великолепно сообщил материи делимость и очертания, хотя сам он не имеет очертаний и неделим». И далее он отвечает на это возражение очень твердо и непринужденно, что делимость и очертания — негативные качества, служащие ограничению, и хотя причина не может сообщить своему следствию

никакого совершенства, которым сама не обладает, следствие тем не менее может и необходимо должно обладать ограничениями, несовершенствами, которых причина в себе не имеет. Но что ответил бы г-н Кларк тому, кто бы ему сказал: «Материя вовсе не есть негативное бытие, ограничение и несовершенство; это — бытие реальное, позитивное, обладающее своими атрибутами точно так же, как ум; однако каким образом сумел бог создать материальное существо, если сам он не материален?» Поэтому либо вам необходимо признать, что причина может сообщить [своему следствию] нечто позитивное, чего в ней самой не содержится, либо считать, что материя не имеет причины своего существования, либо, наконец, утверждать, что материя — чистое отрицание и ограничение. Однако если три эти утверждения абсурдны, вам следует признать, что бытие разумных существ доказывает не более того, что бытие, существующее само по себе,— бытие разумное, причем бытие материальных существ не доказывает, будто бытие, существующее само по себе, есть материя: ибо это напоминает то, что́ можно сказать о движении,— различия нет никакого. Что касается слова *совершенство*, то им здесь явно злоупотребляют; ибо кто осмелится утверждать, будто материя — несовершенство, а мысль совершенна? Я не думаю, чтобы кто-либо посмел вынести подобное решение о сути вещей. И потом, что, собственно, означает слово *совершенство*? Идет здесь речь о совершенстве по отношению к богу или по отношению к нам?

Я отдаю себе отчет, что могут сказать, будто мысль эта способна привести меня к спинозизму; на это я должен ответить, что ничего не могу здесь поделать и мое рассуждение, если оно здраво, не может стать скверным благодаря выводам, которые из него можно извлечь. Более того, не было бы ничего более ложного, чем подобного рода вывод; ибо мое рассуждение доказывает лишь, что разум наш не более походит на разумение бога, чем способ, которым мы занимаем определенный объем, походит на способ, которым бог заполняет пространство. Бог вовсе не принадлежит к тому роду причин, что́ нам известны; он мог создать ум и материю, не будучи ни тем ни другим; ни то ни другое не проистекает от него, но то и другое суть его творения. Мне

неведомо *quomodo* * — это верно; но я предпочитаю остановиться, чтобы не впасть в заблуждение; существование бога мне доказано; что же касается его атрибутов и сущности, мне, по-видимому, доказано, что я не создан для их постижения.

Говорить, что бог не мог сотворить этот мир ни в силу необходимости, ни по произволу,— это софизм, рушащийся сам собой в тот самый момент, как доказано, что бог существует и мир — не бог; подобное возражение сводится к следующему: я не могу постичь, что бог сотворил вселенную скорее в одно время, чем в другое; значит, он ее не сотворил. Это как если бы говорили: я не могу постичь, почему такой-то человек или такая-то лошадь не существовали на тысячу лет раньше; значит, существование их невозможно. Более того, свободная воля бога — достаточная причина для выбора времени, в которое он пожелал сотворить мир. Если бог существует — он свободен; но он не был бы свободным, если бы его постоянно детерминировала достаточная причина и его воля была бы ему здесь ни к чему. Впрочем, находилась ли бы в нем эта достаточная причина или вне его? Если она вне его, он не детерминирует себя по произволу; если же она в нем, то что это иное, как не его воля?

Математические законы незыблемы, верно; но не было никакой необходимости в том, чтобы именно они были предпочтены законам другого рода. Не было необходимости, чтобы Земля была помещена там, где она находится; ни один математический закон не может действовать сам по себе; ни один из них не действует без движения, а движение не существует само по себе; следовательно, надо прибегнуть к перводвигателю. Я признаю, что планеты, расположенные на определенном расстоянии от Солнца, должны обегать свои орбиты согласно соблюдаемым ими законам, что само их расстояние от Солнца может регулироваться количеством содержащейся в них материи. Но можно ли сказать, что было необходимо, чтобы в каждой планете содержалось именно такое количество материи, чтобы существовало определенное количество звезд, чтобы число их не могло быть ни увеличено, ни уменьшено? Что в самой природе вещей

* «Каким образом», «способ» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

заложена присущая ей абсолютная необходимость, чтобы на Земле находилось определенное число живых существ? Разумеется, нет, ибо число это меняется с каждым днем; итак, вся природа, от самого удаленного светила и вплоть до малой былинки, должна быть подчинена перводвигателю.

Что до возражения, будто луг не создан по самому своему существу для лошадей и т. д., то из этого нельзя заключить, будто вовсе не существует конечной причины, но можно лишь сделать вывод, что все конечные причины нам неведомы. Здесь надо особенно добросовестно рассуждать и не стремиться к самообману; когда мы видим нечто, постоянно влекущее за собой одно и то же следствие и имеющее лишь это следствие, причем это нечто обладает бесчисленным количеством органов, которым присуще бесконечно много движений, и все эти движения стремятся к единому результату, мне кажется, невозможно, если только не питать к этому скрытого неприятия, отрицать конечную причину. Примером этого может служить зародыш любого растения или животного; не слишком ли дерзко было бы отрицать, что все это имеет отношение к некой цели?

Я признаю: не существует прямого доказательства того, что желудок создан для переваривания пищи, как не существует доказательства того, что сейчас день; однако материалистам вовсе не удается доказать и то, что желудок не создан для пищеварения. Нужно лишь рассуждать справедливо, как рассуждают в повседневном обиходе о том, какое мнение более правдоподобно.

По поводу упреков в несправедливости и жестокости, бросаемых богу, я отвечу прежде всего, что если исходить из предположения о существовании нравственного зла (а это, думается мне, просто химера), то его столь же трудно объяснить в системе материи, как и в системе бога. Затем я скажу, что у нас нет иной идеи справедливости, кроме той, что мы образовали сами себе путем обобщения действий, полезных для общества и соответствующих законам, учрежденным нами во имя общего блага; но идея эта, будучи лишь идеей об отношении человека к человеку, не содержит в себе никакой аналогии богу. Совершенно так же абсурдно говорить в этом смысле о боге, что он справедлив или неспра-

ведлив, как говорить о нем, что он синий или квадратный.

Бессмысленно поэтому упрекать бога в том, что пауки пожирают мух, а люди живут только восемьдесят лет, что они злоупотребляют своей свободой ради взаимного уничтожения друг друга, что они страдают от болезней, жестоких страстей и т. д.: конечно же, мы не имеем никакой идеи относительно того, что люди и мухи должны быть вечными. Дабы основательно утверждать, что какая-то вещь плоха, необходимо одновременно усматривать, что она может быть сделана лучше. Мы можем с уверенностью судить о том, что какой-то механизм плох, лишь в том случае, если у нас есть идея недостающего ему усовершенствования: например, мы не можем утверждать, что три стороны треугольника между собой не равны, если у нас нет идеи равностороннего треугольника; мы не можем сказать, что часы плохи, если у нас нет отчетливой идеи определенного числа равновеликих расстояний, которые стрелка этих часов должна равномерно обежать. Но кто может иметь идею, согласно которой наш мир нарушает божественную мудрость?

В мысли о существовании бога есть свои трудности; однако в противоположной мысли содержатся просто нелепости; именно это надо прилежно исследовать, сделав краткий обзор того, во что вынужден верить материалист.

НЕОБХОДИМЫЕ СЛЕДСТВИЯ МНЕНИЯ МАТЕРИАЛИСТОВ

Они должны утверждать, что мир существует необходимо и сам по себе, причем возникало бы противоречие в терминах при заявлении, что частица материи может не существовать или существовать иначе, чем она существует; они должны утверждать, что материальному миру присущи мысль и чувство; ведь он не может их приобрести, ибо в этом случае они явились бы в нем из ничего; он не может получить их извне, ибо предполагается, что материальный мир — это все, что существует. Необходимо поэтому, чтобы мысль и чувство были присущи ему таким же образом, как протяженность, делимость и способность к движению присущи материи; вместе с тем необходимо признать, что лишь

небольшое число частиц обладает чувством и мыслью, присущими всему миру в целом; чувства и мысли, несмотря на свою присущность материи, в любое мгновение погибают; иначе говоря, необходимо утверждать, будто существует мировая душа, распределяющаяся между организованными телами, и вдобавок надо считать, что душа эта — нечто иное, чем мир. Таким образом, куда ни повернись, кругом оказываются химеры, которые сами себя разоблачают.

Материалисты должны, кроме того, утверждать, что движение присуще материи. В результате они вынуждены говорить, что движение никогда не могло и не сможет увеличиваться или же уменьшаться; они принуждены уверять, будто сто тысяч человек, марширующих одновременно, и сто выпущенных из пушки ядер не производят в природе никакого нового движения. Вдобавок им необходимо утверждать, будто никакой свободы воли не существует, и на этом основании они вынуждены разрушать все общественные связи, а также верить, будто предопределение столь же трудно постичь, как свободу воли, хотя на практике они сами это опровергают. Пусть же беспристрастный читатель, взвесив по зрелом размышлении все «за» и «против» относительно существования бога-творца, посмотрит теперь, на чьей стороне вероятность истины.

После того как мы подобным образом влачились от сомнения к сомнению и от вывода к другому выводу и пришли, наконец, к возможности рассматривать это предложение — *бог существует* — в качестве наиболее правдоподобной из мыслимых человеком вещей, и после того как мы увидели, что противоположное мнение принадлежит к числу самых абсурдных, представляется естественным исследовать, каково отношение между нами и богом, и посмотреть, действительно ли бог учредил законы для мыслящих существ, подобно тому как существуют механические законы для материальных вещей; проследить, существует ли мораль и что́ она может собой представлять, а также — существует ли религия, учрежденная самим богом. Вопросы эти, без сомнения, важны для того, кто все это признаёт, и поиски, которыми мы заполняем нашу жизнь, бесспорно, достаточно вздорны в сравнении с этими; однако вопросы эти окажутся более на своем месте, если мы

будем рассматривать человека как существо социальное, способное вступать в общественные отношения.

Исследуем сначала, каким образом к нему приходят его идеи и как он мыслит, прежде чем станем смотреть, как он использует или должен использовать свои мысли.

Глава III

О ТОМ, ЧТО ВСЕ ИДЕИ МЫ ПОЛУЧАЕМ ПРИ ПОМОЩИ ЧУВСТВ

Тот, кто отдаст себе точный отчет относительно всего происходящего в его сознании, без труда признáет, что все его идеи были доставлены ему его чувствами; однако философы, злоупотребившие своим разумом, утверждали, будто мы имеем врожденные идеи[3], причем утверждали они это на том же основании, на каком говорили, будто бог взял кубы материи и столкнул их друг с другом, дабы образовать этот видимый мир. Они измыслили системы и похвалялись, что с их помощью могут отважиться дать какое-то очевидное объяснение явлений природы. Подобный способ философствования еще более опасен, чем жалкий жаргон схоластов. Ибо, поскольку этот жаргон абсолютно лишен чувственного содержания, здравому уму достаточно небольшого внимания, чтобы сразу заметить его смехотворность и начать искать истину в ином направлении; но талантливая и смелая гипотеза, несущая на себе вначале отблеск правдоподобия, заставляет человеческое тщеславие в нее верить; ум рукоплещет себе самому за эти тонкие принципы и употребляет всю свою проницательность для их защиты. Ясно, что никогда не следует создавать гипотез[4]; не следует говорить: «Начнем с изобретения принципов, с помощью которых мы попытаемся все объяснить», но надо сказать: «Произведем точный анализ вещей, а затем попытаемся с величайшей осторожностью посмотреть, соотносятся ли эти вещи с какими-то принципами». Те, кто измыслили роман о врожденных идеях[5], тешили себя надеждой, что они дали объяснение идеям бесконечности, необъятности бога и ряду других метафизических понятий, которые, по их предположению, являются общими у всех людей,

Но если бы раньше, чем погрязнуть в этой системе, они пожелали поразмыслить над тем, что многие люди не имеют за всю свою жизнь даже тени подобных понятий, что ни один ребенок ими не обладает до тех пор, пока ему их не преподадут, наконец, что когда кто-то их обретает, он получает лишь весьма несовершенные восприятия, чисто негативные идеи, они устыдились бы сами своего мнения. Если, кроме математических истин, существует нечто доказанное, то это полное отсутствие врожденных идей у человека; когда бы они были ему присущи, все люди, рождаясь на свет, обладали бы идеей бога, причем у всех эта идея была бы одной и той же; у всех людей были бы одни и те же метафизические понятия; добавьте к этому смехотворную нелепость, в которую впадают тогда, когда утверждают, будто бог уже в материнской утробе снабжает нас понятиями, которым нам полностью приходится обучаться в юности.

Таким образом, нашими первыми идеями, несомненно, являются наши ощущения. Постепенно у нас образуются сложные идеи из того, что́ воздействует на наши органы чувств, а наша память удерживает в себе эти восприятия; затем мы их подчиняем общим идеям; и все обширные познания человека вытекают из единственной этой способности сочетать и упорядочивать таким образом наши идеи.

Те, кто возражает на это, будто понятия бесконечности во времени, пространстве и числе не могут быть получены от наших чувств, должны просто заглянуть на мгновение в самих себя: прежде всего, они увидят, что у них нет никакой полной и даже просто позитивной идеи бесконечности; только добавляя одни материальные вещи к другим, можно прийти к пониманию того, что мы никогда не постигнем конца их исчисления; именно эту невозможность они нарекли *бесконечностью*, и потому это скорее является признанием человеческого невежества, чем идеей, не зависящей от наших чувств. Так что если мне возразят, будто в геометрии существует реальная бесконечность, я отвечу: Нет! Там доказывается только, что материя всегда будет делима, что между двумя линиями можно поместить сколько угодно окружностей, что бесконечность поверхностей не имеет ничего общего с бесконечностью кубов; но это не более дает

нам представление о бесконечности, чем предложение *бог существует* дает нам представление о том, что́ есть бог.

Однако нашей убежденности в том, что все наши идеи приходят к нам через посредство чувств, недостаточно; любознательность наша заставляет нас стремиться к тому, чтобы понять, каким образом мы их получаем. Именно по этому поводу все философы измыслили великолепные романы; но легко было избавить себя от них, добросовестно рассмотрев границы человеческой природы. Когда мы не можем прибегнуть к помощи математического циркуля или к светочу физического эксперимента, мы, несомненно, не в состоянии сделать ни шага вперед. Хотя зрение наше достаточно изощрено для того, чтобы отличить составные части золота от составных частей горчичного зернышка, можно с уверенностью сказать, что мы не сумеем рассуждать по поводу их сущности; и, несмотря на то что человек обладает иной природой и у него есть органы чувств, помогающие ему усматривать свою собственную субстанцию и сущность своих идей, нет сомнения в том, что для него немыслимо их познать. Задаваться вопросом, каким образом мы мыслим и чувствуем и как наши движения подчиняются нашей воле,— значит выпытывать у Творца его тайну; чувства наши не более доставляют нам средства для достижения такого познания, чем они снабжают нас крыльями, когда мы хотим обрести способность летать; и именно это, на мой взгляд, прекрасно доказывает, что все наши идеи мы получаем через посредство чувств; ибо, если у нас нет ощущений, у нас нет и идей; итак, нам невозможно понять, каким образом мы мыслим, по той же причине, по какой мы не можем иметь идеи шестого чувства: нам недостает органов, которые поставляли бы нам эти идеи. Вот почему все те, кто имел дерзость придумать систему природы души и наших понятий, вынуждены были предположить абсурдную мысль о врожденных идеях; при этом они льстили себя надеждой, что среди пресловутых метафизических идей, сошедших в наш разум с неба, найдутся такие, что раскроют нам эту непостижимую тайну.

Из всех отважных мыслителей, увязнувших в пучине таких исследований, отец Мальбранш, по-видимому, заблуждался на самый возвышенный лад.

Его система, наделавшая столько шума, сводится к следующему.

Наши восприятия, получаемые нами по поводу объектов, не могут быть вызваны самими этими объектами, которые, несомненно, не содержат в себе способности вызывать ощущение; мы не получаем их и от самих себя, ибо в этом отношении мы столь же бессильны, как и объекты; итак, необходимо, чтобы мы получали их от самого бога. *А следовательно, бог — связующее звено умов и умы пребывают в боге*; значит, именно в боге мы получаем наши идеи и усматриваем все сущее.

Но я спрашиваю любого, чей мозг не охвачен фанатизмом: какое ясное понятие дает нам это последнее рассуждение?

Я спрашиваю, что это означает: *бог — связующее звено умов*? И даже если бы все эти слова — *чувствовать и усматривать все в боге* — создавали у нас вполне отчетливую идею, я спрашиваю, что́ мы от этого выиграли бы и насколько стали бы более сведущими, чем прежде?

Несомненно, для того чтобы довести систему отца Мальбранша до некоей степени вразумительности, необходимо прибегнуть к спинозизму и вообразить, будто вселенная в целом — бог, будто бог этот действует в каждом творении, чувствует в животных, мыслит в людях, произрастает в деревьях, будто он — и камень, и мысль, и все его части сами собой разрушаются в каждый данный момент — одним словом, необходимо поверить во все те нелепости, которые с неизбежностью вытекают из этого принципа.

Заблуждения людей, стремившихся углубиться в то, что для нас непостижимо, должны научить нас не стараться переступать границы своей природы. Истинной философии свойственно уметь вовремя остановиться и продвигаться вперед лишь с помощью надежного проводника.

Остается достаточно обширное поле действий и без экскурсов в надуманные пределы. Так удовольствуемся же знанием, проистекающим из подкрепленного рассуждением опыта (единственного источника наших познаний) и гласящим, что наши чувства — ворота, чрез которые все идеи проникают в наше сознание; и давайте всегда хорошенько помнить о том, что нам совершенно

немыслимо проникнуть в секрет этого механизма, ибо мы не располагаем инструментами, прилаженными к его пружинам.

Глава IV

О ТОМ, ЧТО ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ

Вряд ли кто-нибудь вздумал бы трактовать этот предмет, если бы философы не пытались усомниться в самых что ни на есть очевидных вещах, подобно тому как они же обольщались надеждой познать вещи самые сомнительные.

Наши чувства, говорят они, поставляют нам идеи; но очень может быть, что наше сознание получает эти восприятия без того, чтобы вне нас существовали какие-либо объекты [6]. Нам известно, что во время сна мы видим и чувствуем вещи, которых не существует; быть может, наша жизнь — не что иное, как непрерывный сон, смерть же бывает моментом нашего пробуждения или окончанием сна, за которым никакое пробуждение не последует.

Чувства наши обманывают нас даже во время бодрствования; малейшая перемена в наших органах чувств заставляет нас иногда видеть объекты и слышать звуки, вызванные не чем иным, как расстройством нашего тела; вполне возможно поэтому, что мы всегда испытываем то, что приключается с нами время от времени.

Они добавляют, что, когда мы видим объект, мы замечаем его цвет, очертания, слышим звуки и нам было угодно наименовать все это *модусами данного объекта*, но какова же его субстанция? Действительно, сам объект ускользает от нашего воображения; то, что́ мы столь отважно именуем субстанцией, на самом деле есть не что иное, как сочетание модусов. Лишите данное дерево этого цвета, этих очертаний, дающих вам идею дерева,— и что же останется? Значит то, что́ я именую модусами, есть не что иное, как мои восприятия; я могу сколько угодно говорить о том, что *у меня есть идея зеленого цвета и тела, имеющего такие-то очертания*; но я не располагаю никаким доказательством существования такого тела и этого цвета: вот что говорит Секст Эмпирик и по поводу чего он не может найти ответа.

Припишем на мгновенье этим господам нечто большее, чем то, на что они претендуют: они утверждают, будто им нельзя доказать, что существуют тела; признáем, что они умеют доказать самим себе небытие тел. Что же из этого воспоследует? Станем ли мы иначе вести себя в нашей жизни? Будут ли у нас хоть о чем-то иные идеи? Нужно будет лишь изменить одно слово в своих разговорах. Например, когда состоится несколько сражений, надо будет говорить: «*по-видимому*, было убито десять тысяч человек; у такого-то офицера, *по-видимому*, была ранена нога, и некий хирург, *по-видимому*, ее ему ампутировал». Это как если бы, проголодавшись, мы потребовали видимость куска хлеба, дабы сделать вид, что мы его поедаем.

Однако вот что им можно ответить гораздо серьезнее:

1) Вы не можете, строго говоря, сравнивать жизнь с состояниями сна, ибо вы думаете во сне лишь о вещах, идеями которых обладали во время бодрствования; вы бываете уверены в том, что ваши сны — не что иное, как слабые реминисценции. Напротив, бодрствуя и получая ощущение, мы ни в коем случае не можем вывести заключение, что получаем его в порядке реминисценции. К примеру, если камень, падая, ранит нам плечо, достаточно трудно вообразить, будто это происходит в результате усилия памяти.

2) Верно: наши чувства часто бывают обмануты, но что из этого следует? Собственно говоря, мы обладаем лишь одним чувством — осязания: звук, запах суть лишь осязание промежуточных тел, исходящих от удаленного от нас тела. Идея звезд у меня появляется лишь в результате соприкосновения; и поскольку это соприкосновение со светом, поражающим мой глаз с расстояния в тысячи миллионов лье, совсем не так осязается, как прикосновение моих рук, и оно зависит от среды, через которую проникают световые тельца, соприкосновение это является тем, что́ неточно именуют *обманом* [*чувств*]: оно вовсе не позволяет мне увидеть объекты на их истинном месте; оно не дает мне никакого представления об их размере; ни единое из этих соприкосновений, которые нельзя осязать, не дает мне позитивной идеи тел. В первый раз, когда я чувствую запах, не видя объекта, от которого он исходит, мой ум не обнаруживает никакой связи между каким-то телом и этим запа-

хом; но осязание в прямом смысле этого слова, сближение моего тела с другим, дает мне независимо от иных моих чувств идею материи; ибо, когда я трогаю камень, я отлично чувствую, что не могу встать на его место, а значит, здесь находится нечто протяженное и непроницаемое. Итак, если предположить (ибо чего только мы не предполагаем!), что человек имел бы все чувства, за исключением осязания в собственном смысле слова, человек этот мог бы вполне сомневаться в существовании внешних объектов и даже, быть может, долго оставаться без какой бы то ни было их идеи; но глухой и слепой, который бы их осязал, не способен был бы сомневаться в существовании вещей, вызывающих у него ощущение жесткости; всё это потому, что ни окраска, ни звучание не принадлежат к сущности материи, но лишь протяженность и непроницаемость. И что ответили бы крайние скептики на следующие два вопроса:

1) Если вообще не существует внешних объектов и всё это — дело моего воображения, почему я обжигаюсь, прикасаясь к огню, и никоим образом не обжигаюсь, когда в грезах мне кажется, будто я к нему прикасаюсь?

2) Когда я набрасываю свои идеи на этот лист бумаги, а другой человек собирается прочесть мне то, что я написал, каким образом могу я понять свои собственные, мыслившиеся и написанные мной слова, если этот другой человек не читает их мне в действительности? Как могу я эти слова признать, если их на бумаге не существует?

Наконец, какие бы усилия я ни производил в пользу моих сомнений, я скорее убежден в существовании тел, нежели в большинстве геометрических истин. Это может показаться странным, но я ничего не могу здесь поделать: я вполне способен обойтись без геометрических доказательств, если хочу убедиться, что у меня есть отец и мать, я могу сколько угодно признавать доказанным мне аргумент (или, иначе говоря, не могу на него возразить), свидетельствующий, что между окружностью и ее касательной может быть проведено бесконечное число кривых линий, но я чувствую наверняка, что если бы некое всемогущее существо попробовало сказать мне, что из двух предложений — *тела существуют* и *бесконечное число кривых проходит между*

окружностью и ее касательной — одно ложно, и попросило бы отгадать, какое именно, я ответил бы, что второе; ибо, отлично зная, что мне долгое время неведомо было это последнее и понадобилось неустанное внимание для постижения его доказательства, что я видел здесь наличие трудностей, наконец, что геометрические истины обретают реальность лишь в моем разуме, я мог бы заподозрить свой разум в заблуждении.

Как бы то ни было, поскольку основной моей целью является здесь исследование социального человека и поскольку я не был бы способен к общению, если бы не существовало общества, а следовательно, и находящихся вне нас объектов, пусть пирронисты позволят мне начать с твердой веры в существование тел, ибо в противном случае мне следовало бы отказать этим господам в существовании.

Глава V

ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ДУШУ И ЧТО́ ОНА МОЖЕТ СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯТЬ

Мы уверены в том, что мы — материя, что мы чувствуем и мыслим, мы убеждены в существовании бога, творением которого мы являемся, благодаря доводам, против которых наш ум не способен восстать. Мы доказали самим себе, что бог этот сотворил все то, что существует. Мы убедились, что для нас немыслимо — и должно быть немыслимым — понять, каким способом дал он нам существование. Но можем ли мы познать то, что́ в нас мыслит? Что это за способность, дарованная нам богом? Чувствует ли и думает ли материя? Или это совершает имматериальная субстанция? Одним словом, что это такое — душа? Именно здесь, более чем где-либо, мне необходимо перевоплотиться в мыслящее существо, спустившееся сюда с другой планеты, не питающее никаких земных предрассудков и обладающее той же восприимчивостью, что я; при этом я вовсе не должен быть тем, что́ именуют человеком, и должен судить о человеке непредвзято.

Если бы я был высшим существом, коему Творец открыл свои тайны, я тотчас же, увидев человека, сказал бы, что́ это за существо; я определил бы его душу

и все его способности познания причин с той же отвагой, с какой делали это столькие философы, ничего в этом не смыслившие; однако, признавая свое неведение и испытав слабость своего разума, я могу лишь воспользоваться средством анализа, являющегося посохом, данным природой слепым: я исследую всё по частям, а затем уже смотрю, могу ли я судить о целом. Итак, я предполагаю, что прибыл в Африку и оказался в окружении негров, готтентотов и иных одушевленных существ. Прежде всего я замечаю, что жизненные органы у них всех одинаковы и все телесные отправления основаны на одних и тех же жизненных принципах; на мой взгляд, всем им свойственны одни и те же желания, страсти, потребности; каждый из них выражает эти потребности на своем языке. Первым я постигаю язык животных — иначе и быть не может: звуки, с помощью которых они объясняются, вовсе не кажутся мне произвольными, наоборот, это живые признаки их страстей; признаки эти несут на себе следы того, что́ они выражают: лай собаки, требующей еды, в соединении со всем ее поведением имеет явное отношение к своему объекту; я тотчас же отличаю его от лая и движений, с помощью которых она ласкает другую собаку, или от тех звуков и движений, с которыми она охотится либо жалуется на что-то; я различаю также, выражает ли ее жалоба тоску одиночества, или боль от раны, или, наконец, любовное нетерпение. Таким образом, приложив немного внимания, я начинаю понимать язык всех зверей; они умеют выражать все свои чувства; возможно, это не относится к их идеям; но, поскольку представляется, что природа дала им лишь немного идей, мне кажется также естественным, что они получили ограниченный способ выражения, соответствующий их восприятиям.

Какое отличие от этого встречаю я у существ с черной кожей? Что могу я у них приметить, кроме нескольких идей, да еще нескольких комбинаций [этих идей] в мозгу, выражаемых с помощью иначе артикулированной речи? Чем больше я изучаю все названные существа, тем более укрепляюсь в мысли, что это различные виды одного и того же рода: всем им свойственна восхитительная способность удерживать в памяти идеи; у всех бывают сны и во время сна слабые отображения идей, полученных в пору бодрствования; их способность

мыслить и чувствовать возрастает вместе с ростом их органов чувств и угасает с ними же вместе, а затем погибает; если пустить кровь обезьяне и негру, тот и другая немедленно впадут в состояние истощения, мешающее им меня узнавать; вскоре после этого их внешние чувства перестают действовать и они, наконец, умирают.

Я задаюсь, далее, вопросом, что́ дало им жизнь, ощущение, мысль? Это творение не их рук и не материи, как я уже себе доказал, следовательно, способность чувствовать и иметь идеи различных степеней, соответствующих их органам чувств, дал всем этим телам бог,— несомненно, именно такая мысль первой приходит мне в голову.

Наконец, я вижу людей, кажущихся мне стоящими на более высокой ступени, чем эти негры, подобно тому как негры выше обезьян, а обезьяны — устриц и других существ такого же вида.

Философы мне твердят: не заблуждайтесь на этот счет, человек совершенно отличен от других одушевленных существ; он обладает духовной и бессмертной душой, ведь (заметьте себе хорошенько!) если мысль — сложная материя, она непременно должна обладать теми же свойствами, как и то, из чего она образовалась: она должна быть делима, способна к движению и т. д. Но мысль совсем неспособна дробиться, значит, она вовсе не есть сложная материя; у нее нет частей, она проста, бессмертна, она — творение и образ бога. Выслушав этих наставников, я отвечаю им, сомневаясь в себе самом, но и не доверяя им: если душа человека такова, как вы утверждаете, я должен считать, что вот эта собака и этот крот обладают совершенно такой же душой. Они меня клятвенно заверяют, что это не так. Я спрашиваю у них, какую разницу они усматривают между собакой и самими собой. Одни[7] отвечают мне, что собака — это субстанциальная форма; вторые[8] говорят: не верьте этому, субстанциальные формы — химера; собака — машина, подобная механическому вертелу, и ничего больше. Я снова спрашиваю у изобретателей субстанциальных форм, что́ именно понимают они под этим словом, и, поскольку в ответ слышу одну только галиматью, я опять обращаюсь к авторам механического вертела и им говорю: если животные эти — всего лишь

машины, то вы в сравнении с ними, несомненно, являетесь тем же, чем часы с репетицией являются в сравнении с вертелом, о коем вы твердите; иначе говоря, если вы имеете честь обладать духовной душой, животные также обладают ею, ибо они ничем от вас не отличаются, имея те же самые органы чувств, с помощью которых вы получаете ощущения; и если эти органы не служат им для той же самой цели, бог, снабдив их ими, произвел бы напрасный труд; однако, по вашему собственному утверждению, бог ничего не предпринимает вотще. Выбирайте же: либо вы должны признать духовную душу за блохой, земляным червем и клещом, либо вы должны быть такими же автоматами, как они. И господа эти могут мне отвечать лишь догадкой, что пружины животных, кажущиеся органами их чувств, необходимы для их жизни и являются всего лишь их жизненными пружинами; однако ответ этот — только предположение, не основанное на рассуждении.

Несомненно, для того чтобы жить, нет нужды ни в носе, ни в ушах, ни в глазах. Существуют животные, совсем не имеющие этих органов чувств, и тем не менее они живут; значит, эти органы чувств даны только для чувствования; значит, животные чувствуют так же, как и мы; и значит, лишь в силу избытка смешного тщеславия люди могут приписывать себе душу иного рода, чем та, что одушевляет скот. До сих пор ясно: ни философы, ни я — мы не знаем, что такое душа; я доказал себе только, что это — нечто общее для живого существа, именуемого *человеком*, и для того, которого мы называем *зверем*. Посмотрим, является ли эта способность, общая для всех упомянутых одушевленных существ, материей или же нет.

Невозможно, говорят мне, чтобы материя мыслила. Однако я не усматриваю такой невозможности. Если бы мысль была сложной материей, как они это толкуют, я бы признал, что она должна быть протяженна и делима; но если мысль — атрибут бога, дарованный им материи, я не усматриваю необходимости в том, чтобы атрибут этот был протяжен и делим, ибо я вижу, что бог сообщил материи и другие свойства, не имеющие ни протяженности, ни делимости: к примеру, движение или тяготение, действующее без посредствующих тел (причем действует оно прямо пропорционально массе, а не пло-

щади поверхностей и обратно пропорционально квадрату расстояния между телами), является доказанным реальным качеством, хотя причина его столь же сокрыта от нас, как и причина мышления.

Одним словом, свое суждение я могу вынести лишь на основе того, что́ вижу и что представляется мне наиболее вероятным; я вижу: всюду в природе одинаковые действия предполагают одинаковую причину. Итак, я решаю, что одна и та же причина действует в человеке и в животных в соответствии с тем, каковы их органы чувств; и я считаю, что принцип этот, общий для людей и зверей, есть атрибут, приданный богом материи. Ведь если бы то, что именуют душой, было отдельным существом, я должен был бы — независимо от того, какова природа этого существа — верить, будто его сущность есть мысль, ибо в противном случае я не имел бы ни малейшего представления относительно этой субстанции. Таким образом, все те, кто допускает иммате-риальную душу, вынуждены утверждать, будто душа эта постоянно мыслит; но взываю здесь к совести всех людей: мыслят ли они непрестанно? Мыслят ли они во время полного и глубокого сна? Имеют ли живые существа в каждый данный момент идеи? Много ли идей у человека, потерявшего сознание, т. е. находящегося в состоянии, реально соответствующем мимолетной смерти? Если душа не мыслит постоянно, абсурдно приписывать человеку субстанцию, сущность которой — мышление. Какой же вывод можем мы из этого сделать, если не тот, что бог устроил тело для мышления точно так же, как он устроил его для еды и переваривания пищи? Обращаясь к истории рода человеческого, я узнаю, что люди долгое время имели на этот счет то же самое мнение, что и я. Я читаю древнейшую книгу из существующих в мире, сохраненную народом, считающим себя самым древним; эта книга мне подтверждает, что бог, по-видимому, мыслил так же, как я; она сообщает мне, что некогда он даровал евреям законы, более детальные, чем когда-либо имела какая-то нация; он удостоил предписать им даже, как они должны оправляться в отхожем месте[9], но ни слова не сказал им об их душе; он говорит им только о временных карах и воздаяниях: это доказывает, что автор данной книги не жил среди народа, верившего в духовность и бессмертие души.

Правда, мне говорят, что через две тысячи лет бог явился людям, чтобы поведать им об их бессмертной душе[10]; но я — человек, явившийся из иной сферы,— не могу не поразиться той небрежности, которую пытаются приписать богу. Разуму моему кажется странным, что бог дал человеку возможность противоречивых мнений; однако, если это момент откровения, в котором мой разум не различает ни зги, я умолкаю и благоговею в молчании. Не мое дело исследовать то, что дано в откровении; я лишь замечаю, что эти богооткровенные книги вовсе не пишут о том, что душа духовна; они гласят только, что она бессмертна. Мне совсем не трудно в это поверить, ибо для бога представляется столь же возможным устроить ее сохранной (какой бы природы она ни была), сколь и подверженной разрушению. Бог этот, в чьей власти по своему усмотрению сохранить или уничтожить движение тела, без сомнения, может продлить навсегда способность к мышлению у части этого тела; если он действительно сказал нам, что часть эта бессмертна, необходимо в это уверовать.

Однако из чего сделана эта душа? Вот что высшее существо не сочло уместным сообщить людям. Итак, предоставленный в этих исследованиях одному лишь своему разуму, жажде что-то познать и своему чистосердечию, я искренне ищу то, что мой разум может открыть мне сам по себе; я испытываю его силы не для того, чтобы счесть его способным вынести на себе весь этот тяжкий груз, но для того, чтобы укрепить его таким упражнением и понять, как далеко простирается его власть. Итак, всегда готовый отступиться в миг, когда откровение воздвигнет предо мной свои барьеры, я продолжаю свои размышления и догадки исключительно как философ вплоть до момента, когда мой разум больше не сможет идти вперед.

Глава VI

БЕССМЕРТНО ЛИ ТО, ЧТО ИМЕНУЕТСЯ ДУШОЙ?

Здесь не место исследовать, действительно ли бог дал нам откровение относительно бессмертия души. Я по-прежнему воображаю себя философом иного мира, выносящим суждение лишь с помощью своего разума.

Разум этот сообщил мне, что все идеи людей и животных приходят к ним через посредство органов чувств; и я признаюсь, что не могу удержаться от смеха, когда мне говорят, будто люди могут иметь идеи и тогда, когда у них уже нет этих органов. Когда человек теряет нос, этот нос не более является его частью, чем полярная звезда. Когда он теряет все свои части и не является более человеком, не будет ли несколько странным утверждать, будто у него остается следствие всего того, что он потерял? В этом случае я предпочел бы уж говорить, будто он пьет и ест после смерти, чем говорить, что после нее у него остаются идеи; первое заявление будет не более непоследовательным, чем это последнее, и, несомненно, должно было пройти много веков, прежде чем люди отважились на столь поразительное предположение. Еще раз, я отлично знаю: если бог связал способность иметь идеи с определенной частью мозга, он смог сделать сохранной эту часть мозга вместе с ее способностью; ибо сохранить эту способность без части мозга, которой она присуща, столь же немыслимо, как сохранить смех человека или пение птицы после смерти этого человека и этой птицы. Бог мог также дать человеку и животным простую имматериальную душу и сохранить ее независимо от тела. Это столь же возможно для него, как создать на миллион миров больше, чем он создал, или дать человеку два носа и четыре руки, крылья и когти; однако, чтобы поверить, будто он действительно осуществил все эти вполне возможные вещи, надо, мне кажется, их увидеть.

И поскольку никоим образом нельзя усмотреть, будто сознание, ощущение человека — бессмертная вещь, кто докажет мне, что оно именно таково? Как! Я, не имеющий никакого понятия относительно природы этой вещи, стану утверждать, будто она вечна! Я, которому хорошо известно, что некогда человека не было, буду настаивать, будто в нем есть часть, вечная по своей природе! И в то время как я откажу в бессмертии всему тому, что одушевляет собаку, попугая, дрозда, я припишу его человеку на том лишь основании, что человек его жаждет!

Было бы, конечно, весьма приятно пережить самих себя, сохранить навечно лучшую из частей своего существа при распадении остальной части, на вечные вре-

мена остаться со своими друзьями и т. д. Химера эта (если рассматривать ее лишь в качестве таковой) была бы утешительной среди реальных несчастий. Вот почему, возможно, и была некогда изобретена система метемпсихоза; но содержится ли в этой системе больше правдоподобия, чем в «Тысяче и одной ночи»? И не является ли она плодом живого и нелепого воображения большинства восточных философов? Однако я предполагаю, вопреки всякому вероятию, что бог сохраняет после смерти человека то, что́ именуют его *душой*, а животное он лишает в этом случае души в порядке обычного разрушения всех вещей; и я спрашиваю: что человек от этого выиграет? А именно, что общего у духа Жака с Жаком, который умер?

Личность Жака образуют и делают Жака самим собой, тем самым, каким он был вчера в своих собственных глазах, воспоминания о его вчерашних идеях и то, что в своем сознании он объединяет свое вчерашнее существование с нынешним; ибо, если бы он полностью потерял память, его былое существование стало бы ему столь же чуждо, как существование другого человека; он больше не будет вчерашним *Жаком*, той же самой личностью, какой не являлись ни Цезарь, ни Сократ. Итак, я предполагаю, что во время своей последней болезни Жак совершенно потерял память и, таким образом, умирает не тем Жаком, каким он жил: возвратит ли бог его душе утраченную им память? Создаст ли он заново те идеи, коих больше не существует? И не будет ли это в таком случае совсем новый человек, столь же отличный от прежнего, сколь индиец отличен от европейца?

Но могут также сказать, что после полной потери Жаком своей памяти незадолго до смерти душа его сможет ее себе вернуть, подобно тому как память возвращается после потери сознания или бреда; ведь человек, полностью потерявший память во время тяжелой болезни, не перестает быть тем же самым человеком, если к нему возвращается память: значит, душа *Жака*, если таковая у него есть и если по воле Создателя, как это предполагают, она бессмертна, может вернуть себе память после его смерти совершенно так же, как она возвращает ее себе после потери сознания в течение жизни; итак, Жак останется тем же человеком.

Эти сомнения вполне заслуживают того, чтобы быть предложенными, и тот, кто найдет верный способ решить уравнение с этим неизвестным, покажет себя, я полагаю, способным человеком.

Дальше я в эти дебри забираться не стану; я останавливаюсь там, где мне уже не хватает света моего разума: с меня довольно и того, что я вижу, как далеко я могу зайти. Я вовсе не утверждаю, будто располагаю доказательствами, опровергающими духовность и бессмертие души; однако все вероятности — против них; при этом равно неправильно и безрассудно требовать доказательств в исследовании, допускающем только догадки.

Необходимо лишь предупредить тех, чьи умы склонны верить, будто смертность души противоречит общественному благу, и напомнить им, что древние иудеи, чьими законами они восхищаются, считали душу материальной и смертной, не говоря уже о великих школах философов, стоивших всех иудеев, вместе взятых, и бывших весьма достойными людьми.

Глава VII

СВОБОДЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК?

Быть может, не существует вопроса более простого, чем вопрос о свободе воли; но нет и вопроса, по поводу которого люди бы больше путались. Затруднения, которыми философы усеяли эту почву, и дерзость, с которой они постоянно стремились вырвать у бога его секрет и примирить его провидение со свободой воли, стали причиной того, что идея этой свободы была затемнена именно в силу стараний ее разъяснить. Люди настолько привыкли не произносить это слово без того, чтобы тотчас же не вспомнить обо всех сопровождающих его затруднениях, что теперь почти не понимают друг друга, когда поднимают вопрос, свободен ли человек.

Здесь более не стоит прятаться за маску одаренного разумом существа, не являющегося человеком, которое непредвзято исследует, что́ представляет собой этот последний; напротив, здесь необходимо, чтобы каждый человек заглянул в самого себя и отдал себе отчет в своем собственном чувстве.

Прежде всего, очистим вопрос от всех химер, которыми привыкли его засорять, и определим, что́ мы понимаем под словом *свобода*. Свобода — это исключительная возможность действовать. Если бы камень передвигался по собственному произволу, он был бы свободен; животные и люди обладают этой возможностью, значит, они свободны. Я могу сколько угодно оспаривать эту способность у животных; я могу вообразить, если пожелаю злоупотребить своим разумом, будто животные, во всем остальном похожие на меня, отличаются от меня в одном только этом пункте. Я могу воспринимать их как механизмы, не имеющие ни ощущений, ни желаний, ни воли, хотя, по всей видимости, они их имеют. Я могу измыслить системы, или, иначе, иллюзии, чтобы объяснить их природу; но в конце концов, когда речь пойдет о том, чтобы вопросить самого себя, для меня станет совершенно необходимым признать: я обладаю волей, мне присуща способность действовать, передвигать мое тело, прилагать усилия моей мысли к тому или иному соображению и т. д.

Если кто-нибудь мне скажет: вы полагаете, будто имеете эту свободу, но на самом деле ее у вас нет; вас обманывает ваше чувство, подобно тому как вы считаете, будто видите Солнце, имеющее в ширину два фута, в то время как его размеры относятся к размерам Земли почти как миллион к единице,— я этому человеку отвечу: то совсем другой случай: бог нисколько не обманул меня, дав мне способность видеть величину удаленного от меня предмета в соответствии с расстоянием, на которое он от меня удален; таковы математические законы оптики: я не могу и не должен видеть объекты иначе, чем в прямо пропорциональном отношении к их размеру и удаленности; и такова природа моих органов чувств, так что, если бы мой взгляд мог усмотреть реальную величину звезды, я не смог бы видеть ни одного из земных объектов. То же самое относится к слуху и к обонянию. Я обладаю более или менее сильным ощущением при условии, что все вещи одинаковы, лишь в соответствии с большей или меньшей удаленностью от меня звучащих или пахучих тел. Здесь не кроется никакой ошибки; но если бы я совсем не обладал волей, полагая в то же время, что она существует, бог явно создал бы меня для того, чтобы меня обмануть; это

точно так же, как если бы он заставил меня верить, будто вне меня существуют тела, а на самом деле их бы там не было; из этого обмана вытекала бы лишь абсурдность способа действий бесконечно мудрого высшего бытия.

Пусть же не говорят, будто недостойно философа прибегать в этом случае к богу. Ибо, во-первых, поскольку существование бога доказано, тем самым доказано, что именно он является причиной моей свободы — в том случае, если я свободен; доказано этим также, что он был бы нелепым творцом моего заблуждения, если бы, создав меня чисто пассивным существом, лишенным воли, заставил меня поверить, будто я — лицо действующее и свободное.

Во-вторых, если бы вообще не было бога, кто мог бы ввергнуть меня в заблуждение? Кто мог бы сообщить мне это чувство свободы, одновременно подчинив меня рабству? Материя, которая сама по себе не может обладать разумом? Материя не способна ни просветить, ни ввести меня в заблуждение, я не мог получить от нее способность волеизъявления; я не мог получить от бога чувства своей воли, если бы таковой у меня не было; итак, я обладаю волей реально, я — действующее лицо.

Изъявлять свою волю и действовать — это именно и означает иметь свободу. Сам бог может быть свободным лишь в этом смысле. Он пожелал, и он сделал по своему усмотрению. Если предполагать, что воля его детерминирована необходимостью, и говорить: «Ему было необходимо пожелать того, что́ он сделал»,— это значит впадать в столь же большу́ю нелепость, как если бы говорили: «Бог существует, и бога нет»; ибо, если бы бог был необходимостью, он не был бы больше агентом, он был бы пассивен и потому не был бы богом.

Никогда нельзя упускать из виду эти фундаментальные истины, тесно между собой связанные. Есть нечто существующее, значит, некое бытие существует извечно, значит, оно бесконечно, значит, все остальные существа проистекают из него неведомо каким образом, значит, оно могло сообщить им свободу, как сообщило им движение и жизнь, и значит, оно дало нам эту свободу, которую мы в себе ощущаем, как оно дало нам и жизнь, которую мы в себе чувствуем.

Свобода в боге — это способность всегда думать все то, что ему угодно, и действовать во всем в соответствии со своей волей.

Свобода, данная богом человеку,— это слабая, ограниченная и преходящая способность сосредоточиваться на некоторых мыслях и производить определенные движения. Свобода детей, неспособных еще размышлять, и тех видов животных, которые вообще не размышляют, заключается лишь в желаниях и выполнении различных движений. На каком основании люди могли вообразить, будто не существует свободы? Вот причины этого заблуждения: сначала было замечено, что мы часто бываем охвачены неистовыми страстями, увлекающими нас вопреки нам самим. Человек хотел бы не любить свою неверную возлюбленную, но его вожделения, более сильные, чем его разум, приводят его обратно к ней; порывы неудержимого гнева увлекают его к насильственным действиям; мы стремимся к спокойному образу жизни, но честолюбие швыряет нас в сумятицу дел.

Эти зримые кандалы, которыми мы скованы почти всю нашу жизнь, заставляют нас думать, будто мы таким же образом скованы во всем остальном; из этого был сделан вывод: человек бывает стремительно увлекаем жестокими и волнующими его потрясениями; в иное время им руководит поступательное движение, над которым он больше не властен; он — раб, не всегда ощущающий тяжесть и позор своих цепей, и все же он всегда раб.

Рассуждение это, представляющее собой не что иное, как логику человеческой слабости, полностью напоминает следующее: люди иногда болеют, значит, они никогда не бывают здоровы.

Однако кому не бросится в глаза грубость этого вывода? Кто не заметит, наоборот, что чувство нездоровья является несомненным свидетельством того, что ранее человек был здоров, точно так же как ощущение рабской зависимости и собственной немощи неопровержимо доказывает, что раньше этот человек имел и свободу и силу?

В то время, когда вы охвачены неистовой страстью, ваши чувства не повинуются более вашей воле: в этом случае вы не больше свободны, чем когда паралич мешает вам пошевелить рукой, которую вы хотите под-

нять. Если бы над человеком всю жизнь господствовали жестокие страсти или образы, непрестанно заполняющие его мозг, ему недоставало бы той части человеческого существа, свойством которой является способность думать иногда о том, о чем хочется; это именно тот случай, когда существует много безумцев, которых упрятывают под замок, а также и весьма много других, которых не запирают.

Несомненно, существуют люди, более свободные, чем другие, по той простой причине, что не все мы одинаково просвещены, одинаково крепки и т. д. Свобода — здоровье души; мало кто обладает этим здоровьем в полной и неизменной мере. Свобода наша слаба и ограниченна, как и все наши остальные способности. Мы укрепляем ее, приучая себя к размышлениям, и это упражнение души делает ее несколько более сильной. Но какие бы мы ни совершали усилия, мы никогда не добьемся того, чтобы наш разум стал хозяином всех наших желаний; у нашей души, как и у нашего тела, всегда будут непроизвольные побуждения. Мы свободны, мудры, сильны, здоровы и остроумны лишь в очень небольшой степени. Если бы мы всегда были свободны, мы были бы тем, что́ есть бог. Удовольствуемся же долей, соответствующей месту, занимаемому нами в природе. Но не будем воображать, будто нам недостает именно вещей, приносящих нам наслаждение, и не станем из-за того, что нам не даны атрибуты бога, отрекаться от способностей человека.

В разгар бала или оживленной беседы или же в печальное время болезни, отягчающей мою голову, я могу как угодно изыскивать, сколько составит одна тридцать пятая часть от девяносто пяти третей с половиной, умноженных на двадцать пять девятнадцатых и три четверти: я не располагаю свободой, необходимой мне для подобного подсчета. Но немножко сосредоточенности вернет мне эту способность, утраченную в суматохе. Таким образом, даже самые решительные противники свободы вынуждены бывают признать, что мы обладаем волей, подчиняющей себе иногда наши чувства. Однако эта воля, говорят они, необходимо предопределена, подобно чаше весов, всегда опускающейся под воздействием большей тяжести; человек стремится лишь к наилучшему суждению; его сознание не вольно считать

нехорошим то, что ему представляется хорошим. Разум действует в силу необходимости, воля же детерминирована разумом; таким образом, воля детерминирована абсолютной волей и человек не свободен.

Аргумент этот, кажущийся совершенно неотразимым, однако по сути своей являющийся софизмом, ввел в заблуждение большинство людей, ибо люди почти всегда лишь смутно представляют себе предмет своих исследований.

Ошибка данного рассуждения состоит в следующем. Человек, разумеется, может желать лишь тех вещей, идеи которых у него есть. Он не мог бы иметь желания пойти в оперу, если бы не имел об опере представления; и он не стремился бы туда пойти и не принимал бы такого решения, если бы его сознание не являло ему данный спектакль как нечто приятное. Но именно в этом-то и состоит его свобода: она заключена в том, что он может сам по себе принять решение поступить так, как ему кажется хорошим; желать же того, что не доставляет ему удовольствия, было бы форменным противоречием, и потому это невозможно. Человек определяет себя к поступку, кажущемуся ему наилучшим, и это неопровержимо; суть вопроса, однако, заключается в том, чтобы понять, присуща ли ему такая движущая сила, такая первичная способность решать за себя или не принимать решения. Те, кто утверждает: одобрение разума необходимо, и оно необходимо детерминирует волю,— предполагают, что ум физически воздействует на волю. Они говорят очевидный вздор: ведь они допускают, что мысль — крохотное реальное существо, реально воздействующее на другое существо, именуемое волей; при этом они не думают о том, что слова эти — *воля*, *сознание* и т. д.— суть не что иное, как отвлеченные идеи, изобретенные для внесения ясности и порядка в наши рассуждения и означающие всего только *мыслящего* и *волящего* человека. Таким образом, *сознание* и *воля* не существуют реально в качестве различных сущностей, и грубо ошибочно говорить, будто одна из них воздействует на другую.

Если эти люди не предполагают, что ум физически воздействует на волю, они вынуждены говорить либо что человек свободен, либо что за человека действует бог, его детерминирующий и постоянно занятый тем,

чтобы его обмануть; в этом случае они, по крайней мере, признают свободу за богом. Если бог свободен, то свобода возможна и человек может ее иметь. Таким образом, у них нет никаких оснований утверждать, будто человек не свободен.

Они могут сколько угодно твердить, будто человек детерминирован удовольствием; сами того не замечая, они тем самым признают его свободу: ведь делать то, что доставляет удовольствие,— значит быть свободным.

Еще раз: бог может быть свободным лишь таким образом. Он может действовать только в соответствии с доставляемым им себе удовольствием. Все софизмы, направленные против свободы человека, одновременно опровергают свободу бога.

Последним прибежищем противников свободы является следующий аргумент: «Бог, несомненно, ведает, когда нечто должно произойти; и потому не во власти человека этого не совершить».

Прежде всего, заметьте себе, что аргумент этот опять-таки неминуемо опровергает свободу, которую мы обязаны признавать за богом. Можно сказать: «Бог ведает, что́ должно произойти; не в его власти не совершить того, что́ произойдет». И что же это избитое рассуждение доказывает? Единственно лишь следующее: мы не знаем и не можем знать, что это такое — божественное провидение, и все эти атрибуты для нас — непроходимая пропасть.

Мы доказательно знаем, что, если бог существует, он свободен; одновременно мы знаем, что он всеведущ; но и это прови́дение, и это всеведение столь же для нас непостижимы, как и его безграничность, его бывшее и будущее бесконечное бытие, акт творения, сохранность Вселенной и многие другие вещи, ни отрицать ни познать кои мы не способны.

Спор этот о божественном провидении породил столько дрязг лишь потому, что люди невежественны и самонадеянны. Стоило бы наверно, сказать: я ничего не знаю о том, что представляют собой атрибуты бога, и я не создан для постижения его сущности. Но вот это-то какой-нибудь бакалавр или лиценциат всегда поостережется признать: именно это делает их самыми нелепыми из людей и превращает священное знание в жалкое шарлатанство.

Глава VIII
ЧЕЛОВЕК КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО

Великим замыслом Творца природы было, как кажется, сохранение [бытия] каждого индивида на определенный срок и непрерывное продолжение его рода. Неодолимый инстинкт увлекает любое живое существо ко всему тому, что способствует его сохранности. При этом есть моменты, когда он увлекается почти столь же сильным инстинктом к соитию и размножению, хотя мы и вовсе не знаем, каким образом все это происходит.

Самые дикие и живущие в одиночестве звери выходят из своих нор, когда их призывает любовь, и в течение нескольких месяцев ощущают себя связанными незримыми звеньями с самками и рождающимися от них детенышами, после чего они забывают об этой мимолетной семейной связи и возвращаются к своему свирепому одиночеству вплоть до того самого времени, пока жало любви не заставит их выйти из него снова. Другие виды созданы природой для постоянного совместного существования: одни, такие, как пчелы, муравьи, бобры и отдельные виды птиц,— для жизни в действительно цивилизованном сообществе, другие, такие, как стадные животные на земле и сельди в море, собираются вместе лишь в силу более слепого инстинкта, объединяющего их без видимого намерения и цели.

Разумеется, человека его инстинкт не толкает к образованию культурных сообществ, как у муравьев и пчел; но если взглянуть на его потребности, его страсти и разум, сразу становится ясным, что он не мог долго оставаться совсем в диком состоянии.

Для того чтобы вселенная стала такой, какой она является ныне, достаточно было, чтобы мужчина полюбил женщину. Их взаимная друг о друге забота и естественная любовь к своим детям должны были тотчас же разбудить их трудолюбие и дать начало примитивным росткам искусств. Две семьи, как только они образовались, должны были испытывать друг в друге потребность, а из этих потребностей рождались новые удобства.

Человек не походит на других животных, имеющих лишь инстинкт любви к себе и соития; он обладает не только такой любовью к себе, необходимой для само-

сохранения, но для его вида характерна и естественная благожелательность, совсем не замеченная у животных. Когда собака, пробегая мимо, видит щенка той же матери разодранным на кусочки и истекающим кровью, она может сожрать один из этих кусков, не испытывая притом ни малейшего сострадания, и затем продолжать свой путь; но та же самая собака будет защищать своего щенка и скорее умрет в этой борьбе, чем потерпит, чтобы его у нее отняли.

Наоборот, когда самый дикий человек видит, что прелестного ребенка вот-вот сожрет какой-то зверь, он наперекор самому себе испытывает некое беспокойство, тревогу, порождаемую состраданием, желание прийти ребенку на помощь. Правда, это чувство сострадания и доброжелательства бывает часто задушено в нем неистовой любовью к себе; итак, мудрая природа не должна была дать нам бóльшую любовь к другим людям, чем к самим себе; достаточно уже и того, что нам свойственна та доброжелательность, которая настраивает нас на единение с другими людьми.

Однако доброжелательность эта довольно слабо содействовала бы тому, чтобы заставить людей жить в обществе; она никогда не смогла бы послужить основанию великих империй и процветающих городов, если бы нам вдобавок не были свойственны великие страсти.

Страсти эти, злоупотребление которыми приносит поистине столько зла, в действительности являются первопричиной порядка, наблюдаемого нами сейчас на Земле. В особенности гордыня — главное орудие, с помощью которого было воздвигнуто прекрасное здание общества. Едва лишь настоятельные потребности объединили между собой несколько человек, как наиболее ловкие среди них поняли, что всем этим людям от рождения присуща непомерная гордость, равно как и непобедимая склонность к благополучию.

Нетрудно было убедить их в том, что, если они совершат для блага всего общества нечто стоившее бы им небольшой потери благополучия, гордость их была бы за это с избытком вознаграждена.

Итак, в добрый час люди были разделены на два класса: первый — люди божественные, жертвующие своим себялюбием благу общества; второй — подлый

сброд, влюбленный лишь в самого себя; весь свет хотел и хочет в наше время принадлежать к первому классу, хотя весь свет в глубине души принадлежит ко второму; самые трусливые люди, наиболее приверженные своим собственным вожделениям, громче других вопили, что надо жертвовать всем во имя благополучия общества. Страсть повелевать, являющаяся одним из ответвлений гордыни и столь же явно заметная в ученом педанте и в деревенском бальи, сколь в папе и в императоре, еще более мощно возбудила людскую изобретательность, направленную на то, чтобы подчинить людей другим людям; оставалось лишь ясно показать им, что другие люди лучше умеют повелевать, чем они, и могут им быть полезны.

Особенно нужно было пользоваться их алчностью, дабы купить их повиновение. Им нельзя было много дать, не беря от них многого взамен, и это неистовое приобретательство земных благ с каждым днем добавляло новые успехи к процветанию всех видов искусств.

Механизм этот не получил бы столь сильного развития без содействия зависти, весьма естественной страсти, всегда маскируемой людьми именем «соревнование». Зависть эта разбудила от лени и возбудила дух каждого, кто видел, что его сосед могуществен и счастлив. Так, мало-помалу одни лишь страсти объединили людей и извлекли из недр земных все искусства и удовольствия. С помощью именно этого привода бог, именуемый *Платоном* вечным геометром, а мной здесь — вечным механиком, одушевил и украсил всю природу: страсти — колеса, заставляющие работать все эти механизмы.

Мыслители наших дней, стремящиеся укрепить химеру, согласно которой человек был рожден без страстей и обрел эти страсти лишь для того, чтобы лишить бога своего повиновения, с таким же успехом могли бы утверждать, будто человек изначально был всего лишь прекрасной статуей, изваянной богом, которую впоследствии одушевил дьявол.

Любовь к себе и все ее ответвления столь же необходимы человеку, сколь кровь, текущая в его жилах; те, кто желает лишить его страстей, ибо они опасны, похожи на того, кто стремится выпустить из человека всю кровь из опасения, что его может хватить удар.

Что сказали бы мы о человеке, утверждающем, будто ветры — изобретение дьявола, потому что они, случается, топят суда, и не помышляющем о том, что они, напротив, благодеяние бога, помогающее торговле объединять между собой все места Земли, разъединенные необъятными морями? Итак, совершенно ясно, что мы обязаны нашим страстям и потребностям этим порядком и всеми полезными изобретениями, которыми мы обогатили вселенную; и, весьма вероятно, бог дал нам эти потребности и страсти для того, чтобы наша изобретательность обратила их к нашей выгоде. Если же многие люди ими злоупотребляют, то нам не следует сетовать на добро, которое люди обращают во зло. Бог удостоил одарить Землю и человека тысячами отменных деликатесов; и чревоугодие тех, кто превратил эту пищу в смертельный для себя яд, не может служить основанием для упреков по адресу провидения.

Глава IX
О ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКЕ

Для того чтобы общество существовало, нужны были законы, подобно тому как любая игра нуждается в правилах. Большинство законов имеет видимость произвольных: они зависят от интересов, страстей и мнений тех, кто их придумал, и от характера климата местностей, где люди объединились в общество. В жаркой части света, где вино вызывало горячку, сочли за лучшее вменять привычку к нему в преступление; в других, более суровых климатах опьянение считается почетным. Здесь мужчина должен довольствоваться одной женщиной, там ему разрешено иметь их столько, скольких он может прокормить. А еще в других странах отцы и матери умоляют иностранцев снизойти до того, чтобы переспать с их дочерьми; впрочем, всюду девушка, отдавшаяся мужчине, считается обесчещенной. В Спарте поощрялось прелюбодеяние, в Афинах оно каралось смертью. В Риме отцы обладали правом распоряжаться жизнью и смертью своих детей. В Нормандии отец не имеет права лишить ни гроша своего самого непокорного из сыновей. Имя короля священно для большинства народов и омерзительно для остальных.

Но все эти народы, чье поведение столь различно, бывают единодушны в одном: они называют *добродетельным* то, что соответствует учрежденным ими законам, и *преступным* то, что их нарушает. Так, в Голландии человек, восставший против самоуправства властей, будет весьма добродетельным человеком; а тот, кто пожелает учредить во Франции республиканское правление, будет присужден к высшей мере наказания. Один и тот же еврей, который в Меце был бы отправлен на галеры за двоеженство, в Константинополе мог бы иметь четырех жен и был бы за это высоко чтим мусульманами.

Большинство законов так явно себе противоречат, что мало имеет значения, какими именно законами управляется государство; но действительно большое значение имеет выполнение раз принятых законов. Подобным же образом не существует никакой последовательности в тех или иных правилах игры в кости или карты; но нельзя ни минуты участвовать в этих играх, если не соблюдать самым суровым образом те произвольные правила, о которых условились.

Добродетель и порок, моральные добро и зло во всех странах являются тем, что́ полезно либо вредно обществу; во всех местностях в любые времена именно тот, кто более всего жертвовал в пользу общества, считался наиболее добродетельным. Таким образом, представляется, что добрые дела — не что иное, как дела, из которых мы извлекаем для себя преимущество, преступления же — дела, нам противопоказанные. Добродетель — привычка совершать дела, угодные людям; порок — привычка делать то, что им неприятно.

Хотя именуемое добродетелью в одном климате бывает именно тем, что называют пороком в другом, и большинство правил о добре и зле различаются между собой так же, как языки и одежда, тем не менее мне представляется несомненным, что существуют естественные законы, с которыми люди всего мира должны быть согласны, вопреки тем законам, что́ у них есть. Ведь на самом деле бог не сказал людям: «Вот законы, изреченные для вас моими устами, и я желаю, чтобы вы этими законами управлялись»; нет, он даровал человеку то, что он даровал и многим другим животным. Пчелам он дал могучий инстинкт, заставляющий их

совместно трудиться и добывать себе пищу, и точно так же он дал человеку определенные чувства, от которых тот никогда не может избавиться и которые служат вечными звеньями и основными законами общества, в каковом, согласно провидению бога, человек должен был жить. К примеру, доброжелательность по отношению к себе подобным родилась вместе с нами и продолжает всегда в нас действовать, по крайней мере, до тех пор, пока ее не побеждает любовь человека к себе, которой всегда дано ее одолеть. Таким образом, человек всегда склонен помочь другому человеку, когда это ему ничего не стоит. Самый грубый дикарь, возвращающийся с резни и пресыщенный кровью съеденных им врагов, будет тронут при виде страданий своего сотоварища и окажет ему всю зависящую от него помощь.

Прелюбодеяние и педерастия разрешены среди многих наций, но вы не найдете ни одной, где было бы дозволено нарушать свое слово, ибо общество может существовать при супружеских изменах и любви между мальчиками, но оно немыслимо среди людей, похваляющихся тем, что они друг друга обманывают.

В Спарте мелкая кража была в чести, потому что все богатство было общественным, но с того момента, как вы устанавливаете *твое* и *мое*, для вас становится невозможным рассматривать воровство иначе, как антиобщественное деяние, а следовательно, и как несправедливое.

Благо общества столь несомненно является единственной мерой нравственного добра и зла, что мы вынуждены бываем в случае нужды изменять все наши идеи, созданные нами себе относительно справедливого и несправедливого.

Мы испытываем отвращение к отцу, живущему как мужчина со своей собственной дочерью, и оскорбляем кличкой кровосмесителя брата, насилующего свою сестру, но, когда речь идет о молодой колонии, где не остается никого, кроме отца, имеющего сына и двух дочерей, мы считаем весьма достойным делом заботу, которую берет на себя эта семья, чтобы не дать погибнуть роду.

Брат, убивающий брата,— чудовище; однако брат, не имеющий иного средства спасти свою родину, как

принести в жертву другого брата, считался бы человеком божественным.

Все мы любим истину и делаем из этой любви добродетель, ибо в наших собственных интересах — не подвергаться обману. Мы связываем тем большее бесчестье с ложью, что из всех скверных поступков ее легче всего скрыть и наименьших усилий стóит ее предпринять; однако в сколь многих случаях ложь оказывается героической! Например, если речь идет о спасении друга, тот, кто в этом случае скажет правду, покроет себя позором; при этом мы не делаем никакого различия между человеком, оклеветавшим невинного, и братом, имеющим возможность спасти жизнь своему брату при помощи лжи, но предпочитающим его предать, говоря правду. Память г-на де Ту, коему перерезали глотку за то, что он не пожелал разоблачить заговор Сен-Мара, благословенна среди французов; но если бы он не солгал, к его памяти испытывали бы отвращение.

Однако, скажут мне, ведь преступление и добродетель, нравственные благо и зло существуют только по отношению к нам; значит, не бывает блага самого по себе, независимого от человека? Я же спрошу у тех, кто задает этот вопрос, существуют ли холод и жара, сладость и горечь, хороший и скверный запах иначе, чем по отношению к нам? Не правда ли, человек, который утверждал бы, будто жара существует сама по себе, явил бы себя весьма комичным мыслителем? И почему те, кто утверждает, будто нравственное добро существует независимо от нас, рассуждают лучше? Наше физическое благо и зло не имеют иного существования, как по отношению к нам; почему же наше моральное благо и зло должны представлять собой иной случай?

Разве замыслы Создателя, пожелавшего, чтобы человек жил в обществе, не получили достаточного воплощения? Если бы некий закон, упавший с неба, поведал бы смертным отчетливо волю бога, нравственное благо было бы не чем иным, как соответствием этому закону. Когда бы бог сказал людям: «Я желаю, чтобы на Земле было много королевств и не было бы ни единой республики. Я желаю, чтобы младшие сыновья получали в свое распоряжение все состояние своих отцов и чтобы карался смертью всякий, употребивший в пищу индюков

или свинью»,— эти законы, несомненно, стали бы нерушимым правилом добра и зла. Но коль скоро бог не удостоил, насколько я знаю, вмешаться таким образом в наше поведение, нам приходится довольствоваться пока тем, что́ он успел для нас сделать. Эти его дары — разум, любовь к самому себе, доброжелательство к особям нашего вида, потребности, страсти — суть средства, с помощью коих мы учредили общество.

Многие здесь готовы мне возразить: А если я решу, что благополучие мое состоит в том, чтобы расстроить ваше общество, убить, украсть, оклеветать, меня ведь ничто от этого не удержит и я смогу без зазрения совести предаться своим страстям! Для подобных людей у меня нет иного ответа, кроме того, что они будут повешены, точно так же как я велел бы убить волков, которые вздумали бы украсть моих овец; именно для таких людей и устанавливаются законы, подобно тому как черепичные кровли были изобретены против града и дождя.

Что касается государей, в руках у которых сосредоточена сила и которые злоупотребляют ею, чтобы опустошать мир, которые посылают на смерть одну часть людей и ввергают в нищету другую, то это вина самих людей, терпящих подобные свирепые расправы, часто почитаемые ими даже под именем доблести; они должны упрекать во всем этом одних лишь себя и негодные законы, учрежденные ими, либо недостаток у себя смелости, мешающий им заставить других исполнять законы хорошие.

Все эти государи, причинившие столько зла людям, первые кричат о том, что бог дал нам правила добра и зла. Среди этих бичей земных нет ни одного, кто не свершал бы самые торжественные религиозные обряды; поэтому я не вижу большого выигрыша для людей от наличия таких пра́вил. С человеческой природой сопряжено то несчастье, что вопреки нашему большому желанию себя сохранить мы неистово и безумно взаимно уничтожаем друг друга. Почти все животные пожирают друг друга, в человеческом же роде самцы истребляют друг друга в войне. Правда, кажется, бог предвидел это бедствие и потому сделал так, что среди нас рождается больше мужчин, чем женщин: в самом деле, народы, более пристально заботившиеся об интересах нашего ро-

да и составлявшие точные реестры рождений и смертей, сделали наблюдение, что, поскольку одно вызывает другое, мужчин ежегодно рождается на двенадцатую часть больше, чем женщин.

Из всего этого легко усмотреть большу́ю вероятность того, что все эти убийства и грабежи пагубны для общества, но совершенно безразличны для божества. Бог послал на Землю людей и зверей, а уж от них самих зависит вести себя там наилучшим образом. Горе мухе, попавшей в паутину, раскинутую пауком! Горе волу, на которого нападает лев, и баранам, повстречавшим на своем пути волка! Но если бы баран вздумал сказать волку: тебе недостает нравственного блага, и бог тебя покарает! — волк бы ему ответил: я пекусь о своем физическом благе, и, по всей видимости, бога не слишком заботит, съем я тебя или нет. И самое лучшее, что остается делать барану,— это не удаляться от пастуха и собаки, которые могут его защитить.

Если бы небу было угодно, чтобы высшее бытие действительно дало нам законы и предназначило кары и воздаяния! Чтобы оно нам рекло: вот это — порок сам по себе, а это — сама по себе добродетель. Но мы столь далеки от обладания правилами добра и зла, что из всех тех, кто осмелился дать людям законы от имени бога, нет ни одного, кто бы дал нам десятитысячную долю правил, в которых мы нуждаемся для нашего поведения в жизни.

Если кто-либо из всего этого заключит, будто не остается ничего иного, как безоглядно предаться всей исступленности своих необузданных вожделений, и будто, не имея в себе ни добродетели, ни порока, можно безнаказанно вершить что угодно, такому человеку надо сначала подумать, есть ли у него армия из ста тысяч солдат, вполне готовых к его услугам; хотя и в этом случае он очень рискует, объявляя себя, таким образом, врагом человечества. Когда же этот человек — просто частное лицо, то, если у него есть хоть чуть-чуть разума, он поймет, что избрал весьма злую долю, и неминуемо будет наказан, будь то при помощи кар, мудро изобретенных людьми для врагов общества, или одним только страхом пред этими карами, каковой сам по себе есть достаточно жестокое наказание. Он увидит, что жизнь людей, бросающих вызов законам, обычно самая

жалкая. Морально немыслимо, чтобы злодей не был узнан; с того самого момента, как на него падает лишь тень подозрения, он неминуемо замечает, что стал объектом презрения и отвращения. Но ведь бог мудро одарил нас гордостью, для которой невыносимо, когда другие люди нас ненавидят и презирают; быть презираемым теми, вместе с кем мы живем,— этого никогда никто не мог и не сможет вынести. Быть может, это и есть самая сильная узда, накинутая природой на человеческие несправедливости; бог счел уместным связать людей этим взаимным страхом. Итак, любой из людей разумно заключит, что явно в его интересах быть порядочным человеком. Знание человеческого сердца, которым он будет обладать, и убежденность, что ему не присущи сами по себе ни добродетель, ни порок, никогда не помешают ему быть добрым гражданином и выполнять свои жизненные обязанности. Так, можно заметить, что философы (которых окрестили атеистами и вольнодумцами) во все времена были самыми порядочными людьми на свете. Не говоря здесь обо всех великих людях античности, известно, что Ламот Левайе[11], наставник брата Людовика XIII, Бейль, Локк, Спиноза, милорд Шефтсбери, Коллинз и т. д. были людьми суровейшей добродетели; при этом не один только страх перед людским презрением сделал их добродетельными, но и вкус к добродетели как таковой. Правильный ум бывает честным по той самой причине, по какой тот, чей вкус не извращен, предпочитает превосходное вино из Нюиза вину из Бри и куропаток из Мана конине. Разумное воспитание укрепляет подобные чувства в людях, и отсюда возникло всеобщее чувство, именуемое *чувством чести*, от которого не могут отделаться самые развращенные люди и которое является стержнем общества. Те, кто нуждается в поддержке религии для того, чтобы быть порядочными людьми, достойны всяческого сожаления; надо быть изгоями общества, чтобы не находить в самих себе чувств, необходимых для этого общества, и быть вынужденными заимствовать извне то, что должно быть присуще нам по природе.

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НЬЮТОНА

Часть первая
МЕТАФИЗИКА

Глава I
О БОГЕ. ДОВОДЫ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ВСЕ УМЫ. ДОВОДЫ МАТЕРИАЛИСТОВ

Ньютон был глубоко убежден в существовании бога и разумел под этим словом не только бесконечное бытие, всемогущее, вечное и созидающее, но и господина, установившего определенное отношение между собой и своими творениями: ведь без этого отношения познание бога было бы всего-навсего бесплодной идеей, которая, казалось бы, из-за надежды на безнаказанность, должна толкать на преступление любого мыслящего человека, рожденного порочным.

Итак, этот великий философ в конце своих «Основ» сделал оригинальное замечание, а именно он отметил, что никто не говорит *мой вечный, мой бесконечный*, ибо эти атрибуты не имеют никакого отношения к нашей природе, но говорят *мой бог*, под каковым выражением следует понимать господина и хранителя нашей жизни и объект наших размышлений. Я припоминаю, что во время многочисленных моих бесед в 1726 году с доктором Кларком философ этот ни разу не произнес имени бога иначе чем с видом сосредоточенности и весьма заметного почтения.

Я признался ему в том, что это произвело на меня известное впечатление, он же мне отвечал, что незаметно для себя перенял эту привычку от Ньютона и что она действительно должна стать обычаем всех людей.

Вся философия Ньютона необходимо подводит к познанию верховного бытия, всё сотворившего и упорядочившего по своему произволу. Ибо если, согласно Ньютону (и в соответствии с разумом), мир конечен, если существует пустое пространство, значит, материя существует не необходимо и получила свое существование от произвольной причины. Если материя испытывает тяготение, как он это доказал, то происходит это не в силу ее природы — так, например, как она является

в силу своей природы протяженной,— но потому, что она получила силу тяготения от бога. Если растения развиваются в том или ином направлении в свободном пространстве, значит, рука их создателя направила их развитие в данную сторону с абсолютной свободой.

Это вовсе не значит, что так называемые физические принципы Декарта таким же образом подводят ум к познанию своего Творца. Богу не угодно, чтобы я путем страшной клеветы обвинил этого великого человека в презрении к тому самому верховному разуму, коему он стольким был обязан и который поставил его выше почти всех людей его века! Замечу только, что характерные для него некоторые случаи злоупотребления своим разумом подвели его учеников к тем безднам, от которых сам их наставник был очень далек; я утверждаю, что Декартова система породила систему Спинозы; я говорю, что знал многих, кого картезианство заставило не признавать иного бога, кроме необъятности вещей, и, наоборот, я не видел ни одного ньютонианца, который не был бы теистом в самом строгом смысле этого слова.

С того момента, как приходят вместе с Декартом к убеждению в невозможности существования конечного мира и в том, что движение постоянно сохраняет свое количество, с того момента, как осмеливаются заявить: дайте мне материю и движение, и я сотворю мир,— с этого момента, как необходимо признать, подобные идеи исключают, по-видимому, в силу весьма точных следствий, идею единственного бесконечного бытия, единственного творца движения, единственного создателя устройства субстанций.

Быть может, многие выразят здесь удивление по поводу того, что из всех доказательств существования бога доказательство, основанное на конечных причинах, было в глазах Ньютона наиболее веским. Замысел, или, точнее, бесконечно разнообразное число замыслов, проблескивающих как в самых обширных, так и в самых ничтожных частицах Вселенной, дают наглядное доказательство, в силу своей ощутимости почти презираемое некоторыми философами; словом, Ньютон считал, что эти бесчисленные взаимосвязи, замечаемые им в большей степени, чем другими, были творением безгранично искусного мастера.

Он не придавал большого значения великому доказательству, вытекающему из факта преемственности живых существ. Обычно говорят, что, если бы люди, животные и растения — всё, из чего состоит мир,— существовали извечно, мы вынуждены были бы допустить беспричинный ряд поколений. Существа эти, как притом замечают, не имели бы тогда первопричины своего существования: не было бы внешней его причины, ибо, согласно предположению, их воспроизводство из поколения в поколение не имело бы никакого начала; не было бы и внутренней его причины, ибо ни одно из этих существ не может существовать само по себе. Итак, все было бы следствием, и ничто — причиной.

Ньютон находил, что аргумент этот основан на двусмысленности понятий *поколения* и *существа, созданные друг другом*, ибо атеисты, допускающие заполненное пространство, отвечают, что, собственно говоря, не существует никаких поколений, никаких сотворенных существ и никаких разнообразных субстанций. Вселенная — единое целое, необходимо существующее и непрестанно развивающееся; это — единое бытие, природа которого обусловливает неизменность его субстанции и бесконечную изменчивость его акциденций; таким образом, аргумент, основанный исключительно на последовательной преемственности существ, возможно, окажется неубедительным для атеиста, отрицающего множественность существ. Атеист призовет себе на помощь древние аксиомы, гласящие, что ничто не рождается из ничего, что одна субстанция не может порождать другую, что все сущее вечно и необходимо. Поэтому с ним надо сражаться иным оружием; ему надо дать понять, что материя сама по себе не может иметь никакого движения, что, если бы она имела сама по себе хоть малейшее движение, это движение было бы ей внутренне присуще, а в этом случае наличие в ней покоя оказалось бы противоречием. Но если атеист на это отвечает, что ни одна вещь не находится в покое, что покой — фикция, идея, несовместимая с природой вселенной, что безгранично тонкая материя вечно циркулирует во всех телесных порах, если он утверждает, что в природе движущие силы постоянно уравновешены и такое постоянное равновесие сил, по-видимому, доказывает необходимость движения,— и в этом случае надо

также прибегнуть к иному оружию против него, пусть это и вынудит его к продолжению борьбы; одним словом, я не знаю, существует ли какое-либо более разительное метафизическое доказательство, чем это,— такое, которое больше убеждало бы человека, чем великолепный порядок, царящий в мире; не знаю, существовал ли когда-либо более прекрасный аргумент, чем стих: *Coeli enarrant gloriam Dei**. Итак, вы видите, что Ньютон не приводит никакого иного аргумента в конце своей «Оптики» и своих «Принципов». Он не усматривал более убедительного и более прекрасного рассуждения в пользу божества, нежели рассуждение Платона, вкладывающего в уста одного из участников диалога следующие слова: вы решаете, что я обладаю разумной душой, потому что замечаете упорядоченность моих слов и действий; судите же на основе порядка, царящего в этом мире, о существовании верховной разумной души.

Но если доказано, что есть вечное, бесконечное и всемогущее существо, тем самым еще не доказано, что такое существо бесконечно благое в том смысле, какой мы придаем сему слову.

Вот это-то и есть серьезное прибежище атеиста: если я допускаю бога, говорит он, этот бог должен быть благом как таковым; тот, кто дал мне существование, обязан сделать это существование счастливым; но я не усматриваю в роде человеческом ничего, кроме беспорядка и горя; необходимость вечной материи отпугивает меня меньше, чем Творец, столь скверно относящийся к своим творениям. Мои справедливые жалобы и жестокие сомнения, продолжает он, нельзя успокоить заявлениями, что первый человек, состоявший из тела и души, разгневал Творца и род человеческий несет за это преступление кару; ибо, во-первых, если наши тела происходят от этого первого человека, то наши души — вовсе не от него, а если бы даже они и могли быть от него, кара Отца, осуществляемая над всеми его детьми, представляется ужаснейшей из несправедливостей; во-вторых, кажется очевидным, что американцы и такие народы старого мира, как негры и лапландцы,

---

* *«Небеса повествуют о славе Божьей»* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

вовсе не произошли от первого человека. Внутреннее строение органов негра — явное тому доказательство; итак, никакие доводы не могут усмирить ропот, поднимающийся в моем сердце против зол, наводняющих земной шар. Таким образом, я вынужден отбросить идею верховного бытия, Творца, которого я должен постигать как безгранично благого и который, напротив, был бы причиной бесчисленных зол, и я предпочитаю допустить необходимое существование материи и поколений, а также вечные изменения, нежели бога, по своему произволу плодящего несчастных.

Атеисту этому отвечают: слово «благо», *благополучие* — двусмысленно. То, что скверно по отношению лично к вам, есть благо с точки зрения всеобщего порядка. Идея бесконечного бытия, всемогущего, абсолютно разумного и присутствующего повсюду, не возмущает ваш разум; так что же, вы станете отрицать бога лишь потому, что вас охватил приступ лихорадки? Он обязан вам дать *благополучие*, утверждаете вы; но на каком основании? Почему он обязан это делать? Разве он заключил с вами какой-либо договор? Значит, чтобы признать бога, вам не хватает лишь неизменно счастливой жизни? Но я полагаю, что посреди продолжительного столетнего счастья вы не избежите головной боли; что же, эта мгновенная боль заставит вас отрицать Творца? Видимо, нет. Однако если четвертьчасовое страдание вас не останавливает, почему два часа, день или год мучений заставляют вас отбросить идею верховного и универсального мастера?

Доказано, что в этом мире существует больше добра, чем зла: ведь в действительности немногие люди желают себе смерти. Вы же неправомерно выражаете ваши жалобы от лица всего человеческого рода и еще более несправедливо отрицаете своего владыку под предлогом того, что некоторые из его подданных несчастны. Если вы исследуете взаимосвязи, присутствующие в механизме живого существа, и замыслы, проблескивающие повсюду в способе получения этим живым существом своей жизни, ее поддержания и передачи, вы без труда признаете этого верховного мастера; и неужто ваше мнение изменится оттого, что волки пожирают овец, а пауки улавливают в свою паутину мух? Или вы не видите, что, напротив, все эти непрерывные поколения,

постоянно истребляемые и воспроизводимые вновь, являются составными частями общего плана вселенной? Вы отвечаете: я вижу здесь искусство и силу, но ни малейшей благости. Но позвольте! Когда вы выращиваете в питомнике животных, которых затем убиваете, вы не желаете, чтобы вас называли злодеем, и обвиняете в жестокости господина всех существ, сотворившего их затем, чтобы в свое время они были съедены?! Но в конце концов, если вы можете быть счастливы целую вечность, стоят ли некоторые скорби в преходящий момент, именуемый жизнью, того, чтобы о них говорить?

Вы не признаете Творца благим, ибо на Земле существует зло. Но если бы верховное бытие заменила необходимость, была ли бы она чем-то лучшим? В системе, признающей бога, требуется только преодолеть сомнения, во всех же прочих системах надо уничтожать нелепости.

Философия достаточно хорошо показывает нам существование бога; но она бессильна объяснить нам, что́ он собой представляет, каковы его действия и как и почему он делает то или иное.

Мне кажется, для того чтобы его познать, надо быть им самим.

Глава II

О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ КАК СВОЙСТВАХ БОГА. МНЕНИЕ ЛЕЙБНИЦА. МНЕНИЕ И ДОВОДЫ НЬЮТОНА. НЕВОЗМОЖНОСТЬ БЕСКОНЕЧНОЙ МАТЕРИИ. ЭПИКУР ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ ДОПУСТИТЬ СОЗИДАЮЩЕГО И ПРАВЯЩЕГО БОГА. СВОЙСТВА ЧИСТОГО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Ньютон рассматривает пространство и время как две сущности, существование коих необходимо проистекает от самого бога; ибо бесконечное бытие находится всюду, а следовательно, повсеместность существует; вечное бытие длится извечно, значит, вечная длительность реальна.

В конце «Вопросов оптики» у Ньютона вырвались следующие слова: *Разве не свидетельствуют эти явления природы о том, что существует некое бестелесное, разумное бытие, присутствующее повсюду, которое в безграничном пространстве, как в своем чувствилище,*

видит, различает и постигает всё самым глубоким и совершенным образом?

Знаменитый философ Лейбниц, признавший до Ньютона, так же как тот, реальность чистого пространства и времени, но в течение длительного срока не получавший более с его стороны никакого отклика и возглавивший в Германии школу противоположного направления, выступил против этих выражений английского философа в письме, написанном им в 1715 году покойной королеве английской, супруге Георга Второго; государыня эта, заслуживавшая честь состоять в переписке с Лейбницем и Ньютоном, затеяла регулярный письменный диспут между двумя несогласными сторонами. Однако Ньютон, враг всяких споров и человек, дороживший своим временем, поручил доктору Кларку, своему ученику в области физики, бывшему, по крайней мере, равным ему в метафизике, выступить его поборником в этом состязании. Диспут развернулся по поводу почти всех метафизических идей Ньютона, и, быть может, это самый прекрасный памятник литературных сражений, каким мы располагаем.

Кларк начал с обоснования сравнения с *чувствилищем*, которым воспользовался Ньютон[1]; он выдвинул положение, что ни одно существо не может действовать, познавать, видеть там, где оно не присутствует; но бог, всевидящий и действующий повсюду, действует и видит во всех без исключения точках пространства, которое в одном только этом смысле может рассматриваться как его *сенсорий*, если принять во внимание беспомощность в выражении своих мыслей на любом языке, когда мы осмеливаемся говорить о боге.

Лейбниц утверждает, что пространство — всего лишь постигаемое нами отношение между сосуществующими вещами, всего лишь ряд тел, их размещение, расстояния между ними и т. д. Кларк вслед за Ньютоном утверждает: если пространство нереально, это приводит к абсурду; ибо, если бы бог поместил Землю, Луну и Солнце на то место, где находятся неподвижные звезды и Земля, Луна и Солнце были бы расположены друг по отношению к другу в том же порядке, в каком они расположены сейчас, из этого вытекало бы, что Земля, Луна и Солнце находились бы тогда в том же

месте, где они находятся ныне, а это означает противоречие в терминах.

Согласно Ньютону, время, так же как и пространство, следует считать весьма реальным; ибо, если бы время было всего лишь порядком смены поколений существ, из этого следовало бы, что всё, происходящее ныне, и всё, что произошло тысячелетия тому назад, произошло в самом себе в одно и то же мгновенье, и это также означает противоречие.

Итак, пространство и время — количественные понятия, а это есть нечто весьма позитивное.

Сто́ит обратить внимание на старый аргумент, на который никто пока не дал ответа. Когда человек на краю вселенной вытягивает руку, рука эта должна оказаться в чистом пространстве, ведь она не может быть в ничем; и если на это отвечают, что она при этом все еще остается в материи, то мир в таком случае бесконечен, а значит, мир — это бог.

Итак, чистое, пустое пространство существует, равно как и материя, причем существует оно именно необходимо, в то время как материя существует лишь благодаря свободной воле Творца.

Но, скажут нам, вы допускаете необъятное, безграничное пространство; почему же вы не относите того же самого и к материи? Различие состоит здесь в следующем: пространство существует необходимо, ибо необходимо существует бог; оно необъятно, оно так же, как и время, есть модус, бесконечное свойство бесконечно необходимого бытия. Материя — нечто совсем иное: она не существует необходимо; и если бы эта субстанция была бесконечной, она была бы либо свойством, внутренне присущим богу, либо самим богом, но она — ни то ни другое, а значит, она не бесконечна и не может быть таковой.

Я хотел бы вставить здесь одно замечание, на мой взгляд заслуживающее некоторого внимания.

Декарт допускал бога-творца, причину всего, но он отрицал возможность *пустоты*. Эпикур отрицал бога-творца, причину всего, и допускал *пустоту*; однако именно Декарт в соответствии со своими принципами должен был бы отрицать бога-творца, а Эпикур, наоборот, его допускать. И вот очевидное доказательство этой мысли.

Если бы пустота была невозможна и материя была

бесконечна, если бы протяженность и материя были одним и тем же, из этого должна была бы вытекать необходимость материи, но, если бы материя была необходима, она существовала бы сама по себе в силу абсолютной необходимости, присущей природе, первичной и предшествующей всему; в этом случае она была бы богом, и тот, кто допускает немыслимость пустоты, не должен, если он рассуждает последовательно, допускать иного бога, кроме материи.

Наоборот, если пустота существует, материя в силу этого не будет необходимым бытием, существующим само по себе, и т. д.; ибо то, что не находится повсюду, не может нигде существовать *в силу необходимости*. Итак, материя — не необходимое бытие, а значит, она была создана, и, следовательно, именно Эпикуру надо было верить — не скажу, что в его бесполезных богов, но в бога-творца и правителя; Декарту же следовало отрицать подобного бога. Почему же все-таки Декарт постоянно твердил о существовании творящего бытия, бога-хранителя, а Эпикур его отвергал? Да потому, что люди как в своих мыслях, так и в своем поведении редко следуют своим принципам и их системы, так же как их жизнь, полны противоречий.

Пространство — необходимое следствие существования бога; нельзя, собственно говоря, сказать, будто бог находится в пространстве или в каком-либо месте; но, находясь в силу необходимости повсюду, он только лишь этим образует необъятное пространство и место; точно так же и время, непрерывная вечная длительность — неизбежное следствие существования бога. Он не находится ни в бесконечной длительности, ни в моменте времени, но, существуя вечно, он тем самым образует временну́ю вечность.

Необъятное протяженное пространство, будучи нераздельным, может быть постигнуто как сумма многих частей: например, пространство, где находится Сатурн, иное, чем то, где находится Юпитер; но эти умопостигаемые части нельзя разделить; мы не можем поставить одну из этих частей на место другой, подобно тому как можно одно тело заместить другим.

Точно так же бесконечное время, нераздельное и не имеющее частей, может постигаться в виде множества частей, хотя мы никогда не сможем постичь часть

времени, замещающую другую его часть. Существа имеют бытие в определенном отрезке длительности, именуемом временем, и могут иметь бытие в любое другое время; но умопостигаемая часть длительности, какое бы это ни было время, не может не быть там, где она есть: прошлое не может стать будущим.

Пространство и время суть два необходимых и незыблемых атрибута вечного и необъятного бытия. Один лишь бог может познать всю протяженность, один лишь он может познать всю длительность. Мы измеряем некоторые так называемые части пространства с помощью протяженных тел, которые мы осязаем; мы измеряем так называемые части времени посредством замечаемых нами движений.

Здесь мы не входим в подробности физических доказательств: это будет темой других глав; достаточно будет заметить, что во всем, относящемся к пространству, времени и границам мира, Ньютон был последователем древних мнений Демокрита и Эпикура, а также множества философов, в чьи учения внес поправки наш прославленный Гассенди. Ньютон не раз говорил некоторым и ныне живущим французам, что он считает Гассенди обладателем весьма точного и мудрого ума и полагает честью для себя быть полностью согласным с ним во всех вопросах, о которых только что шла речь.

Глава III

О СВОБОДЕ БОГА И О ВЕЛИКОМ ПРИНЦИПЕ ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ. ПРИНЦИПЫ ЛЕЙБНИЦА ЗАХОДЯТ, БЫТЬ МОЖЕТ, ЧЕРЕСЧУР ДАЛЕКО. ЕГО СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ. ОТВЕТ НА НИХ. НОВЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ПРИНЦИПА НЕРАЗЛИЧИМЫХ [INDISCERNABLES]

Ньютон утверждал, что бог, бесконечно свободный, как и бесконечно могущественный, создал многие вещи, не имеющие иного основания для своего существования, кроме его воли. К примеру, планеты движутся с запада на восток, а не иначе; существует такое-то число живых существ, звезд, миров, а не иное; конечная вселенная находится либо в той, либо в этой точке пространства и т. д.; воля верховного Существа — единственное основание для всего этого.

Прославленный Лейбниц утверждал противоположное, основываясь на старинной аксиоме, использованной некогда Архимедом: *ничто не происходит без причины или без достаточного основания*, говорил он, и бог сделал всё наилучшим образом, ибо, если бы он не сделал всего наилучшим образом, он не имел бы причины для своих действий. Однако, говорили ньютонианцы, нет ничего наилучшего в безразличных [indifférénts] вещах; но безразличных вещей не существует, отвечали лейбницианцы. Ваша идея ведет к абсолютному фатализму, возражал Кларк; вы делаете из бога существо, действующее в силу необходимости, а следовательно, совершенно пассивное: это больше не бог. Ваш бог, отвечал на это Лейбниц, капризный мастеровой, определяющий себя [к творению] без достаточного основания. Основание — воля бога, возражал англичанин. Но Лейбниц настаивал на своем, и его нападки в подобном духе были очень резки. Он говорил: мы не знаем в природе двух тел, совершенно подобных друг другу, и таких тел быть не может; ибо если бы они были подобны, то, во-первых, это указывало бы на недостаток созидательной силы и могущества во всемогущем и всесозидающем боге. Во-вторых, в этом случае не было бы никакого основания, согласно которому одно из этих тел занимало бы данное место скорее, чем другое.

Ньютонианцы отвечали: прежде всего, неверно, будто множество подобных между собой вещей указывает на бесплодие и отсутствие мощи в Творце; ибо, если элементы вещей должны быть совершенно подобны друг другу, чтобы дать сходные результаты, например, если элементы вечно красных лучей света должны быть одинаковы, дабы образовать эти красные лучи, или если элементы воды должны быть одинаковы, чтобы образовать воду, это совершенное сходство, эта идентичность, отнюдь не принижая величия бога, является для меня наилучшим доказательством его могущества и его мудрости.

Если бы я осмелился добавить что-либо к аргументам таких людей, как Кларк и Ньютон, и позволить себе дискутировать с Лейбницем, я бы сказал, что лишь всемогущему бытию дано творить совершенно сходные вещи. Сколько бы усилий ни прилагал человек к созда-

нию такого рода творений, он никогда в этом не преуспеет, ибо его зрение никогда не будет столь острым, чтобы различить неодинаковости двух тел, ведь нужно видеть все вплоть до бесконечной малости, дабы сделать все частицы одного тела подобными частицам другого. Это удел одного лишь бесконечного бытия.

Во-вторых, могут сказать ньютонианцы, мы способны сразиться с Лейбницем его собственным оружием. Если все элементы вещей различны, если первичные частицы красного луча не полностью подобны, то исчезает достаточное основание для того, чтобы различные частицы давали всегда один и тот же неизменный цвет.

В-третьих, могли бы еще сказать ньютонианцы, если вы требуете достаточное основание для того, чтобы данный атом *A* находился в одном месте, а данный атом *B*, совершенно ему подобный,— в другом, то этим основанием является направляющее их движение; и если вы затем спрашиваете, какова причина этого движения, то либо вы вынуждены сказать, что движение это необходимо, либо должны признать, что начало ему положил бог. Наконец, если вы спросите, почему бог положил ему начало, то какое иное можете вы отыскать достаточное для этого основание помимо того, что богу нужно было учредить это движение для выполнения тех задач, кои замыслила его мудрость? Однако почему это движение идет вправо, а не влево, в направлении к востоку, а не к западу, в данный момент времени, а не в иной? Не следует ли здесь прибегнуть к присущей Творцу воле безразличия [Volonté d'indifférence]? Именно это оставляется на суд любого беспристрастного читателя.

Глава IV

О СВОБОДЕ, ПРИСУЩЕЙ ЧЕЛОВЕКУ. ПРЕВОСХОДНЫЙ ТРУД, НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТИВ СВОБОДЫ,— СТОЛЬ ХОРОШИЙ, ЧТО ДОКТОР КЛАРК ОТВЕТИЛ НА НЕГО ОСКОРБЛЕНИЯМИ. СВОБОДА БЕЗРАЗЛИЧИЯ. СВОБОДА СПОНТАННОСТИ. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — ВЕЩЬ ВЕСЬМА ОБЫЧНАЯ. ВЕСОМЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ

Согласно Ньютону и Кларку, безгранично свободное бытие сообщило человеку — своему творению — ограниченную долю этой свободы; под свободой в данном слу-

чае подразумевается не простая способность направлять свою мысль на тот или иной объект и начинать двигаться; под ней понимают не просто способность желать, но способность желать очень свободно, с присутствием полной и действенной воли, причем желать иногда даже без какой-либо иной причины, кроме собственного желания. На Земле не существует человека, который не чувствовал бы в себе иногда присутствие подобной свободы. Многие философы придерживаются противоположного мнения; они полагают, что все наши действия необходимо обусловлены и единственная свобода, которой мы располагаем, это свобода добровольно надевать иногда на себя кандалы, к которым приковывает нас рок.

Из всех философов, отважно выступавших в своих сочинениях против свободы, тем, кто, бесспорно, сделал это очень методично, с большой силой и ясностью, был Коллинз, член Лондонского магистрата, автор книги «О свободе мысли» и многих других трудов, столь же смелых, сколь и философичных.

Кларк, целиком и полностью разделявший мнение Ньютона по поводу свободы и отстаивавший право на нее как в качестве теолога весьма необычной секты, так и в качестве философа, с живостью откликнулся на выступления Коллинза и вложил в свои доводы столько язвительности, что стало, по крайней мере, ясно, насколько он чувствует силу своего противника. Он упрекает его в смешении всех идей за то, что Коллинз называет человека необходимым агентом. Он утверждает, что в указанном случае человек вовсе не будет агентом, однако кто же здесь не заметит явной придирки? Коллинз называет необходимым агентом все то, что производит необходимые действия. Какая разница, называть ли это «агентом» или «лицом страдательным»? Вопрос в том, является ли это лицо необходимо детерминированным.

Представляется, что, если бы можно было отыскать хоть один случай, когда человек бывает действительно свободен свободой безразличия, этого было бы достаточно для решения вопроса. Но какой взять здесь случай, если не тот, когда подвергается испытанию наша свобода? К примеру, мне предлагают повернуться вправо или влево или произвести другое какое-либо подобное действие, к которому меня не побуждает никакое удо-

вольствие и от которого меня ничто не отталкивает. Я делаю затем свой выбор, причем не следую в данном случае диктату своего разума, который подсказывал бы мне лучшее: ведь здесь нет ни лучшего ни худшего. Что же именно я при этом делаю? Я пользуюсь правом, данным мне Творцом, в определенных случаях желать и действовать единственно в силу моей собственной воли, а не по какой-то иной причине. Я имею право и возможность начать двигаться, причем начать с той стороны, с какой я хочу. Если в этом случае нельзя установить другой причины моего воления, для чего искать ее в чем-то ином, помимо самой моей воли? Итак, представляется вероятным, что мы обладаем свободой безразличия в отношении к безразличным вещам. Ибо кто осмелится сказать, будто бог не дал или не мог дать нам подобный дар? А если он это мог и мы ощущаем в себе присутствие этой силы, как можно утверждать, что у нас ее нет?

Я часто слышал химерические трактовки этой свободы безразличия: говорят, будто решаться на что-то без причины — удел безумцев; при этом забывают, что безумные люди — больные, не обладающие никаким видом свободы. Их необходимо детерминирует изъян в их органах [чувств]; они уже больше себе не хозяева, они ничего не могут себе избрать. Свободен тот, кто определяет себя к чему-то сам. И почему нам не определять себя в индифферентных случаях с помощью одного своего воления?

Мы обладаем свободой, которую я именую во всех остальных случаях *спонтанностью* [spontanéité]: это означает, что, когда у нас есть мотивы, они детерминируют нашу волю, причем мотивы эти являются конечным результатом действия нашего разума или инстинкта: так, когда мой разум представляет себе, что для меня лучше повиноваться закону, чем его нарушать, я повинуюсь закону со свободой, я добровольно делаю то, что́ меня обязывает делать *веление* моего разума.

Лучше всего этот вид свободы постигается тогда, когда наша воля борется с нашими желаниями. Мной владеет неистовая страсть, но разум мой заключает, что я должен этой страсти противиться; он представляет мне победу над этой страстью бо́льшим благом, нежели рабское служение своему вожделению. Последний мотив

берет верх над первым, и я побеждаю свое желание с помощью моей воли; я повинуюсь этому приказу своего разума в силу необходимости, но добровольно; я делаю не то, чего я желаю, но то, что́ хочу, и в таком случае я бываю свободен всей той свободой, к какой подобные обстоятельства оставляют меня восприимчивым.

Наконец, я не бываю свободным ни в коем смысле, когда моя страсть чересчур сильна, а разум чересчур слаб или когда мои органы [чувств] расстроены; к несчастью, люди очень часто оказываются именно в этом положении; таким образом, мне представляется, что спонтанная свобода для души — то же самое, что здоровье для тела; некоторые люди обладают ею в полной мере и прочно; другие часто ее утрачивают, иные болеют ее отсутствием всю свою жизнь; я полагаю, что все остальные способности человека подчинены тем же неравномерностям. Зрение, слух, вкус, сила, дар мышления бывают то более крепкими, то более слабыми; наша свобода, как и всё остальное, ограниченна, изменчива — одним словом, весьма незначительна, ибо весьма незначителен и сам человек.

Трудность, заключающаяся в согласовании свободы наших действий с вечным провидением бога, не останавливала Ньютона, поскольку он в этот лабиринт не углублялся; раз свобода эта установлена, не наше дело определять, каким образом бог провидит наши свободные действия. Мы не знаем, каким образом бог актуально усматривает то, что́ происходит. И поскольку у нас нет никакой идеи относительно его способа ви́дения, как можем мы иметь представление о его способе прови́дения? Все эти атрибуты должны быть для нас в равной мере непостижимы.

Следует признать, что против такой идеи свободы выдвигаются отпугивающие возражения.

Прежде всего, понятно, что упомянутая свобода безразличия была бы весьма легковесным даром, если бы она распространялась лишь на возможность плюнуть направо либо налево или выбрать чёт либо нечёт. Существенно в данном случае, чтобы Картуш и Шах-Надир обладали свободой не проливать человеческую кровь, и весьма маловажно, имеют ли Картуш и Шах-Надир возможность выставить вперед правую или левую ногу.

Далее, считают, что свобода безразличия невозможна: в самом деле, как можно принять решение без участия разума? Ты желаешь; но почему ты этого желаешь? Тебе предлагают на выбор чёт или нечёт, ты выбираешь чёт и притом не усматриваешь для этого никакого мотива; однако твоим мотивом является то, что в то самое мгновение, когда надо сделать выбор, тебе на ум приходит четное.

Всё имеет свою причину, значит, имеет ее и твоя воля[2]. Хотеть можно лишь вследствие последней идеи, полученной разумом.

Никто не может знать, какую идею он воспримет в следующий момент, а значит, никто не является господином своих идей и не может распоряжаться своим хотением и нехотением.

Если бы мы были здесь господами, мы могли бы делать нечто противное божественному порядку, присущему связи вещей в этом мире. Таким образом, любой человек мог бы изменять и действительно каждое мгновение изменял бы вечный порядок.

Вот почему мудрый Локк даже не смеет произносить слово «свобода»; свободная воля представляется ему всего лишь химерой. Он не понимал иной свободы, кроме возможности делать то, что́ желаешь. Подагрик не располагает свободой ходить, заключенный — свободой уйти из тюрьмы: первый получает свободу, когда выздоравливает; второй — когда перед ним раскрывается дверь.

Для того чтобы яснее осветить все эти тяжкие сомнения, я предполагаю, будто Цицерон хочет доказать Катилине, что он не должен устраивать заговор против своего отечества. Катилина отвечает ему: я в этом не волен; последние мои беседы с Цетегом вдолбили мне в голову идею заговора; идея эта нравится мне более любой другой, а ведь хотение бывает лишь следствием последнего суждения человека.— Но ты мог бы, говорит ему Цицерон, получить от меня другие идеи, направить внимание своего ума на то, чтобы меня выслушать и понять, что надо быть достойным гражданином.— Как бы не так, возражает ему Катилина, твои идеи меня возмущают и меня увлекает жажда тебя убить.— Я сожалею о твоем безумии, говорит ему Цицерон, постарайся принять мое лекарство.— Если я безумен, отвечает на это Катилина, я не волен в попытке себя

излечить.— Но, говорит ему консул, люди обладают запасом разума и могут к нему обратиться, с тем чтобы он излечил это расстройство в органах [чувств], делающее тебя порочным человеком,— особенно если расстройство это не слишком сильное.— Укажи мне, отвечает ему Катилина, в чем именно это расстройство может поддаться целительному воздействию? Что до меня, то, признаюсь, с первой минуты моего замысла все мои размышления приводили меня к мысли о заговоре.— Но когда ты впервые пришел к этому мрачному решению?— спрашивает его консул.— Когда я проиграл свои деньги.— Как! Неужели ты не мог воздержаться от игры?— Нет, ведь идея игры в тот день взяла во мне верх над всеми остальными идеями. И если бы я не стал играть, я нарушил бы порядок вселенной, приведший к тому, что Кварсилла выиграла у меня четыреста тысяч сестерций, купила себе на них дом и любовника, что от этого любовника у нее родился сын, что Цетег и Лентул пришли ко мне и затем мы составили заговор против республики. Рок сделал меня волком, а тебя — овчаркой; рок предопределил, кто из двух должен пожрать другого.— На это Цицерон мог ответить лишь катилинарией; и в самом деле, следует признать, что на возражения против свободы мы можем отвечать лишь расплывчатым красноречием,— печальный факт, по поводу которого наиболее мудрые боятся даже осмелиться размышлять.

Утешительна одна только мысль, а именно: какой бы системы мы ни придерживались и с какой фатальностью ни связывали бы все наши действия, мы всегда будем действовать так, как если бы мы были свободны.

Глава V

О ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ. МАЛООБОСНОВАННЫЙ УПРЕК, ДЕЛАЕМЫЙ ЛЕЙБНИЦЕМ НЬЮТОНУ. ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОДНОГО МНЕНИЯ ЛОККА. БЛАГО ОБЩЕСТВА. ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ. ГУМАННОСТЬ

Лейбниц в своей полемике с Ньютоном упрекнул последнего в том, что он дает о боге весьма низменные представления и уничтожает естественную религию. Он утверждал, будто Ньютон сделал бога телесным; и это

обвинение, как мы уже видели, было основано на ньютоновском слове *sensorium* (*чувствилище*). Он добавлял также, что бог Ньютона сделал из этого мира весьма скверный механизм, нуждающийся в шлифовке (Лейбниц пользуется именно этим словом). Ньютон сказал: *Manum emendatricem desideraret* *.

Упрек этот основан на словах Ньютона о том, что со временем движения станут слабее, возрастут неправильности в движении планет и вселенная либо погибнет, либо будет заново приведена в порядок своим Творцом.

На основе опыта вполне ясно, что бог создал механизмы с тем, чтобы они подверглись потом разрушению. Мы — создания его мудрости, и мы погибаем; почему же мир ждет не тот же удел? Лейбниц хочет, чтобы мир этот был совершенным, но, если бог ограничил его длительность определенным временем, его совершенство в этом случае заключается в том, чтобы бытие его продолжалось лишь вплоть до назначенного мгновения распада.

Что до естественной религии, то ни один человек не был бóльшим ее сторонником, нежели Ньютон,— разве лишь таким человеком является сам Лейбниц, его соперник в науке и добродетели. Я понимаю под естественной религией принципы морали, общие для всего человечества. Ньютон действительно не допускал у нас никаких врожденных знаний, идей, чувств или принципов. Вместе с Локком он был убежден в том, что все идеи мы получаем посредством чувств, по мере того как [органы] чувств развиваются; но он верил: так как бог дал одинаковые органы чувств всем людям, из этого вытекает одинаковость их потребностей и ощущений, а это приводит к одинаковости грубых понятий, повсюду являющихся базисом общества. Непреложным фактом является то, что бог дал пчелам и муравьям нечто, помогающее им жить в сообществе, чего он не дал ни волкам, ни соколам; достоверно также, что людям, поскольку они живут в обществе, присуща некая тайная связь, с помощью которой бог пожелал привязать их друг к другу. Но если в определенном

---

* Он нуждался в руке, которая его бы исправила (лат.).— *Примеч. переводчика.*

возрасте идеи, полученные с помощью одинаковых органов чувств людьми, организованными сходным образом, не сообщают им постепенно одни и те же принципы, необходимые всякому обществу, то можно с уверенностью сказать, что такие общества потерпят крах. Вот почему от Сиама до Мексики в почете правда, признательность, дружба и т. д.

Я всегда удивлялся тому, что мудрый Локк в начале своего «Трактата о человеческом разуме», столь верно опровергая *врожденные идеи*, утверждал при этом, будто не существует никакого понятия добра и зла, общего для всех людей. Я полагаю, что в данном случае он впал в заблуждение. Он основывается на сообщениях путешественников, рассказывающих, будто в некоторых странах существует обычай пожирать детей, а также матерей, когда они уже не могут рожать; что в других землях почитают как святых некоторых фанатиков, пользующихся вместо женщин ослицами; однако не должен ли был человек, столь мудрый, как Локк, заподозрить этих путешественников во лжи? Ничто так не распространено среди них, как неверные наблюдения и неверные сообщения об увиденном, а также привычка принимать злоупотребление законом за сам закон, особенно когда речь идет о нации, чей язык им неведом; наконец, здесь действует привычка судить о нравах целого народа по единичному факту, вдобавок произошедшему при непонятных обстоятельствах.

Пусть какой-нибудь перс прибудет в Лиссабон, Мадрид или Гоа в день, когда там происходит аутодафе: он не без основания решит, что христиане совершают человеческие жертвоприношения богу. Если он прочтет календари, продаваемые по всей Европе, он подумает, что все мы верим во влияние лунных фаз, а между тем мы вовсе в это не верим и над этим смеемся. Так, любой путешественник, который, к примеру, расскажет мне, будто дикари из сострадания пожирают своих отцов и матерей, должен позволить мне ответить ему, что, во-первых, факт этот очень сомнителен; во-вторых, если он верен, то, далеко не опровергая идею уважения, которым люди обязаны своим родителям, обычай этот, быть может, является неким варварским способом выразить свою нежность, т. е. ужасным извращением естественного закона: ведь ясно,

что своего отца или мать убивают из чувства долга, лишь для того, чтобы освободить их либо от недомоганий старости, либо от ярости врагов; и если затем им уготовляется могила в сыновнем чреве, вместо того чтобы дать их сожрать победителям, то обычай этот, каким бы страшным он ни рисовался воображению, несомненно, исходит от доброты сердца. Естественная религия есть не что иное, как закон, известный во всей вселенной: *поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали в отношении тебя*; и варвар, убивающий своего отца для того, чтобы избавить его от врага и похоронить его в своем чреве, когда им руководит страх, что могилой его отца окажется чрево его врага, стремится к тому, чтобы его сын поступил с ним в сходном случае точно таким же образом. Этот закон, заставляющий поступать со своим ближним, как с самим собой, является естественным следствием самых первых понятий и бывает рано или поздно услышан сердцами всех людей, ибо, поскольку разум у всех одинаков, необходимо, чтобы рано или поздно плоды этого древа оказались между собой сходными; и они действительно между собой сходны, а именно в том, что в любом обществе именуют добродетелью поведение, считающееся полезным для общества.

Найдите мне на Земле страну или компанию из десяти человек, где не уважали бы того, что полезно для общего блага, тогда я призна́ю, что не существует никакого естественного порядка. Разумеется, порядок этот разнообразен до бесконечности, но какое из этого можно вывести заключение, помимо того, что он существует? Материя принимает повсюду различные формы, но она повсюду сохраняет свою природу.

Например, можно сколько угодно говорить, что в Лакедемоне была узаконена мелкая кража,— мы усматриваем здесь лишь словесные ухищрения. То, что мы называем *кражей*, вовсе не поощрялось в Лакедемоне; но в полисе, где все было общим, разрешение ловко взять себе то, что частные лица противозаконно присвоили, было способом покарать дух собственности, запретный у этих народов. *Твое и мое* было там преступлением, а потому то, что мы именуем *кражей*, являлось у них карой; и для них, и для нас действует правило, согласно которому нас создал бог — как он создал муравьев — для совместной жизни.

Итак, Ньютон считал, что присущая всем нам склонность к жизни в обществе — базис естественного закона, совершенствуемого христианством.

Особенно присуща человеку склонность к сопереживанию, имеющая столь же всеобщую распространенность, как и прочие наши инстинкты. Ньютон культивировал это гуманное чувство и распространил его на животных; он был крепко убежден вместе с Локком в том, что бог дал животным (которые, казалось бы, являются только материей) определенную меру идей и те же самые чувства, что нам. Он не мог считать, будто бог, ничего не делающий впустую, дал животным органы чувств с тем, чтобы они не имели ни грана чувства.

Он считал ужасным противоречием верить, что животные чувствуют, и заставлять их в то же время страдать; он с отвращением уступал варварскому обычаю питаться кровью и плотью существ, подобных нам и которых мы каждодневно ласкаем; и он никогда не позволял, чтобы в его доме их убивали медленной и изощренной смертью, дабы этим сделать еду более тонкой на вкус.

Сострадание это, питаемое им к животным, превращалось в истинное милосердие к людям. В самом деле, без гуманности — добродетели, включающей в себя все остальные достоинства,— человек не заслуживает имени философа.

Глава VI

О ДУШЕ И О ТОМ, КАК ОНА СОЕДИНЕНА С ТЕЛОМ И КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАЕТ СВОИ ИДЕИ. ЧЕТЫРЕ МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ ИДЕЙ — МНЕНИЕ ДРЕВНИХ МАТЕРИАЛИСТОВ, МАЛЬБРАНША, ЛЕЙБНИЦА И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЭТОГО ПОСЛЕДНЕГО

Ньютон, подобно почти всем хорошим философам, был убежден, что душа — непостижимая субстанция. Многие лица, часто общавшиеся с Локком, заверяли меня, что Ньютон признавался Локку: *У нас недостаточно знаний о природе для того, чтобы осмеливаться утверждать, будто богу было невозможно даровать мысль какому бы то ни было протяженному существу.* Великая сложность заключена гораздо больше в том, чтобы понять, каким образом существо (кем бы оно

ни было) может мыслить, чем в понимании, каким образом могла стать мыслящей материя. Верно: мысль не имеет, по-видимому, ничего общего с атрибутами, известными нам в протяженном существе, именуемом телом; но знаем ли мы все свойства тела? Довольно дерзко заявлять богу: ты сумел дать движение, тяготение, рост и жизнь существу, но не можешь даровать ему мысль!

Вполне ли последовательно рассуждают те, кто утверждает, будто душа, если бы материя могла обрести дар мышления, утратила бы свое бессмертие? Разве для бога труднее сохранить, чем создать?

Более того, если неделимый атом существует вечно, почему не может так же вечно существовать заключенный в нем дар мышления? Если я не ошибаюсь, люди, отказывающие богу в способности придать идеи материи, вынуждены говорить, будто бытие, именуемое духом, есть существо, сущность которого — мышление, за вычетом какой бы то ни было протяженности. Иначе говоря, если природой духа по преимуществу выступает мышление, значит, он мыслит в силу необходимости и постоянно, подобному тому как любой треугольник имеет необходимо и постоянно три угла независимо от бога. Так что же, с того момента как бог создает нечто, не являющееся материей, абсолютно необходимо, чтобы это нечто мыслило? До чего же мы слабы и дерзки! Неужели мы твердо убеждены, будто бог не создал миллионы существ, не обладающих известными нам свойствами как материи, так и духа? Мы находимся в положении пастуха, который, никогда не видав ничего, кроме волов, сказал бы: *Если бы бог пожелал создать других животных, следовало бы, чтобы у них были рога и чтобы они жевали траву.* Надо все-таки с бóльшим уважением судить о божестве и либо утверждать, будто есть существа, независимо от него обладающие божественным атрибутом мышления, либо предполагать, что бог может придать этот атрибут тому существу, которое он удостоит с такой целью избрать.

Из одного этого можно видеть, сколь несправедливы те, кто пожелал вменить эту мысль в преступление Локку и со злобным коварством опровергал, пользуясь оружием религии, его чисто философскую идею.

Наконец, Ньютон был весьма далек от того, чтобы отважиться дать определение души, подобно тому как на это отважились многие другие. Он верил в возможность существования миллионов других мыслящих субстанций, природа которых может быть совершенно иной, нежели природа нашей души. Таким образом, различение, проводившееся некоторыми во всей природе между телами и духом, представлялось суждением слепца и глухого, определяющих чувства, не подозревая ни о зрении, ни о слухе; в самом деле, по какому праву можем мы утверждать, будто бог не наполнил необъятное пространство бесчисленными субстанциями, не имеющими с нами ничего общего?

Ньютон не создал для себя системы по поводу способа, каким душа соединена с телом и как образуются идеи. Враг систем, он обо всем судил аналитически; когда же ему недоставало этого светоча, он умел вовремя остановиться.

До сих пор в мире существовали четыре мнения относительно образования идей. Первое из них принадлежит почти всем древним народам, которые, не домысливая ничего за пределами материи, рассматривали наши идеи как отпечаток в нашем сознании, подобный отпечатку на воске. Эта смутная мысль носила скорее характер грубого инстинкта, чем рассуждения. Философы, пожелавшие затем доказать, что материя мыслит сама по себе, еще более заблуждались; ибо толпа ошибается, не рассуждая, они же заблуждались принципиально; ни один из них никогда не сумел отыскать в материи то, что доказывало бы присутствие способности мышления в ней как таковой.

Кажется, один только Локк сумел снять противоречие между материей и мыслью, сразу прибегнув к Творцу всякой материи и всякой мысли и скромно сказав: *Разве не может тот, кто всемогущ, заставить мыслить материальное существо — атом, элемент материи?* Он, как человек мудрый, настаивал на этой возможности: утверждать, что материя действительно мыслит, было, по-видимому, верхом дерзости; ну, а утверждать противоположное разве менее дерзко?

Второе мнение, наиболее распространенное, состоит в том, что душа и тело оказываются двумя существами, не имеющими между собой ничего общего, а между тем

утверждается, будто бог создал их для того, чтобы одно из них воздействовало на другое. Единственным доказательством этого воздействия является опыт, которым располагает, как думают, каждый: мы ощущаем, что наше тело то повинуется нашей воле, то, наоборот, эту волю обуздывает; мы воображаем, будто они реально взаимодействуют, ибо мы это чувствуем и нам невозможно исследовать вопрос глубже. Такой системе делают возражение, остающееся, по-видимому, без ответа, а именно: если внешний объект сообщает, к примеру, возбуждение нашим нервам, движение это доходит до нашей души или же не доходит; если оно до нее доходит, оно сообщает ей движение, а это предполагает телесную душу; если оно до нее не доходит, никакого воздействия не возникает. Все, что можно на это ответить: такое воздействие принадлежит вещам, механизм которых никому не известен,— печальный способ умозаключения, но почти единственный, подобающий человеку по многим пунктам метафизики.

Третья система — окказиональные причины Декарта, причем Мальбранш зашел в ней еще дальше. Он начинает с предположения, будто душа не может иметь никакого влияния на тело, и, отталкиваясь от этого, чересчур забегает вперед: ведь из того, что воздействие души на тело не может быть постигнуто, вовсе не следует, будто оно невозможно. Далее он предполагает, что материя в качестве случайного повода воздействует на наше тело, и тогда бог производит в нашей душе идею; затем человек отвечает на это актом волеизъявления, а бог немедленно воздействует на тело в результате подобного акта: таким образом, человек действует и мыслит только в боге; мне кажется, что пояснить эту мысль можно лишь сказав, что один только бог за нас мыслит и действует.

Груз сомнений, вытекающих из этой гипотезы, нас подавляет: каким образом, согласно данной системе, человек может сам изъявлять свою волю и не может сам мыслить? Если бог не дал нам способности самим формировать идеи и производить движения, если один лишь он действует и мыслит, то лишь один он изъявляет волю. Мы не только более не свободны — мы вообще ничто, или же мы — модификации самого бога. В этом случае у человека более нет ни души ни разума,

и не стоит труда объяснять связь тела с душой, ибо последней не существует, а существует один только бог.

Четвертой системой является предустановленная гармония Лейбница. Согласно его гипотезе, душа не имеет никакой связи со своим телом; это два сотворенных богом часовых механизма, каждый из которых имеет свою пружину и которые в течение определенного времени действуют в совершенном согласии: один из них указывает время, другой его вызванивает. Часы, указывающие время, не указывают его тогда, когда другие часы звонят; но бог учредил их движение таким образом, что стрелка и звонок находятся в постоянном соотношении. Так, душа Вергилия создала «Энеиду», а его рука ее написала, ничуть не подчиняясь намерению автора; это бог все время распоряжался так, что душа Вергилия создавала стихи, а рука, связанная с телом Вергилия, их записывала.

Не говоря о том, что крайне сложно примирить свободу с этой предустановленной гармонией, необходимо сделать следующее, весьма веское возражение; если, согласно Лейбницу, ничто не происходит без достаточной причины, заложенной в основе вещей, какое могло быть у бога основание объединить между собой два несоизмеримых бытия, столь разнородных и столь безгранично различных между собой, как душа и тело, из которых одно никак не воздействует на другое? С таким же успехом, как в мое тело, можно было бы тогда поместить мою душу в планету Сатурн: связь между душой и телом здесь — дело совершенно излишнее. Однако остальная часть системы Лейбница еще более необычна; принципы ее можно прочесть в «Приложениях к Лейпцигским лекциям» (том VII); можно также обратиться к обширным комментариям многочисленных немцев, выполненным чисто геометрическим методом.

Согласно Лейбницу, существуют четыре вида простых субстанций, именуемых им *монадами*, как мы увидим это в главе VIII; здесь же мы будем говорить лишь о разновидности *монады*, именуемой нашей душой. Душа, по утверждению Лейбница,— средоточие, *живое зеркало целой вселенной*, в котором собраны все смутные идеи всех модификаций этого мира — настоящих, прошедших и будущих. Когда Ньютон, Локк и Кларк услыхали разговоры об этом мнении, они выразили

по отношению к нему столь великое пренебрежение, как если бы его автором был не Лейбниц; но, поскольку величайшие немецкие философы почли честью для себя объяснить то, чего ни один из англичан не желал даже слышать, я вынужден пролить свет на эту гипотезу знаменитого Лейбница, ставшую для меня более почтенной после того, как вы сделали ее объектом ваших исследований.

Всякое простое и сотворенное бытие, говорит Лейбниц, подвержено изменениям, ибо в противном случае оно было бы богом: душа — простое, сотворенное бытие, следовательно, она не может оставаться в одном и том же состоянии; тела же, будучи сложными, не способны вызывать никаких изменений в простом бытии; отсюда необходимо следует, что изменения в душе имеют своим источником ее собственную природу. Итак, ее изменения — это последовательные идеи вещей нашей вселенной; некоторые из них являются ясными; однако, говорит Лейбниц, все вещи этой вселенной настолько зависят одна от другой, настолько друг с другом навсегда связаны, что в случае, когда душа обладает ясной идеей одной из этих вещей, идеи всего остального у нее по необходимости смутны и туманны.

Дабы пояснить эту мысль, можно было бы привести пример человека, обладающего ясной идеей какой-то игры: в то же самое время у него есть большое число смутных идей многочисленных комбинаций в этой игре. Человек, актуально располагающий ясной идеей треугольника, имеет одновременно идею многочисленных свойств треугольника, которые, в свою очередь, могут представиться его уму более ясными. Вот в каком смысле *монада* человека является *живым зеркалом этой вселенной.*

На эту гипотезу легко ответить: если бог сделал нашу душу зеркалом, то зеркало это он сделал весьма мутным, и если нет иных оснований для столь странных предположений, помимо пресловутой неизбежной взаимосвязи всех вещей нашего мира, то это смелое здание построено на основаниях, которые невозможно усмотреть; ибо когда у нас есть ясная идея треугольника, это означает, что мы обладаем знанием существенных его свойств; и если идеи всех его свойств не сразу предстают пред нашим умом во всей их яркости, они тем

не менее там существуют, они заключены в упомянутой ясной идее, ибо они друг с другом необходимо связаны. Но имеем ли мы в этом случае совокупность вселенной? Если вы лишите треугольник одного из его свойств, вы отнимете у него всё; но если вы отнимете у вселенной песчинку, изменится ли от этого все остальное? Если из двух миллионов существ, выстроенных в ряд попарно, первые два поменяются между собой местами, разве остальные также в силу необходимости поменяют свои места? Разве не сохранят они между собой те же самые отношения? Более того, разве идеи человека имеют между собой такую же связь, какая предполагается между вещами этого мира? Что за связь, какое необходимое звено существует между идеей ночи и незнакомыми объектами, кои я вижу, когда просыпаюсь? Какая связь существует между преходящей смертью души в состоянии глубокого сна или обморока и идеями, получаемыми нами, когда мы приходим в сознание? И даже если бы для бога было возможно сделать все то, что вообразил себе Лейбниц, можно ли было бы поверить в это лишь на основе простой возможности? Что доказал он при помощи всех этих новых усилий? Лишь то, что он обладает великим умом; но объяснил ли он что-либо себе и другим? Странное дело! Мы не знаем, каким образом земля производит травинку, как порождает ребенка женщина, и в то же время считаем, будто нам известно, каким путем мы образуем идеи!

Если кто хочет знать, что́ думал Ньютон о душе и о способе ее действия, а также какое из этих мнений он принимал, я отвечу: из этих мнений он не следовал ни одному. Что же умел в этой области тот, кто подчинил расчету бесконечность и открыл законы тяготения? Он умел сомневаться.

Глава VII

ПЕРВОЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МАТЕРИИ. ОШИБКА НЬЮТОНА. ИСТИННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. НЬЮТОН ДОПУСКАЕТ АТОМЫ

Речь не идет здесь об исследовании того, какая из систем более смешна — та ли, что полагает в основу всех вещей воду, та, что приписывает это же свойство

огню, или та, что предполагает тесно, без промежутков, расположенные друг рядом с другом игральные кости, неведомо каким образом вращающиеся вокруг собственной оси.

Наиболее допустимой системой из всех была всегда та, согласно которой существует первичная материя, индифферентная ко всему, единообразная и способная образовывать любые формы, материя, комбинирующаяся различным образом и формирующая нашу вселенную. Все элементы этой материи одинаковы: она преобразуется в соответствии с различными проходимыми ею формами, подобно тому как расплавленный металл становится то урной, то статуей. Таково было мнение Декарта, великолепно согласующееся с его химерой относительно трех элементов. Ньютон в этом пункте, касающемся материи, был согласен с Декартом; однако он пришел к такому выводу иным путем. Поскольку он почти никогда не высказывал суждений, кои не были бы основаны на математической очевидности либо на опыте, он решил, что подобный опыт даст ему такое исследование: знаменитый Роберт Бойль, основоположник английской физики, в течение долгого времени держал воду в реторте на равномерном огне; химик, работавший с ним, решил, что вода в конце концов перешла в землю; сообщение это оказалось ложным, как впоследствии показал Бургаве, столь же точный физик, как и умелый врач; вода испарилась, земля же, оказавшаяся на ее месте, имела другое происхождение.

В какой мере следует остерегаться показаний опыта, если он сумел обмануть Бойля и Ньютона? Оба этих великих философа без труда поверили, что коль скоро элементарные частицы воды перешли в элементарные частицы земли, значит, элементы вещей суть одна и та же материя, различным образом организованная.

Если бы ошибочный эксперимент не привел Ньютона к этому выводу, надо думать, он рассуждал бы совсем иначе.

Очень прошу, чтобы читатели отнеслись внимательно к нижеследующему.

Единственный метод рассуждения, подобающий человеку,— анализ. Отправляться сразу от первых принципов подобает лишь богу; если можно, не кощунствуя, сравнить бога с архитектором, а вселенную — со зда-

нием, то как назовем мы путешественника, узревшего какую-то часть экстерьера строения и сразу осмеливающегося вообразить себе все мастерство его внутренней части? Однако именно это осмеливаются делать с тысячекратной дерзостью почти все философы.

Исследуем же это здание настолько, насколько сумеем; что же мы увидим вокруг себя? Животных, растения, минералы, под которыми я разумею все соли, серу и т. д., грязь, песок, воду, огонь, воздух,— и ничего большего, по крайней мере до настоящего момента.

До того как исследовать один лишь этот вопрос — являются подобные тела смешанными или нет,— я спрашиваю у себя следующее: возможно ли, чтобы материя, относительно которой предполагается, что она единообразна и сама по себе не есть ничто из сущего, тем не менее производила бы все то, что существует?

1) Что это такое — первичная материя, не являющаяся ни одной из вещей нашего мира, но все их производящая? Это — вещь, относительно которой я не могу иметь никакой идеи, а следовательно, я не должен ее допускать. Весьма верно, что я не могу образовать себе обобщенной идеи протяженной субстанции, непроницаемой и имеющей очертания, не привязывая свою мысль к песку, грязи, золоту и т. д.; но, значит, либо материя действительно есть одна из этих вещей, либо ее не существует вовсе; точно таким же образом я могу думать о треугольнике вообще, не задерживаясь мыслью на равностороннем, разностороннем или равнобедренном треугольнике, и т. д.; однако необходимо, чтобы реально существующий треугольник был одним из трех данных. Одна только эта идея, если ее как следует взвесить, окажется, быть может, достаточной для опровержения мысли о первичной материи.

2) Если какая бы то ни было материя, приведенная в движение, окажется достаточной для произведения на свет всего того, что́ мы усматриваем на Земле, не останется никакой причины, по которой бы прах, основательно перемешанный в бочке, не мог породить людей или деревья либо поле, засеянное зерном, не могло бы произрастить вместо пшеницы китов или раков.

Напрасно было бы здесь возражать, что такому произрастанию противятся углубления и борозды, вос-

принимающие семена; ибо при этом мы вынуждены были бы всегда возвращаться к вопросу: почему эти углубления и борозды столь неизменно детерминированы?

Но никакое движение, никакое искусство никогда не сумело произрастить на поле вместо пшеницы рыб, мушмулу вместо ягненка в утробе овцы, розы на вершине дуба или копыта у роя пчел, и т. д.; если все виды неизменно остаются одними и теми же, то не должен ли я прежде всего считать — на достаточном основании,— что все виды были предопределены господином мира, что существует столько же различных замыслов, сколько существует различных видов, и что из материи и движения без этих замыслов не образовалось бы ничего, кроме вечного хаоса?

В этом мнении меня укрепляют все показания опыта. Если я исследую, с одной стороны, человека или шелковичного червя, а с другой — птицу и рыбу, я вижу, что они были созданы такими от начала вещей: я усматриваю в них только развитие. Последнее имеет в человеке и насекомом некоторые черты сходства и некоторое различие; развитие рыбы и птицы имеет иные черты различия и сходства.

До того как быть воспринятыми маткой нашей матери, мы представляем собой червячка: там, во чреве, мы постепенно становимся куколками, пока находимся в оболочке, именуемой «сорочкой»; из этой «сорочки» мы выходим с руками и ногами, подобно тому как червь, став мошкой, выходит из своего склепа с крыльями и ножками; мы живем определенный срок так же, как он, и наше тело, подобно его телу, затем разлагается. Среди рептилий одни являются яйцекладущими, другие — живородящими; у рыб самка беременеет без приближения самца, всего только проходящего над отложенными икринками, чтобы их оплодотворить. Травяные тли, устрицы и т. д. производят себе подобных сами, без соития двух полов. У полипов в них самих есть материал, из которого они могут воспроизводить заново свои головы, когда им эти головы отсекают. У раков отрастают лапки. Растения и минералы развиваются по-разному. Каждое существо — отдельный мир; далеко до того, чтобы слепая материя производила все это при помощи одного лишь движения; гораздо правдо-

подобнее думать, что бог создал бесконечное число существ с помощью бесконечных средств, ибо он сам бесконечен.

Вот что я подозреваю прежде всего, наблюдая природу. Но если я вхожу в подробности и подвергаю опытному исследованию каждую вещь, результат оказывается следующим:

Я вижу сложные тела, такие, как растения и животные, которые я расчленяю и обнаруживаю некоторые их грубые элементы, [животный] дух, флегму, серу, соль, мертвую голову. Я вижу и другие тела — металлы и минералы, из которых я никогда не могу извлечь ничего иного, кроме их собственных более мелких частиц. Никогда в чистом золоте не будет ничего, кроме золота; никогда из чистой ртути не извлечешь ничего, кроме ртути. Песок, простая грязь, простая вода не могут быть превращены ни в какой иной вид веществ.

Какой же еще могу я из этого сделать вывод, кроме того, что растения и животные состоят из этих первичных веществ, никогда не разлагающихся на составные части? Такие первичные неизменяющиеся вещества являются элементами тел: итак, человек и мошка — это сочетание минеральных частиц грязи, песка, огня, воздуха, воды, серы, соли; и все эти первичные частицы, никогда не разлагающиеся на части, суть элементы, каждый из которых имеет свою собственную и неизменную природу.

Для того чтобы осмелиться утверждать противоположное, следовало бы увидеть трансмутации собственными глазами; но открыл ли их кто когда-либо с помощью химии? Разве все мудрые умы не считали немыслимым философский камень? И разве при современном состоянии мира превращать соль в серу, воду — в землю, воздух — в огонь стало более возможным, нежели создавать золото из газообразного порошка?

Когда люди поверили в трансмутации в собственном смысле этого слова, разве не обманула их видимость, подобно тому как других обманула видимость движения Солнца? Ибо кто не поверил бы в трансмутации при виде того, как зерно и вода превращаются в кровь и плоть в человеческом теле? Однако разве все это не является теми же солями, серами, грязью и т. д., по-разному организованными в злаках и в нашем теле?

Чем больше я об этом думаю, тем больше метаморфоза в строгом смысле этого слова представляется мне противоречием в терминах. Для того чтобы элементарные частицы соли могли перейти в элементарные частицы золота, требуются, я полагаю, две вещи: уничтожение этих элементов соли и создание элементов золота. Вот чем по существу является пресловутая метаморфоза однородной и единообразной материи, до настоящего времени допускавшаяся столькими философами,— и ниже я привожу свое доказательство.

Невозможно постичь неизменяемость видов, если только они не состоят из неизменяемых элементов. Чтобы эти элементы, эти первичные образующие частицы совершенно не изменялись, им необходимо быть абсолютно плотными, а следовательно, постоянно иметь ту же форму, но, если они таковы, они не могут перейти в другие элементы, ибо в этом случае они должны были бы принять другие формы. Итак, поскольку невозможно, чтобы при современном состоянии нашей вселенной элемент, предназначенный для образования соли, превратился в элемент ртути, то для создания элемента соли вместо элемента ртути следовало бы уничтожить один из этих элементов и создать на его месте другой. Не постигаю, как Ньютон, допускавший атомы, не сделал этого столь естественного вывода. Подобно Гассенди, он признавал истинные атомы, неделимые тела; однако к этому своему утверждению он пришел математическим путем; одновременно он полагал, что эти атомы, эти неделимые элементы постоянно переходят друг в друга. Ньютон был человеком и мог ошибаться так же, как мы.

Здесь, без сомнения, меня спросят, каким образом семена вещей, будучи твердыми и неделимыми, могут увеличиваться и расширяться в объеме; но они, по-видимому, увеличиваются лишь путем объединения, тесного соприкосновения; несколько атомов воды образуют каплю и т. д.

Остается понять, каким образом получается такое скопление, как образуется связь между частицами тела. Быть может, это один из секретов Творца, который навсегда будет скрыт от людей. Для того чтобы понять, каким образом составные части золота образуют кусок золота, надо, наверное, эти части видеть.

Если позволено будет сказать, что, по-видимому, причиной сцепления материи и ее устойчивости является притяжение, то это могло бы стать правдоподобнейшим утверждением: в самом деле, если доказано, как мы это увидим ниже, что все части материи тяготеют одни к другим — какая бы тому ни была причина,— разве не самым естественным будет вывод, что тела, соприкасающиеся между собой в наибольшем числе точек, и являются теми телами, кои теснее всего уплотнены силой тяготения? Однако здесь не место входить в детали этой физической проблемы.

Глава VIII

О ПРИРОДЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕРИИ, ИЛИ О МОНАДАХ. МНЕНИЕ НЬЮТОНА. МНЕНИЕ ЛЕЙБНИЦА

Если когда-либо следовало сказать: *Audax Japeti genus* *, то именно по поводу исследования, которое осмелились предпринять люди в области первичных элементов, казалось бы лежащих на бесконечно далеком расстоянии от сферы наших познаний. Быть может, не существует ничего скромнее мнения Ньютона, ограничившегося представлением о том, что элементы материи материальны, или, иначе говоря, что они являются протяженной и непроницаемой субстанцией, в скрытой природе которой сознанию не дано разобраться; бог может эту материю до бесконечности дробить, равно как и уничтожить, однако он этого не делает и рассматривает протяженные и неделимые частицы как основу для всех творений вселенной.

С другой стороны, быть может, нет ничего более дерзкого, чем широкий замысел Лейбница и его отправной критерий *достаточного основания*, служащий ему для проникновения, елико возможного, в самую глубь причин и в необъяснимую природу элементов. Любое тело, говорит он, состоит из протяженных частей; но из чего состоят эти протяженные части? Они актуально делимы, продолжает он, и разделены до бесконечности; таким образом, у вас остается только протяженность. Однако

---

* Яфета род дерзновенный (лат.; Гораций. Оды, III, ст. 27).— *Примеч. переводчика.*

говорить, будто протяженность — достаточное основание для протяженности, означает совершать порочный круг, или, иначе говоря, означает ничего не сказать; поэтому следует искать основание, причину протяженных вещей в вещах, не являющихся протяженными, в простых вещах, т. е. в *монадах*; итак, материя — не что иное, как сочетание простых вещей. Мы видели в главе «О душе», что, по мнению Лейбница, всякое простое бытие подвержено изменениям; но его изменения и последовательно принимаемые им детерминации не могут приходить к нему извне по той причине, что бытие это — простое, неосязаемое и не занимающее никакого места; итак, оно содержит в самом себе источники всех своих перемен, происходящих по случаю воздействия внешних объектов; итак, оно имеет идеи. Но оно имеет и необходимое отношение ко всем частям вселенной; значит, идеи его относятся к целокупной вселенной; элементы наидряннейших испражнений обладают, таким образом, бесконечным числом идей; правда, идеи их не очень ясны, они не обладают апперцепцией, как говорит Лейбниц, но они обладают смутными *восприятиями* настоящего, прошлого и будущего. Он допускает четыре вида *монад*: 1) элементы материи, не обладающие никакой ясной мыслью; 2) *монады* животных, имеющие некоторые ясные идеи, но ни одной отчетливой; 3) *монады* конечных умов, обладающие смутными, ясными и отчетливыми идеями; 4) наконец, *монада* бога, имеющая лишь адекватные идеи.

Английские философы, как я уже сказал, не благоговеющие перед именами, ответили на все это усмешкой; однако мне подобает опровергать Лейбница только с помощью рассуждения. Мне кажется, я могу позволить себе сказать тем, кто поддерживает подобные мнения: весь свет согласен с вами относительно принципа достаточного основания, но извлекаете ли вы из него вполне справедливые выводы?

1) Вы допускаете материю, актуально делимую до бесконечности; следовательно, невозможно найти ее наименьшую часть. При этом не существует такой части материи, которая не имела бы сторон, не занимала бы места, не имела бы формы; как же вы хотите, чтобы она была организована только из бесформенных, не занимающих места и лишенных сторон субстанций? И стре-

мясь следовать принципу *достаточного основания*, не нарушаете ли вы принцип *противоречия*?

2) Достаточно ли основательно положение, гласящее, что сложное не имеет ничего сходного с тем, из чего оно состоит? Да и что говорить: «ничего сходного»? Между простым и протяженным бытием — бесконечность, а вы хотите, чтобы одно из них состояло из другого? Разве тот, кто стал бы утверждать, будто множество элементов железа образуют золото или составные части сахара — горькую тыкву, утверждал бы что-то более противное разуму?

3) Можете ли вы спокойно утверждать, будто капля мочи представляет собой бесчисленные *монады*, каждая из которых имеет идеи целой вселенной, пусть смутные, и всё это лишь потому, что, по-вашему, вселенная — целиком заполненное пространство, в котором все меж собой связано, а коль скоро налицо такая всеобщая сопряженность и каждая *монада* необходимо имеет идеи, она не может иметь восприятия, в котором не было бы одновременно заключено всё, что существует в мире?

Но доказана ли абсолютная заполненность пространства вопреки огромному множеству метафизических и физических аргументов в пользу пустоты? Доказано ли, что при абсолютной заполненности пространства ваша пресловутая *монада* должна обладать бесполезными идеями всего того, что в этом заполненном пространстве происходит? Я взываю к вашему разуму; неужели вы не чувствуете, насколько подобная система является плодом чистого воображения? И разве не выше столь пустого знания признание человеческого неведения относительно первоначал [éléments] материи? Какой может быть толк от логики и геометрии, если этой путеводной нитью пользуются для углубления в подобный лабиринт и для методического приближения к ошибке с тем самым факелом в руках, что предназначен для нашего просвещения?!

Глава IX

ОБ АКТИВНОЙ СИЛЕ, ПРИВОДЯЩЕЙ В ДВИЖЕНИЕ ВСЁ ВО ВСЕЛЕННОЙ. БЫВАЕТ ЛИ В МИРЕ ПОСТОЯННО ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ. ВЫВОДЫ ДВУХ ПРОТИВНЫХ СТОРОН

Я исхожу, прежде всего, из признания невозможности движения материи самой по себе; необходимо, чтобы она получала это движение извне; но она не может получить его от другой материи, ибо это было бы противоречием; следовательно, нужно, чтобы движение производила иная, имматериальная причина. Имматериальная причина — бог, и здесь необходимо принять во внимание, что ходячая аксиома: «Не следует прибегать к богу в философии», хороша лишь тогда, когда надо объяснить непосредственные физические причины. К примеру, я хочу объяснить, почему тяжесть в четыре фунта может служить противовесом тяжести в один фунт: если я скажу, что так распорядился бог, я окажусь невеждой; но я дам удовлетворительный ответ, если скажу, что один фунт удален от точки опоры на расстояние, в четыре раза превышающее расстояние от нее четырех фунтов. Не так обстоит дело с первыми принципами вещей: в этом случае невеждой оказывается тот, кто не прибегает к богу, потому что либо бога не существует вообще, либо первые принципы могут быть только в боге.

Именно он вложил в планеты ту силу, с которой они передвигаются с запада на восток; именно он заставил эти планеты и Солнце вращаться вокруг собственной оси.

Он начертал для всех тел единый закон, согласно которому все они одинаково тяготеют к своему центру. Наконец, он создал живые существа, которым даровал активную силу, с помощью которой они вызывают к жизни движение.

Огромный вопрос состоит в том, чтобы понять, всегда ли эта сила, дарованная богом для порождения движения, одинакова в природе.

Декарт, не упоминая о силе, бездоказательно выдвинул положение, гласящее, что количество движения постоянно одно и то же; мнение его было тем менее

обоснованным, что сами законы движения были ему совсем неизвестны.

Лейбниц, живший в более просвещенное время, был вынужден признать вместе с Ньютоном, что движение для него — загадка; однако он утверждает, будто сила — хотя не существует постоянно одинакового количества движения — величина постоянная.

В противоположность ему Ньютон был убежден: положение, согласно коему движение не пропорционально силе, заключает в себе противоречие.

Для того чтобы приступить к этому вопросу, не вдаваясь в рассуждения по механике, необходимо рассмотреть вещи в их естественной сути: ведь метафизик всегда должен быть руководителем геометра. Человек обладает определенным количеством активной силы; однако где была эта сила до его рождения? Если скажут, что она была в зародыше ребенка, что это будет за сила, которой нельзя воспользоваться? Но когда ребенок становится взрослым, разве он не свободен? Разве не может он более или менее располагать своей силой? Я предполагаю, что он развивает силу в триста фунтов для того, чтобы пустить в ход машину; я предполагаю, как это и возможно, что он использовал данную силу для опускания рычага, а машина, подключенная к этому рычагу, помещена в вакуумный резервуар: такая машина легко может обрести силу в две тысячи фунтов.

После того как операция эта проделана, рука убрана с рычага и гири останавливаются, я спрашиваю себя, получила ли капля материи, находившаяся в вакуумном резервуаре, силу в две тысячи фунтов? И разве все эти соображения не показывают, что активная сила постоянно утрачивается и восстанавливается в природе? Уделите немного внимания следующему аргументу:

Без пустоты не бывает движения; но когда тело *ABCD* уже получит давление на все свои части, я спрашиваю: разве не утратят части *BCD*, позади которых нет никаких тел, свое движение? А если части *BC* его утратят, разве не утратят они очевидным образом свою силу?

Чтобы закончить теперь этот метафизический спор, послушаем Ньютона и рассмотрим показания опыта. Движение, говорит Ньютон, производится и исчезает,

По причине вязкости жидкостей и малой упругости твердых тел в природе исчезает гораздо больше движения, чем воспроизводится.

Допустим это и, учитывая непреложную аксиому, гласящую, что действие всегда пропорционально причине, мы приходим к выводу: там, где уменьшается движение, необходимо уменьшается и сила; таким образом, чтобы постоянно сохранять количество сил во вселенной, нужно чтобы указанный принцип (пропорциональности причины действию) перестал быть истинным.

Считалось, что для постоянной сохранности одной и той же силы в природе достаточно изменить лишь обычный способ измерения этой силы: вместо того чтобы, подобно Мерсенну, Декарту, Ньютону, Мариотту, Вариньону и всем, кто поступал так всегда после Архимеда, измерять движение тела путем умножения его массы на его скорость, Лейбниц, Бернулли, Герман, Поленис, С'Гравезанд, Вольф и другие стали умножать массу на квадрат скорости.

Диспут этот расколол Европу надвое; но в конце концов, кажется мне, начинают признавать, что, по существу, спор идет о словах. Немыслимо, чтобы великие эти философы, хоть и придерживающиеся диаметрально противоположных взглядов, ошибались в своих вычислениях. Вычисления их одинаково точны; механические эффекты одинаково согласуются как с тем, так и с другим способом вычисления. Несомненно, в каком-то определенном смысле все они правы. Но именно тот пункт, по которому они правы, и должен их объединить; и вот как об этом первым заявил доктор Кларк, пусть и в несколько жесткой форме:

Если вы рассматриваете время, за которое действует движущееся тело, сила этого тела в конце данного отрезка времени будет пропорциональна квадрату скорости тела, умноженному на его массу. Почему? Да потому, что путь, проделанный его массой, пропорционален квадрату времени прохождения этого пути. Итак, время соответствует скорости; тело, проделавшее это расстояние, действует в конце данного отрезка времени массой, умноженной на квадрат скорости; таким образом, когда масса 2 пробегает в двойное время данное расстояние с двумя степенями скорости, в конце этого отрезка времени его сила равна 2, умноженным на

квадрат его скорости 2; в целом это составит 8, и тело воздействует пропорционально восьми; в этом случае сторонники Лейбница не ошибаются. Но и картезианцы вкупе с ньютонианцами тоже, конечно, правы, когда, рассматривая вопрос под другим углом зрения, они говорят: в равное время тело весом в четыре фунта, со скоростью, равной единице, производит такое же точно воздействие, как вес в один фунт со скоростью, равной четырем, и сталкивающиеся между собой упругие тела всегда отталкиваются друг от друга пропорционально своей скорости и массе; иначе говоря, шар [с массой] 2, имеющий единицу движения, и шар с половинной массой, движение которого равно двум, будучи запущены навстречу друг другу, встретятся за равное время и отскочат друг от друга с одинаковой силой; следовательно, надо рассматривать не то, что произойдет с движущимися телами в неравное время, но то, что произойдет с ними в равное время, и в этом источник недоразумения. Итак, новый способ рассмотрения сил правилен в одном смысле и ложен в другом; он ведет только к усложнению и затушевыванию простой идеи, а следовательно, надо придерживаться древнего правила. Какой же может быть вывод из этих двух способов оценки вещей? Надо, чтобы весь мир признал: действие всегда пропорционально причине; иначе говоря, если во вселенной исчезает движение, то сила, являющаяся его причиной, исчезает тоже. Именно так думал Ньютон по большинству вопросов, связанных с метафизикой; вам остается быть судьями между ним и Лейбницем.

Я собираюсь перейти к открытиям Ньютона в области физики.

Часть вторая
ФИЗИКА НЬЮТОНА

Введение

Главной целью предпринимаемого мной исследования является желание составить для себя и, быть может, для некоторых читателей четкие представления относительно тех первичных законов природы, которые были открыты Ньютоном. Я рассмотрю, как далеко зашли

в этом до него, каков был его отправной пункт, на чем он остановился, а в отдельных случаях укажу, что было найдено после него. Начну я со света — единственной хорошо известной области, а закончу исследованием веса и знаменитым всеобщим законом притяжения, или тяготения,— универсальной пружиной природы, открытием которой мы обязаны лишь ему.

Мы попытаемся сделать эти «Основы» доступными тем, кому Ньютон и философия известны только по имени. Знание природы — благо, принадлежащее всем людям. Все стремятся обладать знанием своего блага, но мало кто имеет время и терпение его подсчитать; Ньютон произвел этот подсчет за них. Здесь нужно будет иногда удовлетворяться итогом его подсчетов. Каждый день государственный человек, министр, создает себе точное представление об операциях, которые сам он не мог произвести; другие глаза за него смотрели, другие руки трудились и дали ему возможность с помощью верного подсчета вынести собственное суждение. Любой умный человек оказывается примерно в положении такого министра.

Философия Ньютона до настоящего времени казалась многим понятной в той же степени, как философия древних; но туманность греков шла от того, что они действительно не обладали познаниями, а причина туманности Ньютона — то, что светоч его познаний отстоял чересчур далеко от нашего взора. Он открыл истины; но он их искал и оставил в глубокой пропасти; надо туда спуститься и извлечь их на яркий свет дня.

. . . . . .

Часть третья

. . . . . .

Глава XIV

О ТОМ, ЧТО ПРИТЯЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ И ИМЕННО ОНО — ПРИЧИНА ДЛИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ТЕЛА. ПРИТЯЖЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ И НЕПРЕРЫВНУЮ СВЯЗЬ. ПОЧЕМУ ДВЕ ГРУБЫЕ ЧАСТИ МАТЕРИИ ВОВСЕ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ ВЗАИМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ? ПОЧЕМУ БОЛЕЕ МЕЛКИЕ ЧАСТИ ВЗАИМНО ПРИТЯГИВАЮТСЯ? ПРИТЯЖЕНИЕ В ЖИДКОСТЯХ. ОПЫТЫ, ДОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРИТЯЖЕНИЕ. ПРИТЯЖЕНИЕ В ХИМИИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Вы видите: все феномены природы, опыты и геометрия со всех сторон подтверждают существование притяжения. Вы видите, что принцип этот действует от одного конца нашего планетарного мира до другого, на Сатурне и в мельчайшем атоме этой планеты, на Солнце и в самых малых лучах Солнца.

Разве не видно, что эта активнейшая и всеобщая сила господствует в целой природе? Разве она не единственная причина многих действий? И разве не примешивается она ко всем прочим пружинам, действие которых направляет природа?

Например, вполне правдоподобно, что одна лишь эта сила обеспечивает непрерывную связь и сцепление тел; ибо притяжение действует прямо пропорционально массе; оно воздействует на каждую частицу материи; следовательно, оно заставляет каждую корпускулу тяготеть в том же смысле, в каком Сатурн тяготеет к Юпитеру.

Посмотрим, что происходит с телами, лежащими на поверхности Земли.

1) Допустим, что я кладу друг против друга два шара слоновой кости, AB и CD, и они притягиваются друг к другу; однако их взаимное тяготение нарушается тяготением, испытываемым ими к Земле.

2) Пусть диаметр каждого шара равен двум линиям, или, иначе говоря, каждый из этих диаметров будет равен 120 секундам; расстояние между двумя этими телами пусть будет равно одной секунде.

Точка *D* удалена от точки *C* на 120 секунд. Тела в точке соприкосновения взаимно притягиваются с силой, обратно пропорциональной кубам расстояний, и в еще более высокой пропорции. Мы здесь будем говорить только о кубе [расстояний]; тогда точка *D* притягивает и испытывает притяжение в миллион семьсот двадцать восемь тысяч раз меньше, чем точка *C*, а точки *A* и *D*, поскольку они находятся друг от друга на расстоянии четырех линий, будут притягиваться друг к другу [с силой] в десять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи раз меньшей, чем точки *B* и *C*.

Но масса Земли относится к массе каждого из этих шаров, как куб тысячи пятиста малых французских лье, равный трем миллиардам триста двадцати пяти миллионам лье, относится к кубу двух линий, равному восьми линиям. Таким образом, тяготение каждого шара к центру Земли несравненно выше, чем их взаимное тяготение.

3) Однако если два шара крайне малы, тогда их диаметр следует рассматривать как бесконечно малый; почти вся их субстанция испытывает соприкосновение в точке контакта. Сила притяжения может стать безмерной по отношению к другим, противоположным силам; в этом случае два малых тела, сопрягаясь друг с другом, образуют массивное и устойчивое тело.

4) Самые малые тела — те, у которых наибольшее место занимает поверхность, а следовательно, они должны обладать наибольшим количеством точек соприкосновения. Массы твердых тел состоят, таким образом, из самых малых молекул, друг к другу притянутых.

5) Притяжение действует в жидкостях так же, как в твердых телах. Две капли воды, два шарика ртути сцепляются между собой и в самый момент сцепления образуют единый шарик. Воздух не может быть причиной такого сцепления, ибо тот же самый эффект получается в аппарате, очищенном от воздуха. Никакой эфир и никакая тонкая материя, относительно которой допустимо предполагать, что она оказывает давление на эти капли, не могут быть причиной их объединения: ведь пресловутая тонкая материя способна давить на эти капли лишь в той плоскости, в какой они находятся; она препятствовала бы их контакту, разъединяя их своим давлением; она разделяла бы их, распыляла,

а отнюдь не объединяла оказываемым на них давлением.

Итак, они объединяются между собой благодаря притяжению, причем, равномерно притягиваясь друг к другу, они образуют круглое тело.

6) Поскольку всякое твердое тело и всякая жидкость подчинены притяжению, жесткость осязаемых тел есть не что иное, как сцепленность его частей. Чем большее количество материи содержит металл в малом объеме, тем он жестче, но, чем больше он содержит материи, чем больше каждая часть контактирует непосредственно с соседней частью, тем больше в таких случаях притяжение. Подумайте хорошенько: в наше просвещенное время ни один философ не может добиться удовлетворительного объяснения причины устойчивости тел, их сцепленности, связанности, жесткости. Я этому не удивляюсь: они ничего не находят и никогда не найдут, ибо ничего такого не существует. Какую бы ни воображали себе жидкость и сцепление, всегда будет оставаться неясным, почему части этой жидкости, почему ее связанные между собой звенья тесно примыкают друг к другу. Должна существовать сила, данная материи богом, которая связывала бы между собой таким образом части, и именно эту силу я называю *притяжением*; я уже сказал, что не существует философии, которая больше подчиняла бы человека водительству бога.

7) Если вы поместите рядом друг с другом два тела, сколько возможно отполированные, будь то сталь, олово или хрусталь, вы сумеете отделить их одно от другого с трудом; и если вы проложите между ними какой-то материал, заполняющий неровности их поверхностей, например смолу, вы вообще не сможете их отделить друг от друга. Почему? Да потому что части смолы непосредственно соприкасаются с частями этих полированных поверхностей, которые до того не соприкасались таким тесным образом. Итак, притяжение усиливается пропорционально полноте соприкосновения.

8) Почему трубки, именуемые капиллярными, вбирают в себя в размере своей полной емкости все жидкости, в которые их опускают? Еще раз: не воздух тому причиной, ибо тяжесть воздуха, заставляющая ртуть в барометре подниматься почти на 28 дюймов, не способна сделать то же самое в капиллярной трубке; более

того, этот опыт с жидкостями, поднимающимися вверх в такой крайне малой емкости, точно так же выглядит в пневматической машине, как в воздухе. Эфир — тонкая материя — не дал бы более сильного эффекта. Напротив, он давил бы на внутреннюю полость такой трубки и мешал бы воде в ней подниматься.

Таким образом, единственной причиной этого феномена является притяжение поверхности стекла. Доказательство здесь очевидное.

1) Вода всегда тем выше поднимается в этих капиллярных трубках, чем они сами длиннее; наоборот, воздух никогда не дает ртути подниматься выше уровня, определяемого его весом, какой бы длины ни был сам барометр.

2) Изменение в весе воздуха, его упругости заставляет меняться высоту ртути в одном и том же барометре, но никогда высота воды не изменяется в одной и той же капиллярной трубке, ибо притяжение там всегда одинаково.

Коль скоро эта сила управляет всеми телами, она должна всячески проявляться в бесчисленных физических и химических опытах, которые никогда не получали своего объяснения.

Действие кислот на щелочи вполне может оказаться философской химерой, ничуть не меньшей, чем вихри. До сих пор никто не сумел определить, что такое кислота и щелочь; после того как были достаточно хорошо определены свойства одной, первый же опыт показал: те же самые свойства принадлежат и другой; таким образом, все, что известно до настоящего времени,— это существование тел, дающих реакцию брожения в присутствии других тел,— и ничего больше. Но если подумать, что в природе существует реальная сила, вызывающая тяготение одних тел к другим, то можно поверить, что эта сила является причиной всех распадов тел и их самых сильных брожений.

Давайте исследуем здесь наиболее простой распад — растворение соли в воде.

Бросьте в середину бассейна, наполненного водой, кусок соли: вода, находящаяся по краям бассейна, долго останется несоленой; она сможет стать соленой лишь в результате движения. Последнее она может получить лишь под воздействием центростремительных сил; части

воды, наиболее близкие к массе соли, должны тяготеть к этому телу; чем сильнее такое тяготение, тем больше эти силы расчленяют данное тело, причем совершается это прямо пропорционально сумме квадратов скорости этих сил и их массе; части соли, расчленяемые таким необходимым нажимом, приходят в движение; последнее разносит их по всему пространству бассейна; это объяснение не только простое, но оно основано на всех законах природы.

Давайте же в виде заключения изложим суть всего того, о чем говорилось в этом труде:

1) существует активная сила, сообщающая всем телам тяготение [tendence] друг к другу;

2) в отношении небесных шаровидных тел эта сила действует обратно пропорционально квадратам расстояний до центра [их] движения и прямо пропорционально их массам; в отношении центра сила эта именуется притяжением [attraction], а в отношении тел, тяготеющих к данному центру,— тяготением [gravitation];

3) та же самая сила заставляет эти движущиеся тела опускаться по направлению к нашей Земле в указанных нами прогрессиях;

4) подобная же сила является причиной сцепления, устойчивости сцепления и жесткости, однако пропорция здесь совсем иная, чем та, с которой притягиваются друг к другу небесные сферы;

5) такая же сила действует, как мы это видели, между телами и светом, хотя мы и не знаем, в какой пропорции.

Что касается причины этой силы, столь безнадежно искавшейся и Ньютоном, и всеми его последователями, самым лучшим здесь будет перевести то, что сказал сам Ньютон на последней странице своих «Принципов».

Вот каким образом истолковывает свое учение столь же великий физик, сколь глубокий геометр:

«До сих пор я показал силу тяготения с помощью небесных, а также морских явлений; но я нигде не указываю ее причину. Сила эта происходит от потенции, которая проникает до центров Солнца и планет, нисколько не теряя своей активности, и действует не в соответствии с количеством поверхностей частиц материи, как действуют механические причины, но в соответствии с количеством плотной материи; действие ее прости-

рается на огромные расстояния, и уменьшается она точно в соответствии с квадратом расстояний и т. д.».

Слова эти — очень точное и предельно недвусмысленное указание на то, что притяжение — вовсе не механический принцип.

Несколькими строками ниже он говорит: «Я не создаю гипотез (*hypotheses non fingo**). Ведь все то, что не выводится непосредственно из явлений,— гипотеза; гипотезы же, метафизические ли они или физические, или это предположения, касающиеся скрытых качеств либо механики, не должны иметь места в экспериментальной философии».

Я не утверждаю, будто этот принцип тяготения — единственная движущая пружина физики; возможно, существует немало других секретов, которые мы пока еще не вырвали у природы и которые вместе с тяготением содействуют поддержанию порядка вселенной.

Например, тяготение не объясняет ни вращения планет вокруг их собственных центров, ни именно такую, а не иную определенность их орбит, ни поразительные свойства упругости, электризации, магнетизма. Быть может, придет время, когда люди накопят достаточное количество опыта для познания некоторых других скрытых пружин. Все указывает нам, что материя имеет гораздо большее число свойств, нежели те, что нам известны. Пока мы находимся всего лишь на берегу огромного океана: сколько еще надо сделать открытий! Но и сколько вещей навсегда останутся за пределами сферы нашего знания!

---

* (Лат.).— *Примеч. пере водчика.*

НЕСВЕДУЩИЙ ФИЛОСОФ

ВОПРОС ПЕРВЫЙ

Кто ты? Откуда ты? Чем занимаешься? Чем станешь? Этот вопрос следует задавать всем существам во вселенной, но никто нам на него не отвечает. Я спрашиваю у растений, какая сила заставляет их расти и каким образом одна и та же почва производит столь различные плоды. Эти бесчувственные и немые, хоть и одаренные божественной потенцией, существа оставляют меня при моем неведении и пустых догадках.

Я задаю свой вопрос множеству различных животных, коим всем свойственно обладать движением и его сообщать, которые наслаждаются теми же ощущениями, что и я, и имеют определенную меру идей и памяти наряду со всеми страстями. Они еще меньше меня знают, кто они есть, почему существуют и что с ними станется в будущем.

Я подозреваю, я даже имею основание полагать, что планеты, вращающиеся вокруг бесчисленных солнц, наполняющих [мировое] пространство, населены чувствующими и мыслящими существами; но нас разделяет вечный барьер, и ни один из этих обитателей других сфер с нами никогда не общался.

Господин приор в «Театре природы»[1] говорит господину шевалье, что звезды сделаны для Земли, а Земля, так же как и животные,— для человека. Но, поскольку маленький земной шарик вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца, поскольку правильные и пропорциональные движения звезд могут вечно существовать независимо от того, существуют ли люди, поскольку на нашей малой планете безгранично больше животных, чем существ, мне подобных, я полагаю, что господин приор обладал несколько повышенным себялюбием, раз он обольщался мыслью, что все было сделано для него; я видел, как человек, если он беззащитен, пожирается

в течение своей жизни всеми животными, причем все они пожирают его и после смерти. Итак, едва ли я могу постичь, что господин настоятель и господин шевалье — цари природы. Я — раб всего, что меня окружает, и, будучи сжат до точки, окруженный безмерной вселенной, я начинаю с того, что стремлюсь отыскать самого себя.

II. НАША СЛАБОСТЬ

Я — слабое существо; родившись, я не обладаю ни силой, ни знанием, ни инстинктом; я не способен даже потянуться к груди моей матери, как это делают все четвероногие; я приобретаю несколько идей лишь по мере того как с постепенным развитием моих органов я обретаю какую-то небольшую силу. Сила эта возрастает во мне до того момента, когда, утратив способность к росту, она начинает с каждым днем ослабевать. Способность постигать идеи также увеличивается до положенного предела, а затем постепенно и незаметно чахнет.

Что же это за механизм, наращивающий с момента на момент силы моих членов вплоть до предписанного рубежа? Я этого не знаю; и те, кто провел свою жизнь в поисках этой причины, знают здесь не больше меня.

А что это за другая потенция, заставляющая образы входить в мой мозг, сохраняющая их в моей памяти? Поиски тех, кому платили за это знание, были безрезультатными; все мы пребываем в таком же состоянии неведения относительно первых принципов, в каком были в своей колыбели.

III. КАКИМ ОБРАЗОМ Я СПОСОБЕН МЫСЛИТЬ?

Разве научили меня чему-либо книги, написанные две тысячи лет назад? Нас иногда одолевает желание узнать, каким образом мы мыслим, хотя нас редко охватывает желание знать, как мы перевариваем пищу или же ходим. Я вопрошал свой разум, требовал от него ответа, что́ он собой представляет; вопрос этот всегда приводил его в замешательство.

Я пытался понять с его помощью, не те же ли самые пружины, с помощью которых я перевариваю пищу и хожу, поставляют мне мои идеи. Я никогда не мог

постичь, каким образом и почему эти идеи исчезают, когда голод истощает мое тело, и как они появляются вновь после того, как я поем.

Я усматривал столь большую разницу между мыслями и питанием, без которого я вообще не способен думать, что поверил, будто во мне есть одна субстанция, которая мыслит, и другая, занятая пищеварением. Однако, стремясь все время доказать себе, что в нас живут два существа, я грубо почувствовал свое единство: это противоречие мне всегда причиняло страдание.

Я спрашивал у некоторых подобных мне лиц, людей, прилежно обрабатывающих землю, нашу общую мать, не ощущают ли они свою двойственность, сумели ли они с помощью своей философии выяснить, что обладают внутри себя бессмертной субстанцией, которая, однако, образована из небытия, существует без протяженности, воздействует на их нервы, не прикасаясь к ним, хотя она явно была введена в чрево их матери через шесть недель после их зачатия; они посчитали, что я намерен над ними смеяться, и продолжали возделывать свои поля, не удостоив меня ответом.

IV. НЕОБХОДИМО ЛИ МНЕ ЗНАТЬ?

Видя, однако, что большинство людей не имеет ни малейшего представления о заботящих меня трудностях и не ломает себе голову над тем, чему учат в школах,— над всеобщим бытием, материей, разумом и т. д., более того, видя, что часто они смеются над предметом моей любознательности, я заподозрил, что у нас нет никакой необходимости в таком знании. Я подумал: природа даровала каждому существу положенную ему долю; и я поверил, что вещи, нам недоступные, не являются нашим уделом. Но вопреки такому отчаянию меня не покидает жажда познания и моя обманутая любознательность всегда остается неутоленной.

V. АРИСТОТЕЛЬ, ДЕКАРТ И ГАССЕНДИ

Аристотель начинает с изречения, гласящего, что сомнение — источник мудрости; Декарт многословно развил эту мысль, и оба они научили меня не верить

ничему из того, что они говорят. Особенно этот Декарт, приняв сначала вид сомневающегося, говорит затем в весьма утвердительном тоне о вещах, в которых он ничего не смыслит; он, безусловно, уверен в себе тогда, когда грубо ошибается в вопросах физики, он построил совершенно фантастический мир: его вихри и его три элемента столь смехотворны, что я обязан остерегаться всего того, что он говорит о душе, после того как он ввел меня в столь сильное заблуждение относительно тел. Пусть, в добрый час, ему поют хвалу, лишь бы не пели ее его философским вымыслам, ныне и навсегда презираемым всей Европой.

Декарт верит или притворяется, что верит, будто метафизические мысли у нас — врожденные. Я уж тогда скорее бы сказал, что Гомер родился на свет с «Илиадой» в голове. В самом деле, Гомер при рождении обладал мозгом, организованным таким образом, что, получая впоследствии поэтические идеи — иногда прекрасные, иногда нелепые, а иногда и сильно преувеличенные,— он в конце концов сочинил «Илиаду». Рождаясь, мы несем в себе зародыш всего того, что в нас затем развивается; но в действительности у нас не больше врожденных идей, чем у Рафаэля и Микеланджело, которые, рождаясь на свет, не несли в себе идей кисти и красок.

Декарт, пытаясь согласовать между собой разрозненные части своих химер, предположил, что человек всегда мыслит; с таким же успехом я мог бы предположить, что птицы никогда не перестают летать, а собаки — бегать, поскольку последние обладают способностью бегать, первые же — летать.

Если хоть немного обратиться к собственному опыту и опыту всего человечества, можно вполне убедиться в противоположном. Нет такого глупца, который бы твердо считал, будто он мыслил всю свою жизнь — день и ночь без перерыва — с момента, когда он был плодом и вплоть до своей последней болезни. Подкрепляющим доводом тех, кто хотел защитить эту выдумку, было заявление, будто мы мыслим всегда, но не всегда это замечаем. Точно так же можно было бы говорить, что мы пьем и едим, и скачем на коне, сами того не зная. Если вы не замечаете, что у вас есть идеи, как можете вы утверждать, будто они у вас есть? Гассенди, как

и до́лжно было быть, поднял на смех эту нелепейшую систему. И знаете ли, чем это кончилось? Гассенди и Декарта приняли за атеистов, потому что они рассуждали.

VI. ЖИВОТНЫЕ

Из предположения, что люди постоянно имеют идеи, восприятия, концепции, естественно вытекало, что животные также их постоянно имеют: ведь, бесспорно, охотничий пес обладает идеей хозяина, которому он послушен, и дичи, которую он приносит хозяину. Ясно, что он обладает памятью и может комбинировать некоторые идеи. Следовательно, если мысль человека является одновременно сущностью его души, значит, мысль собаки тоже является сущностью ее души, и если человека постоянно осаждают идеи, необходимо, чтобы и животные имели их постоянно. Дабы снять это сомнение, изготовитель вихрей и пористой материи[2] осмелился заявить, что животные — чистые механизмы, которые ищут пищу без аппетита, постоянно обладают органами чувств, но никогда не испытывают ни малейшего ощущения, издают крики, не чувствуя при этом боли, выражают свое удовольствие без радости и обладают мозгом, не получая при этом ни единой самой простой идеи; таким образом, животные являются извечным и постоянным противоречием природы.

Система эта была столь же смехотворной, как первая; однако, вместо того чтобы показать ее нелепость, ее стали трактовать как безбожную: утверждали, что она противоречит Священному писанию, гласящему, в книге Бытия, что «бог заключил с животными договор и востребовал у них обратно кровь убитых ими и пожранных людей»[3]; последнее явно предполагает у животных интеллект и знание ими добра и зла.

VII. ОПЫТ

Никогда не надо впутывать Священное писание в наши философские споры: это совершенно разнородные вещи, не имеющие между собой ничего общего. Здесь речь идет лишь о том, что́ мы можем познать на собственном опыте, а это сводится к весьма небольшому числу моментов. Для того чтобы отрицать, что все знания в мире даются нам только опытом, надо отказаться

от соображений здравого смысла; и разумеется, если мы только с помощью опыта, постепенного нащупывания и долгих размышлений приходим к образованию нескольких слабых и легковесных идей относительно тела, пространства, времени, бесконечности и самого бога, Творцу природы не стоило затруднять себя тем, чтобы вкладывать эти идеи в мозг всех зародышей, дабы впоследствии лишь очень немногие из людей сделали из них употребление.

Все мы по отношению к объектам нашего знания подобны невежественным влюбленным Дафнису и Хлое, чью любовь и тщетные попытки описал нам Лонг. Им понадобилось много времени, чтобы догадаться, каким образом могут они удовлетворить свои желания, ибо им не хватало опыта. То же самое случилось с императором Леопольдом [4] и сыном Людовика XIV: они нуждались в обучении. Если бы существовали врожденные идеи, надо думать, природа не отказала бы им в главной и единственной идее, необходимой для сохранности людского рода.

VIII. СУБСТАНЦИЯ

Поскольку мы не имеем никаких понятий вне опыта, нам невозможно знать, что́ такое материя. Мы осязаем, мы видим свойства этой субстанции; но само слово *субстанция, то, что подлежит*, достаточно ясно показывает нам невозможность когда-либо познать это «подлежащее»: что бы мы ни открыли из лежащего на поверхности, перед нами всегда будет стоять задача открытия «подлежащего». По той же причине мы сами по себе никогда не узна́ем, что́ такое наш дух. Слово это изначально обозначало *дыхание*, и мы пользовались им для грубого и приблизительного выражения того, что дает нам мысли. Но даже если бы благодаря чуду, которое трудно предполагать, мы и получили некое слабое представление о субстанции этого духа, мы ничуть не продвинулись бы вперед: мы никогда не сможем понять, каким образом эта субстанция получает чувства и мысли. Мы отлично знаем, что являемся обладателями некоего интеллекта, но каким образом мы им обладаем? Это секрет природы, который она не раскрыла ни единому смертному.

IX. ТЕСНЫЕ ГРАНИЦЫ

Наш интеллект весьма ограничен, равно как и сила нашего тела. Существуют люди, значительно более крепкие, чем другие; есть также Геркулесы в области мышления, но, по существу, это превосходство весьма незначительно. Кто-то может поднять в десять раз больше веса, чем я; другой может произвести в уме, без бумаги, деление пятнадцатизначного числа, в то время как я могу разделить лишь трех- или четырехзначное число, и то с большим трудом,— вот к чему сводится вся эта пресловутая сила; но очень скоро она почувствует сдерживающие ее границы, и именно поэтому в комбинаторных играх ни один человек, после того как он добился в них при помощи всего своего внимания и долгого опыта определенного успеха, никогда не перешагнет, какие бы усилия он ни прилагал, достигнутого им уровня: в данном случае он сталкивается с границей своего интеллекта. Необходимо, чтобы дело обстояло именно так, ибо в противном случае мы поднимались бы со ступени на ступень до бесконечности.

X. НЕМЫСЛИМЫЕ ОТКРЫТИЯ

Давайте все же рассмотрим в пределах тесного круга, в котором мы заперты, вещи, на незнание коих мы осуждены, а также вещи, каковые мы можем немного познать. Мы уже видели, что не можем постичь ни единой первичной пружины, ни одного первичного принципа.

Почему моя рука повинуется моей воле? Мы настолько привыкли к этому непостижимому феномену, что весьма мало обращаем на него внимания; а когда мы хотим отыскать причину столь обычного действия, мы обнаруживаем, что между нашей волей и послушанием члена нашего тела проложена бесконечность, или, иначе говоря, между тем и другим не существует никакого соотношения, никакой связи, никакой видимости причины; притом мы чувствуем, что можем размышлять на эту тему целую вечность и не увидеть ни малейшего проблеска правдоподобия.

XI. ОБОСНОВАННОЕ ОТЧАЯНИЕ

Остановленные, таким образом, с первых же наших шагов и впустую сосредоточивая свою мысль на себе, мы ужасаемся тому, что будем искать себя вечно и никогда себя не найдем. Все наши чувства необъяснимы.

Мы довольно приблизительно, с помощью треугольников, знаем, что расстояние от Земли до Солнца составляет примерно тридцать миллионов наших больших геометрических лье; но что такое Солнце? Почему оно вращается вокруг своей оси? И почему в одном направлении, а не в другом? Почему и Сатурн и мы вращаемся вокруг этой звезды с запада на восток, а не с востока на запад? Мы не только не найдем никогда удовлетворительного ответа на этот вопрос, но не усмотрим даже малейшей возможности представить себе физическую причину такого вращения. Почему? Да потому, что суть этой трудности заложена в первых принципах вещей.

Положение это относится как к тому, что действует внутри нас, так и к тому, что действует в безграничных пределах природы. В устроении звезд, в организации клеща и человека есть первый принцип, доступ к которому неизбежно для нас закрыт. Ибо если бы мы могли познать наше первичное движущее начало, мы стали бы его господами, т. е. богами. Поясним эту идею и посмотрим, насколько она истинна.

Предположим, мы в самом деле нашли причину наших ощущений, наших мыслей, наших движений, подобно тому как мы открыли в отношении звезд единственно только причину затмений и различных фаз Луны и Венеры. Ясно, что в этом случае мы сможем предсказывать свои ощущения, мысли и желания, вытекающие из наших ощущений, подобно тому как мы предсказываем фазы планет и затмения. А зная, что́ должно произойти завтра в нашем внутреннем мире, мы ясно усмотрим, какого рода аффекты — приятные или же мрачные — мы испытаем в результате действия этого механизма. Мы обладаем волей, управляющей, как это считается, в целом ряде обстоятельств нашими внутренними побуждениями. Например, я чувствую себя расположенным к гневу, но моя мысль и воля подавляют его нарождающиеся приступы. Если я буду знать свои первичные принципы, я заранее усмотрю все аффекты,

к коим буду расположен завтра, и всю цепь ожидающих меня идей; я смогу получить над этими идеями и чувствами такую же власть, какую я осуществляю иногда, когда подавляю и отклоняю свои сегодняшние чувства и мысли. Я окажусь точь-в-точь в положении человека, имеющего возможность по своей воле замедлять и ускорять ход часов, корабля или любой другой известной машины.

При подобном предположении, если я стану хозяином идей, предназначенных мне назавтра, то стану им и на следующий день, и на всю мою жизнь; итак, я всегда буду всемогущ по отношению к самому себе, я буду для самого себя богом. Но я хорошо чувствую, что состояние это несовместимо с моей природой; итак, мне немыслимо что-либо знать относительно первого принципа, заставляющего меня мыслить и действовать.

XII. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ

То, что немыслимо для моей столь слабой, столь ограниченной природы и что так краткотечно,— возможно ли это на других планетах, у другого рода существ? Существуют ли интеллекты, превосходящие наши, господствующие над всеми своими идеями, мыслящие и чувствующие всё, что они хотят? Я ничего об этом не знаю: я знаю одну только свою слабость и не имею ни малейшего понятия о силе других существ.

XIII. СВОБОДЕН ЛИ Я?

Так не будем же впредь выходить за круг нашего собственного существования; будем исследовать самих себя настолько, насколько мы можем. Я вспоминаю: однажды, до того как я написал все предшествующие разделы, некий резонер пожелал заставить меня рассуждать. Он спросил меня, свободен ли я; я ему отвечал, что не заперт в тюрьме, что у меня есть ключ от моей квартиры и, таким образом, я абсолютно свободен. «Но я вас спрашиваю не об этом,— возразил он мне.— Считаете ли вы, что ваша воля свободна хотеть или не хотеть, чтобы вы выбросились из окна? Полагаете ли вы, вместе с доктором ангельским, что свободный выбор — вожделеющая потенция и она утрачивается в результате греха?» Я пристально взглянул на моего собеседника, стремясь уловить в его взгляде, не помутил-

ся ли его разум, и отвечал ему, что ничего не смыслю в его галиматье.

Тем не менее вопрос этот относительно свободы человека меня живо задел; я прочел *схоластов* и остался, подобно им, в потемках; я прочел *Локка*, и предо мной забрезжил свет; затем я прочел трактат *Коллинза*, показавшегося мне усовершенствованным *Локком*; после этого я не читал ничего, способного поднять меня на более высокую ступень познания. Вот что постиг мой слабый разум с помощью двух этих великих людей — единственных, на мой взгляд, понявших самих себя, когда они излагали сей предмет, и единственных, позволивших понять себя другим.

Все, что существует, имеет причину. Действие без причины — пустой звук. Всякий раз, как я испытываю желание, это бывает в результате моего правильного или неправильного суждения; суждение мое необходимо, следовательно, и воля моя также необходима. В самом деле, было бы очень странно, если бы вся природа, все светила подчинялись извечным законам и при этом существовало бы небольшое существо, ростом в пять футов, которое, презирая эти законы, имело бы возможность всегда действовать по своему усмотрению, единственно по воле своих капризов. В таком случае оно действовало бы наобум, случайно, а ведь известно, что случайность ничего не означает. Мы изобрели это слово, дабы выразить известный результат всякой неизвестной причины.

Мои идеи с необходимостью входят в мой мозг; каким же образом моя воля, зависящая от этих идей, может быть одновременно и необходимо обусловленной и абсолютно свободной? В тысячах случаев я чувствую, что эта воля ни на что не способна; так, когда меня удручает болезнь, когда меня увлекает страсть, когда суждение мое не может проникнуть в предлагаемые мне объекты и т. д., я должен считать, что, поскольку законы природы всегда одинаковы, моя воля не более свободна в вопросах, представляющихся мне в высшей степени безразличными, чем в вопросах, где я чувствую себя подчиненным неодолимой силе.

Быть поистине свободным означает мочь. Когда я могу сделать то, что хочу, это значит, что я свободен; но то, что я хочу, я хочу в силу необходимости; в про-

тивном случае я хотел бы без причины и основания, а это немыслимо. Свобода моя состоит в том, чтобы я шел, когда я хочу идти, и чтобы мне не мешала подагра.

Свобода моя состоит в том, чтобы не совершать дурного поступка, когда мой ум с необходимостью представляет его себе как дурной; в том, чтобы подавлять свою страсть, когда мой ум дает мне почувствовать заключенную в ней опасность, а также в том, чтобы ужас, испытываемый перед данным деянием, с силою побеждал мое вожделение. Мы можем подавлять наши страсти, как я уже отметил в *разделе* XI, но мы не более свободны, подавляя свои желания, чем тогда, когда позволяем нас увлечь нашим склонностям; ведь в обоих случаях мы неодолимо следуем нашей последней идее, а эта последняя идея необходима; итак, я в силу необходимости выполняю ее веление. Странно, что люди не удовлетворяются этой мерой свободы, иначе говоря, полученной от природы способностью в ряде случаев делать то, что́ они хотят. Светила не обладают такой свободой; мы такую свободу имеем, а наша гордыня заставляет нас иногда думать, будто мы обладаем ею еще в большей мере. Мы воображаем, будто располагаем непостижимым и нелепым даром хотеть без иной причины и иного мотива, кроме хотения как такового. Смотрите *раздел* XXIX.

Нет, я не могу простить доктору Кларку недобросовестное опровержение этих истин, силу которых он чувствовал, но которые, видимо, плохо согласовались с его системами. Нет, такому философу, как он, не подобает с помощью софизмов атаковать Коллинза и извращать суть вопроса, упрекая последнего в том, будто он назвал человека *необходимым агентом.* Агент ли или лицо пассивное — какая разница? Он агент, когда добровольно передвигается, и пассивен, когда получает идеи. Что́ может изменить здесь название? Человек во всем — существо зависимое, как зависима вся природа, и для него здесь не может быть сделано исключение.

В Сэмюеле Кларке проповедник заглушил философа; он различает физическую и нравственную необходимость. А что это такое — нравственная необходимость? Вам представляется правдоподобным, что английская королева, которую коронуют и посвящают в сан в церкви, не станет сбрасывать с себя своих королевских одеяний,

дабы совершенно голой растянуться на алтаре, хотя нечто подобное рассказывают о королеве Конго. Вы называете это *нравственной необходимостью* для королевы наших мест; по существу же это физическая необходимость, извечная, связанная с самой сутью вещей. Королева эта так же наверняка не сделает эту глупость, как наверняка она однажды умрет. Нравственная необходимость — всего лишь слово; всё, что происходит, абсолютно необходимо. Между необходимостью и случайностью нет никакой середины; и вы уже знаете, что случайности не существует, значит, всё, что происходит, необходимо.

Чтобы расширить пределы проблемы, придумали еще различие между необходимостью и принуждением; но разве, по сути дела, принуждение не есть необходимость, ставшая заметной? А необходимость разве не принуждение, которого не замечают? Архимед одинаковым образом вынужден оставаться в своей комнате, когда его там запирают и когда он так сильно занят какой-то проблемой, что ему в голову не приходит идея выйти.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt *.

Невежда, думающий так, никогда раньше так не думал, но в конце концов выжден был сдаться [5].

XIV. ВСЕ ЛИ ВЕЧНО?

Подчиненный вечным законам, как все шаровидные тела, заполняющие пространство, как элементы, животные и растения, я бросаю изумленный взгляд на все, что меня окружает; я ищу своего Творца и Творца этого огромного механизма, в коем я — еле заметное колесико.

Я не явился из небытия, поскольку субстанция моего отца и моей матери, вынашивавшей меня девять месяцев в своей утробе,— это нечто. Для меня очевидно, что зародыш, из которого я развился, не мог быть создан из ничего; в самом деле, каким образом небытие могло бы породить существование? Я чувствую, что покорен максимой всей античности, гласящей: «Ничто не возникает из небытия и ничто не может в небытие возвра-

* Желающего ведет судьба, упирающегося — тащит (лат.; *Сенека младший.* Письма к Луцилию, CVII).— *Примеч. переводчика.*

ниться». Аксиома эта несет в себе столь страшную силу, что полностью сковывает мой разум и я не могу с нею бороться. Ни один из философов от нее не отделался; ни один из законодателей, кем бы он ни был, не мог ее опровергнуть. *Кахут* финикийцев, *Хаос* греков, *Тоху-боху* халдеев и евреев — всё свидетельствует о том, что всегда существовала вера в вечность материи. Разум мой, обманутый этой столь древней и всеобщей идеей, мне говорит: необходимо, чтобы материя была вечной, ибо она существует; если она была вчера, она была и раньше. Я не усматриваю ничего правдоподобного в том, что ее существование имело начало, никакой причины, по которой ее могло бы не быть, и никакой причины, по которой она получила бы свое существование скорее в одно время, чем в другое. Итак, я уступаю этой убежденности, обоснованной или ошибочной, и присоединяюсь ко всем вплоть до того момента, когда продвигаюсь в своих изысканиях и меня озаряет свет более сильный, чем суждения всех людей: он вынуждает меня отступиться вопреки самому себе.

Но если, как это думали столькие философы древности, вечное бытие всегда действовало, что станется с *Кахутом* и *Эребом* финикийцев, *Тоху-боху* халдеев, *Хаосом* Гесиода? Этот *Хаос* останется мифом. Он немыслим с точки зрения разума, ибо немыслимо, чтобы при вечном бытии интеллекта существовало нечто противное его законам, а ведь *Хаос* прямо противоположен всем законам природы. Войдите в самую страшную пещеру Альп, в эти дебри скал, льда, песка, воды, кристаллов, бесформенных минералов,— все это подчиняется тяготению и законам гидростатики. Хаос извечно существовал только в наших умах и послужил лишь созданию прекрасных стихов Гесиода и Овидия.

Если наше Священное писание изрекло, что *Хаос* существовал [6], если оно заимствовало халдейское *Тоху-боху*, мы, безусловно, этому верим с самой живой убежденностью. Но мы высказываемся здесь под влиянием обманчивых проблесков нашего разума. Мы ограничиваемся тем, что судим, как было сказано выше, лишь на основании собственных усмотрений. Мы — дети, пытающиеся сделать несколько первых шагов без помочей: мы продвигаемся вперед, падаем, а вера нас ставит обратно на ноги.

XV. ИНТЕЛЛЕКТ

Но, наблюдая порядок, изумительное искусство, механические и геометрические законы, царящие во вселенной, бесчисленные средства и цели во всем, я бываю охвачен восхищением и почтением. Я немедленно выношу суждение, гласящее: если творения людей, в том числе мои собственные, вынуждают меня признать в нас интеллект, я должен признать значительно более высокий интеллект, проявляющийся в массе подобных творений. Я допускаю этот верховный интеллект, не опасаясь того, что когда-либо меня сумеют заставить изменить свое мнение. Ничто не способно пошатнуть во мне аксиому: «Всякое творение указывает на творца».

XVI. ВЕЧНОСТЬ

Но этот интеллект — вечен ли он? Несомненно, ибо допускаю ли я или отвергаю вечность материи, я не могу отбросить вечное существование ее верховного мастера; и очевидно, если он существует ныне, он существовал всегда.

XVII. НЕПОСТИЖИМОСТЬ

На этом обширном пути я сделал пока не более двух-трех шагов. Я хочу знать, является ли божественный интеллект чем-то абсолютно отличным от вселенной примерно так, как скульптор отличен от созданной им статуи, или же эта мировая душа связана с миром и его проникает так приблизительно, как то, что́ я именую моей душой, связано со мной, в соответствии с известной идеей античности, превосходно выраженной Вергилием:

Mens agitat molem, et magno se corpore miscet *.
(*Энеида*, кн. VI, ст. 727)

И у Лукана:

Juppiter est quodcumque vides, quocumque moveris **.
(кн. IX, ст. 580)

---

* Мысль волнует громаду, мешаясь с телом гигантским (лат.).— *Примеч. переводчика.*

** То, что ты видишь вокруг, в чем движешься,— это Юпитер (лат.; перевод *Ф. А. Петровского*).— *Примеч. переводчика.*

Но внезапно что-то останавливает мое бесплодное любопытство. Жалкий смертный! Если ты не можешь проникнуть в глубину своего собственного интеллекта, не можешь познать то, что тебя одушевляет, как можешь ты постичь невыразимый интеллект, явно возглавляющий всю материю? Он существует, всё говорит мне об этом, но где тот компас, что проведет меня в его вечное и неведомое обиталище?

XVIII. БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Бесконечен ли этот интеллект по своему могуществу и объему, как он неоспоримо бесконечен по длительности? Сам по себе я не могу о том ничего знать. Интеллект этот существует, следовательно, существовал всегда — это ясно. Но что за представление могу я иметь о бесконечном могуществе? Как могу я постичь актуально сущую бесконечность? Как могу вообразить, будто верховный интеллект содержится в пустоте? Ведь с бесконечностью в пространстве дело обстоит иначе, чем с бесконечной длительностью. Бесконечная длительность истекла в тот миг, как я говорю,— это несомненно; я не могу ничего добавить к этому минувшему времени, но я всегда могу что-то добавить к пространству, которое я постигаю, как я могу делать добавления и к постигаемым мной числам. Бесконечность числа и протяженности лежит за пределами моего понимания. Что бы мне здесь ни говорили, ничто не освещает мне эту пропасть. К счастью, я чувствую, что мои сомнения и мое неведение не способны нанести ущерб морали: можно сколько угодно не постигать ни необъятности заполненного пространства, ни безграничного могущества всё сотворившей силы, каковая тем не менее способна еще творить: это лишь сильнее обнаружит слабость нашего разума, а такая слабость только более подчинит нас вечному бытию, чьим творением мы являемся.

XIX. МОЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Мы — творения бога. Вот интересная для нас истина, ибо познавать с помощью философии, в какое время бог сотворил человека и что́ он делал раньше, суще-

ствует ли он в материи или в пустом пространстве, действует ли всегда или нет, действует ли он повсеместно, в себе или вне себя,— все эти исследования усугубляют во мне чувство глубокого моего неведения.

Более того, я вижу, что в Европе едва ли есть дюжина людей, чьи писания по этим абстрактным предметам несли бы на себе хоть какие-то следы методичности. Но даже если бы я предполагал, будто они излагают предмет понятно, что́ из этого следует? Мы уже признали (*раздел* IV): вещи, пониманием которых может похвастаться столь небольшое число лиц, бесполезны всему прочему человечеству. Мы, несомненно, творения бога — вот то, что мне полезно здесь знать: доказательство этого положения вполне очевидно. В моем теле всё — средство и цель; всё — пружины, блоки, движущие силы, гидравлические механизмы, баланс жидкостей, химическая лаборатория. Значит, это устроено каким-то интеллектом (*раздел* XV). Таким устроением я не обязан интеллекту моих родителей, ибо когда они меня производили на свет, они не ведали, что творили; они были всего лишь слепым орудием вечного мастера, одушевляющего земляного червя и заставляющего Солнце вращаться вокруг своей оси.

XX. ЕЩЕ РАЗ О ВЕЧНОСТИ

Поскольку семя рождается от другого семени, возникает вопрос, существовала ли здесь непрерывная преемственность, бесконечное развитие зародышей и всегда ли существовала природа благодаря необходимой последовательности верховного бытия, существующего самого по себе? Если бы я доверял здесь лишь своему слабому разуму, я бы сказал: мне кажется, природа всегда была одушевлена. Я не могу постичь, каким образом причина, воздействующая на нее явно и непрерывно, имея возможность действовать во все времена, не действовала извечно. Вечная праздность деятельного и необходимого существа кажется мне нелепостью. Я вынужден считать, что мир всегда проистекал от этой первичной и необходимой причины, как свет истекает от Солнца. Благодаря какой связи идей я бываю вынужден всегда верить в вечность творений вечного бытия? Моя концепция, как бы робка она ни была, обладает доста-

точной силой для того, чтобы прикоснуться к необходимому бытию, существующему само по себе, но она недостаточно сильна, чтобы постичь небытие. Существование одного-единственного атома, кажется мне, доказывает вечность существования; но ровно ничего не доказывает мне небытие. Как! Небытие было в том самом пространстве, где ныне есть нечто? Это представляется мне непостижимым. Я не могу допустить подобное небытие, разве что откровение укрепит меня в моих мыслях, воспаряющих над временами.

Я хорошо знаю: бесконечный ряд существ, не имеющих своего начала, также бессмыслен; Сэмюел Кларк это вполне доказал. Но он даже не пытается отрицать, что бог протянул эту цепочку из вечности; он не осмеливается сказать, что извечно деятельное бытие в течение столь длительного времени не могло реализовать свою активность. Ясно, что у него была такая возможность; но если она была, у кого хватит дерзости заверять меня в том, что оно ее не осуществило? Это может изречь — еще и еще раз — одно только откровение; однако мы не пришли еще к подобному откровению, разбивающему вдребезги всякую философию,— к этому светочу, перед которым меркнет любой другой свет.

XXI. СНОВА О МОЕЙ ЗАВИСИМОСТИ

Это вечное бытие, эта всеобщая причина, дает мне мои идеи, ибо ведь не объекты же мне их дают. Грубая материя не может посылать мысли в мой мозг; мои мысли не идут от меня, ибо они возникают вопреки мне и часто таким же образом исчезают. Достаточно хорошо известно, что нет никакого подобия, никакого взаимоотношения между объектами, с одной стороны, и нашими идеями и ощущениями — с другой. Несомненно, было нечто возвышенное в этом Мальбранше, осмелившемся утверждать, будто мы усматриваем всё в самом боге; но разве не было ничего возвышенного у стоиков, думавших, будто в нас действует именно бог и мы несем на себе отблеск его субстанции? И где же реальность среди этих грез Мальбранша и стоиков? Я снова впадаю (*раздел* II) в неведение, являющееся уделом моей природы, и я преклоняюсь пред богом — помогающим мне мыслить,— не зная при этом, каким я образом мыслю.

XXII. НОВЫЙ ВОПРОС

Убежденный малым своим разумением в том, что существует необходимое бытие, вечное, разумное, от которого я получаю свои идеи, не имея при этом возможности разгадать, каким образом и почему я их получаю, я задаю вопрос, что́ представляет собой это бытие, имеет ли оно форму разумных и активных видов, стоящих выше меня и находящихся на других планетах? Я уже сказал, что ничего об этом не знаю (*раздел* I). Тем не менее я не могу отрицать такую возможность, ибо я наблюдаю планеты значительно большего объема, нежели та, где я обитаю, окруженные бо́льшим числом спутников, чем Земля. Нет ничего неправдоподобного в том, что они населены интеллектами, весьма превосходящими мой, и обладающими телами более крепкими, ловкими и долговечными. Но поскольку их существование не имеет никакого отношения к моему, я оставляю античным поэтам заботу о схождении Венеры со своего пресловутого третьего неба, а Марса — с пятого; я же должен исследовать лишь активность бытия, необходимого в отношении ко мне самому.

XXIII. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕРХОВНЫЙ МАСТЕР

Бо́льшая часть людей, наблюдая физическое и моральное зло, распространенное на земном шаре, представляет себе два могущественных существа, из которых одно творит все благо, а другое — все зло. Если бы они существовали, они были бы необходимы, вечны, независимы, они занимали бы все пространство, а следовательно, оба они существовали бы в одном и том же месте и пронизывали бы друг друга; но это нелепо. Истоком идеи двух этих враждебных сил могут быть лишь примеры, поражающие нас здесь, на Земле: мы видим людей кротких и диких, животных полезных и вредных, благородных господ и тиранов. Таким образом, вообразили себе две враждебные силы, господствующие над природой; но это всего лишь вымысел азиатского происхождения. Во всей природе заметно единство замысла; законы движения и тяготения неизменны; немыслимо, чтобы два верховных мастера, полностью противоположных друг другу, следовали

одним и тем же законам. На мой взгляд, одно только это опрокидывает систему манихеев и не требуется толстых томов для ее опровержения.

Итак, существует единая, вечная сила, с которой все связано, от которой все зависит, но природа которой для меня непостижима. Святой Фома говорит нам: «Бог — это чистый акт, форма, не имеющая ни рода, ни предиката; он — природа и основание [suppôt], он существует существенно, причастно и как имя». Во времена, когда доминиканцы хозяйничали в инквизиции, они могли осудить на сожжение человека, вздумавшего бы отрицать эти великолепные истины; я не стану их отрицать, но я не могу их понять.

Мне говорят, что бог прост; скромно признаюсь, что перестал понимать значение этого слова. Правда, я не стану приписывать богу телесные части, которые я мог бы подвергнуть дроблению; но я не могу постичь, каким образом принцип и господин всего того, что существует в пространстве, не находится в этом самом пространстве. Такая простота, строго говоря, весьма мне напоминает небытие. Мой крайне слабый интеллект лишен достаточно тонкого инструмента, который помог бы ухватить эту простоту. Мне говорят: математическая точка проста; но математическая точка реально не существует.

Говорят еще, что проста идея, но я и это перестаю понимать. Я вижу лошадь, получаю идею о ней, но замечаю в ней лишь сочетание качеств. Я вижу цвет и получаю идею цвета; но цвет этот протяжён. Я произношу абстрактные имена: *цвет вообще порок, добродетель, истина вообще*; но это значит, что я обладаю знанием цветных вещей, вещей, показавшихся мне добродетельными или порочными, истинными или лживыми; я выражаю все это одним словом, но вовсе не получаю ясного понимания простоты; я знаю, что́ это такое, не более, чем я знаю, что́ такое бесконечность актуально существующих чисел.

Поскольку я уже убежден в том, что, не зная, что́ я есть, я не могу понять, что́ есть мой творец, мое неведение ежесекундно меня удручает, и я утешаюсь настойчивой мыслью, отрицающей значение моего понимания того, существует ли или нет мой мастер в пространстве, коль скоро я не делаю ничего вопреки даро-

ванному мне им сознанию. Какую же систему приму я из всех систем божества, изобретенных людьми? Ни одну, кроме той, что учит его почитать.

XXIV. СПИНОЗА

Окунувшись вместе с Фалесом в воду, которую он делает первоэлементом, и опалившись огнем Эмпедокла, сделав пробежку в пустоте в одном ряду с атомами Эпикура, подсчитав числа вместе с Пифагором и послушав его музыку, отдав должное андрогинам Платона и миновав, таким образом, все пределы метафизики и дурачеств, я пожелал, наконец, познакомиться с системой Спинозы.

Система его не вполне нова; он подражает некоторым древнегреческим философам и даже некоторым еврейским; но Спиноза сделал то, чего не сделал ни один греческий и тем более ни один еврейский философ: чтобы точно уяснить себе свои идеи, он применил внушительный геометрический метод. Посмотрим, не впадал ли он в методическое заблуждение, пользуясь этой путеводной нитью.

Прежде всего он установил блистательную и неопровержимую истину: нечто существует, а следовательно, извечно существует необходимое бытие. Принцип этот настолько верен, что глубокомысленный Сэмюел Кларк воспользовался им для утверждения бытия бога.

Необходимое бытие должно быть всюду, где есть существование, ибо что может его ограничить?

Следовательно, это бытие есть все то, что́ существует; таким образом, во вселенной реально существует только одна субстанция.

Субстанция эта не может создавать из себя другую субстанцию: поскольку она заполняет собою всё, то где может быть помещена другая субстанция или как можно создать что-либо из небытия? Как сотворить протяженность, не помещая ее в той самой протяженности, что́ существует необходимо?

В мире есть мысль и материя. Итак, необходимая субстанция, именуемая нами богом, — это и то и другое. Таким образом, вся мысль и вся материя заключены в необъятности бога: вне бога ничто не может существовать или действовать; он — всепонимающий, он — всё.

Итак, все, именуемое нами *различными субстанциями*, на самом деле есть не что иное, как всеобщность различных атрибутов верховного бытия, мыслящего в мозгу у людей, сверкающего в лучах света, движущегося в ветрах, взрывающегося в громе, обегающего пространство во всех светилах и живущего во всей природе.

Бог вовсе не замыкается в стенах своего дворца, наподобие жалкого земного царька, прячущегося от своих подданных; наоборот, он с ними теснейшим образом связан; они — необходимые части его самого; если бы он от них отличался, он перестал бы быть необходимым бытием, он не был бы больше вселенским, не заполнял бы собой всё и был бы просто обособленным существом, как всякое другое.

Хотя все изменчивые модусы вселенной — действие атрибутов этого бытия, тем не менее, согласно Спинозе, последнее не имеет частей; бесконечность, говорит он, не имеет частей в собственном смысле этого слова; если бы она их имела, то к ним можно было бы добавить другие части, а тогда это уже не было бы бесконечностью. Наконец, Спиноза заявляет: дóлжно любить этого необходимого бога, бесконечного и вечного; и вот его собственные слова, на странице 45 издания 1731 года:

«Что касается любви к богу, то идея эта вовсе не может ее умалить; как я полагаю, ни одна другая идея не способна настолько ее возвысить, ибо моя идея убеждает меня: бог тесно связан с моим бытием, он дает мне существование и все мои свойства, но дает их щедро, без страха и сомнения, не подчиняя меня ничему иному, кроме моей природы. Моя идея изгоняет страх, беспокойство, недоверие и все остальные недостатки пошлой и корыстной любви. Она дает мне почувствовать, что я обладаю благом, которое мне нельзя терять, причем обладаю им тем вернее, что я его знаю и люблю».

Идеи эти очаровали многих читателей; были даже такие, что ранее выступали против него, но затем присоединились к его точке зрения.

Ученого Бейля упрекали в том, что он резко нападал на Спинозу [7], не понимая его: резко — да, я согласен; несправедливо — нет, я так не думаю. Было бы стран-

но, если бы Бейль его не понимал. Он легко нащупал слабое место волшебного замка Спинозы; он заметил, что в действительности тот построил своего бога из частей, хотя и вынужден был во имя своей системы от этого отступиться. Бейль увидел, насколько бессмысленно делать бога звездой и тыквой, мыслью и навозом, побеждающим и побежденным. Он заметил, что эта сказка по своим достоинствам гораздо ниже мифа о Протее. Быть может, Бейль должен был придерживаться слова *модусы*, а не *части*, поскольку Спиноза постоянно пользуется первым из них. Но, если я не ошибаюсь, одинаково дерзко считать экскременты животного как модусом, так и частью верховного бытия.

Действительно, Бейль не опроверг доводы, с помощью которых Спиноза утверждает невозможность творения; но это потому, что творение как таковое — объект веры, а не философии; к тому же мысль эта вовсе не является особенностью Спинозы: вся античность мыслила здесь так же, как он. Бейль нападает лишь на нелепую идею простого бога, состоящего из частей, бога, который сам себя ест и переваривает, любит и ненавидит один и тот же предмет в одно и то же время и т. д. Спиноза пользуется всегда словом «бог», и потому Бейль ловит его на слове.

Но, по существу, Спиноза вовсе не признает бога; быть может, он употреблял это слово и говорил, что должно служить богу и его любить, лишь для того, чтобы не отпугнуть человеческий род. Он являет себя атеистом во всем объеме этого термина; его атеизм — не атеизм Эпикура, считавшего богов праздными и бесполезными; это и не атеизм большинства греков и римлян, смеявшихся над богами толпы; Спиноза — атеист потому, что не признает никакого провидения и допускает одну только вечность, бесконечность и необходимость вещей; он атеист, как Стратон, как Диагор; он не сомневается, подобно Пиррону; он утверждает, и что именно он утверждает? Нет ничего, кроме единой субстанции; двух таких субстанций быть не может; субстанция эта протяженная и мыслящая; вот чего никогда не говорили греческие и азиатские философы, допускавшие вселенскую душу.

Спиноза нигде в своей книге не говорит о явных замыслах, просматривающихся во всем сущем. Он не ис-

следует вопроса о том, созданы ли глаза, чтобы видеть, уши — чтобы слышать, ноги — чтобы ходить, а крылья — чтобы летать; он не рассматривает ни законов движения в живых существах и у планет, ни их строения, приспособленного к этим законам, ни глубокую математику, управляющую движениями светил: он страшится увидеть, что все сущее доказывает существование божественного провидения; он не возводит следствия к причинам, но, внезапным рывком завладев причиной вещей, строит свой вымысел, подобно тому как Декарт сконструировал свой, чисто гипотетически. Он допускает вместе с Декартом заполненное пространство, хотя было строго доказано, что никакое движение в таком пространстве немыслимо. Именно это заставило его рассматривать вселенную как единую субстанцию. Он оказался жертвой своего геометрического ума. Как случилось, что Спиноза, не имея возможности сомневаться, что интеллект и материя существуют, даже не попытался исследовать, не устроено ли все это провидением? Как мог он не бросить ни единого взгляда на эти пружины, эти средства, каждое из которых предназначено для определенной цели, и не исследовать, свидетельствуют ли они о руке верховного мастера? Ведь чтобы не усмотреть присутствия провидения всякий раз, как он делал вдох или чувствовал биение своего сердца, надо было быть либо очень невежественным физиком, либо тупым и чванным софистом, ибо дыхание и движение сердца — результаты действия столь искусно устроенного механизма, с таким великим мастерством, зависящего от действия стольких пружин, определенно направленных к единой цели, что воспроизвести это невозможно и для человека здравомыслящего немыслимо этим не восхищаться.

Новейшие спинозисты отвечают на это: не страшитесь выводов, которые вы нам приписываете; мы, как и вы, видим цепь восхитительных действий в сложных телах и во всей природе. Вечная тому причина — признаваемый нами вечный интеллект, вместе с материей образующий всеобщность вещей, имя которой — бог. Есть только одна-единственная субстанция, воздействующая своим модусом мысли на свой модус материи и организующая таким образом вселенную, представляющую собой нераздельное целое.

Мы возражаем на этот ответ: как можете вы доказать нам, что мысль, заставляющая передвигаться светила, одушевляющая человека, производящая всё, есть всего лишь один модус, а испражнения жабы и червяка — другой модус одного и того же верховного бытия? Осмелитесь ли вы сказать, что подобный странный принцип вами доказан? И не прячете ли вы под словами, коих не понимаете сами, собственное невежество? Бейль отлично распознал софизмы вашего мэтра в извивах и туманностях его так называемого геометрического, а на самом деле весьма запутанного стиля. Я отсылаю вас к нему самому. Философы не должны объявлять Бейля некомпетентным.

Как бы то ни было, я замечу относительно Спинозы: он заблуждался весьма чистосердечно. Мне кажется, он исключил из своей системы идеи, которые могли бы ей повредить, лишь потому, что его переполняли собственные идеи; он шел своим путем, не оглядываясь на то, что́ могло этот путь пересечь, а это ведь часто с нами случается. Более того, будучи сам человеком строжайшей добродетели, он опрокинул все моральные принципы: он был таким трезвенником, что выпивал не более пинты вина за месяц; бескорыстен он был до того, что вернул наследникам несчастного Жана де Витта пенсию в двести флоринов, назначенную ему этим великим человеком; благороден настолько, что подарил свое состояние; всегда терпелив в своих злоключениях и своей бедности, всегда ровен в своем поведении.

Бейль, столь грубо с ним обошедшийся, обладал почти таким же характером. Оба они искали истину всю свою жизнь, но искали на разных путях. Спиноза создал систему, благонравную в отдельных ее моментах, но глубоко ошибочную. Бейль боролся со всеми системами; и что же стало с писаниями как того, так и другого? Они питали праздный досуг отдельных читателей — к этому обычно и сводятся все сочинения. От Фалеса и вплоть до профессоров наших университетов, вплоть до самых химерических резонеров и их плагиаторов ни один философ не оказал влияния даже на нравы улицы, где он жил. А почему? Да потому что в основе поведения людей лежит привычка, а не метафизика. Один-единственный человек, если он красноречив, искусен и пользу-

ется доверием, многое может внушить людям; сотня философов ничего тут не смогут поделать, если они только философы и ничего больше.

XXV. НЕЛЕПОСТИ

Достаточно уже много проделано нами путешествий по неизведанным землям, но это еще не все. Я чувствую себя человеком, проблуждавшим по океану и внезапно заметившим Мальдивские острова, которыми усеяно Индийское море: он пожелал посетить их все. Мое большое путешествие мне ничего не дало. Посмотрим, выиграю ли я что-нибудь от наблюдения этих маленьких островков, которые, видимо, годятся лишь для того, чтобы не позволить мне утонуть.

Существует добрая сотня учебников философии, объясняющих мне вещи, о которых никто не может иметь ни малейшего представления. Один хочет разъяснить мне святую троицу с помощью физики: он уверяет, будто она напоминает три измерения материи. Я разрешаю ему болтать и живо прохожу мимо. Другой претендует на то, чтобы дать мне наглядное представление о транссубстанциации, демонстрируя мне с помощью законов движения, как может акциденция существовать без субстанции и каким образом одно и то же тело может одновременно находиться в двух разных местах. Я затыкаю уши и прохожу мимо еще быстрее.

Паскаль, сам Блез Паскаль, автор *Провинциальных писем*, произносит такие слова: вы полагаете невозможным, чтобы бог был бесконечным, не имея частей? Но я все-таки хочу показать вам одну неделимую и бесконечную вещь: это — точка, движущаяся во всех направлениях с бесконечной скоростью, ибо она одновременно находится всюду, причем в каждом из мест — целиком.

Движущаяся математическая точка! Праведное небо! Точка, существующая лишь в мозгу геометра, находится одновременно повсюду и обладает бесконечной скоростью, словно бесконечная скорость может актуально существовать! Здесь каждое слово — вздор, и этот вздор звучит из уст великого человека!

Ваша душа проста, бестелесна, неосязаема, говорит мне еще один; и поскольку ни одно тело не может ее

коснуться, я покажу вам с помощью физики Альберта Великого[8], что она будет физически сожжена, если вы со мной не согласитесь; и вот как я вам это *a priori* докажу, подкрепляя Альберта силлогизмами Абелли[9]. Я отвечаю ему, что не понимаю его *a priori*; что нахожу его комплимент чересчур жестоким; что лишь откровение, о котором между нами нет речи, может меня наставить в столь непостижимой вещи; что я позволяю ему со мной не соглашаться, ничем ему при этом не угрожая; и я покидаю его, опасаясь, как бы он не сыграл со мной скверной штуки, ибо человек этот кажется мне очень злым.

Толпа софистов всех стран и сект осаждает меня непостижимыми аргументами по поводу природы вещей и моей собственной, по поводу моего прошлого, настоящего и будущего. Если им толковать о еде и питье, об одежде, жилье, необходимых съестных припасах, о деньгах, с помощью которых все это добывается, — здесь царит полное взаимопонимание; если можно заработать несколько пистолей, каждый из них спешит это сделать, никто не ошибется ни на одно денье. А когда речь идет обо всем нашем существовании, у них нет ни одной четкой идеи, их покидает здравый смысл. И потому я возвращаюсь к моему первоначальному заключению (*раздел* IV), гласящему, что вещи, недоступные для всеобщего пользования, недоступные всему человечеству, — то, что не могут понять даже люди, сильнее всех изощрившие свою способность мышления, — все это не является необходимым для человеческого рода.

XXVI. О ЛУЧШЕМ ИЗ МИРОВ

Обращаясь ко всем, чтобы просветиться, я наталкиваюсь на учеников Платона. «Ступай с нами, — говорит мне один из них[10]. — Ты живешь в лучшем из миров; мы значительно превзошли своего учителя. В его время существовало лишь пять возможных миров, ибо существует лишь пять правильных тел; но ныне, когда существует бесконечное число возможных вселенных, бог избрал лучшую из них; ступай, и вы непременно там встретитесь». Я смиренно ему отвечаю: «Миры, которые бог мог создать, были лучшими, совершенно одинаковыми или худшими: он не мог избрать худшего; из одина-

ковых миров — если предположить, что такие миры существуют, — ни один не заслуживает предпочтения, ибо они абсолютно одни и те же и среди них не может быть выбора: избрать один из них — значит избрать другой. Следовательно, богу невозможно было не избрать лучший. Но каким же образом возможны другие миры, если невозможно, чтобы они существовали?»

Он приводит мне прекраснейшие различения, продолжая бестолково твердить, что этот мир — лучший из всех реально возможных миров. Но поскольку меня в ту пору терзала каменная болезнь и я испытывал невыносимые муки, граждане лучшего из миров препроводили меня в ближайший госпиталь. По пути двое из блаженных обитателей сего мира оказываются схваченными подобными же существами: им надевают наручники, одному — за какие-то долги, другому — просто по подозрению. Я не знаю, был ли я отведен в лучшую из больниц, но я оказался в толпе двух или трех тысяч несчастных, страдавших так же, как я. Там находилось много защитников родины, поведавших мне, что им были заживо сделаны трепанация и вскрытие, отрезаны руки и ноги, а тысячи благородных их соотечественников были истреблены в тридцати сражениях последней войны — примерно стотысячной с тех пор, как нам известны войны. В том же доме можно было увидеть около тысячи лиц обоего пола, напоминавших отвратительных призраков, которых натирали известным металлом, потому что они следовали законам природы, не знаю уж в силу какой предосторожности решившей отравить их детородные члены. Мысленно я поблагодарил двух моих провожатых.

Когда мне всадили в мочевой пузырь металлический зонд и извлекли из этой каменоломни несколько камней, когда я выздоровел и на мою долю остались до конца моих дней лишь отдельные болезненные симптомы, я позволил себе сделать некоторые замечания моим провожатым и сказать им, что в этом мире есть благо, ибо из глубины моих истерзанных внутренностей было извлечено четыре булыжника, но что я наверняка предпочел бы, чтобы мочевые пузыри представляли собой не каменоломни, а фонари. Я говорил им о бедствиях и множестве преступлений, наводняющих этот превосходный мир. Самый упорный среди них, мой соотечест-

венник, немец по происхождению, сообщил мне, что все это — пустяки.

«Было великим благодеянием неба по отношению к человечеству то, что Тарквиний учинил насилие над Лукрецией, а Лукреция закололась кинжалом: тираны были изгнаны, насилие, самоубийство и война послужили установлению республиканского строя, принесшего счастье покоренным народам». Но мне было трудно признать это счастье. Прежде всего, я не смог понять, в чем состояло блаженство галлов и испанцев, три миллиона которых, как говорят, истребил Цезарь. Опустошения и грабежи мне показались также чем-то малоприятным; однако поборник оптимизма не отступился; он все твердил мне, как тюремщик дона Карлоса: *Спокойно, спокойно, это для вашего же блага!* Наконец, доведенный до крайности, он мне сказал, что земной этот шарик не стоит забот, ибо на нем все идет вкривь и вкось, но зато на звезде Сириус, в созвездии Орион, на оке Быка и в других местах все в порядке. «Так отправимся же туда», — сказал я ему.

Один ничтожный теолог потянул меня тогда за руку; он поведал мне, что люди эти — пустые мечтатели; нет никакой необходимости, чтобы на Земле бытовало зло; Земля была создана как раз для того, чтобы на ней всегда процветало одно только благо. «И чтобы доказать вам это, — молвил мне он, — знайте, что дела некогда шли именно таким образом — в течение десяти или двенадцати дней». — «Увы! — отвечал я ему, — какая жалость, мой преподобный отец, что продолжения не последовало!»

XXVII. МОНАДЫ И Т. Д.

Тот же немец [11] вновь завладевает мной; он меня поучает, ясно показывая мне, что́ такое моя душа. «Все в природе состоит из монад; ваша душа — монада; и поскольку она связана со всеми остальными монадами мира, она необходимо получает идеи всего того, что там происходит; идеи эти смутны, и это весьма полезно; ваша монада, как и моя, представляет собой зеркальный фокус этой вселенной.

Но не думайте, будто ваши действия — результат ваших мыслей. Существует предустановленная гармо-

ния между монадой вашей души и всеми монадами вашего тела, так что, когда ваша душа получает идею, тело ваше действует, но одно не является следствием другого. Это два маятника, раскачивающиеся одновременно; или, если вам угодно, это напоминает человека, произносящего проповедь, в то время как другой человек жестикулирует. Вам легко понять необходимость такого положения в лучшем из миров. Ибо...»

XXVIII. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Поскольку я ровным счетом ничего не понял в этих восхитительных идеях, некий англичанин по имени Кэдворт [12] заметил мое непонимание по моему неподвижному взгляду, моему смущению и поникшей голове. — Идеи эти, сказал он мне, кажутся вам глубокими потому, что они лишены содержания. Я сейчас покажу вам точно, каким образом действует природа. Прежде всего, существует природа вообще, а затем — пластические формы природы, образующие все живые существа и растения; понимаете ли вы меня? — Нет, месье, ни словечка. — Так давайте продолжим. — Пластическая натура — не телесная способность, но имматериальная субстанция, действующая вслепую, ибо она совершенно слепа, не чувствует, не рассуждает и не развивается; однако тюльпан обладает своей пластической формой, вызывающей его рост; у собаки — пластическая форма, заставляющая ее отправляться на охоту, у человека — своя, заставляющая его рассуждать. Формы эти — непосредственные агенты божества; в мире не существует более верных министров, ибо они отдают всё, не удерживая ничего для себя. Вы отлично видите: именно они — истинные первоначала вещей и пластические формы — не хуже предустановленной гармонии и монад, являющихся зеркальным фокусом вселенной. — Я его заверил, что одно вполне стоит другого.

XXIX. О ЛОККЕ

После стольких неудачных заходов, тяжких и изнурительных, пристыженный тем, что в поисках большого числа истин наткнулся на такое множество химер, я вернулся к Локку, подобно блудному сыну, возвращаю-

щемуся к отцу; я бросился в объятия скромного человека, никогда не воображавшего, будто он знает то, чего он не знает; в самом деле, он не располагает огромным богатством, однако капиталы его надежны, и он пользуется весьма солидным состоянием без всякого хвастовства. Он укрепил во мне мнение, бывшее у меня всегда, а именно, что все, поступающее в наше сознание, поступает туда через посредство чувств;

что не существует врожденных понятий;

что мы не можем иметь идеи ни бесконечного пространства ни бесконечного числа;

что я не мыслю непрерывно, а следовательно, мысль — это не сущность, но действие моего сознания;

что я свободен, когда могу сделать то, что хочу;

что свобода эта заключена не в моей воле; ибо, когда я добровольно пребываю в своей комнате, дверь которой заперта и от которой у меня нет ключа, я не волен оттуда выйти; далее, я страдаю тогда, когда не хочу страдать; и еще, весьма часто я не могу припомнить свои идеи, когда хочу их припомнить;

что, таким образом, в корне нелепо говорить: *воля свободна,* ибо нелепо говорить: *я хочу желать эту вещь;* это ведь то же самое, что сказать: *я не желаю ее желать, я боюсь ее бояться;* наконец, воля не более свободна, чем она имеет синий цвет или квадратную форму (см. *раздел* XIII);

что мое желание может быть только результатом идей, полученных моим мозгом; вследствие этих идей я бываю вынужден принять решение, ибо в противном случае я принимал бы решение без основания, а это было бы действием без причины;

что я не могу обладать позитивной идеей бесконечности, ибо сам я вполне конечен;

что я не могу познавать никакие субстанции, ибо я способен иметь только идею их качеств и тысячи качеств какой-либо вещи не приблизят меня к познанию глубокой сущности этой вещи, каковая может иметь еще сто тысяч мне неведомых качеств;

что я представляю собой одну и ту же личность лишь в силу того, что имею память и ощущение своей памяти; ведь совершенно ясно: не имея в себе больше ни единой частицы тела, принадлежавшего мне в детстве, и ни малейшего воспоминания об идеях, воздействовавших на

меня в этом возрасте, я уже не являюсь тем же самым ребенком, как не являюсь Конфуцием или Зороастром. Меня считают тем же лицом люди, бывшие свидетелями моего роста и всегда находившиеся рядом со мной; но я никоим образом не обладаю тем же существованием; я более не прежний я; я — новая личность, и какие же необычные вытекают отсюда следствия!

Наконец, что в связи с моим глубоким неведением в области первоначал вещей, в котором я убедился, мне невозможно познать, что́ представляют собой субстанции, которым бог удостоил даровать способность чувствовать и мыслить. В самом деле, существуют ли субстанции, сущность которых — мышление, которые мыслят всегда и сами по себе? В таком случае субстанции эти, каковы бы они ни были, были бы богами: ведь они не имели бы никакой нужды в вечном созидающем бытии, ибо обладали бы своей сущностью и способностью мыслить и без него.

Во-вторых, если вечное бытие подарило существам способность чувствовать и мыслить, оно даровало им то, что не является их существенным свойством, а значит, оно могло даровать эту способность любому существу, каким бы оно ни было.

В-третьих, мы не знаем глубокой сущности ни одного из существ, следовательно, нам невозможно знать, способно ли или нет какое-нибудь существо обрести ощущение или мысль. Слова *материя* и *дух* — всего лишь слова; у нас нет никакого сколько-нибудь полного представления об обеих этих вещах, значит, по существу, столь же безрассудно утверждать, будто тело, устроенное самим богом, не может получить от этого бога мышление, как было бы смехотворно говорить, будто дух не умеет мыслить.

В-четвертых, как я предполагаю, могут существовать чисто духовные субстанции, никогда не имевшие ни малейшего представления о материи и движении: что же, им позволено будет отрицать существование материи и движения?

Я думаю, что ученая конгрегация, осудившая Галилея как неуча и безбожника за то, что он доказал вращение Земли вокруг Солнца, была до некоторой степени знакома с идеями канцлера Бэкона, предложившего исследовать, присуще ли материи притяжение; я пола-

гаю, что референт этого трибунала объяснил этим степенным мужам, что в Англии были безумцы, подозревавшие, будто бог мог дать всей материи — от Сатурна до нашего маленького комочка грязи — устремленность к центру, притяжение, тяготение, совершенно независимое от всякого импульса, ибо импульс, сообщаемый движущейся жидкостью, действует соразмерно поверхностям, а тяготение — соразмерно массам. И вот вы видите, как эти судьи человеческого разума и самого бога тотчас же выносят свои приговоры, предают анафеме то самое тяготение, что было позднее доказано Ньютоном; они заявляют, будто это невозможно для бога, и объявляют кощунством тяготение к центру! Мне кажется, я виновен в подобном же безрассудстве, когда осмеливаюсь утверждать, будто бог не мог заставить чувствовать и мыслить любое устроенное [им] существо.

В-пятых, я не могу сомневаться в том, что бог придал сложной материи в живых существах ощущения, память, а следовательно, и идеи. Почему же я должен отрицать, что он мог сделать такой же подарок другим живым существам? Нами уже было сказано: трудность состоит не столько в том, чтобы понять, что сложная материя может мыслить, сколько в том, чтобы понять, каким образом мыслит какое бы то ни было существо.

В мысли есть нечто божественное; да, несомненно, и именно поэтому я никогда не смогу узнать, что это такое — мыслящее существо. Принцип движения божествен, и я никогда не узна́ю причину того самого движения, законам коего подчиняются все мои члены.

Дитя Аристотеля, находясь на руках кормилицы, втягивало в свой ротик сосок ее груди, образуя своим язычком насос, накачивающий воздух в образующуюся пустоту, а отец его ничего об этом не знал и ляпнул наобум, что природа боится пустоты.

Дитя Гиппократа в возрасте четырех лет доказало циркуляцию крови, проведя своим пальцем по собственной руке, а Гиппократ не знал, что кровь циркулирует.

Мы — те же дети, все до единого: мы совершаем поразительные вещи, но при этом никто из философов не знает, как они совершаются.

В-шестых, вот основания или, точнее, сомнения, каковыми снабдила меня моя мыслительная способность относительно скромного утверждения Локка. Еще раз:

я не говорю, будто в нас мыслит именно материя; я говорю вместе с Локком: нам не подобает заявлять, будто для бога невозможно заставить материю мыслить; абсурдно это заявлять, и не нам, земным червям, ограничивать могущество верховного бытия.

В-седьмых, я хочу добавить, что вопрос этот не имеет никакого отношения к нравственности, ибо, может ли материя мыслить или нет, любой, кто мыслит, должен быть справедлив, потому что атом, которому бог даровал мышление, может оказаться достойным и недостойным, быть наказанным или вознагражденным и вечно жить, точно так же как и неведомое существо, некогда именовавшееся *дыханием* [*souffle*], а теперь именуемое *духом* [*esprit*], о котором мы имеем еще меньшее представление, чем об атоме.

Я прекрасно знаю, что люди, полагавшие, будто только существо, именуемое *дыханием*, может быть восприимчиво к ощущению и мысли, преследовали тех, кто принял сторону мудрого Локка и кто не осмелился ограничить могущество бога способностью одушевлять одно лишь упомянутое дыхание. Но в то время, когда весь свет верил, будто душа — легкое тело, дуновение, огненная субстанция, разве благородно было бы преследовать тех, кто явился бы с сообщением, что душа имматериальна? Разве правы были бы все отцы церкви, считавшие душу тонким телом, если бы они стали преследовать других отцов церкви, принесших людям идею абсолютной имматериальности? Разумеется, нет, ибо преследователь омерзителен; следовательно, те, кто допускает полную имматериальность, сами не понимая, что́ это такое, должны были терпимо относиться к тем, кто ее отвергал по причине непонимания. Те, кто отказал богу в способности одушевить неведомое существо, именуемое материей, должны были терпимо отнестись к тем, кто не посмел лишить бога этой потенции; ибо очень неблагородно испытывать взаимную ненависть и вражду из-за силлогизмов.

XXX. ЧТО Я УЗНАЛ ДО СИХ ПОР?

Я был согласен с Локком и с самим собой и обнаружил себя обладателем четырех-пяти истин, освобожденных от сотни ошибок и обремененных бесчисленным

множеством сомнений. Тогда я сказал самому себе: эти несколько истин, добытых моим разумом, окажутся в моих руках бесплодным даром, если я с их помощью не смогу обрести некий моральный принцип. Такому жалкому, слабому существу, как человек, было бы хорошо подняться до познания господина природы; но это принесет мне не больше пользы, чем знание алгебры, если я не извлеку из этого для себя некое правило жизненного поведения.

XXXI. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МОРАЛЬ?

Чем больше я встречал людей различных климатов, нравов, языков, законов, культа и степени интеллекта, тем более я убеждался, что у всех у них существует одна и та же основа морали; все они имеют приблизительное представление о справедливом и несправедливом, хотя не знают при этом даже азов теологии; все они достигли этого одинакового представления в возрасте, когда расцветает разум, подобно тому как все они естественно достигли — без помощи математики — искусства поднимать с помощью рычага грузы и переплывать водные потоки на куске дерева.

Итак, я решил, что идея справедливого и несправедливого для них необходима, ибо все люди бывают в этом между собой согласны с того самого момента, как становятся способными действовать и рассуждать. Значит, верховный интеллект, нас создавший, пожелал, чтобы на Земле была справедливость, чтобы мы могли в течение определенного времени там жить. Мне кажется, что, не имея ни инстинкта, как у животных, направленного на добывание пищи, ни естественного оружия, как у них, и прозябая ряд лет в имбецильном состоянии детства, беззащитного перед лицом всех опасностей, немногие оставшиеся в живых люди, избежавшие зубов хищных зверей, голодной смерти и нищеты, должны были бы начать оспаривать друг у друга какую-то пищу и шкуры животных, и они тотчас же истребили бы друг друга, подобно детям Кадмова дракона, как только научились бы пользоваться оружием. По крайней мере, никакое общество было бы немыслимо, если бы человек не постиг хоть сколько-нибудь идею справедливости — связующего звена любого общества.

В самом деле, как могли бы египтяне, воздвигавшие пирамиды и обелиски, и кочевники-скифы, не знавшие даже хижин, иметь одни и те же основные понятия о справедливом и несправедливом, если бы бог от начала времен не дал обоим народам тот разум, что, развиваясь, позволяет им усмотреть одни и те же необходимые принципы, точно так же как он дал им органы, которые, достигнув высшей своей энергии, служат в силу необходимости и совершенно одинаковым образом продолжению как скифской, так и египетской расы? Я вижу варварскую орду, невежественную, суеверную, кровожадных и алчных людей, не имеющих на своем наречии даже слова для обозначения геометрии или астрономии [13], а между тем у народа этого те же основные законы, что и у мудрых халдеев, которым были ведомы пути звезд, и у еще более ученых финикийцев, пользовавшихся своим знанием светил для основания колоний на краю полушария — там, где Океан сливается со Средиземным морем. Все эти народы утверждают, что дóлжно чтить своего отца и свою мать, что клятвопреступление, клевета, человекоубийство отвратительны. Значит, все они извлекают одни и те же выводы из одинакового основоположения своего развитого разума.

XXXII. РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА. ПОНЯТИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Понятие о чем-то справедливом представляется мне столь естественным, так повсеместно принятым среди всех людей, что оно не зависит ни от какого закона, договора или религии. Если я попрошу турка, гебра или малабарца вернуть мне деньги, которые я одолжил ему на еду или одежду, ему никогда не придет в голову мне ответить: подождите, я узнаю, повелевают ли мне Магомет, Зороастр или Брама вернуть вам ваши деньги. Он признает свой долг по отношению ко мне справедливым, и если он его не выполнит, то лишь потому, что бедность или жадность заставят его нарушить справедливость, которую он признаёт.

Я утверждаю, что не существует такого народа, у которого считалось бы справедливым, подобающим и благородным отказать в пропитании своему отцу или

матери, если можно им его дать; никогда ни одна народность не позволяла себе рассматривать клевету как благое деяние; этого не бывает даже в обществе закоренелых ханжей и фанатиков.

Идея справедливости представляется мне столь первоочередной истиной, истиной, одобряемой всем светом, что, как я вижу, все тягчайшие преступления, поражающие человеческое общество, совершались под ее лживым предлогом. Величайшее преступление или, по крайней мере, наиболее разрушительное, а потому и наиболее противное целям природы — война; но нет такого агрессора, который не прикрывал бы это злодеяние вывеской справедливости.

Римские грабители заставляли жрецов, именовавшихся *фециалами*, объявлять все свои вторжения справедливыми. Любой разбойник, возглавляющий армию, начинает свои злодеяния с манифеста и обращает молитву к богу — защитнику воинов.

Даже мелкие воришки, когда они объединены в банду, остерегаются говорить: «Давайте украдем», «Давайте вырвем у вдовы или сироты их пропитание»; нет, они говорят: «Восстановим справедливость, вернем себе наше добро, захваченное богачами». У них есть свой особый язык — начиная с XVI века публиковали подобные словари: в таком языке, именуемом ими *жаргоном*, совершенно нет слов *воровство, мелкая кража, грабеж*; они пользуются терминами, соответствующими понятиям *заработать, вернуть себе.*

Слово «несправедливость» никогда не произносится в государственном совете во время принятия решения о самом несправедливом убийстве; заговорщики, даже наиболее кровавые, никогда не говорят: «Давайте, совершим преступление». Все они говорят: «Отомстим тиранам за преступления против родины; покараем то, что нам представляется несправедливостью». Одним словом, трусливые льстецы, жестокие министры, гнусные заговорщики, воры, погрязшие в беззаконии, — все они поневоле отдают дань уважения той добродетели, которую сами попирают ногами.

Я всегда изумлялся тому, что французы, люди просвещенные и утонченные, терпимо относились к звучавшим с театральных подмостков изречениям из первой сцены «Помпея», столь же отвратительным, сколь лжи-

вым, и гораздо более преувеличенным, чем изречения Лукана, которым они подражают:

Справедливость и право — звук пустой...
Право королей — ничего не щадить.

И эти омерзительные слова вкладываются в уста Потина, министра юного Птолемея. Ведь именно потому, что он министр, он должен был говорить прямо противоположное; он должен был изобразить смерть Помпея как неизбежное и справедливое несчастье.

Итак, я считаю, что идеи справедливости и несправедливости столь же ясны и общераспространены, как идеи здоровья и болезни, истины и лжи, пристойности и неприличия. Очень трудно очертить границы справедливого и несправедливого, как трудно установить срединное состояние меж здоровьем и болезнью, приличием и неприличием, истиной и ложью. Здесь есть стирающиеся нюансы, но резкие тона поражают все взоры. Например, все люди признают: надо возвращать то, что нам дали в долг; но если я знаю, что человек, которому я должен два миллиона, употребит их на то, чтобы поработить мою родину, должен ли я ему возвращать зловещее оружие? Мнения тут разделяются; вообще же я должен соблюдать данное мной обязательство, если из того не последует никакого зла: в этом никогда не сомневался ни один человек.

XXXIII. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВСЕОБЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ИСТИНЫ?

Мне могут возразить, что согласие людей всех времен и стран не является доказательством истины. Все народы верили в магию, в колдовство, в привидения, в бесноватых, во влияние звезд и тысячи подобных же глупостей: не может ли приключиться то же самое со справедливым и несправедливым?

Мне кажется, нет. Прежде всего, неверно, будто все люди верили в эти химеры. На самом деле они были пищей слабоумной толпы, к которой могут принадлежать и высокопоставленные лица и простой народ; но многие мудрецы всегда поднимали на смех эти химеры, и, наоборот, те же мудрецы всегда признавали поня-

тия справедливого и несправедливого в той же степени и еще большей, нежели обыкновенные люди.

Вера в колдунов, одержимых и т. д. совсем не является необходимой людям; вера в справедливое и несправедливое — абсолютная необходимость; следовательно она есть совершенство разума, дарованного нам богом, а идея колдунов, бесноватых и т. п. является, наоборот, извращением того же самого разума.

XXXIV. ПРОТИВ ЛОККА

Однако Локк, просвещающий меня и учащий не доверять самому себе, — не ошибается ли он иногда так же, как я? Он стремится доказать ложность представления о врожденных идеях; но не добавляет ли он довольно слабый довод к доводам очень сильным? Он признает несправедливым бросать своего ближнего в кипящий котел и есть его мясо. Но при этом, говорит он, существовали нации людоедов, а ведь эти мыслящие существа не стали бы пожирать людей, если бы обладали понятием справедливого и несправедливого, которое, согласно моему предположению, необходимо присуще человеческому роду (см. *раздел* XXXVI).

Не входя здесь в рассмотрение вопроса, существуют ли на свете в действительности нации людоедов, и не анализируя сообщения Дампье, исколесившего всю Америку и ни разу не встретившего там людоедов, но, наоборот, принятого всеми дикарями весьма человечно, я отвечу на это следующее:

Победители поедали пленников, захваченных на войне: они считали это весьма справедливой акцией; они полагали, что имеют над теми право жизни и смерти; и поскольку в их распоряжении было мало вкусных блюд, считали, что им дозволено воспользоваться плодом своей победы. В данном случае они проявляли себя более справедливыми, чем римские триумфаторы, приказывавшие без всякой для себя пользы удушать пленных государей, прикованных ими к своей триумфальной колеснице. И римляне и дикари имели весьма ложное представление о справедливости, я это признаю; но в конце концов и те и другие полагали, что они действуют справедливо, и это тем более верно, что те же самые дикари, когда они принимали пленных в свое сообщество,

относились к ним как к своим детям, а те же самые римляне показали тысячи примеров самой высокой справедливости.

XXXV. ПРОТИВ ЛОККА

Я признаю вместе с мудрым Локком: не существует никаких врожденных идей и врожденных практических принципов; это тем более твердая истина, что, как это очевидно, все дети имели бы ясное представление о боге, если бы они родились на свет с этой идеей, и все люди были бы согласны с ней — а такого согласия мы никогда не видели. Не менее очевидно, что мы не рождаемся на свет с развитыми моральными принципами, ибо трудно было бы в этом случае понять, каким образом целая нация может отбросить моральный принцип, начертанный в сердце каждого ее индивида.

Я предполагаю, что мы все рождены с достаточно развитым моральным принципом, гласящим: не до́лжно никого преследовать за его образ мышления; но каким образом целые народы оказывались преследователями? Я предполагаю, что каждый человек несет в своем сердце очевидный закон, повелевающий быть верным своей присяге; но каким образом все эти люди, объединенные в корпорации, приняли решение, позволяющее не сдерживать обещаний, данных еретикам? Я снова повторяю, что вместо химерических врожденных идей бог дал нам разум, крепнущий с годами и говорящий нам всем, когда мы внимательны и нами не владеют страсти и предрассудки: есть бог и надо быть справедливыми. Но я не могу согласиться с выводами, извлекаемыми отсюда Локком. Здесь он чересчур сближается с Гоббсом[14] и его системой, от которой он на самом деле весьма далек.

Вот его слова из первой книги «О человеческом разуме»: «Взгляните на город, взятый приступом, и посмотрите, остается ли в сердце солдата, настроенном на резню и мародерство, хоть какое-то уважение к добродетели, хоть проблеск моральных принципов или угрызений совести по поводу того, что он совершает». Нет, солдаты не испытывают никаких угрызений совести; но почему? Да потому что считают свои действия справедливыми. Никто из них не подозревает в неправоте дело государя, за которое они пошли в сражение; они рискуют за

это дело жизнью; они верны заключенной сделке; при осаде они могли быть убиты; что ж, значит, они вправе убить; они могли быть ограблены; итак, они думают, что и им позволено грабить. Добавьте к этому: они опьянены яростью, которая не рассуждает, и, чтобы доказать вам, что они вовсе не отбрасывают при этом идею честности и справедливости, предложите этим солдатам гораздо бóльшую сумму денег, чем им может дать разграбление города, гораздо более красивых девушек, чем те, которых они изнасиловали, на одном лишь условии, чтобы вместо яростного убийства трех или четырех тысяч врагов, продолжающих сопротивляться и могущих убить их самих, они отправились убить своего короля, его канцлера, государственных секретарей и верховного капеллана, — и вы не найдете ни одного солдата, который не отверг бы с омерзением ваши предложения. А между тем вы предлагаете им всего шесть убийств вместо четырех тысяч, и вдобавок за высокое вознаграждение. Почему же они вам отказывают? Да потому, что считают справедливым убить четыре тысячи врагов, а убийство своего суверена, которому они присягнули на верность, представляется им отвратительным.

Локк развивает свою мысль и, чтобы лучше доказать, что ни одно правило практической морали не бывает у нас врожденным, приводит пример мингрельцев, развлекающихся, по его словам, тем, что они закапывают в землю живыми своих детей, а также пример карайбов, оскопляющих своих детей для того, чтобы сделать их более тучными и пригодными для еды.

Мы уже отмечали, что этот великий человек был чересчур легковерен и доверял таким басням; но Ламберт[15], единственный, кто обвиняет мингрельцев в закапывании своих детей живыми ради развлечения, не является автором, достаточно заслуживающим доверия.

Шарден[16], который слывет правдивым путешественником и за которого мингрельцы потребовали выкуп, рассказал бы об этом ужасном обычае, если бы он существовал; более того, дабы ему поверили, недостаточно одних его слов; чтобы столь чудовищный факт обрел историческую достоверность, следовало бы, чтобы не меньше двадцати путешественников, принадлежащих различным нациям и вероисповеданиям, согласно его подтвердили.

То же самое относится к женщинам Антильских островов, якобы оскоплявшим своих детей, чтобы их съесть: подобное деяние противно природе матери.

Человеческое сердце вовсе не так устроено. Оскопление детей — весьма деликатная и очень опасная операция; она вовсе не прибавляет им тучности, но, наоборот, делает их очень худыми, по крайней мере на целый год, а часто это просто их убивает. Такая утонченная жестокость всегда была в обычае только у высокопоставленных лиц, развращенных избытком роскоши, и ревнивых, которым взбрело на ум держать евнухов для услужения их женам и наложницам. В Италии и в папской хоровой капелле этот обычай был принят лишь для того, чтобы певцы имели голоса более прекрасные, чем у женщин. Что же касается Антильских островов, то нет никаких оснований предполагать, будто дикари этих островов изобрели сей изощренный прием — оскоплять маленьких мальчиков для получения вкусного блюда; и потом, что стали бы они тогда делать со своими маленькими девочками?

Локк приводит еще в пример святых магометан, которые благочестиво совокупляются со своими ослицами, чтобы избежать всякого соблазна впасть в блуд со своими соотечественницами. Но подобные россказни надо отнести в тот же ряд, что и басню о попугае, имевшем восхитительную беседу на бразильском языке с государем Маврикия — беседу, которую Локк в простоте душевной пересказывает, ничуть не подозревая, что переводчик этого государя мог над ним подшутить. Ведь таким же точно образом автор «Духа законов» доставляет себе удовольствие цитировать пресловутые законы Тонкина, Бантама, Борнео или Формозы со слов некоторых путешественников — либо лжецов, либо людей малообразованных. Локк и этот автор — великие люди, и подобное легковерие не кажется мне у них извинительным.

XXXVI. ПРИРОДА ВСЮДУ ОДИНАКОВА

Покидая здесь Локка, я говорю вместе с Ньютоном: «Natura est semper sibi consona*: природа вечно себе

* Букв.: «Природа вечно созвучна себе самой» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

подобна». Закон тяготения, действующий на одной из звезд, действует и на всех звездах, во всей материи; точно так же и основной закон морали одинаково действителен для всех хорошо известных наций. Существуют тысячи разных толкований этого закона в различных обстоятельствах, но основа его остается всегда той же самой, и это — идея справедливости и несправедливости. В исступлении страсти очень часто свершаются несправедливости, ибо люди в опьянении этой страстью теряют разум; но когда опьянение минует, разум возвращается к нам, и это, на мой взгляд, единственная причина, способствующая существованию человеческого общества,— причина, подчиненная нашей взаимной потребности друг в друге.

Каким же путем, однако, обрели мы идею справедливости? Таким же, как мы получили идеи благоразумия, истинности, приличия, а именно через чувство и разум. Мы не можем не считать весьма неразумным поступок человека, который бросился бы в огонь, чтобы вызвать всеобщее восхищение, и надеялся бы оттуда выбраться. Мы не можем не считать очень несправедливым поступок человека, в гневе убивающего другого. Общество основано лишь на тех понятиях, кои никто никогда не вырвет из нашего сердца; вот почему всякое общество продолжает существовать, какому бы нелепому и страшному суеверию оно ни было подчинено.

В каком возрасте мы познаём справедливое и несправедливое? В возрасте, когда узнаём, что два плюс два будет четыре.

XXXVII. О ГОББСЕ

Философ глубокий и странный, отличный гражданин, отважный ум, враг Декарта, ты, ошибавшийся, как и он, ты, чьи погрешности в физике велики, но и извинительны, ибо ты появился до Ньютона, ты, провозгласивший истины, не искупающие твоих ошибок, первый показавший химеричность врожденных идей, бывший во многом предшественником Локка, но также и предшественником Спинозы, напрасно удивлял ты читателей своим чуть ли не успешным доказательством, гласящим, что в мире не существует иных законов, кроме законов, основанных на договоре, и нет справедливости и неспра-

ведливости, кроме той, относительно которой договорились именовать ее так в данной стране! Если бы ты оказался один на один с Кромвелем на необитаемом острове и Кромвель захотел бы тебя убить за то, что ты принял сторону своего короля на острове Великобритания, разве не показалось бы тебе подобное покушение на этом новом острове столь же несправедливым, сколь несправедливым оно показалось бы тебе у себя на родине?

Ты говоришь, что, согласно закону природы, «поскольку все имеют право на всё, каждый имеет право жизни и смерти в отношении себе подобного». Но не смешиваешь ли ты силу с правом? Полагаешь ли ты, будто действительно сила дает нам право и здоровый и крепкий сын не должен себя упрекать за то, что убил своего немощного и дряхлого отца? Кто бы ни исследовал мораль, он обязан с порога отвергнуть твой труд в своем сердце, но твое собственное сердце еще более опровергает тебя: ведь ты был добродетельным человеком, как и Спиноза, и, так же как ему, тебе оставалось только учить людей истинным принципам добродетели, осуществлявшимся тобой в жизни и рекомендованным тобой другим.

XXXVIII. ВСЕОБЩАЯ МОРАЛЬ

Мораль представляется мне настолько всеобщей, настолько предусмотренной Существом, создавшим все, создавшим и нас, настолько предназначенной для служения противовесом нашим пагубным страстям и для облегчения неизбежных страданий этой короткой жизни, что от Зороастра и до лорда Шефтсбери все философы, на мой взгляд, проповедуют одну и ту же мораль, хотя у всех них различные идеи относительно первоначал вещей.

Каждая нация имела особые религиозные обряды и часто нелепые и возмутительные мнения в области метафизики и теологии; но когда начинают выяснять, нужно ли быть справедливым, весь свет бывает единодушен, как мы показали в *разделе* XXXVI и как это необходимо без устали повторять.

XXXIX. ЗОРОАСТР

Я не собираюсь исследовать здесь, в какое время жил Зороастр, которого персы относят к периоду девятитысячной давности, т. е. к тому же времени, к какому Платон относит древних афинян. Я только вижу, что его моральные предписания сохранились до наших дней: они переведены с древнего языка магов на народное наречие гебров, и по наивным аллегориям, смехотворным правилам и фантастическим представлениям, которыми полон этот сборник, видно, что религия Зороастра относится к самой глубокой древности. Именно здесь мы находим слово *сад* для обозначения вознаграждения праведных; здесь мы встречаем имя «Сатана» для названия злого начала, принятое и у иудеев. Здесь мир разделен на шесть эпох, или времен. Здесь же приказывается тем, кто читает, читать «Абунавар» и «Ашим вуху».

Но в конце концов, какие нравственные обязанности предписываются в этом сборнике «Ста дверей», или наставлений, извлеченных из книги «Зенд» — сборнике, где цитируются собственные слова древнего Зороастра?

Обязанность любить своего отца и мать и помогать им, подавать милостыню бедным, никогда не нарушать своего слова, воздерживаться от деяния в случае сомнения в его справедливости (*«Дверь»* 30).

Я задерживаюсь на этом предписании, ибо никогда ни один законодатель не смог от него уйти; и я укрепляюсь в мысли, что, хотя Зороастр утвердил много смешных суеверий в вопросах культа, он, как показывает чистота его морали, не в состоянии был ее нарушить; он впадал в тяжкие заблуждения в своих догмах, но тем меньше для него было возможно заблуждаться в области добродетели.

XL. БРАХМАНЫ

Вполне возможно, что брамы, или брахманы, существовали задолго до периода пяти императоров в Китае; высокую вероятность этого подтверждает то, что самые редкостные антиквариаты в Китае — индийские, в Индии же вообще нет китайских древностей.

Древние брамы, несомненно, были столь же скверными метафизиками и нелепыми теологами, как халдеи

и персы, а также все остальные народности, живущие западнее китайцев. Но зато какая возвышенная мораль! Согласно их учению, жизнь — это смерть, длящаяся некоторое количество лет, после чего человек сливается с божеством. Они не ограничивались справедливостью в отношении других, но были крайне строги по отношению к себе самим; покой, умеренность, созерцательность, отказ от всех удовольствий были их главным долгом. И все мудрецы других наций отправлялись к ним учиться тому, что именовалось мудростью.

XLI. О КОНФУЦИИ

Китайцы не могли упрекнуть себя ни в каком суеверии и шарлатанстве, обычных у других народов. Китайское правительство показывало в течение более четырех тысяч лет и продолжает показывать людям сейчас, что можно управлять ими без того, чтобы их обманывать; что не ложью надо служить богу истины; что суеверие не только бесполезно, но и вредно для религии. Никогда почитание бога не было столь чистым и святым, как в Китае (*вплоть до богооткровенности*). Я не говорю о народных сектах, я говорю о религии государя, всех судей и всех тех, кто не принадлежит к черни. В чем заключается религия всех благородных людей в Китае в течение стольких веков? А вот: *Чтите небо и будьте справедливыми.*

Часто великого Кун-фу цзы, которого мы именуем Конфуцием, помещают в число древних законодателей, основоположников религии, — это большая оплошность. Кун-фу-цзы принадлежит сравнительно позднему времени: он жил всего за 550 лет до нашей эры. Никогда он не учреждал никакого культа и никаких обрядов; никогда не объявлял себя ни боговдохновенным, ни пророком; он всего только собрал воедино все древние нравственные установления.

Он призывает людей прощать оскорбления и помнить об одних лишь благодеяниях;

непрестанно следить за самими собой и исправлять сегодня ошибки, допущенные вчера;

подавлять свои страсти и поддерживать дружбу; давать без излишеств и принимать лишь крайне необходимое, не унижаясь.

Он не говорит, будто не надо чинить другому то, что́ мы не хотим, чтобы причиняли нам: ведь это означает лишь запрет зла; он стремится к большему, он советует делать добро: «Поступай с другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».

Он учит не просто скромности, но смирению: он поощряет все добродетели.

XLII. О ГРЕЧЕСКИХ ФИЛОСОФАХ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ПИФАГОРЕ [17]

Все греческие философы болтали вздор в области физики и метафизики. Но все они великолепны в морали; здесь они все равны Зороастру, Кун-фу-цзы и брахманам. Прочтите одни только «Золотые слова» Пифагора — краткое резюме его учения; неважно, кто именно их записал; попробуйте сказать, что в них забыта хоть какая-то одна добродетель.

XLIII. О ЗАЛЕВКЕ

Греческие, итальянские, испанские, немецкие, французские и т. д. проповедники! Соберите все ваши изречения, очищенные от всяких декламационных приемов,— разве можно будет извлечь из них более чистый экстракт, нежели вступление к законам Залевка? [18]

«Смиряйте ваши души, очищайте их, удаляйте из них всякую преступную мысль. Знайте, богу не могут, как надо, служить люди порочные; знайте, что он непохож на слабых смертных, коих соблазняют хвалы и дары; одна лишь добродетель ему угодна».

Это квинтэссенция всякой религии и морали.

XLIV. ОБ ЭПИКУРЕ

Школьные педанты, учителишки семинарий, поверили на основании нескольких шуток Горация и Петрония, будто Эпикур проповедовал сладострастие как в своих поучениях, так и на личном примере. Но Эпикур весь свой век прожил мудрым философом, воздержанным и справедливым. Он был мудр уже на тринадцатом году своей жизни: когда его учитель грамматики процитировал ему стихи Гесиода [19]:

Из всего сущего первым был создан хаос*,

он воскликнул: «Ох! Кто же его создал если он был первым?» — «Я ничего об этом не знаю, — отвечал учитель грамматики, — это ведомо только философам». — «Тогда я буду учиться у них», — отпарировал Эпикур, и с этого момента вплоть до своих семидесяти двух лет он посвятил себя философии. Его завещание, полностью сохраненное для нас Диогеном Лаэрцием [20], обнаруживает его безмятежную и справедливую душу: он отпустил на свободу рабов, заслуживших, по его мнению, эту милость; он советует своим душеприказчикам дать волю тем из них, кто покажет себя ее достойным. Никакой кичливости, никакого несправедливого предпочтения: то последняя воля человека, всегда имевшего разумные желания. Он единственный из всех философов пользовался дружбой всех своих учеников, и его школа была единственной, в которой умели любить и которая не распалась на множество других школ.

После исследования его учения и всего написанного за и против него всё представляется сводящимся к спору между Мальбраншем и Арно [21]. Мальбранш признаёт приносимое удовольствием счастье, Арно это отрицает; но то был спор о словах, как и всякий другой спор, в котором философия и теология, каждая со своей стороны, доказывают собственную несостоятельность.

XLV. СТОИКИ

Если эпикурейцы изобразили нам человеческую природу приятной, то стоики делают ее почти божественной. Самоотречение пред лицом Существа существ [Être des êtres] или, точнее, возвышение души до уровня этого Существа; презрение к удовольствиям и даже к страданию, к жизни и смерти; железная непреклонность в справедливости — таков характер истинных стоиков, и всё, что можно сказать против них, — они обескураживали других людей.

Сократ, не принадлежавший к их секте, показал, что можно достичь столь же высокой добродетели, не буду-

---

* Перевод с французского перевода, сделанного Вольтером с греческого.— *Примеч. переводчика.*

чи приверженцем ни одной партии; смерть этого мученика во имя божества — вечный укор афинянам, хотя они и раскаялись в своем деянии.

Стоик Катон со своей стороны — вечная слава Рима. Эпиктет[22] в своем рабском состоянии, быть может, выше Катона: он никогда не роптал на свою нищету. «Я нахожусь там, — говорил он, — куда провидение пожелало меня поместить; жаловаться на это — значит оскорблять провидение».

Решусь ли я сказать, что император Антонин[23] стоит еще выше, чем Эпиктет? Ибо он победил множество соблазнов, а ведь императору гораздо труднее не развратиться, чем бедняку — не роптать. Прочтите «Мысли» того и другого, и оба — император и раб — покажутся вам равно великими.

Осмелюсь ли я говорить здесь об императоре Юлиане[24]? Он заблуждался в догматике, но уж никак не в морали. Одним словом, нет ни единого античного философа, который не хотел бы сделать людей лучшими.

Были среди нас такие, что утверждали, будто все добродетели этих великих людей являлись всего лишь блистательными прегрешениями[25]. Но пусть земля будет пухом подобным грешникам!

XLVI. ФИЛОСОФИЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ

Были софисты, являвшиеся по отношению к философам тем же самым, чем бывают обезьяны по отношению к людям. Лукиан насмехался над ними; их презирали: они напоминали монахов, нищенствующих по университетам. Но не будем забывать, что все философы являли великие образцы добродетели, а софисты, и даже монахи, все без исключения отдавали добродетели в своих сочинениях дань уважения.

XLVII. ЭЗОП

Я поместил бы Эзопа среди этих великих людей и даже во главе их, кем бы он ни был — индийским ли Пильпаи, древним ли предшественником Пильпаи, персидским Локманом, арабским Хакимом или финикийским Хакамом: я вижу, что басни его имели хождение среди всех восточных народов, а истоки их уходят в глу-

бочайшую, бездонную древность. На что направлены эти столь же глубокие, сколь и наивные, басни, эти притчи, написанные во времена, когда люди не сомневались в умении животных вести разговоры? Они были наукой почти для всего нашего полушария. Это не сборники скучных сентенций, более утомляющих нас, чем несущих свет; это сама истина в прелестной форме басни. Все, что можно было к ним добавить, — это изящные украшения современного языка. Древняя мудрость проста и обнаженна у ее первого автора. Наивное изящество, которым ее уснастили во Франции, не сумело скрыть ее почтенной сути. Чему учат нас все эти басни? Тому, что надо быть справедливыми.

XLVIII. О ПОКОЕ, РОДИВШЕМСЯ ИЗ ФИЛОСОФИИ

Поскольку у всех философов были различные догмы, ясно, что догма и добродетель полностью по своей природе различны. Верил кто или нет, что Фетида была богиней моря, был ли кто убежден или нет в войне гигантов и существовании золотого века, в истинности мифа о шкатулке Пандоры, в смерти дракона Пифона и т. д.— все эти доктрины не имели ничего общего с моралью. Поразительным в античности является то, что теогония никогда не возмущала покоя наций.

XLIX. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Ах, если бы мы могли подражать античности! Если бы в отношении теологических диспутов мы могли, наконец, поступить так же, как мы стали поступать по истечении семнадцати веков в области изящной литературы!

После варварства наших школ, в котором мы погрязали, мы вернулись, наконец, к здравому вкусу античности. Никогда римляне не были столь вздорными, чтобы вообразить, будто можно преследовать человека за его приверженность пустоте или заполненному пространству, за то, что он утверждает немыслимость существования акциденций без субстанции или толкует в одном смысле место какого-то автора, понимаемое другим автором в смысле противоположном.

Мы в нашей каждодневной практике постоянно прибегаем к юриспруденции римлян, и когда нам не хвата-

ет какого-либо закона (а это случается у нас весьма часто), мы обращаемся к «Кодексу» и «Дигестам». И почему, в самом деле, не подражать нашим учителям в их мудрой терпимости?

Важно ли государству, какого мнения держится тот или иной человек относительно реалий и номиналий?[26] Держит ли кто-нибудь сторону Скотта[27] или Фомы[28], Эколампадия[29] или Меланхтона?[30] Принадлежит ли он к партии епископа Ипра[31], которого никто не читал, или испанского монаха[32], которого еще меньше читали? Не ясно ли, что все это должно быть столь же безразличным для истинных интересов наций, сколь для них безразлично, будет ли хорошо или плохо переведен какой-то отрывок из Ликофрона либо из Гесиода?

L. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Я знаю, люди иногда страдают болезнью мозга. У нас был музыкант, скончавшийся безумным оттого, что его музыка не пользовалась успехом[33]. Кто-то считает, что нос его сделан из стекла; но если бы, например, многие воображали, будто они вечно правы, хватило ли бы чемерицы для исцеления от столь странной болезни?

А если бы эти больные, чтобы доказать, что они всегда правы, угрожали жесточайшей казнью любому, кто думает, что они ошибаются; если бы они расставили всюду шпионов для выявления инакомыслящих; если бы решили, что отец по показаниям сына, а мать по свидетельству дочери должны погибнуть на костре и т. д., разве не следовало бы этих людей связать и рассматривать их как буйно помешанных?

LI. НЕВЕДЕНИЕ

Вы спросите меня, к чему я веду всю эту речь, если человек не свободен? Но, во-первых, я вам этого вовсе не говорил; я сказал, что свобода человека заключена в его способности действовать, а не в химерической способности *хотеть хотеть*. Затем я скажу вам: поскольку в природе все меж собой связано, вечное провидение предопределило мне писать эти бредни, а пяти-шести читателям — извлечь из них для себя пользу, другим же

пяти-шести их отвергнуть и похоронить в огромной куче бесполезных писаний.

Если вы мне скажете, что я ничему вас не научил, припомните, пожалуйста: я представился вам как невежда.

LII. ДРУГИЕ ВИДЫ НЕВЕДЕНИЯ

Я столь несведущ, что незнаком даже с фактами античной истории, которыми меня убаюкивают; я всегда опасаюсь ошибиться по меньшей мере на семь или восемь столетий, когда выясняю, в какое время жили те самые античные герои, о которых говорят, что они первыми стали заниматься воровством и разбоем на обширнейшей территории, а также те первые мудрецы, которые поклонялись звездам, рыбам, змеям, мертвецам или фантастическим чудищам.

Кем был тот, кто первый выдумал семерых Гагамбаров и мост Чинавара, Тартар и озеро Харона? В какое время жили первый Вакх, первый Геракл, первый Орфей?

Вся античность до Фукидида[34] и Ксенофонта[35] настолько темна, что я поневоле не знаю почти ни слова о событиях на земном шаре — месте моего обитания, кроме краткого срока, исчисляемого тридцатью веками; да и в течение этих последних тридцати веков сколько неясностей, недостоверных сообщений и мифов!

LIII. ЕЩЕ ХУДШЕЕ НЕВЕДЕНИЕ

Мое неведение удручает меня еще больше, когда я вижу, что ни я сам, ни мои соотечественники ничего абсолютно не знают о своей родине. Мать моя говорила мне, что я родился на берегах Рейна; хочу этому верить. Я спросил у моего ученого друга, Апедевта[36], родившегося в Курляндии, знаком ли он с соседними ему древними народами Севера и с народом своей несчастной маленькой родины; он отвечал мне, что имеет обо всех них не большее представление, нежели о рыбах Балтийского моря.

Что до меня, то о моей родине мне известны лишь слова Цезаря, сказавшего примерно восемнадцать столетий тому назад, будто мы — разбойники, имеющие

обыкновение приносить человеческие жертвы каким-то неведомым божествам, чтобы вымолить у них добрую добычу, и будто мы никогда не отправляемся в путь без сопровождения старых колдуний, эти жертвоприношения совершающих.

Тацит[37] веком позже сказал о нас несколько слов, хотя никогда нас не видел; он смотрит на нас как на самых честных в мире людей после римлян, ибо, как он уверяет, когда нам бывает некого обокрасть, мы проводим дни и ночи в своих хижинах, занятые поглощением скверного пива.

После этого нашего золотого века и вплоть до эпохи Карла Великого[38] — огромный пустой провал. Когда я прибываю в эти известные времена, я нахожу у Гольдаста[39] хартию Карла Великого, изданную в Экс-ла-Шапель, в которой этот ученый монарх глаголет так:

«Вам ведомо: охотясь однажды в окрестностях этого города, я обнаружил термы и дворец, некогда воздвигнутые Гранусом, братом Нерона[40] и Агриппы».

Сей Гранус и сей Агриппа — братья Нерона — показывают мне, что Карл Великий был столь же несведущ, как я, и это меня утешает.

LIV. СМЕШНОЕ НЕВЕДЕНИЕ

История церкви моей страны напоминает историю Грануса, брата Нерона и Агриппы; она даже гораздо чудеснее. Здесь и воскресение маленьких мальчиков, и драконы, пойманные епитрахилью, словно кролики в силок; просфоры, источающие кровь от удара ножом, нанесенного им иудеем; святые, шествующие рядом со своими головами после того, как им их отсекут. Одной из легенд, признанных самыми достоверными нашей церковной историей, является легенда о блаженном Петре Люксембургском, в течение двух лет после своей смерти — в 1388—1389 годах — совершившем две тысячи четыреста чудес, а годом позже — три тысячи, по точному подсчету, хотя из этих трех тысяч обычно называют лишь сорок два воскрешенных мертвеца.

Я осведомляюсь, имеют ли другие государства Европы столь чудесные и достоверные церковные истории. И всюду я обнаруживаю ту же премудрость и достоверность.

LV. ХУЖЕ, ЧЕМ НЕВЕДЕНИЕ

Затем я увидел, ради каких непостижимых глупостей люди поносили друг друга проклятиями, взаимным презрением, преследованиями, убийствами, как они вешали, колесовали, жгли на кострах; и я сказал: если в эти кошмарные времена жил хоть один мудрец, ему следовало жить и умереть в пустыне.

LVI. РОЖДЕНИЕ РАЗУМА

Я вижу: ныне, в век, ставший зарей разума, все еще отрастают отдельные головы этой гидры фанатизма. По-видимому, их яд менее смертоносен, а их пасти не столь прожорливы. Кровь не так сильно лилась ради изменчивых милостей, как она очень долго лилась ради полных индульгенций, которыми торговали на рынке; но чудовище еще живо: тот, кто стремится к истине, рискует подвергнуться преследованиям. Надо ли пребывать в этих потемках в праздности? Или следует зажечь светильник, от которого зависть и клевета заново разожгут свои факелы? Лично я полагаю, что истине не следует скрываться от этих чудовищ, как не следует воздерживаться от пищи из страха быть отравленным.

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ,
прочитанные в приватном собрании в Лондоне в 1765 году

Проповедь первая
ОБ АТЕИЗМЕ

Братья мои,

О, если бы мои слова проникли из моего сердца в ваше! Если бы я мог отбросить пустую декламацию и не быть воплощением комедианта, добивающегося аплодисментов своему голосу, жестам и фальшивому красноречию! Я не питаю дерзкого намерения вас поучать; я лишь исследую вместе с вами истину. Мою слабую речь вдохновляет не надежда на богатство и славу, не соблазн заслужить уважение, не необузданное стремление к владычеству над умами. Я избран вами, чтобы мы вместе могли просветиться, а не для того, чтобы я был вашим учителем; двайте же посмотрим со всем возможным чистосердечием, во что повелевает нам верить и что приказывает нам делать разум в сообществе с интересами человечества. Нам надлежит начать с вопроса о бытии бога. Тема эта трактовалась всеми народами; в настоящее время она исчерпана. Именно потому я говорю вам об этом, ибо вы предугадаете всё, что я хочу вам сказать: мы все вместе заявили о нашем понимании своего главного долга; мы здесь — дети, собравшиеся для беседы с нашим отцом. Великолепен ход человеческой мысли, и божественно устремление нашего разума, когда я осмеливаюсь выдвинуть утверждение, подобное древнему аргументу: *Я существую, а следовательно, нечто существует извечно.* Это означает с первого шага и взгляда объять все времена. Нет ничего более великого, но и ничего более простого. Подобная истина доказана не меньше, чем самые ясные положения арифметики и геометрии; она может на мгновение удивить невнимательный ум; но в следующий же момент она неодолимо его покоряет. В самом деле, никто не мог эту истину опровергнуть, ибо когда мы о ней размышляем, мы ясно видим: если ничто не существовало извечно, все должно было быть создано из небытия; наше существование в

таком случае не имело бы никакой причины и являло бы нелепое противоречие.

Мы разумны, а следовательно, существует вечный разум. И разве Вселенная не свидетельствует о том, что она — творение этого разума? Если простая постройка на нашей Земле или корабль, совершающий кругосветное путешествие по морям, неопровержимо указывают на присутствие мастера, то круговращения звезд и вся природа доказывают существование их творца.

Нет, возражает мне какой-нибудь сторонник Стратона или Зенона, движение присуще материи; оно допускает всевозможные комбинации, следовательно, в процессе вечного движения стала абсолютно необходимой организация актуальной Вселенной. Если вы на протяжении вечности будете выбрасывать тысячу игральных костей, необходимо возникнет случай, когда выпадет тысяча одинаковых очков и можно будет даже определить шансы за и против.

Софизм этот всегда поражал мудрых людей и приводил в смущение поверхностных; посмотрим, однако, не содержит ли он обманчивой иллюзии.

Прежде всего, нет никакого доказательства, что движение присуще материи; напротив, все мудрецы согласны: материя индифферентна по отношению к движению и покою, и один-единственный атом, не сдвигающийся со своего места, разрушает представление о присущем материи движении.

Во-вторых, даже если бы для материи столь же необходимо было находиться в движении, сколь необходимо ей иметь форму, это никак не свидетельствовало бы против направляющего движение интеллекта, также лепящего различные его формы.

В-третьих, пример с тысячью игральных костей, дающих одинаковый шанс, имеет еще меньшее отношение к вопросу, чем обычно думают. Дело ведь не в том, чтобы понять, выстроит ли движение различным образом кубики; разумеется, — что вполне возможно — тысяча костяшек покажут тысячу *шестерок* или тысячу раз *одно*, хотя это и весьма трудно. Однако речь здесь идет о непреднамеренном устройстве материи, не имеющем ни определенной организации, ни пользы; но чтобы одно только движение создавало существа, снабженные органами, функционирование коих непостижимо; чтобы

эти органы находились по отношению друг к другу в определенном соответствии; чтобы бесчисленные усилия приводили к бесчисленным следствиям с правильностью, коя никогда не расстраивается; чтобы все живые существа производили себе подобных; чтобы чувство зрения, по существу не имеющее ничего общего с глазами, осуществлялось всякий раз, как на глаза воздействуют лучи, исходящие от объектов; чтобы чувство слуха, абсолютно чуждое уху, заставляло нас всех слышать одни и те же звуки, когда на ухо воздействуют вибрации воздуха,— вот в чем истинная суть вопроса: все это никакие комбинации не могут произвести сами по себе, без мастера. Движения материи не имеют никакого отношения к чувству и еще меньше — к мысли. Целая вечность всевозможных движений никогда не вызовет ни ощущения, ни идеи; и пусть мне это простят, но нужно утратить всякое чувство и сознание для того, чтобы утверждать, будто одно только движение материи делает существа чувствующими и мыслящими.

И Спиноза, мысливший методически, признаёт, что в мире существует вселенский разум.

Разум этот, утверждает он вместе с рядом философов, необходимо сосуществует с материей, одушевляя ее: одно не может существовать без другого. Вселенский разум сияет в звездах, растекается в элементах, мыслит в людях, произрастает в растениях.

Mens agitat molem et magno se corpore miscet *.
(*Virg. Aen.* VI, 727)

Итак, они вынуждены признать верховный интеллект, но они делают его слепым и чисто механическим, не признают его свободным, независимым и могущественным первоначалом.

По мнению этих философов, существует одна-единственная субстанция, не могущая произвести из себя другую. Субстанция эта — всеобщность вещей, одновременно мыслящая, чувствующая, протяженная и имеющая очертания.

Но давайте рассуждать добросовестно: разве мы не замечаем во всем, что́ существует, отбора? Почему име-

---

* Мысль волнует громаду, мешаясь с телом гигантским (лат.).— *Примеч. переводчика.*

ется определенное число видов? Разве не ясно, что их могло бы быть меньше или, наоборот, больше? Почему, спрашивает рассудительный Кларк, планеты вращаются таким, а не иным образом? Признаюсь, что в сравнении с другими, даже более сильными, аргументами данный аргумент поражает меня наиболее живо: отбор существует, а следовательно, есть мастер, действующий по своему усмотрению.

Аргумент этот также опровергается нашими противниками; каждодневно вы слышите, как они твердят: то, что вы видите, необходимо, и потому это существует. Прекрасно, отвечаю я им, из вашего допущения можно лишь сделать вывод, что для образования мира верховному интеллекту необходимо было произвести отбор: отбор этот произведен; мы чувствуем и мыслим в силу соотношения, установленного богом между нашими восприятиями и нашими органами. Исследуйте, пожалуйста, с одной стороны, нервы и фибры, а с другой — возвышенные мысли и признайте, что одно лишь верховное бытие может связать между собой столь непохожие вещи.

Каково это бытие? Существует ли оно в безмерном пространстве? Является ли пространство одним из его атрибутов? Находится ли это бытие в одном месте или сразу во всех, а может быть, и вне места? О, если бы оно навсегда предотвратило мое копание в этих метафизических тонкостях! Я слишком злоупотреблю своим слабым разумом, если стану стремиться полностью понять бытие, долженствующее в силу как своей природы, так и моей оставаться для меня непостижимым. Я буду напоминать в этом случае безумца, узнавшего, что какой-то дом был построен неким архитектором, и решившего, будто одного этого знания довольно для глубокого понимания личности мастера.

Давайте же ограничим наше ненасытное и бесполезное любопытство и займемся тем, что́ поистине нам интересно. Является ли верховный мастер, создавший мир и нас самих, нашим господином? Милостив ли он? Должны ли мы быть ему признательны?

Несомненно, он наш господин: мы ежесекундно ощущаем некую власть, столь же незримую, сколь и неодолимую. Он — наш благодетель, ибо мы живем. Жизнь наша — благодеяние, ибо мы все ее любим, какой бы

злополучной она ни оказалась. Подспорье для жизни дано нам верховным и непостижимым бытием, ибо никто из нас не может создать даже самого малого из растений, из коих мы извлекаем даруемое нам ими питание, и никто не знает, каким образом эти растения формируются.

Человек неблагодарный может сказать, что богу необходимо было обеспечить нас питанием, если он хотел, чтобы мы в течение какого-то срока жили. Он скажет: мы — машины, происходящие одна от другой, причем большинство этих машин оказываются сломанными и поврежденными с первых же шагов своей жизни. Все стихии способствуют нашему разрушению, и мы через страдания приближаемся к смерти. Все это даже слишком верно; но следует согласиться: если бы на свете был лишь один человек, получивший от природы здоровое и крепкое тело, здравый смысл и честное сердце, этот человек обязан был бы великой благодарностью своему создателю. На самом же деле существует много людей, получивших в удел такие дары природы: они-то, по крайней мере, должны считать бога своим благодетелем.

Что же до тех, кого стечение извечных законов, установленных верховным бытием, сделало несчастными, что еще можем мы сделать, как не помочь им? И что еще способны мы им сказать, кроме того, что не знаем, почему же они несчастны?

Зло наводняет Землю. Какой вывод сделаем мы из этого с помощью наших слабых суждений? Что вообще не существует бога? Но он доказал нам свое бытие. Скажем ли мы, что бог этот — зло? Но идея эта абсурдна, ужасна, противоречива. Будем ли мы подозревать бога в бессилии и думать, будто тот, кто столь прекрасно устроил все звезды, не сумел организовать всех людей? Предположение это не менее нестерпимо. Скажем, что существует злое начало, портящее творения доброго и превращающее их в уродов? Но почему же это злое начало не расстраивает течение всей остальной природы? Почему оно ожесточенно мучает лишь какие-то слабые существа на жалкой этой планете и в то же время относится с уважением к прочим творениям своего врага? Почему не преследует оно бога в этих миллионах миров, правильно вращающихся в пространстве? Каким

образом два враждебных друг другу бога могут быть равно необходимыми существами? И как могут они сосуществовать?

Примем ли мы сторону оптимизма? Но ведь это означает, по существу, защиту безысходной фатальности. Лорд Шефтсбери, один из самых отважных философов Англии, первым выразил доверие сей печальной системе. «Законы центростремительной силы и произрастания,— говорит он,— не могут быть изменены любовью жалкого и слабого существа, кое, как бы ни охраняли его те же законы, очень скоро бывает ими самими обращено в прах».

Славный лорд Болинброк пошел еще дальше, а знаменитый Поп осмелился подтвердить, что всеобщее благо составляется из всех частных несчастий.

Но одно только изложение сего парадокса разоблачает всю его лживость[1]. Столь же обоснованным было бы говорить, будто жизнь — результат бесчисленных смертей, удовольствие складывается из всех печалей, а добродетель есть не что иное, как сумма всех преступлений.

Физическое и моральное зло, несомненно, является следствием устройства этого мира, да это и не может быть иначе. Когда говорят, что *все хорошо,* это может означать лишь, что все организовано в соответствии с физическими законами; но, разумеется, не все хорошо у бесчисленного множества страдающих существ и у тех, кто заставляет страдать других. Это признаёт в своих рассуждениях все моралисты; об этом громко вопиют люди, оказывающиеся жертвами зла.

Какое омерзительное утешение — говорить несчастным, преследуемым и оклеветанным, задыхающимся от мук: *Все хорошо, вы не можете надеяться на лучшее!* Ведь такая речь могла бы быть обращена лишь к существам, почитаемым вечно виновными и в силу необходимости заранее обреченными на вечные муки.

Стоик, о котором рассказывают, будто он в жестоком приступе подагры произнес: *Нет, подагра — вовсе не зло*[2], обладал менее нелепой гордостью, чем так называемые философы, среди бедности, преследований, пренебрежения и всех прочих ужасов злополучнейшей жизни имевшие тщеславие заявлять: *Все хорошо.* Смирение — в добрый час, поскольку они притворяются, будто

не нуждаются в сострадании; но когда, страдая и видя, как страдает вся Земля, они говорят: *Все хорошо и нет никакой надежды на лучшее*,— это прискорбный бред.

Наконец, давайте предположим, что верховное бытие, необходимо благое, предоставляет Землю некоему подвластному ему существу, ее опустошающему, некоему тюремщику, ввергающему нас в муки: ведь это значит сделать из бога трусливого тирана, который, не осмеливаясь сам причинять зло, поручает своим рабам непрерывно его вершить.

Какую же позицию мы, в конце концов, займем в этом споре? Не ту ли, что занимали в античные времена все мудрецы Индии, Халдеи, Египта, Греции, Рима? А именно будем считать: бог даст нам перейти от этой злополучной жизни к другой, лучшей, каковая явит себя развитием нашей природы. В конце концов, ясно, что мы уже прошли чрез различные виды существования. Мы существовали до того, как новое сочетание органов заключило нас в материнское чрево; в течение девяти месяцев наше существо было весьма отлично от прежнего; детство наше совершенно не походило на наше зародышевое состояние; в зрелом возрасте не осталось ничего от детства; смерть может дать нам еще иной модус существования.

Это всего лишь пустая надежда! — кричат мне в ответ несчастные, способные чувствовать и рассуждать. Вы возвращаете нас к шкатулке Пандоры; зло реально, надежда же может оказаться пустой: несчастье и преступление осаждают эту нашу жизнь, а вы толкуете о жизни, коей мы не имеем, быть может, и не будем иметь и о которой у нас нет ни малейшего представления. Нет никакого отношения между тем, чем мы являемся ныне, и тем, чем мы были в лоне своей матери; какое же отношение будем мы иметь, лежа в гробнице, к нашему нынешнему существованию?

Иудеи, бывшие, как вы говорите, ведóмыми самим богом, не имели никакого представления о пресловутой иной жизни. Вы утверждаете, будто бог дал им законы, но в этих законах нет ни словечка, указывающего на загробные кары и воздаяния. Перестаньте же снабжать нас химерическим утешением по поводу слишком реальных бедствий.

Братья мои, не будем пока отвечать на эти печальные возражения в качестве христиан: для этого еще не настало время. Попробуем опровергнуть их вместе с мудрецами, прежде чем мы разобьем их с помощью тех, кто стоит выше самих мудрецов.

Мы не знаем, что́ именно в нас мыслит, а следовательно, не можем знать, не переживет ли это неведомое нам существо наше тело. С точки зрения физики в нас, возможно, присутствует некая неразрушимая монада, скрытое пламя, частица божественного огня, вечно существующая под различными внешними обликами. Не стану утверждать, будто это доказано; однако можно сказать, не опасаясь обмануть людей, что у нас есть столько же оснований для веры в бессмертие мыслящего существа, сколько и для того, чтобы это бессмертие отрицать. Если иудеи некогда ничего не знали об этом бессмертии, то ныне они его допускают. В данном пункте единодушны все цивилизованные народы. Мысль эта, столь древняя и общераспространенная, может быть, единственная, способная оправдать провидение. Следует признавать бога — вознаграждающего и мстителя или же не следует признавать его вообще. Середины, видимо, не дано: либо бога нет вообще, либо он справедлив. Мы, чей интеллект столь ограничен, имеем представление о справедливости; как же может статься, что идея эта не содержится в верховнейшем интеллекте? Мы чувствуем, как нелепо было бы утверждать, будто бог невежествен, слаб и лжив; так осмелимся ли мы сказать, будто он жесток? Уж лучше тогда было бы придерживаться мысли о фатальной необходимости вещей, не допускать ничего, кроме непобедимого рока, нежели допускать бога, создавшего хоть одну тварь для того, чтобы сделать ее несчастной.

Мне говорят, будто справедливость бога иная, чем наша. Тогда уж говорите, что равенство дважды двух и четырех не одно и то же для бога и для меня. Истина одинакова в моих глазах и в его. Все математические положения доказаны как для конечного, так и для бесконечного бытия. Здесь не существует двух видов истины. Единственное различие, быть может, заключается в том, что верховный интеллект понимает все истины одновременно, мы же продвигаемся по пути к некоторым из них медленным шагом. Но если не существует

двух видов истин в отношении одного и того же предложения, почему должно существовать два вида справедливости в отношении одного и того же действия? Мы можем постичь божественную справедливость лишь с помощью нашей собственной идеи справедливости. Мы познаём справедливое и несправедливое как мыслящие существа. Бог — существо безгранично мыслящее — должен быть безгранично справедлив.

Давайте же, братья мои, по крайней мере, посмотрим, насколько полезна такая вера и сколь мы заинтересованы в том, чтобы она была запечатлена во всех сердцах.

Ни одно общество не может существовать без вознаграждений и кар. Истина эта столь очевидна и признанна, что древние иудеи допускали, по крайней мере, врéменные кары. «Если же ты нарушишь свой долг, — гласит их закон, — Господь пошлет тебе голод и нищету, прах вместо дождя... зуд и чесотку неисцелимые... тяжкие язвы в ногах и суставах... С женою обручишься, и другой будет спать с нею, и т. д.» [3].

Подобные проклятия могли сдержать народ, грубо нарушающий свой долг; но могло также случиться, что человек, виновный в свершении тягчайших преступлений, вовсе не страдал от язв на ногах и не погибал от нищеты и голода. Соломон стал идолопоклонником, но нигде не сказано, будто он был поражен каким-либо из подобных недугов. Хорошо также известно, что на Земле полно счастливых преступников и угнетенных невинных. Поэтому необходимо было прибегнуть к теологии многочисленных более цивилизованных наций, которые задолго до того положили в основу своих религий кары и воздаяния в том состоянии человеческой природы, которое, являясь ее развитием, быть может, и представляет собой ее новую жизнь.

Кажется, доктрина эта была самим гласом природы, к которому прислушивались все древнейшие люди и который был заглушен на определенный срок иудеями, но в дальнейшем вновь обрел всю свою силу.

У всех народов, слушающих голос своего разума, есть всеобщие представления, как бы запечатленные в наших сердцах их владыкой: такова наша убежденность в существовании бога и в его милосердной справедливости; таковы основополагающие принципы морали, об-

щие для китайцев, индийцев и римлян и никогда не изменявшиеся, хотя наш земной шар испытывал тысячекратные потрясения.

Принципы эти необходимы для сохранения людского рода. Лишите людей представления о карающем и вознаграждающем боге — и вот Сулла и Марий с наслажденьем купаются в крови своих сограждан; Август, Антоний и Лепид превосходят в жестокости Суллу, Нерон хладнокровно отдает приказ об убийстве собственной матери. Безусловно, учение о боге-мстителе в те времена угасло у римлян; преобладал атеизм, а ведь нетрудно исторически доказать, что атеизм иногда может быть причиной стольких же зол, как и самое варварское суеверие.

В самом деле, уж не думаете ли вы, будто Александр VI признавал бога, когда, чтобы обелить кровосмешение сына, он подряд пустил в ход предательство, открытое насилие, кинжал, веревку и яд? Вдобавок, издеваясь над суеверной слабостью тех, кого он убивал, он давал им индульгенции и отпущение грехов во время их предсмертных конвульсий. Несомненно, причиняя людям эти варварские муки, он оскорблял божество, над которым он насмехался. Признáемся себе: когда мы читаем историю этого монстра и его мерзкого сына, мы все уповаем, что кара их все же настигнет. Таким образом, идея бога-мстителя необходима.

Может статься,— и это бывает слишком часто — убежденность в божественной справедливости не окажется уздой для вспышки страстей. То будет состояние опьянения; угрызения совести наступают, лишь когда разум вступает в свои права, но в конце концов они мучат виновного. Атеист вместо угрызений совести может ощущать тайный и мрачный ужас, обычно сопровождающий крупные преступления. Расположение духа у него бывает при этом беспокойным и ожесточенным; человек, замаранный кровью, становится нечувствительным к радостям общения; душа его, ожесточившись, оказывается невосприимчивой ко всем жизненным утешениям; кровь приливает к его лицу от ярости, но он не раскаивается. Он не страшится, что с него спросят отчет за растерзанную им жертву; он всегда злобен и все больше черствеет в своей кровожадности. Напротив, человек, верящий в бога, обычно приходит в себя.

Первый из них остается всю свою жизнь монстром, второй впадает в варварство лишь на мгновенье. Почему? Да потому, что последний имеет узду, первого же ничто не удерживает.

Мы нигде не можем прочесть о том, будто архиепископ Тролль, приказавший убить у себя на глазах всех магистратов Стокгольма, хотя бы раз удостоил притвориться, что он желает искупить свое преступление каким-то раскаянием. Коварный и неблагодарный атеист, клеветник, кровожадный разбойник рассуждает и действует соответствующим образом, если он уверен в своей безнаказанности со стороны людей. Ибо, если вообще бога нет, такое чудовище оказывается самому себе богом; оно приносит себе в жертву все, чего желает или что стоит на его пути. Самые нежные мольбы, самые здравые рассуждения оказывают на него не большее воздействие, чем на волка, озверевшего от жажды крови.

Когда папа Сикст IV приказал убить обоих Медичи в церкви Репараты *, в тот самый миг, как перед лицом народа прославляли бога, коему этот народ поклонялся, Сикст IV спокойно пребывал в своем дворце, ничего не страшась — ни того, что заговор удастся, ни того, что он потерпит провал; он был уверен: флорентийцы не отмстят за себя, он совершенно свободно отлучит их от церкви, и они будут на коленях просить у него прощения за то, что осмелились принести жалобу.

Весьма правдоподобно, что атеизм был философией всех могущественных людей, проведших свою жизнь в том заколдованном кругу преступлений, который глупцы именуют *политикой, государственным переворотом, искусством править*.

Меня никогда не заставят поверить, будто кардинал, знаменитый министр, считал, что он действует по указанию бога, когда он приказал двенадцати убийцам в судейских мантиях [4], состоявшим у него на жалованье, осудить на смертную казнь одного из высокопоставленных лиц государства, причем происходило это в его собственном загородном доме и в то самое время, как

---

* Церковь *Santa Reparata* (*Святой Целительницы;* ст.-ит.) во Флоренции.— *Примеч. переводчика.*

он предавался блуду со своими девками рядом с помещением, где его лакеи, украшенные титулом *судей*, угрожали пытками маршалу Франции, смерть которого они уже мысленно смаковали.

Некоторые из вас, братья мои, спрашивали меня, имел ли один из иудейских царей [5] истинное представление о божестве, когда на пороге смерти, вместо того чтобы попросить прощения у бога за свои прелюбодеяния, убийства и бесчисленные жестокости, он упорствует в своей кровожадности и жестокой жажде мести? Когда устами, готовыми закрыться навеки, советует своему преемнику повелеть убить старого Семея, своего министра, и своего военачальника Иоава?

Я признаю вместе с вами: акция эта, которую напрасно старался обелить святой Амвросий [6], быть может, самая страшная из тех, о которых можно прочесть в анналах народов. Миг смерти для всех людей бывает моментом раскаяния и милосердия: стремиться к отмщению, умирая, и не осмелиться это выполнить, обременить другого в своих предсмертных словах долгом бесчестного убийства — поистине вершина трусости и ярости, сплетенных в единый клубок.

Я не стану здесь исследовать, правдива ли эта отвратительная история и в какое именно время она была написана. Я не буду с вами обсуждать, нужно ли рассматривать хроники иудеев под тем же углом зрения, что и повеления их закона, и было ли правильным смешать — во времена невежества и суеверий — Священное писание иудеев с их светскими книгами. Законы Нумы [7] были священны для римлян, а писания их историков — нет. Но если упомянутый иудей оставался варваром до последнего своего вздоха, что нам до того? Разве мы иудеи? Какое отношение к нам имеют нелепые и страшные дела этого небольшого народа? Преступления освящались почти всеми народами мира, так что же нам делать? Ненавидеть преступления и поклоняться богу, который их осуждает.

Признано, что иудеи поклонялись телесному богу. Но разве это причина, по которой мы должны иметь подобную идею верховного бытия?

Если доказано, что они верили в телесного бога, то не менее ясно, что они признавали бога — создателя Вселенной.

Задолго до того, как они пришли в Палестину, финикийцы имели своего единого бога *Яхо*; имя это было у них священным, так же как позднее у египтян и иудеев. Кроме того, они называли верховное бытие более распространенным именем — *Эль*. По своему происхождению это халдейское имя. Именно от него город, именуемый нами *Вавилоном,* назывался *Бабель — Врата бога.* От него же иудейский народ, пришедший со временем в Палестину и там обосновавшийся, стал называть себя «Израэль», что означает *видящий бога,* как это сообщает нам Филон[8] в своем *Трактате о воздаяниях и карах* и как пишет историк Иосиф[9] в своем ответе Апиону[10].

Египтяне вопреки всем своим суевериям признавали верховного бога; они именовали его *Кнеф* и изображали в виде шара.

Древний *Зердуст,* именуемый нами *Зороастром*[11], учил лишь об одном боге, коему подчинено злое начало. Индийцы, похваляющиеся тем, что они — древнейшее общество, располагают вдобавок древними книгами, которые, по их утверждению, были писаны четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть лет назад. Ангел *Брама* или *Габрама,* говорят они, посланник бога, служитель верховного существа, продиктовал книгу на языке *санскрит.* Эта священная книга называется *Шастабад,* и она гораздо древнее самой *Веды,* которая с давних времен является священной книгой на берегах Ганга.

Два этих тома, представляющие собой закон всех браминских сект — *Яджур-Веду,* являющуюся началом *Веды,* — повествуют лишь о едином боге.

Небу было угодно, чтобы один из наших соотечественников, проживший тридцать лет в Бенгалии и превосходно владевший языком древних браминов, оставил нам извлечение из книги *Шастабад,* написанной за тысячелетие до *Веды.* Она разделена на пять глав. В первой главе речь идет о боге и его атрибутах, и начинается она так: «Бог един; он создал все, что есть; он подобен совершенной сфере, не имеющей ни конца ни начала. Он правит всем с целокупной мудростью. Не ищи его сущность и природу — то будет напрасным и преступным поиском. Довольствуйся тем, чтобы день и ночь поклоняться его творениям, его мудрости, мощи и благости. Будь счастлив, чтя его».

Вторая глава трактует о творении небесных интеллектов.

Третья — о падении этих вторичных божеств.

Четвертая — об их наказании.

Пятая — о милосердии бога.

Китайцы, чьи истории и обычаи указывают на очень далекую древность, хотя и меньшую, нежели древность индийцев, всегда поклонялись *Тьен, Шань-ти, Небесной добродетели.* Все их книги, посвященные морали, все эдикты императоров рекомендуют быть угодными *Тьен, Шань-ти* и заслуживать ее милости.

Конфуций[12] вовсе не был основателем китайской религии, как это утверждают невежды. Задолго до него императоры четырежды в год вступали в храм, дабы принести *Шань-ти* земные плоды.

Таким образом, вы видите: цивилизованные народы — индийцы, китайцы, египтяне, персы, халдеи, финикийцы — все признавали одного верховного бога. Я не стану утверждать, будто у этих столь древних наций не было атеистов; я знаю, их много в Китае; мы видим их в Турции, они есть в нашем отечестве и у многих народов Европы. Но почему их заблуждение должно поколебать нашу веру? Разве ошибочные мнения всех философов относительно света мешают нам твердо верить в ньютоновские открытия, касающиеся сего непостижимого элемента? Разве неверная физика греков и их смехотворные софизмы способны разрушить интуитивное знание, данное нам экспериментальной физикой?

Атеисты были у всех известных народов; но я сильно сомневаюсь, чтобы атеизм этот был полной убежденностью, ясной уверенностью, в которых наш разум пребывает, лишенный сомнений, спокойный, как тогда, когда дело идет о геометрических доказательствах. Разве это скорее не полуубежденность, усиленная яростной страстью и высокомерием, занимающими место полной уверенности? Фаларис[13] и Бусирис[14] (а такие люди попадаются в любой среде) резонно высмеивали басни о Кербере и Эвменидах: они отлично понимали, как смешно воображать, будто Тезей целую вечность просидел на скамеечке и будто гриф постоянно разрывал вновь отрастающую печень Прометея. Подобные нелепости, бесчестящие божество, уничтожали его в глазах этих людей. Они смутно говорили себе в своем сердце: нам

всегда повествовали о божестве одни лишь нелепости, а значит, божество это — только химера. Они попирали ногами утешительную и одновременно страшную истину, ибо она была окружена ложью.

О, злополучные теологи-схоласты, пусть бы хоть этот пример научил вас не делать бога смешным! Именно вы своими пошлостями распространяете атеизм, с которым вы боретесь; именно вы создаете придворных атеистов, которым достаточно лишь благовидного предлога, оправдывающего все их омерзительные деяния. Но если бы поток дел и мрачных страстей оставлял им время одуматься, они бы сказали: обманы жрецов Исиды или Кибелы должны восстанавливать меня лишь против них, но не против божества, которое они оскорбляют. Если не существует Флегетонта и Кокита, это вовсе не препятствует существованию бога. Поэтому я пренебрегу баснями и стану поклоняться истине. Мне рисуют бога смешным тираном, но я не буду из-за того считать его слабомудрым и несправедливым. Я не соглашусь с Орфеем, утверждающим, будто тени добродетельных людей разгуливают в Елисейских полях; я не признáю метемпсихоз фарисеев и еще менее — уничтожение души, проповедуемое саддукеями. Я признáю вечное провидение, не осмеливаясь при этом разгадывать, каковы средства и следствия его милосердия и справедливости. Я не стану злоупотреблять разумом, данным мне богом; я уверую в то, что существуют порок и добродетель, как существуют болезнь и здоровье; и наконец, поскольку незримая сила, воздействие коей на меня я всегда ощущаю, делает меня мыслящим и действующим существом, я заключу из этого, что мысли мои и поступки должны быть достойны той силы, что помогла мне явиться на свет.

Не станем здесь скрывать: бывают добродетельные атеисты. Секта Эпикура [15] дала весьма честных людей; сам Эпикур был добродетельным человеком, я это признаю. Инстинкт добродетели, обитающий в мягком и далеком от всякого насилия нраве, может отлично сосуществовать с ошибочной философией. Эпикурейцы и наиболее славные атеисты наших дней, стремящиеся к удовольствиям, даруемым общением, познанием и заботой о безмятежном покое души, укрепили в себе этот инстинкт, заставляющий их никогда никому не вредить

и отречься от беспокойных дел, возмущающих душу, а также от развращающего ее высокомерия. В обществе существуют законы, более строго соблюдаемые, нежели законы государства и религии. Тот, кто заплатил за услуги своих друзей черной неблагодарностью, кто оклеветал честного человека и проявил в своем поведении отталкивающую непристойность или кто известен своей безжалостной и гнусной скаредностью, не будет наказан законами, но его покарает общество честных людей, кои вынесут против него не подлежащий обжалованию приговор об изгнании: в этом обществе он никогда не будет принят. Таким образом, атеист, обладающий мягким и приятным нравом, во всем прочем сдерживаемый уздой, налагаемой на него человеческим обществом, вполне может вести безобидную, счастливую и уважаемую жизнь. Примеры мы наблюдаем из века в век, начиная со славного Аттика [16], одновременно бывшего другом и Цезаря и Цицерона [17], и кончая знаменитым судьей де Барро [18], заставившим слишком долго ждать истца, процесс коего он вел, и уплатившим ему за это из своего кармана сумму, о которой шла речь.

Мне могут еще назвать, если угодно, софиста-геометра Спинозу, чьи умеренность, бескорыстие и благородство были достойны Эпиктета. Мне также скажут, что знаменитый атеист Ламетри [19] был человеком мягким и приятным в обществе, уважаемым при жизни и осыпанным после смерти милостями великого короля, который не обращал внимания на его философские убеждения и награждал его за его достоинства. Однако дайте этим мягким и спокойным атеистам высокие должности, включите их в политическую фракцию или заставьте сражаться с Цезарем Борджа [20] либо с Кромвелем, а может быть, с кардиналом де Ретцем — и неужели, думаете вы, в подобных случаях они не станут такими же злодеями, как их противники? Учтите, какую вы ставите перед ними альтернативу: если они не порочны, они покажут себя глупцами; им надо либо защищаться тем же оружием, либо погибнуть. Несомненно, их принципы не противостанут убийствам и отравлениям, которые они сочтут неизбежными.

Итак, мы показали: атеизм может, самое большее, позволить существовать общественным добродетелям в спокойной апатии частной жизни; однако среди бурь

жизни общественной он должен приводить к всевозможным злодействам.

Приватное общество атеистов, кои никогда меж собою не ссорятся и спокойно растрачивают свою жизнь в чувственных наслаждениях, может невозмутимо существовать какое-то время; однако если бы мир управлялся атеистами, то с таким же успехом можно было находиться под непосредственным владычеством адских сил, которые нам изображают яростными мучителями своих жертв. Одним словом, атеисты, держащие в своих руках власть, были бы столь же зловещи для человечества, как суеверные люди. Разум протягивает нам спасительную руку в выборе между двумя сими чудищами: то будет предметом моей второй речи.

Проповедь вторая
О СУЕВЕРИИ

Братья мои,

вы хорошо знаете, что все достаточно известные нации учреждали общественный культ. Во все времена, когда люди сходились вместе, чтобы обсудить свои дела, поделиться друг с другом своими нуждами, они, как это весьма естественно, начинали свои собрания заверениями в уважении и любви, коими они обязаны творцу жизни. Подобные знаки почитания приравнивались к тем, какие дети оказывают своему отцу, а подданные — владыке. Но то слишком слабые подобия культа бога: отношения человека к человеку несравнимы с отношением творения к верховному существу: они безгранично далеки друг от друга. Более того, почитать бога в облике монарха — кощунство. Даже владыка всей Земли — если бы такой мог существовать и люди были бы столь несчастны, что оказались бы порабощенными одним человеком, — представлял бы собой всего лишь земного червя (и нечто еще неизмеримо более мизерное) перед лицом божества. И потом, как можно было в республиках, государствах, бесспорно более древних, чем любая монархия, постигать бога в обличье царя? Уж если нужно было придать богу зримый облик, то образ отца, сколь бы он ни был неполным, представляется,

быть может, лучше всего соответствующим нашей слабости.

Однако эмблемы божества оказались первоисточниками суеверия. С того момента, как мы создали себе бога по нашему образу и подобию, божественный культ был извращен. Осмелившись представить бога в облике человека, наше жалкое воображение, никогда не останавливающееся на полпути, придало ему и человеческие пороки. Мы рассматривали его лишь как властного господина и наградили его всеми чертами злоупотребления властью; мы прославляли его как существо гордое, ревнивое, гневное, мстительное, благотворящее и капризное, как безжалостного разрушителя, грабящего одних, дабы обогатить других — единственно по своей прихоти. Наши идеи всегда развертываются постепенно, мы почти всё постигаем по принципу сходства: так, когда Земля была наводнена тиранами, бога сделали первым среди тиранов. Еще хуже было, когда божество воплощали в образах, взятых из животного мира и от растений: бог стал тогда быком, змеей, крокодилом, обезьяной, котом и ягненком; он ел траву, свистел, блеял, пожирал других и был пожираем сам.

Суеверие почти среди всех народов было столь ужасающим, что, если бы до сих пор не сохранились памятники этого суеверия, мы вряд ли могли бы поверить тому, что́ об этом рассказывают. История мира — история фанатизма.

Но не были ли среди чудовищных суеверий, наводнявших Землю, вполне невинные? Разве не должны мы делать различие между ядами, которые мы смогли превратить в лекарства, и теми, что сохранили свои смертоносные свойства? Исследование это заслуживает, если я не заблуждаюсь, полного внимания трезвых умов.

Один человек делает добро своим братьям — людям, другой уничтожает хищных животных, третий изобретает искусства силой своего гения. Вследствие этого считают, что бог одарил их более, чем толпу; воображают, будто они — дети бога, после смерти их возводят в ранг полубогов или второстепенных божеств. Их не только ставят в пример как образец для прочего человечества, но и делают объектом религиозного поклонения. Тот, кто поклоняется Гераклу и Персею, вдохновенно им подражает. Алтари становятся наградой за та-

лант и за смелость. Я усматриваю здесь только заблуждение, кое обращено ко благу. В таких случаях ошибки людей ведут к их собственной выгоде. Если бы древние римляне возводили в ранг вторичных богов лишь Сципионов, Титов, Траянов и Марков Аврелиев, в чем могли бы мы их упрекнуть?

Между богом и человеком лежит бесконечность — согласен; и если по античной системе человеческая душа считалась конечной частью безграничного интеллекта, возвращающейся в огромное целое, не содействуя его росту; если предполагают, что бог жил в душе Марка Аврелия; если душа эта превосходила другие души добродетелью в течение своей жизни — почему не допустить, что она еще более велика, когда освобождается от своего смертного тела?

Римские католики, наши братья (ибо наши братья — все люди), населили небо полубогами, коих они именуют *святыми*. Если бы они всегда делали правильный выбор, мы бы безоговорчно признали, что их заблуждение — услуга всему человечеству. Но мы осыпаем их проклятьями и презреньем, когда они чествуют Инаса — рыцаря Девы; свирепого преследователя Доминика; безумного фанатика Франциска, расхаживавшего обнаженным, беседовавшего со зверями, наставлявшего в вере волка и слепившего себе из снега женщину. Мы не простим Иерониму, переводчику иудейских книг, человеку знающему, хоть и заблуждавшемуся, его попытки в своей «Истории отцов пустыни» возбудить наше уважение к святому Пахому, отправлявшемуся в гости верхом на крокодиле. И особое возмущение мы испытываем, видя, что в Риме был канонизирован Григорий VII, поджигатель Европы.

Не так, однако, обстоит дело во Франции с культом Людовика IX, который был храбр и справедлив. И если молиться ему — излишество, то совсем не излишество его чтить; такое поклонение только говорит другим государям: подражайте его добродетелям.

Я пойду даже дальше: я предполагаю, что в базилику помещают статую Генриха IV (завоевавшего свое королевство с силой Александра и с милосердием Тита [21]) — короля, который был добр и сострадателен, умел выбирать наилучших министров и сам для себя был первым министром; я допускаю: вопреки его слабо-

стям ему воздают почести, превышающие обычную дань памяти великим людям; но какое из этого может проистекать зло? Несомненно, лучше преклонять колени пред ним, чем перед толпой незнакомых святых, одни имена которых стали предметом срамословия и насмешки. Это будет суеверием, я согласен, но суеверием безвредным — патриотическим энтузиазмом, но не опасным фанатизмом. Если человек рожден, чтобы заблуждаться, пожелаем ему достойные заблуждения.

С лица Земли надо стереть то суеверие, которое, делая бога тираном, побуждает людей к тирании. Тот, кто первым сказал, будто отступников надо держать в страхе, вложил кинжал в руки тех, кто осмелился считать себя правоверными; тот, кто первым запретил всякое общение с теми, кто не придерживался его взглядов, ударил в набат гражданских войн по всей Земле.

Я верю в то, что́ кажется немыслимым моему разуму, а значит, в то, во что я не верю; итак, я должен питать ненависть к тем, кто похваляется верой в нелепости, противоположные моим. Такова логика суеверных людей или, точнее, таково их отвратительное безрассудство. Поклоняться верховному бытию, любить его, служить ему и быть полезным людям — это ничто; более того, по мнению некоторых, это — ложная добродетель, которую они именуют *блистательным прегрешением*. Итак, с тех пор как люди сделали своим священным долгом споры о вещах, которых они не могут постичь, с тех пор как стали усматривать доблесть в произнесении неких необъяснимых слов, которые каждый стремится в свой черед объяснить, христианские страны стали театром раздора и резни.

Вы скажете мне: эту вселенскую чуму надо скорее отнести за счет неистовой гордости, нежели за счет фанатизма. Я же вам отвечу: мы обязаны этим и тому и другому. Жажда власти утоляется кровью глупцов. Я не чаю исцелить могущественных людей от яростной страсти порабощать умы: это — неисцелимая болезнь. Всякий человек желает, чтобы другие усердно ему служили, а дабы они это делали лучше, он заставляет их, если может, верить, что долг их и счастье заключены в рабском ему услужении. Придите к человеку, чей доход исчисляется пятнадцатью или шестнадцатью миллионами и который имеет четыреста или пятьсот тысяч

подданных, рассеянных по Европе и не стоящих ему ни гроша, за исключением его гвардии и войска, и попробуйте внушить ему, что Христос, викарием и подражателем которого он себя называет, жил в бедности и ничтожестве; он вам возразит, что времена изменились, а дабы доказать вам это, он приговорит вас к сожжению на костре. Вы не сумели исправить ни этого человека, ни какого-нибудь кардинала Лотарингского, владельца семи епархий одновременно. Что остается в таком случае делать? Вы обращаетесь к народам, вы говорите с ними, и, какими бы огрубевшими они ни были, они слушают вас, глаза их отчасти раскроются; они стряхнут с себя немного самое унизительное ярмо, какое когда-либо кто носил; они освободятся от некоторых заблуждений, возвратят себе малую толику свободы — то достояние человека или, точнее, ту его сущность, кою у него отняли. Если нельзя излечить от высокомерия людей, стоящих у власти, то можно все же исцелить народ от суеверия; можно — пером и словом — сделать людей лучше и просвещеннее.

Довольно легко дать им понять, что́ пришлось им вытерпеть за пятнадцать столетий. Мало кто умеет читать, однако все могут слушать. Так слушайте же, мои дорогие братья, и внимайте страданиям, удручавшим минувшие поколения.

Едва только христиане, вздохнувшие свободно при Константине, обагрили свои руки кровью добродетельной Валерии — дочери, жены и матери цезарей, а также кровью юного Кандидиана, ее сына, надежды империи; едва они убили сына императора Максимилиана в возрасте восьми лет и его дочь, которой исполнилось семь; едва только эти люди, коих нам изображают столь терпеливыми в течение двух столетий, обнаружили таким образом свою ярость в начале IV века, как теоретический спор породил гражданские распри, и они, следуя одна за другой без мгновения передышки, до сих пор волнуют Европу. Каковы же объекты этих кровавых распрей? Да те подробности, мои братья, о которых ни слова нет в Евангелии. Хотят понять, был ли сын божий порожден или сотворен; был ли он порожден во времени или до него; единосущ ли он с богом-отцом или подобен ему; является ли *монада бога,* как говорит Афанасий, троичной и воплощенной в трех ипостасях; порож-

ден ли Святой дух или он — эманация, и проистекает ли он от одного Отца или же от Отца и Сына; две ли воли у Христа или одна, одна или две природы, одно или два лица.

В общем, начиная с *единосущности* и кончая *пресуществлением* (термины, столь же трудные для произношения, как и для понимания), все было предметом спора, а каждый спор влек за собой реки крови.

Вам известно, сколько пролила крови наша суеверная Мария, дочь тирана Генриха VIII и достойная супруга испанского тирана Филиппа II. Трон Карла I был превращен в эшафот, и король этот был казнен, после того как более двухсот тысяч человек оказались убитыми и принесенными в жертву литургии.

Вам известны гражданские войны во Франции. Свора теологов-фанатиков, именумая *Сорбонной,* объявляет короля Генриха III свергнутым с трона, и внезапно он оказывается убит неким начинающим теологом. Сорбонна объявляет великого Генриха IV, нашего союзника, неспособным царствовать — и вот появляются один за другим двадцать убийц, пока, наконец, некий монах-фельян, преподаватель коллежа, единственно по причине услышанной им новости, будто сей доблестный человек собирается защищать своих старых союзников против приверженцев папы, погружает нож в сердце самого мужественного из королей и лучшего из людей в центре его столицы, на глазах у его народа и в окружении его друзей; а потом в силу непостижимого противоречия его память навеки остается священной, и сорбоннская шайка, вынесшая ему приговор, отлучившая от церкви его и его верноподданных и не имеющая права отлучать никого, продолжает процветать, к стыду Франции.

Братья мои, эти смехотворные и мрачные распри — источник стольких ужасов и гнусных убийств — подняли не простые люди, не земледельцы, не безвестные и мирные ремесленники; к несчастью, среди этих раздоров нет ни одного, который не породили бы сами теологи. Люди, вскормленные в блаженной праздности вашими трудами, разбогатевшие благодаря вашему поту и нищете, сражаются за обладание бóльшим количеством сторонников и рабов; они внушают вам разрушительный фанатизм, чтобы стать вашими господами; они делают вас

суеверными, но не для того, чтобы вы пребывали прежде всего в страхе божием, а для того, чтобы вы их боялись.

Евангелие не говорит Жаку и Пьеру или Варфоломею: Купайтесь в роскоши! Кичитесь почестями! Выступайте в окружении охраны! И тем более оно не говорит им: Возмущайте мир вашими непостижимыми проблемами! Иисус, братья мои, не поднимал ни одного из этих вопросов. Неужели мы пожелаем быть лучшими теологами, чем тот, кого вы признаёте единственным своим учителем? Как?! Он вам рек: Все дело в том, чтобы любить бога и своего ближнего — а вы станете добиваться чего-то иного?

Есть ли кто-либо среди вас — да нет, есть ли кто на всей Земле, кто посмел бы думать, будто бог станет его судить на основе теологических параграфов, а не по его делам?

Что такое теологическое мнение? Это идея, коя может быть истинной или ложной, но с которой мораль не связана. Совершенно очевидно: вы должны быть достойными людьми независимо от того, является ли Святой дух истечением дыхания Отца или Отца и Сына. Не менее ясно, что вы никогда не поймете ни одного из положений такого рода. Вы никогда не будете иметь даже самого слабого понятия о том, каким образом мог Иисус в одном лице обладать двойственной природой и волей. Если бы он желал, чтобы вы были в этом осведомлены, он бы вам это сказал. Я выбрал эти примеры из сотен других и обхожу молчанием прочие споры, дабы не прикасаться ко все еще кровоточащим ранам.

Бог дал вам разум, и он не может желать, чтобы вы его извратили. Как может стать необходимым для вас предложение, относительно коего вы не способны иметь никакой идеи? Что бог, дарующий все, мог дать одному какому-то человеку больше просвещенности и таланта, чем другому, — с этим мы сталкиваемся на каждом шагу. Что он избрал какого-то человека, дабы слиться с ним теснее, чем с другими людьми, и сделал его образцом разума и добродетели — это совсем не возмущает наш здравый смысл. Никто не может отрицать: богу доступно изливать свои самые прекрасные дары на одно из своих творений. Итак, можно верить в Иисуса, учившего добродетели и осуществлявшего ее на деле, но

страшитесь того, чтобы, пожелав зайти дальше этих пределов, мы не опрокинули целиком всю постройку.

Суеверный человек посыпает отравой самую здоровую пищу: он — враг самому себе и другим. Он будет считать, что стал объектом вечного отмщения, если съел в неположенный день мясо; он думает, будто длинная серая мантия с остроконечным капюшоном и длинная борода более угодны богу, чем бритое лицо и голова, покрытая собственной шевелюрой; он воображает, что его спасение связано с латинскими формулами, кои ему не понятны. Свою дочь он воспитывает в подобных же принципах: едва достигнув зрелости, она запирается в келье; чтобы угодить богу, она предает свое потомство и тем самым оказывается более виновной пред человеческим родом, чем жена индийца, бросающаяся в погребальный костер своего мужа уже после того, как родила ему детей.

Анахореты южных частей Европы, осудившие сами себя на столь же отталкивающую жизнь, сколь и ужасную, не сравнивайте себя с кающимися на берегах Ганга! Ваши самоистязания далеки от их добровольных казней; но не думайте, будто бог оправдывает в вас то, что́, по вашему мнению, он осуждает в них.

Суеверный человек становится сам себе палачом; палач он и для всякого, кто мыслит не так, как он. Самый бесчестный донос он называет *братской исправительной мерой;* он обвиняет простодушную невинность в отсутствии осторожности потому, что в простоте душевной она не замыкает печатью свои уста. Он предает ее этим тиранам души, кои насмехаются одновременно над обвиненным и обвинителем.

Наконец, суеверный человек становится фанатиком, и тогда его рвение толкает его на любые злодейства во имя господа.

Верно: мы живем уже не в те ужасные времена, когда происходили убийства между друзьями и родственниками, когда сотни регулярных сражений покрывали Землю трупами во имя каких-то схоластических аргументов; но из пепла этого обширнейшего пожара каждодневно возрождается несколько искорок: государи не отправляются больше в сражение по призыву священника или монаха, однако граждане испытывают еще преследования в лоне своих городов, и частная жизнь

часто бывает отравлена чумой суеверия. Что сказали бы вы о семействе, всегда готовом к взаимному раздору из-за понимания того, каким образом надо правильно чтить своего отца? Ах, дети мои, речь ведь идет лишь о том, чтобы его любить, а приветствовать его вы будете, как кто сумеет. Разве для того вы между собой братья, чтоб вас разъединял раскол, и допустимо ли, чтобы тот, кто должен вас объединять, вечно вас разделял?

Мне неизвестна ни одна гражданская война в Турции из-за религии. Да что там — гражданская война! История не отметила ни единого мятежа, ни одной смуты, коя была бы возбуждена среди турков из-за теоретических разногласий. Потому ли это, что у них меньше догм и меньше поводов для споров? Потому ли, что они рождены более уравновешенными и мудрыми, чем мы? Они не спрашивают, к какой вы принадлежите секте, лишь бы вы исправно платили легкий налог. Христиане — латиняне и греки, якобиты, монофелиты, копты, протестанты, реформаторы — все у них желанные гости, в то время как среди христиан нет и трех наций, среди коих практиковалась бы подобная гуманность.

И последнее, мои братья: Иисус вовсе не был ни суеверным, ни нетерпимым; он общался с самаритянами; он не произнес ни единого слова против религиозного культа римлян, отовсюду теснивших его родину. Будем же подражать его терпимости и заслужим этим терпимое отношение к нам самим.

Давайте не будем пугаться варварского и столь часто твердимого аргумента: вот он, как я полагаю, во всей своей наготе.

«Вы полагаете, что порядочный человек может заслужить милость верховного бытия, справедливого и милосердного бога, в какие бы времена, где бы и в какой вере этот человек ни провел свою краткотечную жизнь; мы же, наоборот, утверждаем, что нельзя угодить богу иначе, как находясь среди нас от рождения или же приняв наше учение; доказано: мы — единственные в мире, кто прав. Мы уверены: бог, явившись на Землю и пойдя на казнь за всех людей, пожелал тем не менее быть сострадательным лишь к нашей малой общине, и в самой этой общине весьма мало таких, кто избежит вечной кары. Изберите же себе наивернейший

жребий: вступите в нашу небольшую общину и тщитесь стать среди нас избранниками».

Поблагодарим наших братьев, обращающих к нам эту речь; поздравим их с убеждением в том, что проклят весь мир, кроме малого числа лиц их среды, и уверуем в то, что наша секта достойнее их секты хотя бы уж потому, что она более разумна и сострадательна. Всякий, кто скажет мне: *Думай, как я, или бог тебя проклянет,* говорит мне: *Думай, как я, иль я тебя убью.* Помолимся богу, чтобы он смягчил свирепые эти сердца и внушил бы братские чувства всем своим детям. Вот мы живем на нашем острове, где господствует епископальная секта на пространстве от Дувра до малой речушки Твид. Отсюда и вплоть до последнего из Оркнейских островов в чести пресвитерианство, а при этих двух официальных религиях существует еще десяток или дюжина частных сект. Поезжайте в Италию, и вы увидите на троне папистский деспотизм. Не так обстоит дело во Франции, которую Рим считает полуеретическим государством. Если вы отправитесь в Швейцарию или в Германию, вы проведете одну ночь в городе кальвинистов, другую — в обители папистов, третью — в лютеранском пристанище. А если вы окажетесь в России, то вообще не увидите ничего подобного. Здесь — совсем иная религия. Царский двор здесь подлинно просвещенный благодаря императрице-философу. Августейшая Екатерина возвела на трон разум, равно как великодушие и благородство; однако народ ее провинций одинаково презирает пока и папистов, и кальвинистов, и лютеран. Он не хочет разделять трапезу ни с одним из них, ни пить из одного с ним бокала. Но я спрашиваю вас, братья мои, что произойдет, если на сборище всех этих сектантов каждый станет считать, будто Святой дух позволил ему утвердить именно его мнение над мнениями других? Не увидите ли вы тогда во всех концах Европы шпаги, водруженные виселицы и пылающие костры? И кто же окажется прав в этом хаосе раздоров? Тот, кто терпим и милостив. Не говорите, что, проповедуя терпимость, мы проповедуем равнодушие. Нет, братья мои: кто поклоняется богу и делает добро людям, вовсе не равнодушен. Эпитет этот скорее подходит суеверному человеку, полагающему, что бог будет милостив к нему за то, что он произносит непонятные форму-

лы, в то время как в действительности он весьма равнодушен к судьбе своего брата, коему дает погибнуть, даже не протянув ему руки помощи, коего он предает опале, льстит ему, когда тот процветает, или же преследует его, если сам принадлежит к другой секте, когда тот не имеет поддержки и покровительства. Чем больше суеверный человек сосредоточивается на нелепых поступках и верованиях, тем более становится он равнодушным к истинным обязанностям человека. Давайте навсегда сохраним память об одном из наших сострадательных соотечественников: он основал в своей провинции дом призрения для престарелых; его спросили: для кого именно этот дом — для папистов, лютеран, пресвитериан, квакеров, социниан, анабаптистов, методистов или меннонитов? Он ответил: «Для людей».

Мой боже! Избавь нас от заблуждений атеизма, отрицающего твое бытие, и освободи нас от суеверия, бесчестящего твое бытие, наше же превращающего в ад!

О ФЕНОМЕНАХ ПРИРОДЫ

Сочинение члена Лондонской, Болонской, Петербургской, Берлинской и других академий наук

Мы ставим здесь перед собой задачу исследования множества объектов нашей любознательности, причем мы будем исследовать их с тем недоверием, с каким надо относиться к любой системе до тех пор, пока она не продемонстрирована нашим глазам или не доказана нашему разуму. Следует, насколько лишь это возможно, изгнать из нашего изыскания любую шутливость. Насмешки — не доказательство, оскорбления — тем более. Один врач, более известный своим необузданным воображением, нежели медицинской практикой, когда писал свое сочинение против Линнея[1], отнесшего к одному и тому же классу животных гиппопотама, свинью и лошадь, бросил ему: *Сам ты — лошадь.* В то время как он зачитывал эту свою фразу, я прервал его и ему сказал: «Признайтесь, если г. Линней — лошадь, то он — первая из лошадей». Довольно неловко начинать с таких эпитетов и непорядочно заключать ими свое выступление.

Исследование природы не может быть сатирой. Мы должны всегда быть настороже перед лицом внешней видимости, столь часто вводящей нас в заблуждение, перед авторитетом педантов, стремящимся нас подавить, перед шарлатанством, столь часто сопровождающим и губящим науки, и перед лицом суеверной толпы, которая на какой-то срок бывает лишь эхом одного человека.

Вспомним: вихри Декарта рассеялись, ничего не осталось от его трех элементов и почти ничего — от его описания человека; два из его законов движения неправильны, и ошибочна также его теория света; его врожденные идеи отринуты и т. д., и т. д., и т. д. Поразмыслим над тем, что системы Бернета[2], Вудворта[3], Уистона[4], касающиеся образования Земли, не имеют в наше время ни одного сторонника; что даже в самой

Германии начинают считать монады, предустановленную гармонию и «Теодицею» остроумного и глубокомысленного Лейбница всего лишь игрой ума, забытой при самом своем возникновении всей остальной Европой. Чем больше истин было открыто в век Ньютона, тем больше следовало изгнать ошибки, эти истины осквернявшие. Была снята богатая жатва, но оставалось просеять зерно и отбросить плевелы.

В физике, как и во всех делах мироздания, следует начинать с сомнения: то первый завет Аристотеля и Декарта. Во Франции, правда, думали, что Декарт — творец этой максимы.

Будем исследовать с помощью наших собственных и чужих глаз. Затем — будем остерегаться устанавливать всеобщие правила. Кто, никогда не видав иных существ, кроме двуногих и четвероногих, станет учить, будто размножение происходит лишь в результате соития самца и самки, впадет в тягостную ошибку.

Кто до изобретения прививки растений стал бы уверять, будто деревья могут давать плоды только своего вида, отстаивал бы чисто ошибочную теорию.

Около ста лет назад люди верили, что им удалось открыть спутник Венеры. Позднее знаменитый английский наблюдатель видел этот спутник или решил, что его видел; считалось, что его видели и во Франции; между тем астрономам он даже не снился. Быть может, он существует; однако — терпение.

Можно было бы с бóльшим основанием приписать по аналогии спутник Марсу, каковой находится от Солнца значительно дальше, чем мы; спутник этот было бы легче обнаружить; однако его никогда не видели. Самым верным путем всегда будет отсутствие уверенности в чем бы то ни было — как в небесных явлениях, так и в наземных — до тех пор, пока не будут получены вполне достоверные сведения.

Galiginosa nocte premit Deus: «Бог окутывает свои тайны,— говорит Гораций,— мраком ночи *».

Поведают ли мне когда-нибудь, с помощью каких тонких пружин Вечный Мастер заставляет расти тела?

---

* У *Горация*: «Мраком ночи окутывает мудрый бог исход грядущих времен» (Оды, кн. III, XXIX, ст. 29—30).— *Примеч. переводчика.*

Почему омерзительный аспид, тигр, пантера
Никогда не отбрасывают свой жестокий нрав?
И почему, признательная к кормящей ее руке,
Собака, издыхая, лижет своего любящего хозяина?
И с чего бы это трепещущее насекомое слабым шагом
Влачило свои сто, видимо бесполезных, ножек?
Для чего этот изменчивый червячок строит сам себе
погребальный склеп,
Зарывает себя в нем и затем воскресает в новом обличье
И с увенчанным челом, весь в искрометных пятнышках,
Взмывает в воздух, раскинув крылья?
Поведает ли мне мудрый Фаи,[5] обитающий среди разноликих
растений
И овощей, собранных со всех концов света,—
Поведает ли он мне, почему нежная недотрога
Умирает в наших руках — стыдливая беглянка?
. . . . . .
Спросите у Сильвы, в силу какой мистической тайны
Этот хлеб, эта пища, переваренная моим телом,
Превращается в изысканно приготовленное млеко?
Каким образом, постоянно процеживаясь на предназначенном
ему пути,
Оно бежит длинными пурпурными ручьями по моим жилам,
Дает моему усталому телу новую силу,
Заставляет мое сердце биться, а мой мозг — мыслить?
Он вздымает глаза к небу, склоняется и восклицает:
«Спросите об этом у Бога, давшего нам жизнь!» [6]

Дело здесь совсем не в том, что́ именуют ленивым разумом; наоборот, речь идет о просвещенном и покорном разуме, понимающем: бренное существо не может проникнуть в бесконечность. Для того чтобы доказать нам наше бессилие, достаточно самой малости. Нам дано измерять, считать, взвешивать и ставить опыты, но всегда надо помнить о том, что мудрый Гиппократ начинает свои «Афоризмы» словами: *Опыт обманчив,* а Аристотель открывает свою «Метафизику» следующим заявлением: *Кто хочет познавать, должен уметь сомневаться.*

Дабы понять, на какие поразительные свершения способна природа, давайте исследуем некоторые ее тво-

рения, находящиеся у нас под руками, и посмотрим (путем сомнения), какие явные выводы мы можем из этого сделать.

Глава I

РЕЛЬЕФНЫЕ КАМНИ

Камни эти — будь то агаты или определенные виды мрамора и кремня — хорошо известны: их называют *дендритами,* когда они напоминают деревья, *гербаритами* или *арборитами,* когда их очертания напоминают низкорослые растения, и *зооморфитами,* когда игра природы придает им несовершенное сходство с некоторыми животными. Можно было бы назвать *доматистами* те из них, что являют собой форму дома. Бывают весьма удивительные образчики этого вида. Я видел один такой камень: на нем можно было узреть дерево, увешанное плодами, и лицо человека, плохо прочерченное, но различимое.

Ясно, что отпечаток своего образа на этих камнях во времена, когда они могли быть мягкими и текучими, оставили не деревья и не дома. Понятно, что не человек запечатлел свой облик на агате. Одно только это свидетельствует, что природа оказывает как на род окаменелостей, так и на другие роды вещей влияние, могущество коего мы не можем ставить под сомнение, равно как и не можем распознать его пружины.

Говорить, что на этих дендритах можно видеть отпечатки листвы деревьев, произрастающих только в Индии, не значит ли утверждать слабо доказанное положение? Ведь подобная фикция есть не что иное, как вымысел, сочиненный некоторыми людьми, суть которого в том, что Индийское море некогда дошло якобы до пределов Германии, Галлии и Испании. В самом деле, гунны и готы туда приходили, однако море не может кочевать, словно люди. Оно вечно и постоянно тяготеет к центру планеты, оно подчинено законам природы, но, даже если бы для него было возможно совершить подобное путешествие, как могло бы оно принести с собой листву Индии, дабы сделать с нее отпечатки на камнях Богемии? Мы начинаем с этого наблюдения, ибо оно скорее любого другого поможет нам воздержаться от мнения, будто маленькие рыбешки самых отдаленных

морей явились, чтобы заселить канавы Монмартра и вершины Альп и Пиренеев. Разумеется, на земном шаре происходили большие перевороты, но мы любим их преувеличивать. С природой обращаются, как с древней историей, полной чудес.

Глава II
О КОРАЛЛЕ

Можно ли быть уверенным в том, что коралл — творение насекомых[7], подобно тому как, несомненно, воск — продукт деятельности пчел? В порах коралла находили маленьких насекомых, но где только их не находят? Ими кишат дупла деревьев, старые стены, как коврами, покрыты целыми их республиками; тем не менее не эти маленькие насекомые сотворили деревья и стены. С гораздо большим основанием можно было бы, впервые увидев головку старого сассенажского сыра, подумать, что сыр этот сделали бесчисленные заполняющие его крохотные червячки.

Один из тех, кто утверждал, будто кораллы были образованы маленькими червячками, настаивал одновременно, что бирюза образовалась из костей мертвецов, на том основании, что несколько плохоньких камешков бирюзы были найдены возле одного древнего трупа. Весьма возможно, кораллы не более были творением червя, чем бирюза была порождением мертвой кости.

Тысячи насекомых обосновываются на жительство в губках, выброшенных на взморье, но разве эти насекомые создали губки? Весьма опытные натуралисты считают коралл жилищем, построенным для себя насекомыми. Другие придерживаются древнего мнения, гласящего, что коралл — растение, и глаза наши подтверждают их правоту.

Глава III
ПОЛИПЫ

Разве вполне доказано, что водяные чечевицы, названные *пресноводными полипами,* — это действительно животные? Я не очень доверяю своим глазам и своей

просвещенности, но до сих пор я не мог усмотреть в этих полипах ничего, кроме неких видов очень тонкого камыша, по-видимому принадлежащих к породе растений с повышенной чувствительностью. Гелиотроп, или подсолнечник, часто сам собой обращающийся цветком к Солнцу, мог бы поначалу показаться столь же необычным феноменом, как и полипы. Индийская мимоза, словно имитирующая движения животных, не имеет тем не менее никакого отношения к их роду. Замечаемое очень медленное и слабое передвижение полипов, плавающих в аквариуме, нельзя сравнить с гораздо более быстрым и заметным передвижением маленьких плоских камешков, скатывающихся с края блюда к его середине, если в это блюдо налит уксус. Лапки полипа могут быть только лишь ответвлениями, а его головы — просто бутонами; желудок его, скорее всего, представляет собой полые волокна, а его передвижения — волнообразные колебания этих волокон. Маленькие насекомые, пожираемые, видимо, иногда этим растением, могут проникать в его субстанцию, дабы ею прокормиться и в ней погибнуть, если только они не притягиваются к себе этой субстанцией для ее собственного прокормления. Полип отлично может существовать и без того, чтобы эти крохотные насекомые попадали в его волокна, следовательно, у него нет нужды в пище и можно считать, что он — только растение. То, что принимали за его яйца, быть может, всего лишь семена. Его размножение с помощью почкования ясно показывает, что он — простое растение. Наконец, когда его переворачивают вверх ногами, подобно перевернутой перчатке, он выбрасывает новые ответвления: природа явно не предназначила его к тому, чтобы наши руки его таким образом переворачивали, и притом здесь нет ничего, что указывало бы на его животную сущность.

У покойного г. Фаи на камине помещалась красивая коллекция крупных полипов, стоявших в вазах. Его родные и я разглядывали эти полипы и говорили ему, что мы напоминаем Санчо Пансу, не видевшего ничего, кроме ветряных мельниц, там, где его господину виделись вооруженные великаны. Однако наше неверие не должно лишать полипы звания животных. Поразительные эксперименты свидетельствуют в их пользу. Я не стремлюсь похитить их титулы; однако обладают ли они той чув-

ствительностью и восприимчивостью, что отличает животное царство от растительного? Признаем ли мы своими собратьями существа, не имеющие с нами ни малейшего сходства? Несомненно, флейтист г. Вокансона[8] имеет больше сходства с человеком, чем полип — с животным. Быть может, название животного следует давать лишь тем существам, что выполняют все жизненные функции, т. е. обнаруживают способность чувствовать, желания, волеизъявления и идеи.

Дадим же волю сомнениям до тех пор, пока достаточное число повторных экспериментов не убедят нас, что эти водные растения являются существами, одаренными чувством, восприятием и органами, образующими истинное животное. От выжидания истина может лишь выиграть.

Глава IV

УЛИТКИ

Размножение этих полипов, происходящее таким же образом, как размножение тополей и ив, гораздо менее примечательно, чем восстановление голов садовых ракушковых улиток. Чтобы у достаточно крупного существа, явно обладающего животными признаками и род которого не вызывает сомнений, выросла вновь голова — это небывалое чудо, однако чудо, каковое невозможно оспорить. Здесь нет места ни гипотезам, ни применению микроскопа, ни опасениям ошибки. Свидетельство глаз здесь смущает человеческий разум, и особенно разум схоластов. Ведь считается, что голова у всех живых существ — первоначало и причина всех их движений, ощущений и восприятий: здесь же все наоборот. Голова, коей предстоит отрасти, получает от остального тела в течение пятнадцати или двадцати дней волокна, нервы, циркулирующую в теле жидкость (замену крови), рот, зубы, рожки, глаза, мозг, ощущения и идеи. Да, я говорю «идеи», ибо нельзя ощущать, не получая при этом хотя бы смутного представления о том, что́ ты ощущаешь. И где же после этого будет помещаться первоначало животного? Не будем ли мы вынуждены вернуться к *гармонии* греков, после чего десять тысяч томов метафизики окажутся полностью бесполезными?

Если бы, по крайней мере, восстановление этих голов могло заставить некоторых людей усомниться, улитки сослужили бы великую службу всему человечеству!

Глава V
СТВОРЧАТЫЕ УСТРИЦЫ

Устрицы для нас — не для природы — большое чудо. Всегда неподвижное, одинокое, запертое между двумя створками, настолько же жесткими, насколько само оно мягко, животное это порождает себе подобных без спаривания и создает жемчужины совершенно неясным способом; кажется, оно лишено зрения, слуха, обоняния и обычных органов пищеварения: что за загадка! Устриц поедают сотнями, нисколько не задумываясь над их необычными свойствами.

Следовало бы произвести с ними те же опыты, что и с улитками, т. е. отсечь им в их укреплении орган, служащий им головой, закрыть затем створки и посмотреть по истечении месяца, что из этого получилось. Являются ли они зоофитами? Каковы границы, отделяющие растение от животного? Где начинается иной строй вещей? Какова цепь, связующая Вселенную? Но — существует ли эта цепь? Разве мы не наблюдаем заметную диспропорцию между планетами и расстояниями их друг от друга, между примитивной и организованной природой, между растительной и чувствующей материей или между чувствующей и мыслящей? Кто знает, есть ли между ними точки соприкосновения? И не лежит ли между ними разделяющая их бесконечность? Да и кто узнает когда-либо, что такое материя?

Глава VI
ПЧЕЛЫ

Не знаю, кто первым сказал, будто у пчел есть король. Скорее всего, такая мысль пришла в голову не республиканцу.

Не знаю я также ни того, кто им потом дал королеву вместо короля, ни кто первый предположил, будто эта королева — Мессалина, имеющая обширный сераль

и проводящая всю свою жизнь в любви и родах, вынашивающая и откладывающая около сорока тысяч яиц в год. Зашли еще дальше в этих домыслах и стали утверждать, будто она вынашивает три их различных вида: королев, рабов, именуемых *трутнями*, и слуг, названных *рабочими пчелами*, что не слишком согласуется с обычными законами природы.

Считается, что один естествоиспытатель — впрочем, очень внимательный ум — изобрел несколько лет назад печи для выводки цыплят (хотя они были изобретены уже пять тысяч лет тому назад египтянами), причем он не учел огромного различия между нашим климатом и египетским. Говорят, кроме того, что этот же физик выдумал пчелиное королевство, возглавляемое королевой — матерью трех видов пчел.

Все естествоиспытатели повторили за ним эту выдумку. В конце концов появился человек, бывший обладателем шестиста ульев и сумевший лучше исследовать свое добро, чем те, кто, вообще не имея пчел, списывал у других целые фолианты по поводу этой искусной и трудолюбивой республики, бывшей им известной не лучше, чем республика муравьев. Человек этот — г-н Симон, ровным счетом ни на что не претендующий, пишущий очень просто, но, подобно мне, собирающий мед и воск. Глаза у него зорче, чем у меня; он разбирается в своем предмете лучше, нежели г-н приор Жонваль и г-н граф из «Театра природы»[9]: он исследовал своих пчел в течение двадцати лет и заверяет нас, что над нами смеялись, на самом же деле нет ни слова истины в том, что было повторено в стольких книгах.

В действительности, утверждает он, в каждом улье есть своего рода король и королева — продолжатели этой королевской породы и руководители работ. Он видел их, зарисовал и относит к «Тысяче и одной ночи» и к «Истории королевы Ашема» пресловутую королеву пчел с ее сералем. Далее, в ульях есть порода трутней, не имеющая ничего общего с первой, и, наконец, большое семейство рабочих пчел — самцов и самок — образующих главное сословие этой республики. Именно эти пчелиные самки откладывают свои яйца в построенные ими самими ячейки.

И в самом деле, каким образом одна только королева могла бы выносить и отложить друг рядом с другом

сорок тысяч яичек? Весьма вероятно, г-н Симон прав. Самая простая система почти всегда истинна. Впрочем, меня очень мало заботят король и королева. Я предпочел бы, чтобы все эти резонеры лучше научили меня излечить моих пчел, большинство которых погибло два года тому назад из-за того, что они чрезмерно насосались сока цветов липы.

Нас вводили в заблуждение относительно всех объектов нашей любознательности, начиная со слонов и кончая пчелами и муравьями, подобно тому как арабские сказки нам выдавали за историю — от Сезостриды до жалованной грамоты Константина[10] и от Константина с его *лабарумом** вплоть до договора, заключенного маршалом Фабером с дьяволом. Почти все туманно в происхождении животных, как и в происхождении народов; но какие бы ни существовали мнения относительно пчел и муравьев, обе эти республики всегда будут нас поражать и унижать наш разум. Не существует насекомого, которое не представлялось бы необъяснимым чудом.

Среди пословиц, приписываемых Соломону[11], есть такая: «Существуют четыре вещи, самые малые на Земле и самые мудрые среди мудрых: муравьи — малый народец, заготавливающий себе пищу во время жатвы; заяц, слабое существо, ночующее среди камней; саранча, которая, не имея царей, путешествует стаями, и ящерица, коя трудится собственными усилиями и обитает во дворцах царей». Не знаю, почему Соломон забыл пчел, не ночующих среди камней и обладающих, видимо, гораздо более сильным инстинктом, чем зайцы и ящерицы, о чьих талантах я не имею понятия. Более того, я всегда предпочту ящерице пчелу.

Глава VII
О КАМНЕ

Природа тешится тем, что создает столько же видов камней, сколько животных; она порождает камни, напоминающие чечевицу, и их называют *лентикулярными,*

* Labarum (лат.) — государственное знамя императорского Рима (начиная с Константина I) с изображением креста и инициалами Иисуса Христа.— *Примеч. переводчика.*

а также кубы, круглую гальку и камни, немного похожие на языки, кои именуют *глоссопетрами*; далее, есть камни, форма которых приближается к яйцу, или такие, чьи очертания подобны морским ежам; много есть спиралевидных камней, которым весьма неудачно дали имя *рогов Аммона*[12]: во всех областях науки мелкое тщеславие заставляет давать напыщенные имена самым обычным вещам. Так, химики наименовали один из препаратов свинца *сахаром Сатурна,* подобно тому как буржуа, купивший себе должность, получает у своего нотариуса звание *высокочтимого и влиятельного господина.*

Я видел эти «рога Аммона», кои кажутся сформировавшимися недавно и не превышают размером ноготь мизинца; видел я также такие, что сформировались лишь частично и весят двадцать фунтов; доводилось мне видеть и те, что образуют полный виток, и те, что имеют форму змеи, обвившейся вокруг самой себя, но я не видел ни одного, который напоминал бы рог. Считалось, будто эти камни — древнее обиталище рыбы, живущей в одной только Индии, следовательно, Индийское море когда-то покрывало собой наши нивы. Мы уже говорили об этом и спрашиваем вновь: достаточно ли естествен подобный способ объяснения явлений природы?

Существуют ракушки, носящие имя *раковин Венеры* (conchae Veneris *), потому что они имеют овальную щель с мягкими закруглениями на обоих краях. Галантное воображение некоторых натуралистов породило такое красивое имя, однако слова эти вовсе не доказывают, будто подобные ракушки — останки дам.

Глава VIII
О КРЕМНЕ

Какой каменный сок образует эти кремни тысячи различных видов? Почему во многих наших деревнях не видно ни одного кремня, тогда как другие, расположенные совсем поблизости, просто покрыты ими? Почему в

* (Лат.).— *Примеч. переводчика.*

Америке, на побережье Амазонок, не находят ни единого кремня на пространстве в пятьсот лье?

Среди наших полей мы часто обнаруживаем громадные булыжники диаметром от трех до двадцати футов, а рядом с ними есть такие, что кажутся столь же древними, но не имеют в толщину даже полдюйма; другие имеют в диаметре не более двух или трех линий; их удельный вес неодинаков; в одних из этих камней он приближается к удельному весу железа, в других он ниже, в некоторых выше.

Каким бы тяжелым, овальным и гладким ни был кремень, он весь изрешечен впадинами. Если золото и бриллианты имеют столько же и даже больше пор, чем основной массы, то кремень с еще бóльшим основанием пронизан порами во всех направлениях; миллион отверстий в кремне могут служить столькими же убежищами для не воспринимаемых зрением насекомых. Кремень — скопление однородных частиц, часто образующих массу, кою нельзя разбить молотком; после длительной обработки в горячем горниле он переходит в стекло, и тогда можно видеть, что его составные части представляют собой некий род кристаллов. Но какая сила спаяла между собой эти небольшие кристаллы? Откуда взялось это столь твердое тело, которое раздробил огонь? Не притяжение ли делает все части кремня столь спаянными между собой и такими плотными? Это притяжение, доказанное для Солнца и планет, для Земли и ее спутника и проникающее до самого центра нашей планеты, действует ли оно между всеми ее частями? Является ли оно первоначалом сцепления тел? Является ли оно вместе с движением главным законом природы? Это представляется наиболее вероятным; но как еще далека эта вероятность от блистательной убежденности!

Глава IX

О СКАЛЕ

Существует много видов скал, образующих цепь Альпийских и других гор, связывающих Альпы с Пиренеями. В этой главе я буду говорить только о знаменитом переходе Ганнибала через Альпы. Острие крутой

скалы преградило ему путь. Он добился обжига этой вершины или, по крайней мере, легкой раздробляемости под ударами железных орудий, раскаляя ее сильным огнем и поливая уксусом.

Последующие века усомнились в вероятности сего факта. По этому поводу я знаю только, что, взяв осколки одной из зернистых скал, образующих наибольшую часть Альп, я поместил их в сосуд с кипящим уксусом: в течение нескольких минут они стали почти столь же сыпучими, как песок. Они раскрошились в порошок у меня между пальцами. Нет ребенка, который не сумел бы повторить опыт Ганнибала.

Глава X
ГОРЫ, ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ И КОНЕЧНЫЕ ПРИЧИНЫ

Существует большое различие между маленькими изолированными горами и длинной цепью скал, господствующих над местностью как в том, так и в другом полушарии. Единичные горы — это гетерогенные скопления, состоящие из разнородных масс, беспорядочно нагроможденных и не имеющих правильных пластов. Там находят окаменевшие или крошащиеся реликты растений, наземных и водных животных, горные смолы и осколки минералов. Большей частью это вулканические извержения Земли, наросты, вызванные землетрясениями; их верхушки редко заострены, на склонах лежит воспламеняющаяся сера.

Напротив, большая горная цепь образуется растянутым в длину утесом, представляющим собой то твердую скалу, то известняк, а то и гравий. Цепь эта то вздымается, то опускается с определенными интервалами. Основания ее утесов, быть может, лежат настолько же глубоко, насколько высоки их вершины. Она представляется существенной деталью мирового механизма, подобно костям людей и четвероногих. Именно вокруг ее вершин собираются тучи, без конца изливающиеся оттуда дождем и снегом и образующие все те реки и родники, источником которых так долго и так ошибочно считали море.

На этих высоких горах, венчающих Землю, нет ни следа ракушек, никаких инородных скоплений окаменелых растений, разве только в некоторых глубоких расселинах, куда случай забросил инородные образования.

Цепи гор, покрывающих оба полушария, приносят и более ощутимую пользу. Они укрепляют Землю; они служат ее орошению; они заключают в своих подножиях все металлы и минералы.

Да будет нам позволено по данному поводу заметить, что все детали механизма этого мира представляются созданными одна для другой. Некоторые философы делают вид, что они смеются над конечными причинами, отринутыми Эпикуром и Лукрецием. Но скорее, кажется мне, следует смеяться над Лукрецием и Эпикуром. Они утверждают, будто глаз не создан для зрения и им стали пользоваться для этой цели, когда заметили, что глаза могут ей служить. Если им верить, рот создан совсем не для речи и еды, желудок не для пищеварения, сердце не для того, чтобы воспринимать в себя венозную кровь и посылать ее в артерии, а ноги и уши не для того, чтобы, соответственно, ходить и слушать. Однако эти люди признавали, что портные шьют им одежду для того, чтобы они ее носили, а каменщики строят дома, чтобы они были заселены; в то же время они осмеливались отрицать за природой, за великим бытием, за вселенским разумом то, что́ они все признавали свойством самых ничтожных ремесленников.

Разумеется, не надо злоупотреблять конечными причинами: не стоит говорить, подобно г-ну приору из «Театра природы», будто приливы даны океану для большего удобства захождения судов в гавани и чтобы воспрепятствовать порче морской воды: ведь у Средиземного моря вообще нет приливов и отливов, а вода его вовсе не портится.

Дабы можно было удостовериться в истинной цели, ради которой действует какая-либо причина, из нее должно вытекать одно и то же следствие во все времена и повсеместно. Но далеко не во все времена и не на всех морях существовали суда: таким образом, нельзя говорить, будто океан был создан для судоходства. Мы уже отмечали в другом месте, что носы созданы вовсе не для того, чтоб носить очки, точно так же как руки не созданы для ношения перчаток. Нельзя не чувствовать,

как смешно утверждать, будто природа от века работала над тем, чтобы приспособиться к изобретениям наших случайных искусств, каждое из которых появилось на свет довольно поздно; но совершенно ясно: если носы и не созданы для очков, они были созданы для обоняния и появляются на свет лишь с появлением человека. Точно так же руки, данные нам вовсе не ради прибылей перчаточных мастеров, явно предназначены для выполнения всех тех функций, что присущи пясти, фалангам наших пальцев и круговой мышце запястья.

Цицерон, все подвергавший сомнению, нисколько не сомневался в конечных причинах.

Особенно трудно было бы понять, что органы размножения не предназначены для продолжения видов. Механизм этот достоин восхищения, но ощущение, добавленное природой к этому механизму, еще более восхитительно. Эпикур вынужден был признать наслаждение божественным, а также и то, что наслаждение — конечная причина, благодаря которой без конца воспроизводятся те чувственные существа, кои сами себе не могли даровать это чувство.

Эпикур был великим человеком своего времени; он видел то, что отрицал Декарт и утверждал Гассенди, что было доказано Ньютоном,— а именно отсутствие движения без пустоты. Он постиг необходимость атомов, долженствующих служить образующими частицами неизменных видов. То высокофилософские идеи. Особенно была достойной уважения мораль истинных эпикурейцев: суть ее заключалась в удалении от общественных дел, несовместимых с мудростью, и в прославлении дружбы, без коей жизнь — сплошное бремя. Что же касается всей прочей физики Эпикура, то она не более приемлема, чем пористая материя Декарта.

Наконец, цепи гор, венчающие оба полушария, более шестисот рек, берущих начало у подножий этих скал и впадающих в море, все потоки, истекающие из тех же водоемов и вздувающие реки после того, как сами они оросят поля, тысячи ручейков, имеющих те же истоки и утоляющих жажду живых существ и растений, — все это не более представляется результатом шального случая и отклонения атомов, чем сетчатка, воспринимающая лучи света, и хрусталик, преломляющий их, чем наковальня среднего уха, молоточек, стремячко и бара-

банная перепонка, воспринимающая звуки, а также циркуляция крови в наших венах и систола и диастола сердца — маятник механизма, создающего жизнь.

Глава XI
ОБРАЗОВАНИЕ ГОР

Мало того, что говорили, будто наша Земля изначально была стеклом,— Майе вообразил, будто наши горы были образованы приливами, отливами и течениями моря.

Под эту странную фантазию был подведен фундамент в «Естественной истории»[13], изданной в Лувре, подобно тому как безвестные подкидыши бывают иногда приняты в дом вельможи; однако философская публика не приняла этого ребенка, к тому же он с трудом поддается воспитанию. Чересчур очевидно, что море вовсе не образует цепи скал на Земле. Прилив может выбросить на побережье немного песку, но отлив смывает его обратно. Водные потоки не могут медленно, в течение бесчисленного ряда веков породить скалы, необходимые во все времена. Мировой океан не мог выйти из своих берегов, обозначенных для него природой, чтобы вознести выше облаков скалы Иммауса и Кавказа. Однажды образованный и помещенный в своих пределах, океан не может оставить одну половину планеты, дабы перебросится в другую, подобно тому как камень не может оставить Землю и отправиться на Луну.

На какие очевидные доводы опирается этот парадокс? Просто на утверждение, что в долинах Альп выпирающие углы западных гор соответствуют углообразным впадинам восточных. Должно быть (заявляют сторонники сей теории), морские течения породили эти углы. Рискованный вывод! Самый факт может быть верным для некоторых узких ложбин, но он совершенно недействителен для обширного бассейна Савойи и Женевского озера; так же недействителен он и для широкой долины Арно в окрестностях Флоренции; но за что только не хватаются люди, погружающиеся в системы!

Выдвигать положение, гласящее, будто море породило горы, — все равно что утверждать, будто горы породили море.

Но какая же система будет истинной? Да система великого бытия, все сотворившего и давшего каждому элементу, каждому виду и роду свою форму, место и вечное предназначение. Великое бытие, создавшее золото и железо, деревья, траву, человека и муравья, создало также океан и горы. Люди не были рыбами, как утверждает это Майе; все, вероятно, было тем, что́ оно и есть, в силу незыблемых законов. Я не устану повторять: мы не боги, чтобы творить Вселенную словом.

Вполне достоверно, что древние гавани засыпаны, что море отступило от Карфагена, от Росетты, от обеих Сирт, от Равенны, Фрежю, Акваморты и т. д. Оно поглотило одни земли и сохранило другие для открытий. Эти явления вызывают победоносное чувство, из них заключают, что океан в течение веков покрывал своими волнами гору Тавр и Альпы. Ну, и что же? Неужели лишь потому, что береговые наносы, с одной стороны, отдалили от некоторых мест море, а с другой — море залило некоторые низкие местности, нас хотят убедить, будто оно заливало континент в течение тысяч веков? Перед нашими глазами вулканы: что ж, вся планета была когда-то в огне? Землетрясения поглотили города — значит, вселенная была добычей пламени? Не следует ли воздерживаться от заключений такого рода? Случайность не может быть общим правилом.

Знаменитый ученый и автор «Естественной истории» пишет в конце своего изложения теории Земли, на странице 124: «Именно воды, скопившиеся в обширном пространстве моря, путем постоянного движения приливов и отливов породили горы, долины и т. д.».

Но на странице 359 он изъясняется так. «На поверхности Земли есть возвышенные местности, кажущиеся явными водоразделами, служащими, по замыслу природы, для распределения вод. Окрестности горы Сен-Готард являются таким водоразделом в Европе; другой водораздел — земля, лежащая между Белозерским и Вологодским округами; с нее стекают реки, из коих одни впадают в Белое море, другие — в Черное, третьи — в Каспийское, и т. д.».

Таким образом, он учит здесь, что великая горная цепь, тянущаяся от Испании до Татарии, является существенной деталью механизма мира. Представляется, что в этих двух утверждениях он сам себе противоре-

чит. Однако здесь нет противоречия: признавая необходимость гор для поддержания жизни животных и растений, он предполагает, что «воды, стекающие с неба, разрушают мало-помалу творение моря и, нивелируя все, в один прекрасный день отдадут нашу Землю морю, которое постепенно завладеет ею, предоставляя новые континенты дальнейшим открытиям и т. д.».

Итак, если ему верить, перед нами Европа, лишенная Альп, Пиренеев и всех их ответвлений! Однако если предположить, что эта горная цепь осыпется и рассеется по нашему материку, разве не поднимет это его поверхность? И не останется ли эта поверхность всегда возвышающейся над уровнем моря? Да и каким же образом море, нарушая все законы тяготения и жидких тел, вдруг взгромоздится в стране басков на развалины Пиренеев? Что станет с обитателями Европы — людьми и животными, когда океан захватит сей материк? По-видимому, им нужно будет погрузиться на суда и отправиться на поиски земель, оставленных морем в Америке. Ведь если океан каждодневно отбирает у нас места нашего обитания, в конце концов всем нам необходимо придется заселить другие места. Сойдем ли мы в глубины океана, во многих местах достигающие более тысячи футов? Но какая сила, противостоящая природе, прикажет водам покинуть эти глубины и необъятные долы и нас принять?

Взглянем на это с другой стороны. Почти все натуралисты в наше время убеждены, что отложения ракушек среди наших земель — знак долгого пребывания океана в областях нахождения этих реликтов. Они встречаются во Франции на расстоянии сорока или пятидесяти лье от морского побережья. Их находят в Германии, Испании и особенно в Африке. Здесь мы сталкиваемся с явлением, прямо противоположным тому, что предполагалось раньше: «Это уже не небесные воды разрушают мало-помалу творение моря и стирают рельеф, отдавая нашу землю морю». Напротив, это море незаметно отступает на протяжении веков от Бургони, Шампани, Турени и Бретани, где оно было раньше и направляется в сторону Северной Америки. Какую же из этих двух гипотез мы предпочтем? С одной стороны, нам говорят, будто океан пытается постепенно покрыть собой Альпы и Пиренеи; с другой — нас уверяют, будто

он постепенно оттуда уходит. Ясно, что одна из этих теорий ошибочна, и весьма вероятно, что ошибочны они обе.

До сих пор я сделал все, что мог, дабы примирить с самим собой ученого и красноречивого академика — столь же остроумного, сколь и поучительного автора «Естественной истории». Мне хотелось сопоставить между собой его идеи, дабы извлечь из этого новые сведения. Однако могу ли я согласовать с его системой то, что нахожу на странице 10 тома XII, в его речи, озаглавленной «Первичная картина природы»? «Взволнованное море, — пишет он, — вздымается к небу и словно хочет с ревом разбиться о несокрушимые заслоны, неразрушимые, не преодолимые для него никакими силами. Земля, поднявшись выше уровня моря, лежит под защитой своих извержений. Поверхность ее, усыпанная цветами, обряженная вечно возрождающейся зеленью, заселенная тысячами тысяч различных видов животных, являет собой место отдыха, пристанище наслаждений и т. д.».

Отрывок этот, похищенный у поэзии, словно принадлежит Массильону[14] или Фенелону[15], весьма часто позволявшим себе быть поэтами в прозе. Но несомненно, если взволнованное море, вздымаясь к небу, с ревом разбивается о несокрушимые заслоны, если оно не может преодолеть эти заслоны никакими усилиями, значит, оно никогда не покидало своего ложа с тем, чтобы захватить наши побережья, и оно далеко от намерения занять место Пиренеев и Альп. Все это означает не только противоречить собственной системе, с таким великим трудом подкрепленной столькими гипотезами, но также и противоречить истине, признанной всем светом; истина же эта состоит в том, что море отступило на несколько миль от своих древних берегов и покрыло собой другие побережья; но этой истиной странным образом злоупотребили.

Однако на какую точку зрения мы бы ни встали и в каких бы гипотезах ни запутался человеческий ум, весьма вероятно и даже доказано, что многие части Земли испытали сильные перемены. Утверждают, что комета может на своем пути задеть нашу планету, и Триссотен в «Ученых женщинах»[16], быть может, не ошибается, когда говорит:

Я с важной новостью: представьте, до рассвета
Сегодня близенько прошла от нас комета,
Пронзивши весь наш вихрь, чтобы потом уйти,—
Когда б она с Землей столкнулась по пути,
То шар земной — ведь в ней такая сила! —
Она бы, как стакан, весь вдребезги разбила *.

Теория комет не была еще известна, когда комедия «Ученые женщины» была поставлена при дворе в 1672 году. Несомненно, столкновение двух таких шаровидных тел, несущихся в пространстве с великой скоростью, могло бы иметь ужасающие последствия, однако совсем иного рода, чем незаметное поступательное движение океана к тому месту, где ныне находится Сен-Готард, или его отступление от Бреста и Сен-Мало с целью направиться к полюсу и Гудзонову проливу. По счастью, пройдет достаточно много времени, пока наша Европа разлетится вдребезги от удара кометы или пока ее поглотит океан.

Глава XII

РАКУШКИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СИСТЕМЫ

С ракушками произошло то же самое, что с угрями: они породили расцвет новых систем. В некоторых местах земного шара находят ракушковые скопления, в других — окаменевшие устрицы; из этого заключают, что вопреки законам тяготения и законам жидких тел, а также вопреки глубине океанического дна море несколько миллионов лет тому назад покрывало всю Землю.

Таким образом, море, постепенно заливая Землю, образовало своими течениями и приливами горы, и хотя морской прилив не поднимается выше 15 футов над уровнем наших берегов при самом большом своем вздутии, он породил скалы высотой в 18 000 футов.

Если море находилось повсюду, значит, было время, когда мир был населен только рыбами. Постепенно плавники превратились в руки; хвост, удлиняясь, раз-

---

* Перев. *Д. Д. Минаева* под нашей ред. (*Мольер.* Полн. собр. соч. Т. 1—4. СПб., 1913; Т. 4. Ученые женщины, акт IV, сц. III).— *Примеч. переводчика.*

дваивается и образует бедра и голени; в конце концов рыбы становятся людьми, и причина всего этого — ископаемые ракушки. Подобные системы вполне стоят страха пустоты, субстанциальных форм, шарообразной, тонкой, пористой и рифленой материи, отрицания бытия тел, волшебной палочки Жака Эмара, предустановленной гармонии и вечного движения.

Говорят, что огромные залежи ракушек находятся в окрестностях Маастрихта. С этим я не спорю, хотя сам видел их там лишь небольшое количество. Море произвело в этом округе ужасающие опустошения: оно поглотило половину Фрисландии, покрыло собой некогда плодоносные земли и отошло от других земель. Это признанный факт; никто не отрицает перемен, происшедших на поверхности Земли в течение долгого ряда веков. С физической точки зрения — и без того, чтобы мы осмелились противоречить нашим священным книгам, — вполне возможно, что землетрясение поглотило остров Атлантиду за девять тысяч лет до Платона, как он о том повествует, хотя его исторические заметки и не достоверны. Но все это не доказывает, будто море породило Кавказский хребет, Пиренеи и Альпы.

Утверждают, что *осколки ракушек есть на Монмартре и в Куртаньоне у Реймса.* Их находят почти повсюду, однако их нет на вершинах гор, как это предполагает система Майе.

Нет ни единой ракушки на высокогорной цепи, начиная от Сьерра-Морены и вплоть до высочайшей вершины Аппенин. Я просил поискать их на горе Сен-Готард, Сен-Бернар и в Тарентских горах — их там не нашли.

Один только натуралист написал мне, что нашел окаменевшую устричную ракушку на горе Сенис. Я должен этому верить, и я весьма удивлен, что их не находят там сотнями. Расположенные по соседству озера вскармливают грубые ракушки, створки коих в совершенстве напоминают устричные; их даже называют во многих кантонах *маленькими устрицами.*

Впрочем, разве это чересчур фантастическая идея — подумать об огромной толпе паломников, отправлявшихся от подножия Сен-Жака в Галиции и из всех других стран в Рим, через гору Сенис, нагруженными ракушками, которые они несли в своих шапках? Паломники шли в Рим из Сирии, Египта, из Греции, равно как и из

Польши и Австрии. Число людей, стремившихся в Рим, было в тысячу раз более значительным, чем количество хаджи, посещавших Мекку и Медину, потому что дороги в Рим более проходимы и для переходов по ним не требовалось караванов. Одним словом, устричная ракушка у горы Сенис не может служить доказательством того, что Индийский океан покрывал все земли нашего полушария.

Иногда, производя раскопки, находят в земле чужеродные окаменелости, подобно тому как в Австрии находят медали, вычеканенные в Риме. Но на одну чужеродную окаменелость находят тысячу характерных для наших мест.

Некто сказал [17], что он мог бы с таким же успехом поверить в мрамор, образованный страусовыми перьями, как в порфир, состоящий из иголок морского ежа. Если я не ошибаюсь, этот некто был совершенно прав.

Несколько лет тому назад открыли или считали, что открыли, около Этампа скелеты оленя и гиппопотама, и отсюда сделали вывод, будто Нил и Лапландия некогда лежали на пути из Парижа в Орлеан. Но скорее следовало бы подумать, что некий любознательный человек имел когда-то в своем кабинете скелеты оленя и гиппопотама. Сотни подобного рода примеров побуждают нас к долгому исследованию, долженствующему предшествовать убежденности.

Глава XIII

СКОПЛЕНИЯ РАКУШЕК

Тысячи местностей завалены тысячами осколков панцирных, ракообразных и окаменелостей. Заметим, однако, еще раз, что это почти никогда не относится ни к седловинам, ни к склонам той цепи гор, что пересекает поверхность Земли; такие явления свойственны лишь некоторым местам этих могучих образований, почвенным глубинам, пещерам или местностям, относительно которых правдоподобно предполагать, что раньше там были исчезнувшие ныне небольшие озера, маленькие речки, изменившие свое русло, или значительные потоки, истоки коих иссякли. Вы можете увидеть там осколки черепашьих панцирей, клешней раков, съедобных раку-

шек, раковин улиток, маленьких речных ракообразных, маленьких устриц, напоминающих лотарингские; однако настоящих морских отложений вы там не увидите никогда. Если бы они там были, почему никто никогда не видал там костей морских собак, акул, китов?

Вы утверждаете, что море оставило на наших землях следы весьма долгого своего присутствия. Самым достоверным памятником этого факта были бы, несомненно, реликты морских свиней в центре Германии, ибо вы можете наблюдать тысячи этих животных, играющих в ясную пору на поверхности Немецкого моря. Если бы вы их открыли и я бы воочию их увидел в Нюренберге и Франкфурте, я б вам поверил; но пока что разрешите мне поместить бóльшую часть всех этих гипотез туда же, куда следует поместить окаменевшее судно, найденное в кантоне Берна на глубине ста футов под землей, в то время как один из его якорей был обнаружен на горе Сен-Бернар.

Я иногда видел осколки съедобных ракушек и улиток, принимаемых за морские ракушки.

Если бы поразмыслили только над тем, что в дождливые годы на протяжении двух лье можно найти больше улиток, чем людей на нашей планете, то, наверное, воздержались бы от поисков иного происхождения фрагментов этих раковин, которыми на многие мили усеяны берега Роны и других рек. Есть много таких улиток, диаметр которых достигает более пяди в длину. Масса этих существ уничтожает иногда виноградники и фруктовые деревья. Осколки их отвердевших раковин находятся повсюду. Почему, если у нас самих, в наших землях, живут миллионы этих улиток, мы должны воображать, будто ракушковые скопления Индии переместились сюда, чтобы взгромоздиться на нашу почву? Все эти мелкие ракушковые осколки, вокруг которых подняли столько шума, чтобы заставить поверить в одну из систем, по большей части столь бесформенны, истерты и неузнаваемы, что с равным успехом можно было бы держать пари за то, что это осколки креветок, крокодилов или когтей каких-то других животных. Если видят хорошо сохранившуюся ракушку в кабинете любителя-коллекционера, то не знают, откуда она взялась, и я сильно сомневаюсь в том, что она может служить основанием для создания системы Вселенной.

Еще раз: я не отрицаю, что на протяжении сотен морских миль можно найти несколько окаменевших устриц, двустворчатые раковины, а также одностворчатые — образования, вполне напоминающие морские создания; но можно ли быть вполне уверенными в том, что земляная почва не способна порождать подобные ископаемые? Не должно ли образование древовидных или травообразных агатов заставить нас как следует взвесить наше мнение? Ведь вовсе не дерево породило агат, в совершенстве воспроизводящий древесную форму. Море точно таким же образом могло не принимать никакого участия в создании этих ископаемых ракушек, напоминающих обиталища малых морских животных. Доказательством этого будет служить излагаемый ниже опыт.

Глава XIV

ВАЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НАД ОБРАЗОВАНИЕМ КАМНЕЙ И РАКУШЕЧНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Г-н Ле Руайе де Ла Соважер[18], инженер-аншеф и член Академии изящной литературы в Ла-Рошели, владелец поместья Деплас в Турени, возле Шинона, свидетельствует, что в окрестностях его замка часть почвы дважды перерождалась на протяжении восьмидесяти лет. Он сам был очевидцем этих метаморфоз. Наблюдали их также все его вассалы и соседи. Он употреблял в строительстве этот камень, который в результате его использования сильно затвердел. Маленький карьер, из которого его извлекали, теперь заново восстанавливается. Там опять появляются ракушки, сперва различимые лишь под микроскопом, но затем растущие вместе с камнем. Ракушки эти разных видов: есть остракиты и графиты, не встречающиеся ни в одном из наших морей; попадаются пальцевидные, телины, «сердечки», зародыши коих незаметно развиваются и достигают затем шести линий в толщину.

Нет ли тут причины для изумления со стороны тех, по меньшей мере, людей, которые уверяют, будто все ракушковые отложения, встречающиеся в ряде местностей нашей Земли, были оставлены там морем?

Если добавить ко всему тому, что мы уже говорили, этот феномен поместья Деплас и если, с другой стороны, поразмыслить о том, что речной поток Гамбии и река Биссау полны устриц, что некогда также их поставляли многочисленные озера, в коих они водятся и теперь, то не приведет ли это к необходимости взвесить свое суждение? Начало нашего века связано с добросовестными наблюдениями; будущим векам надлежит принимать решения, но, быть может, однажды люди станут настолько учеными, что перестанут решать.

Глава XV
О ГРОТЕ ФЕЙ

Гроты, где образуются сталактиты и сталагмиты, обычны. Они встречаются почти во всех странах. Грот Шаблэ, быть может менее других известный натуралистам, более всех заслуживает известности. Он расположен в мрачных скалах, в центре колючих зарослей терновника, на расстоянии двух малых миль от Рипайля, в приходе Фетерн. Собственно говоря, это три сводчатых грота, расположенные рядом друг с другом и круто высеченные природой в неприступной скале. Подняться туда можно только при помощи лестницы, а затем следует втиснуться в эти отверстия, держась руками за ветви деревьев. Местные жители назвали это место *гротом Фей*. На дне каждого из этих гротов есть водоем, причем заполняющая эти водоемы вода считается имеющей те же свойства, что и вода грота Сент-Рейн. Капли воды, просачивающейся с потолка грота и стекающей на его дно, образовали в его своде фигуру курицы, высиживающей цыплят. Рядом с этой курицей есть другой натек, в совершенстве напоминающий кусок лярда вместе со свиной кожей, длиной почти в три фута.

В бассейне этого же самого грота, в котором обычно купаются, обнаруживаются фигуры обсахаренного жареного миндаля — такого, каким он продается в кондитерских, а рядом — очертания прялки или прядильного колеса с куделью. Местные женщины утверждают, что видели в углублении, под прялкой, фигуру окаменевшей женщины, однако новейшие наблюдатели вообще не видели этой женщины. Вполне возможно, что сталакти-

товые натеки смастерили некогда бесформенную фигуру женщины, что и дало этой пещере наименование *грота Фей.*

Было время, когда люди не осмеливались к нему приближаться, но после исчезновения оттуда женской фигуры неуверенность стала меньшей.

Ныне, когда философ-системосозидатель рассуждает об этой игре природы, не может ли он сказать: вот истинные окаменелости! Некогда в этом гроте, несомненно, обитала женщина; она пряла на прялке; сало, которым она питалась, было подвешено под деревянным настилом; возле нее находилась ее курица с цыплятами; в тот миг, когда она с ее цыплятами, салом, прялкой, с ее куделью, а также с ее обсахаренным миндалем была превращена, подобно жене Лота, Юдифи, в соляной столп, она как раз ела этот обсахаренный миндаль. Античность кишит такими примерами.

Но гораздо более разумным будет сказать: «Эта женщина окаменела», чем говорить, что маленькие ракушки переместились сюда из Индийского моря, что такая-то ракушковая створка была оставлена здесь морем пятьдесят тысяч веков тому назад, что язычковые камни — это окаменевшие языки морских свиней, собравшихся в один прекрасный день на этом холме, дабы оставить на нем одни свои глотки, и что в спиралевидных камешках когда-то обитала рыба наутилус, которую не видывал ни один человек.

Глава XVI

ТУРЕНЬСКИЙ ИЗВЕСТНЯК И ЕГО РАКУШКИ

Наконец, туреньский известняк рассматривают как самый неопровержимый памятник пребывания океана на нашем континенте множество веков тому назад, а в качестве основания для этого утверждения приводят довод, гласящий, что эта шахта образована измельчившимися в порошок ракушками.

Разумеется, если бы на расстоянии тридцати шести миль от моря располагались мощные пласты морских ракушек и если бы они лежали полого, правильными слоями, это доказывало бы, что слои эти были некогда морским побережьем; впрочем, весьма возможно, низкие.

пологие грунты поочередно покрывались водами и снова освобождались от них на протяжении тридцати-сорока миль — таково мнение всего античного мира. Смутная память об этом сохранилась, и именно это породило множество мифов.

Nil equidem durare diu sub imagine eadem
Crediderim. Sic ad ferrum venistis ab auro
Secula. Sic toties versa est fortuna locorum.
Vidi ego, quod fuerat quondam solidissima tellus,
Esse fretum. Vidi factas ex aequore tellus,
Et procul a pelago conchae jacuere marinae;
Et vetus inventa est in montibus anchora summis.
Quodque fuit campus, vallem decursus aquarum
Fecit, et eluvie mons est deducta in aequor;
Eque paludosa siccis humus aret arenis;
Quaeque sitim tulerant, stagnata paludibus hument *.

Так говорит Пифагор у Овидия [19]. Вот подражание этим стихам, могущее дать о них представление:

Века, сообщающие всему бытие и движенье,
Творящие, умножающие, рушащие, убивающие, но и
воскрешающие,
Преобразуют все в водах, на земле и в воздухе.
Золотой век в свой черед сменит век Железный.
Флора украшает поля диких пустынь,
Море меняет свое ложе, течение и берега.
Грязь, по коей мы ступаем, родилась из недр вод.

---

* Мы полагать не должны, будто длительно что-либо может
В виде одном пребывать: золотые — к железным
Вы перешли, о века; так и мест меняются судьбы.
Зрел я: что было землей крепчайшею некогда, стало
Морем,— и зрел я из вод океана возникшие земли.
От берегов далеко залегают ракушки морские,
И на верхушке горы обнаружен был якорь древнейший;
Поле весенний поток, стремясь, обращает в долину;
Видел и то, как гора погрузилась от паводка в море.
Прежде болотистый край высыхает пустыней песчаной;
Жажду терпевший, меж тем, от болота стоячего влажен.

Овидий. Метаморфозы, XV, 259—269 (лат.; перев. *С. Шервинского* (М., 1977); строки 259—260 исправлены нами в соответствии с латинским оригиналом.— *Примеч. переводчика*).

Примечание Вольтера к стиху 265: «Это несколько напоминает корабельный якорь, найденный, как утверждают, на большом Сен-Бернаре, поэтому мы остерегаемся включать эту химеру в перевод».

Там, где урожаи дают пышные всходы, ходили суда.
Неторопливая рука времени сглаживает горы,
Вырывает долины, расстилает нивы —
В ту самую пору, как Вечность, владыка времен,
Поконтся нерушимо средь великих сих перемен.

Но почему тот же самый океан не образовал ни одной горы на стольких пологих берегах, открытых для моря? И почему, если он отложил громадные ракушечниковые скопления в Турени, он не оставил по себе сходной памяти на том же расстоянии от моря в других провинциях?

С одной стороны, я наблюдаю многие мили побережий, лежащих на одном уровне с морем, в Нижней Нормандии; я пересекаю Пикардию, Фландрию, Голландию, Нижненемецкие земли, Померанию, Пруссию, Польшу, Россию, большу́ю часть Татарии, не встречая ни одной высокой горы из длинной горной цепи, коя бросилась бы мне в глаза. Я могу, таким образом, преодолеть расстояние в две тысячи миль по пролегающим друг за другом в ряд землям всего лишь с несколькими небольшими возвышенностями. Если море, первоначально распространившееся по нашему континенту, образовывало там горы, каким образом могло оно не образовать ни единой горы на таком обширном пространстве?

С другой стороны, эти пресловутые ракушковые пласты, залегающие на расстоянии тридцати или сорока миль от моря, заслуживают самого серьезного исследования. Я просил прислать мне из этой провинции, от которой я живу на расстоянии ста пятидесяти миль, ящик с упомянутым известняком. Дно этой шахты явно представляет собой некий род известковой и мергелевой почвы, перемешанной с тальком, причем такой слой занимает несколько миль в длину и около полутора миль в ширину. Чистые куски этой каменистой почвы несколько солоноваты на вкус. Пахари применяют ее для удобрения своей земли, и очень возможно, что земле сообщает плодородие именно эта соль; в местах, соседних с моими, с той же целью применяют гипс. Если бы такая почва была лишь скоплением ракушек, то не вижу причины, по которой она могла бы удобрить землю. Я с успехом могу раскидывать по моему полю все высушенные остовы улиток и съедобных ракушек моей провинции,

но это было бы все равно, как если бы я сеял на камнях.

Хотя я мало в чем здесь уверен, могу сказать лишь одно: я умер бы с голоду, если бы располагал для пропитания одним только полем раздробленных старых ракушек*.

Одним словом, насколько я лишь могу удостовериться собственными глазами, ясно, что этот мергель является неким видом земляной почвы, а вовсе не скоплением морских животных, число которых в таком случае достигало бы более миллиарда миллиардов, взятых сотни тысяч раз. Не знаю, каким образом академик[20], первым после Палисси[21] познакомивший нас с этим природным феноменом, мог сказать: «Это всего лишь маленькие осколки ракушек, весьма легко узнаваемых по их виду: ведь на них сохранились характерные, хорошо заметные бороздки; они утратили лишь свой блеск и свою полировку».

Признано, что в этой шахте известкового камня и талька никто никогда не видал ни одной устричной ракушки, но в ней встречаются съедобные ракушки, ибо эта шахта окружена прудом. Уже одно это решает вопрос не в пользу Бернара Палисси и разрушает все то чудесное, что пожелали вложить в это дело Реомюр[22] и его подражатели.

Если бы несколько небольших ракушковых осколков, смешавшихся с мергелевой почвой, действительно были выброшены сюда морем, следовало бы признать, что они находятся в этом карьере со времен столь великой давности, что это поражает воображение, а также что известняк этот — один из древнейших памятников катастроф, переживавшихся нашей планетой. Но в таком случае как может быть, чтобы образование, залегающее на глубине пятнадцати футов под землей, имело столь свежий вид? Как сумели там обнаружить ракушку улитки, имеющую видимость совсем новой? И почему море доверило туреньские ракушки лишь одному этому — и никакому больше — клочку земли? Не будет ли

* Все, чего можно было бы добиться с помощью таких ракушковых отложений,— это разрыхления слишком плотного грунта. То же самое достигается с помощью гравия. Свежие толченые ракушки могут давать масло, но высушенные ракушки не годны ни на что.— *Примеч. Вольтера.*

наиболее правдоподобным заключить, что этот так называемый ракушечник, который приняли за хранилище малых рыбешек, есть всего лишь известняковая шахта средних размеров?

Впрочем, разве не должен опыт г-на Ла Соважера, разглядевшего формирование ракушковых отложений в рыхлом камне и засвидетельствовавшего это показаниями очевидцев — своих соседей, по крайней мере, отчасти внушить нам сомнения?

А вот и другая трудность, другой объект для сомнений. Между Парижем и Аркейлем, на правом берегу Сены, обнаружен весьма протяженный пласт камня, усеянного морскими ракушками или, по крайней мере, чем-то очень их напоминающим. Мне прислали кусок этого камня, взятого наудачу со стофутовой глубины. Дело обстоит вовсе не так, что ракушки нагромождены в нем слоями: они разбросаны порознь и очень сильно перемешаны. Одно только это смешение противоречит пресловутой правильности, каковую приписывают [слоям] этого туреньского известняка.

Наконец, если даже этот известняк был в ходе веков образован морем, он оказался здесь за сорок миль от моря, на плоской местности, и море вовсе не выстроило тут гор. Поэтому нет никакой вероятности, что горы являются творением океана. Вдобавок, разве из того факта, что море покрывало сушу на расстоянии сорока миль от теперешних своих берегов, можно сделать вывод, будто оно находилось повсюду?

Глава XVII

ИДЕИ ПАЛИССИ ПО ПОВОДУ ПРЕСЛОВУТЫХ РАКУШЕК

Еще до того как Бернар Палисси объявил эту шахту мергеля, имеющую по протяженности три мили, не чем иным, как скоплением ракушек, крестьяне привыкли пользоваться этим материалом как удобрением и даже не подозревали, что они употребляют в качестве последнего одни только ракушки. Что же, у них не было глаз? И почему все-таки не верят Палисси на слово? Впрочем, этот Палисси был до некоторой степени одержимым. Он выпустил в свет книгу, озаглавленную «Средство стать

богатым и подлинный способ, с помощью которого все французы смогут узнать, каким образом им приумножить и расширить свою казну и владения; сочинение мэтра Бернара Палисси, королевского изобретателя сельских терракотовых ваз». Он громогласно заявил о создании школы в Париже и велел вывесить в ней объявление, что заплатит деньги тому, кто докажет ему ложность его представлений. Такого рода шарлатанство дискредитировало его ракушки вплоть до того самого времени, когда им вернул уважение знаменитый академик[23], обогативший открытия Сваммердама[24] и Левенгука тем местом в ряду, куда он их поставил, желая тем самым оказать большую услугу физике. Опыт, как мы уже сказали, обманчив, а следовательно, надлежит дальше изучать этот известняк. Ясно, что слово это — falun * — колет язык некоторой своей терпкостью; слово «ракушки» не вызывает такого эффекта. Несомненно также, что подобный известняк — это известковая и мергелевая почва; и, наконец, ясно, что на глубине десяти—пятнадцати футов почва эта содержит в себе некоторое количество съедобных ракушек. Почтенный автор «Естественной истории», человек столь же глубоких взглядов, сколь и обаятельный стилист, ясно говорит: «Я утверждаю, что ракушки — промежуточная форма, применяемая природой для образования большинства камней. Я утверждаю, что мелы, мергели и известковые камни образуются исключительно из ракушечниковой пыли и осколков».

Можно зайти и еще дальше в своих утверждениях, каким бы кто ни был ученым физиком. Я признаюсь в том, что двенадцать лет подряд исследовал известняк, которым я пользовался, и ни я и никто из моих помощников не заметили в нем ни малейшего следа ракушек.

Нуждаемся ли мы во всех этих гипотезах, чтобы доказать, что наша Земля испытала в стародавние времена различные катастрофы? Если бы море попеременно то покрывало низкие земли, то отливало от них всего на пространстве длиной в две тысячи миль и шириной в сорок, на поверхности Земли произошли бы изменения на площади в восемьдесят тысяч квадратных миль.

---

* Т. е. *известняк* (фр.).— *Примеч. переводчика.*

Извержения вулканов, землетрясения, оседание почв должны были изменить достаточно большую поверхность Земли; исчезали озера, речные русла, поглощались города, возникали острова, разделялись материки; внутренние моря могли произвести гораздо большие перевороты. Не довольно ли этого? Если наше воображение любит представлять себе столь громадные перемены в природе, оно должно быть удовлетворено.

Далее, я признаю наглядно доказанным, что требовался длиннейший ряд веков для выполнения всех перемен, происшедших на нашей планете, о чем мы имеем непреложные свидетельства. Четырехсот семидесяти тысяч лет, которыми похваляются вавилоняне, наставники египтян, быть может, для этого и недостаточно; однако я вовсе не хочу вступать в спор с книгой Бытия, к коей отношусь с полным уважением. Я разрываюсь между своим слабым разумом — единственным моим светочем — и иудейскими священными книгами, в коих я ничего не смыслю. Я всегда ограничиваюсь лишь обращенной к богу мольбой, чтобы люди не преследовали других людей и чтоб из этой Земли, столь часто потрясаемой катастрофами, не делали юдоли горя и слез, где змеи, чья участь — считанные мгновенья пресмыкаться в своих логовах, постоянно источают свой яд против других змей.

Глава XVIII

О СИСТЕМЕ МАЙЕ, ЗАКЛЮЧИВШЕГО НА ОСНОВЕ РАССМОТРЕНИЯ РАКУШЕК, ЧТО РЫБЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ПРЕДКАМИ ЛЮДЕЙ

Майе, о котором мы уже говорили, решил, будто Великий Каир внушает догадку относительно нашего континента, гласящую, что в незапамятные времена этот континент был морем; Майе узрел там ракушки, и вот как он рассуждал: ракушки эти доказывают, что море в течение тысяч веков пребывало в Мемфисе, а следовательно, и египтяне и обезьяны неоспоримо происходят от морских рыб.

Древние обитатели берегов Евфрата не очень далеко

ушли от этой идеи, когда твердили, что знаменитая рыба Оаннес каждодневно выходила из реки на берег, дабы наставлять их уму-разуму. Богиня Дерсето — то же, что и Венера, — имела рыбий хвост. Венера Гесиода родилась из морской пены.

Быть может, именно на основании подобной космогонии Гомер утверждает, что Океан — отец всех вещей, но, говорят, под этим словом — «Океан» — он разумеет всего только Нил, а вовсе не наш Мировой океан, коего он не знал.

Фалес учил греков, что вода — первоначало природы. Доказательства его следующие: семя всех животных жидкообразно, всем растениям требуется вода, и, наконец, звезды питаются влажными испарениями нашей планеты. Последний из этих доводов примечателен: забавно — у нас все еще ссылаются на Фалеса[25] и стремятся выяснить, что́ думали по этому поводу Афиней[26] и Плутарх[27].

Пресловутое питание звезд не может иметь успеха в наше время; вопреки проповедям рыбы Оаннес, аргументам Фалеса и фантазиям Майе, вопреки особому пристрастию, питаемому ныне к генеалогиям, мало кто верит в свое происхождение от калкана или трески. Дабы подкрепить эту систему, нужно было бы, чтобы все виды и все элементы переходили одни в другие. «Метаморфозы» Овидия стали бы тогда лучшей книгой по физике, какая была когда-либо написана.

Наша планета, несомненно, переживала какие-то свои метаморфозы, какие-то изменения формы, причем любая планета претерпевала свои преобразования, ибо, поскольку все находится в движении, все должно претерпевать перемены; одна только неподвижность неподвижна и природа вечна; но мы — мы существа вчерашнего дня. Мы обнаруживаем тысячи признаков изменений на нашем маленьком шарике. Признаки эти говорят нам о том, что сотни городов были поглощены, что многие реки исчезли, что на протяжении больших пространств земли мы ступаем по останкам. Эти ужасные катастрофы удручают наш ум. Они совершенно не имеют значения для вселенной и почти ничего не значат для нашего шара. Море, оставляющее ракушки на покинутом им побережье, — все равно что капля воды, испаряющаяся с края небольшой чашки; самые страшные

бури — всего лишь легкое дуновение воздуха, произведенное крыльями мухи. Все наши чудовищные катастрофы суть не что иное, как песчинка, чуть-чуть сдвинутая со своего места. А между тем какие большие и тщетные усилия делаются для объяснения этой малости! Сколько систем и сколько шарлатанства направлено на то, чтобы уяснить себе эти легкие отклонения, столь страшные в наших глазах! Сколько злобы изливается во время всех этих диспутов! Завоеватели — захватчики мира были не более ожесточенны и исполнены гордыни, чем торговцы целебными снадобьями, претендовавшие на то, что им известны их свойства.

Один говорит: Земля — покрывшееся корой Солнце; другой: это комета, слегка коснувшаяся Солнца. Вот перед нами один кричит: данный осколок устричной ракушки — знак потопа; другой ему вторит, утверждая: она окаменела уже целых четыре миллиарда лет назад. Увы! Бедные люди, осмеливающиеся нас поучать, вы хотите объяснить мне образование Вселенной, но при этом не знаете, как возник малюсенький клещ или тоненькая былинка!

Глава XIX
О ЗАРОДЫШАХ

Итак, философы попытались создать систему, предназначенную для изгнания из природы зародышей, благодаря которым поколения людей, животных и растений сохранились до наших дней. Напрасно наши глаза видят и наши руки ощупывают семена, бросаемые нами в землю; напрасно все живые существа явно развиваются из зародышей: люди забавлялись, пытаясь уличить природу в обмане, с тем чтобы учредить иную систему, чуждую ей.

Система, утверждающая, что животные являются носителями семени, по-видимому, совсем не противоречит физике; тем не менее ею пресытились, как пресыщаются модой. В те времена было обычным для всех философов, за исключением тех, кому исполнилось восемьдесят, похищать во время соития двух полов семенную жидкость — производительницу рода человеческого — и усматривать в этой жидкости с помощью микроскопа

плавающих там маленьких червячков, коим в дальнейшем надлежало стать людьми,— подобно тому как наблюдают в прудах головастиков, которым суждено стать в дальнейшем лягушками.

Согласно этой системе, самцы являются главными хранителями вида, в то время как по главенствовавшей до тех пор теории яиц именно самки являлись вместилищем всех поколений и истинными матерями. Значением самца, согласно этой теории, было лишь оплодотворение яиц, подобно тому как петух оплодотворяет кур. Теория эта имела огромное преимущество хотя бы в силу каждодневной и неопровержимой практики многих видов; но в конце концов стали сомневаться как в той, так и в другой. Однако содержит ли самец в своем организме живородящее существо или содержит его в своем яичнике самка, а жидкость самца служит только его развитию, ясно, что в обоих случаях мы имеем дело с зародышем; этот-то зародыш и задумали истребить любовь к новшествам, яростное системосозидание и не менее яростное себялюбие.

Автор маленькой книжечки, озаглавленной «Физическая Венера»[28], вообразил, что все совершается в матке с помощью притяжения: правая нога притягивает к себе левую, стекловидная влага глаза, его сетчатка, роговица и конъюнктива притягиваются соответствующими частями другого глаза. Никто никогда не извращал с такой непостижимой утрировкой притяжение, доказанное Ньютоном совсем для других случаев; подобная химера была достойна идеи рассечения голов гигантов для познания природы души и возбуждения этой души с целью заставить ее предсказывать будущее. Однако подобная глупость едва не дискредитировала дух системосозидания, столь полезный для прогресса наук, когда речь идет о порядке и когда этот дух управляется разумом.

Глава XX
О ПРЕСЛОВУТОЙ ПОРОДЕ УГРЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ МУКОЙ И БАРАНЬИМ СОУСОМ

Тот, кто первым сказал, что нет той глупости, на которую не был бы способен человеческий ум, явился великим пророком. Некий ирландский иезуит Нидгем [29], путешествовавший по Европе в мирском одеянии, поставил ряд опытов, применив несколько микроскопов. Он посчитал, что обнаружил в порченой пшеничной муке, поставленной предварительно в печь и оставленной затем в прочно закупоренном сосуде, из которого он выкачал воздух, угорьков, тотчас же порождающих другие угри. Тот же самый феномен он вообразил обнаруженным в кипяченом бараньем соусе. Тотчас же некоторые философы стали натужно кричать о чуде и вести такие речи: зародышей не существует; все вершится и все управляется животворящей силой природы. Сила эта — притяжение, утверждал один; это — организованная материя; или: это — живые организованные молекулы, принявшие свои конечные формы, твердил другой. Ученые-физики были обмануты иезуитом. Точно таким же образом служащий одной из нижнебретонских ферм сумел внушить всем парижским острословам, будто он знал красивую женщину, отлично рожавшую червей *. Надо признать вечным позором для человеческого разума злосчастную поспешность, с которой некоторые философы начинают строить универсальные системы на основе частного факта, являющегося всего лишь смешным заблуждением, недостойным даже того, чтобы его разоблачить. При этом не подумали хотя бы о том, что, если испорченная мука порождает угрей, это еще не значит, будто хорошая мука породит людей.

Распространенная ошибка иногда пускает столь глубокие корни, что многие продолжают ее поддерживать даже тогда, когда она признана таковой и вызывает общее пренебрежение; так, некоторые исторические журналы повторяют лживые новости, попавшие в газе-

---

* Непереводимая игра слов: ver — «червь» (мн. ч. vers — «стихи»).— *Примеч. переводчика.*

ты, даже тогда, когда они теми же газетами уже опровергнуты. Новый автор изящного и точного перевода Лукреция[30], снабженного учеными комментариями, пытается в примечаниях к третьей книге опровергнуть самого Лукреция, опираясь на злополучные опыты Нидгема, столь основательно уличенные в фальсификации г-ном Спалланцани[31] и отвергнутые каждым, кто хоть сколько-нибудь исследовал природу. Старинная ошибка, гласящая, что гниение — мать рождения, казалось, воскресла к жизни: зародыши были отброшены, и то, что Лукреций в согласии со всей античностью считал невозможным, казалось, было намерено совершиться.

Ex omnibu rebus
Omni genus nasci posset, nil semine egeret.
E mare primum homines, e terra posset oriri
Squammigerum genus, et volucres; erumpere coelo
Armenta atque aliae pecudes . . . . . .
. . . . . .
... ferre omnes omnia possent *.

Всем владел бы тогда невернейший случай:
Жил бы без семени зверь и следствие — без причины.
Род человеческий море б, наверно, рождало,
Четвероногих стада, конечно же, падали б с неба,
Рыбы в кущах зеленых свою начинали бы жизнь:
Все бы стало причиной всего — но не природа.

Лукреций в этом вопросе физики, несомненно, был прав, каким бы невеждой он ни был во всем остальном. Ныне доказано наглядно и умозрительно, что без своего зародыша не существует ни одно растение, ни одно животное. Зародыш содержится в яйце курицы, точно так же как в желуде дуба. Созидающая потенция ру-

---

* *Лукреций. О* природе вещей, I, 160—167. В переводе *Ф. А. Петровского* (М.; Л., 1945):

Если бы из ничего в самом деле являлися вещи,
Всяких пород существа безо всяких семян бы рождались:
Так, например, из морей возникали бы люди, из суши —
Рыб чешуйчатых род и пернатые, с неба срывался б
Крупный и мелкий скот [и породы бы диких животных
Разных, неведомо как, появлялись в полях и пустынях.
И на деревьях плоды не имели бы стойкого вида],
Но изменялись бы все произвольно [на дереве каждом].

ководит всеми этими процессами развития от одного конца универсума до другого.

Необходимо признать зародыши, потому что мы видим их и их сеем и потому что дуб в малом объеме содержится в желуде. Разумеется, — и все это хорошо знают — такой зародыш не является дубом шестидесяти футов в высоту, но он — эмбрион, который вырастет затем при подмоге земли и воды, подобно тому как ребенок растет благодаря своему — другому — питанию.

Отрицать существование такого зародыша лишь на том основании, что трудно постичь, каким образом он содержит в себе другие зародыши — до бесконечности,— значит отрицать существование материи на том основании, что она бесконечно делима. Я этого не понимаю, а значит, это не существует. Подобное рассуждение недопустимо в отношении вещей, кои мы видим и осязаем. Оно превосходно, когда его выдвигают против гипотез, но не тогда, когда с его помощью пытаются опровергнуть факты.

Какая бы система ни подводилась под эти факты, она будет такой же абсолютно непостижимой и, становясь над фактом существования зародышей, она, к несчастью, окажется основанной на непонятном первоначале, вместо того чтобы строиться на вполне осязаемом принципе, известном всему миру. Все системы, объясняющие причину рождения, роста, питания, способности ощущать и мыслить, одинаково необъяснимы. Монады, предназначавшиеся к тому, чтобы быть зеркальным фокусом Вселенной, предустановленная гармония между часовым механизмом души и часовым механизмом тела, врожденные идеи, то осуждаемые, то принимаемые Сорбонной, *sensorium commune* *, коего нигде нет, детерминация момента, когда дух одушевит материю, — возвращайтесь в страну химер вместе с *Таргумом, Талмудом, Мишной, Каббалой, Хиромантией, Элементами Декарта* и *Новыми сказками!* Навечно ли мы осуждены не знать самих себя? Да.

---

* *Общее чувствилище* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

Глава XXI

О ЖЕНЩИНЕ, РОЖДАЮЩЕЙ КРОЛИКА

Куда только не заведет жажда прославиться в качестве творца системы!

Пресловутая теория произвольных рождений получила столь широкое распространение в начале века, что многие были убеждены, будто морская рыба способна породить лягушку. Для этого, утверждали те люди, нужно только, чтобы в матках морской рыбы содержались органические части лягушек. Один лондонский хирург, по имени Сент-Андрэ, изо всех сил пропагандировал в 1726 году эту доктрину и завоевал восторженное поклонение новых приверженцев. Одна из его соседок по дому, женщина бедная и достаточно наглая, решила извлечь для себя пользу из учения этого хирурга. Она поведала ему, будто родила кролика и будто стыд вынудил ее избавиться от своего ребенка; правда, сказала она, материнская нежность помешала ей его съесть.

Сент-Андрэ, найдя в признании этой женщины подтверждение своей системы, нисколько не заподозрил подобную авантюру и восторжествовал вместе со своими последователями. По истечении восьми дней та же женщина послала за ним с просьбой навестить ее в ее мансарде; она сказала ему, что чувствует схватки так, словно ей снова предстоит родить. Сент-Андрэ заверяет ее, что это новая беременность. Он сам принимает у нее роды в присутствии двух свидетелей. Она рожает маленького кролика, еще живого, и Сент-Андрэ всюду демонстрирует сына своей соседки. Мнения разделяются: одни кричат о чуде; сторонники Сент-Андрэ уверяют, будто удивительно, если исходить из законов природы, что такие вещи не случаются чаще. Здравомыслящие люди смеются, однако все ссужают деньгами эту кроличью мать.

Она нашла сие занятие столь прибыльным, что стала рожать каждые восемь дней. В конце концов в делишки этой семьи вмешалось само правосудие. Ее заперли в одиночку и сторожили; был перехвачен молодой кролик, которого она велела себе принести и которого запихнула в отверстие, созданное вовсе не для него. Ее подвергли наказанию; Сент-Андрэ укрылся от правосудия. Газетные листки веселились по поводу этого крольчатника

так же, как позднее они веселились по поводу человека, обещавшего уместиться в двухпинтовой бутыли, и публики, привалившей толпой на этот спектакль.

Здравая физическая наука развеяла в прах все эти мошенничества, подобно тому как она изгнала одержимых и колдунов.

Из всего этого следует, что надо остерегаться крольчат Сент-Андрэ, угрей Нидгема, произвольных рождений, предустановленной гармонии — теории, впрочем, весьма остроумной, а также органических молекул, которые еще более остроумны.

Глава XXII

О ДРЕВНИХ ОШИБКАХ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ

Ошибок ложной физики существует гораздо большее количество, нежели открытых истин. Почти все абсурдно у Лукреция: стоит лишь посмотреть четвертую и пятую книги его поэмы, и вы обнаружите там, что призраки отделяются от тел, чтобы поражать наш взгляд и наше обоняние:

Quam primum noscas rerum simulacra vagari, etc.

(*кн. IV, 126*) *

. . . . . .

Ergo multa brevi spatio simulacra geruntur.

(*160*) **

Голоса рождают друг друга:

Ex aliis aliae quoniam gignuntur...

(*608*) ***

---

* Вольтер явно имеет в виду стихи 127—128 той же, IV книги поэмы Лукреция «О природе вещей», звучащие так: Quin potius noscas rerum simulacra vagari («Так что не лучше ль признать, что [во множестве, многоразлично] // Призраки реют вещей...». Перевод *Ф. А. Петровского.— Примеч. переводчика.*

** Это стих 159 указанного выше издания. В переводе *Ф. А. Петровского:* «Так что мы вправе сказать, что они (призраки.— *Примеч. переводчика*) зарождаются быстро».

*** В переводе *Ф. А. Петровского* — ст. 607—608: «Так в потаенных местах голоса постоянно роятся // И раздается их звук...».— *Примеч. переводчика.*

Лев содрогается и бежит при виде петуха:

Hunc nequeunt rapidi contra constare leones.
(*716*) *

Животные засыпают, когда из трех частей души одна изгоняется наружу, вторая забивается в самые недра тела, третья же, рассеявшись по сочленениям, не в состоянии сплотиться воедино:

... ut[i] pars inde animai
Ejiciatur, et introrsum pars abdita cedat,
Pars etiam distracta per artus non queat esse
Conjuncta inter se, nec motu mutua fungi.
(*942—945*) **

Солнце и остальные светила утоляют жажду водами Земли:

... Cum sol et vapor omnis
Omnibus epotis humoribus exsuperarint.
(*кн. V. 384—385*) ***

Солнце и Луна, согласно Лукрецию, не бóлее велики, чем это нам кажется:

Nec nimio solis major rota, nec minor ardor
Esse potest...
Lunaque... nihilo fertur major figura.
(*565—577*) ****

Ночь наступает только потому, что Солнце исчерпало свой жар в течение дня:

---

* Ссылка ошибочна: это стих 712 по указанному русскому академическому изданию 1945 г.; в переводе — ст. 710—712: «Мало того: петуха, привыкшего крыльями хлопать... // Ярые львы выносить совершенно не в силах...».— *Примеч. переводчика.*

** По русскому академическому изданию это стихи 944—947; в переводе *Ф. А. Петровского*: «...Душа изгоняется частью наружу,// Частью, гонимая внутрь, забивается в самые недра, // Частью ж, рассеясь везде по суставам, она не способна // Вместе сплотиться уже и взаимные делать движенья».— *Примеч. переводчика.*

*** По русскому академическому изданию это стихи 383—384; в переводе *Ф. А. Петровского*: «Например, если солнцем и жаром влага осушится (букв.: «выпьется» — epotis) // вся и они, наконец, одолеют?».— *Примеч. переводчика.*

**** По русскому академическому изданию это стихи 564—577; в переводе: «Солнечный диск, как и жар, исходящий от солнца, не могут // Больше значительно быть или меньше, чем кажется [чувствам]»; «Да и луна... по размерам не больше...».— *Примеч. переводчика.*

... Efflavit languidus ignes,
(*651*) *

или же потому, что оно прячется под Землю:

... Quia sub terras cursum convertere cogit.
(*653*) **

Не следует думать, будто мы обнаружили больше истин в «Георгиках» Вергилия. Его наблюдения над природой не более точны, чем его печальный апофеоз Октавиану, прозванному Августом, которому он говорит, что пока не известно, предпочел бы тот быть богом Земли или моря, и что Скорпион сжимается, дабы освободить ему место в небе. Однако этот Скорпион лучше бы сделал, если бы вытянулся и вонзил свое жало в автора проскрипций и убийцу граждан Перузии.

Вергилий начинает свои «Георгики» словами о том, что лен и овес сжигают землю:

Urit enim lini campum seges, urit avenae.
(*Георг., I, 77*) ***

По его мнению, народы, обитающие в северных странах, погружены в вечную ночь или же вечерняя звезда сияет им тогда, когда у нас занимается заря:

Illic (ut perhibent) aut intempesta silet nox
Semper, et obtenta densantur nocte tenebrae,
Aut redit a nobis Aurora, diemque reducit;
Nosque ubi primus equis Oriens afflavit anhelis,
Illic sera rubens accendit lumina Vesper.
(*257—261*) ****

* По русскому академическому изданию ст. 652; в переводе — ст. 651—652: «...Солнце,//[к неба подходит краям] и гаснет, огни выдыхая».— *Примеч. переводчика.*

** По русскому академическому изданию ст. 654; в переводе: «Иль потому, что оно под землю уводится силой».— *Примеч. переводчика.*

*** «Поле сжигают посевы овсов ведь и лёны».— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

**** «Там (говорят) либо вечная ночь, глубока, молчалива,// И с наступлением ночи сгущаются темные тени, // Либо от нас возвращается утра Аврора, // День принося; а чуть нас резвых огненных коней // Паром обдаст Восток, поздний там возгорается Веспер».— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

Достаточно известно: действительно, у наших восточных антиподов ночь наступает тогда, когда у нас зажигается дневное светило, но вовсе не у северных народов, могущих жить на одном с нами меридиане.

Не предпринимайте ничего, говорит Вергилий, на пятый день новолуния, ибо в этот день Титаны восстали против богов:

Quintam fuge, etc.

(*277*) *.

Семнадцатый день после новолуния, согласно Вергилию, весьма удачлив для посадки виноградной лозы и укрощения быков:

Septima post decimam felix, etc.

(*284*) **

Звезды падают с неба в ветряном вихре:

Saepe etiam stellas vento impendente videbis
Praecipites coelo labi...

(*365—366*) ***

Кобылицы оплодотворяются Зефиром; их матка выделяет слизистый яд.

Все реки берут начало в недрах Земли; заканчиваются «Георгики» советом выводить пчел из бычьей кожи.

Одним словом, тот, кто решил бы, что он познáет природу, читая Лукреция и Вергилия, уснастил бы свои мозги таким же количеством заблуждений, какое содержится в «Секретах маленького Альберта» или в старинных «Льежских альманахах». Но почему же эти поэмы пользуются такой славой? Почему их читают столь жадно все, кто знает латынь? Причина тому — прекрасные описания, здравая мораль, восхитительные картины жизни людей. Очарование поэзии заставляет прощать все ошибки, и ум наш, проникшись красотами стиля, даже и не помышляет о том, что обманут.

---

* «Пятого дня избегай, и т. д.».— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

** «День ведь семнадцатый после десятки удачлив, и т. д.».— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

*** «Часто увидишь, как звезды в вихре ветряном // С неба низринутся вдруг...».— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

Глава XXIII

О ЧЕЛОВЕКЕ, ИЗГОТОВЛЯВШЕМ СЕЛИТРУ

Всегда надо помнить эту испанскую пословицу: De las cosas mas seguras, la mas segura es dudar *. После выполнения какого-то опыта самое лучшее — надолго усомниться в том, что́ было сделано и увидено.

В 1753 году некий германский химик, родом из небольшой провинции, соседней с Эльзасом, решил, на недостаточном основании, что он открыл секрет легкого изготовления селитры, с помощью которой можно было бы составлять порох, действующий в двадцать раз лучше, чем обычный, и со значительно более высокой скоростью. Он действительно изготовил этот порох и дал его принцу, своему суверену, использовавшему его на охоте. Такая охота была сочтена более изысканной и волнующей, чем любая другая. Принц этот во время своего путешествия в Версаль подарил тот же порох королю, часто испытывавшему его в деле и всегда точно так же остававшемуся довольным. Химик настолько уверовал в свой секрет, что не желал продать его меньше чем за миллион семьсот тысяч франков наличными и за четвертую часть прибыли в течение двадцати лет. Сделка была заключена; глава пороховой компании, позднее — хранитель королевских сокровищ, прибыл в Эльзас от лица короля в сопровождении одного из самых ученых французских химиков. Немец продемонстрировал им свое достижение в окрестностях Кольмара, причем за свой собственный счет, — последнее явилось лишним доказательством его добросовестности. Я не видел самих работ, но когда хранитель королевской казны прибыл ко мне вместе со своим химиком, я ему сказал, что, если он заплатит миллион семьсот тысяч ливров лишь по изготовлении этой селитры, он вернее сбережет свои деньги. Химик заверил меня, что селитра получается. Я повторил, что ему не верю. На его вопрос «почему?» я ответил: «Да потому, что люди ничего не создают заново. Они просто соединяют и разъединяют; созидание же — дело природы».

---

* «Из самых достоверных вещей самая достоверная — сомнение».— *Примеч. переводчика.*

Немец трудился целых три месяца, в конце которых признался в своей несостоятельности. «Я не могу превратить землю в селитру, — сказал он. — Я возвращаюсь к себе, чтобы заняться превращением меди в золото». Он отправился восвояси, и золото у него получилось так же хорошо, как раньше селитра.

Но какой же неверный опыт подвел этого бедного немца и герцога, его господина, а также хранителя королевской казны, парижского химика и короля? А вот:

Немец-алхимик нашел кусок земли, пропитанный селитрой, и отличным образом выпарил эту последнюю, сделав затем из нее великолепный стрелковый порох; но он не заметил, что на этом небольшом участке почва была смешана с обломками древних подземелий, конюшен и с остатками известковых стен. Он обратил внимание только на землю и решил, что достаточно ее подогреть, чтобы достичь наилучшего изготовления селитры.

Глава XXIV

О СУДНЕ МАРШАЛА ДЕ САКСА

У маршала де Сакса был, без сомнения, ум творческий, проницательный и бдительный — качества, создающие великого капитана. Между тем в 1729 году ему пришла в голову идея построить безвесельную и беспарусную галеру, которая поднялась бы вверх по реке Сене от Руана до Парижа, на расстояние в девяносто миль, в течение двадцати четырех часов: расстояние это не меньше указанного из-за извилистости реки. Такие машины строились и раньше — в них можно было совершить прогулку по стоячей воде при помощи двух широколопастных колес, которым сообщает движение вертлюг. Он не подумал о том, что судно его не сможет противостоять течению, что выигрыш во времени будет адекватен потере в мощности, и наоборот. Несмотря на все это, он получил аттестации от двух членов Академии наук и приобрел исключительные права на свою машину. Он ее апробировал, и провал его стал очевиден. Мадмуазель Лекуврер воскликнула тогда, как Геронт: «Какого дьявола собирался он делать на этой галере?!» Попытка сия обошлась ему в десять тысяч экю, а ведь

он был тогда богат. Позднее на земле он вполне исправил свою ошибку на реке Сене. Он научился более удачно распоряжаться временем и силой, проделав высоконаучные военные маневры.

Подобные просчеты в области гидравлики и движущих сил каждодневно случаются у многих мастеров.

Глава XXV
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Геометрический скандал произошел тогда, когда в начале этого века французские и немецкие математики вступили в спор по поводу силы движущихся тел. Ученики Лейбница утверждали, что сила эта пропорциональна квадрату скорости и весу тела. Французы, напротив, измеряли эту силу лишь произведением скорости на массу. Г-н де Мэран изложил это недоразумение с большой ясностью. Победа осталась за древней философией, и надо отметить, что ни один английский геометр не пожелал и слушать о новом способе измерения, введенном в Германии Лейбницем.

В течение некоторого времени парижская Академия наук заблуждалась по более важному поводу. Вот в чем заключается дело, как оно изложено в «Основах [философии] Ньютона»:

«Людовик XIV ознаменовал свое царствование этим меридианом, пересекающим Францию; славный Доминик Кассини[32] приступил к делу вместе со своим старшим сыном; в 1701 году он провел от подножия Пиренеев до Обсерватории настолько правильную прямую, насколько позволяли такие почти непреодолимые препятствия, как горные высоты, изменения в преломлениях световых лучей и смены измерительных приборов, без конца мешавшие при этом грандиозном и тонком предприятии; итак, в 1701 году он промерил шесть градусов и восемнадцать минут этого меридиана. Но к какому бы месту ни относилась ошибка, его градусы, прилегающие к Парижу, то есть отмеренные в северном направлении, оказались меньшими, чем те, что были отмерены в южном; такое измерение противоречило и измерению Норвуда, и новой теории сплюснутости земных полюсов. Правда, эта новая теория получила столь широкое одоб-

рение, что секретарь Академии [33] в своей „Истории" за 1701 год не колеблясь заявил: новые измерения, принятые во Франции, доказывают, что *Земля — сфероид, полюсы коего сплюснуты.* Измерения Доминика Кассини подразумевали, действительно, прямо противоположный вывод; но, поскольку форма Земли тогда не представляла собой проблемы, волновавшей Францию, никто не стал в то время опровергать этот ложный вывод. Градусы меридиана — парижского колюра — считались точно измеренными, а полюс, оказавшийся в результате этих измерений явно вытянутым, считался уплощенным.

Некий инженер, по имени г-н де Рубэ, удивленный подобным выводом, доказал, что согласно измерениям, принятым во Франции, Земля должна представлять собой продолговатый сфероид, меридиан которого, тянущийся от одного полюса до другого, длиннее экватора, а полюсы — вытянуты. Однако из всех физиков, кому он посылал свою диссертацию, ни один не пожелал содействовать ее опубликованию, поскольку казалось, что Академия изрекла свое мнение, и представлялось чрезмерно дерзостным со стороны частного лица это мнение опровергать. Некоторое время спустя ошибка 1701 года была признана; Академия отреклась от своего заблуждения, и Земля стала вытянутой на основании точного вывода из ложной предпосылки». В конце концов ошибка была полностью исправлена.

Сообщество ученых скоро вернулось на истинный путь. Всем миром ныне признано, что планета Земля — неправильный сфероид, несколько сплюснутый у полюсов; и это гораздо вернее доказано теориями Гюйгенса и Ньютона, чем всеми мыслимыми измерениями, слишком уж подверженными неизбежным ошибкам.

Таким образом, англичане, столь великие любители путешествий, не совершили ни одного путешествия для удостоверения с помощью все же чуть-чуть неточного способа того факта, который казался им доказанным самими законами природы.

Глава XXVI
ОСУЖДЕННЫЕ ИСТИНЫ

Вот приличное число ошибок, в кои впали самые великие люди и самые ученые корпорации, ибо величайшие и самые высокочтимые гении бывают до какой-то степени отмечены человеческой слабостью.

К этому перечню можно было бы добавить приговоры, вынесенные Галилею. Две кардинальские конгрегации осудили его за то, что он защищал движение Земли вокруг Солнца — движение, в то время уже почти доказанное со всей строгостью. Его вынудили на коленях просить прощения и признать, что он возвестил абсурдное учение. Кардиналы внушали ему в согласии с писаниями всех их теологов, будто Иисус остановил Солнце на его пути в Гаваон. Галилею ничего не оставалось, как им отвечать, что и после Иисуса Навина Солнце оставалось вполне неподвижным. И все-таки в результате он был осужден, к стыду человеческого разума; как мы уже говорили в другом месте, этот приговор покрыл бы Италию вечным позором, если бы Галилей не принес ей вечную славу той самой своей философией, которая подверглась запрету.

Достаточно хорошо известно, какой значительной корпорацией[34] были осуждены и подверглись запрету врожденные идеи Декарта и что та же самая корпорация в дальнейшем осудила тех, кто опровергал врожденные идеи. Факт этот достаточно убедительно показывает, что теологи не должны вмешиваться в философию. Между двумя этими областями науки лежит бесконечность.

В ряде стран выносились еще более странные суждения по вопросам физики, которые никак не входят в компетенцию Кюжаса и Бартоля. Известно, какому преследованию подвергся за свое несогласие с Аристотелем ученый Рамус, которого не поняли ни его противники, ни его судьи.

В результате Аристотель стоил ему жизни во время Варфоломеевской ночи.

Врачи, стоявшие на точке зрения древних, затеяли процесс против тех, кто доказал циркуляцию крови. Творцы ошибок всегда прибегают для обоснования своих

взглядов к авторитету. Примеры людей, осужденных за то, что они просвещали человеческий род, почти столь же многочисленны в физике, сколь и в морали.

Глава XXVII
ОТСТУПЛЕНИЕ

Если столькие физические ошибки ослепили целые нации, если в течение стольких веков нам неведомы были направление магнитной стрелки, циркуляция крови и вес атмосферы, то какие огромные ошибки должны были допускать люди в деле правления? Когда речь идет о физическом законе, его исследуют — по крайней мере, в наше время — с определенной беспристрастностью; яростные страсти и настоятельная необходимость занять определенную позицию ослепляют человеческий ум вовсе не при исследовании первоначал природы; в деле же государственного правления очень часто руководствовались исключительно страстями, предрассудками и требованиями момента. Здесь заключены три причины скверного управления, явившегося несчастьем для стольких народов.

Именно это породило столькие войны, начинавшиеся по безрассудству, широким потоком разливавшиеся без руля и ветрил и оканчивавшиеся бедой и позором; именно это дало ход стольким законам, гораздо худшим, нежели отсутствие всякого закона; именно это разорило столькие семьи — правопорядок, изобретенный во времена невежества и освященный обычаем; это сделало и общественные финансы игрушкой опасного случая.

Именно это ввело в культ божества столько чудовищных злоупотреблений и столько неистовства, быть может более омерзительного, чем невежественный культ дикарей. Заблуждение по всем этим основным пунктам закреплялось, передаваясь от отца к сыну, из книги в книгу, с кафедры на кафедру, и зачастую оно делало людей более несчастными, чем если бы они продолжали спорить в лесах из-за желудя.

Довольно легко преобразовать физику, когда, наконец, открыта истина. Небольшого количества лет оказалось достаточно, чтобы утвердить вращение Земли вокруг Солнца вопреки римским декретам, установить —

назло университетам — законы тяготения и определить пути света. Законодателям в области природы тотчас же начинает повиноваться и их уважать весь мир — от одного конца до другого; но не так обстоит дело в области политического законодательства. Оно было и продолжает оставаться почти повсюду в хаотическом состоянии; люди привыкли руководствоваться случайностью во всем, что относится к их жизни, богатству и ко всему их существованию в настоящем и будущем.

Глава XXVIII
ЭЛЕМЕНТЫ

Существуют ли элементы? Три элемента, которые выдумал Декарт и которые во времена моего детства преподавались в большинстве школ, стоят значительно ниже сказок «Тысяча и одна ночь»: ведь ни одна из этих сказок не отвергает законы природы, и они все-таки прелестны. Пять первоначал, о которых учили химики, почти не получили признания, и они сами вынуждены были свести их к трем, а затем — к двум. Позднее вернулись к огню, воде и земле.

Раз так, то нужно было допустить и воздух. В результате четыре элемента Аристотеля вернули себе весь почет. Но из чего состоят сами эти элементы? Если они состоят из частей, значит, они — не элементы. Переходят ли воздух, огонь, вода и земля друг в друга? Подвержены ли они метаморфозам? И что это такое, строго говоря, — «метаморфоза»? То бытие, перешедшее в иное бытие; по сути, это уничтожение первого бытия и сотворение другого. Дабы вода полностью стала землей, необходимо, чтобы вода эта погибла и образовалась земля: ведь если бы вода содержала в себе самой первоначала земли, в которую она превращается, это уже не преобразование, но всего лишь вода, содержавшая в себе немного земли; будучи выпаренной, она оставляет эту землю на обозрение.

Знаменитый Роберт Бойль[35] ошибался на этот счет и увлек своим заблуждением Ньютона. Продержав воду долгое время в реторте на равномерном огне, химик, помогавший Бойлю, решил, что по истечении нескольких месяцев вода перешла в землю, — факт оказался невер-

ным; однако Ньютон, поверив в него, предположил, что четыре элемента могут переходить один в другой. Бургаве[36] впоследствии показал, в чем состояла ошибка Бойля. Однако эта ошибка привела Ньютона к созданию системы, представляющейся ошибочной. Но если великие люди, такие, как Бойль и Ньютон, впали в ошибку, кто из людей осмелится льстить себя мыслью о собственной непогрешности? И не следует ли с величайшим недоверием относиться к принятым мнениям и к собственным идеям?

Глава XXIX
О ЗЕМЛЕ

Что такое земля? Является ли ее существенным признаком то, что она состоит из глины или из грязи? Разумеется, нет, ибо и мергель, и мел, и гончарная глина, и песок, и гипс, и известняк — все это зовется *землей.* Итак, Бехер проводил различие между истинной землей, землей воспламеняющейся и ртутной. Является ли земля сочетанием всего содержимого нашей планеты? Входят ли в нее вода, огонь и воздух? И каким образом в этом случае можно ее назвать элементом?

В течение долгого времени воображали, будто существовала первичная, девственная земля, не являвшаяся ничем из того, что́ мы видим, и способная воспринять в себя все, что содержит в себе наш шар; однако такая земля явно находится в земном раю, к коему больше ни у единого человека нет доступа. Нам известны лишь различные виды земляных субстанций, и мы не можем ни об одной из них сказать: это — первоначало других субстанций, или матрица, в коей все образуется, а также могила, в которую все уходит обратно.

Глава XXX
О ВОДЕ

Что такое вода? Жидка она или плотна по своей природе? Не требуется ли для ее течения, чтобы некий тайный жар разъединял ее части? Уберите значительную часть этого жара, и вода станет льдом. Но что это

за элемент, нуждающийся в другом элементе для своего существования?

Иной ли природы морская вода, нежели воды наших источников и рек? Существуют ли в Океане и Средиземном море обширные соляные отмели и смоляные шахты, придающие их водам иной вкус, чем у нашей обычной воды, когда мы в нее погружаем морскую соль? Никто никогда не видал пресловутых соляных шахт; никто никогда не извлекал смолу из морской воды.

Почему вода несжимаема? Почему у нее нет никакой упругости? И что это такое — упругость? Почему, если вода заключена в шар из золота, она проступает через поры его стенок после удара молотком по этому шару, хотя золото почти в двадцать раз плотнее воды? И почему она не может проступить сквозь поры стеклянного сосуда, каким бы это стекло ни было прозрачным? Почему вода в парообразном состоянии обладает такой огромной силой? На все эти вопросы трудно ответить.

Пока нам еще не известно точно, почему вода гасит огонь.

Глава XXXI
О ВОЗДУХЕ

Некоторые философы отрицают существование воздуха. Они говорят, что бесполезно допускать бытие, коего никто никогда не видел и все действия которого столь легко объяснить как действие паров, выходящих из недр Земли. Ньютон доказал, что самые твердые тела обладают меньшим количеством материи, чем пор. Постоянные испарения во множестве отделяются ото всех частей нашей планеты. Молодой, сильный конь, когда его, взмыленного, приводят посреди зимы обратно в конюшню, бывает окутан в тысячи раз менее значительной массой атмосферы, чем наша планета бывает окутана массой своего собственного дыхания.

Это дыхание, или испарение, эти бесчисленные пары без конца выделяются из бесчисленных пор и сами имеют поры. Именно это постоянное во всех смыслах движение без конца образует и разрушает растения, минералы, металлы, животных. Именно это заставило многих считать, что движение присуще материи, ибо не сущест-

вует частички, коя не имела бы постоянного движения. И если вечная созидательная сила, руководящая всеми сферами, является творцом всяческого движения, то она пожелала, по крайней мере, чтобы движение это не исчезало вечно. Но то, что́ постоянно пребывает неразрушимым, могло, конечно, показаться существенным, как показались существенными протяженность и плотность; ведь только злонамеренная и недобросовестная ошибка не заслуживает прощения.

Однако будем ли мы рассматривать движение как присущее материи или нет, несомненным остается, что испарения нашей сферы без устали поднимаются на милю, две или три выше наших голов и падают с этой высоты обратно. На Атласских горах, на вершине Тавра любой может увидеть всякий день, как у его ног образуются облака. Путешественникам тысячекратно случалось оказываться стоящими выше радуги, молний и раскатов грома.

Быть может, огонь, разлитый внутри планеты, этот огонь, в скрытом виде содержащийся в воде и даже в стекле, и является неуничтожимым источником таких выделений — этих паров, коими мы постоянно окружены. Они образуют голубое небо в ясную пору, когда находятся на достаточной высоте и бывают настолько тонки, что посылают нам лишь голубые лучи, как это происходит с тонкими лепестками из золота, на которые падают солнечные лучи в затемненной комнате. Те же самые пары образуют громовые раскаты и молнии. Будучи сжатыми, а затем распространившись под воздействием этого сжатия в недрах Земли, они изливаются в вулканических извержениях, образуют и разрушают невысокие горы, ниспровергают в бездну города и иногда расшатывают землетрясением большу́ю часть планеты.

Море испарений, в коем мы плаваем, которое постоянно нам угрожает и без которого мы не могли бы жить, сжимает со всех сторон наш земной шар и его обитателей с той силой, как если бы на наши головы давил океан в тридцать два фута глубины; при этом на долю каждого человека достается около сорока тысяч фунтов веса.

Ввиду всего этого философы, отрицающие воздух, говорят: почему мы должны приписывать неведомому и невидимому элементу действия, которые мы постоянно

наблюдаем как производимые этими зримыми и ощутимыми испарениями?

Воздух упруг, говорят нам; однако пары одной только воды часто еще более упруги. То, что вы именуете элементом «воздух», будучи сжатым в выдувном стеклянном сосуде, переносит шар лишь на весьма малое расстояние; однако в пожарном насосе йоркских зданий в Лондоне пары производят в сто раз более мощный эффект.

Упомянутые философы продолжают рассуждать так: о воздухе нельзя сказать ничего, что́ не было бы возможности повторить относительно земных испарений: они обладают тем же весом, что он, и той же способностью проникновения; они точно так же расширяются и конденсируются и способствуют возгоранию огня. Здесь, правда, возникает серьезное возражение, а именно огонь сразу гасится грубыми парами. Испарения молодого вина гасят свечу, поставленную в закрытом погребе; то же самое происходит при входе в собачью пещеру возле Неаполя. Более того, эти пары убивают человека, чья жизнь поддерживается свежим воздухом.

Противники воздуха находят этому объяснение в одном только выражении «грубые пары». Они утверждают, что, когда такие пары бывают более разреженными, они оказываются целительными, а кроме того, не гасят в этом случае факел, но поддерживают его слабое пламя.

Система эта, по-видимому, имеет большое преимущество в сравнении с теорией воздуха, ибо она полностью обосновывает тот факт, что атмосфера тянется вверх не более чем на три или, самое большее, четыре мили; если же допустить существование воздуха, то нельзя обнаружить причину, по которой он не распространяется выше и не охватывает собой орбиту Луны.

Самое серьезное возражение, делаемое против системы земных испарений, гласит, что пары теряют свою упругость в пожарном насосе, когда охлаждаются, в то время как воздух якобы всегда упруг. Но, прежде всего, неверно, будто упругость воздуха налицо всегда: его упругость равна нулю, когда предполагается, что воздух находится в состоянии равновесия; да и, кроме того, нет растения или животного, кои не взорвались бы и не разлетелись на сотни мелких кус-

ков, если бы тот воздух, что, согласно предположению, содержится в их телах, сохранял свою упругость. Действие паров сводится к нулю, когда они находятся в равновесии; высокая действенность паров бывает обусловлена их расширением. Одним словом, все свойства, приписываемые воздуху, по-видимому, явно характерны, по мнению этих философов, и для испарений земного шара.

Если им возражают, что воздух иногда бывает тлетворен, то ведь то же самое гораздо скорее надо сказать об испарениях. Они несут в себе частицы серы, купороса, мышьяка и всех вредных растений. Когда говорят: «В таком-то кантоне чистый воздух», это означает, что данный кантон не заболочен и в нем нет опасных для здоровья растений и копей, из которых постоянно выделялись бы вредные частицы и проникали в тела животных. И вовсе не пресловутый элемент «воздух» делает римские окрестности столь нездоровыми; нет, то стоячие воды и древние каналы, которые, будучи вырыты под землей во всех направлениях, превратились во вместилище всяческих ядовитых существ. Именно из этих каналов постоянно источается смертоносный яд. Поезжайте во Фрескати: это — совсем другая земля, здесь нет таких испарений. Но почему же предполагаемый элемент «воздух» изменяет свою природу во Фрескати? Говорят, именно в окрестностях Рима он оказывается перегружен смертоносными испарениями, во Фрескати же их нет, и потому он становится там более целительным. Но еще раз: коль скоро эти испарения существуют, поскольку все воочию видят, как они поднимаются под вечер ввысь и образуют там облака, какая необходимость приписывать их иной причине? Они вздымаются в атмосферу, рассеиваются там, меняют свою форму; ветер, которому они служат первопричиной, уносит их, разделяет; они разрежаются, становятся целительными из смертоносных, какими являлись раньше.

Другое возражение — то, что эти пары и выделения, заключенные в стеклянный сосуд, сцепляются с его стенками и падают на дно; а этого никогда не случается с воздухом. Но кто вам сказал, будто, если влажные испарения падают на дно хрустального сосуда, внутри него не содержится несравненно больше сухих и упругих

паров? Воздух, говорите вы, после дождя очищается. Но мы вправе вам возразить, что очистке при этом подвергаются земные испарения; самые грубые из них и больше всего насыщенные влагой, будучи возвращены земле, оставляют над нашими головами наиболее сухие и разреженные пары, и именно эти попеременные взлет и падение поддерживают вечную игру природы.

Вот ряд доводов, могущих быть приведенными в пользу мнения, гласящего, что элемента «воздух» не существует. Среди этих доводов есть весьма несостоятельные и способные, по крайней мере, породить сомнения; но такие сомнения всегда должны будут уступить место общераспространенному мнению, по-видимому основанному на более веских принципах, нежели те, что допускают вместо воздуха одни лишь земные пары.

Глава XXXII

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОГОНЬ И СВЕТ

В «Основах философии Ньютона», изданных в 1738 году, есть такие слова: «Ньютон, произведя анатомию света, не раскрыл его глубинной природы. Но он хорошо знал, что у элементарного огня есть свойства, не присущие другим элементам.

Такой огонь пробегает 130 миллионов миль — *от Юпитера до нашей планеты* — менее чем за четверть часа; по-видимому, он не обладает центростремительным тяготением, подобно телам, но распространяется единообразно и равномерно во всех направлениях, в противоположность другим элементам. Сила его притяжения к объектам его касания, от поверхностей которых он отражается, не находится ни в каком соотношении со всеобщим тяготением материи.

Не доказано даже — если мы решимся это сказать,— что лучи элементарного огня не проникают каким-то образом одни через другие. Поэтому-то Ньютон, пораженный всеми этими феноменами, видимо, всегда сомневался в том, будто свет — тело. Что до меня, то, коль скоро я уж дерзаю высказать свои сомнения, я одновременно признаю вполне возможным, что элементарный огонь — особое бытие, одушевляющее природу и занимающее промежуточное положение между телами и каким-то

другим бытием, нам неизвестным; это подобно тому как определенные растения служат переходным связующим звеном между царством растений и царством животных».

Вот вопросы, возникающие относительно элементарного огня и световых лучей, о которых Ньютон так часто говорил: *Corpora sint, nec ne**.

Является ли этот огонь такой же полноценной материей, как прочие элементы — вода, земля и то, что определяют словом «воздух» или *эфир?* Любое тело, каким бы оно ни было, тяготеет к центру; но огонь и свет равномерно во все стороны рассеиваются от центра. Следовательно, свет не подчиняется закону тяготения, характеризующему всю материю.

Любое тело непроницаемо; однако лучи света, по-видимому, проникают друг друга. Поместите тело, окрашенное лучами в красный цвет, на некотором расстоянии от тела, освещенного зелеными лучами, и пусть сто миллионов человек рассматривают эту красную и эту зеленую точку — они увидят их обе окрашенными одинаково; при этом абсолютно необходимо, чтобы зеленые и красные лучи пересекались. Однако как могут они пересекаться, не проникая друг друга? Вопрос этот был предложен многим философам, но ни один из них на него не ответил.

Правда, существовало мнение, что пламя имеет вес; но не смешивали ли при этом иногда частички, присоединившиеся к пламени, с пламенем как таковым?

Кому не известны опыты, показавшие, что кальцинированный свинец, превращенный в известь, весит больше, чем весил до этого? Подозревали, что прибавка в весе является единственно лишь результатом введения в свинец огня; но разве не более вероятно, что часть разреженного атмосферного воздуха соединяется с этим расплавленным металлом и таким образом увеличивает его вес?

Огонь, необходимый всем телам и дающий им жизнь, может обладать природой самих этих тел; и разве не вполне вероятно, что оживляющему началу присуще нечто сверх того, что есть в оживляемом?

---

* *«Это — тела, и ничто иное»* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

Понятен ли как следует тот феномен, что нечто сущее, передвигающееся в нашей атмосфере со скоростью в 1 600 000 раз большей, чем пушечное ядро, и, быть может, с несравнимо более высокой скоростью в пространстве, лишенном сопротивления, может оказаться тем, что мы именуем *материей?*

Не должны ли мы признать вместе с Мушенброком: «Ничто нам не известно меньше, чем причина эманации света»? «Следует признать,— продолжает он,— [что] человеческий ум никогда не сумеет постичь столь поразительный феномен».

Не является ли этот элементарный огонь принципом электричества, поскольку в одно и то же мгновение ока электрический разряд чувствуют триста человек, выстроенных вереницей? Первый в ряду получает удар, и последний ощущает этот электрический удар в то же мгновение.

Не является ли огонь в живых существах принципом мгновенного ощущения, служащим причиной того, что малейший укол в конечности тела незамедлительно возбуждает центр, именуемый нами *sensorium* *? Одним словом, не является ли это сущее, имеющее столь всеобщее и столь необычное действие на все тела, неким промежуточным бытием между материей, свойствами коей оно обладает, и другими видами бытия, связанными каким-то образом с остальными и отличающимися от них?

Идея эта, гласящая, что простой огонь, с одной стороны, связан какими-то своими свойствами с известной нам материей, а с другой — отличается от нее, может быть отброшена, но к ней не следует относиться с пренебрежением.

Какую службу сослужили нам открытия в области физики и творческие свершения гения при том глубоком невежестве, в котором прозябает как управляемая, так и правящая толпа в отношении сих четырех элементов? Вместо того чтобы лучше возделывать землю, мы ее обагряем кровью; мы используем огонь и воздух для того, чтобы превращать города в пепелища; воды морей служат нам, чтобы приносить разруху во все части мира. Металлургия, первоначально изобретенная для пользования плугом, привела к гибели тысяч миллионов лю-

* *Чувствилище* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

дей. Теория движущих сил, использовавшаяся вначале для облегчения наших трудов, вскоре оказалась чревата смертоубийственными механизмами. Наконец, изобретение химика-бенедиктинца, принеся новый способ войны всем народам, придав им бесполезную храбрость и силу, привело к тому, что Густав и Тюренн были убиты трусами. В настоящее время в Европе вместе с турками и татарами миллион пятьсот тысяч солдат стоят под ружьем. Но ни один из них не знает, что он был вооружен монахом-математиком.

Глава XXXIII
О НЕПОЗНАННЫХ ЗАКОНАХ

Если Ньютон подобрал тот ключ к природе, согласно действию которого камень или снаряд падают обратно на Землю, устремляясь к ее центру, а планеты движутся по своим орбитам; если этот закон притяжения действует в отношении не к поверхностям, подобно импульсу, производимому какой-либо жидкостью, но в отношении к массам; если его действие проникает до центра материи в обратной пропорции к квадрату расстояний, почему не действует он в тех же самых соотношениях при феноменах магнитного притяжения, электричества, подъема жидкостей в полых капиллярных трубках, сцепления тел, отскакивания солнечных лучей от поверхности кристалла без реального соприкосновения с этой поверхностью? Ни в одном из этих случаев нельзя прибегнуть к законам движения или к импульсу промежуточных корпускул. Следовательно, несомненно, существуют непознанные вечные законы, согласно которым все это совершается, хотя мы и не можем объяснить их через материю и через движение.

Законы эти напоминают те, с помощью которых все живые существа приводят в движение свои члены по своему произволу. Кто сумеет раскрыть соотношение между волей животного и движением его ног? Итак, существуют законы, никак не связанные с известной нам материей. Корпускулярная философия, таким образом, не в состоянии объяснить первопричины вещей. Декарт, казалось бы всегда выступавший как философ, тем не

менее произнес совсем нефилософскую фразу, сказав: «Дайте мне материю и движение, и я создам мир».

В любой академии существует незанятая кафедра для непознанных истин, подобно тому как в Афинах существовал алтарь для неизвестных богов.

Глава XXXIV
ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Разве природа наших ощущений, идей, нашей памяти не остается пока весьма неизведанной? Как получается, что живое существо чувствует? Какое соотношение существует между известной [нам] материей и чувством?

Каким образом идея умещается в нашем мозгу? Можно ли получить ощущение, не получая при этом идеи, сознания, внутреннего свидетельства, что данное ощущение испытывается?

Каким образом животное, коему я отсек голову, продолжает испытывать ощущения, хотя оно лишено мозга, от которого ответвляются нервы — источник всякого ощущения?

Почему, живя без головы целыми неделями, оно продолжает чувствовать мои уколы? Почему оно прячется в свою оболочку при малейшем неприятном ощущении, какое я ему причиняю?

Что такое память? И что это за кладовая, в которой иногда, помимо нашего желания, отыскивается целая куча идей и слов, о которых мы не сохранили никакого воспоминания?

Каким образом живые существа получают во сне ощущения и идеи, которых они не имели во время бодрствования?

Благодаря какой непостижимой согласованности воля немедленно заставляет повиноваться ей определенные мускулы и внутренние органы, в то время как существуют другие мускулы и органы, над которыми у нее нет ни малейшей власти? Наконец, почему мы обладаем существованием? Почему существуют вещи?

Если в результате таких размышлений не возникает сомнения, можно очень собой гордиться.

Глава XXXV
СОМНЕНИЯ В ОБЛАСТИ АНАТОМИИ

Вопреки всемерному содействию, оказанному микроскопом анатомии, вопреки великим открытиям многих искусных хирургов и знаменитых врачей, сколько поднялось нескончаемых диспутов и в каких сомнениях мы до сих пор пребываем!

Спросите Борелли[37] относительно силы, развиваемой сердцем во время его расширения, его диастолы, — он вас станет уверять, что сила эта равна весу в сто восемьдесят тысяч фунтов. Адресуйтесь к Кейлю, и он вас заверит, что сила эта не превышает пяти унций. Явился Жюрен и, решив, что оба они ошиблись, произвел новый подсчет; однако четвертый нежданный пришелец утверждает, что Жюрен также ошибся. Природа же смеется над всеми ними и, пока они дискутируют, печется о нашей жизни: она заставляет сердце сокращаться и расширяться способами, кои человеческий ум еще не постиг.

После Гиппократа не прекращаются споры по поводу того, каким образом происходит пищеварение: одни приписывают желудку пищеварительные соки; другие ему в этом отказывают. Химики превратили желудок в лабораторию; Геккэт сделал из него мельницу. По счастью, природа позволяет нам переваривать пищу, не делая для нас обязательным знание секрета пищеварения. Она дарует нам аппетит, вкус и отвращение к определенным видам пищи, но причины всего этого нам никогда не известны.

Говорят, будто хилус человека находится в готовом виде в самих продуктах питания, например в жареной куропатке. Но пусть все химики мира кладут куропатку в реторту — они не извлекут оттуда ничего, что напоминало бы куропатку или же хилус. Следует признать: мы перевариваем пищу точно так же, как получаем жизнь, как ее даем, как мы спим и чувствуем, мыслим, иначе говоря, без понимания того, каким образом это все совершается.

Мы располагаем целыми библиотеками по вопросам рождения, однако никто до сих пор не знает даже того, каков механизм набухания мужского детородного члена.

Говорят о соке нервных волокон, придающем чувствительность нашим нервам, однако сок этот не был открыт ни одним из анатомов.

Да и животные духи, пользующиеся столь великой славой, еще предстоит открыть.

Ваш врач прописывает вам лекарство, но не знает, каким образом оно очищает ваш организм.

Способ, каким образуются наши волосы и наши ногти, нам так же неизвестен, как и способ образования нами идей. Последнее из выделений нашего тела приводит в смущение всех философов.

Уинслоу и Лемери нагромождают томы записок, долженствующих объяснить порождение мулов. Мнения ученых разделяются; а меж тем осел, гордый и невозмутимый, не суя свою морду в эту дискуссию, покрывает свою кобылицу, каковая и рожает ему красивого сына-мула. Природа действует, а мы дискутируем.

Г-н Юллоа[38], столь знаменитый своими заслугами перед физикой, а также философской историей своих путешествий, уверяет, будто в одном из кантонов южной Америки он неоднократно видел, наблюдал и ел раков, всегда бывших более мясистыми во время полнолуния и более тощими, когда Луна стояла на ущербе. Он видел и использовал толстый камыш, подверженный тем же влияниям: камыш этот был больше насыщен влагой во время полнолуния, чем во время убыли и роста Луны. Было бы желательно, чтобы он подробнее описал эти удивительные феномены. Ни раки, ни камыши наших мест не подвержены подобного рода переменам. Почему же Луна воздействует на перуанских раков и пренебрегает раками нашего континента? И почему только в одном перуанском кантоне камыши и раки подвластны Луне? Но я написал бы толщенный том, если бы пожелал подробно разобраться во всем том, чего никогда не умел понять.

Глава XXXVI

МОНСТРЫ И РАЗЛИЧНЫЕ РАСЫ

Нет никакого согласия по вопросу происхождения монстров. И откуда может оно быть, если до сих пор не пришли к единому мнению относительно происхождения нормальных животных?

Ньютон сказал: *Natura est sibi semper consona* (природа всегда подобна * себе самой). Да, тела обладают центростремительным тяготением во всех странах мира; огонь повсюду вызывает пожар; однако природа действует весьма дифференцированно в отношении порождений, ибо среди животных одни откладывают яйца, другие — живородящие, эти — однополые, те — двуполые, многие же рожают детенышей без спаривания.

Quo teneam vultus mutantem Protea nodo?

(*Hor., lib. I, ep. I, 90*) **

И разве негроидная раса не полностью отлична от нашей? Существуют еще невежды, публикующие заявления, гласящие, будто негры и негритянки, переселенные в наш климат, рожают белых детей. Нет более грубой ошибки, и все наши американские колонисты, среди которых живут и негры, являются свидетелями противоположного положения дел.

Как можно в наше время писать и печатать, что черные — это белая раса, почерневшая в результате климатических условий, в то время как хорошо известно, что при подобном же климате в Америке в момент ее открытия не было обнаружено ни единого негра и там живут теперь лишь негры, переселенные туда из Африки и всегда рожающие таких же негров, как они сами? Недуг системосозидания может помрачить разум до такой степени, что возникнут утверждения, будто швед и нубиец принадлежат к одному и тому же виду, хотя у нас перед глазами абсолютно черная *reticulum mucosum* *** негров, являющаяся очевидной причиной присущей им специфической черноты? Я знаю: можно найти черный и белый мрамор в одном и том же карьере; но ведь ясно, что не белый камень породил черный, точно так же как негроидные расы не более происходят от белых, чем эбеновое дерево происходит от вяза, а тутовая ягода — от абрикоса.

Составитель «Экономического журнала» **** никогда никуда не выходивший дальше улицы Сен-Жак, сказал

* Букв.: созвучна (*consona*) (лат.).— *Примеч. переводчика.*

** «Лик Протея изменчивый как мне постичь и распутать?» (*Гораций.* Эподы, I, 90; *перевод наш.— С. Ш.-Т.*).

*** Букв.: *слизистая сетка* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

**** «Journal économique».— *Примеч. переводчика.*

мне менторским тоном, что караибы вовсе не красные; просто их матери забавляются тем, что красят своих детей в красный цвет. А вот свидетельство моих соседей, прибывших из Гваделупы, которые утверждают, что «на берегах бухточки Бертран живет еще пять или шесть караибских семейств; кожа их — цвета нашей красной меди; они стройны, длинноволосы и безбороды».

Караибы — не единственный народ этого цвета. Я разговаривал с островным индийцем, приехавшим во Францию около 1720 года просить правосудия в королевском суде против г-на Гебера, бывшего губернатора Пондишери, и добившимся этого правосудия. Он был красного цвета и между тем очень красив.

Майе в отдельных случаях бывает прав. Он многое видел и многое подвергал исследованию. «Американцы, — говорит он на странице 125 первого тома своего собрания сочинений, — и особенно канадцы, за исключением эскимосов, не имеют ни волос на теле, ни бороды и т. д.». Издатель Майе, выпустивший в свет его рукопись у вдовы Дюшень, делает к этому месту примечание, гордо заявляя: «Телиамед ошибается; американские дикари вовсе не лишены волос на теле и бороды; у них нет этих признаков потому, что, вырывая свой волосяной покров или уничтожая его любым другим угодным им способом, они затем натирают свое тело соком определенных трав, дабы помешать волосам вырасти заново».

С какой нелепой доверчивостью, с каким отважным невежеством этот парижский зевака утверждает, будто бразильцы, канадцы и патагонцы дали себе зарок вырывать у себя с тела волосы без пинцетов! Какой секрет обнародовали они от берегов реки Сен-Лоран и до мыса Горн, препятствующий росту бород? И существует ли путешественник или американский переселенец, каковой бы не знал, что у этих народов никогда не было волосяного покрова ни на одной из частей их тела?

Люди Нового света так же лишены волос, как тамошние львы лишены грив *; вся природа Америки от-

* Вот письмо, присланное мне одним инженером-аншефом, бывшим в длительной командировке в Канаде и оказавшим мне честь написать, 1 декабря 1768 года: «Я видел в Канаде тридцать две различные народности, собранные в нашей армии во время двух последовательных кампаний, и я достаточно пристально их рас

личалась от нашей, когда мы ее открыли, точно так же как на южных оконечностях Африки не было ничего, что напоминало бы творения нашей Европы, — ни подобных людей, ни четвероногих, ни птиц, ни растений.

Можно ли искренне верить в то, что какой-нибудь лапландец или самоед принадлежат к расе древних обитателей берегов Евфрата? А их ветвисторогие, или олени — животные, нигде более не встречающиеся и нигде более не способные жить, — неужели они происходят от ланей лесов Санлис? Разумеется, природе не более трудно было создать лапландцев и ветвисторогих оленей, чем негров и слонов.

Белые негры, которых я видел, — эти маленькие человечки с глазами куропатки и самой шелковистой и бледной кожей на голове, напоминающие негров лишь приплюснутым носом и округлостью их глазной конъюнктивы, — представляются мне не более происходящими от выродившейся черной расы, чем от породы попугаев. Автор «Естественной истории» считает, что они принадлежат к черной расе, потому что все негры обитают почти на одной и той же широте — в Дариане, на юге Занра и в Сейлане. Что до меня, то именно потому, что они обитают на одной широте с неграми, я отношу их к особой расе.

Действительно ли верно, что на отдельных островах Филиппин и Марианского архипелага живут семьи, члены которых имеют хвосты, подобно тому как греки и римляне изображали сатиров и фавнов? Миссионеры-иезуиты заверяли, что это так; множество путешественников не сомневается в этом; Майе пишет, что он это видел. Слуги-негры покойного г-на де Бурдоннэ, победителя Мадраса и жертвы своей службы, клялись мне, что не раз видели эти хвосты. Было бы не более странным, если бы у некоторых человеческих рас копчик удлинился и приподнялся, нежели тот очевидный факт, что можно наблюдать целые семьи, члены коих рождаются

сматривал, чтобы заверить вас, что они безбороды. Женщины их таковы же, и на этот факт вы равным образом можете полагаться. Более того, месье, американцы не только совсем не имеют волос на подбородке, но они не имеют их ни на одной из частей своего тела. Они обязаны этим природе, а вовсе не пресловутой траве, которой, как утверждает ученый автор с улицы Сен-Жак, они будто бы натираются».— *Примеч. Вольтера.*

с шестью пальцами на руках. Но существовало ли на свете несколько человек с хвостами или нет, это совсем не важно, и хвосты эти надо отнести к разряду уродств.

Существовала ли в действительности порода сатиров, или, иначе, могли ли девицы зачинать на манер обезьян и рожать полукровок, подобно тому как кобылы рожают мулов и лошаков? Вся античность свидетельствует о сих необычных феноменах. Многие святые видели сатиров. Подобная вещь — не догмат веры. Она вполне вероятна, но должна редко встречаться. Верно, что обезьянам очень нравятся девушки, однако наши девушки питают к ним отвращение и их боятся, бросаются от них прочь. Тем не менее нельзя сомневаться во множестве противоестественных соитий, случающихся время от времени в жарких странах. Наказания, провозглашаемые в иудейских законах за подобные сожительства, являются неоспоримым доказательством их реальности, и весьма вероятно, что от этих смешанных совокуплений рождаются животные, неизвестные в наших городах, но образчики которых можно наблюдать по деревням.

Глава XXXVII

О НАСЕЛЕНИИ [ЗЕМЛИ]

Всегда ли население [Земли] было избыточным? Без сомнения, нет; ленивые народы, какими являются большинство американцев, всегда должны были быть немногочисленными; они оставляют свои земли девственными; реки заливают их наводнениями; необъятные болота заражают воздух; люди дышат ядами. Малочисленность человеческого рода делает землю необитаемой, и эта земля, будучи заброшенной, в свою очередь, способствует убыли населения. Наш континент бывает заселен то больше, то меньше. Число римских граждан чувствительно уменьшилось после страшных злодеяний Суллы и Мария и вплоть до злодеяний трусливого Октавиана, прозванного Августом, и разнузданного Антония.

Во Франции человеческая порода сильно поредела во время гражданских войн и вплоть до прекрасного времени божественного Генриха IV. Я читал, не помню уже в какой книге, что при Карле IX, во времена Варфоло-

меевской ночи, Франция имела двадцать девять миллионов обитателей. Подобного рода ошибка не заслуживает даже опровержения.

Достоверно, что чума, война, голод и инквизиция опустошали целые королевства. С другой стороны, существуют весьма населенные провинции, например Нижненемецкая, из которой выселилось в английские колонии более двадцати тысяч семейств в поисках земли. Страна римского папы нуждается в людях, а земля Соединенных Штатов от них задыхается; причина этого достаточно хорошо известна: первую населяют духовные пастыри, приносящие будущие поколения в жертву упованию на небольшой доход, вторая заселена коммивояжерами Старого и Нового света. Если бы Траяну[39] на его великолепном форуме кто-либо сказал: *Лондон в один прекрасный день окажется в шесть раз более населенным, чем ваш Рим,* — он был бы сильно удивлен.

Более ли сейчас населена Европа, чем во времена Карла Великого? Да, назло монахам; взгляните на Амстердам, Венецию, Париж, Лондон, Милан, Неаполь, Гамбург и множество других городов, бывших в прежние времена жалкими деревушками либо не существовавших вовсе.

Большая часть Герцинских лесов покрыта городами, поселками и засеянными полями. В наши дни почти всюду ощущается недостаток деревьев; Европа наша столь густо населена, что становится невозможным для каждого ее жителя иметь белый хлеб и съедать четыре фунта говядины в месяц. Вот к чему мы теперь пришли; так слишком ли велик для нас мир? Или, может быть, недостаточно велик?

Наконец, никогда не следует упускать случай отметить чудовищную смехотворность утверждений тех, кто приписывает каждому сыну Ноя сотни миллиардов потомков в течение нескольких лет.

Знаменитый шотландец г-н Темплемен подсчитал, что, если бы вся обитаемая земля была населена так густо, как Голландия, на ней жили бы 34 720 миллионов человек, а если бы она имела густоту населения, как в России, их было бы всего 435 миллионов. Автор «Опыта о нравах и духе народов»[40] насчитывает в человеческом роде 900 миллионов душ. Я полагаю, что он не очень далек от истины. Если в подобных подсчетах ошибают-

ся не более чем на миллион, зло еще не столь велико. Не знаю, недостает ли Земле людей, но, без сомнения, ей недостает людей счастливых.

Глава XXXVIII
ТУПОЕ НЕВЕЖЕСТВО И ПАГУБНЫЕ ОШИБКИ

Хотя представляется, что натуралисты осуждены на вечное неведение относительно первоначал вещей, тем не менее дистанция между ними и толпой огромна. Ведь большая разница существует между выдающимся часовых дел мастером и дамой, покупающей у него часы! Она даже не осведомляется о том искусстве, что сумело разделить на равные части часы дня. В Париже есть не менее ста тысяч душ, кои, раздувая огонь в своих каминах, никогда не помыслили даже о механизме, помогающем огню, поступающему в выдувную трубу, захлопнуть после этого приделанный к ней клапан. Дамы, принцессы, королевы проводят часть утра перед своим зеркалом, даже не представляя себе, что есть лучи света, образующие угол падения, равный углу отражения. Каждодневно люди поедают члены и внутренности животных, не полюбопытствовав, что́ именно они едят. Число людей, стремящихся разобраться в пружинах своего организма и своей мысли, крайне невелико. Отсюда случается, что часто они отдают и то и другое на растерзание шарлатанам.

Значительное большинство людей в этих случаях привержено к вещам, более всего их интересующим. Рутина руководит ими во всех поступках их жизни; размышлению обычно предаются лишь по особым случаям и когда на него уже не осталось времени. Такое положение сделало почти все правящие посты порочными; причина эта породила столько же ошибок в правлении государством, сколько и в философии. Приведу выразительный пример из области арифметики.

Когда-то давно шведское правительство испытывало нужду в деньгах; министр произвел заем и назначил заимодавцам постоянную ренту в пять процентов, как это делали и его предшественники. Денежный паритет составлял тогда двадцать пять полновесных серебряных ливров за марку; таким образом, и шведский гражда-

шин, и иностранец, каждый из которых ссудил казне сорок марок, должны были получать пять процентов от этой суммы, т. е. две марки или, иначе говоря, пятьдесят полновесных ливров; экю тогда соответствовало двум с половиной условным ливрам, равнявшимся по номиналу пятидесяти условным су. Две эти реальные марки составляли для рантье двадцать экю ренты, имевшие номинальную стоимость, равную пятидесяти ливрам.

Между тем расходы казны возрастали; государство все больше обременялось долгами; денег не было. Министру посоветовали поднять стоимость марки до пятидесяти ливров вместо двадцати пяти и, следовательно, сделать для того самого экю, кое раньше стоило два с половиной ливра, номинальную стоимость, равную пяти ливрам. В силу данного им обещания он выплатил, как тогда говорили, в идеале всю сумму назначенной ренты, но на самом деле вернул лишь ее половину. Был издан эдикт, согласно которому одно экю внезапно обрело стоимость двух; пятьдесят номинальных су превратились в сто номинальных су. Глупый народ, которому объявили, что стоимость его денег у него в кармане удвоилась, решил, что он вдвое разбогател, а те, кто дал взаймы свои деньги, раз и навсегда потеряли половину своего состояния. Однако чем закончилась эта столь же нечестная, сколь и нелепая операция? Правительство получает лишь половину налогов; землепашец, чей оброк составлял одно экю или два с половиной полновесных ливра, платит теперь лишь реальную половину экю, и правительство, обманувшее своих кредиторов, оказывается еще больше обманутым своими должниками. Ему остается одно лишь средство — удвоить сумму налогов, но средство это означает разорение налогоплательщиков. Не существует более показательного примера.

В ряде государств можно наблюдать тысячи других злоупотреблений, не менее опасных. Их не стараются устранить; подпирают, как могут, стены дома, готового рухнуть, а заботу о его восстановлении оставляют своему преемнику, который не успеет прийти к своей цели[41].

Существуют пороки управления, более заразные, чем чума, и неизбежно несущие с собой беды для Европы от одного ее конца до другого. Какой-нибудь из

государей затевает войну, и, веруя в то, что бог — всегда с большими батальонами, он удваивает число своих войск; и вот его сначала разоряет надежда стать победителем; это разорение, бывавшее до того следствием войны, начинается у него раньше первого пушечного выстрела. Сосед его принимает те же меры, дабы оказать ему сопротивление; постепенно все государи — каждый в свой черед — удваивают, таким образом, свои армии; сельские местности вдвойне разоряются; земледелец, выжатый дважды, неизбежно остается при половине своего скота, помогающего ему утучнять его землю, и при половине средств, предназначенных для ее обработки. Итак, весь свет страдает от этого почти равнозначно, даже если преимущества обеих сторон равны.

Законы, касающиеся справедливого распределения благ, часто бывают подготовлены столь же скверно, как и ресурсы обремененного долгами правительства. Поскольку все люди обладают одними и теми же страстями, одной и той же приверженностью к свободе, поскольку почти каждый человек являет собой сочетание гордости, алчности, корысти, великой склонности к сладкой жизни и беспокойства, требующего активной деятельности, то не должны ли они все иметь одни и те же законы, подобно тому как в госпитале потчуют одинаковой хиной всех больных, страдающих перемежающейся лихорадкой?

На это обычно отвечают, что в достаточно цивилизованном госпитале каждая болезнь имеет свое специфическое лечение; однако это не относится к нашим правительствам: все народы больны нравственно, но нет даже двух режимов, кои походили бы друг на друга.

Законы любого рода, предназначенные быть лекарством души, почти всюду составлены шарлатанами, лечащими нас полумерами; некоторые же из этих шарлатанов прописывают нам яды.

Если одна и та же болезнь охватила весь мир, если какой-нибудь баск испытывает столь же великую алчность, как некий китаец, ясно, что требуется один и тот же режим и для китайца, и для баска. Разница в климате не имеет в этом случае никакого значения. То, что справедливо в Бильбао, должно быть справедливым также в Пекине, на том простом основании, что как на

Атлантическом побережье, так и на берегах реки Инд прямоугольный треугольник является половиной квадрата, имеющего стороны, равновеликие его катетам. Истина всюду одна, законы же между собой расходятся; поэтому-то большинство законов не стóят ломаного гроша.

Какой-нибудь юрист, если он хоть немного философ, мне скажет: законы подобны правилам игры, и каждая нация играет различными шахматами. У одних король может сделать двухступенчатый ход, у других его передвигают лишь на одну клетку; здесь принята рокировка, там — нет. Однако во всех странах игроки подчиняются установленным там законам.

Я ему отвечаю: все это хорошо, когда речь идет лишь об игре. Я выручаю прибыль, помещая свое состояние в Голландии под два с половиной процента, тогда как во Франции я бы мог поместить те же деньги под пять. За одни и те же продукты в Англии пошлина выше, чем в Испании. Действительно, правила таких игр вполне произвольны. Однако существуют игры, в которых дело идет о свободе, чести и жизни.

Тот, кто пожелал бы подсчитать несчастья, связанные с порочным правлением, вынужден был бы написать историю человечества. Из всего этого вытекает, что если люди ошибаются в физике, то они еще больше делают ошибок в морали и мы обречены на невежество и несчастье в жизни, которая — поскольку одно вытекает из другого, — если очень правильно подвести итог, не содержит и трех лет, заполненных приятными ощущениями.

Как! — возразит нам какой-нибудь рутинер. — Разве людям было лучше во времена готов, гуннов, вандалов, франков и великого западного раскола?

Я отвечу, что тогда нам было гораздо хуже. Но я утверждаю: люди, стоящие ныне во главе правительств, будучи гораздо более просвещенными, нежели тогда, должны понимать позорность того, что общество не усовершенствовалось в соответствии с приобретенными знаниями. Я утверждаю: все эти светочи до сих пор мерцают во мраке. Мы выходим на свет из глубокой ночи и питаем надежду на яркий день.

ПИСЬМА МЕММИЯ К ЦИЦЕРОНУ

ВВЕДЕНИЕ

Любой образованный человек знает, что Тит Лукреций Кар, именуемый среди нас просто Лукрецием, написал свою прекрасную поэму с целью воспитать, как обычно говорят, *ум и сердце* Кая Меммия Гемелла, юноши, подававшего большие надежды и принадлежавшего к одному из самых знатных семейств Рима.

Этот Меммий стал потом лучшим философом, чем его наставник, как можно видеть по его письмам, адресованным Цицерону.

Русский адмирал Шереметьев[1], прочтя их в рукописи в римской Ватиканской библиотеке, перевел на свой язык ради забавы и дабы воспитать ум и сердце одного из своих племянников. Мы перевели их с русского языка на французский, поскольку не имели возможности, подобно господину адмиралу, обратиться в Ватиканскую библиотеку, но мы смеем заверить: оба перевода в высшей степени точны. В них можно почувствовать римский дух таким, каким он был в те времена (ибо впоследствии он очень изменился). Философия Меммия иногда чересчур дерзка; но тот же упрек можно сделать и Цицерону, и всем великим людям античности. Все они имели несчастье не читать «Сумму»[2] святого Фомы Аквинского. Тем не менее в их сочинениях можно найти черты естественного света, кои неустанно доставляют величайшее удовольствие.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой мой Туллий, я с печалью, хотя и без удивления, воспринял весть о смерти моего друга Лукреция. Он освободился от житейских страданий, которые не в силах был более выносить; болезни его были неисцелимы: это и послужило причиной для ухода из жизни. Я нахожу, что у него было гораздо больше для этого

оснований, чем у Катона[3], ибо если вы, и я, и Брут[4] — все мы пережили республику, то и Катон отлично мог ее пережить. Уж не льстил ли он себя мыслью, будто больше любил свободу, чем все мы? Разве не мог он, как мы все, принять дружбу Цезаря? Или, быть может, он думал, проиграв сражение при Тапсе, будто долг его — умереть? Если бы это было так, сам Цезарь должен был бы расправиться с собой ударом кинжала после своего поражения при Диррахии; однако он сумел себя уберечь для лучшей доли. У нашего друга Лукреция был более неумолимый враг, чем у Помпея: враг тот — природа. Когда она выносит свой приговор, она не щадит; Лукреций просто опередил ее на несколько месяцев: он страдал, а теперь он более не страдает. Он воспользовался правом уйти из своего дома до того, как дом должен был рухнуть. Живи, пока у тебя есть обоснованная надежда; коль скоро ты ее утратил — умри: таково было его правило, таково и мое. Я одобряю Лукреция и сожалею о нем.

Смерть его заставила меня перечитать его поэму, которая сделает его бессмертным. Некогда он сочинил ее для меня; однако ученик далеко отошел от учителя: ни вы ни я не принадлежим к его школе; мы — академики. По существу, это означает не принадлежать ни к какой школе.

Я посылаю вам то, что́ написал по поводу основоположений моего друга; прошу вас внести в это требуемые поправки. В наше время на долю сенаторов осталось одно лишь философствование: Цезарю принадлежит управление миром, Цицерону же — просвещение других.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Великий муж, вы правы! Лукреций превосходен в своих вступлениях, описаниях, в своей морали и во всем том, что он написал против суеверия. Эти прекрасные стихи:

Tantum religio potuti suadere malorum! *
(*Lib. I, 102*)

* «Вот к злодеяньям каким побуждала религия смертных!» (лат.; пер. *Ф. А. Петровского* в изд.: *Лукреций.* О природе вещей. [Т. 1—2]. [М.; Л.], 1945—1947. [Т. 1], кн. 1. ст. 101).

будут жить, пока жив мир. Если бы Лукреций не был таким же нелепым физиком, как все прочие, он был бы поистине человеком божественным. Его картины суеверия особенно живо поразили меня во время моего последнего путешествия в Сирию и Египет. Наши священные цыплята и наши авгуры, коих вы так изящно высмеиваете в своем трактате *О гадании,* вполне разумны в сравнении с ужасающими нелепостями, свидетелем коих я оказался. При этом никто не испытывает к ним большего отвращения, чем Клеопатра[5] и ее двор. Клеопатра — женщина столь же умная, сколь и красивая. Вы скоро увидите ее в Риме; она вполне достойна стать вашей слушательницей. Но какой бы могущественной она ни была в Египте и каким бы она ни была философом, она не может исцелить свой народ. Жрецы умертвили бы ее; неразумный народ встал бы на их сторону и вопил бы, что святые жрецы отомстили за Сераписа и за кошек.

. . . . . .

Похвалите же вместе со мной нашего Лукреция за то, что он нанес столько смертоносных ударов по суеверию. Если бы он на этом остановился, все народы должны были бы приходить к вратам Рима, чтобы увенчать цветами его могилу.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

На сей раз я сразу вхожу в суть дела и утверждаю вопреки Лукрецию и Эпикуру не только, что существуют боги, но и более того, что есть лишь один бог. Большинство философов меня освищут и назовут *ограниченным умом*[6], но я прошу их простить мне мою ограниченность, как я им прощаю их дерзость.

Я придерживаюсь мнения Бальба из вашего великолепного сочинения «О природе богов». Земля, светила, растения и животные — все говорит мне о творческом интеллекте.

Я утверждаю вместе с Платоном (не принимая других его принципов): ты веришь, что у меня есть разум, на основе того, что видишь порядок в моих действиях и взаимоотношениях, а также цель; но в устройстве этого мира в тысячу раз больше упорядоченности; итак, считай, что мир этот устроен верховным разумом.

На сей аргумент всегда отвечали лишь вздорными, ребяческими гипотезами; никто никогда не был столь неразумен, чтобы отрицать, что глобусы Архимеда и Посидония были творениями великих математиков; однако эти глобусы представляют собой лишь весьма слабые и несовершенные копии той необъятной мировой сферы, которую Платон столь правомерно назвал *творением вечного Геометра*. Но если признаю́т, что копия — дело рук великого гения, как можно предполагать, будто оригинал случаен?!

Случай — ничто; случая вообще не существует. Мы назвали так следствие причины, кою мы не усматриваем. Но без причины нет следствий; нет существования без основания для него — в этом заключается принцип всех истинных философов.

С каким лицом Эпикур, а вслед за ним и Лукреций осмеливаются нам заявлять, будто атомы в результате случайных сцеплений произвели сначала одних животных без пасти, других — без внутренностей, третьих — лишенными ног, четвертых — головы и лишь затем тот же случай вызвал рождение полноценных животных?

Ведь в Египте, говорят они, можно еще и теперь наблюдать крыс, одна половина которых оформлена, другая же представляет собой только грязь. Но они сугубо ошибаются: подобные глупости могли быть вымышлены невежественными греками, никогда не бывавшими в Египте. Факт этот ложен и невероятен. Не существует и никогда не будет существовать ни животного, ни растения, которые не развились бы из своего зародыша. Тот, кто утверждает, будто гниение порождает возникновение, — деревенщина, а не философ: это — невежда, никогда не ставивший опытов.

Я встречал таких дрянных шарлатанов, говоривших мне: «Нужно, чтобы зерно сгнило в земле и пустило росток, дабы воскреснуть к жизни, сформироваться и нас питать». Я говорю им: «Несчастные, вглядитесь пристальнее, прежде чем рассуждать! Проследите развитие этого зерна, положенного мной в землю; посмотрите, как оно размягчается, набухает, дает росток и с каким непостижимым искусством раскидывает свои корни и образует свои оболочки. Как! У вас хватает бесстыдства поучать людей, и при этом вы не знаете даже, откуда берется тот хлеб, что́ вы сами едите?»

Но кто же сотворил эти звезды, Землю, этих животных, эти растения и семена, в коих блистает великолепнейшее искусство? Должно быть, это великий мастер; это должен быть разум, во много раз превосходящий наш, ибо он совершил вещи, кои мы едва ли можем понять; разум этот, эта потенция, и есть то, что́ я именую богом.

На этом я останавливаюсь. Одолевающий меня ряд идей может породить толстый том вместо письма. Но я посылаю вам эту небольшую книжицу, раз вы мне то дозволяете; прошу вас не показывать ее никому, кроме таких же людей, как вы, т. е. людей, лишенных нечестия и суеверий, свободных от сектантских и обычных предрассудков, любящих истину, а не споры; люди эти бывают уверены только в том, что́ доказано, и остерегаются даже самых правдоподобных вещей.

(Далее следует Трактат Меммия).

I. ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН БОГ ВОПРЕКИ ЭПИКУРУ, ЛУКРЕЦИЮ И ДРУГИМ ФИЛОСОФАМ

Я могу допускать лишь то, что́ мне доказано; но мне доказано: в природе существует разумная сила *.

Обособлена ли эта разумная сила от великой Вселенной? Или она сопряжена с нею? Быть может, она ей тождественна? Или она является первоначалом этой вселенной? Не существует ли множества подобных же сил?

Я был испуган этими вопросами, поставленными мной самому себе. Мне трудно нести эту непомерную тяжесть; смогу ли я, по крайней мере, ее приподнять?

Деревья, травы — все, что имеет жизнь, и особенно человек, земля, море, Солнце, все звезды доказали мне существование активного разума, или, иначе говоря, бога, и я спросил у них всех: а что такое — бог, где он обитает, имеет ли помощников? Я созерцал божественное творение, но не видел Творца; я вопрошал природу, но она оставалась немой.

Однако, не выдавая мне своего секрета, она себя обнаружила, а ведь это все равно, как если бы она со мной говорила: мне кажется, я ее слышал. Она мне

---

* Меммий доказал это в своем третьем письме.— *Примеч. Вольтера.*

сказала: мое Солнце заставляет цвести и умирать мои плоды на этом маленьком шаре, который оно освещает и согревает так же, как и другие сферы. Ночное светило отдает свой отраженный свет Земле, посылающей ему, в свою очередь, свой; все взаимосвязанно, все подчиняется законам, никогда себе не изменяющим, а значит, все было организовано единым и единственным интеллектом.

Те, кто предполагает существование большего количества таких интеллектов, должны непременно предполагать, что интеллекты эти либо противостоят друг другу, либо пребывают между собой в согласии; они либо различаются между собой, либо друг другу подобны. Если они между собой различны и противоположны, они не могли создать ничего единообразного; если же они взаимоподобны, то это все равно как если бы существовал лишь один такой интеллект. Все философы согласны, что не следует без нужды умножать вещи; таким образом, все они вопреки самим себе согласны: существует один только бог.

Природа продолжала держать свою речь и рекла мне: ты вопрошаешь меня, где этот бог? Он может быть только во мне, ибо если бы он не был в природе, то где бы он был? В воображаемых просторах? Он не может быть обособленной субстанцией; он меня одушевляет, он — моя жизнь. Твое ощущение — в твоем теле, бог же — в моей целокупности. По этому гласу природы я заключил, что мне невозможно отвергать существование подобного бога, но невозможно также его познать.

То, что во мне мыслит, что я называю своей душой, незримо, как же смогу я узреть то, что является душой целой Вселенной?

II. РЯД ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЕДИНСТВА БОГА

Платон, Аристотель, Цицерон и я — все мы живые существа [animaux], или, иначе говоря, мы одушевлены [animés]. Может статься, на других сферах пребывают живые существа иного вида, в тысячи миллионов раз более просвещенные и могущественные, чем мы, подобно тому как, возможно, существуют горы из золота и реки нектара. Такие существа было бы неправомерно именовать *богами;* однако возможно, что их вовсе не

существует, а следовательно, мы не должны допускать их существования. Природа может обойтись и без них; но то, что нам известно о природе, не могло возникнуть без замысла, или плана; а этот замысел, или план, не мог быть задуман и выполнен без могущественного интеллекта; значит, я должен признать такой интеллект, такого бога и отбросить всех тех мнимых богов, что населяют планеты и Олимп, а также всех мнимых сыновей бога — всяких Вакхов, Гераклов, Персеев, Ромулов и т. д., и т. п. Это не что иное, как милетские сказки, волшебные новеллы. Бог совокупляется с дочерьми человеческими! Да я предпочел бы тогда уж сказать, что слоны занимались любовью с блохами и от этой любви получила начало новая порода, — то было бы гораздо менее дерзким.

Давайте же придерживаться очевидности, свидетельствующей нам, что в великой Вселенной обитает величайший из интеллектов. Задержимся на этом отправном пункте вплоть до того момента, когда мы сможем сделать еще какие-то шаги в этой громадной пропасти.

III. ПРОТИВ АТЕИСТОВ

Он был весьма дерзок, этот Стратон[7], приписывавший разум поступкам своей охотничьей собаки и отрицавший его за восхитительным творчеством целокупной природы. Сам он обладал способностью мыслить, но не желал, чтобы в механизме мира существовала мыслящая потенция.

Он утверждал, что одна лишь природа путем присущих ей сочетаний создает мыслящие живые существа. Я ловлю его здесь на слове и спрашиваю, какие у него есть тому доказательства? Но он отвечает мне, что доказательством служит его система, его гипотеза и эта его идея стоит любой другой.

Что до меня, то я ему говорю: я не хочу никаких гипотез, я хочу доказательств. Когда Посидоний сказал мне, что может найти квадратуру сегментов круга, я не поверил ему раньше, чем он не представил мне свое доказательство.

Не знаю, найдется ли в ходе времен кто-либо настолько безумный, чтобы уверять, будто материя, не обладающая мышлением, сама по себе, производит мил-

лиарды мыслящих существ. Я противопоставил бы этому человеку возражение, говорящее, что, согласно его великолепной системе, материя способна породить мудрого, могущественного и благого бога.

Ведь если одна только материя породила Архимеда и вас, почему не может она породить существо, несравненно более высокое по своей одаренности, чем Архимед и вы, более высокое, чем все люди, вместе взятые, по своей силе и мощи, существо, кое организовало бы элементы гораздо лучше, чем гончар по своему произволу лепит кусочек мягкой глины, — одним словом, почему не может она создать бога? Я не усматриваю здесь никакой трудности: глупость эта прямо вытекает из системы Стратона.

IV. СЛЕДСТВИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЯ АТЕИЗМА

Другие, такие, как Архит [8], выдвигают гипотезу, согласно которой вселенную породили числа. Ого! Какая, оказывается, власть у случая! Один только бросок игральных костей должен с необходимостью вызвать крушение всего мира! Ведь одно лишь незаметное движение трех игральных костей в рожке даст вам с легкостью в течение четверти часа выигрыш шестерки, или очко Венеры. Материя, извечно находящаяся в постоянном движении, должна, таким образом, выбросить все возможные комбинации. Этот мир — одна из ее комбинаций, а значит, он имеет такое же право на существование, как все остальные; итак, он должен был возникнуть; итак, было немыслимо, чтобы он не возник, после того как все остальные комбинации были исчерпаны; итак, при каждом броске игральных костей можно было поставить единицу против бесконечности за то, что этот универсум окажется таким, каков он есть.

Я предоставляю Архиту играть в столь невыгодную игру, и пусть даже пари против него будет всегда равно бесконечности против единицы, я велю претору взять его под опеку из опасения, как бы он не разорился. Но до того как лишить его пользования своим состоянием, я спрошу его, каким образом движение его рожка, постоянно перекатывающегося, не вызывает в каждое данное мгновение крушения этого столь древнего мира и образования нового?

Вы смеетесь надо всеми этими глупостями, мой мудрый Цицерон, и смеетесь со всей снисходительностью. Вы предоставляете всем этим неразумным детям пускать мыльные пузыри из своего флакончика; пустые их забавы никогда не станут опасными. Один только год гражданских войн Цезаря и Помпея принес на Землю больше зла, чем могли бы принести все атеисты, вместе взятые, в течение вечности.

V. ПРИЧИНА АТЕИЗМА

Какова причина, порождающая стольких атеистов? Причина эта — созерцание наших человеческих зол и преступлений. Лукреция можно извинить более, чем кого бы то ни было: он видел вокруг себя и испытал сам одни только беды. После Суллы Рим должен был возбуждать жалость мира, бичом которого он являлся. Мы плавали в собственной крови. По всему тому, что я вижу и слышу, я предчувствую: Цезарь вскоре будет убит. Вы сами так считаете; но после него я предвижу гражданские войны, еще более ужасные, чем те, в коих был замешан я сам. И что увидел и создал в течение всей своей жизни сам Цезарь? Он видел и творил несчастных. Он истребил бедных галлов, истреблявших самих себя в своих постоянных раздорах. Варвары эти управлялись друидами, приносившими в жертву богам дочерей своих сограждан, после того как они ими для себя успевали воспользоваться. Старые кровожадные колдуньи стояли во главе германских орд, опустошавших Галлию; не имея своих домов, германцы отправлялись уничтожать тех, кто их имел. Главным вождем этих дикарей был Ариовист, но их колдуньи целиком и полностью верховодили Ариовистом. Они запрещали ему начинать битву до новолуния. Эти фурии собирались принести в жертву своим богам двух послов, отряженных Цезарем к клятвопреступнику Ариовисту, — Процилла и Тиция, но появились мы и освободили наших обоих сограждан, найденных нами закованными в цепи. Характер людей этих мест был подобен нравам диких зверей, и, по правде сказать, мы сами не стоили большего. Окиньте взглядом другие известные нации — вы увидите там одних лишь рабов и тиранов, опустошения, заговоры и казни.

Животные еще более несчастны, чем мы: они подвержены тем же болезням, но лишены всякой помощи; рожденные все без исключения чувствующими существами, они взаимно пожирают друг друга. Нет ни одного вида, который не оказался бы своим палачом. Земля от полюса до полюса — поле резни, и кровавые нравы утвердились меж рождением и смертью.

Отдельные поэты в качестве целительного средства для стольких ужасов изобрели ад. Странное утешение! Чудна́я химера! Ад — среди нас. Трехглавые псы, три парки, а также три фурии — ягнята в сравнении с нашим Суллой и Марием.

Как мог бог создать эту страшную клоаку несчастий и преступлений? Предполагается, что бог могущественен, мудр, справедлив и благ, мы же видим со всех сторон безумие, несправедливость и злобу. Поэтому люди предпочитают отрицание бога тому, чтобы его проклинать. Итак, мы имеем сотню эпикурейцев на одного платоника. Вот истинные причины атеизма; все остальное — схоластика.

VI. ОТВЕТ НА ЖАЛОБЫ АТЕИСТОВ

Что могу я ответить на эти жалобы человечества, на всегдашний плач вечно страждущей природы?

Я ясно вижу цели и средства. Те, кто утверждает, будто глаз не создан для зрения, ухо — для слышания и желудок — для пищеварения, кажутся мне смешными безумцами; но те, кто в своих мучениях орошает меня слезами, кто ищет в боге утешителя и его не находит,— они вызывают у меня мягкое сожаление; я им сострадаю и забываю о том, чтобы их осуждать.

Смертные — вы, что страдаете и мыслите, мои товарищи по наказанию, давайте будем вместе искать утешения и убедительных аргументов! Я вам сказал, что в природе пребывает интеллект, или бог; но сказал ли я вам, что он может все лучше устроить? Знаю ли я это? Должен ли я это предполагать? Разве я член божественного совета? Я считаю бога высокомудрым: мне поведали об этом его Солнце и звезды. Я считаю его глубоко справедливым и очень милостивым, ибо откуда могут прийти к нему несправедливость, коварство? Добро существует — значит, есть бог; существует и зло —

значит, это зло исходит не от него. Как же, наконец, должен я созерцать бога? Да как отца, не сумевшего сделать добро всем своим детям.

VII. БЕЗГРАНИЧЕН ЛИ БОГ И МОГ ЛИ ОН ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЗЛУ?

Некоторые философы мне бросают: «Бог вечен, бесконечен, всемогущ; значит, он мог воспрепятствовать злу и не дать ему проникнуть в свое восхитительное творение».

Друзья мои, будьте осторожны: если он это мог, но не сделал, значит, вы объявляете его злым, делаете его нашим преследователем, палачом, но не нашим богом.

Разумеется, бог вечен. Коль скоро существует некая вещь, эта некая вещь существует извечно, поскольку небытие не могло бы дать ей существование. Природа вечна; интеллект, ее одушевляющий, вечен также. Но откуда нам известно, что он бесконечен? Бесконечна ли природа? И что это такое — актуальная бесконечность? Нам понятны только границы; правдоподобно, что природе присущи свои границы; доказательство этого — существование пустоты. Но если природа ограниченна, почему и верховному разуму не быть ограниченным также? Почему этот бог, могущий существовать лишь в природе, должен распространиться за ее пределы? Могущество его весьма велико, но кто сказал нам, что оно безгранично? Ведь творения его свидетельствуют нам об обратном, и единственным средством, остающимся нам для его оправдания, является признание, что мощи его не хватило для торжества над физическим и моральным злом. Право, я предпочитаю поклоняться ограниченному богу, чем злому.

Быть может, в обширном механизме природы добро с необходимостью торжествует над злом и вечный Мастер пускал в ход все свои средства, продолжая творить возможное добро (вопреки всему сущему злу).

Быть может, материя возмутилась против разума, для которого она была средством.

И кому, наконец, известно, не произведет ли зло, царствующее в течение стольких веков, еще более великое благо за гораздо более долгое время.

Увы! Слабые и злополучные люди, вы носите на себе те же цепи, что я; ваши несчастья реальны, и я могу вас утешить только предположениями.

VIII. УСТРОИЛ ЛИ БОГ ЭТОТ МИР ОТ ВЕКА?

Ничто не возникает из ничего. Вся античность, все философы без исключения согласны с этим принципом. В самом деле, противоположное абсурдно. Положение это — и доказательство вечности бога, и, более того, его оправдание. Что до меня, то я восхищаюсь тем, как высокий разум сумел построить это необъятное здание при помощи одной лишь простой материи. Некогда удивлялись, как художники с помощью четырех цветов добиваются стольких нюансов. Но какой только данью почтения ни обязаны мы великому Демиургу, сотворившему все при помощи ничтожных четырех элементов!

Мы сейчас видели: если материя существует, то бог существует также.

Когда подчинил он ее своей могучей руке? Когда он ее устроил?

Если материя существовала от века, как это признаёт весь свет, то верховный интеллект привел ее в действие не вчера. Как! Бог в силу необходимости деятелен и он мог провести целую вечность в бездействии? Он — великое необходимое бытие; как же мог он в течение бесчисленных веков оставаться бесполезным великим бытием?

Хаос — поэтический вымысел: либо энергия была заложена в самой материи, либо эта энергия пребывала в боге.

В первом случае все — движение, порядок и жизнь — образовалось само собой, вне какого бы то ни было замысла; но это представляется нам абсурдным.

Во втором случае бог должен был совершить все сам, но должен был также совершать все извечно: он должен был от века с необходимостью расположить все самым скорым и подобающим способом, соответствующим объекту, над коим он трудился.

Если можно сравнить бога с его вечным творением — Солнцем, то его лучи, как и лучи Солнца, истекали от него с первого момента его бытия. Сотворив Солнце ясным, бог, однако, не смог убрать с него пятна. Сотворив

человека с его неизбежными страстями, бог, возможно, не сумел предотвратить ни его пороков, ни его бед. Вечно эти «возможно»! Но у меня нет иных средств оправдать божество.

Милый Цицерон, я не требую, чтобы вы думали, как я, но прошу вас помочь мне думать.

IX. О ДВУХ ПЕРВОНАЧАЛАХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ МИФАХ

Персы, дабы объяснить происхождение зла, вообразили вот уже около девяти тысяч лет назад, будто бог, которого они именовали Ормуздом или Оросмадом, в виде забавы создал могущественное и злое существо, названное ими Ариманом и долженствовавшее служить ему антагонистом; добрый Ормузд, покровительствующий людям, согласно этой выдумке, находится в постоянной борьбе с Ариманом, злокозненным гением, нас преследующим. Так, я наблюдал, как один из моих центурионов ради упражнения каждодневно сражался по утрам со своей обезьяной.

Другие представители персов — и говорят, будто число их более велико, — верят, что тиран Ариман столь же древен, сколь и милостивый государь Оросмад. Они уверяют, будто он разбивает яйца, без конца откладываемые милостивым Оросмадом, и будто он вкладывает в них зло; будто он распространяет повсюду тьму там, куда его антипод посылает свет, и болезни, в то время как его антипод дарует здоровье; при этом он заставляет смерть всегда следовать по пятам жизни. Мне кажется, будто я вижу среди многолюдного рынка двух шарлатанов, один из которых распродает яды, другой же — противоядия.

Пусть маги, если им угодно, отыскивают смысл в этой басне; что до меня, то я усматриваю в ней лишь смешные стороны; мне претит видеть бога, каковой является самим разумом, постоянно занятым, подобно гладиатору, сражением с диким зверем.

У индийцев бытует более древний миф. Три объединенных единой волей божества — Бирма, или Брама, — мощь и слава, Вишну, или Бишну, — мягкость и милосердие, Суб, или Сиб, — ужас и разрушение — с общего согласия породили в небе полубогов—дебтов. Эти полубоги восстали; они были сброшены в пропасть тремя

божествами или, точнее, великим богом, возглавлявшим упомянутую триаду. После казни в течение ряда веков они достигли людского статуса и принесли зло на Землю, что вынудило бога, или три указанных божества, издать новый закон — *Веду*.

Однако эти преступники, до того как они принесли зло на Землю, поселили его уже и на небе. Но каким образом создал бог существа, коим предстояло против него восстать? Как мог он дать новый, второй закон в своей *Веде?* Значит, его первый закон был плох?

Эта восточная сказка ничего не доказывает и не объясняет; она была распространена среди некоторых азиатских народов и в конце концов послужила моделью для войны Титанов.

У египтян были их Осирис и их Тифон. Юпитер Гомера с его двумя бочками вызывает у меня только пожатие плеч. Мне совсем не нравится шинкарь Юпитер, угощающий, как и все кабатчики, больше дрянным вином, чем хорошим. Ведь только от него зависело всегда готовить одно лишь фалернское.

Самым прелестным и милым рассказом, придуманным для оправдания или обвинения провидения, или для насмешки над ним, остается шкатулка Пандоры. Таким образом, относительно самых печальных истин всегда повествовались самые комичные вымыслы.

X. НЕОБХОДИМО ЛИ ЗЛО?

Поскольку все люди тщетно истощали свой гений в поисках ответа на загадку, каким образом зло может существовать при добром боге, какой смельчак осмелится воображать, будто он отыскал то, что до сих пор вотще ищет и не находит Цицерон? Должно быть, зло вообще не имеет истоков, коль скоро Цицерон их не отыскал.

Зло это рассеяно всюду и проникает в нашу среду со всех сторон, подобно тому как огонь внедряется во все, что́ он пожирает, или эфирная материя пробивается во все поры; почти то же самое происходит и с благом. Два удачливых любовника всем своим существом пользуются собственным счастьем — так ведется извечно. Могу ли я при этом думать иначе, чем предполагая подобное положение необходимым от века?

Итак, я вопреки самому себе прихожу к известной старинной идее, являющейся, как я вижу, основоположением всех систем, к коему присоединяются все философы после тысяч увертюк и которое доказано мне всеми поступками человека и моими собственными, всеми происшествиями, о которых я читал, какие я лицезрел и в каких принимал участие; идея эта — фатализм, та необходимость, о которой я вам уже говорил.

Погружаясь в себя самого, что́ вижу я, кроме фатализма? Разве не должен я был родиться именно тогда, когда движения материнской утробы разверзли матку моей матери и с непреложной необходимостью выбросили меня в этот свет? Могла ли моя мать этому воспрепятствовать? Мог ли я против этого ополчиться? Дал ли я сам себе хоть что-то? Разве все мои идеи не вошли последовательно в мой мозг без того, чтобы я пригласил туда хоть одну из них? Разве не предопределили эти идеи неодолимым образом мою волю, без чего эта последняя не имела бы ни малейшего основания? Разве все то, что я делал, не вытекало с необходимостью из всех этих необходимейших предпосылок? И разве не таким же образом обстоит дело во всей природе?

Либо существующее необходимо, либо нет. Если оно лишено необходимости, тем самым доказано, что оно бесполезно. Вселенная в таком случае была бы лишена пользы; значит, она существует с абсолютной необходимостью. Бог — ее двигатель, ее создатель и душа — был бы тогда бесполезен, а значит, бог существует с абсолютной необходимостью, как мы уже это сказали. Я не могу выйти за пределы того круга, в который я заключил себя с неодолимой силой.

Я вижу огромную цепь, в которой все вещи — звенья; цепь эта охватывает, сжимает сегодня природу; она охватывала ее вчера и будет охватывать ее завтра: я не могу ни усмотреть, ни постичь начала вещей. Либо ничего нет, либо всё — вечно.

Я ощущаю себя бесспорно предопределенным к вере в необходимость зла, ибо зло существует. Я не вижу иного основания для его бытия, чем само это бытие.

О мой Цицерон! Откройте мне глаза, если я заблуждаюсь; но сколькие места вашей книги «De Fato» * поч-

* «О роке» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

ти незаметно для вас самого свидетельствуют в мою пользу! Столь непобедимой силой обладает истина, так вопреки вам самим вас увлекает рок,— даже тогда, когда вы против него сражаетесь.

XI. ПОДКРЕПЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕОБХОДИМОСТИ ВЕЩЕЙ

Разумеется, существуют вещи, коим верховный интеллект не в силах воспрепятствовать, например воспрепятствовать тому, чтобы прошлое не существовало, чтобы настоящее не было подвержено постоянной текучести, чтобы будущее не вытекало из настоящего, чтобы математические истины не были таковыми. Верховный интеллект не может сделать содержимое бóльшим по объему, нежели сосуд, в коем оно заключено, или добиться, чтобы женщина родила ребенка из уха, а Луна проходила через игольное ушко.

Перечень таких невероятных вещей был бы чересчур длинен; еще раз: весьма правдоподобно, что бог не мог воспрепятствовать злу.

Мудрый, могущественный и благой интеллект не мог намеренно осуществлять противоречивые вещи. Тысячи детей рождаются с органами, соответствующими их мозгу, но при этом оказываются порочными их грудобрюшные органы: части их отделов недостает, а это разрушает половину творений столь благостного интеллекта. О, если бы дело ограничивалось лишь половинной долей злобных созданий! Но сколько бытует преступлений — от клеветы до отцеубийства! Взгляните только: ягненок, голубь, черепаха, соловей не чинят мне никакого вреда, а бог причинял бы мне его всегда! Он разверзал бы на моем пути пропасти, поглощал город, где я родился, или на всю мою жизнь предавал бы меня страданию — и все это без причины, без повода и без того, чтобы отсюда проистекало хоть какое-то благо?! Нет, о мой боже, мое верховное бытие, бытие благое, — нет, я не могу в это поверить, не могу нанести тебе столь ужасное оскорбление!

Быть может, мне скажут, что я лишаю бога его свободы; да сохранит меня от этого его всемогущество! Делать все, что только возможно, значит полностью осуществлять свою волю. Бог сделал все, что мог сделать бог. Прекрасно, если бог не мог делать зла.

XII. ОТВЕТ ТЕМ, КТО ОСПАРИВАЕТ ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ БОГА ПРОТЯЖЕННЫМ, МАТЕРИАЛЬНЫМ И ВНЕДРИТЬ ЕГО В ПРИРОДУ

Некоторые платоники меня упрекают в том, будто я лишаю бога его простоты, предполагаю его протяженным, не отделяю его достаточным образом от прочей природы и следую скорее догмам Стратона, нежели учениям остальных философов.

Милый мой Цицерон, ни они, ни вы, ни я не знаем, что есть бог. Ограничимся же знанием того, что бог существует. Человеку не дано постичь ни из чего образованы звезды, ни каким образом устроена их материя. Когда бога именуют *простым бытием,* я всей душой с этим согласен: простой ли он или протяженный — я буду почитать его одинаково; но я не понимаю, что это такое — «простое бытие». Некоторые фантазеры, дабы дать мне это понять, говорят, что простым бытием является геометрическая точка; но геометрическая точка — вещь предположительная, абстракция ума, химера. Бог не может быть геометрической точкой; я усматриваю в нем, подобно Платону, вечного Геометра.

И почему не быть протяженным богу — ему, пребывающему во всей природе? Каким образом протяженность может опровергать его сущность?

Если великое бытие, разумное и необходимое, оперирует протяженностью, каким образом может оно действовать там, где оно не находится? И если оно — повсюду, где оно действует, как может оно не быть протяженным?

Бытие, присутствие коего я могу отрицать в каждой частице мира — одной за другой, — не может существовать нигде.

Бытие простое и непостижимое — это слова, лишенные смысла, не делающие бога ни более почитаемым, ни более любимым и могущественным, ни более разумным. Слова эти — скорее отрицание, чем определение бога.

Мне могут ответить, что душа наша является примером и доказательством простоты великого бытия; что мы не видим и не чувствуем свою душу, она не имеет

частей, она проста и меж тем она присутствует в одном месте и может, таким образом, оправдать существование простого великого бытия. Мы собираемся этот вопрос исследовать, но, раньше чем ринуться в эту бездну, я повторяю вам, что, в какие бы места ни помещали верховное бытие, так что оно не занимает там никакого места, как бы ни выдворяли его отовсюду,— причем оно не перестает быть; как бы ни собирали в нем все противоречия разных школ, я буду поклоняться ему, пока жив, не доверяя никакой школе и не устремляя полет своего ума в пределы, коих не способен достичь ни один смертный.

XIII. МОЖЕТ ЛИ ПРИРОДА ДУШИ ПОМОЧЬ НАМ ПОСТИЧЬ ПРИРОДУ БОГА?

Я уже заключил, что коль скоро разум руководит моим слабым телом, значит, верховный интеллект руководит целокупной Вселенной. Куда заведет меня этот первый нетвердый шаг? Сумею ли я когда-нибудь узнать, что́ именно во мне мыслит и чувствует? Быть может, невидимое, неосязаемое, бестелесное существо, обитающее в моем теле? Ни один человек до сих пор не осмелился это утверждать. У самого Платона не хватило на это отваги. Бестелесное существо, движущее телом! Неосязаемое существо, прикасающееся ко всем моим органам, которым присуще ощущение! Простое существо, набирающее силу с возрастом! Неуничтожимое существо, хиреющее постепенно! Какие противоречия! Какой хаос непостижимых идей! Как?! Я не могу ничего познать иначе, нежели чрез мои чувства, и я допущу в себе существо, полностью противоположное моим чувствам! Все живые существа обладают, подобно мне, чувствами, а также идеями, поставляемыми им их чувствами; так обладают ли они, как и я, также душой? Новый объект для размышления, новый повод не только быть неуверенным в природе души, но и вечно удивляться и пребывать в неведении.

Что́ я могу еще меньше понять, так это презренное и глупое безразличие, в коем прозябают почти все люди относительно более всего интересующего их объекта — причины их мышления и всего их существования. Думаю, что в Риме нет и двухсот человек, действительно

занятых этим вопросом. Почти все римляне твердят: «Что мне за дело?» — а сказав так, они отправляются пересчитывать свои деньги, бегут, чтобы насладиться зрелищами, или идут к своим любовницам. То жизнь бездельников. Для деятельного человека она ужасна. Ни один из этих людей не заботится о своей душе. Что же до тех немногих, кто может о ней думать, если они искренни, они признáют, что не удовлетворены ни одной из систем.

Я бываю готов рассердиться, когда вижу Лукреция, утверждающего, будто та часть души, кою именуют духом, разумом (*animus*), расположена в срединной части груди*, а другая ее часть, проводящая ощущения, распространена по всем остальным частям тела. Из всех же прочих систем ни одна не дает мне ясности.

Сколько сект, сколько фантазий, сколько химер! На что можно опереться при подобном раздоре гипотез, чтобы с этой ступеньки подняться до бога? Могу ли я сделать такой приступкой душу, которую я не знаю, и подняться от нее к созерцанию высшей сущности, которую хотел бы познать? Природа моя, которую я не понимаю, не дает мне в руки никакого орудия для отыскания всеобщего принципа — того принципа, между которым и мной лежит столь обширная и глубокая пропасть.

XIV. КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕОРИЙ ДУШИ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЧЬ, ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО, КАКОГО-ТО ПОНИМАНИЯ ВЫСШЕГО ИНТЕЛЛЕКТА

Если слепому позволено на ощупь отыскивать свой путь, потерпите, мой Цицерон, пока я сделаю еще несколько шагов в этом хаосе, опираясь на вашу руку. Доставим себе прежде всего удовольствие бросить взгляд на все существующие системы.

Я — тело, души [esprit] же не существует.

Я — душа, и не существует тел.

Я обладаю в своем теле духовной душой.

---

* ... Разум, который у нас зовется умом, или духом.
Он в середине груди расположен и там пребывает.

(*Лукреций*, кн. III, ст. 140.— *Примеч. Вольтера*). Цит. по русскому переводу Ф. А. Петровского, М.; Л., 1945, кн. III, ст. 140—141.— *Примеч. переводчика.*

Я — духовная душа, обладающая своим телом.
Моя душа — итог моих пяти чувств.
Моя душа — шестое чувство.
Моя душа — непознанная субстанция, сущность которой — мышление и чувство.
Моя душа — часть вселенской души.
Души не существует вообще.

Когда я просыпаюсь от всех этих грез, голос моего слабого разума мне говорит, хотя я и не знаю, откуда этот голос исходит:

Я — тело, души же не существует. Это мне кажется весьма грубым. Едва ли я могу быть уверен, что ваша речь «Pro lege Manilia»* есть всего лишь результат отклонения атомов.

Когда я подчиняюсь распоряжениям моего восначальника и другие повинуются моим приказам, волеизъявления моего генерала и мои собственные исходят вовсе не от тел, приводящих другие тела в движение по законам этого последнего. Рассуждение — не звук трубы. Команда отдается мне разумом, и разумом же я повинуюсь. Это изъявление воли, это воление, кое я исполняю, не есть ни куб и ни шар, оно не имеет формы и не содержит в себе ничего материального. Итак, я могу считать его имматериальным. Я могу верить, что существует нечто, не являющееся материей.

Существуют лишь души, но не тела. Такое положение весьма изысканно и тонко: если этому верить, материя — всего лишь призрак! Но достаточно поесть и попить или почувствовать удар камня по кончику пальца, чтобы поверить в материю.

Я обладаю в своем теле духовной душой. Как! Я? Я — шкатулка, в коей должно помещаться существо, не занимающее никакого места? Я, протяженный, должен быть футляром непротяженного существа? Я — обладатель чего-то такого, что никто никогда не видит, не осязает, о чем нельзя иметь ни малейшего представления, никакой идеи? Конечно, великая дерзость — похваляться обладанием такого сокровища. И как я способен им обладать, если все мои идеи столь часто являются ко мне вопреки моей воле во время бодрствования и во

---

* «О законе Манилия» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

сне? Забавный хозяин своих идей — существо, постоянно обуздываемое ими.

Духовная душа владеет моим телом. Это — еще более дерзко со стороны души: она может сколько угодно приказывать моему телу остановить быстрый ток своей крови, выправить все свои внутренние движения — тело никогда ей не повинуется. Она владеет весьма непокорным живым существом.

Моя душа — итог всех моих чувств. Это очень трудно понять, а значит, объяснить. Звук лиры, касание, запах, вид, вкус африканского или персидского яблока, по-видимому, имеют мало общего с доказательством Архимеда; я не вижу доподлинно, каким образом действующее во мне первоначало может оказаться следствием пяти других первоначал. Я мечтаю понять это, но не понимаю здесь ничего ровным счетом. Я способен мыслить без носа; я могу мыслить без вкуса, без зрения, и даже если я утрачу чувство осязания. Таким образом, моя мысль не является результатом того, что может быть у меня постепенно отнято. Я признаю, что не льщу себя мыслью, будто я имел бы идеи в том случае, если бы всегда был лишен всех моих пяти чувств; но меня не убедят в том, что моя мыслительная способность — следствие пяти объединенных потенций, поскольку я продолжаю думать и тогда, когда теряю их одну за другой.

Душа — шестое чувство. В этой системе заключено нечто завораживающее. Но что значат эти слова? Утверждается ли ими, что нос — существо, нюхающее само по себе, независимо ни от чего? Однако наиболее заслуживающие доверия философы говорят: душа нюхает носом, смотрит глазами, и она присуща всем пяти чувствам. В таком случае, если бы существовало шестое чувство, она присутствовала бы и в нем и это неведомое существо, именуемое душой, оказалось бы присутствующим в шести чувствах вместо пяти. А что означало бы тогда: *душа — это чувство?* Слова эти ничего не объясняют, разве только, что душа — способность чувствовать и мыслить; но ведь именно такую способность мы и должны исследовать.

Моя душа — непознанная субстанция, чья сущность заключена в мышлении и чувстве. Это почти возвращает нас к идее: душа — шестое чувство; однако при по-

добном предположении она скорее модус, акциденция, способность, а не субстанция.

Непознанная — согласен, но с тем, что душа — субстанция, не могу согласиться. Если бы она была субстанцией, ее сущностью были бы чувство и мысль, подобно тому как сущность материи — протяженность и плотность. В этом случае душа непрерывно бы чувствовала и мыслила, подобно тому как материя всегда плотна и объемна.

Между тем достоверно известно: мы не всегда мыслим и чувствуем. Надо быть до смешного упрямым, чтобы утверждать, будто в глубоком сне, когда мы даже не грезим, мы имеем идеи и чувство. Субстанция, утрачивающая свою сущность в течение половины своего существования, — это нечто надуманное, просто — химера.

Душа моя — часть вселенской души. Такое утверждение более возвышенно. Идея эта льстит нашему самолюбию; она делает нас богами. Часть божества — также божество, подобно тому как часть воздуха — это воздух или капля океана имеет ту же природу, что и сам океан. Однако забавное это божество, рождающееся между мочевым пузырем и прямой кишкой, проводящее девять месяцев в состоянии абсолютного небытия, появляющееся на свет без какого бы то ни было знания, без какой бы то ни было активности и остающееся на целый ряд месяцев в таком положении; часто оно выходит из этого состояния лишь для того, чтобы навеки исчезнуть, и живет лишь для того, чтобы совершать всевозможные проступки.

Я вовсе не столь заносчив, чтобы почитать себя частью бога. Александр превратил себя в бога. Пусть и Цезарь становится богом, если он хочет: в добрый час! Антоний и Никомед могут стать его верховными жрецами, Клеопатра — верховной жрицей. Но я никак не претендую на подобную честь.

Души нет вовсе. Система эта — самая дерзновенная, самая поразительная из всех — в основе своей и проще других. Тюльпан, роза — эти садовые шедевры природы — порождены, согласно данной системе, действием непостижимого механизма и не имеют вовсе души. Движение, творящее все, — вовсе не душа, не мыслящее существо. Насекомые, обладающие жизнью, не кажутся

нам одаренными той мыслящей сущностью, кою именуют душой. Мы охотно допускаем в животных инстинкт, которого не понимаем, но отказываем им в душе, кою понимаем гораздо меньше. Еще шаг — и человек также окажется без души.

Но что поставим мы на ее место? Движение, ощущения, идеи, волеизъявления и т. д. каждого индивида. Однако откуда возьмутся эти ощущения, идеи, волеизъявления в организованном теле? Да от его органов; они будут обязаны своим существованием высшему разуму, одушевляющему всю природу: разум этот должен был дать всем добротно устроенным живым существам способности, кои мы можем именовать *душою;* и мы обладаем потенцией мыслить, не имея души, как мы имеем потенцию производить движения, не будучи этим движением сами.

Кто знает, не более ли других систем такая система достойна бога? Представляется, что ни одна из систем не отдает нас более верно в руки божии. Но признаюсь, я опасаюсь, как бы эта система не превратила человека в простой механизм. Давайте исследуем эту гипотезу и подвергнем ее критике, как все остальные.

XV. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТО, ЧТО ИМЕНУЮТ ДУШОЙ, СПОСОБНОСТЬЮ, ПРИНИМАЕМОЙ ЗА СУБСТАНЦИЮ

Я обладаю даром слова и интонации; таким образом, я членораздельно разговариваю и пою; однако во мне вовсе не живет существо, являющееся артикуляцией и пением. Так не вполне ли вероятно, что, обладая ощущениями и мышлением, я не имею скрытого во мне существа, являющегося одновременно и ощущением, и мыслью, или чувственной мыслью, именуемой *душой*?

Мы ступаем при помощи ног, мы хватаем руками, мы мыслим и желаем головой. Здесь я полностью на стороне Эпикура и Лукреция, и я рассматриваю третью книгу Лукреция как шедевр красноречивой проницательности. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог когда-то сказать что-то столь же прекрасное и правдоподобное.

Все части тела восприимчивы к ощущениям; для чего же искать иную субстанцию в моем теле, которая чув-

ствовала бы вместо него? Зачем прибегать к химере, когда я усматриваю реальность?

Но, скажут мне, протяженности недостаточно для получения ощущений, а также идей. Этот булыжник протяжён, но он не чувствует и не мыслит. Да, но вот тот, иной, кусок организованной материи обладает ощущением и даром мысли. Я совершенно не постигаю, с помощью какого искусства движения, чувства, идеи память и рассуждение умещаются в этом кусочке организованной материи, но я это вижу и сам для себя являюсь тому доказательством.

Еще менее я постигаю, каким образом движение, чувство, идеи, память и рассуждения образуются в непротяженном существе, простом, каковое представляется мне равнозначным нулю. Я никогда не лицезрел такие простые существа, да и никто их не видел; нет никакой возможности составить себе о них хоть малейшее представление; они не являются необходимыми; они — продукт воспаленной фантазии. Еще раз: весьма бесполезно их допускать.

Я — тело, и это устройство моего тела, эту способность передвигаться и двигать другие тела, способность чувствовать и рассуждать я получил от разумной и необходимой потенции, одушевляющей природу. Именно здесь я расхожусь с Лукрецием. Вам же остается нас с ним рассудить. Скажите мне, что ценнее — верить ли в незримое, непостижимое существо, рождающееся и умирающее вместе с нами, или верить в то, что мы являемся всего лишь обладателями способностей, дарованных нам необходимым великим бытием?

XVI. СПОСОБНОСТИ ЖИВОТНЫХ

Животные обладают теми же способностями, что и мы. Устроенные, как мы, они получают, так же как мы, свою жизнь и так же ее дают. Подобно нам они производят свои движения и их сообщают другим телам. Они обладают чувствами и ощущениями, идеями и памятью. Существует ли человек, настолько глупый, чтобы думать, будто первоначало всех этих вещей — непротяженный принцип? Ни один смертный никогда не осмелился утверждать такую нелепость. Зачем же нам быть

столь неразумными, чтобы воображать в пользу человека существование подобного духа?

У животных есть только способности, и у нас — также.

В самом деле, было бы весьма комично, если бы ящерица, пожирая муху, или крокодил, пожирая человека, пожирали бы каждый живую душу.

И что могла бы представлять собой душа такой мухи? Бессмертное существо, сошедшее с небесной выси, дабы войти в мушиное тело? Часть, отделенную от божества? Не лучше ли и не правильнее почитать ее просто способностью этого насекомого, дарованной ему вместе с жизнью? И если оно получило такую способность в дар, то же самое можем мы сказать об обезьяне и о слоне, а также о человеке, причем не причиним ему тем самым никакого вреда.

Я читал у одного из философов [9], что самый грубо скроенный человек стоит выше самого одаренного животного. С этим я не согласен. За слона при купле заплатят дороже, чем за целую толпу глупцов; но даже если философ прав, что из этого следует? Только лишь, что человек получил в удел от высшего бытия больше талантов, — и ничего более.

XVII. О БЕССМЕРТИИ

Пожелает ли великое бытие упорно сохранять за нами те же дары после нашей смерти? Может ли оно связать способность мышления с некоей частью нас самих, коя сохранится от нас — в добрый час? Я не могу это ни утверждать, ни отрицать; у меня нет доказательства ни за, ни против. Пусть тот, кто утверждает подобную странную вещь, и докажет ее со всей ясностью; но, поскольку до сих пор никто этого не сделал, пусть мне будет дозволено усомниться.

Когда от нас остается один лишь тлен, что̀ нам до того, что какой-то атом этого праха перейдет в какую-то тварь, наделенный теми же способностями, какими он пользовался в течение своей прежней жизни? Новая эта личность не будет более мной; этот чужак не больше будет «я», чем я являюсь вот этой капустой или же дыней, выросшими на земле, в которой меня захоронили.

Чтобы мне стать в самом деле бессмертным, мне следует сохранить свои органы, свою память, все мои способности. Вскройте любую могилу, соберите все кости — вы не найдете там ничего, что дало бы вам проблеск подобной надежды.

XVIII. О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ

Дабы допустить метемпсихоз, следовало бы, чтобы кто-то честно и положительно вспомнил, как некогда он был другим человеком. Я не более могу поверить, будто Пифагор был петухом, чем поверить, будто он имел золотую ляжку.

Когда я говорю вам, что обладаю способностями, я говорю чистую правду; когда уверяю, что я не сам себе сделал эти подарки, сие пока еще также явная истина; когда я делаю вывод: только разумная причина могла дать мне сознание, я утверждаю нечто весьма допустимое, то, что не может вспугнуть разум; но если угольщик говорит мне, будто он некогда был Киром или Гераклом, это меня потрясает и я умоляю его дать мне тому убедительные доказательства.

XIX. ОБЯЗАННОСТИ ЛЮДЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, К КАКОЙ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ СЕКТЕ

Все школы различны, но мораль всюду одинакова — с этим мы часто соглашались в наших собеседованиях с Коттой и Бальбом. Чувство порядочности заложено природой в сердцах людей в виде некоего противоядия от всех ядов, какие его отравляют. Вам известно: Цезарь, оказавшись на брегу Рубикона, испытывал угрызения совести. Тайный голос, говорящий всем людям, шепнул ему, что он — дурной гражданин. Если Цезарь, Катилина[10], Марий, Сулла, Цинна оттолкнули от себя этот голос, то Катон, Аттик, Марцелл, Котта, Бальб и вы — все были ему послушны.

Сознание чувства долга останется на Земле вечным — будь то для нашего утешения, когда мы этому долгу следуем, или для обвинения против нас, когда мы насилуем его законы.

Я часто вам говорил — вам и Котте, что более всего восхищаюсь во всей античности изречением Зороастра:

«Если ты сомневаешься, воздержись от действия,— как справедливого, так и несправедливого». Это правило всех порядочных людей и принцип всякой морали. Принцип этот — душа вашей превосходной книги «Об обязанностях». Никогда не будет написано ничего более мудрого, истинного и полезного. Впредь все, кем владеет честолюбивое стремление поучать людей и давать им советы, окажутся шарлатанами, если они пожелают подняться над вами и не станут вашими подражателями.

XX. ВОПРЕКИ ВСЕМ НАШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРИНЦИПЫ ДОБРОДЕТЕЛИ ЖИВУТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ

Предписания добродетели, великий Цицерон, коим вы учили с таким красноречием, настолько запечатлены рукой природы в человеческом сердце, что сами жрецы Египта, Сирии, Халдеи, Фригии и наши не смогли их оттуда изгладить. Тщетно египетские жрецы делали священными крокодилов, козлов и кошек и приносили жертвы своему невежеству, честолюбию и жадности; тщетно халдеи имели нелепую дерзость читать будущее по звездам; тщетно все сирийцы оболванивали человеческую породу своими омерзительными суевериями: принципы морали остались нерушимыми среди всех этих ужасов и безумств. Греческие жрецы могли сколько угодно приносить в жертву Ифигению, чтобы вызвать попутный ветер; жрецы всех известных народов мира могли, как хотели, свершать человеческие жертвоприношения; и тщетно мы, римляне, почитающие себя мудрыми, недавно принесли в жертву двух греков и двух галлов, дабы искупить предполагаемый проступок весталки: вопреки усилиям стольких жрецов, стремившихся превратить людей в кровожадных зверей, законы, изданные верховным разумом природы, всюду попираемые, нигде не были упразднены. Голос, говорящий всем людям: «Не делай того, чего ты не хотел бы, чтобы причинили тебе», всегда будет слышен от одного конца вселенной до другого.

Все священники всех религий сами вынуждены принимать это основоположение, и бесчестный Калхант, умерщвляя на алтаре дочь своего царя, говорил: «Это убийство я допускаю ради вящего блага».

Итак, весь мир признавал необходимость порядочности. Откуда же проистекает это единодушие, если не от верховного интеллекта, великого Демиурга, который, не будучи в состоянии воспрепятствовать злу, даровал против него сие вечное и универсальное лекарство?

XXI. ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ НАДЕЯТЬСЯ НА ТО, ЧТО РИМЛЯНЕ СТАНУТ БОЛЕЕ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМИ?

Мы чересчур богаты, могущественны и горды, а потому Римская республика не возродится. Я убежден, что после Цезаря наступят еще более мрачные времена. После того как римляне были тиранами многих народов, они навсегда такими же и останутся, но когда монархическая власть укрепится, среди этих тиранов должны, несомненно, появиться отдельные благие владыки. Коль скоро народ приучен к повиновению, у них не будет повода быть злыми, а если они вдобавок будут читать ваши труды, они станут вполне добродетельными. Я утешал себя этой надеждой среди всех тех бед, что я видел, и тех, кои я предвижу.

XXII. СОХРАНИТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ РИМЛЯН?

В Римской империи столько сект и религий, что, возможно, какая-то из них в один прекрасный день возьмет верх над остальными. Хотя в нашей религии есть один Юпитер — господин богов и людей, коего мы именуем всемогущим и всеблагим, тем не менее Гомер и другие поэты приписали ему столько глупостей, а у народа нашего столько смешных божков, что те, кто предложит единого бога, смогут в конце концов изгнать всех наших богов. Дайте мне платоника — энтузиаста, влюбленного в славу главы секты, — и я уверен, он в этом преуспеет.

Я познакомился в окрестностях Александрии, в местности, лежащей ниже озера Мерис, с сектой, именующей себя *терапевтами;* все они считают себя боговдохновенными, имеют видения, постятся и молятся. Энтузиазм их доходит до презрения к смерти. Если когда-нибудь этот энтузиазм укрепит себя догмами Платона, постепенно начинающими преобладать в Александрии, они сумеют в конце концов ниспровергнуть имперскую религию; но подобная революция не сможет совершиться без большо-

го кровопролития; а ведь коль скоро начинаются религиозные войны, они длятся веками, настолько люди суеверны, безумны и злы [11].

На Земле всегда будет большое количество сект. Остается пожелать, чтобы ни одна из них не вменила себе в долг варварский обычай преследования инакомыслящих. До сих пор мы не впали в эту страшную крайность. Мы не хотим принуждать ни египтян, ни сирийцев, ни фригийцев, ни иудеев. Будем молить великого Демиурга (если только можно избежать его рока) — будем молить его, чтобы мания преследования людей никогда не охватила Землю, ведь Земля стала бы из-за этого более ужасным местом пребывания, чем рисуемый нам поэтами Тартар. Достаточно бичей свищет над нами — не будем же присовокуплять к ним еще и эту чуму.

НАДО СДЕЛАТЬ ВЫБОР,
ИЛИ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ДИАТРИБА

Речь здесь идет не о выборе между Россией и Турцией, ибо два эти государства рано или поздно заключат между собой мир без моего участия[1].

Речь идет также не о том, чтобы объявить себя сторонником какой-либо английской фракции, противостоящей другой, ибо скоро эти фракции распадутся, дабы освободить место другим.

Я не стремлюсь делать выбор между греческими или армянскими христианами, между евтихианами, якобитами, христианами, именуемыми папистами, лютеранами, кальвинистами, англиканами, между простаками, чье имя «квакеры», анабаптистами, янсенистами, молинистами, социнианами, пиетистами и всеми прочими *истами*. Я хочу жить в добром мире со всеми этими господами, когда я с ними столкнусь, и никогда не вступать с ними в споры: ведь среди них нет ни единого, кто, если бы ему предстояло поделиться со мной одним экю, не знал бы счета своим деньгам и кто согласился бы потерять даже грош во имя спасения моей души или своей.

Я не буду делать выбора между старыми французскими парламентами и новыми[2], ибо через несколько лет это вообще перестанет быть злобой дня.

Не нужен выбор и между древними и новыми авторами, ибо эта тяжба не имеет конца.

Ни между янсенистами и молинистами, ибо ни тех, ни других больше не существует и — благодарение богу — пять или шесть тысяч томов их писаний стали столь же бесполезными, как труды святого Ефрема.

Ни между французской и итальянской оперой-буфф, ибо это — вопрос прихоти.

Речь здесь идет о сущем пустяке, а именно о том, чтоб понять, существует ли бог. Как раз этот вопрос я хочу исследовать очень серьезно и со всей искренностью, ибо он интересует и меня, и вас.

I. О ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ

В природе все находится в движении, все действует и противодействует.

Наше Солнце вращается вокруг своей оси с поражающей нас скоростью, и точно так же вращаются другие солнца, а в это время бесчисленное множество планет вращаются вокруг них по своим орбитам и кровь проделывает более двадцати циклов в час у самых ничтожных из наших животных.

Соломинка, уносимая ветром, тяготеет по своей природе к Земле, подобно тому как Земля тяготеет к Солнцу, а Солнце — к ней. Море обязано тем же законам своими вечными приливами и отливами. В силу тех же самых законов пары, образующие нашу атмосферу, постоянно отделяются от Земли и выпадают обратно в виде росы, дождя, града, снега и молний.

Все есть действие: сама смерть также есть нечто действующее. Трупы разлагаются, преобразуются в растения, питают живые существа, в свою очередь являющиеся питанием для других живых существ. Какова же основа этого вселенского действа?

Необходимо, чтобы основа эта была едина. Постоянное единообразие законов, управляющих движением небесных тел, единообразие движений нашей планеты, каждого вида и рода живых существ, растений, минералов — все это говорит о наличии единого двигателя. Если бы их было два, они были бы либо различны между собой, либо противоположны, либо сходны. Если бы они были различны, ни в чем не было бы никакого соответствия; в случае их противоположности все подверглось бы разрушению; а если бы они были между собой сходны, то это все равно как если бы существовал лишь один двигатель, ибо это было бы удвоенное применение одного и того же.

С того самого момента, как я начинаю наблюдать постоянные и единообразные законы целокупной природы, я укрепляюсь в представлении, что может существовать только один-единственный принцип, один двигатель.

Одна и та же сила тяготения проникает все планеты и заставляет их взаимно притягиваться друг к другу, в прямо пропорциональном отношении не к площадям их

поверхностей (это могло бы быть результатом импульса, получаемого от жидкой среды), но к их массам.

Квадраты периодов обращений планет вокруг Солнца пропорциональны кубам степени их расстояний от него (а это, между прочим, доказывает вещь, угаданную, уж не знаю как, Платоном, а именно что мир — творение вечного Геометра).

Лучи света получают отражение и преломление по всей протяженности вселенной. Все математические истины должны быть одними и теми же на звезде Сириус и на нашем маленьком обиталище.

Если я обращаю свой взор здесь, у нас, на животное царство, я вижу: все четвероногие и двуногие, не имеющие крыльев, продолжают свой род с помощью одинакового соития; все самки здесь живородящие.

Все самки птиц несут яйца.

Внутри любого вида каждый род размножается и питается единообразно.

Любой род растений имеет один и тот же набор свойств.

Ясно, что дуб и орешник не договаривались между собой о том, чтобы зародиться и расти одинаковым образом, точно так же как Марс и Сатурн не обладают разумом, который позволил бы им соблюдать одни и те же законы. Значит, существует единый разум, универсальный и могущественный, действующий всегда посредством неизменных законов.

Никто не сомневается в том, что круглый браслет, рисованные пейзажи и животные, анатомические фигуры из раскрашенного воска являются творениями искусных художников. Но может ли статься, что копии — продукты ума, а оригиналы — нет? Одна только эта идея кажется мне сильнейшим доказательством, и я не постигаю, как можно его опровергнуть.

II. О НЕОБХОДИМОМ И ВЕЧНОМ ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ

Этот единственный двигатель весьма могуществен, ибо он управляет огромной и сложной машиной. Он весьма разумен, ибо ни малейшая пружина этого механизма не может быть воспроизведена нами, хотя мы — разумные существа,

Он — бытие необходимое, ибо без него этой машины бы не было.

Он вечен: ведь он не может быть создан из небытия, которое, не будучи ничем, ничего и не может создать; с того момента, как нечто начинает существовать, доказано: нечто существует извечно. Эта высокая истина стала обыденной. Такова устремленность человеческого ума начиная с нашего времени, вопреки усилиям, делавшимся нашими сеятелями невежества в течение стольких веков для того, чтобы нас оболванить.

III. В ЧЕМ СОСТОИТ ЭТОТ ПРИНЦИП?

Я не могу доказать себе существование принципа действия, перводвигателя, верховного бытия с помощью синтеза, как это сделал доктор Кларк. Если бы такой метод был доступен человеку, Кларк был бы достоин им пользоваться; но мне представляется, что анализ более пригоден для наших слабых концепций. Я могу попытаться подойти к истоку вечной реки, лишь поднимаясь против ее течения.

Поняв благодаря движению, что существует двигатель, доказав себе благодаря действию, что существует принцип действия, я исследую, что́ же представляет собой этот универсальный принцип. Первое, усматриваемое мной с тайной горечью, но и с полным смирением: будучи неуловимой точкой великого целого, или, как говорит Тимей, точкой между двумя вечностями, я не в состоянии постичь это великое целое и его владыку, кои поглощают и захватывают меня со всех сторон.

Тем не менее я немного успокаиваюсь, видя, что этот владыка дал мне возможность измерить расстояния между светилами и познать их пути и законы, удерживающие их на своих орбитах. Я говорю себе: быть может, добросовестно пользуясь своим разумом, я приду к какому-нибудь проблеску правдоподобия, какой просветит меня в глубокой ночи природы; и если эта малая зарница, что я ищу, не сможет мне явиться, я, возможно, утешусь, почувствовав, что неведение мое неодолимо, что запретные для меня познания наверняка мне бесполезны и великое бытие не казнит меня за мое стремление к знанию и неумение его добиться.

IV. ГДЕ НАХОДИТСЯ ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП? БЕСКОНЕЧЕН ЛИ ОН?

Я не вижу разумного двигательного принципа живого существа, имя которому «человек», в то время как этот последний предлагает мне геометрическую теорему или поднимает тяжелую ношу. Тем не менее я неодолимо выношу суждение: в нем таковой есть, каким бы подчиненным существом человек ни был. Я не могу выяснить, находится ли этот принцип в его сердце, голове, в его крови или во всем его теле. Все же я разгадал присутствие первого принципа природы, я увидел: немыслимо, чтобы он не был вечным; но где же он находится?

Если он одушевляет все сущее, значит, он — во всем сущем, — это представляется мне несомненным. Он во всем, что́ существует, подобно тому как движение содержится во всем теле живого существа, если уместно столь жалкое сравнение.

Однако если он есть во всем, что́ существует, может ли он присутствовать в том, чего нет? Бесконечна ли вселенная? Мне так говорят, но кто мне это докажет? Я воспринимаю Вселенную вечной, ибо она не могла образоваться из небытия, и великий принцип *из ничего ничто не происходит* столь же верен, как дважды два — четыре; ведь, как мы уже отмечали в других местах, было бы абсурдным противоречием говорить: действующее бытие провело вечность в бездействии; творящее бытие вечно, хотя ничего не создало; необходимое бытие в течение целой вечности было бытием бесполезным.

Однако я не вижу никакой причины, по которой это необходимое бытие должно быть бесконечным. Мне кажется, его естество — всюду, где есть существование; но почему и как существование может быть бесконечным? Ньютон доказал наличие пустоты, которую до него только предполагали. Если пустота есть в природе, то она может быть и вне ее. Какая необходимость в том, чтобы вещи простирались до бесконечности? И что это такое — бесконечность в пространстве? Ее не может быть, точно так же как не может быть бесконечности числа. Нет числа и нет протяженности, к коим я не мог

бы чего-то прибавить. Мне кажется, что по этому пункту мнение Кэдворта более верно, чем мнение Кларка.

Кларк говорит: бог — всюду. Да, без сомнения; но — всюду, где что-то есть, а не там, где ничего нет. Бытие, присутствующее в ничем, представляется мне противоречием в терминах, абсурдом. Я вынужден допускать вечность, но ничто не заставляет меня допускать актуальную бесконечность.

В конце концов, какое значение имеет для меня, является ли пространство реальным или же оно — простое восприятие моего разума? Что мне до того, находится ли необходимое, разумное, могущественное, вечное бытие, творящее все сущее, в этом воображаемом пространстве или его там нет? Разве из-за этого я меньше буду его творением? Или буду от него меньше зависеть и оно будет меньше моим владыкой? Я вижу этого господина мира глазами моего разума, но я не вижу его за пределами мира.

Спорят еще о том, реально или нет бесконечное пространство. Но я вовсе не желаю основывать свое суждение на столь шатком фундаменте, на распре, достойной схоластов: я не хочу воздвигать трон бога в воображаемых просторах.

Еще раз: если дозволено сравнивать мелочи, кажущиеся нам значительными, с действительно великими вещами, давайте представим себе мадридского альгвазила, стремящегося убедить своего соседа кастильца в том, что испанский король является господином моря, лежащего к северу от Калифорнии, а кто в этом сомневается — тот оскорбляет величество. Кастилец ему отвечает: «Я даже не знаю, существует ли за пределами Калифорнии море. Да мне и мало заботы, даже если бы оно там было, поскольку у меня есть на что жить в Мадриде. Я не нуждаюсь в открытии этого моря для того, чтобы сохранять верность королю, моему господину, на берегах Мансанареса. Есть ли у него суда или их нет за пределами Гудзонова залива, он оттого располагает не меньшей властью распоряжаться мной здесь; я ощущаю свою зависимость от него в Мадриде, ибо я знаю, что он — хозяин этого города».

Так и наша зависимость от великого бытия происходит вовсе не в силу его присутствия за пределами мира, но, наоборот, в силу его присутствия в нем. Я лишь про-

шу извинения у Господина природы за то, что ради лучшего пояснения своей мысли сравнил его с бренным человеком.

V. О ТОМ, ЧТО ВСЕ ТВОРЕНИЯ ВЕЧНОГО БЫТИЯ ВЕЧНЫ

Коль скоро принцип природы необходим и вечен, а сущность его состоит в действии, следовательно, он действовал всегда; ибо — еще раз — если бы не существовало всегда деятельного бога, то всегда должен был бы существовать бог бездеятельный, бог Эпикура — ни к чему не пригодный бог. Эта истина представляется мне доказанной со всей строгостью.

Творение бога — мир, в каком бы облике он ни явился, столь же вечен, как и сам бог, подобно тому как свет столь же вечен, как Солнце, а продукты питания столь же вечны, как существа: без этого Солнце, материя, живые существа были бы не только бесполезными вещами, но вдобавок и вещами противоречивыми, химерами.

В самом деле, что можно представить себе более противоречивое, чем бытие, по существу своему деятельное, которое не действовало бы извечно? Бытие созидательное, которое ничего бы не создало или создало бы лишь некоторые планеты в течение нескольких лет, причем не было бы ни малейшего основания для сотворения их в то время, а не в это? Разумное первоначало ничего не может делать без основания: ничто не может существовать без предшествующей и необходимой причины. Эта предшествующая и необходимая причина существовала вечно, следовательно, вселенная вечна.

Мы рассуждаем здесь только философски: нам просто не дано было лицезреть тех, кто говорит под влиянием откровения.

VI. О ТОМ, ЧТО ВЕЧНОЕ БЫТИЕ, ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП УСТРОЯЛ ВСЕ ДОБРОВОЛЬНО

Ясно, что этот необходимый, деятельный верховный разум имеет волю и он устроил все потому, что так захотел. И можно ли действовать и все создавать без воли к созиданию? Ведь это означало бы быть просто ма-

шиной, а такая машина предполагала бы другой принцип, другой двигатель. Все равно следовало бы всегда возвращаться к первичному разумному бытию, каким бы это бытие ни было. Мы хотим, мы действуем, мы создаем машины тогда, когда мы этого хотим; итак, великий, могущественнейший Демиург сделал все потому, что он этого хотел.

Сам Спиноза признаёт присутствие в природе разумной и необходимой потенции; а ведь разум, отрешенный от воли, был бы чем-то абсурдным, потому что подобный разум был бы бесцелен: он ничего бы не производил, ибо ничего не хотел бы производить. Итак, великое необходимое бытие пожелало всего того, что оно создало.

Я сейчас лишь сказал, что оно все сделало в силу необходимости, ибо, если бы его творения не были необходимы, они были бы бесполезны. Но лишает ли его эта необходимость воли? Разумеется, нет. В силу необходимости я хочу быть счастливым и не менее из-за нее стремлюсь к этому счастью; и наоборот, я хочу этого счастья с тем большей силой, что я хочу его неодолимо.

Однако лишает ли необходимость великое бытие его свободы? Отнюдь. Свобода может быть только возможностью действовать. Верховное бытие, будучи очень могущественным, является, таким образом, самым свободным из всех существ.

Итак, мы признали великого Мастера вещей необходимым, вечным, разумным, могущественным, обладающим волей, свободным.

VII. ВСЕ СУЩЕСТВА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДЧИНЯЮТСЯ ВЕЧНЫМ ЗАКОНАМ

Каковы результаты действия этой вечной потенции, коренящейся в существе природы? Я вижу лишь два их вида — лишенные ощущений и ощущающие.

Эта Земля, эти моря, планеты, солнца кажутся превосходными, но грубыми творениями, лишенными всякой чувствительности. Улитка, имеющая желания, некоторые восприятия и занимающаяся любовью, как представляется, обладает в этом отношении определенным превосходством над всем блеском солнц, освещающих пространство.

Однако все эти виды бытия одинаково подчинены вечным и неизменным законам.

Ни Солнце, ни улитка, ни устрица, ни собака, ни обезьяна, ни человек не могли сами себе дать ничего из того, чем они обладают. Ясно: все это ими получено.

И человек, и собака рождены независимо от их воли матерью, производящей их на свет независимо от собственной воли. Тот и другая сосут грудь своей матери, не ведая, что́ творят, и происходит это благодаря весьма тонкому механизму, очень сложному, понимания коего достигли лишь очень немногие из людей.

И человек, и собака по истечении определенного срока обретают какие-то представления, память, волю; собака — гораздо раньше, человек — позже.

Если бы животные были попросту механизмами, это было бы лишним доказательством в пользу тех, кто считает, будто человек — тоже не что иное, как машина; однако в наше время нет более никого, кто не признал бы: у животных есть представления, память, определенная мера разума; они совершенствуют свои познания; охотничья собака учится своему занятию; старая лисица опытнее молодой и т. д.

От кого получили они все эти способности, если не от вечной первопричины, от принципа действия, великого бытия, одушевляющего всю природу?

Человек обретает способности животных гораздо позже них, однако в гораздо более выдающейся степени; возможно ли ему получить их от иной причины? У него есть лишь то, что́ сообщает ему великое бытие. Было бы странным противоречием, единственным в своем роде абсурдом, если бы все светила, все элементы, растения, животные, непрерывно и неодолимо подчинялись законам великого бытия и один только человек мог бы сам собой руководить.

VIII. ЧЕЛОВЕК ПО СУЩЕСТВУ ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧИНЕН ВЕЧНЫМ ЗАКОНАМ ПЕРВОГО ПРИНЦИПА

Посмотрим же на это животное — человека — глазами разума, данными нам великим бытием.

Какое получает он первое восприятие? Восприятие боли. Затем идет удовольствие от кормления. В этом

вся наша жизнь: удовольствие и страдание. Откуда у нас эти оба привода, заставляющие нас двигаться до последнего часа, если не от указанного первого принципа действия, этого великого Демиурга? Разумеется, не мы сами причиняем себе боль; и можем ли мы быть причиной наших немногочисленных удовольствий? В другом месте мы говорили, что нам немыслимо изобрести новый род удовольствия, или, иначе говоря, новое чувство. Скажем здесь, что одинаковым образом невозможно изобрести новый вид страдания. Этого не умеют сделать самые омерзительные тираны. Иудеи, гравюры казней которых бенедиктинец Кальмэ велел выполнить в своем «Словаре», умели только резать, раздирать на части, калечить, вытягивать члены, сжигать, удушать, давить: все известные пытки сводятся к перечисленным. Итак, сами по себе мы ничего не можем ни в добре, ни в зле: мы всего лишь слепые орудия природы.

Но я хочу мыслить, и я мыслю — говорят наобум многие люди. Задержимся на этом. Какова наша первая идея, после того как мы испытали боль? Идея груди, которую мы сосали; затем — лицо нашей кормилицы; далее еще некоторые малые объекты и отдельные потребности производят на нас впечатление. До сих пор разве можно осмелиться утверждать, будто мы не были чувствующими автоматами, злополучными зверюшками, брошенными на произвол судьбы, не обладающими ни сознанием, ни силой, — одним словом, выкидышами природы? Кто осмелится сказать, что в этом состоянии мы — мыслящие существа, создающие себе представления, обладающие душой? Что́ представляет собой сын короля при выходе из утробы матери? Он возненавидел бы своего отца, если бы тот не был его отцом. Полевой цветок, попираемый ногами, — предмет, бесконечно его превосходящий.

IX. О ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ ЧУВСТВУЮЩИХ СУЩЕСТВ

Наконец, наступает время, когда большее или меньшее число восприятий, полученных нашим механизмом, по-видимому, предоставляется на наше усмотрение. Мы полагаем, будто творим идеи. Это все равно как если бы, открыв кран фонтана, мы воображали, будто создаем бьющую оттуда воду. Это мы-то творим

идеи! Бедные люди! Как? Ведь ясно, что мы не принимали никакого участия в образовании первичных идей, и вдруг мы оказываемся творцами вторичных! Взвесим как следует это тщеславное притязание — быть создателями идей, и мы поймем, что оно заносчиво и нелепо.

Давайте вспомним: во внешних объектах не содержится ничего, что допускало бы хоть малейшую аналогию или отношение с чувством, идеей и мыслью. Прикажите изготовить глаз или ухо лучшему мастеру по инкрустации — и этот глаз ничего не увидит, а ухо ничего не услышит. Так обстоит дело с нашим живым телом. Всеобщий принцип действия производит в нас всё. Он не сделал для нас исключения из всей остальной природы.

Два опыта, постоянно повторяющиеся на протяжении всей нашей жизни, о которых я писал в другом месте, могут убедить любого мыслящего человека: наши идеи, желания, действия нам не принадлежат.

Первый опыт говорит о том, что никто не знает и не может знать, какая идея придет ему в голову в следующую минуту, какое появится у него желание, какое он произнесет слово и какое движение сделает его тело.

Второй опыт ясно свидетельствует, что во время сна все совершается в наших грезах без малейшего нашего участия. Мы признаём, что при этом мы — лишь автоматы, на кои невидимое влияние воздействует с силой столь же реальной и мощной, сколь и непостижимой. Влияние это наполняет наш мозг идеями, внушает нам вожделения, страсти, желания, размышления. Оно приводит в движение все члены нашего тела. Случается изредка, что мать на самом деле удушает во время иллюзорного сна своего спящего рядом с ней новорожденного ребенка; друг убивает своего друга. Иные действительно наслаждаются незнакомой им женщиной. А сколькие музыканты сочиняли во сне музыку! Сколько юных проповедников составляли проповеди или испытывали поллюции!

Если бы наша жизнь была точно поделена между бодрствованием и сном вместо обычной нашей траты на сон примерно трети нашего бренного существования и если бы мы во сне всегда грезили, в этом случае было бы убедительно доказано: половина нашего существования от нас не зависит. Но если предположить, что из

двадцати четырех часов мы проводим в сноведениях восемь, становится очевидным: по крайней мере, треть наших дней не принадлежит нам никоим образом. Добавьте сюда пору детства, время, уходящее на чисто животные отправления, и судите сами, что́ от этого остается. Вы с удивлением должны будете признать: половина вашей жизни не принадлежит вам ни в коей мере. Теперь поймите, насколько непоследовательно будет считать, будто половина жизни зависит от вас, другая же половина — нет.

Итак, сделайте из этого вывод, что универсальный принцип действия совершает в вас всё.

Тут меня останавливает янсенист, говоря: вы плагиатор, вы заимствовали вашу теорию из знаменитой книги «Действие бога на творения», или, иначе, «Физическое преддвижение (prémotion)», принадлежащей нашему великому патриарху Бурсье, о коем мы сказали, что он «обмакнул свое перо в чернильницу божества». Нет, мой друг, я никогда не заимствовал ни у янсенистов, ни у молинистов ничего, кроме сильнейшего отвращения к их интригам и чуточки равнодушия к их мнениям. Бурсье, принимая бога за собственный рупор, полагает, что ему точно известно, какой характер носил сон Адама, когда бог извлек из него ребро для сотворения его половины, и каково было его *вожделение,* его обычная и актуальная благодать. Он знает, как и святой Августин, что в земном раю можно было делать детей без сладострастья, подобно тому как кидают семена в поле, т. е. не испытывая при этом плотского наслаждения. Он убежден, что Адам грешил в земном раю лишь по рассеянности. Лично я ничего этого не знаю и ограничиваюсь тем, что восхищаюсь людьми, обладающими столь прекрасными и глубокими познаниями.

X. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ИМЕНУЕМЫЙ ДУШОЙ

Но по прошествии немалого числа веков люди вообразили, будто мы обладаем душой, которая действует сама по себе; с этой идеей настолько свыклись, что стали принимать ее за нечто реальное.

Всюду стали восклицать: *душа! душа!* — не имея при этом ни малейшего понятия о том, что́ произносится.

Под душой подразумевали то жизнь, то некий небольшой, легкий призрак, напоминающий нас самих и отправляющийся после нашей смерти пить воды Ахеронта; душа считалась гармонией, гомеомерией, энтелехией. В конце концов из нее сделали крохотное существо, не являющееся телом, или дуновение, не представляющее собой воздух. Из этого слова — «дуновение», означающего на многих языках «дух», сделали неведомо что или полное и совершенное ничто.

Но кто же не понимает, что слово это — *душа* — произносится неопределенно и непонятно, как еще и сейчас произносят и изрекают слова: «движение», «разумение», «воображение», «память», «желание», «воля». Ведь нет реального существа, именуемого волей, желанием, памятью, воображением, разумением, движением. Нет, это реальное существо, именуемое человеком, разумеет, воображает, вспоминает, желает, изъявляет волю, движется. Все это абстрактные термины, придуманные для облегчения рассуждений. Я бегу, сплю, просыпаюсь; однако в природе нет существа, которое было бы «бегом», «сном» или «пробуждением». Ни зрение, ни слух, ни осязание, ни обоняние, ни вкус не являются существами. Я слышу, вижу, обоняю, вкушаю, трогаю. Но как иначе могу я все это делать, если не в силу того, что великое бытие распределило вещи подобным образом и принцип действия, универсальная причина, одним словом, бог, дарует нам эти способности?

Будем же в высшей степени осмотрительны: ведь с таким же точно основанием, как у человека, можно предполагать и в улитке скрытое существо под названием *свободная душа*. Эта улитка имеет волю, желания, вкусы, ощущения, идеи, память. Она желает приблизиться к объекту своего питания, к объекту своей любви. Она о них вспоминает, имеет о них представление, она направляется к ним со всей скоростью, на какую способна; ей знакомы удовольствия и страдания. А между тем вы совсем не остолбеневаете от удивления, когда вам говорят, что у этого животного нет духовной души, что бог даровал ей указанные свойства лишь на короткий срок и тот, кто движет звездами, заставляет двигаться и насекомых. Когда же речь заходит о человеке, вы тут же перестраиваете свои взгляды. Это бедное животное кажется вам столь достойным вашего ува-

жения или, иначе говоря, вы настолько исполнены гордыни, что осмеливаетесь помещать в его бренное тело нечто, представляющееся вам подобием божественной природы; а между тем в силу извращенности вашей мысли это самое существо кажется вам самим чем-то дьявольским, одновременно мудрым и глупым, добрым и омерзительным, небесным и адским, безвидным, бессмертным, непостижимым. И вы свыклись с этой идеей, так же как вы привыкли говорить слово *движение,* хотя нет на свете подобного существа, и так же точно вы произносите все абстрактные термины, хотя на свете нет абстрактных существ.

XI. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ, ИМЕНУЕМОГО «ДУША»

Тем не менее в человеке содержится принцип действия. Но может ли этот принцип быть чем-то иным, а не приводом, первичной скрытой движущей силой, развивающейся под вечным воздействием воли первого принципа, столь же могущественного и настолько же доказанного, насколько он незрим,— принципа, который мы признали сущностной причиной всей природы?

Если вы создаете движение, вы создаете тем самым идеи, ибо вы хотите этого движения, вы в этот момент — бог: у вас ведь при этом есть все атрибуты бога — воля, могущество, созидание. Однако представьте себе абсурд, в какой вы впадете, если вообразите себя богом.

Вам необходимо сделать выбор между двумя этими уделами — либо быть богом, когда вам это заблагорассудится, либо постоянно зависеть от бога. Первое — нелепо, и только второй выход разумен.

Если бы в нашем теле пребывал божок, именуемый *свободной душой,* который столь часто оборачивается дьяволенком, то либо этот божок должен быть создан от века, либо в момент вашего зачатия, либо в вашем зародышевом состоянии, либо в миг рождения, либо, наконец, когда вы начинаете чувствовать. Однако все члены этой альтернативы одинаково смехотворны.

Маленький подчиненный божок, бесполезно просуществовавший всю минувшую вечность для того, чтобы сойти затем в тело, часто умирающее в момент рожде-

ния,— это верх противоречия и притязательности.

Если этот маленький *божок-душа* создается в миг, когда ваш отец изливает нечто — уж не знаю, что́ именно, — в матку вашей матери... ну что ж, значит, владыка природы, верховное бытие, постоянно занято подслеживанием ваших соитий; оно всегда настороже, поджидая момент, когда мужчина наслаждается женщиной, и ловя этот миг, чтобы ввести и запереть думающую и чувствующую душу в ловушку между прямой кишкой и мочевым пузырем. Сколь приятное местопребывание для божка! А когда дама рожает мертвого ребенка, что происходит с этим *богом-душой,* бывшим до того втиснутым между смрадными испражнениями и мочой? Куда ему после этого деться?

Те же самые смешные и отталкивающие трудности, несуразности и нелепости остаются для всех остальных моментов. Идея души — такой, как ее обычно бездумно понимает толпа, — это самое глупое и безрассудное из того, что когда-либо вбивали себе в голову люди.

Насколько более разумным, пристойным и более уважительным по отношению к верховному бытию, а также более подобающим нашей природе и, следовательно, более истинным будет сказать:

«Мы — механизмы, извечно производимые одни после других Вечным геометром и сделанные так же, как все прочие животные, обладающие теми же органами, теми же потребностями, удовольствиями и страданиями; мы весьма превосходим их во многом, а в чем-то другом мы их ниже; мы получили от великого бытия некий принцип действия, для нас непостижимый; мы всё берем и ничего сами себе не придаем, и мы в тысячи миллионов раз более подчинены этому принципу, чем глина подчинена формирующему ее гончару».

Еще раз: либо человек — бог, либо он именно таков, каким я его только что представил.

XII. СВОБОДЕН ЛИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРИНЦИП В ЖИВЫХ СУЩЕСТВАХ?

В человеке и в любом живом существе присутствует принцип действия, как и во всякой другой машине, и этот перводвигатель, первичный привод, получил от

мастера необходимое и вечное устройство, без чего все обратилось бы в хаос и вообще не существовало бы мира.

Любое живое существо, подобно любому механизму, необходимо и неотвратимо повинуется импульсу, им управляющему, — это очевидно и достаточно понятно. Любое животное одарено волей, и надо быть безумцем, чтобы верить, будто собака, слушающаяся своего хозяина, не обладает волей к такому послушанию. Собака без сопротивления следует за своим хозяином — да, это несомненно; однако следует она за ним добровольно. Но бежит ли она за ним свободно? Да, если ей ничто не мешает. Иначе говоря, она может бежать за ним, она этого хочет и бежит; но ее свобода бежать за хозяином заключена не в ее воле, а в дарованной ей способности бегать. Соловей хочет свить себе гнездо и вьет его, когда находит мох. Он располагал свободой для устройства этой колыбели, равно как и свободой петь по своему желанию, особенно когда он не простужен; но располагал ли он свободой иметь это желание? Хотел ли он хотеть свить себе гнездо? Обладал ли он этой абсурдной свободой безразличия, которая, как утверждают теологи, состоит в следующем заявлении: «Я ни хочу ни не хочу вить себе гнездо — мне это абсолютно безразлично; но я хочу хотеть свить себе гнездо исключительно ради того, чтобы этого хотеть, не будучи ничем к этому предопределен и во имя одного лишь того, чтобы вам доказать, что я свободен»?

Таково нелепое представление, царившее в школах. Если бы соловей умел говорить, он сказал бы этим ученым мужам: «Я неотвратимо предопределен вить гнезда, я хочу их вить, я способен это делать, и я их вью; вы же неотвратимо предопределены к слабым рассуждениям, и вы следуете своему предназначению, как я — своему».

Бог обманул бы нас, говорит мне доктор Тампонэ, если бы заставил поверить, будто мы пользуемся свободой безразличия, а мы бы ею не обладали.

Но я отвечаю ему: бог вовсе не заставлял меня верить в то, будто я обладаю этой нелепой свободой; напротив, я по двадцати раз на дню испытываю неодолимость своих желаний и действий. А если иногда смутное ощущение заставляет меня поверить, будто я

свободен в вашем, теологическом, смысле, то бог обманывает меня в этих случаях не больше, чем тогда, когда он заставляет меня поверить, будто Солнце совершает кругообороты, будто его диаметр равен не более чем одному футу, будто Венера по своим размерам не больше пилюли, будто прямой шест искривляется, будучи опущен в воду, будто квадратная башня кругла, будто льду присущ холод или будто цвета присущи объектам. Все эти недоразумения неизбежны; они — очевидное следствие строения этой вселенной. Наше смутное ощущение пресловутой свободы не менее неизбежно. Таким же образом мы весьма часто чувствуем боль в члене нашего тела, коего у нас уже нет, или когда, делая известное движение двумя соседними пальцами — скрещивая их, мы ощущаем в своей руке два шара, в то время как держим всего один. Наш орган слуха подвержен тысячам иллюзий, являющихся результатом волнообразного движения атмосферы. В нашей природе заложено свойство ошибаться по поводу всех объектов, в отношении которых эти ошибки неизбежны.

Теперь мы посмотрим, может ли человек быть свободным в ином смысле, чем в том, какой допускают философы.

XIII. СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА И РОК

Шар, толкающий другой шар; охотничья собака, с необходимостью, но добровольно преследующая оленя, или этот олень, перепрыгивающий глубочайший ров с неменьшей неизбежностью и охотой; лань, порождающая на свет другую лань, а та, в свою очередь, третью, — все это не более неодолимо предопределено, чем мы предопределены ко всему, что́ мы делаем. Всегда надо помнить о том, как было бы несуразно, смешно и нелепо, если бы часть существующих вещей была упорядочена, а другая — нет.

Любое нынешнее событие рождается из предыдущего и оказывается родителем будущего, без чего этот универсум был бы совсем другим универсумом, как об этом очень правильно пишет Лейбниц, проявивший в данном вопросе гораздо больше истинной проницательности, чем в своей предустановленной гармонии. Вечная цепь событий не может быть ни прервана, ни спутана.

Великое бытие, по необходимости держащее конец этой цепи, не может ей позволить неверные колебания или перемены, ведь в этом случае оно не было бы больше необходимым и незыблемым верховным бытием, оно стало бы слабым, неустойчивым, капризным, оно отринуло бы свою собственную природу, перестало бы быть.

Итак, неизбежность судьбы — всеобщий закон природы, вся античность это хорошо чувствовала. Страх лишить человека какой-то ложной свободы, отнять у него чувство собственной заслуги и вины из-за собственной мерзости иногда отпугивал мягкие души; но с того самого момента, как их коснулось просвещение, они тотчас же вернулись к великой истине, гласящей, что все между собой связано и все неизбежно.

Еще раз: человек свободен, когда он может то, чего он хочет; но он не свободен хотеть: немыслимо, чтобы он желал без причины. Если эта причина не обретает непогрешимого следствия, она больше не причина. Облако, кое сказало бы ветру: «Я не желаю, чтобы ты меня гнал», выступило бы в менее абсурдной роли. Истина эта ни в коей мере не может вредить морали. Порок — всегда порок, как болезнь — это всегда болезнь. Всегда необходимо обуздывать злодеев: ведь если они предопределены ко злу, то надо им ответить, что они обречены также на наказание.

Поясним все эти истины.

XIV. СМЕХОТВОРНОСТЬ ПРЕСЛОВУТОЙ СВОБОДЫ, ИМЕНУЕМОЙ СВОБОДОЙ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Что за восхитительное зрелище — вечные судьбы всех существ, прикованных цепью к трону творца всех миров! На миг я предполагаю, что этого не существует и пресловутая химерическая свобода делает любое событие случайным. Я допускаю, что одна из этих субстанций, промежуточных между нами и великим бытием (ведь оно могло создать их миллиарды), пытается выяснить у этого вечного бытия судьбу огромных планет, находящихся от нас на громадном расстоянии. Тогда владыка природы вынужден ей отвечать: «Я вовсе не владыка, я совсем не великое необходимое бытие; любой крохотный зародыш волен определять судьбы. Весь свет волен желать, не имея на то иной причины, кроме

своего желания. Будущее ненадежно, все зависит от прихоти. Я ничего не могу предвидеть: эта великая целокупность, которую вы считали столь упорядоченной, представляет собой всего лишь обширное царство анархии, где все происходит без причины и основания. Я поостерегусь всем сказать: „Такая-то вещь произойдет", ибо тогда злокозненные люди, коими кишат планеты, сделают прямо противоположное тому, что́ я предвидел, лишь бы подстроить мне гадость. Ведь дерзкие люди всегда ревниво настроены по отношению к своему господину, если он не обладает абсолютной властью, лишающей вас даже ревности: им тогда очень легко загнать его в ловушку. Я — всего лишь бедный невежда. Обратитесь к кому-либо более могущественному и ловкому, чем я».

Притча эта, быть может, более, чем любой другой аргумент, способна привести в чувство сторонников пустопорожней свободы безразличия, если таковые еще существуют, и тех, кто занимается на школьных скамьях примирением предвидения с этой свободой или кто продолжает твердить в университете Саламанки либо в Бедламе о целебной и сопутствующей благодати.

XV. О ЗЛЕ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ

Мы никогда не могли получить представления о добре и зле иначе как в отношении к нам самим. Страдания животного кажутся нам злом, ибо, будучи сами такими же животными, мы понимаем, что было бы весьма плачевно, если бы с нами поступали подобным же образом. Мы с таким же состраданием относились бы к дереву, если бы нам сказали, что оно испытывает муки, когда его срубают, и к камню, если бы узнали, что ему больно, когда его выламывают. Однако мы сострадали бы дереву и камню гораздо меньше, чем животному, ибо они менее нам подобны. Мы весьма скоро перестаем расстраиваться даже по поводу ужасной смерти животных, предназначенных для нашей трапезы. Дети, оплакивающие смерть первого цыпленка, которого они видят зарезанным, смеются над этим, когда видят это повторно.

Наконец, нет ничего убедительнее того факта, что эта омерзительная резня, непрестанно бьющая в глаза на наших бойнях и на наших кухнях, не представляется нам злом; напротив, мы взираем на этот ужас, зачастую худший, чем чумная зараза, как на благословение господне, и у нас даже есть молитвы, в которых мы благодарим бога за эти убийства. А между тем, что может быть омерзительнее, чем постоянное пожирание трупов?

Не только мы проводим нашу жизнь в убийствах и пожирании того, что убили, но и все животные убивают друг друга; они вынуждаются к этому неодолимым зовом. Земля — не что иное, как обширное поле сражений, ловушек, резни и истребления от самых крохотных насекомых и вплоть до носорогов и слонов; нет такого животного, у которого не было бы своей добычи и которое, чтобы ее схватить, не пускало бы в ход коварство и ярость, сходные с коварством и яростью паука, захватывающего в паутину и пожирающего ни в чем не повинную муху. Стадо овец в течение часа пожирает, жуя траву, большее количество насекомых, чем на Земле существует людей.

Но самое жестокое из всего этого — с очевидностью проступающее на этих ужасных подмостках постоянно возобновляющихся убийств — четкое намерение сохранять существование всех видов с помощью окровавленных трупов их взаимных врагов. Жертвы испускают дух не раньше, чем природа тщательно позаботится о том, чтобы на их место явились новые. Все возрождается для убийства.

Между тем я не встречал среди нас ни моралиста, ни кого-либо из краснобайствующих проповедников и даже никого из наших тартюфов, кто хоть сколько-нибудь призадумался бы над этим ужасным обычаем, ставшим нашей второй природой. Для того чтобы столкнуться с человеком, вменяющим нам в стыд наше кровавое обжорство, нам надо вернуться к благочестивому Порфирию и к сострадательным пифагорейцам или, еще лучше, надо отправиться к индийским браминам: ведь что до наших монахов, коих прихоть основателей их общин заставила отказаться от мяса, то если они не убивают куропаток и перепелов, они взамен этого являются убийцами морской рыбы и калканов; при этом ни среди монахов, ни на Тридентском соборе, ни на наших сбори-

щах духовенства, ни в наших академиях до сих пор не решались дать наименование зла этой вселенской бойне. На соборах обо всем этом думают не больше, чем в тавернах.

Итак, мы оправдываем великое бытие за эту бойню, или, точнее, оно имеет в нашем лице сообщников.

XVI. О ЗЛЕ В ЖИВОТНОМ, ИМЕНУЕМОМ ЧЕЛОВЕКОМ

Но довольно о зверях — вернемся к человеку. Если то не зло, когда единственное существо на Земле, ведающее бога благодаря своим размышлениям, бывает несчастным из-за тех же своих размышлений; если то не зло, когда наш поклонник божества почти всегда бывает несправедливым и страждущим, когда он вмещает добродетель, но вершит преступление, когда он столь часто бывает обманщиком и обманутым, жертвой и палачом себе подобных и т. д., и т. п., — если все это не кошмарное зло, я не знаю, где еще искать зло.

Звери и люди страдают почти без передышки, последние еще больше, чем первые, потому что весьма часто превращается в му́ку не только самый их дар мышления, но и способность эта мыслить приводит их всегда к страху смерти, которую животные не предвидят. Человек — очень жалкое существо, располагающее в своей короткой жизни только некоторыми мгновеньями передышки, отдельными минутами удовлетворения и длинным рядом печальных дней. Это признано всем светом, с полной правотой об этом говорят все без исключения.

Те, кто кричит, будто все здесь — благо, попросту шарлатаны. Шефтсбери, сделавший эту сказку модной, был очень несчастным человеком. Я видел Болинброка, истерзанного печалями и гневом, а Поп, коему он предложил переложить в стихи эту злую шутку, принадлежал к людям, более всего достойным сожаления из всех, кого я знал, — обезображенный телесно, обладатель неровного нрава, всегда больной, всегда бывший себе обузой, преследуемый сотней врагов до самой своей кончины. Покажите-ка мне счастливцев, кои мне скажут: «Все хорошо!»

Если под этим *все хорошо* понимать то, что голова человека крепко посажена на его плечах, что его глазам

лучше находиться по сторонам основания его носа, чем за его ушами, или, наконец, что его прямой кишке лучше быть направленной к его заду, чем выведенной в ротовую полость, — в добрый час! Тогда в этом смысле все хорошо. Физические и математические законы, их структура хорошо соблюдаются. Тот, кто видел прекрасную Анну Болейн и еще более прекрасную Марию Стюарт в их юности, мог бы сказать: «Вот это — благо!» Однако сказал ли бы он это, видя, как они умирают от руки палача? Или наблюдая, как погибает внук Марии Стюарт от такой же казни в центре своей столицы[3]? Мог бы он произнести эти слова, видя ее правнука еще более несчастным, потому что он дольше жил, и т. д., и т. д., и т. д.?

Бросьте взгляд на человеческий род лишь начиная от сулланских проскрипций и до ирландской резни.

Посмотрите на эти поля битв, где одни безумцы повергают на землю других посредством физического открытия, сделанного когда-то одним монахом[4]. Взгляните на эти кровоточащие руки, ноги, мозги, на все эти раздробленные члены — то плод ссоры между двумя невежественными министрами, ни один из которых не мог бы произнести ни слова в присутствии Ньютона, Локка или Галилея, или же это следствие смехотворной ссоры между двумя не в меру заносчивыми женщинами. Зайдите в соседний госпиталь, где свалены в кучу те, кто еще не мертв: у них крадут жизнь посредством новых мучений, а подрядчики наживают так называемое состояние на том, что регистрируют этих несчастных, которым делают вивисекции за определенную поденную плату под предлогом их исцеления.

Посмотрите на других людей в их шутовском наряде, зарабатывающих несколько монет за декламацию нараспев на чужом языке весьма темных и пошлых песнопений, исполняемых с целью поблагодарить отца природы за тошнотворное насилие, производимое над нею[5], и тогда скажите невозмутимо: «Все хорошо». Произнесите эти слова, если вы смеете, в присутствии Александра Шестого[6] и Юлия Второго[7]; произнесите их на руинах сотни городов, поглощенных землетрясениями, и в среде двенадцати миллионов американцев, коих убивают двенадцатью миллионами способов, для того чтобы покарать их за незнакомство с латынью, из-за которого

они не смогли понять зачитанную им монахами папскую буллу. Произнесите эти слова ныне, в «торжественный» день двадцать четвертого августа 1772 года, когда перо дрожит у меня в руке, в день двухсотлетия Варфоломеевской ночи! Перейдите от этих бесчисленных сцен резни к бесчисленным приютам страданий, коими полна Земля, ко множеству болезней, медленно пожирающих стольких несчастных на протяжении всей их жизни! Наконец, понаблюдайте ужасную оплошность природы, отравляющей самые истоки человеческого рода и связавшей наиболее отвратительный бич с самым необходимым из наслаждений! Взгляните на этого столь презренного короля Генриха III и на заурядного главу его партии, герцога Мейэнского, коих настигла оспа во время затеянной ими гражданской войны, и на этого наглого потомка флорентийского купца, этого Гонди, или Реца, священника, архиепископа Парижа, проповедовавшего с кинжалом в руке и с распаленным з... Дабы завершить эту столь правдивую и одновременно мрачную картину, устройтесь между наводнениями и вулканами, неоднократно потрясавшими столько частей нашей планеты; окажитесь зажатыми между чумой и проказой, ее опустошавшими. Наконец, припомните, читая все это, все ваши страдания, признайте, что зло существует, и не усугубляйте столь великие несчастья и ужасы нелепой яростью их отрицания.

XVII. ВЫМЫСЛЫ, ПРИЗВАННЫЕ ПОМОЧЬ РАЗГАДКЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗЛА

Из сотни народов, разыскивающих причину физического и морального зла, первый, чьи романтические фантазии нам известны, — это индийцы. Фантазии их возвышенны, если словом «возвышенное» обозначить высокое, ибо зло, по учению древних брахманов, происходит от раздора, некогда возникшего на самом высоком из небес между верными и завистливыми ангелами. Мятежники были низвергнуты с неба в Ондеру на миллиарды веков. Но великое бытие по истечении нескольких тысяч лет им простило; они были превращены в людей и принесли на Землю *зло*, кое было порождено ими в эмпиреях. В другом месте мы подробно изложили эту

древнюю легенду — первоисточник всех остальных легенд.

Легенда эта была остроумно воспроизведена талантливыми народами и неуклюже — варварами. В самом деле, нет ничего более одухотворенного и прелестного, чем сказка о Пандоре и ее шкатулке. И если Гесиоду действительно принадлежит заслуга сочинения этой аллегории, я должен считать его настолько же превосходящим Гомера, насколько Гомер превосходит Ликофрона. Однако я думаю, что ни Гомер, ни Гесиод ничего не сочинили сами: они просто переложили в стихи идеи своего времени.

Шкатулка Пандоры, содержавшая все виды зла, высыпавшиеся из нее, когда она была открыта, кажется, хранила в себе также все самые разительные и в то же время изысканные обольщения. Нельзя придумать ничего более пленительного, чем легенда о подобном происхождении наших страданий. Однако в этой истории о Пандоре есть нечто, заслуживающее еще более высокого уважения: величайшей ее заслугой, о которой, как мне кажется, никто не упоминал, является отсутствие требования, чтобы в эту историю верили.

XVIII. О ПОДРАЖАНИЯХ ТЕМ ЖЕ ВЫМЫСЛАМ У НЕКОТОРЫХ ВАРВАРСКИХ НАРОДОВ

В Халдее и Сирии варвары также имели свои мифы о происхождении зла, и мы в других местах говорили об этих мифах. У одного из этих соседних народов, обитавших на берегах Евфрата, легенда гласит, что змей, повстречавшись с тяжело нагруженным ослом, изнемогающим от жажды, спросил его, что́ он тащит. «Это рецепт бессмертия, — отвечал осел. — Бог подарил его человеку, а тот взвалил мне его на спину; человек этот следует за мной, но он еще далеко отсюда, ибо у него только две ноги; я умираю от жажды, будь милостив, покажи мне какой-нибудь ручеек». Змей повел осла на водопой и, пока тот пил, украл у него рецепт. Отсюда произошло его бессмертие, а человек остался подверженным смерти и всем предшествующим ей страданиям.

Заметьте себе, что змей слыл бессмертным у всех народов, потому что он менял кожу. А коль скоро он ее

менял, следовательно, он достигал этим омоложения. Я уже где-то говорил об этой змеиной теологии; но полезно ее еще раз представить на рассмотрение читателя, дабы он ясно увидел, чем была эта почтенная античность, где змеи и ослы играли столь выдающуюся роль.

В Сирии мыслили с бо́льшим размахом; там рассказывали, что мужчина и женщина были созданы на небесах, но в один прекрасный день у них явилось желание отведать мучной лепешки; после этого завтрака им потребовалось пойти в туалет; они попросили ангела показать, где находятся уборные. Ангел показал им на Землю. Туда они и отправились, а бог, дабы покарать их за чревоугодие, там их оставил. Оставим же и мы их там вместе с их завтраками, ослами и змеями. Эти наборы туманного вздора, пришедшие к нам из Сирии, заслуживают не более секунды внимания. Мерзкие сказки темного народа должны быть изгнаны из серьезного сюжета.

Обратимся от этих постыдных несуразностей к возвышенному изречению Эпикура, столь давно тревожащему весь мир и на которое можно отвечать только вздохом: «Либо бог хотел воспрепятствовать злу, но не смог; либо он это мог, но не пожелал» и т. д.

Тысячи бакалавров и лиценциатов направляли стрелы схоластики против этого непробиваемого утеса; под этим ужасным покровом находили убежище все атеисты; из этого убежища они насмехаются над бакалаврами и лиценциатами. Но в конце концов атеисты должны признать, что в природе существует деятельное первоначало, разумное, необходимое и вечное, и именно из этого первоначала проистекает то, что мы именуем добром и злом. Исследуем этот вопрос вместе с атеистами.

XIX. ВЫСТУПЛЕНИЕ АТЕИСТА ПО ПОВОДУ ВСЕГО СКАЗАННОГО

Атеист мне говорит: «Да, вы мне доказали, что вечный и необходимый принцип действия существует. Однако из того, что он необходим, я заключаю, что все из него проистекающее необходимо также; вы сами были вынуждены это признать. Следовательно, все необходимо и зло столь же неизбежно, сколь и добро. Огромное

колесо механизма, безостановочно вращаясь, раздробляет все на своем пути. Я не нуждаюсь в разумном бытии, которое само по себе ничего не может и является рабом своего рока, как я — раб своего. Если бы оно существовало, мне было бы в чем его упрекнуть, и даже очень; я вынужден был бы назвать его *слабым* или *злым*. Я предпочитаю отрицать его существование, чем его оскорблять. Давайте завершим, как сумеем, эту нашу жалкую жизнь, не прибегая к фантастическому бытию, которого никто никогда не видел и для которого было бы весьма безразлично — если бы оно существовало, — верим мы в него или нет. Если допустить, что оно существует, то, что́ я думаю о нем, не может его затронуть больше, чем меня его мысли обо мне, мне неведомые. Между мною и им нет никаких отношений, никакой связи, никакого взаимного интереса. Либо этого бытия не существует, либо оно мне абсолютно чуждо. Давайте поступать так, как поступают девятьсот девяносто девять смертных из тысячи: они сеют, сажают, трудятся, зачинают детей, едят, пьют, спят, страдают и умирают, не рассуждая о метафизике и даже не ведая о ее существовании».

XX. ВЫСТУПЛЕНИЕ МАНИХЕЯ

Манихей, выслушав этого атеиста, говорит ему: «Вы заблуждаетесь. Бог не только существует, но этих богов в силу необходимости два. Нам превосходно доказали, что, поскольку все устроено разумно, в природе должна существовать разумная сила; однако немыслимо, чтобы эта разумная сила, создавшая благо, создала бы также и зло. Из этого следует, что зло тоже должно иметь своего бога. Зороастр первым возвестил сию великую истину около двенадцати тысяч лет назад, а в дальнейшем еще два Зороастра ее подтвердили. Парсы всегда следовали этому прекрасному учению и продолжают следовать ему по сей день. Некий злополучный народ, носящий имя Иуды и состоявший некогда у нас в рабстве, заимствовал у нас частицу этого знания вместе с именами „Сатана“ и „Кнатбулл“. Кончили они тем, что признали бога и дьявола, и дьявол стал таким могущественным у этого жалкого маленького народа, что, когда однажды бог сошел с неба в свою страну, дьявол

увлек его на гору. Признайте же двух богов: мир достаточно велик, чтобы их вместить и чтобы дать им возможность действовать».

XXI. ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯЗЫЧНИКА

Тогда поднимается язычник и говорит: «Если следует признать двух богов, я не вижу препятствия к тому, чтобы мы почитали их тысячу. Греки и римляне, являвшиеся более значительными народами, чем вы, были политеистами. Конечно, следовало бы вернуться однажды к этому восхитительному учению, согласно которому вселенная населена гениями и божествами. Безусловно, это единственная система, объясняющая всё, единственная, не содержащая противоречий. Если вам изменяет ваша жена, виновна в этом Венера; если вас обокрали, вы предъявляете счет Меркурию; если вы теряете руку или ногу в сражении, такая вещь случается по распоряжению Марса, — это что касается зла. Что же до добра, то Аполлон, Церера, Помона, Вакх и Флора не только осыпают вас дарами: при случае тот же Марс может защитить вас от ваших врагов, Венера — подарить вам любовницу, а Меркурий — пересыпать в ваш сундук все золото вашего соседа при условии, что вы своей рукой поможете этой незаконной сделке.

Было бы гораздо легче всем этим богам договариваться между собой об управлении миром, дабы этому манихею не представлялись столь убедительными благодеяния Ормузда наряду со злодеяниями Аримана, причем оба эти смертельные врага примиряются меж собой для того, чтобы соблюдать сосуществование света и мрака. Множество глаз видят лучше одного. Итак, все античные поэты без конца собирают советы богов. И как можете вы хотеть, чтобы одного-единственного бога хватало — причем одновременно! — на все те мелкие события, что совершаются на Сатурне, или на все дела созвездия Козерога? Да и что говорить — на нашем маленьком шарике все решается советами, за исключением разве правления прусского короля и папы Ганьянелли,— а в небе чтобы не было даже малюсенького совета! Несомненно, нет ничего мудрее, чем принимать все решения большинством голосов. Божество всегда следует самыми мудрыми путями. В сравнении с язычником

деист, на мой взгляд, — то же самое, что прусский солдат, вступающий на территорию Венеции: он очарован добротой правительства; „должно быть,— говорит он,— король этой страны трудится день и ночь. Мне его очень жаль".— „Здесь нет короля,— отвечают ему.— Здесь правит совет". Вот каковы истинные принципы нашей древней религии.

Великое бытие, именуемое у финикийцев Иеговой или Гиао, Иовом у других азиатских народов, Юпитером у римлян и Зевсом у греков, является владыкой богов и людей:

... Divum pater atque hominum rex.

(*Virg. Aen. I, 69; II, 648; X, 2; 743*) *

Он — господин всей природы, коему ничто не подобно среди живых существ:

Nec viget quicquam simile aut secundum.

(*Hor. lib. I, od. XII, v. 18*) **

Он животворный дух, одушевляющий вселенную:

...Jovis omnia plena.

(*Virg., Ecl., III, 60*) ***

Все представления, какие можно иметь о боге, заключены в следующем стихе древнего Орфея, цитировавшемся всей античностью и повторявшемся во время всех мистерий:

Εἷς ἔστ', αὐτογενής, ἐνὸς ἔκγονα πάντα τέτυκται.

(Рожден он самим собой, и все родилось от него.)

Но он доверил всем подчиненным богам попечение о звездах, об элементах, морях и недрах Земли. Его жена, представляющая весь объем пространства, им заполняемого, — Юнона. Дочь его — вечная мудрость, слово его, его глагол — Минерва. Другая же его дочь, Венера,— покровительница порождений, Philometai. Она — мать Амура, воспламеняющего все чувственные существа, соединяющего их, возмещающего их постоянные утраты, воспроизводящего путем одного только

* «Отец богов и царь людей» (лат.; *Вергилий.* Энеида).— Перевод наш.— *С. Ш.-Т.*

** «Нет ничего живого, что ему бы было подобно» (лат.; *Гораций.* Оды, кн. I, ода XII, ст. 18).— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

*** «...всё заполняет Юпитер (лат.; *Вергилий*, Эклоги).— *Перевод наш.*— С. Ш.-Т.

сладострастного тяготения все то, что необходимость обрекла на смерть. Все боги принесли свои дары людям. Церера дала им зерно, Вакх — виноградную лозу, Помона — плоды, Аполлон и Меркурий принесли им искусства.

Великий Зевс — великий Демиург — образовал планеты и Землю. Он повелел, чтобы на нашей планете народились люди и животные. Первым человеком, по сообщению Бероза, был Алор, отец Сареса, дед Аласпара, породивший Аменона, от коего родился Металар, отец Даона, отца Эвародака, который, в свой черед, был отцом Амфиса, а тот — отцом Озиарта, отца того самого знаменитого Ксиксутра, или Ксиксутера, или Ксиксутруса, царя Халдеи, при котором произошел всем известный потоп, названный греками потопом Огигеса,— тот потоп, время коего и поныне точно не установлено, равно как и время другого великого потопа, поглотившего остров Атлантиду и часть Греции примерно на шесть тысяч лет раньше.

У нас — другая теогония, в которой мы следуем Санхониатону, однако там ни слова нет о потопе. Теогонии индийцев, китайцев и египтян еще более отличаются от вышеуказанных.

Все события древности окутаны глубоким мраком: но существование и благодеяния Юпитера — яснее солнечного дня. Герои, по его примеру делавшие добро людям, названы священным именем Диониса, сына бога. Вакх, Геркулес, Персей, Ромул получили это священное прозвище. Дошли даже до утверждения, будто божественные свойства передались и их матерям. Греки и римляне, хоть и немножко распущенные, подобно всем нынешним христианам из хорошего общества, и немножко пьяницы, подобно немецким каноникам, а также немножко содомиты, подобно французскому королю Генриху III и его Ногарету, были очень религиозны. Они совершали жертвоприношения, воскуряли ароматические масла, устраивали торжественные шествия, постились: „Stoliatae ibant nudis pedibus, passis capillis... manibus puris, et Jovem aquam exorabant; et statim urceatim pluebat“ *.

* «Облаченные в сто́лы, они ступали босиком, с распущенными волосами... и чистыми руками, и молили Юпитера о воде; и внезапно дождь лил, как из ковша» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

Но все на свете портится. Религия изменилась. Прекрасное имя «сына бога», т. е. человека справедливого и милосердного, стало со временем даваться самым несправедливым и жестоким людям лишь потому, что они были могущественны. Древнее благочестие, очень гуманное, было изгнано суеверием, всегда чрезвычайно жестоким. Добродетель обитала на Земле до тех пор, пока отцы семейств оставались единственными жрецами и приносили в жертву Юпитеру и бессмертным богам начатки плодов и цветы; но все перевернулось вверх дном, когда жрецы стали проливать кровь и пожелали войти в долю к богам. Они и в самом деле вошли к ним в долю, принимая жертвоприношения вместо богов и оставляя богам лишь дым воскурений. Хорошо известно, как успешно разгромили нас наши враги, перенявшие у нас наши первобытные нравы, отвергнувшие наши кровавые жертвы и призвавшие народы к равенству и простоте, причем они создали себе партию сторонников из бедняков, дойдя до полного подавления богачей. Они пришли на наше место. Мы уничтожены, они торжествуют! Но когда в конце концов они развратились так же, как мы, им потребовалось великое преобразование, коего я желаю им от всего сердца».

XXII. ВЫСТУПЛЕНИЕ ИУДЕЯ

«Бог с ним, с этим идолопоклонником, делающим из бога истукана и изображающим нам подчиненных богов чем-то вроде депутатов Соединенных Штатов. В моей религии, носящей сверхприродный характер, не может быть ничего, напоминающего другие религии.

Главное различие между нашей и их религией состоит в том, что истоки нашей религии долгое время оставались покрытыми земным прахом. Догматы наших отцов были захоронены, так же как и мы сами, в маленькой стране, занимавшей пространство, равное пятидесяти лье в длину и двадцати в ширину. В этом-то колодце и обитала истина, оставаясь неведомой всему миру вплоть до того момента, когда мятежники, вышедшие из нашей среды, лишили ее — при Тиберии[8], Калигуле[9], Клавдии[10] и Нероне — ее звания истины и малопомалу стали похваляться тем, что утвердили совершенно новую истину.

Отцом халдеев был Алор, как вы это знаете. Финикийцы происходили от другого человека, именовавшего себя, согласно Санхониатону, «Первоначалом». У греков был их Прометей, у жителей Атлантиды — Уран, по-гречески именовавшийся «Ураноc». Я не буду говорить здесь ни о китайцах, ни об индийцах, ни о скифах. Что до нас, то у нас есть наш Адам, о коем никогда не слыхивал ни единый человек, кроме одного лишь нашего народа, и вдобавок мы узнали о нем очень поздно. И вовсе не греческий Гефест, именовавшийся у латинян Вулканом, изобрел искусство обработки металлов: честь этого изобретения принадлежит Тубалкаину. Весь западный мир был поражен, когда узнал при Константине [11], что народы обязаны обычаем употребления вина больше не Вакху, но Ною, имени коего никто до тех пор не слыхивал в Римской империи, равно как никто никогда не слыхал и имен его предков, неведомых всей Земле. Эту неожиданную историю выудили из нашей *Библии,* переведенной на греческий язык и лишь в ту эпоху получившей некоторое распространение. После этого Солнце уже перестало быть источником света, наоборот, свет был сотворен до Солнца и отделен от тьмы, как воды были отделены от вод. Женщина была сформирована из ребра, кое выхватил сам бог из тела уснувшего человека, не потрудившись даже его разбудить, причем потомки этого человека никогда не ощущали недостатка в одном ребре.

Тигр, Аракс, Евфрат и Нил — все эти четыре реки брали свои истоки в одном и том же саду. Мы никогда не ведали, где находится этот сад, однако доказано, что он существовал, ибо вход в него охранялся херувимом.

Звери умеют разговаривать. Красноречие некоего змия погубило весь человеческий род. Один из халдейских пророков беседовал со своим ослом.

Бог, творец всех людей, более не является всеобщим отцом, но отцом одной лишь нашей семьи. Семья эта, вечно кочуя, оставила плодородную Халдейскую землю, дабы какое-то время побродить по земле Содомской; именно этот поход дал ей неоспоримое право на город Иерусалим, коего тогда еще не существовало.

Наша семья размножается столь неудержимо, что семьдесят человек по истечении двухсот пятнадцати лет произвели на свет шестьсот тридцать тысяч вооружен-

ных мужчин; а это, если считать женщин, стариков и детей, составляет около трех миллионов. Три эти миллиона обитают в небольшом египетском округе, не способном прокормить и двадцать тысяч человек. Тогда бог ради них в течение одной ночи перерезает горло всем египетским первенцам; после этой резни бог, вместо того чтобы передать Египет своему народу, становится во главе него, с тем чтобы бежать вместе с ним по морю, словно посуху, и дать всему еврейскому колену умирать с голоду в пустыне.

Мы — семикратно рабы, несмотря на потрясающие чудеса, совершаемые ради нас каждодневно богом, вплоть до того, что он останавливает Луну в разгар полдня и даже само Солнце. Десяток наших колен из двенадцати навсегда погибли. Остальные два колена рассеялись по всему миру и занимаются обрезанием крайней плоти. Тем не менее у нас всегда есть пророки. Бог постоянно спускается только к нашему народу и вмешивается только в наши дела. Он то и дело является этим пророкам — его единственным наперсникам и любимцам. Он отправляется к Аддо, или Иддо, или Йеддо, и повелевает ему совершать свой путь, не вкушая еды. Пророк решает, что бог приказал ему есть, для того чтобы лучше передвигаться: он ест — и тотчас же его пожирает лев (III-я Книга Царств, гл. XIII).

Бог приказывает Исайе шествовать полностью обнаженным, показывая всем свои ягодицы, *discoopertis natibus** (Исайя, гл. XX).

Бог повелевает Иеремии взвалить себе на выю ярмо, а на спину — вьюк (гл. XXVII по еврейскому оригиналу). Он приказывает Иезекиилю связать себя, затем съесть фунт пергамента, завалиться на правый бок на триста девяносто дней, затем на сорок дней — на левый, а после всего этого есть д..., намазанное на хлеб (Иезекииль, гл. IV) **.

Он повелевает Осии взять себе веселую девицу и зачать от нее троих детей; затем он велит ему заплатить блуднице и от нее тоже зачать детей и т. д., и т. д., и т. п.

---

* Лат.; точнее: «с обнаженными чреслами».— *Примеч. переводчика.*

** Подобным же образом конвульсионер Каррэ де Монжерон, советник парижского парламента, уверяет в своем «Сборнике чудес», презентованном королю, будто девица, осененная действенной благодатью, в течение двадцати одного дня не пьет ниче-

Добавьте ко всем этим чудесам непрерывный ряд зверских убийств, и вы поймете, что всё среди нас причастно божественному, ибо ничто не совершается по законам, именуемым у людей законами благопристойности.

К несчастью, другие народы узнали нас хорошо только тогда, когда мы были уже истреблены. Именно наши враги — христиане — познакомили с нами людей, завладев нашими мощами. Они воздвигли свое здание на сюжетах, взятых из нашей *Библии,* скверно переведенной на греческий. Они нас оскорбляют и угнетают еще и сегодня; но... терпение! Мы еще расквитаемся с ними; всем известно, каков будет наш триумф в конце света, когда на Земле не останется ни единого человека».

XXIII. ВЫСТУПЛЕНИЕ ТУРКА

Когда иудей закончил, турок, куривший в течение всего заседания, прополоскал себе рот, произнес свое «Алла Илла» и, обратившись ко мне, сказал:

«Я выслушал всех этих фантазеров; притом я заметил, что ты — христианская собака; но ты мне нравишься, потому что кажешься терпимым и потому что стоишь за немотивированное предопределение. Я считаю тебя здравомыслящим человеком, учитывая, что ты, по-видимому, одних со мной взглядов.

Большинство ваших христианских собак всегда говорили о нашем Магомете одни только глупости. Некий барон де Тотт [12], весьма умный человек, принадлежащий к лучшему обществу и оказавший нам, туркам, большие услуги в последней войне, дал мне почитать недавно книгу одного из ваших великих ученых, по имени Гроций [13], озаглавленную «Об истинности христианской религии». Этот Гроций обвиняет нашего великого Магомета в том, что он внушает людям, будто голубь шептал ему что-то на ухо, будто верблюд имел с ним ночные собеседования и будто он заложил к себе за рукав по-

го, кроме мочи, и ест одно лишь д...; это дарует ей столько молока, что она выблевывает его изо рта. Надо полагать, что кормильцем ее при этом был ее возлюбленный. Из этого можно видеть, что подобные фарсы разыгрывались как у иудеев, так и у вельшей. Но сюда надо причислить и все остальные народы: они походят друг на друга своими завтраками в духе Иезекииля и жалкой конвульсионерши.— *Примеч. Вольтера.*

ловину Луны. Если самые ученые из ваших христианишек плели подобную ахинею, что должен я думать об остальных?

Нет, Магомет никогда не совершал этих чудес, происшедших в деревне и о которых заговорили лишь сто лет спустя после предполагаемых событий. Не совершал он и ни одного из тех чудес, о коих читал мне г. де Тотт из «Золотой легенды» [14], написанной в Генуе. Он не причастен ни к одному из чудес, происшедших на Сен-Медаре [15], над которыми так издевались в Европе и над которыми один французский посланник так долго вместе с нами смеялся. Чудесами Магомета были победы, и бог, отдав ему во власть половину нашего полушария, доказал этим, что Магомет — его любимец. И вовсе так не было, будто о нем ничего не знали целых два века. С того момента, как его начали преследовать, он стал триумфатором.

Его религия мудра, строга, целомудренна и гуманна: мудра, ибо не впадает в безрассудную глупость, заставляющую придавать богу других компаньонов, и потому, что в ней нет ничего мистического; строга, ибо запрещает азартные игры, вино и крепкие напитки и повелевает молиться пять раз на дню; целомудренна, ибо сводит к числу четырех огромное количество женщин, разделяющих обычно ложе всех восточных правителей; гуманна, ибо гораздо суровее повелевает нам дарить милостыню, нежели совершать паломничество в Мекку.

Добавьте ко всем этим признакам истинности терпимость. Подумайте о том, что в одном только Стамбуле у нас живет более ста тысяч христиан всех сект без исключения, мирно совершающих на глазах у всех все обряды своих разнообразных культов, причем живут они под покровительством наших законов так счастливо, что не удостаивают вернуться к себе на родину, в то время как вы со всех сторон сбегаетесь в нашу Властительную Порту».

XXIV. ВЫСТУПЛЕНИЕ ТЕИСТА

После этого попросил слово теист и заговорил так:

«У каждого своя точка зрения — правильная или же нет. Мне было бы жаль огорчить порядочного человека. Поэтому я прежде всего прошу прощения у месье атеиста; однако мне кажется, что, вынужденный признать

восхитительный замысел в порядке этой вселенной, он должен также допустить существование разума, задумавшего и выполнившего сей план. Ведь мне представляется: когда господин атеист приказывает зажечь свечу, он это делает для того, чтобы она ему светила. Мне думается, следует также признать, что Солнце создано для освещения нашей части вселенной. Не стоит спорить относительно столь правдоподобных вещей.

Месье следует быть столь милостивым и сдаться, тем более что, будучи порядочным человеком, он не должен ничего опасаться со стороны господина, нисколько не заинтересованного в том, чтобы причинить ему зло. Вы можете признать бога с полной для себя безопасностью: вы не заплатите за это ни одного лишнего процента в денежном выражении и не утратите ничего из вкусной еды.

Что до вас, господин язычник, я заверяю вас, вы явились чересчур поздно для возрождения политеизма. Для этого нужно было бы, чтобы Максенций одержал победу над Константином и чтобы Юлиан прожил на тридцать лет больше.

Я признаю, что не вижу ничего невозможного в существовании множества существ, нас превосходящих, каждые из которых имели бы свое интендантство на отдельном небесном шаре. Я бы даже охотно и с удовольствием предпочел наяд, дриад, сильванов, граций и амуров святому Вознице, святому Панкратию, святым Крепену и Крепиньену, святому Витту, святой Кунигунде и святой Марьолане; но не стоит без надобности умножать существа, да и вполне достаточно одного интеллекта для устройства этого мира: я буду придерживаться такого взгляда до тех пор, пока все прочие силы не сообщат мне, что они имеют долю в его правлении.

Вы же, господин манихей, рисуетесь моему воображению дуэлянтом, обожающим битвы. Я — человек мирный и не люблю находиться в обществе двух конкурентов, кои вечно между собой на ножах. Мне достаточно вашего Ормузда; возьмите себе своего Аримана.

Я, наверное, всегда останусь в некотором затруднении относительно происхождения зла; но я смогу предположить, что добрый Ормузд, все сотворивший, не сумел сделать ничего лучшего. Вряд ли я оскорблю его, если ему скажу: вы сделали все, что могло сделать мо-

гущественное, мудрое и доброе существо; не ваша вина, если ваши творения не могут быть так же добры и совершенны, как вы сами. Существенная разница между вашими творениями и вами — это несовершенство. Вы не могли бы создать двух богов: просто было неизбежно, чтобы люди — обладатели разума — имели в себе также и глупость, подобно тому как неизбежно трение в любом механизме. Каждому человеку присуща его доля несовершенства и безрассудства именно в силу того, что вы мудры и совершенны. Человек не может быть всегда счастливым именно потому, что всегда счастливы Вы. Мне представляется, что набор мышц, сосудов и нервов не может жить дольше восьмидесяти или, самое большее, ста лет, вы же должны существовать вечно. Мне представляется невозможным, чтобы животное, в силу необходимости состоящее из желаний и воли, не проявляло весьма часто волю к деянию добра себе и зла — своему ближнему. Наконец, между вами и вашими творениями в силу необходимости лежит столь большая дистанция, что если в вас содержится благо, в них должно содержаться зло.

Лично я, как бы ни был я несовершенен, снова благодарю вас за то, что вы дали мне на короткий срок жизнь, особенно же за то, что я не стал профессором теологии.

Это вовсе не дурной комплимент. Бог не может сердиться на меня за то, что я не желаю ему досаждать. В конце концов я полагаю, что, не причиняя никогда вреда своим ближним и чтя своего господина, я ни в коей мере не должен бояться ни Аримана, ни Сатаны, ни Кнатбулла, ни Кербера и неистовых фурий, ни святого Возничего, ни святого Крепена, ни даже известного господина Коже, регента второго класса, принявшего *magis* * за *minus* **, и думаю, что окончу дни свои в мире, *in ista quae vocatur hodie philosophia* ***.

... Что до вас, господин турок, то я советую вам как можно скорее заключить мир с российской императрицей, если вы хотите сохранить то, что вы узурпировали у Европы. Мне хочется верить, что победы Магомета,

* *больше* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

** *меньше* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

*** *или в лоне философии, как это именуется в наши дни* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

сына Абдаллы, — это чудо; но Екатерина II [16] также творит чудеса: поостерегитесь, чтобы в один прекрасный день она не сотворила чуда возвращения вас в пустыни, откуда вы вышли. Продолжайте особенно быть терпимыми: это — вернейшее средство угодить верховному бытию, одинаковым образом являющемуся отцом турков и русских, китайцев и японцев, черных, смуглых и желтых и целокупной природы».

XXV. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА

Во время речи теиста вдруг поднялся с места какой-то человек и сказал: «Я — гражданин, а следовательно, друг всех этих господ. Я не стану препираться ни с одним из них; я лишь хотел бы, чтобы все они объединились между собой во имя взаимной помощи и поддержки, взаимной любви и намерения сделать друг друга счастливыми настолько, насколько люди, имеющие столь различные взгляды, могут друг друга любить и содействовать общему счастью: это и трудно, но и необходимо.

Для достижения этой цели я советую им прежде всего швырнуть в огонь все книги, содержащие ученые споры, какие им только попадутся на глаза, и особенно книги иезуитов Гарасса [17], Гиньяра [18], Малагрида [19], Патуйе [20], Нонотта [21] и Полиана [22] — самых нетерпимых из всех; то же самое надо сделать с *Gazette ecclésiastique* * [23] и всеми прочими книжицами, являющимися попросту пищей для гражданской войны дураков.

Затем пусть каждый из наших братьев — будь то теист, турок, язычник, христианин-грек или христианин-латинянин, англиканин или скандинав, иудей или атеист — внимательно прочтет несколько страниц из «Обязанностей» Цицерона или из Монтеня и несколько басен Лафонтена.

Подобное чтение незаметно располагает людей к согласию, до сих пор вызывавшему отвращение у всех теологов. После такой подготовки умов всякий раз, как христианин или мусульманин встретят атеиста, они ему скажут: «Дорогой наш брат, небо да озарит вас!», а атеист им ответит: «Как только я буду обращен, я явлюсь поблагодарить вас за это».

* *«Церковной газетой».— Примеч. переводчика.*

Пусть теист подарит два поцелуя женщине-манихейке в честь двух сосуществующих в мире принципов. Греки и римляне пусть трижды поцелуют всякого другого сектанта, будь то квакер или янсенист. Им не придется делать над собой усилие, чтобы более одного раза целовать социниан, если учесть, что эти последние верят лишь в единую ипостась бога; однако объятие это будет стоить трех, когда оно будет исходить от чистого сердца.

Мы знаем, что атеист может сердечно ладить с иудеем, особенно если этот последний ссужает ему деньги не более чем под восемь процентов; но мы совершенно не надеемся когда-либо узреть живейшую дружбу между кальвинистом и лютеранином. Все, чего мы требуем от кальвиниста, — пусть приветствует лютеранина с некоторой любовью и не подражает квакерам, не раскланивающимся ни с кем, хотя их искренности и чистосердечия недостает кальвинистам.

Мы призываем простаков, называющих себя квакерами, женить своих сыновей на дочерях теистов, именуемых социнианами, ввиду того что эти девицы, почти всегда являющиеся дочерьми пасторов, очень бедны: то будет не только весьма добрым делом в глазах бога и людей, но браки эти дадут новую породу, коя, возрождая ранние времена христианской церкви, принесет великую пользу всему человечеству.

Если после заключения этих предварительных условий возникнет ссора между двумя сектантами, они ни в коем случае не должны выбирать арбитром теолога: тот неминуемо съест устриц, им же останутся раковины.

Для поддержания заключенного мира грек не должен продавать турку или турок иудею либо римлянин римлянину ничего, кроме пищи, одежды, жилища или принятых у людей развлечений. Не нужно торговать ни обрезанием, ни крещением, ни похоронами, ни разрешением обегать вокруг черного камня в каабе, ни удовольствием стирать себе в кровь колени, преклоняя их перед Лоретской мадонной, еще более черной.

Во всех распрях, неожиданно могущих возникнуть в будущем, категорически запрещается лаяться, подобно разъяренным псам, какой бы приступ гнева кем-то ни овладел,— по крайней мере если мы не будем считать собак людьми, когда они сожрут наш обед или нас цапнут, и т. д., и т. д., и т. п.».

О ДУШЕ
Сочинение Сорана, врача Траяна

I.

Дабы раскрыть или, точнее, поискать хотя бы слабое понятие того, что́ обычно именуют *душой,* нужно прежде всего, насколько это возможно, познать наше тело, слывущее оболочкой этой души, коей она управляет. Именно медицине подобает знать человеческое тело, ибо она над ним постоянно работает.

Если бы медицина могла быть такой же точной наукой, как геометрия, она позволила бы нам увидеть все пружины нашего существа; она приоткрыла бы покровы нашего первоначала с той же четкостью, с какой показывает нам место и работу наших внутренних органов.

Но самый искусный анатом, когда он больше ничего не в состоянии различить, вынужден убрать свою руку и остановить свою мысль. Он не может разгадать, где начинается движение в человеческом теле; он прослеживает нерв вплоть до мозжечка, где этот нерв берет начало, однако начало это затеряно в мозжечке — именно в том первоистоке, где скрыты все концы и всё ускользает от нашего взора. Мы проследили творение природы вплоть до последнего пункта, куда дозволено проникать человеку, но мы не сумели разгадать тайну бога.

Ныне в Риме и Афинах не существует врача, который не разбирался бы в анатомии больше, чем Гиппократ; однако нет среди них ни единого, кто смог когда-либо приблизиться к первоначалу, дающему нам жизнь, чувство и мысль.

Если бы мы к нему подошли, мы стали бы богами, а ведь мы — всего лишь слепцы, продвигающиеся вперед на ощупь, дабы затем указать дорогу другим слепцам.

Таким образом, наша наука — не что иное, как наука о вероятностях; именно поэтому среди всех врачей, приглашенных к больному, всегда по справедливости слывет самым ученым в своей области тот, кто дает наиболее достоверный прогноз относительно исхода болезни.

Самой значимой вероятностью, более всего подобной уверенности, является вероятность того, что существует могущественное верховное бытие, незримо для нас управляющее великим механизмом, создавшее человека и все иные существа.

Весьма необходимо, чтобы это неведомое творящее бытие существовало, ибо ни человек, ни другое какое-либо живое существо или растение не может появиться само по себе.

Необходимо, чтобы эта созидательная потенция была единственной, ибо если бы их было две, то они действовали бы либо согласованно, либо противоречиво. Если бы они были между собой согласны, это все равно как если бы существовала лишь одна сила; если же они противостояли бы друг другу, в природе не было бы никакого единообразия; но на самом деле в ней все единообразно. Один и тот же закон движения исполняется в человеке, во всех животных и остальных существах: всюду рычаги действуют согласно правилу, гласящему, что вес поднимаемых тяжестей обратно пропорционален расстоянию от [точки приложения] движущей силы; другое правило, согласно которому действуют эти рычаги, гласит, что выигрыш в силе означает потерю во времени, и наоборот.

Всякое действие имеет свои законы. Свет испускается Солнцем и любой неподвижной звездой с одинаковой скоростью и достигает глаз любого живого существа в одних и тех же сочетаниях. Поэтому в высшей степени вероятно, что одно и то же верховное бытие руководит всей природой.

По какому роковому стечению обстоятельств нам ведомы все законы движения, все пути света, предписанные ему в необъятном пространстве великим бытием, все математические истины, подлежащие рассмотрению нашего разума, но до сих пор мы не можем прийти к познанию самих себя? Человек разгадал тяготение еще в век Траяна *: так неужели же невозможно разгадать

* Действительно, говорили, будто у Плутарха можно найти несколько двусмысленных выражений, из которых путем искажений и натянутых объяснений допустимо сделать вывод, будто в его время были известны законы Кеплера и Ньютона; однако это всего лишь фантазии полу-ученых, являющихся притом отъявленными завистниками и наглецами. Подобные люди способны

душу? Вполне очевидно, что мы ничего о ней не узнаем, если не попытаемся это сделать. Давайте же попытаемся.

II. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДУША СПОСОБНОСТЬЮ?

Следует начать с признания, что все качества, дарованные великим бытием нам и другим животным, суть качества скрытые.

Каким образом подчиняет каждое животное свои члены своим желаниям?

Как образуются у животного идеи вещей с помощью его чувств?

В чем суть памяти?

Откуда берутся эти удивительные чувства симпатии и антипатии у одного существа к другому? Откуда эти свойства, столь различные у каждого вида?

Какое непобедимое очарование привязывает ласточку или малиновку к ее птенцам, заставляет ее вкладывать им в глотку корм, которым она питается сама? И какое равнодушие, забвение наступает вслед за этой нежнейшей любовью в тот самый миг, как ее дети больше в ней не нуждаются! Все это для нас — скрытое качество. Любое порождение, по крайней мере, до настоящего времени — весьма темная тайна. Мы не стремимся заменить этим словом объяснение; мы ничего не объясняем, мы лишь называем вещи своими именами.

Что же следует делать при этом избытке у нас неведения и любознательности, после того как мы признали, что нам ничего не известно относительно способа, каким управляет нами великое бытие, и что нам не дано видеть ту нить, с помощью которой оно направляет все, что происходит в нас и вне нас? Следует придерживаться вполне достоверного опыта всех людей во все времена. Опыт этот говорит нам: мы передвигаемся при помощи наших ног и ощущаем всем своим телом; мы видим глазами, слышим ушами, а мыслим — головой. Так пожелал вечный Творец всех вещей.

Кто был первым, вообразившим наличие в нас другого существа, содержащегося там втайне и отправляю-

---

отыскать изобретение книгопечатания и пороха у Плиния [1] и Афинея.— *Примеч. Вольтера.*

щего все наши функции без того, чтобы мы когда-либо это замечали? Кто был столь отважен и настолько стоял выше толпы, что дерзнул изобрести эту возвышенную систему, согласно которой мы поднимаемся над нашими чувствами, над самими собой?

Вполне вероятно, что эта идея в том виде, в каком ее воспринимают ныне, не пришла поначалу никому в голову сразу. Люди в течение огромного числа веков занимались своими нуждами и несчастьями, раньше чем стать великими метафизиками.

III. БРАХМАНЫ; БЕССМЕРТИЕ ДУШ

Если какой-либо античный народ может претендовать на честь изобретения того, что́ мы именуем *душой*, то, надо думать, это была каста брахманов и произошло это на берегах Ганга: именно брахманы выдумали метемпсихоз, а этот последний может осуществляться только душой, переходящей из тела в тело. Само слово «метемпсихоз», греческое по происхождению, но могущее быть лишь переводом с восточного языка, ясно означает переселение души.

Итак, брахманы с незапамятных времен верили в существование душ.

Климат, в котором они живут, столь мягок, плоды, которыми там питаются, столь изобильны, а заботы, отягощающие в иных местах человека в течение всей его печальной жизни, так незначительны, что все располагает к бездействию, а бездействие — к созерцательности. И до сих пор так живут все брамины — потомки древних брахманов,— нравы которых совсем не испортились из-за нашествия европейских грабителей, коих алчность заставила переселиться на берега Ганга.

Упомянутые покой и созерцательность, всегда бывшие уделом брахманов, позволили им поначалу познать астрономию. Они — первые, вычислившие для потомства положения зримых планет. Мы обязаны им первыми календарями, они составляют их и в наше время с легкостью и умением, поражающими наших математиков.

В этих вещах не разбирались ни наши купцы, отправлявшиеся в Индию через порт Береники, ни сопровождавшие их некие жрецы Кибелы. Жрецы эти питались плотью и кровью животных; принеся с собой свои

опьяняющие напитки и став из-за этого ненавистными для браминов, люди эти, не зная языка браминов и не имея никакой возможности толком его изучить, не будучи в состоянии беседовать с ними, оказались не более сведущими в науке браминов и древних брахманов, чем юнги с их кораблей. Поэтому они ограничились тем, что возвестили Европе, будто брамины поклоняются фуриям.

То было совсем непохоже на путешествия в Индию первых мудрецов — будь то Зороастр или Пифагор. Пифагор вывез оттуда учение о душе и миф о ее переселениях. Другие философы заимствовали там более тайные учения, а некоторые купцы выучились даже немного геометрии, что предполагало, конечно, длительное пребывание в Индии.

Не станем здесь вдаваться в сложное обсуждение первых книг древних брахманов, написанных на их священном языке. Знанием этих книг мы обязаны двум ученым[2], в течение тридцати лет жившим на берегах Ганга и изучавшим этот язык, носивший имя *санскрита*. Они оставили нам переводы самых оригинальных, возвышенных и интересных разделов древней теологии брахманов, написанных почти четыре тысячи лет тому назад. Книга эта, озаглавленная *Шаста,* древнее *Веды* на пятнадцать веков. Вот поразительное начало этой *Шасты:*

«Вечный... погруженный в созерцание своей сущности, порешил сообщить некие отблески своего величия и блаженства существам, способным чувствовать и наслаждаться... Таких существ еще не было; бог пожелал, и они стали».

Очень странно, что столь древний и почтенный памятник нам едва знаком, что его откопали так поздно и так мало придали ему значения.

Итак, бог создал субстанции, одаренные чувством; именно это мы сегодня именуем *душами.* Он создал их по своему произволению, не пуская в ход и не заимствуя Слово. Эти чувствующие, мыслящие и действующие субстанции, эти возлюбленные души бога — не что иное, как дебты, которых персы, соседи Индии, создали по образу своих джинов, своих пери, или фери. Эти джины, фери или души, эти небесные субстанции, восстают потом против своего Создателя. Дабы их покарать, бог низвергает их в Ондеру, некий род преисподни, на мил-

лионы веков. Здесь содержатся истоки сказания о борьбе гигантов против царя богов Зевса, многократно воспетой греками; здесь же истоки известного апокрифа, распространившегося во времена императора Тиберия в Сирии и Палестине под названием «Книга Еноха[3]»— единственной книги, где речь идет о падении полубогов. Книга эта, как говорят, цитируется в новом сочинении, написанном финикийцами.

В ходе веков бог даровал прощение упомянутым дебтам: он превратил их в коров и людей нашей планеты.

Потому-то, утверждают брахманы, коровы священны в Индии.

Итак, мы видим, что вся древняя теология, принимающая различные личины в Азии и Европе, неоспоримо пришла к нам от брахманов. Мы можем подтвердить это другими примерами; однако не следует удаляться от нашей темы. Достаточно того, что мы проникли вплоть до истоков идеи, принятой всеми цивилизованными народами и гласящей: все живые существа имеют в своих телах неосязаемую субстанцию, неведомую нам, отличную от тел, которая управляет всеми их действиями и вожделениями. Система эта в соединении с теорией дебтов явно стала нашей системой. Истоки нашей религии таятся в глубинах Индии, и мы приняли эту религию только теперь. Кто бы подумал, что падение человека и полубогов — индийская аллегория?

IV. ТЕЛЕСНАЯ ДУША

Самый древний автор, известный в нашей Европе,— Гомер. По-видимому, в его время вера в бессмертную душу была повсеместно распространена. Душа эта считалась небольшим воздушным образованием, легким, неосязаемым, совершенно подобным телу, которое она приводит в движение. В момент гибели тела она из него выходит. В те времена ее называли именами, соответствующими именам «тени», «маны», «дух» или «веяние», «фантом», «привидение», а также имени «чувственная душа» — *психе* *. Вот почему душа Тиресия, явившаяся Улиссу на берегу Киммерийского озера, пьет кровь

* ψυχή (греч.).— *Примеч. переводчика.*

умерщвленных Улиссом жертв*. Душа Агамемнона также пьет кровь. Мать Улисса, поведав ему об образе жизни Пенелопы на Итаке, ускользает из его объятий. Когда Улисс спрашивает ее, почему она не хочет его обнять, мать отвечает, что душа ее — всего лишь тонкое и легкое тело, не обладающее плотностью и улетучивающееся, как сон.

Эти души-тени были настолько реально телесны, что Улисс, прибыв в царство Плутона, узрел там все муки знаменитых преступников — Тантала, Тития, Сизифа.

После того как Улисс убивает всех поклонников Пенелопы, Меркурий провожает к Плутону их души, подобные летучим мышам.

Такова была философия Гомера, ибо это была философия греков, а ведь поэты всегда бывают эхом своего времени.

Вскоре после Гомера люди, называющие себя мыслителями и учителями, решили, что человеческая душа — не просто дуновение воздуха, воздушная форма, способствующая движению, которую они именовали *пневмой* **, но что она, кроме того, формирует вожделения, желания, телесные страсти, и они дали ей имя *психе;* наконец, было решено, что она рассуждает и выдвигает аргументы, и они наименовали это *нус* ***, ум. Таким образом, душа, все еще считавшаяся телесной, получила три части: дыхание, творящее жизнь, назвали растительной душой; *психе* **** стала душой чувственной, а *нус* — разумной. Вот каким образом от глубокого невежества, в коем коснели так долго люди, они постепенно пришли к беспредельно пустой изощренности, в которой сами запутались.

Никто не догадался прибегнуть к богу и ему сказать: «Ты единый нас породил, лишь ты даешь нам жизнь в течение малого срока; ты один даешь нам способность усматривать, мыслить, вспоминать и комбинировать представления; один ты вершишь все, и мы, люди, в руце твоей».

В то время как все философы рассуждали о душе, явились эпикурейцы и изрекли: душа — не что иное,

* Одиссея, XXIV.— *Примеч. Вольтера.*
** πνεῦμα (греч.).— *Примеч. переводчика.*
*** νοῦς (греч.).— *Примеч. переводчика.*
**** ψυχή (греч.).— *Примеч. переводчика.*

как непроницаемая материя, рождающаяся вместе с нами, вместе с нами растущая и умирающая.

Порядочные люди Римской империи поделили свои симпатии между двумя греческими сектами — эпикурейской, рассматривавшей душу всего лишь как легкую и подверженную гибели материю, и стоической, считавшей душу частью божества, вновь погружающейся после смерти [человека] в великое Всё, истечением коего она явилась.

Эпикурейская школа преобладала среди римлян до того самого момента, когда Цицерон в своей речи в защиту Клуэнция произнес перед лицом римского народа эти выразительные и ужасные слова: «Quid tandem illi mali mors attulit? Nisi forte ineptiis ac fabulis ducimur, ut existimemus illum apud inferos impiorum supplicia perferre... Quae si falsa sunt, id quod omnes intelligunt, quid ei tandem aliud mors eripuit praeter sensum doloris?» («Какое зло принесла ему смерть? По крайней мере, если мы не настолько глупы, чтобы верить нелепым басням и считать, что он осужден на казнь нечестивцев... Но если все это, как убежден весь свет, — чистые химеры, чего иного лишила его смерть, кроме чувства страдания?»).

О том же самом говорил Цезарь перед лицом всего сената во время процесса Катилины. Наконец, в римском театре, в трагедии «Троянка»*, хор пел:

Post mortem nihil est, ipsaque mors nihil.
(После смерти ничего нет, смерть сама — ничто).

И продолжал в том же духе:

Spem ponant avidi, solliciti metum.
Quaeris quo iaceas post obitum loco?
Quo non nata jacent **.

Оставь и страхи и надежду,
Твой рок пусть тебя не смущает.
Чем станешь ты, закрывши вежды?
Да тем, с чего все начинают.

---

* Правильное название трагедии Сенеки-младшего — «Троянки», по хору, участвующему в этой драме.— *Примеч. переводчика.*

** Букв.:
Люди алчут надежды, подвигнутые страхом,
Ты вопрошаешь, где будет твое место после заката?
Да там же, где находятся еще не родившиеся на свет.
(лат.).— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

В наше время мнения людей в целом делятся между бессмертием и смертностью души, однако весь свет признаёт: душа материальна, — а если это так, следует думать, что она подвержена гибели.

Мы потратили бы все наше время на цитирование, если бы пожелали привести все свидетельства тех, кто верил, следуя античным представлениям, что все живые существа — и люди, и звери — обладают душой, причем душой непременно телесной.

Греки додумались до того, что разделили эту душу на три части — растительную, чувственную и разумную. Но в конце концов душа — загадка, для которой после Пифагора каждый подыскивал имя.

Поскольку все философы искали решение этой загадки, будем искать и мы. В поле зарыто сокровище; сотня алчных скупцов обшарили это поле; но остается еще не тронутым маленький уголок, и, быть может, именно там мы что-нибудь и отыщем.

Я не собираюсь исследовать, каким образом и когда душа входит в наше тело, проста она или сложна, воздушна или огненна, обитает она в брюшной полости, или в сердце, или даже в мозгу: я исследую лишь, есть ли у нас душа.

Когда восточные священнослужители — а по их примеру и греческие — вообразили каждую планету божеством или, по крайней мере, что в каждой из них божество присутствует, эта блестящая религиозная идея внушила людскому роду почтение. Но еще более величественная и божественная идея начинает в наше время разрушать пресловутую идею богов — движущих начал мира планет. Истинные мудрецы не допускают иного божества, кроме некой верховной природы, разумной и могущественной, великого бытия, созидателя всех сфер, руководящего их движениями в соответствии с вечными законами математики, — словом, их вселенской души.

Но если великое бытие — их душа, почему не может оно быть и нашей душой?

Оно дало материи все ее свойства; оно дало магниту свойство притяжения к железу, планетам — кругообразное движение с запада на восток, причем ни причины, ни средства, осуществляющего это движение, мы никогда не умели вскрыть. Так не даровало ли оно также и нам чувство и мысль?

V. ВОЗДЕЙСТВИЕ БОГА НА ЧЕЛОВЕКА

Люди, создававшие теории относительно связи бога с человеком, изрекли, что бог воздействует на человека непосредственно, физически, разумеется в определенных случаях, когда бог жалует ему некие особенные дары; они наименовали этот акт *физическим преддвижением*. Диокл и Герофил — оба эти великие энтузиаста — поддерживают такое мнение и имеют сторонников.

Мы признаем бога точно так же, как эти люди, ибо не можем постичь, будто какое бы то ни было из окружающих нас существ могло произойти на свет само по себе; из одного того, что нечто существует, должно следовать: необходимое бытие существует извечно; необходимое вечное бытие необходимо является причиной всего. Мы допускаем вместе с этими мыслителями возможность того, что бог дарует некоторым своим любимцам способность его постигать; но мы идем дальше: мы верим, что он дает постигать себя всем людям независимо от времени и места, ибо он всем нам дал жизнь, движение, пищеварение, мысль и инстинкт.

Содержится ли в живых существах — от самой ничтожной зверюшки до самого возвышенного философа — некое существо, именуемое волей, движением, пищеварением, желанием, любовью, инстинктом, мыслью? Нет: это мы хотим, действуем, любим, обладаем инстинктом; нам свойственна, например, неодолимая склонность к некоторым объектам, невыносимое отвращение — к другим, готовность выполнять движения, необходимые для нашего самосохранения, — сосать грудь своей кормилицы, плыть, если достает для этого сил и если мы — обладатели достаточно широкой грудной клетки, жевать свой хлеб, пить, нагибаться, чтобы избежать удара движущегося тела, сообщать себе отталкивание, чтобы перескочить ров, и совершать тысячи подобных же акций, не думая о них, хотя все они основаны на глубоких математических законах. Итак, мы чувствуем и мыслим, не ведая, каким образом это происходит.

Скажем честно: разве богу труднее выполнять в нас все это при помощи средств, нам неведомых, чем нам совершать иногда внутренние движения под действенным покровительством Юпитера, о коем эти господа без устали твердят?

Что это за человек, вникающий в собственную сущность и не чувствующий при этом, что он — всего лишь игрушка провидения? Я мыслю, но могу ли я сообщить себе мысль? Увы! Если бы я мыслил сам по себе, я бы знал, какая идея в какой именно момент придет мне в голову. Но никто этого не знает.

Я приобретаю знание, но я не мог его сам себе дать. Мой разум не мог быть его причиной, ибо причина должна производить следствие. Но первое приобретенное знание не обреталось изначально в моем разуме, т. е. во мне; так как оно было первым, оно должно было быть мне дано тем, кто меня создал и кто дает всё, каким бы он ни был.

Я падаю духом, когда мне наглядно показывают, что мое первое знание не может само по себе дать мне последующего: ведь для этого нужно было бы, чтобы оно его в себе содержало.

Доказательством того, что мы сами не даем себе никаких представлений, является восприятие нами образов во время сновидений; разумеется, ни наша воля, ни наше внимание не участвуют в нашем мышлении в тиши сна. Есть поэты, сочиняющие во сне стихи, геометры, измеряющие во сне треугольники. Все доказывает нам существование силы, действующей в нас без нашего ведома.

Разве все наши ощущения не являются непроизвольными? Слух, вкус, зрение сами по себе — ничто. Мы чувствуем вопреки себе; мы ничего не делаем, ничего собой не представляем без верховной силы, творящей всё.

Самые суеверные люди согласны с этими истинами, но они применяют их лишь к своим сторонникам. Они утверждают, будто бог воздействует реально, физически на определенные привилегированные личности. Мы религиознее, чем они: мы верим, что великое бытие воздействует на все живое, равно как и на всю материю. Неужели же ему труднее приводить в движение всех людей, чем некоторых из них? Что же, бог будет богом лишь для одной вашей маленькой секты? Но он — бог для меня, хоть я и не принадлежу к вашим.

Один новый философ[4] зашел на этом пути еще дальше вас: ему почудилось, будто, кроме бога, ничего не существует. Он утверждает, будто мы всё усматриваем

в боге; мы же говорим, что именно бог видит и действует во всем, что живо.

Jupiter est quodcumque vides, quocumque moveris.

(*Luc., Phars., liv. IX, v. 580*) *

Пойдем дальше. Ваше «физическое преддвижение» выводит на сцену бога, который в вас действует. Зачем вам нужна в таком случае душа? Для чего это небольшое существо, неведомое и непостижимое? Придаете ли вы душу Солнцу, оживляющему столько планет? И если это великое, удивительное и столь необходимое светило не имеет души, почему должен ее иметь человек? Не достаточно ли нам бога, который нас создал? И что сталось с этой великой аксиомой: «Не надо добиваться с помощью множества того, чего мы можем добиться с помощью одного»?

Душа эта, кою вы вообразили субстанцией, на самом деле есть не что иное, как способность, дарованная нам великим бытием; она вовсе не личность. Это — свойство, данное нашим органам, а совсем не субстанция. Мог ли человек, еще не испорченный метафизикой своего разума, вообразить, будто он двойствен, будто он — сочетание двух существ, одно из коих зримо, ощутимо и смертно, а другое — незримо, неосязаемо и бессмертно? И не понадобились ли века словопрений для того, чтобы наконец прийти к этой крайности, к объединению меж собой двух столь различных субстанций — осязаемой и неосязаемой, простой и сложной, неуязвимой и ранимой, вечной и преходящей?

Люди предположили душу в силу той же самой ошибки, что заставила их предполагать в нас присутствие существа по имени *Память* **, кое они затем обожествили. Из этой Мнемосины они сделали матерь Муз. Различные дарования человеческой природы они возвели в ранг соответствующих богинь — дочерей Мнемосины. С тем же успехом можно было бы сделать бога из тайной силы, с помощью которой природа образует кровь в живых существах, и назвать этого бога «Кроветворителем». И в самом деле, римляне имели подобных

---

* «Юпитер — всё, что ты видишь, и всё, что тобою движет». (лат.; *Лукан.* Фарсалия, кн. IX, ст. 580).— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

** «*Память*» (греч.— богиня Мнемосина).— *Примеч. переводчика.*

богов для способностей есть и пить, для брачного акта, для акта выделения экскрементов. У них было столько же отдельных душ, сколько существует подобных отправлений. Такова была метафизика черни. Это смешное и постыдное суеверие явно ведет свое начало от суеверия, вообразившего в человеке присутствие небольшой божественной субстанции, отличной от самого человека.

Субстанцию эту и поныне допускают во всех школах; при этом в порядке уступки великому бытию, вечному Творцу, богу ему дается позволение присоединить свое содействие к усилиям души. Так, предполагается, что для волеизъявления и действия требуются и наша душа, и бог.

Однако содействие предполагает помощь, соучастие, а следовательно, бог при нас — всего лишь заместитель. Это означает уничижать его, заставлять его плестись у нас в хвосте, играть самую что ни на есть последнюю роль. Так не лишайте же его его сана и превосходства, не делайте из владыки природы лакея людского рода.

Два вида мыслителей, весьма уважаемых в мире, — атеисты и теологи — могут восстать против наших сомнений.

Атеисты скажут, что, допуская разум у человека и инстинкт у животных, совершенно бесполезно вводить в эту систему бога; бог, заметят они, еще более непостижим, чем душа: недостойно мудрого человека верить в то, чего он не постигает. Они выпустят против нас все аргументы Стратона и Лукреция. Но мы ответим им одной лишь фразой: вы существуете, значит, есть бог. Теологи причинят нам больше хлопот; прежде всего они нам скажут: мы согласны с вами, что бог — первопричина всего, но он — не единственная причина. Один из великих жрецов Минервы ясно говорит: «Второй агент действует под воздействием первого; этот первый приводит в движение второй, второй благодаря этому — третий; все они действуют под влиянием бога, и он — причина всех действенных акций».

Мы ответим со всем уважением, каким мы обязаны этому великому жрецу: существует и может существовать лишь одна истинная причина; все прочие, являясь второстепенными, суть лишь орудия. У меня в руках рычаг, я использовал его для создания механизма. Я сде-

лал этот рычаг и эту машину, и потому я здесь — единственная причина; это не вызывает сомнений.

Великий жрец мне на это возразит: вы отнимаете у людей свободу. Но я скажу: нет; свобода состоит в способности желать и в способности выполнить желаемое, когда ничто этому не препятствует. Бог создал человека в подобных рамках, и этим надо удовлетвориться.

Однако мой жрец будет настаивать; он скажет, что мы делаем бога творцом греха. Тогда мы ему ответим: я этим весьма раздосадован; однако бог оказывается творцом греха согласно всем системам, за исключением атеизма. Ибо если он содействует поступкам бесчестных людей так же, как поступкам людей справедливых, ясно, что содействовать им — то же самое, что их совершать, коль скоро помощник — Творец всего.

Если только бог допускает грех, значит, он сам его совершает, ибо для абсолютного владыки Всего разрешить — значит то же самое, что совершить. Если он предвидел, что люди станут вершить зло, он не должен был создавать людей. Силу этих древних аргументов никто не сумел ослабить и никогда не сумеет. Тот, кто создал Всё, несомненно, создал добро и зло. Теории абсолютного предопределения и соучастия [бога] одинаково запирают нас в лабиринт, из коего нет никакого выхода.

Мы можем только сказать, что зло является злом в отношении нас, но не в отношении бога. Нерон убил своего наставника и свою мать; другой убивает своих родичей и соседей; великий священнослужитель отравляет, удушает, убивает двадцать римских вельмож, сойдя с ложа своей собственной дочери. Это не более касается вселенского бытия, мировой души, чем пожирание волками или нами самими овец либо пауками — мух. Для верховного бытия не существует зла; для него существует лишь игра великого механизма, находящегося в непрерывном движении под воздействием вечных законов. Если порочные люди оказываются (в течение своей жизни или в иное время) более несчастными, нежели те, кто был принесен в жертву их страстям, если они страдают так, как заставляли страдать других — это также неизбежное следствие незыблемых законов, с помощью коих в силу необходимости действует великое бытие. Нам известна лишь малая доля этих законов, и

у нас есть лишь только весьма слабая толика разума, поэтому мы обязаны смириться. Разве из всех систем наиболее разумной не является та, что помогает нам понять собственное ничтожество?

Люди, как утверждают все философы античности, создали себе богов по своему образу и подобию. Вот почему древний Анаксагор — столь же древний, как Орфей, — так изъясняется в стихах: «Если бы птицы создали себе бога, он имел бы крылья; бог лошадей был бы четвероногим»[5].

Чернь представляет себе бога как короля, творящего правосудие в своих чертогах. Мягкие сердца воображают его себе отцом, пекущимся о своих детях. Мудрец не приписывает ему никаких человеческих чувств. Он признаёт необходимую потенцию, вечную, одушевляющую всю природу, и смиренно склоняется перед ней.

ДИАЛОГИ ЭВГЕМЕРА

Диалог первый
ОБ АЛЕКСАНДРЕ

Калликрат. Ну-с, мудрый Эвгемер *, что видели вы во время своих путешествий?

Эвгемер. Глупости.

Калликрат. Как! Вы путешествовали в свите Александра и вас не охватил экстаз восторга?

Эвгемер. Вы хотите сказать, экстаз жалости?

Калликрат. Жалости к Александру!

Эвгемер. К кому же еще? Я видел его только в Индии и в Вавилоне, куда я, как и другие, отправился в тщетной надежде просветиться. Мне там сказали, что он и в самом деле начал свои походы как герой, но закончил их как глупец. Я видел этого полубога, превратившегося в самого жестокого из варваров, после того как он был самым гуманным из греков. Я видел трезвого ученика Аристотеля, ставшего презренным пьяницей. Я отправился вслед за ним, когда, оставив трапезу, он принял решение поджечь величественный храм Эстекара, дабы удовлетворить прихоть жалкой распутницы, именуемой Таис. Я сопровождал его во время его безумств в Индии, и, наконец, я узрел его умирающим в расцвете лет в Вавилоне из-за того, что он напился как последний забулдыга из его войска.

Калликрат. Какое унижение для великого человека!

Эвгемер. Иных среди великих не существует; они как магнит, определенное свойство коего я открыл: один его конец притягивает, другой — отталкивает.

Калликрат. Александр крайне меня отталкивает, когда, подвыпив, сжигает город. Но мне совсем неизвестен Эстекар, о котором вы мне рассказываете; я знаю

---

* Эвгемер был сиракузским философом, жившим в век Александра. Он путешествовал, как Пифагор и Зороастр. Он мало писал; под его именем до нас дошло только это небольшое сочинение.— *Примеч. Вольтера.*

только, что этот сумасброд и безумная Таис сожгли для своей забавы Персеполь.

Эвгемер. Эстекар — как раз то, что греки именуют Персеполем. Нашим грекам нравится перелицовывать вселенную на греческий лад: они дали реке Зом-Бодпо имя «Инд»; другую реку они наименовали «Гидасп»; ни один из городов, осажденных в свое время и захваченных Александром, не известен под своим подлинным именем. Даже название «Индия» изобретено греками: восточные народы называли эту страну «Одху». Таким же образом в Египте они создали города Гелиополь, Крокодилополь, Мемфис. Стоит им отыскать звучное имя, и этого бывает довольно. Вот так они ввели в заблуждение всю Землю своими именами богов и людей.

Каллликрат. Это еще не столь великое зло. Я не сетую на тех, кто таким образом обманул мир; я виню тех, кто его разоряет. Я совсем не люблю вашего Александра, который отправился из Греции в Киликию, Египет, на Кавказский хребет, а оттуда дошел вплоть до самого Ганга, убивая на своем пути все встречное — врагов, нейтральных людей и друзей.

Эвгемер. Это был лишь реванш: он отправился убивать персов, но до того персы явились, чтобы убивать греков; он помчался на Кавказ, в обширные пределы скифов, но эти скифы дважды опустошали Грецию и Азию. Все народы во все времена подвергались грабежам, порабощению и истреблению со стороны других народов. Говоря «солдат», мы говорим «вор». Каждый народ отправляется грабить своих соседей во имя своего бога. Разве мы не видим сейчас, что римляне, наши соседи, выходят из логова, образуемого семью холмами, для того, чтобы грабить вольсков, антийцев, самнитов? Скоро они придут грабить и нас, если научатся строить лодки. С того момента, как они узнали, что жители Вейи, их соседи, имеют в своих закромах немного пшеницы и ячменя, они заставили своих жрецов-фециалов объявить справедливым грабительский поход против вейентов. Разбой стал священной войной. У римлян есть оракулы, повелевающие убивать и грабить. У вейентов, с своей стороны, есть также оракулы, предсказывающие им, что они украдут римскую солому. Наследники Александра разворовывают сейчас для себя провинции, ко-

торые раньше они разворовывали для своего грабителя-господина. Таким был, таков есть и таковым всегда будет человеческий род. Я объездил половину Земли и видел там только безумства, несчастья и преступления.

Калликрат. Могу ли я спросить вас, встретили ли вы среди стольких народов хоть один справедливый?

Эвгемер. Ни одного.

Калликрат. Скажите же мне, какой из них наиболее глуп и зол.

Эвгемер. Тот, что более других суеверен.

Калликрат. Но почему самый суеверный народ — самый злой?

Эвгемер. Потому что суеверные считают, будто они выполняют из чувства долга то, что другие делают по привычке или в припадке безумия. Заурядный варвар, такой, как грек, римлянин, скиф, перс, после того как он в добрый час совершил убийство, грабеж, выпил вино тех, кого только что убил, и изнасиловал дочерей убитых отцов семейств, более ни в чем не нуждается и становится кротким и гуманным, чтобы расслабиться. Он прислушивается к чувству жалости, заложенному природой в глубине человеческого сердца. Он подобен льву, прекратившему преследование добычи с того момента, как он не чувствует себя больше голодным. Но суеверный человек напоминает тигра, продолжающего убивать и терзать добычу даже тогда, когда он сыт. Верховный жрец Плутона говорит ему: «Истребляй всех поклонников Меркурия, поджигай все дома, убивай всех животных»; и мой святоша почел бы себя святотатцем, если бы оставил живыми хоть одного ребенка и одну кошку на территории Меркурия.

Калликрат. Как! На свете существуют такие страшные народы, и Александр не истребил их, вместо того чтобы идти к Гангу и нападать там на мирных и человеколюбивых людей — тех, кто, если верить рассказам, изобрел философию?

Эвгемер. Разумеется, нет; он, как стрела, пронесся сквозь одно из маленьких племен фанатичных варваров, о которых я сейчас говорил; и поскольку фанатизм не исключает подлости и трусости, эти жалкие люди попросили у него пощады, льстили ему, выдали ему часть награбленного ими золота и получили разрешение грабить и впредь.

Калликрат. Значит, человеческий род ужасен?

Эвгемер. Среди обширного числа этих зверей встречаются иногда овцы, но большинство их — волки и лисы.

Калликрат. Я хотел бы понять, откуда эта огромная диспропорция в пределах одного и того же рода?

Эвгемер. Говорят, происходит это потому, что лисы и волки пожирают овец.

Калликрат. Нет, мир этот слишком несчастен и страшен; я бы хотел знать, откуда берется столько бедствий и глупостей.

Эвгемер. И я бы хотел того же. Давно уже, возделывая свой сад в Сиракузах, я об этом грежу.

Калликрат. Прекрасно! И что это были за грезы? Скажите мне, прошу вас, немногословно, всегда ли наша Земля была населена людьми? И вообще, всегда ли существовала она сама? Есть ли у нас душа? Вечна ли эта душа, как считают вечной материю? Существует ли один бог или множество? Что эти боги делают, почему они милостивы? Что такое добродетель? Что такое порядок и беспорядок? Что такое природа? Имеет ли она законы? Кто эти законы установил? Кто изобрел общество и искусства? Какое правление наилучшее? И особенно — в чем самый верный секрет, помогающий избегать опасностей, коими каждый человек окружен на каждом шагу? Все остальное мы исследуем в другой раз.

Эвгемер. Да это разговор не меньше чем на десять лет, если беседовать по десяти часов ежедневно!

Калликрат. А между тем обо всем этом шла вчера речь у прекрасной Евдоксии, и беседовали между собой самые приятные в Сиракузах люди.

Эвгемер. Ну, и какой же был сделан вывод?

Калликрат. Да никакого. Там присутствовали два жреца — Цереры и Юноны, и дело кончилось их взаимной перебранкой. Так откройте же мне без стеснения все ваши мысли. Я обещаю вам не спорить с вами и не выдавать вас жрецу Цереры.

Эвгемер. Отлично! Задайте мне ваши вопросы завтра; я попытаюсь вам ответить, но не обещаю вас удовлетворить.

Диалог второй
О БОЖЕСТВЕ

Калликрат. Начну с обычного вопроса: существует ли бог? Великий жрец Юпитера Аммона объявил Александра сыном бога, и ему за это щедро заплатили; но сей бог — существует ли он? И не смеются ли над нами с того самого времени, как о нем говорят?

Эвгемер. Действительно, над нами смеялись, когда заставляли нас поклоняться Юпитеру, скончавшемуся на Крите, или каменному барану, скрытому в песках Ливии. Греки, люди остроумные до глупости, недостойным образом насмеялись над человечеством, когда из греческого слова, означающего *бежать,* они сделали слово *theoi* — «бегущие боги» *. Их пресловутые философы — на мой взгляд, самые неразумные разумники в этом мире — утверждали, будто такие бегуны, как Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, — бессмертные боги, ибо они находятся в вечном движении и, как представляется, движутся сами по себе. С таким же успехом они могли бы сделать божествами ветряные мельницы.

Калликрат. Нет, нет, я говорю с вами не об афинских бреднях, а также и не о египетских. Я не спрашиваю вас, может ли быть богом планета, баран Аммона или бык Апис и ел ли бога Камбиз, приказавший насадить этого быка на вертел. Я спрашиваю вас совершенно серьезно, существует ли бог, сотворивший мир. В Сиракузах мне рассмеялись в лицо, когда я заметил, что, быть может, такой бог существует.

Эвгемер. А где, скажите пожалуйста, вы в Сиракузах остановились?

Калликрат. У архонта Гиеракса, моего близкого друга, не более верящего в бога, чем Эпикур.

Эвгемер. А у этого архонта, верно, есть великолепный дворец?

Калликрат. Восхитительный! Главный корпус украшен тридцатью шестью коринфскими колоннами, между которыми помещены статуи, принадлежащие величайшим мастерам. А два флигеля...

* Греч. θέω -«бегу»; Θεός (Θεοί) — бог (боги); это обычное для древней александрийской филологической школы поверхностное этимологизирование по созвучию.— *Примеч. переводчика.*

Эвгемер. Пощадите, не надо о флигелях! С меня довольно и того, что красивый дворец указывает мне на присутствие архитектора.

Калликрат. А, я вижу, куда вы гнете! Вы хотите сказать мне, что устройство вселенной, необъятность пространства, наполненного мирами, правильно вращающимися вокруг своих солнц, свет, изливающийся из этих солнц и оживляющий все эти сферы, наконец, все это непостижимое хозяйство указывают на хозяина, в высшей степени разумного, могущественного и вечного; вы собираетесь предъявить мне прекрасные открытия Платона, расширившие сферу существ; вы хотите показать мне великое бытие, возглавляющее эту массу миров, каждый из которых создан для других. Но эти избитые рассуждения не убеждают наших эпикурейцев. Они хладнокровно возражают вам, что вовсе не спорят с тем, что все это — творения природы и в этом присутствует великое бытие; его можно видеть, ощущать в Солнце, звездах, во всех плодах нашей Земли, говорят они, в нас самих, и великой слабостью и безрассудством является стремление приписать какому-то неведомому воображаемому существу, которого нельзя видеть и относительно которого невозможно создать себе ни малейшего представления, — приписать ему, говорю я, деятельность этой природы, столь явно для нас ощутимой, столь знакомой по ее постоянным свершениям, всюду лежащей у нас под ногами, простирающейся над нашими головами, заставляющей нас рождаться, жить и умирать и явно являющейся богом, коего вы ищите: читайте же «Систему природы»[1], «Историю природы», «Принципы природы», «Философию природы», «Кодекс природы», «Законы природы» и т. д.

Эвгемер. А если я скажу вам, что нет никакой природы, но все во Вселенной — искусство и искусство это указывает на творца?

Калликрат. Как! Никакой природы и всё — искусство? Что за пустая идея!

Эвгемер. Первым эту истину выдвинул один малоизвестный философ, быть может невысоко ценимый среди других; но оттого, что исходит она от безвестного человека, она не меньше является истиной. Вы признаёте, что не можете понимать под этим расплывчатым термином — *природа* — ничего иного, кроме совокуп-

ности существующих вещей, большинство из которых не доживет до завтра: в самом деле, деревья, камни, овощи, гусеницы, козы, девочки и обезьяны не образуют абсолютного бытия, каким бы это бытие ни было. Следствия, не существовавшие вчера, не могут быть вечной, необходимой и творящей причиной. Ваша природа — еще раз — это всего лишь слово, изобретенное для обозначения всеобщности вещей.

Дабы показать вам теперь, что все создало искусство, прошу вас, понаблюдайте всего лишь какое-нибудь насекомое, улитку, муху: вы увидите в них бесконечное искусство, кое не может воспроизвести никакая человеческая изобретательность: следовательно, должен существовать бесконечно искусный мастер, и именно его мудрецы именуют богом.

Каллик рат. Мастер, существование коего вы предполагаете, и есть, согласно нашим эпикурейцам, тайная сила, вечно действующая в этой совокупности вещей, постоянно гибнущих и постоянно воспроизводимых вновь, — сила, которую мы именуем природой.

Эвгемер. Каким образом может быть некая сила распределена в существах, перестающих существовать или еще не родившихся? Как эта слепая сила может обладать достаточным интеллектом для образования чувствующих или думающих живых существ и стольких солнц, каковые, вероятно, вообще не думают? Понимаете ли вы, что подобная система, не основанная ни на какой предшествующей истине, есть всего лишь греза, порожденная воспаленным воображением? Тайная сила, о которой вы толкуете, может пребывать лишь в существе настолько могущественном и разумном, что оно способно образовать разумные существа; в существе необходимом, ибо без его существования не было бы ничего; в существе вечном, ибо, существуя само по себе, оно не допускает определения такого момента, когда бы оно не существовало; в существе благом, ибо, будучи причиной всего, оно не допускает проникновения в себя зла. Вот что мы, стоики, именуем богом: это — великое бытие, которому мы стараемся подражать в добродетели, поскольку слабые творения могут приблизиться лишь к тени своего Творца.

Каллик рат. Но именно это оспаривают у вас наши эпикурейцы. Вы напоминаете скульпторов: они с по-

мощью своих резцов высекают прекрасную статую и начинают ей поклоняться. Вы лепите своего бога, а затем награждаете его эпитетом «благой»; однако взгляните на одну только нашу Этну, на город Катанин, поглощенный ею в течение нескольких лет, и на его еще дымящиеся руины. Вспомните, что́ сообщает нам Платон о гибели острова Атлантида, затонувшего не более десяти тысяч лет назад; подумайте о наводнении, разрушившем всю Грецию.

Что касается нравственного зла, то припомните лишь все то, что вы видели сами, и называйте вашего бога благим, если посмеете. Ведь на этот знаменитый довод никто еще не сумел дать ответ: либо бог не смог воспрепятствовать злу — и тогда всемогущ ли он? Либо он это мог, но не сделал, — где же тогда его благость?

Эвгемер. Это старинное рассуждение, по-видимому развенчивающее бога и ставящее на его место хаос, всегда меня ужасало; страшные безумства, свидетелем коих я был на этом злополучном шаре, еще более меня ужасают. Однако у подножия горы Этны, извергающей пламя и сеящей вокруг нас смерть, я вижу самые веселые и плодоносные поля; в Сиракузах после десятилетия убийств и разрухи я вижу возрождение мира, изобилия, удовольствий, песен и философии; итак, в этом мире все же есть благо, если и существует такое количество зла. Итак, доказано, что бог — если он творец всего — не абсолютно зол.

Калликрат. Но вовсе не довольно того, что бог не всегда и не абсолютно жесток, — надо, чтобы он не был таким никогда. А ведь Землю, его так называемое творение, постоянно постигают ужасные катастрофы. Когда отдыхает Этна, ярятся другие вулканы. Когда уже нет Александра, поднимают головы другие разрушители. На нашем шаре не было ни мгновения без преступлений и катастроф.

Эвгенер. Именно к этому я и веду. Идея бога-палача, создавшего свои творения затем, чтоб их мучать, ужасна и нелепа; идея двух богов, один из коих творит благо, а другой — зло, еще более нелепа и не менее ужасна. Но если вам доказывают истину, разве эта истина умаляется оттого, что она влечет за собой тревожные следствия? Есть необходимое бытие, вечное, источник всего существующего; разве наши страдания умаля-

ют его существование? Разве умаляет его существование то, что я неспособен объяснить, почему мы страдаем?

Калликрат. Способны вы или нет, я все же прошу вас решиться вместе со мной выяснить ваши мысли на этот счет.

Эвгемер. Я трепещу, ибо хочу поведать вам вещи, похожие на систему, а недоказанная система — всего лишь хитроумная глупость. Как бы то ни было, вот весьма слабый проблеск, различаемый мной, как мне кажется, в этой глубокой мгле; ваше же дело — либо погасить эту искру, либо ее раздуть.

Прежде всего, я отмечаю, что не могу получить представления о боге раньше, чем я получил идею необходимого бытия, существующего само по себе, в силу своей вечной, разумной, благой и могущественной природы. Все эти признаки, представляющиеся мне существенными для бога, не свидетельствуют о том, что он может творить невозможное. Он никогда не сможет сделать так, чтобы три угла треугольника не равнялись в сумме двум прямым. Он не добьется того, чтобы два противоречивых положения между собой согласовались. Возможно, то было противоречием, чтобы зло не вошло в этот мир. Я предполагаю немыслимым, чтобы ветры, необходимые для проветривания земель и для того, чтобы помешать застаиванию морей, не поднимали бурь. Огонь, разлитый под земной корой для образования растений и минералов, должен был сотрясать земли, разрушать города, уничтожать их обитателей, вызывать оседание гор и воздвигать на их место новые.

Было бы противоречием, если бы все живые существа жили вечно и вечно плодились: вселенная не могла бы их тогда прокормить. Таким образом, смерть, на которую смотрят как на величайшее зло, была столь же необходима, как и жизнь. Нужно было, чтобы желания воспламенялись в органах всех животных, кои не умели бы стремиться к собственному благополучию без направленного на него вожделения; эти аффекты не могли быть живыми без неистовства, а следовательно, без того, чтобы они вызывали те сильные страсти, кои становятся причиной ссор, войн, убийств, обманов и разбоя. Наконец, бог не мог устроить вселенную иначе как на условиях, на которых она существует.

Калликрат. Значит, ваш бог все же не всемогущ?

Эвгемер. Поистине, он единственный, кто могущественен, ибо это он все создал; но он не сверх меры могущественен. Из того, что зодчий выстроил дом высотой в пятьдесят футов, сложенный из мрамора, не следует еще, что он мог бы построить дом высотой в пятьдесят лье, сложенный из варенья. Каждое существо ограничено своей природой; я осмеливаюсь полагать, что верховному бытию присуще такое же ограничение. Я осмеливаюсь думать, что этот архитектор вселенной, столь ясно зримый нашему уму и в то же время непостижимый, не обитает ни среди нашей огородной капусты, ни в маленьком Капитолийском храме. Но каково его обиталище? С какого неба, с какого Солнца рассылает он всей природе свои вечные указы? Я ничего об этом не знаю; однако я знаю, что вся природа ему повинуется.

Калликрат. Но если все ему повинуется, то когда, думаете вы, издал он свои первые законы для всей этой природы и создал эти бесчисленные солнца, эти планеты, кометы, а также эту бренную и злополучную Землю?

Эвгемер. Вы неизменно задаете мне вопросы, на какие отвечать можно одними только сомнениями. Если я осмелюсь высказать еще одну догадку, я скажу, что, поскольку сущностью этого верховного, вечного бытия, этого создателя, хранителя, разрушителя и восстановителя является действие, немыслимо, чтобы он не действовал вечно. Творения вечного Демиурга по необходимости стали вечными, подобно тому как с первого же момента существования Солнца стало необходимым, чтобы его лучи проникали пространство прямолинейно.

Калликрат. Вы отвечаете мне сравнениями; это заставляет меня подозревать, что вы не усматриваете ясно и точно те вещи, о которых мы говорим; вы стараетесь их прояснить, но, какие бы вы ни прилагали усилия, вы все время вопреки самому себе возвращаетесь к системе наших эпикурейцев, приписывающих всё некой скрытой силе — необходимости. Вы называете эту тайную силу богом, они же — природой.

Эвгемер. Я нисколько не был бы раздосадован, если бы у меня оказалось нечто общее с истинными эпикурейцами — людьми благородными, очень мудрыми и

уважаемыми; но я не согласен с теми, кто признает богов лишь затем, чтобы над ними смеяться, изображая их старыми никчемными распутниками, отупевшими от вина, любви и обжорства.

Что до истинных эпикурейцев, полагающих счастье в одной добродетели, но признающих лишь тайную силу природы, то я согласен с их мнением при условии, что сия тайная сила принадлежит необходимому бытию, вечному, могущественному и разумному, ибо мыслящее существо, именуемое человеком, может быть творением только в высшей степени разумного бытия, т. е. бога.

Калликрат. Я передам им ваши соображения и выражу пожелание, чтобы они рассматривали вас как своего собрата.

Диалог третий

О ФИЛОСОФИИ ЭПИКУРА И О ГРЕЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Калликрат. Я говорил с нашими добрыми эпикурейцами. Большинство из них продолжает настойчиво верить, что их доктрина, по существу, ничем не отлична от вашей. Так же как вы, они допускают вечную, тайную, незримую силу; и поскольку они — здравомыслящие люди, они признают, что сила эта должна быть мыслящей, раз она создала мыслящие существа.

Эвгемер. Это большой шаг на пути познания истины; но что касается тех, кто осмеливается утверждать, будто материя сама по себе может обладать способностью мышления, то я не могу рассуждать, как они, ибо я отправляюсь от принципа: «Дабы создать мыслящее существо, надо им быть»; они же исходят из предположения: «Мысль может быть дана бытием, каковое само не мыслит», более того, бытием, коего не существует, ибо мы ясно видели, что нет такого бытия, как природа, и это всего лишь отвлеченное имя, обозначающее множество вещей.

Калликрат. Скажите же нам, каким образом эта тайная и необъятная сила, именуемая вами богом, дает нам жизнь, ощущение, мысль? У нас есть душа; но есть ли она у других животных? Что такое эта душа? Появляется ли она в нашем теле, когда мы в зародышевом

состоянии находимся во чреве матери? И куда она уходит, когда наше тело разлагается?

Эвгемер. Я неопровержимо убежден в том, что бог дал всем нам — людям, животным, растениям, солнцам и крупицам песка — все то, чем мы владеем, все наши способности и наши свойства. В органах, производящих нас на свет и дающих нам жизнь, а также позволяющих нам мыслить, и в законах, управляющих всем, заложено столь глубокое и непостижимое искусство, что я бываю близок к полному истощению, когда осмеливаюсь пытаться понять самую ничтожную деталь этой универсальной пружины, обеспечивающей существование всего, что существует.

Я обладаю чувствами, прежде всего доставляющими мне удовольствие или страдание. У меня есть идеи, образы, получаемые мной через посредство моих чувств и входящие в меня без всякого зова с моей стороны. Я не образую сам эти идеи; но когда они скапливаются во мне в достаточно большом количестве, я с огромным удивлением начинаю чувствовать в себе способность комбинировать из них некоторые сложные представления. Развивающаяся во мне способность припоминать то, что я видел и чувствовал, позволяет мне сочетать у себя в голове образ моей кормилицы с образом моей матери, а образ дома, в котором меня растят, — с образом соседнего дома. Так я собираю воедино тысячи различных идей, из которых ни одна не была порождена мной: действия эти — результат другой способности, способности повторять услышанные мной слова и связывать с ними поначалу какой-то небольшой смысл. Мне говорят, что все это называется памятью.

Наконец, когда со временем мои органы укрепляются, мне говорят, что мои способности чувствовать, припоминать, сочетать идеи и есть то, что именуют *душой.*

Слово это не означает и не может означать ничего, кроме одушевляющего начала. Все восточные народы называют «жизнью» то, что мы именуем «душой»; таким образом, мы обладаем способностью давать обобщающие и отвлеченные имена вещам, не поддающимся у нас определению. Мы вожделеем, но в нас вовсе не живет реальное существо, именуемое «вожделением». Мы хотим, но в нашем сердце нет маленькой особы, именуемой «воля». Мы воображаем, но в нашем мозгу нет осо-

бого воображающего существа. Люди всех стран (я разумею людей мыслящих) изобрели общие термины для выражения всех действий и всех следствий того, что́ они чувствуют и видят: они говорят «жизнь и смерть», «сила и слабость». Нет, однако, реального существа, кое представляло бы собой слабость, силу, смерть или жизнь; но эти способы выражения столь удобны, что они были приняты во все времена у народов, способных рассуждать.

Эти выражения, служа облегчению рассуждений, в то же время породили множество ошибок. К примеру, живописцы и скульпторы, желая представить силу, изображают мощного человека с волосатой грудью и мускулистыми руками; чтобы передать идею слабости, они изобразили ребенка. Таким образом были персонифицированы страсти, добродетели, пороки, времена года и дни. Благодаря этой постоянной маскировке люди привыкли воспринимать все свои способности, все свои свойства и отношения с остальной природой как реальные существа, а слова считать вещами.

Из отвлеченного слова *душа* они сделали особое существо, обитающее в нашем теле; они разделили это существо на три части, и так называемые философы заявили, что число три совершенно, так как оно состоит из единичности и двоичности. Из трех частей они одну поставили во главе пяти чувств и нарекли ее *psychè;* вторую они поместили в область груди: это — *pneuma,* дуновение, дыхание, дух; третья часть находится в голове — то мысль, *nous.* Из трех сих душ после смерти образуется, как они считают, четвертая, *skiá* *, тени, маны или оборотни.

Тотчас же обнаружилось, что, говоря о душе, люди обречены на вечное взаимное непонимание: слово это породило тысячи вопросов, вынуждающих ученых людей молчать, а шарлатанам позволяющих разглагольствовать. Итак, явились ли все эти души от первого мужчины, созданного вечным Демиургом, или от первой женщины? Или они были созданы отдельно все сразу, с тем чтобы каждая из них в свой черед спускалась сюда, на Землю? Представляет ли собой их субстанция эфир или

---

* σκιά (греч.) — тень, призрак.— *Примеч. переводчика.*

огонь или ни то ни другое? Кто — жена или муж — спрыскивает душу плодоносящей жидкостью? Является ли душа в утробу матери до того, как члены ребенка сформировались, или же после? Чувствует ли она и мыслит в сорочке, в кою заключен плод? Возрастает ли ее субстанция, когда вырастает тело зародыша? Одинакова ли природа всех душ? И разве нет никакой разницы между душой Орфея и душой глупца?

Когда эта душа созревает для выхода из матки, где она обитала в течение девяти месяцев между пузырем, наполненным мочой, и грязной кишкой, набитой калом, люди дерзают задавать вопрос, явилась ли означенная дама в эту клоаку с полным представлением о бесконечности, вечности, абстрактном и конкретном, о прекрасном и благом, о справедливости и порядке. Далее возникли препирательства, направленные на выяснение, постоянно ли мыслит это бедное созданье, будто можно мыслить в глубоком и мирном сне, в тяжелом опьянении или при абсолютном исчезновении идей, являющемся следствием полной апоплексии или эпилепсии. Великий боже, что за нелепые дрязги среди этих слепцов, спорящих о природе красок! Наконец, возникает вопрос, чем становится душа, когда тела больше не существует? Великие наставники человечества — Орфей, Гомер — изрекли: она становится *тенью* (*skiá*), призраком. Улисс при входе в подземное царство видит оборотней, тени, лижущие в провале кровь и пьющие молоко. Чародеи и колдуны, одержимые духом Пифона, вызывают маны, тени умерших, поднимающиеся из-под земли. Есть души, у коих грифы выклевывают печень; другие души постоянно прогуливаются под сенью деревьев, и в том заключено высшее блаженство, то — рай Гомера.

Люди порядочные не были удовлетворены подобными бесчисленными ребячествами. Что до меня, то я решил прибегнуть к богу и сказать ему: «Тебе, и только тебе, абсолютный господин природы, я обязан всем; ты даровал мне способность чувствовать и мыслить, точно так же как переваривать пищу и ходить. Я благодарю тебя за это и не выпытываю у тебя твой секрет». Эта молитва, на мой взгляд, более разумна, чем пустые и нескончаемые споры о *душе* (*psychè*), *дыхании* (*pneuma*), *уме* (*nous*) и *тени* (*skiá*).

Калликрат. Если вы верите, что бог занимает у нас место души, значит, вы всего лишь механизм, пружинами которого управляет бог: вы существуете в боге, вы все усматриваете в боге, он действует внутри вас. Скажите по совести, вы находите, что эта система лучше нашей?

Эвгемер. Я предпочел бы доверять богу, а не себе. Некоторые философы в это верят; само малое их число убеждает меня в том, что они правы. Они утверждают, что творец должен быть хозяином своего творения и во вселенной не может происходить ничего, что не было бы подчинено верховному мастеру.

Калликрат. Как! Вы осмеливаетесь утверждать, будто бог без конца занят тем, что пускает в ход все эти механизмы?

Эвгемер. Боже меня сохрани! Вот таким образом в спорах всегда приписывают своему противнику то, чего он не говорил. Напротив, я утверждаю, что вечный суверен от века установил свои законы, которые всегда будут выполняться всеми существами. Бог однажды повелел, вселенная же подчиняется вечно.

Калликрат. Я очень опасаюсь, как бы мои теологи-эпикурейцы не упрекнули вас в том, что вы делаете бога творцом греха: ведь, если он вас одушевляет и вы совершаете ошибку, получается, что эту ошибку допустил он.

Эвгемер. Подобный упрек можно адресовать всем сектам, за исключением атеистов; любая секта, допускающая полноту божественного могущества, обвиняет божество в том, что оно не препятствует проступкам. Такая секта говорит богу: «Господин верховный суверен, вы должны устранить все зло; если вы допускаете врага в выстроенные вами пределы, это ваша собственная вина». Бог на это ей отвечает: «Дочь моя, я не могу творить противоречивые вещи; если бы зло не существовало, в то время как существует благо, это было бы противоречием; противоречием было бы, если бы существовал огонь, который не мог бы вызвать пожар, или вода, в которой не могло бы утонуть живое существо».

Калликрат. И вы находите такое решение вопроса удовлетворительным?

Эвгемер. Я не знаю лучшего.

Калликрат. Берегитесь, вам скажут, что поклон-

ники богов в Египте и Греции рассуждали более последовательно, когда изобрели Тартар, в коем караются преступления: в подобном случае божественная справедливость оправдана.

Эвгемер. Странный способ оправдывать своих богов! И каких богов! Прелюбодеев, убийц, кошек, крокодилов! Ведь речь идет сейчас о том, почему существует зло. Разве умели ваши греки и египтяне это объяснить? Смогли ли они изменить природу зла? Сумели ли смягчить ужасы, изображая нам ряд преступлений и вечных мук? Разве эти боги не варварские чудовища — они, породившие Тантала лишь затем, чтобы он съел вместо рагу мясо своего сына, а потом был вечно пожираем чудовищным голодом, сидя бесконечный ряд веков за накрытым столом? Другой государь непрерывно вращает свое колесо, окруженный змеями; сорок девять дочерей еще одного царя убивают своих мужей и осуждены вечно наполнять бездонную бочку. Несомненно, было бы гораздо лучше, если бы этих сорока девяти дочерей и всех осужденных на муки царей вообще не существовало на свете; не было ничего легче, как просто избавить их от существования, преступлений и казней. Ваши греки изображают своих богов тиранами и бессмертными палачами, без устали занятыми творением несчастных, осужденных совершать преходящие преступления и подвергаться бесчисленным карам. Вы согласитесь со мной, что подобная теология достаточно зловеща. Теология эпикурейцев более гуманна. Но я осмеливаюсь считать свою теологию более божественной: мой бог — не сластолюбивый ленивец, подобный богам Эпикура, не варвар и монстр, подобный богам Египта и Греции.

Калликрат. Я предпочитаю вашего бога всем остальным, но остается много сомнений; я попросил бы вас снять их в нашей ближайшей беседе.

Эвгемер. Я всегда делился с вами своими мыслями лишь как сомнениями.

Диалог четвертый
НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БОГ БОГОВ ЭПИКУРА, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ПОЛНОМ БЕЗДЕЙСТВИИ?

Калликрат. Я убежден в том, что вся Земля и то, что ее окружает, человеческий род и род зверей, а также все, что находится вне нас, — одним словом, вселенная — не образовалось само по себе и в мире царит безграничное искусство; я с уважением воспринимаю идею единого мастера, верховного господина, отвергаемую многочисленной сектой эпикурейцев. Я предполагаю, что этот господин природы является во многих отношениях тем, чем был бог Тимея, бог Окелла Лукана и Пифагора: он не создал материю небытия, ибо небытие, как вы это знаете, не имеет свойств; ничто не возникает из ничего, ничто не возвращается в ничто; я постигаю, что всеобщность вещей является эманацией этого бога, который один только существует сам по себе и является творцом всего. Он устроил все в соответствии со всеобщими законами, вытекающими из его мудрости, точно так же как и из его могущества. Я принимаю значительную часть вашей философии, хотя она и возмущает большинство наших мудрецов, однако меня останавливают две трудности: мне кажется, бог получается у вас и недостаточно свободным, и недостаточно справедливым.

Он не свободен, ибо он — необходимое существо, из коего с необходимостью проистекает необъятность вещей; он не справедлив, ибо большинство достойных людей бывают в своей жизни преследуемы, а вы мне не говорите, что справедливость бывает восстановлена после их смерти и преступники после смерти бывают наказаны. Религии греков и египтян имеют большое преимущество перед вашей теологией. Они придумали кары и воздаяния. Мне кажется, то единственный способ предводительствовать людьми; почему вы его отвергаете?

Эвгемер. Сначала я вам отвечу по поводу свободы, а потом — по поводу справедливости. Быть свободным — значит делать все что угодно; но, разумеется, бог сделал все, что хотел. Он удостоил предоставить нам

долю той восхитительной свободы, коей мы пользуемся, когда поступаем в соответствии с нашей волей. Он простер свою милость столь далеко, что даровал эту привилегию всем живым существам, делающим то, что они хотят, сообразно с пределами своих сил.

При том, что бог очень могуществен и весьма свободен, я не могу вам сказать, будто он свободен и могуществен безгранично: ведь вопреки всем утверждениям геометров я не знаю, что́ это такое — актуальная бесконечность. Я могу вам только сказать: бог не свободен делать немыслимое, ибо это означало бы противоречие в посылках; он не свободен сделать так, чтобы на двух сторонах Пифагорова прямоугольного треугольника можно было построить два квадрата, меньших или бо́льших, чем квадрат, образованный наибольшей стороной, потому что то было бы противоречием, вещью немыслимой. Это почти тот же довод, что я вам уже приводил: бог весьма совершенен и не обладает свободой творить зло.

Что до справедливости, то вы будете очень смеяться надо мной, если я стану вам говорить о преисподней греков. Их пес Кербер, лающий всеми своими тремя пастями, их три Парки, три Эвмениды являются столь смешными фантазиями, что над ними смеются дети. Бог не являлся мне, он не явил мне также Александра, гонимого тремя подземными фуриями за то, что он столь несправедливо расправился с Каллисфеном, и я не видел Каллисфена сидящим за одной трапезой с богом на десятом небе и пьющим нектар, подаваемый им Гебой. Бог дал мне достаточно разума, чтобы я мог убедиться в его существовании; но он не дал мне столь проникновенного взора, чтобы я мог увидеть происходящее на берегах Флегетона и в эмпиреях. Я сохраняю благоговейное молчание относительно кар, коими он казнит преступников, и наград, воздаваемых справедливым. Могу вам только сказать, что никогда не видел счастливого злодея, однако видел многих достойных людей весьма несчастными — это меня смущает и огорчает. Но эпикурейцы стоят перед той же трудностью, что и я. Они должны испытывать то же, что я, и так же, как я, стонать при виде довольно частого торжества преступления и добродетели, повергнутой к стопам порочного человека. И может ли быть столь утешительным для

порядочных людей, какими являются истинные эпикурейцы, полное отсутствие надежды?

Калликрат. У этих эпикурейцев перед вами заметное преимущество: они не должны упрекать верховное бытие, справедливого бога, за то, что он оставляет добродетель без помощи. Они признают богов только из чувства приличия, дабы не возмутить афинскую чернь; но они не делают их творцами людей, их судьями и палачами.

Эвгемер. Однако когда ваши эпикурейцы признают лишь бесполезных богов, занятых попойками и едой, разве они оказываются бóльшими друзьями людей? Разве они этим подводят более прочный фундамент под добродетель и лучше утешают нас в наших несчастьях? Увы! Что толку, что в небольшом уголке Сицилии живет маленькое сообщество двуногих существ, худо ли, хорошо ли рассуждающих о Провидении?

Для того чтобы понять, будем ли мы счастливы или несчастны после своей смерти, следовало бы знать, может ли остаться от нас что-нибудь чувствующее, после того как все наши органы чувств разрушены, что-нибудь мыслящее, после того как мозг, в котором рождаются мысли, источен червями и вместе с ними обращен в прах; может ли какая-либо способность или свойство живого существа продолжать жить, когда этого существа уже нет в живых? Эту проблему до сих пор не могла разрешить ни одна секта; более того, ни один человек не может понять ее смысл. Ведь если бы во время обеда кто-нибудь спросил: «Сохраняет ли заяц, поданный нам на блюде, способность бегать? А этот голубь — может ли он и теперь летать?» — вопросы эти были бы совершенно нелепы и возбудили бы хохот. Почему? Да потому, что противоречие, невероятность бросается здесь в глаза. А мы уже довольно видели, что бог не может творить немыслимое, противоречивое.

Но если бы в мыслящее существо, именуемое человеком, бог вложил незримую и неосязаемую искорку, некий элемент или нечто более неощутимое, чем атом элемента, — то, что греческие философы именуют монадой; если бы эта монада была неразрушимой; если бы именно она в нас мыслила и чувствовала, тогда я не вижу, почему было бы нелепым сказать: эта монада может существовать и обладать идеями и ощущениями

после того, как тело, чьей душой она является, уже разложилось.

Калликрат. Вы согласитесь, что, если изобретение этой монады и не совсем нелепо, оно все же очень рискованно; не стоит основывать свою философию на вероятностях. Если дозволено сделать из атома бессмертную душу, это право должно принадлежать эпикурейцам: именно они — изобретатели атомов.

Эвгемер. Действительно, я не выдаю вам свою монаду за доказательство; я предложил вам ее как греческую фантазию, позволяющую понять, хоть и не полностью, каким образом незримая и существенная частица нас самих может быть после нашей смерти наказана или вознаграждена, как она может парить в блаженстве или страдать от кар; правда, я не знаю, могу ли я с моими рассуждениями и допущениями найти справедливость в наказаниях, которые бог налагает на людей после их смерти, потому что в конце концов мне могут сказать: разве не он сам, создав людей, обрек их на зло? А если так, за что их наказывать? Быть может, существуют иные способы оправдать Провидение, но нам не дано их знать.

Калликрат. Значит, вы признаёте: вы точно не знаете ни что такое душа, о которой вы мне толкуете, ни что это за бог, коего вы проповедуете?

Эвгемер. Да, я очень смиренно и с большим огорчением это признаю. Я не могу познать их субстанцию, я не понимаю, как образуется моя мысль, не могу представить себе, как устроен бог: я — невежда.

Калликрат. И я также. Утешим же друг друга: все люди нам в этом товарищи.

Диалог пятый

НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ — ОНИ СТОЯТ НА КРАЮ ПРОПАСТИ. ИНСТИНКТ — ПРИНЦИП ЛЮБОГО ДЕЙСТВИЯ У РОДА ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

Калликрат. Коль скоро вы ничего не знаете, я заклинаю вас поведать мне ваши предположения. Вы не объяснились со мной полностью. Сдержанность вызывает

недоверие: философ, не обладающий чистосердечием,— не более чем политик.

Эвгемер. Я не доверяю лишь самому себе.

Калликрат. Говорите же, говорите! Иногда в случайных догадках кроется истина.

Эвгемер. Ну, что ж. Я догадываюсь, что люди всех времен и стран никогда не высказывали и не могли высказать ничего, кроме банальностей, по поводу всего того, о чем вы меня сейчас спрашиваете, и особенно ясно я догадываюсь, что нам абсолютно бесполезно быть осведомленными в этих вещах.

Калликрат. Как бесполезно?! Разве, напротив, не абсолютно необходимо знать, есть ли у нас душа и из чего она состоит? Разве не было бы величайшим наслаждением ясно узреть, что потенция души отлична от ее сущности, что душа — это всё и что она полностью обладает качеством ощущения, будучи *формой* и *энтелехией,* как прекрасно сказал Аристотель? И особенно, что *синэреза* — это не *обычная потенция?*

Эвгемер. Все это, действительно, прекрасно. Но столь возвышенное знание для нас, очевидно, запретно. Видимо, у нас нет в нем необходимости, ибо бог нам его не дал. Мы, без сомнения, обязаны ему всем тем, что может служить нам проводником в этой жизни, — разумом, инстинктом, способностью давать начало движению, способностью давать жизнь существу нашего вида. Первый из этих даров отличает нас от всех прочих живых существ; но бог нам никоим образом не открыл принципа этого дара, значит, он не желал, чтобы мы его знали.* Мы не можем догадываться даже о том, почему мы шевелим кончиком пальца, когда того хотим, и каково отношение между этим маленьким движением одного из наших членов и нашей волей. Между тем и другим лежит бесконечность. Стремиться вырвать у бога его секрет, считать, будто мы знаем то, что он от нас утаил,— это, на мой взгляд, смехотворное кощунство.

Калликрат. Как! Я никогда не смогу узнать, что́ такое душа? И мне не будет даже доказано, что я таковой обладаю?

Эвгемер. Нет, мой друг.

---

* Святой Фома великолепно объясняет все это в вопросах 5—82 части первой своей «Суммы», но Эвгемер не мог этого предвидеть.— *Примеч. Вольтера.*

Калликрат. Скажите же мне, что́ представляет собой наш инстинкт, о котором вы мне только что говорили. Вы сказали, что бог дал нам в распоряжение не только разум, но еще и инстинкт; мне кажется, это свойство обычно приписывают только животным и, по существу, даже не слишком хорошо понимают, что́ подразумевается под этой особенностью. Одни говорят: инстинкт — душа иного вида, нежели наша; другие верят, что это та же душа, но с другими органами; отдельные фантазеры утверждают, будто это всего только механизм; а что придумали на этот счет вы?

Эвгемер. Мне видится, что бог дал нам всё — и нам, и животным, и последние много счастливее наших философов: они не терзают себя желанием знать то, что́ по воле бога им неизвестно; их инстинкт более верен, чем наш; они не создают себе систем по поводу того, во что превратятся их свойства после их смерти; никогда ни одна пчела не имела глупости преподавать в своем улье, что жужжание ее вступит однажды в лодку Харона и тень ее будет откладывать воск и мед на полях блаженных; только наш извращенный разум мог придумать подобные басни.

Наш инстинкт в своем неведении гораздо мудрее: именно в силу инстинкта младенец сосет грудь своей кормилицы, не ведая, что своим ротиком он образует вакуум и именно этот вакуум заставляет грудное молоко стекать вниз в его желудок. Все эти действия инстинктивны. С того момента как у ребенка появляется немного силы, он вытягивает руки перед лицом при падении. Если он хочет перепрыгнуть через небольшую канаву, он бе́гом развивает в себе добавочную силу, хотя никто его не обучил тому, каков будет результат умножения его массы на его скорость. Если он находит плывущий по ручью большой кусок дерева, как бы мало он ни был отважен, он усаживается на эту дощечку, дабы переплыть на другой берег, не задаваясь вопросом, весит ли объем этого дерева вместе с объемом его тела меньше, чем соответствующий объем воды. Если он хочет поднять камень, он пользуется палкой как рычагом, не зная при этом, разумеется, теории движущих сил.

Даже те действия, что кажутся у него следствием воспитания и образованности разума, являются на самом деле следствиями инстинкта. Он не знает, что значит

льстить, но между тем не упускает случая польстить тому, кто может дать ему желанную вещь. Если он видит, как бьют другого ребенка, как течет его кровь, он плачет, кричит, зовет на помощь, совершенно не думая при этом о себе.

Каллик р ат. Определите же мне этот инстинкт, коего вы привели столько примеров.

Эвгемер. Инстинкт — всякое ощущение и действие, предшествующие раздумью.

Каллик р ат. Но ведь вы мне толкуете о неком скрытом (occulte) качестве, а ведь вам известно, что в наше время смеются над этими качествами, столь дорогими сердцам многих греческих философов.

Эвгемер. Тем хуже. Следует уважать скрытые качества, ибо от травинки, притягиваемой янтарем, и вплоть до пути, коим следуют столькие звезды в пространстве, от червячка, образующегося в сыре, и до галактики — всё, что вы видите вокруг себя — будь то падение камня или бег кометы в небесах, — представляет собой скрытое качество.

Слово это — достойное свидетельство нашего неведения. Великий зодчий мира позволил нам измерять, подсчитывать, взвешивать некоторые из его творений, но он не разрешил нам открыть их первичные пружины. Уже халдеи подозревали, что не Солнце вращается вокруг планет, а, наоборот, планеты вращаются вокруг него по различным орбитам. Но я сомневаюсь, чтобы можно было когда-то открыть, какая именно тайная сила увлекает их с запада на восток. Можно вычислить [скорость] падения тел; однако сумеем ли мы открыть первопричину силы, вызывающей их падение? Люди уже довольно давно заняты деторождением; однако они не знают, каким образом их жены за это берутся; наш Гиппократ по поводу этой великой тайны сумел выложить лишь соображения акушерки. Можно целую вечность спорить по вопросам физики и морали, но инстинкт всегда будет править всей Землей, ибо страсти порождены инстинктом, а ведь они всегда будут нами владеть.

Каллик р ат. Если это так, значит, ваш бог — бог зла. Он дал нам родиться только затем, чтобы бросить нас в объятия мрачных страстей: это означает творить людей для того, чтобы вручить их дьяволам.

Эвгемер. Отнюдь. Существуют весьма благие страсти, и бог нам дал разум, дабы их направлять.

Калликрат. Но что он представляет собой — этот бренный разум? Вы еще скажете мне, будто это другой вид инстинкта?

Эвгемер. Почти: он — необъяснимый дар сравнения прошлого с настоящим и заботы о будущем. Таково происхождение любого общества, любого института, любой государственности. Драгоценный этот дар — следствие другого дара бога, столь же непостижимого, — я говорю о памяти: то — другой инстинкт, общий у нас с животными, которым мы, однако, располагаем в несравненно более высокой степени; животные могли бы поэтому принимать нас за богов, если бы они иногда нас не пожирали.

Калликрат. Понимаю, понимаю: бог заботится о том, чтобы молодые лисята сохраняли в памяти случай с их отцом, попавшим в капкан; благодаря инстинкту эти лисята будут избегать ловушки, ставшей причиной смерти их отца. Бог внимательно являет памяти наших сиракузян, что оба наших Дионисия были сквернымн правителями, и он внушает нашему разуму идею республиканского правления. Он гонится за овчаркой, чтобы велеть ей собрать овец, потому что грозит опасность со стороны волка, сотворенного им как раз для того, чтобы тот пожирал овец. Все делает он, он все устрояет, ниспровергает, восстанавливает и разрушает; он постоянно нарушает все свои законы и весьма бесполезно уготавливает себе всевозможные затруднения. Это и есть *физическое преддвижение, предопределяющий указ, воздействие* бога на его творения.

Эвгемер. Либо вы меня очень плохо поняли, либо весьма превратно толкуете мои слова. Я вовсе не утверждаю, будто творец природы вмешивается во все мелочи, хотя и думаю, что никакая мелочь его бы не утомила и не унизила. Я считаю, что он учредил всеобщие законы, незыблемые, вечные, в соответствии с коими всегда будут вести себя люди и животные; я вам это уже достаточно ясно сказал.

Диагор, автор «Системы природы»,[2] говорит в своем пространном напыщенном сочинении почти то же, что вы. Вот его слова в главе IV тома II: «Ваш бог без конца занят созиданием и разрушением, следовательно, его

образ существования не может быть назван незыблемым».

Диагор утверждает, что таким образом мы образуем своего бога из противоречивых качеств; он называет его смешной и страшной иллюзией. Но пусть он разрешит мне ему сказать: весьма дерзко так легкомысленно разделываться со столь серьезным вопросом. Поочередно создавать и разрушать на протяжении всех времен на основе постоянных и вечных законов — это не значит производить случайные перемены; напротив, это значит всегда быть подобным самому себе. Бог дает жизнь и смерть, но он дает их всему миру: он сделал жизнь и смерть необходимостью; он непреложно и постоянно выполняет этот свой план творения и осуществляет свое правление всегда единообразно. Вот если бы он дал возможность некоторым людям жить вечно, тогда, наверное, можно было бы сказать, что незыблемость ему не присуща. Но коль скоро все рождаются, чтобы потом умереть, его непреложность тем самым нерушимо засвидетельствована.

Калликрат. Я признаю: Диагор в этом ошибается; но разве он не прав в высшей степени, когда упрекает некоторых греков в том, что они изображают бога до смешного суетным существом, создавшим мир во имя собственной славы, дабы им восхищались? В том, что они рисуют его жестоким и мстительным господином, карающим за малейшее неповиновение вечными муками? В том, что делают его несправедливым и слепым отцом, покровительствующим из чистого каприза одним своим детям и обрекающим всех остальных на бесконечное злополучие? Действительно, он сделал нескольких старших своих детей добродетельными, дабы вознаградить их за доблесть, бывшую для них неизбежной, и породил целое скопище младших, преступных, для того чтобы покарать их за преступления, навязанные им роком. В том, наконец, что они сделали из бога нелепый фантом, жестокого тирана?

Эвгемер. Но то не бог мудрецов; то бог некоторых жрецов сирийской богини,[3] являющихся позором и ужасом человечества.

Калликрат. Ну, ладно: определите же мне, наконец, вашего бога, чтобы уничтожить наши сомнения.

Эвгемер. Мне думается, я вам доказал, что бог существует, с помощью одного лишь неопровержимого аргумента: мир — восхитительное творение, а следовательно, существует еще более восхитительный творец. Разум вынуждает нас его признать, и лишь безумие стремится к его определению.

Калликрат. Но ведь это полное невежество, и мы ничего не доказываем, без конца восклицая: «Существует нечто превосходное, но я не знаю, что это такое!»

Эвгемер. Припоминаете ли вы путешественников, которые, высадившись на острове, обнаруживают начертанные на прибрежном песке геометрические фигуры? «Смелее! — говорят они. — Вот следы человека!» Мы, стоики, глядя на этот мир, говорим: «Вот следы бога».

Калликрат. Покажите нам эти следы, прошу вас.

Эвгемер. Разве вы не видите их повсюду? И наш разум, и инстинкт, находящиеся в нашем распоряжении, разве не очевидные дары этого великого неведомого бытия? Ведь их источником не являемся ни мы сами, ни та тина, на которой мы обитаем.

Калликрат. Прекрасно! Поразмыслив над всем тем, что вы мне сказали, и вопреки всем сомнениям, возбуждаемым в моем уме распространенным на Земле злом, я все же укрепляюсь в мнении: бог управляет нашей планетой. Но не думаете ли вы, как греки, будто каждая планета имеет своего бога? Будто Юпитер, Сатурн и Марс правят на планетах, носящих их имя, подобно египетским фараонам или персидским и индийским царям — каждый в отведенной ему области?

Эвгемер. Я уже дал вам понять, что ни во что подобное я не верю, и вот на каком основании: вращается ли Солнце вокруг наших планет и нашей Земли, как это считает толпа, верящая лишь своим глазам, или, наоборот, сами Земля и планеты вращаются вокруг Солнца, как предположили современные нам халдеи[4] (и это гораздо более вероятно), неизменно остается верным, что одни и те же потоки света, постоянно изливающиеся с Солнца и доходящие до Сатурна, достигают всех этих планет в течение времени, пропорционального удаленности последних. Достоверно, что эти световые лучи отражаются от поверхности Сатурна и направляются к нам, а от нас — к нему всегда с одной и той же скоростью. Но столь огромное устройство, столь быстрое и однооб-

разное движение, столь постоянное сообщение между невероятно удаленными друг от друга планетами могут быть созданы, по-видимому, лишь одним и тем же провидением. Если бы существовало множество одинаково могущественных богов, они либо имели бы различные намерения, либо одно и то же; если бы они не были между собой согласны, царил бы хаос; а если бы они питали одни и те же замыслы, это все равно как если бы существовал один бог. Не следует без нужды умножать существа, особенно же богов.

Калликрат. Но неужели вы находите таким смехотворным этот вид иерархии, если великий Демиург — верховное бытие — породил подчиненных богов, дабы они правили под его водительством? Если он доверил Солнце своему возничему Аполлону, одну из планет — прекрасной Венере, другую — Марсу, наши моря — Нептуну, а атмосферу — Юноне?

Эвгемер. Я согласен: в этом нет ничего несуразного. Без сомнения, возможно, что великое бытие населило небеса и стихии существами, стоящими выше нас. Это столь обширная область и столь прекрасное зрелище для нашего воображения, что все известные народы носились с подобной идеей. Но поверьте мне, этих воображаемых полубогов мы можем признать лишь в том случае, если нам докажут, что они существуют. По моим понятиям, мне известен во вселенной лишь один бог, существование которого доказал мне мой разум, и его творения, коим я свидетель. Я знаю, что он есть, хотя не знаю, что́ он такое; ограничимся же исследованием его творений.

Диалог шестой

ПРОСВЕТИЛИ ЛИ НАС ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО БОГА И СОТВОРЕНИЯ МИРА?

Калликрат. Ну, хорошо! Скажите мне сперва, каким образом бог принялся за сотворение мира. Какова ваша система на этот счет?

Эвгемер. Моя система относительно творений бога — неведение.

Калликрат. Но если у вас довольно искренности, чтобы признаться в неведении относительно тайны бога,

то у вас хватит, по крайней мере, чистосердечия и на то, чтобы сказать нам, что́ вы думаете о тех, кто претендует на такое знание этой тайны, как если бы они сами присутствовали в божественной лаборатории. Научили ли вас чему-нибудь Платон и Аристотель?

Эвгемер. Они научили меня не доверять ничему из того, что они написали. Вам известно: у нас в Сиракузах живет семья Архимедов, занимающихся из поколения в поколение практической физикой, — то подлинная наука, основанная на опыте и геометрии; семейство это пойдет далеко, если будет жить дальше; однако я был весьма удивлен, когда прочел божественного Платона, постаравшегося использовать то немногое, что он знал в геометрии, для придания кажущейся точности своим измышлениям.

Согласно Платону, бог поставил пред собой задачу организовать четыре элемента в соответствии с измерениями пирамиды, куба, октаэдра, икосаэдра и особенно додекаэдра. Пирамида символизирует своим острием огонь; на долю воздуха достался октаэдр; икосаэдр символизировал воду; куб ввиду своей плотности по праву принадлежал земле; но триумфом Платона стал додекаэдр: ведь фигура эта образуется двенадцатью плоскостями и, таким образом, образует зодиак, в каковой входят двенадцать животных; каждая из двенадцати поверхностей может разделяться на тридцать частей, что явно образует триста шестьдесят градусов круга, обегаемого Солнцем в течение года.

Платон дословно перенял все эти прелести у локрийца Тимея. Тимей их взял у Пифагора, а Пифагор, как утверждают, получил их из рук брахманов.

Трудно дальше зайти в шарлатанстве. Тем не менее Платон превосходит самого себя, добавляя от своего лица, что бог, посоветовавшись со своим Логосом или, иначе говоря, со своим разумом, своим словом (кое Платон именует сыном бога), создал мир, состоящий из Земли, Солнца и планет. Платон также обожествил мир, дав ему душу: все это и образует его знаменитую триаду. Но почему мир этот — бог? Да потому, что он кругл, а округлость — совершеннейшее из очертаний.

Платон объясняет все совершенства и несовершенства этого мира с такой легкостью, будто он его только что создал. Особенно способ, каким он доказывает в своем

«Федоне» бессмертие человеческой души, поражает своей прозрачностью: «Не говорите ли вы, что смерть противоположна жизни? — Да. — И что они рождаются одна из другой? — Да. — Что́ рождается от живого? — Мертвое. — А от мертвого? — Живое. — Значит, все живое рождается от мертвого, а следовательно, души людей после кончины оказываются в преисподней? — Это ясно само собой».

Вот каким образом Платон заставляет рассуждать Сократа в диалоге «Федон». В истории сохранился рассказ, согласно которому Сократ, прочтя это сочинение, воскликнул: «Какие глупости заставляет меня говорить наш друг Платон!»

Если бы богу показали все то, что приписывает ему этот грек, возможно, он бы воскликнул: «Какие глупости заставляет меня этот грек делать!»

Каллик рат. В самом деле, у бога было бы достаточно оснований немножко над ним посмеяться. Вчера я перечитал его диалог, озаглавленный «Пир». Я очень смеялся над тем, что бог создал мужчину и женщину, соединенных между собой пупком, но при этом каждый из них находится за спиной другого. Обоим дан один только мозг, но каждый имеет свое лицо. Существо это именуется андрогином; притом оно так возгордилось своими четырьмя руками и четырьмя ногами, что задумало, подобно титанам, взять штурмом небо. Бог, дабы покарать его, разрезал его пополам, и с тех пор каждая половина устремляется за своей второй половиной, но редко ее настигает. Следует признать: сама эта идея — постоянных поисков своей половины — забавна и остроумна; но достойна ли подобная шутка философа? Миф о Пандоре прекраснее и гораздо лучше объясняет ошибки и несчастья человеческого рода.

А сейчас поведайте мне, что́ вы думаете о системе Аристотеля? Ведь я хорошо вижу: система Платона вам не по душе.

Эвгемер. Я знал Аристотеля: мне показалось, что он одарен более основательным и широким умом, чем его учитель Платон, сильнее украшенным истинными познаниями. Он первый сделал рассуждение искусством. В его новом методе ощущалась нужда. Правда, я признаю, что для ладно скроенных умов метод этот весьма утомителен и бесполезен; однако он очень полезен для

разъяснения двусмысленностей софистов, коими кишит Греция. Аристотель распахал необъятное поле естественной истории. Его история животных — прекрасный труд, и еще более меня удивляет то, что наилучшими правилами поэтики и риторики мы обязаны именно ему; он пишет об этом прекраснее, чем Платон, претендующий на великое остроумие.

Аристотель, как и Платон, допускает перводвигатель, верховное бытие, вечное, неделимое и неподвижное. Я не знаю, имеет ли он право, говоря о совершенстве неба, приводить в качестве доказательства то, что небо содержит совершенные вещи. Он явно хочет этим сказать: находящиеся в небе планеты содержат богов — и тут он опускается до суеверия греческой толпы, полагающей, будто планеты эти заселены богами, или, точнее, утверждающей это, хотя она в это не верит.

Аристотель утверждает, что мир единствен. В качестве доказательства этой истины он приводит соображение, гласящее: если бы существовало два мира, Земля одного из них устремлялась бы неизбежно к Земле другого и каждая из этих Земель непременно сошла бы со своего места. Подобное утверждение показывает, что он не более нас был в курсе того, вращается ли Земля вокруг Солнца как вокруг своего центра и какая сила удерживает ее на ее месте. У народов, именуемых нами варварами, есть философы, открывшие эти истины, и я вам скажу, что греки, похваляющиеся тем, что они явились учителями других народов, быть может, недостойны даже краем уха послушать этих так называемых варваров.

Калликрат. Вы меня поражаете. Но продолжайте.

Эвгемер. Аристотель верит, что этот мир, такой, каким мы его видим, вечен, и он упрекает Платона в том, что тот объявил его рожденным и одновременно — неразрушимым. Вы согласитесь со мной, что оба они спорили о тени осла, не более принадлежавшей одному из них, чем другому.

Звезды, говорит Аристотель, той же природы, что и несущее их тело, разве только они более уплотнены. Они — причина тепла и света на Земле, так как вызывают быстрое трение воздуха, подобно тому как сильное движение воспламеняет дерево и расплавляет свинец. Как видите, это не очень разумная физика.

Калликрат. Я вижу, что нашим грекам надо еще долго учиться у ваших варваров.

Эвгемер. Меня досадует, что, заверив нас, будто мир вечен, он затем говорит, что элементы не вечны: ведь несомненно, если мой сад вечен, то и земля его вечна. Аристотель уверяет, будто элементы не могут жить вечно, ибо они постоянно переходят один в другой. Огонь, говорит он, становится воздухом, воздух переходит в воду, вода — в землю. Однако постоянное изменение элементов не препятствует вечному существованию мира.

Признаюсь, я не согласен с ним в том, что воздух переходит в огонь, а огонь — в воздух; еще труднее понять мне, что́ он говорит о возникновении и гибели. «Всякая гибель, — глаголет он, — следует за рождением; гибель — конечный предел, возникновение же — начало».

Если он хочет здесь сказать, что все родившееся затем умирает, то это банальная истина, не заслуживающая повторения и тем более столь таинственного провозглашения.

Калликрат. Боюсь, что он согласен с убеждением неразумной толпы, а именно будто любое семя должно раньше сгнить и погибнуть для того, чтобы затем возродиться. Это было бы недостойно такого мудрого наблюдателя, как он. Ведь ему достаточно было исследовать всего лишь одно пшеничное зерно, посаженное недавно в землю. Он обнаружил бы, что оно — свежее, хорошо вскормленное, утвердившееся на своих корнях и не несущее в себе ни малейшего признака разложения. Человек, который стал бы утверждать, что пшеница произрастает из гнили, имел бы весьма гнилую способность суждения. Такое суждение простительно грубым крестьянам с берегов Нила. Они верили, что существуют крысы, наполовину состоящие из грязи, а наполовину живые; между тем то были просто грязные крысы.

Эвгемер. Отречемся же от вашего Эпикура, построившего свою философию на этой нелепой ошибке: он утверждал, что люди изначально возникли из гнили, как крысы Египта, и грязь заменяла им бога-создателя.

Калликрат. Я чуть-чуть за него стыжусь. Однако вернитесь, прошу вас, к вашему Аристотелю; мне кажется, он, как и все прочие люди, примешал ряд ошибок к нескольким истинам.

Эвгемер. Увы! Он их примешал столько, что говоря о случайно народившихся живых существах, он подчеркивает: «Когда естественное тепло бывает изгнано, то, что остается от разложения, старается соединиться с маленькими частицами, готовыми принять жизнь под воздействием Солнца; именно таким образом были порождены черви, осы, блохи и другие насекомые». Я очень признателен ему за то, по крайней мере, что он не поместил человека в разряд ос и блох, столь неожиданно народившихся.

Я охотно подпишусь подо всем тем, что он говорит об обязанностях человека. Его этика кажется мне столь же прекрасной, как его риторика и поэтика. Но я не могу следовать за ним в том, что́ он именует своей метафизикой, а иногда — своей теологией. Бытие, оказывающееся лишь бытием, субстанция, не обладающая ничем иным, кроме сущности, десять категорий — все это кажется мне ненужными тонкостями; и таков вообще дух греков; я исключаю здесь лишь Демосфена и Гомера. Первый предъявляет своим слушателям только сильные и блестящие доводы; второй предлагает своим читателям лишь великие образы; но большинство греческих философов больше заняты словами, чем сутью. Они прячутся в оболочку из множества определений, ничего не определяющих, различений, ничего не раскрывающих, и объяснений, которые ничего не объясняют или объясняют очень немногое.

Калликрат. Сделайте же, чего не сделали они: объясните мне относительно души то, что не объяснил Аристотель.

Эвгемер. Я сейчас вам скажу, что́ он говорил, не вдаваясь в разъяснение его слов; скажу вам также, что вы меня не поймете, ибо я не могу здесь понять самого себя:

«Душа — это нечто легчайшее; сама по себе она не движется, ее движут объекты. Она — не гармония, как это предполагали многие другие, ибо она постоянно испытывает несогласие противоположных чувств. Она не рассеяна повсюду, потому что мир полон неодушевленных вещей. Она — энтелехия, включающая в себя принцип действия, имеющая в потенции жизнь. Душа — то, что способствует нашей жизни, чувствованию и мышлению».

Калликрат. Признаюсь, если я встречу на своем пути после этой беседы одинокую душу, я не смогу ее распознать. Увы! Чему может меня научить греческая душа с ее непостижимыми тонкостями? Я скорее бы предпочел просветиться у тех философов-варваров, о которых вы мне говорили. Не будете ли вы столь любезны и не познакомите ли меня с мудростью гуннов, готов и кельтов?

Эвгемер. Я постараюсь вам объяснить то немногое, что я здесь знаю.

Диалог седьмой
О ФИЛОСОФАХ, ПРОЦВЕТАВШИХ У ВАРВАРОВ

Эвгемер. Поскольку вы именуете варварами всех тех, кто жил не в Афинах, Коринфе и Сиракузах, я хочу повторить вам: среди этих варваров есть гении [4], коих ни один грек пока не в состоянии понять и к кому мы все должны были бы пойти в обучение.

Первый, о котором я вам поведаю, — то ли гунн, то ли сармат — жил среди киммерийцев, на северо-западе Рифейских гор; звался он Перконик.[5] Человек этот разгадал истинную систему мира и дал тому доказательства, в то время как халдеи только смутно усматривали некую несовершенную идею.

Эта истинная система состоит в том, что все мы, сколько нас есть, когда говорим, что Солнце встает и садится, что наша маленькая Земля является центром Вселенной, что все планеты и неподвижные звезды, а также все небеса вращаются вокруг нашего бренного обиталища, — мы не понимаем ни слова из того, что́ произносим. В самом деле, какая существует вероятность того, что это множество звезд, удаленных от нас на миллионы миллиардов стадий и во много миллиардов раз больших, чем Земля, были созданы лишь затем, чтобы услаждать наш взор в течение ночи, чтобы они в необъятном просторе ежедневно колебались вокруг нас в двадцатичетырехчасовом танце лишь для нашей забавы?! Эта смехотворная химера основана на двух недостатках человеческой природы, которые ни один греческий философ не умел исцелить, — на слабости наших маленьких глаз и на нашем раздутом тщеславии: мы потому по-

лагаем, будто звезды и наше Солнце движутся, что у нас плохое зрение; и мы верим, что все это создано для нас, ибо мы очень тщеславны.

Наш сармат Перконик утвердил свою систему до того, как опубликовал ее в письменном виде. Он пренебрег ненавистью друидов, утверждавших, что эта истина наносит огромный вред ветви дуба. Истинные ученые сделали ему возражение, которое могло бы смутить человека менее убежденного и твердого, чем он. Он утверждал, что Земля и планеты совершают свои периодические кругообороты вокруг Солнца за различное время. «Все мы — Венера, Меркурий и сама Земля — движемся вокруг Солнца по своей орбите», — заявлял он. «Если бы это было так, — отвечали ему эти ученые — Венера и Меркурий должны были бы являть нам фазы, подобные лунным». — «Так оно и есть, — отвечал сармат, — и вы увидите это, когда ваше зрение станет лучше».

Он умер, не сумев дать им новое зрение, в котором они так нуждались.

Еще более великий человек, по имени Лейлига,[6] рожденный среди этрусков, наших соседей, изобрел это зрение, коему предстояло просветить всю Землю. Варвар этот, более утонченный, искусный и больший философ, чем все греки, вместе взятые, по одному только услышанному им простому рассказу о проделке мальчишек придумал обточить и расположить кристаллы таким образом, что с их помощью можно было увидеть новое небо: он доказал взору то, о чем так правильно догадался сармат. Венера обнаружила те же фазы, что и Луна; и если Меркурий не явил того же самого, то лишь потому, что он слишком сильно освещается солнечными лучами.

Наш этруск сделал более того: он открыл новые планеты. Он увидел и показал другим, что это Солнце, о котором говорили, будто *оно поднимается с ложа, как супруг* и *как исполин, дабы следовать своим путем,* на самом деле не двигается с места и вращается вокруг своей оси в течение двадцати пяти с половиной наших дней, как мы вращаемся в течение двадцати четырех часов. Люди были удивлены тем, что узнали на Западе тайну творения, никому не ведомую на Востоке. Друиды[7] восстали против моего этруска даже сильнее, чем против сармата: еще немного, и они заставили бы его

проглотить цикуту, приправленную беленой, как эти афинские безумцы поступили с Сократом.

Калликрат. Все, что вы мне сейчас говорите, буквально поражает меня восхищением. Почему вы не рассказали мне этого раньше?

Эвгемер. Но вы меня о том не просили. Вы толковали со мной лишь о греках.

Калликрат. Больше я с вами не буду о них говорить. А в этой Этрурии, имеющей столь великих философов, есть и поэты?

Эвгемер. Там есть поэты, которых я считал бы намного выше Гомера, если бы Гомер не опередил их на несколько столетий: ведь быть первым — уже большая заслуга.

Калликрат. А не скажете ли вы мне, почему эти ваши мерзкие друиды подобным образом преследовали Лейлигу, высокочтимого мудреца Этрурии?

Эвгемер. Да потому, что они прочли, уж не знаю в какой книге Геродота, что в Египте Солнце дважды изменяло свой путь: ведь если оно действительно его изменяло, значит, движется оно́, а не Земля. Однако истинная причина их гнева — ревность.

Калликрат. Ревность! Но к чему?

Эвгемер. Они претендуют на то, что право учить людей принадлежит только друидам, а Лейлига учил их, не будучи таковым, — это его непростительная вина. Ярость друидов достигла предела, когда истины, объявленные великим Лейлигой, были наглядно доказаны в соседней республике.[8]

Калликрат. Как! Это произошло в Римской республике? Мне представляется, что до сих пор она не слишком могла похвалиться физическими исследованиями.

Эвгемер. Нет, это произошло совсем в иной республике. Страна, о которой я вам говорю, расположена между Иллирией и Италией. Она совсем не похожа на Рим, наоборот, в ней часто происходит нечто противоположное, особенно в методе мышления. Римская республика считается захватчицей, а Иллирийская вовсе не желает стать объектом нашествия. Особенно характерна для Рима одна странная мания: он хочет, чтобы весь мир думал, как он. Иллирийская же республика в деле мышления советуется лишь со своим разумом. Лей-

лига имел удовольствие продемонстрировать мудрецам этого государства все искусное строение неба. Он стал толмачом бога перед лицом самых уважаемых людей мира. Сцена эта разыгралась на площадке башни, царящей над Адриатическим морем [9]. То был прекраснейший из когда-либо дававшихся спектаклей. В нем представляли природу. Лейлига изображал Землю; глава республики, Сагредо, играл роль Солнца. Другие были Венерой, Меркурием и Луной: им велели маршировать с факелами в том порядке, в каком эти светила вращаются в небе.

Как поступают тогда друиды? Они осуждают старого философа на покаянный пост, сажают его на хлеб и воду и заставляют каждодневно читать вслух несколько строк, чтению которых обучают детей, — так он должен был искупить доказанные им истины.

Калликрат. Афинская цикута горька. В каждой стране есть свои друиды. А этрусские друиды раскаялись ли так, как их афинские собратья?

Эвгемер. Да. Теперь они краснеют, когда им говорят, будто Солнце не движется, и разрешают предполагать, что оно является центром мира планет — при условии, если эту истину не относят к разряду фактов. Если вы станете утверждать, что Солнце всегда остается там, куда его поместил бог, вы надолго будете посажены на хлеб и воду, после чего вас вынудят громогласно заявить, что вы — богохульник.

Калликрат. Друиды эти — странные люди.

Эвгемер. Но то старинный обычай; каждая страна имеет свои обряды.

Калликрат. Полагаю, что обряд этот внушил этрусским, готским и кельтским философам некоторое отвращение к системам.

Эвгемер. Не более, чем смерть Сократа сумела оттолкнуть Эпикура. После смерти моего этруска северная часть Запада кишела философами. Я узнал это во время моего путешествия в Галлию, Германию и на один заокеанский остров [10]; с философией произошло то же самое, что с танцами.

Калликрат. Как это?

Эвгемер. Друиды в одной из самых маленьких и захолустных стран Европы [11] запретили танцы, и они сурово наказали одного чиновника и его жену за то, что

те исполнили менуэт *. Но впоследствии весь мир научился танцевать; это приятное искусство всюду усовершенствовалось. Точно таким же образом сделал новый взлет человеческий разум: каждый стал изучать природу, все начали ставить опыты; был взвешен воздух, изгоняемый из мест своего заточения; были изобретены полезные для общества механизмы — а это и есть истинная цель философии; великие философы просветили Европу и ей служили.

Калликрат. Прошу вас, скажите мне, кем были те из них, чья слава наиболее велика.

Эвгемер. Хочу надеяться, что вы спросите меня не о том, кто из них произвел больше шума, но кто оказался самым полезным.

Калликрат. Я спрашиваю вас о том и о другом.

Эвгемер. После моего этруска наделал больше всех шума галл, по имени Кардет [12]: он был отличным геометром, но плохим архитектором, ибо он воздвиг здание без фундамента и зданием этим была вселенная. Дабы построить свою вселенную, он попросил у бога лишь предоставить ему материал; из этого материала он сформировал шестигранные игральные кости и сделал ими такой бросок, что вопреки невозможности собственного движения они внезапно образовали солнце, звезды, планеты, кометы, земли и океаны. В этом странном вымысле не было ничего от физики, геометрии или здравого смысла; но в те времена галлы ничего больше не знали об этом предмете: они славились только большими романами. Роману Кардета они придали столь всеобщее значение, что один из прямых потомков Эзопа [13] сказал:

Кардет, кого мы все обожествили,
Из смертного вдруг богом сотворили
В минувшие века, тогда как он —
Лишь среднее меж человеком и умом.
Так среднее меж человеком и улиткой
Дает нам в сновиденьях образ зыбкий **.

---

* Жан Шовэн, именуемый Кальвином, приказал осудить одного высокопоставленного чиновника за то, что тот после ужина протанцевал со своей женой.— *Примеч. Вольтера.*

** *Лафонтен*, книга X, басня 1 (у Лафонтена: *Декарт* (строка 1) и *у язычников* (строка 2, в нашем переводе — строка 3).— *Примеч. переводчика.*

Эти слова кельта из семейства Эзопа — глас народа, но не мудреца.

Калликрат. Ваш творец вселенной Кардет был всего лишь половинкой Платона: ведь сей галл создал Землю из игральных костей, имеющих всего шесть граней, в то время как Платон требовал двенадцатигранные кости.

И это — ваши философы, в школе которых должны обучаться все наши греки? Каким образом целая нация смогла дать веру подобным бредням?

Эвгемер. Таким же образом, как Сиракузы поверили в нелепые выдумки Эпикура — в отклоняющиеся атомы, в интермундии, в животных, случайно образовавшихся из грязи, и в тысячи других глупостей, изрекаемых с полной уверенностью. Более того, существовала серьезная тайная причина, побуждавшая лучшую часть нации склонить головы перед системой Кардета: она представлялась по многим пунктам противоположной учению друидов. Уж не знаю почему, но этих друидов не любят ни в Италии, ни в Галлии, ни в Германии, ни на Севере. Быть может, происходит это потому, что народ, весьма часто впадающий в заблуждение, считает их слишком могущественными, богатыми и высокомерными, ведь они преследовали бедного Кардета так же, как и Лейлигу; во многих странах существуют Сократы и Аниты. Северная Европа долгое время была охвачена учеными диспутами по поводу трех видов *материи,* коих никто не видел в глаза, по поводу *вихрей,* существование которых было невероятным, *переменчивой благодати* и сотни других нелепостей, еще более фантастичных, чем *субстанциальные формы* Аристотеля и *андрогины* Платона.

Калликрат. Но если дело обстоит таким образом, то в чем, собственно говоря, превосходство ваших варваров над греческими философами?

Эвгемер. Я вам сейчас скажу. Во время всех этих диспутов о трех материях и многих других вытекавших отсюда пустопорожних идеях нашлись здравомыслящие люди, отказавшиеся признать любые истины, кроме тех, что́ они познали на опыте или какие были доказаны им математическим путем; именно поэтому я не стану вам говорить ни о гениальном человеке [14], чья система состояла в беседах со Словом, ни о другом, еще более

гениальном, питавшем поразительные иллюзии относительно души.

Калликрат. Как вы говорите? Разговоры со Словом?! То есть с Логосом Платона? Это было бы любопытно.

Эвгемер. Говорят, что речь здесь идет о более уважаемом Глаголе, но так как никто в этом ничего не смыслит и никто никогда не был свидетелем подобной беседы, я не могу знать того, что там говорилось.

Калликрат. А варвар, изрекший столь удивительные мысли о душе, — чему он нас научил?

Эвгемер. Тому, что существует гармония [15].

Калликрат. Ф-Фу! Уж очень давно нам морочат голову этой пресловутой гармонией души, которую Эпикур так решительно опроверг.

Эвгемер. О! Та гармония, о которой я говорю, совсем иного рода: это — предустановленная гармония.

Калликрат. Предустановленная или нет — я здесь все равно ничего не смыслю.

Эвгемер. Автор этой идеи смыслит не более вас; но он утверждает, будто ни тело не зависит от души, ни душа — от тела и будто душа с своей стороны чувствует и мыслит, а тело со своей соответственно действует. При этом тело может находиться на одном конце Вселенной, а его душа — на другом, и между ними существует совершенное взаимопонимание, хотя они меж собою и не сообщаются: одна может играть на скрипке в глубине Африки, другое — плясать в такт в Индии. Душа эта всегда в согласии с телом, своим супругом, хотя никогда с ним не беседует, ибо она — зеркальный фокус вселенной. Вы хорошо меня понимаете?

Калликрат. Благодарение богам, ни слова! Но доказаны ли все эти прелестные вещи?

Эвгемер. Насколько я знаю, нет. Однако научные журналы, представляющие собой зеркальный фокус всего того, что именуется наукой, пишут об этом раз в год за тридцать оболов, и этого бывает достаточно для славы изобретателя и удовлетворения его ревностных приверженцев.

Я рассказал вам о людях, занимающихся болтовней со Словом, и о тех, чья душа — зеркальный фокус вселенной, дабы вы убедились, что в холодных странах жив еще жар воображения. Вечером, если вы пожe-

лаете, я расскажу вам о гораздо более серьезных и великолепных идеях.

Калликрат. Мне не терпится о них услышать; вы переносите меня в другой мир.

Диалог восьмой

ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ ФИЛОСОФОВ-ВАРВАРОВ; ГРЕКИ В СРАВНЕНИИ С НИМИ — ДЕТИ

Эвгемер. После того как в различных странах некоторые люди стали развивать свою способность мышления, они долго и тщетно исследовали вопрос, почему любые тела падают с воздуха на землю и почему они достигали бы центра земного шара, если бы их не задерживала его поверхность; это было доказано опытами в знаменитых колодцах Мемфиса и Сьенны, в которые, как можно было видеть, проваливались самые тяжелые и самые легкие тела, заброшенные на возможно бóльшую высоту в воздух самыми сильными механизмами. Толпа при виде тела, заброшенного в воздух, с тем чтобы оно потом устремилось к земле, удивлялась не больше, чем она была бы удивлена при виде смены дня ночью, хотя ее любопытство должны были бы возбудить оба эти феномена. Философы бились над причинами тяготения, но безуспешно. Наконец, на острове Касситерида [16], в стране нам незнакомой, в дикой местности, где люди совсем недавно разгуливали обнаженными, нашелся мудрец [17], воспользовавшийся открытиями других мудрецов; он присоединил к ним свои, более веские открытия и предъявил пораженной Европе решение и доказательство проблемы, безрезультатно занимавшей умы всех ученых с первого момента зарождения философии: он показал, что закон тяготения был всего лишь следствием первой теоремы самого бога — этого вечного Геометра.

Дабы прийти к этому знанию, надо было выяснить размер диаметра Земли, а также на сколько своих диаметров Луна, ее спутник, отделена от ее центра, находясь в зените. Затем надо было подсчитать скорость падения тел и доказать, что их заставляет падать вовсе не ток воздуха, как полагали раньше. Философ с острова Касситерида доказал, что сила притяжения, порож-

дающая вес, действует пропорционально массам, количеству материи, а не пропорционально поверхностям, как то происходит в жидкостях; таким образом, это притяжение действует как сто единиц на тело, имеющее сто единиц материи, и как десять — на тело, материя которого составляет десятую часть [от первого].

Оставалось открыть, что любое тело, находящееся вблизи Земли, падая, проходит пятьдесят четыре тысячи футов в первую минуту; а если бы оно падало с высоты шестидесяти земных радиусов, оно за то же самое время проходило бы не больше пятнадцати футов. Расчет показал, что Луна — именно то тело, которое, находясь от Земли на расстоянии шестидесяти земных радиусов, пробегало бы вдоль своего меридиана за одну минуту небольшой отрезок в пятнадцать футов вертикально по направлению к Земле.

Было доказано, что это светило не только тяготеет, притягивается к Земле и имеет вес, пропорциональный своей массе, но также и что оно тяготеет к Земле тем больше, чем более оно к ней приближается, и тем меньше, чем более оно от нее удаляется, в соответствии с квадратом его расстояния от Земли.

Тот же закон соблюдается всеми остальными светилами по отношению друг к другу, поскольку любой закон природы единообразен: каждая планета притягивается к Солнцу, а Солнце — к ней, вследствие того что все они состоят из материи и в соответствии с квадратом расстояния каждого светила от другого.

Но это еще не все. Эти варвары вдобавок открыли, что, если какое-либо тело движется вокруг некоего центра, оно описывает вокруг этого центра площади, пропорциональные времени, за которое оно их облетает, а раз оно описывает такие площади пропорционально этому времени, значит, оно испытывает тяготение, притягивается к этому центру. На основе такого и некоторых других законов касситеридец доказал неподвижность Солнца и бег планет, а также комет, циркулирующих вокруг Солнца по эллипсам.

Это творение отличалось и от платоновского с его треугольниками и додекаэдрами и от пифагоровского с его семью музыкальными тонами; оно было основано на самой величественной геометрии. Вы, кажется мне, изумлены; но так оно и должно быть. Вы будете, воз-

можно, поражены еще больше, когда узнаете: варвар этот показал людям, что́ представляет собой свет, и он сумел произвести анатомию световых лучей с большей ловкостью, чем Гиппократ когда-либо смог вскрыть движущие пружины человеческого тела. Один великий астроном, его соотечественник, бывший также большим поэтом, недаром о нем сказал:

Более всех подобен богам он средь смертных *.

Калликрат. А вы — вы из всех смертных больше других сделали мне добра, ибо избавили меня от моих предрассудков. Наш Эпикур — отличный человек, обладавший всеми общественными добродетелями, — был всего лишь дерзким невеждой, тщеславно осмелившимся создать систему. Я весьма сильно подозреваю, что ваш островитянин, человек великий, имел много учеников и соперников как среди своего народа, так и среди соседей.

Эвгемер. Вы правы; количество порожденных им споров превзошло число преподанных истин.

Калликрат. Кто-то из этих спорщиков мог бы, без сомнения, обнаружить, что́ такое душа. Вопрос этот очень меня беспокоит. То великая тайна, о коей судили и рядили наши греческие философы, но ничего путного нам не сообщили. Зачем мне, скажите пожалуйста, знать, что одна планета тяготеет к другой и что можно препарировать луч света, если я не знаю самого себя?

Эвгемер. По крайней мере, вы можете лучше узнать природу и великое бытие, правящее ею.

Калликрат. Если нашей души так трудно коснуться, то ваши великие северные мыслители могли, по крайней мере, в совершенстве познать наше тело: это интересует меня не менее моей души. Я льщу себя надеждой, что люди, сумевшие взвесить светила, в совершенстве знают, каким образом на Земле был создан человек, как была создана сама Земля, какие она испытала катаклизмы и когда она будет разрушена. Я хочу проникнуть полностью в тайну возникновения живых существ; хочу знать, откуда берется тепло, одушевляющее всю природу, и кто живет в ледяном поясе. Я воз-

* Мы даем здесь перевод вольтеровского французского перевода стиха Галлея: Nec propius fas est attingere divos — «Смертному не дано быть ближе к богам» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

мущен, что не знаю, каким образом я существую и как существует этот шар, по которому я ступаю, эти животные, растения, питающие меня, и элементы, образующие всемирное целое.

Эвгемер. Вижу — у вас большие претензии. Вы напоминаете мне одного галльского маркиза, с коим я познакомился во время своих путешествий. Он сочинил мемуары, где пишет: «Чем больше я себя изучаю, тем больше вижу, что гожусь лишь на то, чтобы быть королем» *. Что до вас, то вы желаете все знать; вы явно считаете себя пригодным к тому, чтобы быть богом.

Калликрат. Не смейтесь над моей любознательностью: мы никогда ничего бы не знали, если бы не были любопытны. Я не могу отправиться в обучение к вашим ученым варварам — меня удерживает в Сиракузах моя жена. Скажите, как додумалась она до того, чтобы подарить мне ребенка, если не более моего знала, что́ происходит у нее там, внутри? Ваши ученые, столь зорко усмотревшие пружину, с помощью которой бог приводит в движение все миры, должны были, без сомнения, понять, каким образом продолжается наш род.

Эвгемер. Очень часто по ряду вопросов нам лучше бывают известны вещи, находящиеся вне нас, чем то, что у нас внутри. Мы поговорим об этом в нашей следующей беседе.

Диалог девятый

О ПОРОЖДЕНИИ

Калликрат. Я всегда поражался тому, что Гиппократ, Платон и Аристотель, имевшие детей, не были согласны между собой в отношении способа, каким природа производит это непрерывное чудо. Правда, они говорят, что в нем принимают участие оба пола, каждый из которых дает для этого немножко своей жидкости, но Платон, постоянно подменяющий природу своей теологией, рассматривает при этом одну лишь гармонию числа три — оплодотворяющее начало, оплодотворяемое и самку, в которой совершается акт оплодотво-

---

* Маркиз де Лассэ — в своих «Мемуарах» (т. IV, с. 322), переизданных в Лозанне в 1756 году.— *Примеч. Вольтера* [18].

рения: такая триада образует гармоническое соотношение; однако акушерка всего этого не понимает. Аристотель ограничивается сообщением, что самка производит материю зародыша, а обязанность самца — форма; это тоже не дает нам никаких дополнительных знаний.

Неужели нет никого, кто видел бы манипуляции природы так, как обычно видят манипуляции скульптора, создающего статую путем обработки глины, дерева или мрамора?

Эвгемер. Скульптор работает при свете дня, природа же — в темноте. Все, что до сих пор знали об этой природе, сводится к жидкости, которую всегда извергают при совокуплении самцы и выделение которой отрицают у многих самок; но все же преобладает физика двух детородных жидкостей, принятая в учении Гиппократа. Ваш Эпикур делает из этого сочетания некий род божества, определяя такое божество как наслаждение. Наслаждение это столь могущественно, что в Греции не допускают поисков иной причины.

В конце концов один великий физик, также уроженец острова Касситерида, опираясь на открытия некоторых итальянских физиков, заменил детородные жидкости яйцом. Этот великий анатом, по имени Аривхе[19], заслуживает тем большего доверия, что он усмотрел в нашем теле циркуляцию крови, которой наш Гиппократ никогда не замечал и о которой Аристотель даже не подозревал. Аривхе произвел вскрытие тысячи четвероногих матерей семейств, воспринявших жидкость самца; но после того как он исследовал также куриные яйца, он решил, что все происходит из яйца и разница между птицами и другими видами животных состоит в том, что птицы высиживают яйца, другие же виды — нет; женщины, таким образом, не отличаются от белой европейской курицы и черной курицы центральной Африки. После Аривхе люди стали твердить: *все происходит из яйца.*

Калликрат. Итак, эта тайна раскрыта.

Эвгемер. Нет. Очень скоро все изменилось: оказалось, что мы не происходим из яйца. Появился некий житель[20] Батавии[21], с помощью искусно обточенного стекла узревший в семенной жидкости самцов целый народец уже полностью сформировавшихся младенцев, передвигавшихся с чудесной живостью. Многие любо-

знательные мужчины и женщины проделали тот же эксперимент, и люди поверили, что тайна рождения наконец раскрыта, поскольку были обнаружены маленькие живые человечки в семени их отца. К несчастью, живость, с какой они плавали в жидкости, подорвала к ним доверие. Как могут люди, с такой стремительностью передвигающиеся в капле жидкости, оставаться затем в течение девяти месяцев почти неподвижными в чреве матери?

Некоторые наблюдатели решили, что эти маленькие семенные живчики надо рассматривать не как живые существа, но как волоконца самой жидкости, какие-то частицы этой горячей жидкости, колеблемые ее собственным движением и дуновением воздуха; многие любопытные стремились это увидеть, но не увидели вообще ничего; в конце концов людям приелось не столько доставлять материал для таких экспериментов, сколько утомлять свои глаза рассматриванием в капле спермы этого неуловимого народца, которого, возможно, и вообще-то не существует.

Некий человек[22] — опять-таки уроженец Касситериды, но недостойный числиться среди философов, — пошел другим путем; то был один из тех полудруидов, коим не дозволено совать свой нос в семенную жидкость; он решил, что достаточно немножко порченой пшеничной муки для порождения крохотных угорьков. Этим пресловутым экспериментом он ввел в заблуждение лучших натуралистов. Ваши сиракузские эпикурейцы охотно дали бы себя обмануть. Они могли бы сказать: «Из испорченной пшеницы рождаются угорьки, значит, хорошая пшеница может порождать людей, а следовательно, нет никакой нужды в боге для заселения мира, потому что это — задача атомов».

Вскоре наш создатель угрей исчез и на его место явился другой любитель систем[23]. Подобно тому как истинные философы выяснили и доказали, что существует тяготение, взаимное притяжение между всеми сферами планетного мира, так этот человек вообразил, будто взаимное притяжение царит и среди всех молекул, предназначенных для формирования ребенка во чреве матери. Правый глаз притягивает левый; нос, одинаково притягиваемый тем и другим глазом, пристраивается точно между ними; то же самое относится к ляжкам и

к той части, что расположена между ними. Правда, согласно этой системе трудно объяснить, почему голова помещается на шее, вместо того чтобы занять свое место пониже — между плечами. Вот в какие дебри забираются тогда, когда хотят ввести людей в заблуждение, вместо того чтобы их просветить. Над этой системой смеялись так же, как над угрями, родившимися из сомнительной пшеницы: ведь в Галлии умеют так же хорошо смеяться, как в Греции.

Позорный провал стольких систем не обескуражил еще одного нового философа, действительно достойного этого имени[24]: он провел всю свою жизнь в занятиях математикой и постановке опытов, а это два проводника, только и могущие привести к истине. Убежденный в недостаточности всех упомянутых систем, хотя многие из них и казались правдоподобными, он решил, что корпускулы, наблюдавшиеся столькими физиками и им самим в семенной жидкости, — вовсе не живые существа, но находящиеся в движении молекулы, стоящие, так сказать, на пороге жизни.

«Природа в целом, — говорит он, — кажется мне гораздо более устремленной к жизни, чем к смерти; представляется, что она по мере возможности старается формировать тела. Доказательство этого — умножение зародышей, способных размножаться почти до бесконечности, и можно с некоторым основанием сказать: если материя организована не полностью, то лишь потому что организованные существа взаимно разрушают друг друга; ведь мы способны довести число живых и растительных существ почти до желаемого нами количества, но мы не можем увеличить количество камней или других грубых материалов».

Калликрат. Он прав; отрывок, приведенный сейчас вами, кажется мне и истинным и новым: мы размножаем людей, а они истребляют друг друга на войне, подобно воинам, порожденным Кадмом из посеянных зубов дракона. Земля — обширное кладбище, непрерывно покрывающееся трупами смертных, громоздящимися на трупах их предшественников. Нет животного, которое не стало бы жертвой и пищей другого животного. Растения также постоянно пожираются и воспроизводятся вновь. Но мы не можем воспроизводить металлы, минералы, скалы. Мне нравится ваш галл, я хотел

бы с ним познакомиться. А какое из этих наблюдений извлекает он средство для порождения детей?

Эвгемер. Он предположил, что природа может производить небольшие матрицы, подобно тому как скульпторы-литейщики лепят глиняные модели, которые они обливают затем расплавленным металлом, принимающим форму этих фигур. Он вообразил, что эти модели, эти матрицы, созданные природой, применяются не только к любому внешнему облику тел, но и к любой их внутренней форме. Лучше всего я, пожалуй, изображу вам всю эту технику на примере Прометея, создающего внешнюю и внутреннюю форму Пандоры, так что Пандора получает красивую грудь вместе с сердцем и легкими.

Изобретатель этой системы основывается на том, что у материи есть неотъемлемые качества, внутренне всему присущие, подобно протяженности и притяжению. Он утверждает, что эти внутренние органические формы образуют всю одушевленную и растительную материю.

«Питание, развитие и воспроизведение, — пишет он, — следствия одной и той же причины; организованное тело питается частицами, ему аналогичными; оно развивается путем глубокого внутреннего восприятия органических частей, которые ему подобны... Когда органическая питательная материя избыточна, она вводится в резервуары в виде жидкости, содержащей все, что необходимо для воспроизведения маленького существа, подобного исходному».

В другом месте он говорит: «Я полагаю... что органические молекулы, отправляющиеся из всех частей тела в тестикулы и семенные мешочки самца, а также в тестикулы и любую другую часть тела самки, образуют там семенную жидкость, представляющую собой и у того, и у другого пола, как мы видим, некий род экстракта из всех частей тела...; когда в образующейся при соитии смеси оказывается больше органических молекул самца, чем самки, рождается самец; наоборот, если там оказывается больше органических частиц самки, чем самца, образуется маленький зародыш самки».

Калликрат. Но если дело обстоит так, как он говорит, может ведь родиться ребенок, состоящий из двух третей мужчины и одной трети женщины, и гермафродиты станут вполне обычным явлением, когда женщины

начнут выделять столько же семенной жидкости, сколько мужчины. Однако ведь вам известно, что, к несчастью, существует много женщин, совсем не выделяющих эту жидкость, питающих отвращение к ласкам своих супругов и тем не менее имеющих много детей.

Впрочем, эта система, показавшаяся мне столь соблазнительной — ведь я усматриваю в ней большую проницательность и силу воображения, — понемногу начинает меня смущать. Я не могу составить себе точного представления об этих внутренних молекулах. Если ребенок зарождается в таких матрицах, какая может быть нужда в оплодотворяющей жидкости? А если он зарождается из этой жидкости, что за нужда в таких матрицах? Более того, мне кажется весьма необычным, что органические матрицы, никак не питавшие наше тело, оказываются затем человеческим телом, обладающим способностью передвигаться и мыслить, так что органическая молекула может стать либо Александром, либо каплей мочи. Скажите мне, как была принята эта система?

Эвгемер. Те, кто углубляется в философские новшества, выступили против нее и ее охаяли; те же, кто в этих новшествах не копается, отбросили ее на основе простой кажимости; однако все осыпали похвалами «Естественную историю», написанную тем же автором, где говорится о человеке с детства и вплоть до его кончины. Небольшой этот труд — физическое руководство, учащее нас жить и умирать; то история всего человеческого рода, основанная на известных фактах, тогда как органические матрицы — всего лишь гипотеза. Итак, полагаю я, нам надо отказаться от познания того, как мы произошли: мы напоминаем египтян, извлекающих столько пользы из своего Нила, но до сих пор не знающих, где находятся его истоки; быть может, когда-нибудь они их откроют.

Диалог десятый

БЫЛА ЛИ ЗЕМЛЯ ОБРАЗОВАНА КОМЕТОЙ?

Калликрат. Коль скоро я уж отчаиваюсь точно узнать, каким образом был рожден, как я живу, мыслю и как могу умереть, я не должен льстить себя надеждой

познать планету, на которой я обитаю, лучше, чем себя самого. Однако вы мне сказали: быть может, египтяне когда-нибудь отыщут истоки своего Нила; это воскрешает во мне слабую надежду узнать в один прекрасный день строение нашей Земли. Я отрекся от отклоняющихся атомов Эпикура; но разве ваши мудрые варвары, изобретшие такое множество прекрасных вещей, ничего не узнали о способе сотворения Земли? Исследуя птичье гнездо, можно понять его строение, не зная при этом, что́ именно дает этим птицам жизнь, инстинкт и их перья. Так неужели же нет никого, кто исследовал бы хорошенько гнездо, в котором мы пребываем, — этот маленький уголок Вселенной, где заперла нас природа?

Эвгемер. Кардет, о котором я вам говорил, высказал догадку, что наше гнездо первоначально было покрывшимся корой Солнцем.

Калликрат. Солнце, покрывшееся корой! Да вы шутите!

Эвгемер. Нет, это Кардет, несомненно, шутил, когда утверждал, будто наш шар был некогда Солнцем, образованным тонкой материей, состоящей из шариков; однако наши материи уплотнились, и мы утратили свой блеск и силу; после того мы выпали из вихря, центр которого составляли, и попали в вихрь нашего нынешнего Солнца. Наша Земля целиком покрыта рифленой и разветвленной материей. В конце концов из звезд, которыми мы были, мы стали луной, обладающей в качестве льготы вращающейся вокруг нас другой маленькой луной, что должно нас утешить в нашей опале.

Калликрат. Вы спутываете все мои представления. Я ведь уже был готов стать учеником вашего галла. Но я нахожу, что Эпикур, Аристотель и Платон были значительно более рассудительны, чем ваш Кардет. Это ведь не философская система, а бред человека, находящегося в горячечном состоянии.

Эвгемер. Некоторое время тому назад это именовали корпускулярной философией, единственно истинной. Химеры эти имели даже своих комментаторов; считалось, что геометр, давший для своего времени нечто довольно дельное в области оптики, вообще не может ошибаться.

Калликрат. А что открыли после него относительно образования нашего шара?

Эвгемер. Было сделано открытие одним германским философом[25], о котором я немного уже вам говорил: это автор предустановленной гармонии, согласно которой душа держит речь, в то время как тело, ничего в этой речи не смыслящее, жестикулирует; иначе говоря, тело это отбивает время, указываемое душой на циферблате, причем она не слышит боя часов. В соответствии с теми же принципами он обнаружил, что началом существования нашей планеты был пожар. Моря были приглашены, дабы погасить огонь, а все составлявшее землю остекленело и осталось массой стекла.

Трудно поверить, что подобную систему выдумал математик, однако это так.

Калликрат. Согласитесь: моего Эпикура нельзя упрекнуть в подобных проделках. Я жду от вас истины, а не причуд.

Эвгемер. Прекрасно, я еще расскажу вам о философе, отлично написавшем «Естественную историю» человека[26]. Ему принадлежит также «Естественная история» Земли, но он выдает ее лишь за гипотетический вымысел.

Он предполагает, что в один прекрасный день комета, проходящая вблизи Солнца...

Калликрат. Как! Комета, которую Аристотель и мой Эпикур объявили испарением Земли?

Эвгемер. Аристотель и ваш Эпикур очень плохо разбирались в кометах. У них не было никакого прибора, который помог бы их глазам увидеть кометы и измерить их путь. Галлы, касситеридцы и германцы, а также соседние с греками народы создали для себя инструменты, содействующие открытию истины; с помощью этих инструментов они узнали, что кометы представляют собой планеты, циркулирующие вокруг Солнца по огромным кривым, приближающимся к параболе; они высказали догадку, что среди этих светил существуют такие, которые выполняют свой путь не менее чем за сто пятьдесят лет. Были предсказаны сроки их возвращения, как предсказывают затмения; однако предсказания эти нельзя было сделать с той же точностью: для этого многого недостает.

Калликрат. Я прошу их извинить мое невежество. Вы как будто сказали, что одна из комет упала на

Солнце: что же из этого воспоследовало? Разве она не сгорела?

Эвгемер. Галльский философ предположил, что она только слегка задела поверхность этой могучей звезды и унесла с нее кусок материи, из которого образовалась Земля. Этого куска было вполне достаточно и для образования других планет. Можно представить себе, что куски грубой материи, украденные таким образом у Солнца, были достаточно горячи. Утверждают, что одна из комет, проделывая свой путь вблизи этого светила, становится в две тысячи раз более горячей, чем раскаленное докрасна железо, и может остыть лишь за период в пятьдесят тысяч лет.

Из этого можно заключить, что наша Земля, не слишком-то горячая у обоих своих полюсов, потратила более пятидесяти тысяч лет на свое охлаждение: ведь полюсы ее холодны, как лед. Она прибыла с Солнца на то место, где сейчас находится, совершенно остекленевшей, как это назвал германский философ; именно с того времени начали изготовлять стекло из песка.

Калликрат. Мне чудится, будто я читаю греческих поэтов, рассказывающих, почему Аполлон ежевечерно укладывается спать в море и почему Юнона иногда усаживается на радугу. Скажите откровенно, не хотите ли вы меня заставить поверить, будто Земля сделана из стекла и будто она явилась с Солнца настолько горячей, что до сих пор не остыла в районе Эфиопии, в то время как на земле лапландцев все замерзают?

Эвгемер. Но ведь автор выдает вам эту историю всего только за гипотезу.

Калликрат. В самом деле, — плачу вам гипотезой за гипотезу — уж не любите ли вы греков так же сильно, как галлов? Что до меня, заверяю вас: Минерва, богиня мудрости, вышедшая из головы Юпитера; Венера, рожденная из божественного семени, упавшего на морское побережье, дабы навеки объединить воду, воздух и землю; Прометей, явившийся затем, чтобы принести небесный огонь Пандоре; Амур с его повязкой, стрелами и крылами; Церера, научившая людей земледелию; Вакх, утишающий их страдания дивным напитком,— эти очаровательные мифы, хитроумные эмблемы природы, вполне стóят предустановленной гармонии, бесед со Словом и кометы, образовавшей нашу Землю.

Эвгемер. Меня, как и вас, трогают эти волшебные аллегории; они принесут вечную славу грекам и будут чаровать народы; они будут запечатлены во всех умах и будут воспеваться всеми устами, какие бы ни происходили смены правлений, религий, нравов, постоянно изменяющие лицо Земли; но эти прекрасные, вечные мифы, какими бы восхитительными они ни были, никак не просвещают нас относительно основы вещей; они нас чаруют, но ничего не доказывают. Амур с его повязкой, Венера и три Грации никогда не научат нас предрекать затмения и понимать различие между осью экватора и осью эклиптики. Сама красота этих образов отвращает наш взор и наши шаги от тернистых тропок науки; это наслаждение нас изнеживает.

Калликрат. Так расскажите же мне обо всем, что изобрели полезного ваши философы-варвары, совсем не изнеженные подобно нам, грекам.

Эвгемер. Я расскажу вам о том, что видел в Галлии во время последнего своего путешествия.

Диалог одиннадцатый

БЫЛИ ЛИ ГОРЫ ОБРАЗОВАНЫ МОРЕМ?

Эвгемер. На расстоянии ста сорока четырех стадиев от океана, рядом с городом Тур, на глубине десяти футов под землей можно обнаружить на пространстве в сто тридцать миллионов кубических туазов несколько трухлявую массу, напоминающую порошок талька; земледельцы пользуются ею для удобрения своих полей. В этой вырытой шахте, часто увлажняющейся дождем и ключевой водой, находят многочисленные реликты животных — рептилий, ракообразных или панцирных.

Некий искусник[27], гончар по профессии, титуловавший себя изобретателем сельских терракотовых сосудов галльского короля, объявил, что эта шахта дрянного талька, перемешанного с трухлявой почвой, не что иное, как скопление рыб и ракушек, находящихся здесь со времен Девкалионова потопа. Некоторые философы признали эту теорию; они лишь несколько отошли от учения гончара и утверждали, что ракушки эти должны были отложиться в указанном подземелье за много тысяч веков до нашего греческого потопа.

Им возражали: если всемирный потоп принес в эту местность сто тридцать миллионов кубических туазов рыб, почему он не принес тысячной доли такого количества в другие места, удаленные на такое же расстояние от океана? Почему эти моря, сплошь покрытые морскими свиньями, не извергли из себя на одни только наши берега хотя бы дюжину этих животных?

Следует признать, что указанные философы не разрешили своего сомнения; однако они твердо стояли на том, что море залило в свое время земли не только на расстояние вплоть до восьмиста сорока стадиев от своего побережья, но и гораздо дальше. Спорам на эту тему нет конца. Наконец, галльский философ Теллиамед[28] заявил, что в течение пяти или шести тысяч веков море было повсюду и именно оно породило все горы.

Калликрат. Вы мне сообщаете весьма необычные вещи; вы то заставляете меня восхищаться вашими варварами, то вынуждаете над ними смеяться. Я с большей легкостью поверил бы в то, что горы породили моря, чем в то, что моря будто бы стали родительницами гор.

Эвгемер. Если, как утверждает Телиамед, течения океана и морские приливы постепенно породили Кавказ и Иммаус в Азии, Альпы и Апеннины в Европе, они должны были также породить людей, чтобы заселить эти горы и их долины.

Калликрат. Нет ничего более справедливого; однако сей Теллиамед кажется мне немножко тронутым.

Эвгемер. Человека этого долгое время использовал в Египте его король для гарантированной торговли, и он слыл весьма просвещенным ученым. Он не осмеливается утверждать, будто сам видел морских людей, но он беседовал с людьми, их видевшими; он считает, что эти морские люди, описание коих дают нам многие путешественники, в конце концов стали земными людьми — такими, каковы мы есть, — после того как море, схлынув с берегов, чтобы воздвигнуть на них свои горы, бросило этих людей на произвол земной жизни. Точно так же Телиамед считает или хочет заставить считать других, что наши львы, медведи, волки, собаки произошли от морских собак, волков, медведей и львов и все наши птичьи дворы были заселены одними летающими рыбами, постепенно превратившимися в уток и кур.

Калликрат. А как он может обосновать эти нелепости?

Эвгемер. Он обосновывает их с помощью Гомера, повествовавшего о тритонах и сиренах. Особенно эти сирены — обладательницы чарующего голоса: они обучали музыке людей, когда жили на земле, вместо того чтобы обитать в воде. Более того, всему миру известно: некогда в Халдее, в реке Евфрат, обитала щука, по имени Оаннес, дважды в день выходившая из воды, чтобы наставлять народ; именно она и является покровительницей тех, кто проповедует с кафедр. Дельфин, вынесший из моря на спине Ариона, стал покровителем ямщиков. Этих свидетельств, несомненно, достаточно для создания новой философии.

Но наибольшую опору эта философия имела в лице автора[29] истории человека, вселенной и кунсткамеры великого короля; по крайней мере, он взял под свое покровительство горы, образованные течениями и приливами морей; он придал силу этой идее Теллиамеда. Его сравнивали с вельможей, вскармливающим в своих владениях сироту-подкидыша. Некоторые натуралисты присоединились к нему, и эта система стала большой проблемой.

Калликрат. Мне очень хотелось бы знать, как они доказывают, что Кавказские горы были порождены Понтом Эвксинским.

Эвгемер. Они ссылаются на то, что посреди земли хаттов в Германии была найдена окаменевшая щука, на большом Альпийском хребте — корабельный якорь и целый корабль — в окрестной пропасти. Правда, история с этим кораблем была рассказана всего лишь одним из тех бедных писак, кои стремятся за свою ложь заработать немного денег; однако люди, склонные к системосозиданию, не упустили случая заявить, что судно это со всеми своими снастями оказалось в упомянутой расселине более чем за миллион — миллион двести тысяч веков до изобретения навигации и было оно построено во времена, когда море схлынуло с вершин больших Альп для того, чтобы отправиться создавать Кавказские горы.

Калликрат. И это вы, Эвгемер, рассказываете мне такой вздор?

Эвгемер. Я вам сообщаю об этом, чтобы вы поняли, что мои варвары иногда отдавались на волю своего воображения, так же как ваши греки.

Калликрат. Никогда ни один греческий философ не говорил ничего подобного тому, что вы мне сейчас рассказали.

Эвгемер. Но как же, разве вы забыли, о чем недавно писал астроном Бероз, коего я так часто встречал при дворе Александра?

Калликрат. А именно? Что такого необычного он написал?

Эвгемер. В своих «Древностях человеческого рода» он утверждал, будто Сатурн явился к Ксиссутру и ему сказал: «Пятнадцатого числа месяца Эзи человеческий род будет погублен потопом. Спрячьте хорошенько все ваши сочинения в Сипаре, городе Солнца, дабы память о событиях не угасла (ведь когда на Земле не останется ни души, сочинения станут особо необходимы); постройте ковчег; взойдите на него с вашими родичами и друзьями, пусть туда же взойдут птицы и четвероногие, и запасите там провиант; когда же вас спросят, куда вы хотите отправиться на вашем судне, ответствуйте: „К богам, дабы молить их взять под свое покровительство человечество“».

Ксиссутр не преминул построить свой ковчег шириной в два стадия и длиной — в пять, иначе говоря, ширина его равнялась двумстам пятидесяти геометрическим футам, а длина — шестиста двадцати пяти. Судно это, которому предстояло отправиться в Черное море, было дрянным парусником. Наступил потоп. Когда же он прекратился, Ксиссутр выпустил на волю нескольких своих птиц, но они, не найдя себе пропитания, вернулись на судно. Через несколько дней он снова выпустил птиц, и когда они вернулись, лапки их были в грязи. В следующий раз они совсем не вернулись. Тогда Ксиссутр поступил таким образом: он сошел со своего судна, взгромоздившегося на одну из гор Армении, — и больше его не видели: боги забрали его к себе.

Итак, вы видите, что во все времена существовало стремление развлекать либо пугать людей то сказками, то рассуждениями. Халдеи вовсе не первые, пускавшие в ход ложь, чтобы заставить себя послушать, греки — не последние; Галлия перемешала вымыслы с истинами,

подобно грекам, но не внесла в свои мифы такую же, как у них, привлекательность; ложью пользовались и в Германии, и на острове Касситерида.

Первый ниспровергатель греческой философии в Галлии, знаменитый Кардет, признавался в том, что вводил нас в заблуждение и, формируя вселенную из игральных костей и создавая тонкую, шаровидную, ветвистую, рифленую и пористую материю, просто шутил. Другие дошли в своей веселости до того, что утверждали, будто со дня на день Вселенная вполне может быть разрушена тонкой материей, из коей, по их мнению, возникает огонь.

Калликрат. Очевидно, тот, кто, посмеиваясь, готовит нам этот крах, не принадлежит к семейству короля Ксиссутра. Несомненно, то один из философов, заставивших наш мир возникнуть из воспламенившейся кометы: философы эти хотели сделать смерть мира такой же, каким они сделали начало его жизни. Однако подобная шутка кажется мне чересчур сильной. Я не люблю, когда смеются над гибелью.

Эвгемер. И вы правы. Самое худшее, что эта идея — заставить нас всех погибнуть от огня — есть не что иное, как воскрешение старого мифа о Фаэтоне. Очень давно уже говорили о том, будто род человеческий однажды был потоплен наводнением, а в другой раз погублен пожаром.

Рассказывают даже, что первые люди воздвигли два красивых столпа, один — из камня, другой — из кирпича, дабы предупредить о катастрофе своих потомков и дабы в случае беды кирпичный столп мог противостоять огню, каменный же — воде.

Наши нынешние философы-варвары, являющиеся не только философами, но и пророками, возвещают нам, что оба столпа окажутся совсем бесполезными, ибо коль скоро одна комета образовала Землю, другая разобьет ее на тысячу кусков вместе с ее великолепными монументами из камня и кирпича. Относительно этого прорицания были написаны целые томы, содержащие много расчетов, на которые было затрачено немало ума; по поводу этой жуткой катастрофы также было немало веселья. Эти ученые галлы похожи на богов, рисуемых нам Гомером хохочущими неудержимым смехом над вещами совсем не забавными.

Калликрат. Смеяться, кажется мне, подобает лишь богам Эпикура: ведь они заняты только своими лакомствами и удовольствиями; но у богов Гомера, вечно ссорящихся между собой и на небе, и на Земле, нет особой причины для смеха, а уж у ваших галльских философов — тем паче. Разве вы не сказали мне, что их почти всегда распекают друиды? Это должно вернуть им серьезность.

Эвгемер. Да, многие из них были серьезны, и я осмелюсь вам сказать: они серьезно занимались тем, чтобы принести весомую пользу.

Калликрат. Именно об этом я и хотел бы узнать. Я люблю лишь полезную философию и предпочитаю архитектора, строящего мне приятный и удобный дом, математику, возводящему в квадрат кривую до двойной кривизны, с которой мне просто нечего делать.

Эвгемер. Варвары не только обнаружили свою проницательность в области квадратур кривых и даже в самих своих ошибках при вычислениях, но и изобрели новые искусства, без которых скоро не смогут обойтись сами греки; я изложу вам это.

Диалог двенадцатый

ИЗОБРЕТЕНИЯ ВАРВАРОВ, НОВЫЕ ИСКУССТВА И ИДЕИ

Калликрат. Скажите же мне поскорее, что́ столь полезного миру изобрели эти варвары?

Эвгемер. Мы должны были бы испытывать к ним вечную признательность, даже если бы они не изобрели ничего, кроме ветряных мельниц. Создателями этих прекрасных механизмов не были ни касситеридцы [30], ни готы, ни кельты: их придумали арабы, обосновавшиеся в Египте; греки здесь совершенно не при чем.

Калликрат. А как устроена эта прекрасная машина? Я слыхал разговоры, но никогда ничего такого не видел.

Эвгемер. Она представляет собой дом, укрепленный на вертлюге и вращающийся при каждом дуновении ветра; дом этот снабжен четырьмя большими крыльями, не умеющими летать, но служащими затем, что-

бы размалывать между двумя каменными жерновами сжатое в поле зерно. Греки, а также мы, сицилийцы, и даже римляне не пользуются этими крылатыми домами: мы только и знаем, что утруждать руки наших рабов грубым помолом зерна, отбираемого нами у земли в поте лица. Я надеюсь, что прекрасное искусство крылатых домов перекочует однажды к нам.

Калликрат. Говорят, что именно нашей Сицилии боги оказали милость даровать зерно и лишь оттуда оно получило частичное распространение в мире; но наши эпикурейцы в это не верят. Они убеждены, будто боги слишком заняты своей вкусной едой, чтобы еще думать о нашей. В самом деле, если бы Церера нам даровала пшеницу, она должна была бы подарить нам и ветряную мельницу.

Эвгемер. Что до меня, то я неизменно убежден не столько в том, что Церера принесла пшеницу в Сиракузы, сколько в том, что великий Демиург дал людям и животным пищу и способы ее добывания, необходимые для поддержания их краткосрочной жизни, в соответствии с климатом, в каком те или иные живые существа им были порождены.

Народы, населяющие берега Сены или Дуная, не владеют дивными плодами, растущими по берегам Ганга. Природа не произрастила у них этого столь вкусного и питательного риса, вкусовые качества коего усиливаются индийскими пряностями или сахарным тростником. Наша северная Европа лишена прекрасных пальм, которыми покрыта вся Азия, а также всевозможных золотых плодов, являющих собой столь легкий вид пищи и такое освежающее питье. Необъятные страны, коих Александр видел только границы, получили в удел кокосовый орех — рассказы о нем вы слышали; плод этот дает ядро, превосходящее по вкусу наш хлеб и молоко, а также жидкость, более приятную, чем наши лучшие вина; он дает масло для ламп и очень твердую скорлупу, из которой делают вазы и тысячи других небольших поделок; волокнистая кора, покрывающая это древо, дает пряжу для холстов, из которых выкраиваются корабельные паруса; из его древесины строят суда и дома, а его широкие, плотные листья служат этим домам кровлей. Таким образом, один только вид плодового дерева питает, утоляет жажду, одевает, дает жилье, сред-

ства передвижения и домашнюю утварь целым народам, которым земля щедро поставляет эти дары без предварительной обработки.

В Европе, где Сицилия является наиболее щедро одаренной страной, мы до сих пор имеем только дикие плоды, ибо золотые яблоки Гесперид, прекрасные плоды Персии, Серазонта и Эпира до сих пор не привились на нашем острове. Источник нашей жизни и славы — зерно, которым мы так похваляемся. Печальная слава и тяжкий источник! Быть может, были правы те, кто утверждал, что мы оскорбили Цереру и в наказание она обучила нас земледелию.

Сначала нужно извлечь из недр Земли и выковать руками наших циклопов железо, назначение которого — разрывать ее лоно. Три четверти населения нашей маленькой Европы вынуждены покупать в Азии и Африке семена для засева своих тощих полей; и эти поля после огромных трудов, изнуряющих людей и животных, дают в лучшие годы десятикратный урожай, обычно же — пятикратный и шестикратный, а иногда — трехкратный. Когда такая скудная жатва проведена, люди бывают вынуждены накидывать стога с помощью сильных взмахов вил, причем в ходе этой грубой работы часть урожая гибнет.

Но сами по себе эти работы ничего не дают для питания человека. Требуется отвезти полученное чахлое зерно к тем, кто орошает его своим потом, размалывая его собственными руками с помощью жерновов. Однако и тогда это еще не пища до тех пор, пока тесто не поставят на огонь в сводчатую печь, где избыток жара может превратить его в порошок, а недостаток — в бесполезное месиво.

Вот что такое хлеб, коим Церера облагодетельствовала людей, или, вернее, который она заставила их покупать столь дорогой ценой! Он не более похож на зерно, из коего его делают, чем алое платье — на барана, из шерсти которого оно соткано. Но особенно обидно что труженик едва пользуется плодами стольких трудов Не для него сеял обитатель берегов Дуная и Борисфена, но для варвара, овладевшего его страной, хотя он не ведает даже, как прорастает в земле зерно, и для друида или для ламы, требующих себе от имени неба доли собранного урожая, рассчитывая при этом обесчестить или

принести в жертву на алтаре дочку доброго человека, пропитание которого он пожирает.

Вы согласитесь со мной, по крайней мере, что математики, изобретшие ветряную мельницу, освободили несчастного земледельца от самой тяжкой его страды.

Калликрат. Я не сомневаюсь в том, что мода на ветряные мельницы будет немедленно воспринята всеми народами, питающимися хлебом, и они будут благословлять философию. Продолжайте, прошу вас, и дальше просвещать меня относительно новых изобретений варваров.

Эвгемер. Я уже вам сказал, что они дали зрение тем, кто его совсем не имел: они помогли старикам читать [31]; они показали всем людям звезды, ранее бывшие постоянно скрытыми от их взора [32]; и все эти благодеяния, восхитительно разнообразные, суть всего лишь следствия теоремы, известной в Греции и гласящей, что угол падения равен углу отражения.

Калликрат. Вы изображаете ваших философов богами: они даруют людям хлеб и говорят: «Да будет свет». А что они еще создали? Расскажите мне обо всем.

Эвгемер. Они сотворили искусство одним поворотом руки отпечатывать целую книгу [33]. Благодаря этому средству наука может стать всеобщим достоянием; книги на рынке будут стоить дешевле, чем съестные припасы. Каждый получит в свое распоряжение Аристотеля за меньшую цену, чем пулярку. В одном из разделов этого искусства достигнуто умение размножать картину в тысячекратном или десятижды тысячекратном количестве; таким образом, самый бедный из граждан сможет иметь у себя работы Зевксида и Апеллеса. Искусство это называется гравюрой.

Калликрат. Только что ваши философы-изобретатели были богами, а сейчас они — маги.

Эвгемер. Вы ближе к истине, чем думаете. В Европе есть страны, где это пока малоизвестное искусство размножения картин и книг было принято за колдовство; однако оно станет более обычным, чем ветряные мельницы, о которых я уже говорил. Каждый пожелает напечатать книгу или размножить свой портрет; мир наводнится безвкусными книгами; литература станет пошлым ремеслом, и когда тщеславие автора усугубится в его сознании пропорционально его глупости, не ос-

танется ни одного бумагомараки, который не потребовал бы выгравировать свой портрет на заглавном листе своего собрания сочинений.

Калликрат. Я вполне согласен, что большое количество книг может представлять опасность; однако надо питать глубокую признательность к тем, кто открыл секрет, позволяющий сделать их сбыт таким легким. Друзей выбирают из многих.

Эвгемер. На самом деле среди этих многих есть большое число торговцев мыслями: одни продают бредни Платона, другие — непристойности Диогена; в одной и той же лавчонке можно увидеть *Гермеса Трисмегиста* и *Аристофана*. Недавно несколько таких торговцев объединились для продажи тридцати огромных томов[34] извлечений из всего того, что когда-либо греческие и варварские философы изобрели, повторили или критиковали в области наук и искусств. Имея подобное сочинение, можно, как утверждают, обойтись без всех остальных, ибо вы всё узнаете из этого резюме, начиная от способа изготовления смертоносного порошка и вплоть до способа вдевать нитку в иголку.

Калликрат. О каком смертоносном порошке вы толкуете? Уж не яд ли это какой-то, изобретенный Анитом и Мелетом для очищения Земли от философов?

Эвгемер. Нет, это блестящий физический опыт, произведенный неким священником, который сам не разобрался во всей его тонкости: доведенный до степени искусства, этот опыт в совершенстве имитирует гром и молнию. Кроме того, он имеет и гораздо более страшные результаты: порошок этот воспламеняет и разрушает даже самые мощные крепости. Если бы нашему Александру было известно это изобретение, ему не потребовалась бы его доблесть для завоевания мира. Особенно вас удивит, что это искусство всеобщего уничтожения применяется во время празднеств и для развлечений. Празднуют свадьбу государя — и делается это не под звуки арф и лир, как у греков, а при вспышках молний и ударах грома, как если бы Юпитер явился заключить в объятья Семелу, облеченный всеми атрибутами своей славы.

Калликрат. То, что вы рассказываете, приводит меня в содрогание: это совсем новый мир, где в любой момент надо быть готовым к тому, что вас истребит

молния; правда, те, кто этого избегает, наслаждаются великолепным зрелищем.

Эвгемер. Если бы я в действительности собрал все, что изобрели чужеземцы новой эпохи в различное время, вы посчитали бы их гигантами, в сравнении с коими наши греки — всего лишь дети, со временем обещающие стать мужами.

В самом деле, не удивлю ли я вас, если скажу, что эти так называемые варвары сумели из простого песка сделать некий род шлифованных алмазов, имеющих более чем пять футов в высоту и ширину и отражающих все объекты лучше, чем небольшое серебряное зеркальце, посвященное Венере прекрасной Фриной в храме этой богини? Такие алмазы свободно пропускают в дома свет, защищая их в то же время от нежелательного проникновения воздуха. Сказать ли вам, до какой степени усовершенствовали они все искусства, доставляющие наслаждения нашим чувствам и способствующие усладам жизни? Поверите ли вы мне, если я вам скажу, что их столицы десятикратно большего размера и более густо населены, нежели Афины и Сиракузы, и на пространстве более чем в тридцать стадиев они заполнены великолепными произведениями искусства в разных жанрах, превосходящими все шедевры роскоши, коими славятся Сузы и Вавилон?

Но еще более вас поразит, что большинство открытий в области этих гениальных искусств было сделано как раз во времена невежества и неотесанности. Похоже, что бог дал некоторым людям инстинкт, превосходящий обычный разум, подобно тому как слоны рождаются в землях, населенных малыми обезьянами. Но постепенно разум сформировался: в результате он исследует то, что́ изобрел инстинкт, и создает системы; в конце концов он запутывается в аргументах — у варваров так же, как и у греков.

Калликрат. Вы всегда приводите «за» и «против» во всем том, чему вы меня обучаете.

Эвгемер. Это потому, что все на свете имеет свою хорошую и дурную стороны. Например, среди наших варваров одни обладают воспитанностью и деликатностью афинян, другие же — суеверной жестокостью скифов. Отдельные лица получили в удел хороший вкус и талант, но они воспитываются в школах, где отсутст-

вует здравый смысл. Они начинают превосходить греков в живописи и музыке, если они и не сравнялись с ними в скульптуре. У них есть экспериментальная физика, в которой у греков не было даже элементарных познаний, но в области метафизики они иногда предаются еще большим химерам, чем Платон, Пифагор, Зороастр и Меркурий Трисмегист.

Калликрат. Я предпочел бы обсуждать метафизические проблемы с каким-нибудь галлом или касситеридцем.

Эвгемер. Коли вы выучили бы их язык, к чему привел бы ваш диспут? Люди, споря устно, никогда не приходят к согласию; один из состязающихся плохо выражает свои мысли, другой еще хуже ему отвечает; один ложный аргумент опровергается другим, еще более ложным. Поэтому-то школьные диспуты долгое время отравляли человеческий разум. Без инстинкта — этого счастливого дара, способствовавшего изобретению и усовершенствованию искусств, без опытов, проводившихся вдали от словоблудия схоластов, общество до сих пор пребывало бы в состоянии дикости.

Но в чем честные люди более всего упрекали ученых и тех, кто претендует на это звание, будь то варвары или греки, так это в стремлении выйти за пределы природы. Они вырыли глубокие пропасти, и их засыпало вырытым грунтом.

Один из них[35], и в самом деле бывший истинным гением, исследовал, чем был бы человек без головы, которому боги даровали бы все остальное. Другой[36] употребил всю проницательность высокого ума на выяснение вопроса, какую роль играл бы человек, который из всех органов чувств имел бы один только нос. Еще один философ[37] того же высокого уровня назначил день и час, когда более не будет существовать ни людей, ни животных. Что вы хотите? Это Гераклы, играющие в бабки, но от этого они не меньше Гераклы. Три знаменитых математика острова Касситерида наглядно объяснили, каждый по-своему, как был устроен мир до потопа Девкалиона и Пирры; выводы их совершенно различны; таким образом, и расчеты их должны были быть ошибочными; однако они не исправили их и оставили людям созданный ими мир. Следовало бы лучше предоставить эту заботу богу.

А что вы скажете о человеке[38], открывшем секрет доводить себя до такой степени экзальтации, что ему якобы было даровано точно предсказывать будущее? И все это лишь на том дивном основании, что если мы мыслим о прошлом, коего уже нет, то с таким же успехом можно мыслить о будущем, еще не наступившем!

Вы можете видеть поэтому, что я — не безвкусный поклонник чужеземцев, которых я видел, я просто отдаю им должное, как и грекам: ошибки и злоупотребления встречаются всюду; если верить Гомеру, им нет счета и на небесах. Две вещи с ужасающей силой способствуют размножению книг среди наших варваров: тщеславие и нужда. Искусство сочинительства стало ремеслом, тем более универсальным, чем больше оно доступно.

Еще совсем недавно авторами были друиды, в объемистых томах объяснявшие, каким образом преломились у Аристотеля и Платона мистические свойства ветви дуба. Ныне большое число писателей посвятили себя преобразованию империй и республик. Человек, не умеющий управляться с курятником и даже не имеющий его в своем распоряжении, берется за перо и диктует законы королевству.

Другие в своих сочинениях воспитывают юношество, дав ему предварительно внушительные образцы своим собственным поведением.

Читали ли вы роман афинянина Ксенофонта о воспитании Кира?

Калликрат. Да, и признаюсь вам, у меня составилось лучшее мнение о Ксенофонте, чем о самом Кире.

Эвгемер. Ну так вот, недавно незначительный человечек — варвар — вообразил, будто он создал метод воспитания государей[39], значительно лучший, чем воспитание покорителя Вавилона.

Сначала автор — полугерманец, полугалл — объявляет, что один великий государь умолял его соизволить стать воспитателем его сына; он-де отказал в этом государю, потому что никогда не станет наставником. Но тут же он нам сообщает, что является наставником некоего знатного юноши. И знаете ли, какой урок преподает он своему ученику? Он делает из него подмастерье столяра; он сопровождает его в б... Он убеждает его в том, что принц, вельможа, должен жениться на дочери палача, если у него будут для этого личные ос-

нования. Наконец, он ему говорит, что гораздо мудрее убить своего врага, чем вступить с ним в честный бой.

Калликрат. Вот как воспитывают в Галлии юных аристократов! Поистине, вы меня не обманули, обещав рассказать обо всем хорошем и плохом, принятом у ваших варваров.

Эвгемер. Поскольку я обязался сказать всё, я добавлю, что у этого галльского Ксенофонта вы найдете эпизод, называемый «Савойский друид»[40] и направленный против схоластических идей друидов; в указанном эпизоде полно́ превосходных моментов.

Калликрат. А что это значит — «Савойский»?

Эвгемер. Савойярами называют народ, обитающий на склонах некоторых Альпийских гор.

Калликрат. И эти альпийские друиды не отправили на костер вашего Ксенофонта?

Эвгемер. Нет, они последовали примеру афинян, которые, казнив Сократа, стали потом высмеивать Диогена.

Калликрат. Итак, ваши галлы — нация чудаков?

Эвгемер. Да, они большие чудаки, после того как они были ужасно дикими, глупыми и жестокими.

Калликрат. Это то же самое, что произошло с нашими пеласгами-греками. А в столице вашей Галлии, стране, по вашим словам, в десять раз более обширной, населенной и богатой, чем Афины, так же как и в Афинах, ставятся трагедии, комедии, музыкальные спектакли и танцы, подобные пиррихе и кордаксу?

Эвгемер. Ставят ли их там? Да буквально все дни года бывают посвящены этим изящным искусствам. Галлы имели своих Софоклов, Еврипидов, Менандров и Тимофеев![41] Ныне они — самый на Земле искусный в танце народ; среди галлов больше танцоров, чем геометров. Но в столице Галлии произошло то же самое, что случилось сорок или пятьдесят тысяч лет назад, по словам мудрых персов, которые никогда не лгут, в городе Зороастра. Там небо, разгневавшись на Землю, где думали только о развлечениях, послало на Ганг жирную самку ужа, бывшую беременной десятью тысячами Завистей: она родила их, и с сего момента люди стали несчастными. По-видимому, в великой галльской столице народилось более ста тысяч Завистей, ибо там с момента, как какой-либо человек начинает преуспе-

вать в каком бы то ни было жанре, против него восстают все дочери этой ужихи. В столице Галлии есть лавочка, где Зависти торгуют клеветой четырежды в месяц [42]. Искусство сообщать свои мысли при помощи письма — восхитительное искусство, первоначально изобретенное во имя распространения просвещения, — стало великой добычей Зависти. Это не самое почетное из искусств, но наиболее культивируемое: брань по адресу наших ближних раскупается с большей поспешностью, нежели изысканные вина и божественный сиракузский мед.

Калликрат. Неважно. Как только я смогу избавиться от своего семейства, я отправлюсь взглянуть на эту столицу любезных варваров, где проводят время в танцах и злословии. Дочери ужихи не ужаснут путешественника.

ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

АТЕИСТ

Раздел первый

Среди христиан было множество атеистов; ныне их гораздо меньше. На первый взгляд может показаться парадоксальным — хотя по внимательном рассмотрении это оборачивается истиной — то, что теология часто ввергала умы в атеизм, а философия в конечном итоге их извлекала из этой бездны. В самом деле, некогда следовало извинять людям сомнение в божестве, коль скоро единственные лица, возвещавшие им это божество, спорили о его природе. Первые отцы церкви почти все делали своего бога телесным; следующие поколения отцов церкви, отказывая божеству в протяженности, помещали его тем не менее в некой части неба; согласно одним из них, он сотворил мир во времени, согласно другим — сам создал время; эти приписывали ему сына, имеющего образ его и подобие, те вообще отрицали за сыном какое-либо сходство с отцом. Споры шли также о способе, каким третья ипостась проистекала из первых двух.

Волновались по поводу того, составляют ли земной облик сына две ипостаси. Таким образом, вопрос незаметно разросся до диспута относительно пяти ипостасей божества — двух земных ипостасей Иисуса Христа и трех небесных — или же о четырех, если считать земную ипостась Иисуса единой, а также о трех, если рассматривать Иисуса только как бога. Спорили и о его матери, о нисхождении в ад и в преддверие рая, о способе поедания тела человекобога, о том, как пить кровь человекобога, а также о благодати, святых и многих других подобных предметах. Когда люди видели, что доверенные лица бога столь мало между собой согласны и из века в век провозглашают друг другу анафему, однако все они согласны между собой в смысле непомерной жажды богатства и власти, и когда, с другой стороны, взгляд задерживался на необъятном числе преступлений и бед, поражавших чумой землю, причем

многие из этих бед были вызваны самими диспутами наших духовных пастырей, тогда—надо это признать—разумным людям, по-видимому, показалось дозволенным усомниться в существовании столь причудливо возвещенного бога, а человеку восприимчивому — решить, что бога, который мог добровольно породить стольких несчастных, не существует.

Представим себе, например, какого-нибудь физика XV века, читающего в «Сумме» святого Фомы такие слова: «Virtus coeli, loco spermatis, sufficit cum elementis et putrefactione ad generationem animalium imperfectorum»* («Силы неба без всякой спермы довольно для порождения несовершенных животных с помощью элементов и процесса гниения»). Вот как бы этот физик мог рассуждать: «Если гнили и элементов довольно для образования бесформенных животных, ясно, что немножко большего количества продуктов гниения и немного более сильного жара будет достаточно для образования более совершенных животных. Сила неба здесь — сила природы. Итак, я должен думать вместе с Эпикуром и святым Фомой, что люди могли родиться из жидкой грязи и солнечных лучей; и это еще будет довольно благородное происхождение для столь злополучных и злых существ. Зачем же мне допускать бога-творца, если мне его представляют в столь противоречивых и возмущающих разум образах?» Однако в конце концов физика народилась и вместе с ней философия. Тогда все ясно узнали, что нильская тина не образует ни единого насекомого. Ученые были вынуждены признать повсеместно зародыши, связи, посредствующие звенья и поразительное соответствие между всеми созданиями. Они проследили лучи света, исходящие от Солнца с целью освещения планет и кольца Сатурна на расстоянии в триста миллионов лье, а также для того, чтобы образовать на Земле, в глазу маленького клеща, два угла, противолежащих вершине треугольника, и запечатлеть образ природы на его сетчатке. Миру был дан философ, открывший, с помощью каких простых и величественных законов движутся небесные тела в бездне пространства. Итак, творение мира, ставшее более понятным, указывает на мастера, а большое число

* (Лат.).— *Примеч. переводчика.*

всегда постоянных законов доказало существование законодателя. Здравая философия разрушила, таким образом, атеизм, которому темная теология давала в руки оружие.

Для небольшого числа неспокойных умов оставалось прибегнуть к единственному — последнему — средству: более шокированные пресловутыми несправедливостями верховного бытия, нежели пораженные его мудростью, они упрямо отвергали этот первичный двигатель. Они говорили: природа существует извечно; в природе все находится в движении, а значит, все претерпевает постоянные перемены. Но, если все вечно меняется, следовательно, могут возникнуть всевозможные комбинации; таким образом, современное состояние всех вещей может быть следствием одного лишь этого движения и вечного изменения. Возьмем шесть игральных костей: в действительности приходится держать пари за 46 655 шансов против одного, что вы не выбросите шесть раз по шесть очков; но даже с этими 46 655 шансами подобное пари равноправно. Таким образом, в бесконечной чреде времен нет ничего невозможного для возникновения одной из бесчисленных комбинаций, такой, как современное устройство вселенной.

Мы видели, что умы, в остальном рассудительные, были обольщены этим аргументом; однако они не подумали о том, что против них — бесконечное число аргументов, но зато, разумеется, далеко не бесконечно число аргументов против существования бога. Еще они должны принять во внимание: если все изменяется, даже мельчайшие виды вещей не должны оставаться неизменными, какими они пребывали долгое время. По крайней мере, у этих людей нет никаких оснований считать, будто новые виды не образуются каждодневно. На самом же деле весьма вероятно, что могущественная рука, господствующая над всеми этими вечными переменами, останавливает различные виды в ею предписанных им границах. Итак, философ, признающий бога, располагает множеством возможностей, равных уверенности, у атеиста же остаются одни сомнения. Можно развить целый ряд доказательств, разрушающих атеизм в философии.

Ясно, что в морали гораздо больший смысл имеет признавать бога, нежели не допускать его существова-

ние. В интересах всего человечества, чтобы существовал бог, который карал бы то, что не в состоянии подавить человеческое правосудие; но ясно также, что лучше было бы не признавать бога, чем поклоняться в его лице варвару, коему надлежит приносить человеческие жертвы, как это происходило у многих народов.

Истина эта окажется вне подозрений, если привести следующий разительный пример: при Моисее[1] иудеи не имели ни малейшего представления о бессмертии души и об иной жизни. Законодатель их не объявляет им от лица бога ничего, кроме чисто вре́менных кар и воздаяний; вопрос для них, таким образом, заключается только в том, чтобы жить. Но Моисей отдает левитам распоряжение убить двадцать три тысячи их собратьев за то, что они поклонялись золотому или позлаченному тельцу; в другой раз убиты двадцать четыре тысячи за сношения с дочерьми страны, в которой они пребывали, а двенадцать тысяч поражены смертью за то, что некоторые из них пожелали укрепить арку, готовую рухнуть: уважая веления Провидения, можно все же по-человечески утверждать, что для этих пятидесяти девяти тысяч человек, не веривших в загробную жизнь, было бы значительно лучше пребывать абсолютными атеистами и жить, чем быть убитыми во имя чтимого ими бога.

Несомненно, в китайских школах для эрудитов не преподают атеизм; тем не менее образованных атеистов там много, ибо они — посредственные философы. Однако несомненно и то, что лучше жить с ними в Пекине, пользуясь благодетельным воздействием их законов и нравов, чем быть выдворенным в Гоа и стонать там под тяжестью кандалов в тюрьмах инквизиции, дабы затем выйти из тюрьмы облепленным чертями, в рясе, окуренной серой, и испустить дух на костре.

Те, кто утверждал, что общество, состоящее из атеистов, возможно, были по-своему правы, ибо общество формируют законы; атеисты, будучи притом и философами, могут вести очень мудрую и счастливую жизнь под сенью законов; во всяком случае, они жили бы в обществе с большей легкостью, чем суеверные фанатики. Населите один город Эпикурами, Симонидами, Протагорами, Дебарро и Спинозами, а другой — янсенистами и молинистами — и в каком из них, полагаете

вы, будет больше волнений и ссор? Если рассматривать атеизм лишь в отношении к этой жизни, то он был бы весьма опасен в среде дикого непримиримого народа; однако ложные представления о божестве были бы не менее губительны. Большинство великих мира сего живут так, как если бы они были атеистами: всякий, кто прожил жизнь и был наблюдателен, знает, что познание бога, его присутствие и правосудие не имеют ни малейшего влияния на войны, союзы, а также на объекты тщеславия, выгоды, удовольствий, похищающих каждое мгновение жизни этих людей; однако нет того, чтобы они грубо попирали правила, установленные в обществе, и потому гораздо более приятно проводить свою жизнь рядом с ними, нежели с суеверными людьми и фанатиками. Правда, я ожидаю большей справедливости от того, кто верит в бога, чем от того, кто в него не верит; но от суеверных людей я жду только горечи и преследований. Атеизм и фанатизм — два чудовища, способные разодрать на части и пожрать общество; однако атеист в своем заблуждении сохраняет свой разум, вырывающий зубы из его пасти, фанатик же поражен неизлечимым безумием, наоборот, эти зубы оттачивающим.

Раздел II

В Англии, как и повсюду, было и существует сейчас много принципиальных атеистов; ведь только молодые, неопытные проповедники, худо осведомленные о том, что́ вершится в мире, могут уверять, будто в Англии нет места атеистам; я знал нескольких атеистов во Франции, бывших отличными естествоиспытателями, и, признаюсь, у меня вызывало крайнее изумление то, что люди, отлично разбирающиеся в пружинах природы, упрямо отрицают существование руки, столь явно управляющей игрой этих пружин.

Как мне представляется, одним из основоположений, ведущих их к материализму, является вера в бесконечную и заполненную вселенную, а также в вечно существующую материю: видимо, именно эти принципы сбивают с толку материалистов, ибо все ньютонианцы, коих я знал, допуская пустоту и конечную материю, тем самым допускают и бога.

В самом деле, если материя, как это утверждают множество философов и сам Декарт, бесконечна, значит, она сама по себе обладает атрибутом верховного бытия; если пустота немыслима, значит, материя существует необходимо; а если она существует необходимо, она существует извечно; в соответствии с подобными принципами можно, таким образом, вполне обойтись без бога — творца, создателя и хранителя этой материи.

Я хорошо знаю, что Декарт и большинство школ, веривших в заполненное пространство и безграничную материю, в то же время допускали существование бога; но это лишь потому, что люди не рассуждают и не ведут себя в соответствии со своими принципами.

Если бы люди рассуждали последовательно, Эпикур и его апостол Лукреций должны были бы быть самыми верующими поборниками провидения, которое они, наоборот, ниспровергали: ведь, допуская пустоту и конечную материю, т. е. истину, о какой они лишь смутно догадывались, они с необходимостью должны были сделать вывод, гласящий, что материя не необходима и не существует сама по себе, поскольку она не бесконечна. Таким образом, в своей собственной философии вопреки самим себе они располагали доказательством существования другого верховного бытия, необходимого, безграничного, Творца вселенной. Философия Ньютона, допускающая и доказывающая конечность материи и существование пустоты, столь же наглядно доказывает существование бога.

Итак, я рассматриваю истинных философов как апостолов божества; но неодинаково обстоит дело у разного рода людей: приходской настоятель проповедует существование бога детям; Ньютон же доказывает это мудрецам.

В Лондоне после войны Кромвеля при Карле II, так же как и в Париже после войн Гизов при Генрихе IV, было много острых споров по поводу атеизма; перейдя от крайней жестокости ко всяческим удовольствиям и развратив свои умы сначала войной, а затем изнеженностью, люди тогда рассуждали весьма посредственно; но чем больше они изучали природу, тем больше познавали ее творца.

Я осмеливаюсь верить в некую вещь, а именно в то, что из всех религий теизм более всего распространен

в мире: он — господствующая религия в Китае; такова же магометанская секта мудрецов, а из десяти христианских философов восемь придерживаются этого направления; теизм проник даже в теологические школы, в монастыри и в папский конклав: то род секты без корпорации, без культа и без обрядов, без диспутов и ложного рвения, причем учение это распространилось в мире, хотя никто его не проповедовал. Теизм встречается внутри всех религий, как и иудаизм; но особенно обращает на себя внимание то, что одна из этих религий, являющаяся клубком суеверий, отвращающих от себя людей и презираемых мудрецами, терпима всюду ценой денег, другая же, противопоставляющая себя суевериям, неведомая народу и исповедуемая одними только философами, публично исповедуется только в Китае. Нет в Европе страны, в коей было бы больше теистов, чем в Англии. Многие спрашивают у них, имеют они религию или нет.

Существуют два рода теистов.

Одним полагают, что бог сотворил мир, но не дал человеку правил добра и зла: ясно, что эти люди могут называться только философами.

Но есть и такие, кто думает, что бог даровал человеку естественный закон, и подобные люди, как это ясно, имеют религию, хотя и не имеют внешнего культа. С точки зрения христианской религии это мирные неприятели, пригретые ею в собственном лоне и отрекающиеся от нее, хотя они ее и не разрушают.

Все остальные секты стремятся к господствующему положению; каждая из них подобна политической корпорации, старающейся прокормиться за счет питательных средств других сект, а затем взгромоздиться на этих развалинах; один лишь теизм пребывал всегда безмятежным. Никто никогда не видел теистов, строящих козни в каком-либо государстве.

В Лондоне существовало общество теистов, собиравшееся в течение некоторого периода времени возле храма Войр; у них была небольшая книжечка их законов; религия, по поводу которой в те времена сочиняли столько объемистых томов, укладывалась в две странички этой книжки. Главной аксиомой их религии был следующий принцип: мораль для всех людей одинакова, а значит, она исходит от бога; культ у разных людей

различен, а значит, он является творением человека.

Вторая аксиома гласит: люди, будучи все между собой друзьями, преследуют своих собратьев потому, что различным способом выражают свою любовь к общему своему отцу. В самом деле, говорят эти теисты, что это за честный и порядочный человек, если он собирается убить своего старшего или младшего брата лишь потому, что один из них приветствует их общего отца по-китайски, другой же — по-голландски, особенно если в семье нет прочной уверенности в том способе, каким по желанию отца надо выказывать ему уважение? Как представляется, тот, кто ведет себя таким образом, будет скорее дурным братом, нежели добрым сыном.

Я хорошо знаю, что подобные максимы прямо ведут к «ужасной и омерзительной догме терпимости»; итак, я всего только излагаю факты. Я очень боюсь оказаться спорщиком. Однако следует признать, что, если бы различные секты, сеявшие раздор среди христиан, отличались подобной умеренностью, христианство не возмущали бы столь многочисленные беспорядки, не вносили бы полную неразбериху множество переворотов и его не заливало бы такое количество крови.

Посетуем на то, что теисты опровергают наше священное откровение. Однако как это происходит, что многие кальвинисты, лютеране, анабаптисты, несториане, ариане, сторонники Рима и их враги были столь кровожадными, дикими и злополучными, что преследовали и были преследуемы? Происходит это потому, что они принадлежали к *толпе*. А как происходит, что теисты, даже заблуждаясь, никогда не причиняли зла людям? Происходит это потому, что они — *философы*. Христианская религия стоила человечеству более семнадцати миллионов жизней, если считать по одному миллиону в столетие — как тех, кто погиб от рук палачей правосудия, так и тех, кто умер от рук других, наемных палачей, построенных в боевом порядке,— и все это во имя благополучия ближних своих и вящей божественной славы.

Я понимаю удивление людей по поводу того, что религия, столь умеренная, как теизм, кажущаяся столь соответствующей разуму, не получила никакого распространения в народе.

В толпе, как высокопоставленной, так и „низовой", можно встретить благочестивых зеленщиц, богомольных барышников, герцогинь-молинисток и педантичных портных, которые дадут себя сжечь на костре во имя анабаптизма, а также святых возниц экипажей, полностью приверженных интересам Лютера или Ария, однако в этой толпе не найдешь ни одного теиста. Происходит это потому, что теизм меньше заслуживает наименования религии, нежели философской системы, а высокопоставленная и низовая толпа не принадлежит к философскому сообществу.

Локк был открытым теистом. Я был удивлен, обнаружив в принадлежащей этому большому философу главе, посвященной врожденным идеям, утверждение, гласящее, что у всех людей представления о справедливости между собой различны. Если бы это было так, мораль тоже стала бы многоразличной и голос бога не был бы услышан всеми людьми; в таком случае естественной религии больше не существует. Я мог бы поверить Локку, что существуют народы, где принято пожирать собственных отцов и где в порядке дружеской услуги спят с женой своего соседа; однако, если это и верно, это никак не доказывает, будто закон: «не делай другому того, что ты не хотел бы видеть причиненным тебе» — не является всеобщим правилом. Ведь если кто-то съедает собственного отца, то лишь потому, что тот уже стар и не в состоянии более влачить свою жизнь, почему и может быть пожран своими врагами; но какой отец, спрашиваю я вас, не предпочтет уснастить собой трапезу сына тому, чтобы стать добычей врага своего народа? Более того, тот, кто поедает собственного отца, рассчитывает, что, в свой черед, будет съеден своими детьми.

Если кто-то оказывает услугу соседу тем, что переспит с его женой, то лишь потому, что сосед этот не может иметь детей, однако жаждет приобрести сына: ведь в противном случае он будет весьма огорчен В обоих этих случаях, как и во всех остальных, закон: «не делай другому того, что ты не хотел бы видеть причиненным тебе» — остается в силе. Все прочие правила, столь многоразличные, связаны именно с этим. И когда мудрый метафизик Локк говорит, что у людей нет врожденных идей и они имеют различные представ-

ления о справедливом и несправедливом, он, разумеется, не утверждает будто бог не дал всем людям тот инстинкт самосохранения, что́ с необходимостью всеми ими руководит *.

АТЕИЗМ

Раздел первый

О СРАВНЕНИИ, СТОЛЬ ЧАСТО ДЕЛАЕМОМ МЕЖДУ АТЕИЗМОМ И ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ

Мне кажется, что в «Энциклопедическом словаре» не опровергается с достаточной силой мнение иезуита Ришома относительно атеистов и идолопоклонников, поддерживавшееся некогда святым Фомой, святым Григорием Назианским, святым Киприаном и Тертуллианом. Это мнение Арнобий развил со всей страстностью, заявив язычникам: «Не краснеете ли вы, когда ставите нам в упрек наше презрение к вашим богам? И разве не лучше вовсе не верить в бога, чем приписывать ему бесславные поступки?». Подобное мнение было высказано задолго до того Плутархом, заявившим, что он скорее предпочтет, чтобы говорили, будто вообще не существует Плутарха, нежели чтобы говорили: «Есть Плутарх — непостоянный, гневливый и мстительный»; наконец, это мнение было подкреплено всевозможными усилиями диалектики Бейля.

Вот основа этого спора, представленная в достаточно ярком свете иезуитом Ришомом и ставшая еще менее состоятельной из-за того способа, каким Бейль хотел ее укрепить.

«У двери дома стоят два портье. Их спрашивают: „Можно видеть вашего господина?“ — „Его нет дома“,— отвечает один. „Он там,— говорит второй,— но он занят изготовлением фальшивой монеты, заключением лживых контрактов, производством кинжалов и ядов, чтобы погубить тех, кто не выполнил его замыслов“». Атеист напоминает первого из этих портье, язычник — второго.

* Смотри статьи «Себялюбие», «Атеизм и теизм» настоящего «Словаря», а также *Символ веры теистов* (*Сборник* за 1768 год) и *Письма Меммия к Цицерону* (*Сборник* за 1771 год).— *Примеч. Вольтера.*

Ясно, что язычник оскорбляет божество более тяжким образом, чем атеист».

С разрешения отца Ришома, а также Бейля — суть вопроса заключена совсем не в этом. Чтобы первый портье походил на атеиста, ему вовсе не нужно говорить: «Моего господина нет дома», ему надо сказать: «У меня нет господина; тот, кого вы считаете моим господином, не существует; мой собрат — глупец, раз он вам говорит, что месье занят составлением ядов и заточкой кинжалов ради убийства тех, кто выполнял его волю». Подобного существа в мире не существует.

Итак, Ришом рассуждал очень скверно, а Бейль в своих несколько расплывчатых рассуждениях забылся настолько, что оказал Ришому честь довольно неудачно его прокомментировать.

Плутарх, по-видимому, изъясняется значительно лучше, предпочитая людей, уверяющих, будто не существует Плутарха, тем, кто утверждает что Плутарх — человек нелюдимый. Что за дело ему, действительно, если станут говорить, будто его не существует? Однако для него очень важно, чтобы не оскорбляли его репутацию. Но не так обстоит дело с верховным бытием.

Плутарх пока не задевает истинного вопроса, подлежащего рассмотрению. Речь не идет здесь о том, кто более оскорбляет верховное бытие — тот, кто его отрицает, или тот, кто искажает его обличье: ведь лишь путем откровения можно узнать, оскорблен ли бог пустыми прениями о нем людей.

Философы, даже не помышляя об этом, почти всегда впадают в вульгарное представление, предполагая, что бог ревнив к своей славе, что он гневлив, мстителен, и создавая риторические построения вместо реальных идей. Интересным объектом для всего мира является вопрос о том, не лучше ли ради блага всего человечества допустить бога воздающего, бога-мстителя, вознаграждающего за незаметные добрые дела и карающего за тайные преступления, чем не допускать никакого бога.

Бейль ограничивается тем, что приводит все образцы бесчестья, приписываемые мифами античным богам; его противники отвечают ему ничего не значащими общими местами; сторонники Бейля и его противники сражались, почти всегда не сталкиваясь между собой непосред-

ственно. Все они согласны, что Юпитер был волокитой, Венера — бесстыдницей, Меркурий — плутом; но не это, как мне кажется, следует выяснять: надо отличать «Метаморфозы» Овидия от древней римской религии. Весьма достоверно, что у римлян никогда не было храмов, посвященных Меркурию-плуту, Венере-срамнице и волоките Юпитеру.

Бога, коего римляне именовали *Deus optimus, maximus* * (милостивейший, величайший), они не считали способным подбить Клодия[2] на связь с женой Цезаря, а Цезаря на то, чтобы быть любовником царя Никомеда[3].

Цицерон не упоминает даже о том, будто именно Меркурий подбил Верреса[4] ограбить Сицилию, хотя, согласно мифу, Меркурий похитил коров Аполлона. Истинная религия древних гласила, что *милостивейший и справедливый* Юпитер, а также второстепенные боги карают за преступления в царстве Плутона. Благодаря этому римляне долгое время оставались самыми религиозными блюстителями обетов. Религия, таким образом, была очень полезна римлянам. Она вовсе не повелевала им верить в два яйца, снесенных Ледой, в превращение дочери Инаха в корову и в любовь Аполлона к Гиацинту.

Поэтому не следует говорить, будто религия Нумы бесчестила божество. Итак, долгое время шли диспуты о химере, а это случается слишком уж часто.

Далее, задают вопрос, может ли сохранить свое существование народ, состоящий из атеистов. Как мне представляется, следует различать народ в собственном смысле этого слова и сообщество философов, стоящее над народом. Весьма верно, что в любой стране население нуждается в крепкой узде; и если бы Бейль распоряжался хотя бы пятьюстами или шестьюстами крестьян, он не обошелся бы без провозглашения пред ними существования бога — карающего и воздающего. Но Бейль не сказал бы этого эпикурейцам — людям богатым, влюбленным в спокойный досуг, культивировавшим все социальные добродетели, и особенно дружбу, избегавшим сложностей и опасностей общественных дел, ведшим, наконец, приятный и невинный образ жизни.

---

* (Лат.).— *Примеч. переводчика.*

Мне кажется, на этом — что касается общества и политики — спор должен быть окончен.

Что же касается абсолютно диких народов, то, как мы уже сказали, их нельзя считать ни атеистами, ни теистами. Спрашивать у них об их вере — все равно что спрашивать, за Аристотеля они или за Демокрита: они ничего этого не знают; они не более атеисты, чем перипатетики. Однако можно настаивать; можно сказать: они живут в обществе и лишены бога; итак, можно жить в обществе и без религии.

В этом случае я бы сказал, что волки тоже живут таким образом и сборище варваров-людоедов, какими вы их считаете, не есть общество; я всегда буду спрашивать вас, желаете ли вы, чтобы, когда вы одолжите деньги кому-нибудь из членов своего общества, ваши должники, а также прокурор, нотариус и судья оказались людьми, не верующими в бога?

Раздел II

СОВРЕМЕННЫЕ АТЕИСТЫ. ДОВОДЫ ПОКЛОННИКОВ БОГА

Мы — разумные существа, а разумные существа не могли быть сформированы грубым бытием, слепым и бесчувственным: несомненно, существует какая-то разница между идеями Ньютона и пометом мула. Итак, интеллект Ньютона произошел от какого-то иного интеллекта.

Когда мы видим прекрасно слаженный механизм, мы говорим, что имеется хороший механик и этот механик очень разумен. Мир, несомненно, восхитительный механизм, а значит, в мире существует восхитительный интеллект, где бы он ни находился. Аргумент этот стар, но от этого он не хуже.

Все живые тела состоят из рычагов и блоков, действующих согласно законам механики, а также из жидкостей, кои законы гидростатики заставляют всегда циркулировать; когда подумаешь, что все эти существа обладают чувством, не имеющим никакого отношения к их конституции, нас охватывает подлинное изумление.

Движение звезд и нашей малой Земли вокруг Солнца — все это совершается в соответствии с самыми глубокими математическими законами. Каким образом Платон, не знавший ни одного из этих законов, красноречивый, но склонный к фантазерству Платон, утверждавший, будто Земля состоит из равнобедренных треугольников, а вода — из треугольников прямоугольных,— тот чудаковатый Платон, который говорил, что может существовать не более пяти миров, поскольку существует всего пять правильных тел,— каким образом, говорю я, Платон, не знавший даже сферической тригонометрии, тем не менее был столь гениален и имел столь счастливый инстинкт, что назвал бога *вечным Геометром* и почувствовал существование творческого интеллекта? Сам Спиноза признает все это. Истину эту невозможно оспаривать — она нас окружает и давит на нас со всех сторон.

ДОВОДЫ АТЕИСТОВ

Тем не менее я знал смутьянов, утверждавших, будто вообще не существует творческого разума и будто одно лишь движение породило само по себе все то, что мы видим, и то, чем являемся. Они дерзко твердят вам: образование этой Вселенной было возможно потому, что она существует; итак, одно лишь движение могло ее сотворить. Возьмем только эти четыре светила — Марс, Венеру, Меркурий и Землю — и подумаем прежде всего, отвлекаясь от прочего, о занимаемом ими месте; посмотрим, сколько у нас шансов за то, что одно лишь движение могло поместить их на соответствующие места. В подобной комбинации мы располагаем всего двадцатью четырьмя шансами, или, иначе говоря, можно поставить двадцать четыре против одного, что эти светила окажутся не там, где они есть, по отношению друг к другу. Добавим к четырем этим планетам Юпитер, тогда можно будет поставить сто двадцать против одного за то, что Юпитер, Марс, Венера, Меркурий и наш земной шар не окажутся там, где мы их видим.

Наконец, добавьте сюда Сатурн; в этом случае будет семьсот двадцать шансов против одного за то, чтобы не поместить эти шесть крупных планет в том порядке, какой они сохраняют между собой согласно их данным

дистанциям. Итак, нами доказано, что лишь одно из семиста двадцати движений могло расположить эти шесть главных планет в их существующем ныне порядке.

Возьмем, далее, все второстепенные звезды, все их комбинации, движения, а также все существа, произрастающие, живущие, чувствующие, мыслящие и действующие на всех этих планетах, и вы должны будете увеличить количество шансов: умножайте это число всю вечность вплоть до того количества, коему наша слабость дала название *бесконечности*, все равно в пользу образования мира таким, каков он есть, силой одного лишь движения всегда останется единица; итак, возможно, что в масштабах вечности единственное движение материи произвело вселенную такой, какова она есть. И даже необходимо, чтобы в масштабах вечности возникла подобная комбинация. Итак, говорят атеисты, не только возможно, чтобы в силу одного-единственного движения мир оказался таким, каков он есть, но было бы, наоборот, невозможно, чтобы в результате бесконечных комбинаций он таковым не оказался.

ОТВЕТ

Вся эта гипотеза представляется мне в высшей степени фантастичной по двум причинам: во-первых, потому, что в нашей вселенной есть разумные существа, а вы не сумеете доказать, будто возможно, чтобы одно лишь движение создало разум; во-вторых, потому, что, согласно вашему собственному мнению, за то, что разумная творческая причина одушевляет вселенную, стоит бесконечность против единицы.

Еще раз: сам Спиноза допускает такой разум; разум этот — основа его системы. Просто вы его не читали, а надо его читать. Почему же вы хотите идти дальше, чем он, и ввергнуть ваш слабый разум в бездну, куда не осмелился спуститься Спиноза? Не чувствуете ли вы отлично, насколько глупо считать, будто слепая причина установила, что отношение квадрата периода обращения одной планеты к квадратам периодов обращения других планет всегда равно отношению куба дистанции одной из них к кубам дистанций других от их общего центра?

Либо звезды — великие геометры, либо вечный Геометр упорядочил эти звезды.

Но где этот вечный Геометр находится? В одном ли он месте или повсюду, не занимая при этом пространства? Я ничего об этом не знаю. Образовал ли он всё из своей собственной субстанции? Я ничего об этом не знаю. Необъятен ли он, не обладая при этом количеством и качеством? И об этом я ничего не знаю. Все, что мне известно: надо его любить и быть справедливым.

НОВОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО АТЕИСТА

Можно ли сказать, что части тела животных сообразованы с их потребностями? Каковы эти потребности? Сохранение жизни и размножение. Но следует ли удивляться тому, что из бесконечных комбинаций, произведенных случаем, смогли выжить лишь те, что имели органы, приспособленные к питанию и продолжению рода? И не должны ли были все остальные погибнуть в силу необходимости?

ОТВЕТ

Это рассуждение, твердившееся не раз после Лукреция, достаточно веско опровергается данным живым существам ощущением, а также разумом, дарованным человеку. Каким образом комбинации, *произведенные случаем*, могли бы произвести, в свою очередь, это ощущение и этот разум (в таком порядке, как только что было сказано в предыдущем параграфе)? Да, несомненно, члены животных созданы с непостижимым искусством для удовлетворения всех их потребностей, и у вас не хватает даже смелости это отрицать. Вы больше не касаетесь этого момента. Вы чувствуете, что вам нечего ответить на этот великий аргумент, выдвинутый против вас природой. Расположения частей одного только мушиного крылышка или органов улитки довольно для того, чтобы вас сразить.

ВОЗРАЖЕНИЕ МОПЕРТЮИ

Современные физики только развили эти пресловутые аргументы, доводя их часто до педантизма и непри-

личия. Бога отыскивали даже в складках кожи носорога — с таким же правом можно было бы отрицать его существование на основании панциря черепахи.

ОТВЕТ

Что это за рассуждение?! Черепаха, и носорог, и все многоразличные виды одинаковым образом доказывают в своем бесконечном разнообразии все ту же причину, тот же замысел и ту же цель — сохранение видов, их порождение и смерть. В этом бесконечном разнообразии обнаруживается единство; свидетельствами такого единства равным образом являются и кожа, и панцирь. Как! Отрицать бога лишь потому, что панцирь не сходен с кожей! И журналисты расточают хвалы этим нелепостям — хвалы, каких у них не заслужили Ньютон и Локк, оба почитателя божества в вопросе исследования первопричины.

ВОЗРАЖЕНИЕ МОПЕРТЮИ

Чему служит красота и приспособленность в строении организма змеи? Говорят, что она может иметь привычки, которые нам неизвестны. Помолчим же лучше по этому поводу и не будем восхищаться животным, которое мы знаем лишь по творимому им злу.

ОТВЕТ

Помолчите-ка лучше и вы, ибо вам понятна полезность этого животного не больше, чем мне, или признайте, что в пресмыкающихся все восхитительно пропорционально.

Существуют ядовитые змеи; вы сами были такой змеей. Но здесь речь идет только о великолепном искусстве, сформировавшем змей, четвероногих, птиц и двуногих. Искусство это достаточно очевидно. Вы спрашиваете, почему змея вредит? А почему вы столько раз вредили? Почему вы преследовали других, ведь это — величайшее преступление для философа? То ведь совсем другой вопрос, вопрос морального зла и зла физического. Давно уже возник вопрос, откуда столько змей и столько злых людей, худших, чем змеи. Если бы

мухи умели рассуждать, они пожаловались бы богу на существование пауков; однако они признали бы то, что́ Минерва, согласно мифу, признала за Арахной, а именно что она восхитительно ткет свою ткань.

Поэтому следует абсолютно признать неизреченный интеллект, допускаемый и самим Спинозой. Надо согласиться, что он проблескивает даже в самом дрянном насекомом, так же как в звездах. А что нам следует говорить и делать с точки зрения морального и физического зла? Да просто утешаться тем, что мы пользуемся физическим и моральным благом, и поклоняться вечному бытию, сотворившему одно и попустившему другое.

Еще слово по этому поводу. Атеизм — порок некоторых умных людей, суеверие — порок глупцов; но что такое мошенники? Да просто — мошенники.

Нам представляется лучшим, что мы можем здесь сделать,— переписать стихотворный отрывок, написанный христианским автором по поводу атеистической книги, озаглавленной «Три обманщика»[5], на открытие коей претендует некий г-н де Троусмандорф.

Раздел III

О НЕСПРАВЕДЛИВЫХ ОБВИНЕНИЯХ И ОПРАВДАНИИ ВАНИНИ

Некогда, если кто-нибудь располагал секретом в каком-то искусстве, он рисковал прослыть колдуном; любая новая секта подвергалась обвинению в убийстве детей во время своих мистерий, и всякий философ, отклонявшийся от жаргона, принятого в данной школе, обвинялся в атеизме фанатиками и жуликами и проклинался глупцами.

Анаксагор[6] осмелился утверждать, что Солнце вовсе не влечется упряжкой коней, управляемых Аполлоном,— его нарекают атеистом, и он принужден спасаться бегством.

Некий жрец обвиняет Аристотеля в атеизме; не имея возможности подвергнуть наказанию своего обвинителя, тот удаляется в Халкиду. Но смерть Сократа — самая одиозная глава в истории Греции.

Аристофан (комментаторы восхищаются этим чело-

веком, ибо он был грек, и не думают о том, что Сократ также был греком) первым приучил афинян к мысли о том, что Сократ — атеист.

Этот комический поэт, не являющийся ни комиком, ни поэтом, не был бы допущен у нас со своими фарсами на базар Сен-Лоран; мне он кажется гораздо более низменным и жалким, чем его изображает Плутарх. Вот слова мудрого Плутарха об этом балаганщике: «Язык Аристофана отдает его жалким шарлатанством: то самые низменные и безвкусные остроты. Он не забавен даже для народа и невыносим для рассудительных и приличных людей; его высокомерие нестерпимо, и порядочные люди презирают его коварство».

Между прочим, это и есть Табарен, коим осмеливается восхищаться мадам Дасье[7], почитательница Сократа: человек этот исподтишка подготовил яд, который бесчестные судьи заставили выпить самого добродетельного из греков.

Афинские кожевники, сапожники и портные аплодировали фарсу, в котором Сократ изображался подвешенным в воздухе в корзине, заявляющим, что у него нет бога, и похваляющимся тем, что, уча философии, он стянул у кого-то плащ. Целый народ, негодное правительство которого допускало подобные бесчестные вольности, вполне заслужил того, что́ с ним произошло: греки стали рабами римлян, а ныне — турок. Россияне, коих греки именовали некогда варварами и которые ныне им покровительствуют, никогда не отравляли Сократа и не осуждали на смерть Алкивиада[8].

Перескочим весь промежуток времени между Римской республикой и нами. Римляне — народ гораздо более мудрый, чем греки,— никогда не преследовали ни одного философа за убеждения. Но не так обстояло дело среди варварских народов, наследовавших Римской империи. С момента, когда император Фридрих II поссорился с папой, его обвиняют в том, что он — атеист и автор книги «Три обманщика» в соавторстве со своим канцлером де Винеи.

Наш великий канцлер де Л'Опиталь[9] восстал против преследований, и его тотчас же обвинили в атеизме*:

---

* «Commentarium rerum gallicarum» («Комментарий к делам галльским».— *Примеч. переводчика*), lib. XXVIII.— *Примеч. Вольтера.*

Homo doctus, sed verus atheus *. Иезуит, стоящий настолько же ниже Аристофана, насколько Аристофан ниже Гомера, несчастный, имя которого стало посмешищем даже среди фанатиков, словом, иезуит Гарасс находит всюду и везде *атеистов* — так он именует всех тех, против кого он выступает с неистовством. Он называет атеистом Теодора де Беза; и именно он ввел в заблуждение общество относительно Ванини [10].

Злополучный конец Ванини не вызывает у нас такого негодования и сожаления, как смерть Сократа, ибо Ванини был всего лишь чудаковатым педантом без всяких заслуг; но, конечно, Ванини не был атеистом, как пытаются утверждать,— он был чем-то прямо противоположным.

Он был бедным неаполитанским священником, проповедником и теологом по ремеслу, беспощадным спорщиком по вопросам «чтойностей» и универсалий и о том, *utrum chimera bombinans in vacuo possit comedere secundas intentiones* **. Впрочем, он не обладал ни одной жилкой, которая толкала бы его к атеизму. Его представление о боге взято из самой здравой и заслуживающей одобрение теологии. «Бог — собственное начало и конец, отец того и другого, не нуждающийся ни в том, ни в другом, вечный и не пребывающий во времени, присутствующий повсюду и не занимающий в то же время никакого места. Для него нет ни прошлого, ни будущего; он всюду и нигде, правит всем и все создал; он непреложен, бесконечен, не имеет частей; могущество его — его воля и т. д.». Это не очень по-философски, но заимствовано это из самой достойной теологии.

Ванини претендовал на то, что он воскресил прекрасное мнение Платона, принятое и Аверроэсом [11] и гласящее, что бог создал цепь существ от низших до высших, последнее звено которой скреплено с его вечным троном; правда, эта идея более возвышенна, чем истинна, но она столь же далека от атеизма, как бытие от небытия.

Ванини путешествовал с целью дискутировать и составить себе состояние; но, к несчастью, диспуты —

* «Человек ученый, но истинный атеист» (лат.)— *Примеч. переводчика.*

** *может ли химера жужжащая в пустоте, пожирать второстепенные посылки* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

вещь, противопоказанная богатству: таким образом наживаешь себе столько же непримиримых врагов, сколько встречаешь на своем пути ученых или педантов, против которых ты выступаешь. Другой причины несчастья, постигшего Ванини, не существует: его горячность и неотесанность заслужили ему в ходе диспутов ненависть отдельных теологов; после ссоры с неким Франконом, или Франкони, этот последний, будучи другом его врагов, не замедлил объявить его атеистом, проповедующим атеизм.

Этот Франкон, или Франкони, имел жестокость, призвав на помощь нескольких свидетелей, поддержать свою версию на очной ставке. Оказавшись на скамье подсудимых и спрошенный о том, что́ он думает по поводу существования бога, Ванини ответил, что он поклоняется, вполне в духе церкви, богу, сущему в трех лицах. Подняв с земли соломинку, он добавил: «Достаточно этой безделицы, чтобы доказать существование Творца». Затем он произнес прекрасную речь о произрастании и движении, а также о необходимости верховного бытия, без коего не было бы ни того ни другого.

Председатель суда Граммон, бывший тогда в Тулузе, приводит эту речь в ныне совершенно забытой «Истории Франции»; и тот же Граммон в силу непостижимого предрассудка утверждает, будто Ванини говорил все это из *тщеславия или страха, а не по внутреннему убеждению.*

На чем могло быть основано столь легковесное и жестокое суждение председателя суда Граммона? Ведь ясно, что на основе ответа Ванини следовало бы снять с него обвинение в атеизме. Что же, однако, случилось? Этот злополучный чужеземный священник сунулся также и в медицину: у него была найдена огромная живая жаба, хранимая им в сосуде с водой; после этого его не преминули обвинить в колдовстве. Было заявлено, что жаба для него — бог и предмет поклонения; многим местам из его книг было придано нечестивое значение — а ведь это нетрудно сделать, такая задача вполне банальна: его возражения были расценены как положительные ответы, некоторые двусмысленные фразы подверглись коварной интерпретации, вполне невинным выражениям был придан ядовитый смысл. В конце концов теснившая его группировка вырвала у судей поста-

новление, осуждавшее этого несчастного на смертную казнь. Чтобы оправдать такое решение, надо было серьезно обвинить этого злополучного человека в самых его ужасных грехах. Низкий — трижды низкий — Мерсенн [12] простер свой бред до того, что опубликовал заявление, будто *Ванини отправился из Неаполя с двенадцатью своими апостолами с целью обратить все народы в атеизм.* И как бедный священник мог содержать на свои средства двенадцать мужчин? Как мог убедить дюжину неаполитанцев путешествовать с большими издержками для того, чтобы распространять всюду это возмутительное учение ценой своей жизни? Любому королю недостало бы могущества для того, чтобы содержать двенадцать проповедников атеизма! Никто до отца Мерсенна не выдвигал столь чудовищно нелепого обвинения. Но после него все стали это твердить, засорять этим материалом журналы и исторические словари; мир, падкий до необычного, без расследования уверовал в этот миф.

Сам Бейль в своих «Различных мыслях» говорит о Ванини как об атеисте; он пользуется этим примером, чтобы подкрепить свой парадокс о *возможности существования общества атеистов;* он уверяет, что Ванини был человеком очень умеренных нравов и что он стал жертвой своих философских убеждений. Но он одинаково ошибается по этим обоим пунктам. Священник Ванини сообщает нам в своих «Диалогах», написанных в подражание Эразму, что у него была любовница, по имени Изабелла. Ему была свойственна вольность как в сочинениях, так и в поступках, однако он не был атеистом.

Через столетие после его кончины ученый Лагроз и человек, принявший псевдоним Филалета, вознамерились его оправдать, но, так как никого не интересовала память несчастного неаполитанца, вдобавок скверного писателя, почти никто не стал читать эти апологии.

Иезуит Гардуэн, более ученый, чем Гарасс, но не менее безрассудный, обвиняет в атеизме в своей книге, озаглавленной *Athei detecti* *, Декарта, Арно, Паскаля, Николя [13], Мальбранша; по счастью, на их долю не выпал жребий Ванини.

---

* «*Разоблаченные атеисты*» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

Раздел IV

Скажем несколько слов по поводу нравственного вопроса, поднятого Бейлем, а именно по поводу того, *может ли существовать общество атеистов.* Прежде всего, заметим, что у участников этого спора заметны огромные противоречия: те, кто ополчился против мнения Бейля, кто с громкой бранью отрицал утверждаемую им возможность атеистического общества, в дальнейшем с той же неустрашимостью утверждали, будто атеизм — религия китайского правительства.

Разумеется, они очень ошибались насчет последнего; стоило им только почитать эдикты императоров этой обширной страны, и они увидели бы, что эти эдикты представляют собой проповеди, в коих повсюду упоминается верховное бытие — правящее, отмщающее и воздающее.

Но одновременно они не меньше ошибались относительно немыслимости общества атеистов; не знаю, каким образом г-н Бейль мог забыть разительный пример, способный сделать его победителем в этом споре.

В чем усматривают немыслимость общества атеистов? Да в том, что считают людей, не имеющих узды, неспособными к сосуществованию; в том, что законы бессильны против тайных преступлений; наконец, в том, что необходим бог-мститель, который карал бы на этом или на том свете злодеев, ускользнувших от человеческого правосудия.

Законы Моисея — это верно — не провозглашали существования загробной жизни, не угрожали наказаниями после кончины, не учили древних иудеев бессмертию души; но иудеи, кои далеки были от атеизма и от веры в избавление от божьей кары, были самыми религиозными из людей. Они не только верили в бытие вечного бога, но считали также, что он постоянно находится среди них; они трепетали от страха наказания для себя, своих жен и детей и своего потомства вплоть до четвертого поколения; узда эта была весьма мощной.

Однако среди язычников многие секты вовсе не имели узды: скептики сомневались во всем; академики воздерживались от суждения по любому поводу; эпикурейцы были уверены, что божество не может вмешиваться в дела людей, да и, по существу, они не допускали никакого божества. Они были убеждены, что душа — не

субстанция, но способность, рождающаяся и гибнущая вместе с телом; таким образом, у них не было иной узды, кроме морали и чести. Римские сенаторы и всадники были настоящими атеистами, так как боги не существовали для людей, которые ничего от них не ждали и ни в чем их не страшились. Во времена Цезаря и Цицерона римский сенат был действительно сборищем атеистов.

Цицерон — этот великий оратор — в своей речи в защиту Клуенция бросил всему сенату: «Какое зло принесла ему * смерть? Мы отбрасываем здесь все нелепые сказки о преисподней; чего же, в самом деле, лишила его кончина? Ничего, кроме чувства страдания» **.

Цезарь, будучи другом Катилины и желая спасти жизнь своего друга вопреки тому же самому Цицерону, возражает последнему, что казнить преступника вовсе не означает его наказать, ибо смерть — ничто: это всего лишь конец наших бед, момент скорее счастливый, чем роковой. А разве Цицерон и весь сенат не сдались на этот довод? Победители и законодатели нашей вселенной явно составляли общество людей, ничего не опасавшихся со стороны богов и бывших очевидными атеистами.

Далее Бейль исследует, не является ли идолопоклонство более опасным, чем атеизм, и большее ли это преступление — совсем не верить в божество, нежели иметь о нем недостойные понятия. В этом вопросе он сторонник Плутарха: он полагает, что лучше не иметь никакого мнения, чем дурное, однако — пусть Плутарх на это не обижается — для греков явно было неизмеримо лучше страшиться Цереры, Нептуна и Юпитера, чем не страшиться ничего. Ясно, что святость клятв необходима и надо скорей доверяться тем, кто боится кары за ложную клятву, чем тем, кто считает, будто может ее давать вполне безнаказанно. Несомненно, в цивилизованном городе бесконечно полезнее иметь религию, даже скверную, чем не иметь ее вовсе.

Представляется все же, что Бейль должен был скорее исследовать, что более опасно — фанатизм или ате-

---

* Т. е. Оппиниаку, отчиму Клуенция, в убийстве которого обвиняли этого последнего.— *Примеч. переводчика.*

** Вольтер свободно перелагает здесь отрывок речи Цицерона в защиту Авла Клуенция Габита, XI, 169.— *Примеч. переводчика.*

изм. Разумеется, фанатизм тысячекрат гибельнее, ибо атеизм вообще не внушает кровавых страстей, фанатизм же их провоцирует; атеизм не противостоит преступлениям, но фанатизм их вызывает. Допустим вместе с автором «Commentarium rerum gallicarum», что канцлер Л'Опиталь был атеистом; законы, им издаваемые, не назовешь иначе как мудрыми: он рекомендовал умеренность и согласие; фанатики же затеяли избиение в ночь святого Варфоломея. Гоббс слыл атеистом, но он вел безмятежную и невинную жизнь, а современные ему фанатики заливали кровью Англию, Шотландию и Ирландию. Спиноза не только был атеистом, но и учил атеизму; однако ведь, несомненно, не он принимал участие в юридическом убийстве Барнвельдта; это не он разорвал на куски обоих братьев де Витт и съел их поджаренными на жаровне.

Атеисты — большей частью смелые и заблуждающиеся ученые, плохо рассуждающие: не понимая акт творения, происхождение зла и другие трудные вопросы, они прибегают к гипотезе необходимости и извечности вещей.

Люди тщеславные и сластолюбивые вообще не имеют времени для рассуждений и следования скверной системе: у них иные заботы, они не сравнивают между собой Лукреция и Сократа. Так идут среди нас дела.

Но не так обстояло дело в римском сенате, почти целиком состоявшем из принципиальных и практических атеистов, иначе говоря, из людей, не веривших ни в Провидение, ни в загробную жизнь; сенат этот был собранием философов, сладострастных и горделивых, весьма опасных (такими они были все без исключения) и погубивших республику. При императорах продолжал процветать эпикуреизм; сенатские атеисты были мятежниками во времена Суллы и Цезаря; при Августе и Тиберии они были безбожниками-рабами.

Я бы не хотел иметь дело с государем-атеистом, заинтересованным в том, чтобы истолочь меня в ступе: уверен, что в этом случае меня стерли бы в порошок. Я не хотел бы также, если бы я сам был сувереном, иметь дело с придворными-атеистами, заинтересованными в том, чтобы меня отравить: мне нужно было бы тогда на всякий случай каждый день принимать противоядие. А следовательно, абсолютно необходимо и для госуда-

рей, и для народов, чтобы идея верховного бытия, Творца, управителя, воздающего и карающего, была запечатлена глубоко в умах.

Бейль в своих «Мыслях о кометах» пишет, что есть народы-атеисты. Кафры, готтентоты, топинамбы и многие другие малые нации совсем не имеют бога: они не признают его и не отвергают; они просто никогда ничего о нем не слыхали. Скажите им, что есть бог — они легко в это поверят; но скажите им, что все вершится природой вещей, — они поверят вам также. Утверждать, будто они атеисты, то же самое, что обвинять их в антикартезианстве: ведь они ни за, и ни против Декарта. Они настоящие дети: ребенок не бывает ни атеистом, ни деистом — он вообще никто.

Какой же вывод сделаем мы из всего этого? Да тот, что атеизм — весьма опасное чудище, когда оно находится в тех, кто стоит у власти; он опасен и в кабинетных ученых, пусть даже жизнь их вполне невинна, ибо из их кабинетов они могут пробиться к должностным лицам; и если атеизм не столь гибелен, как фанатизм, он все-таки почти всегда оказывается роковым для добродетели. Отметим особенно, что ныне меньше атеистов, чем когда бы то ни было, после того как философы признали, что ни одно существо не развивается без зародыша, что не существует зародыша без замысла и т. д., а также что зерно не возникает из гнили.

Геометры, не являющиеся философами, отвергли конечные причины, но истинные философы их допускают; и, как сказал один известный автор, учитель катехизиса проповедует бога детям, Ньютон же доказывает его бытие мудрецам.

Если атеисты существуют, то о ком стоит здесь говорить, если не о продажных тиранах наших душ, вызывающих у нас отвращение своими обманами, заставляющих некоторые слабые умы отрицать бога, коего эти монстры бесчестят? И сколько раз эти кровопийцы народа доводили угнетенных граждан до возмущения против своего короля!

Люди, отягощенные нашей телесной субстанцией, нам кричат: «Будьте уверены, ослица действительно говорила! Верьте, что рыба проглотила человека и доставила его через три дня на берег здоровым и невредимым. Не сомневайтесь в том, что бог вселенной повелел одному

иудейскому пророку жрать дерьмо (*Иезекииль*), а другому — купить двух потаскух и родить от них детей блуда (*Осия*). Верьте в сотни вещей, либо явно омерзительных, либо математически невозможных; в противном случае сострадательный бог бросит вас в адский костер на срок не в миллион миллиардов веков, но на целую вечность — будете ли вы при этом обладать телом или же нет».

Эти непостижимые глупости возмущают слабые и легковесные умы, так же как и умы крепкие и мудрые. Они говорят: наши учители рисуют нам бога самым неразумным и грубым из всех существ, следовательно, бога не существует. Однако следовало бы сказать: итак, наши учители приписывают богу свои собственные нелепости и жестокости, а значит, бог прямо противоположен этому изображению; он настолько же мудр и благ, насколько они рисуют его безумным и злым. Так объясняют вопрос мудрецы. Но если их услышит какой-то фанатик, он донесет на них чину церковной полиции, и этот чиновник бросит их на костер, полагая при этом, что он отмщает божественное величие и ему подражает, в то время как на самом деле он наносит ему оскорбление.

БОГ, БОГИ

Раздел первый

Мы вынуждены очень часто предупреждать, что «Словарь» этот создан вовсе не для того, чтобы повторять и твердить то, что было уже сказано многими другими.

Знание бога вовсе не запечатлено в наших умах рукой природы, ибо в этом случае все люди обладали бы одним и тем же о нем представлением, а ведь ни одна идея не рождается вместе с нами. Идея вовсе не приходит к нам, как восприятия света, облика Земли и т. д. получаемые нами с того момента, как раскрываются наши глаза и наше сознание. Но философская ли это идея? Нет. Люди допустили существование богов до того, как среди них появились философы.

Откуда, однако, взялась эта идея? Она вытекает из чувства и той естественной логики, что развивается с

годами у самых простых людей. Люди наблюдают поразительные эффекты природы, урожаи и бесплодие, ясные дни и непогоду, благодеяния и бедствия и чувствуют за всем этим господина. Для управления обществами требовались вожди, а потому возникла необходимость допустить существование хозяев этих новых хозяев, коих создала себе людская слабость, — существ, чье могущество заставляло бы трепетать людей, способных угнетать своих ближних. Первые суверены, в свою очередь, использовали эти понятия для укрепления своей власти. В том-то и заключались первые шаги, и потому-то любое небольшое общество имело своего бога. Понятия эти были грубыми, ибо грубым тогда было все. Весьма естественно рассуждать методом аналогии. Общество, руководимое вождем, не могло отрицать существование у соседней народности своего судьи и руководителя, а следовательно, оно не могло отрицать существование у этой народности своего бога. Однако поскольку каждая народность была заинтересована в том, чтобы ее вождь был самым лучшим, ей было также важно верить, и она верила, что ее бог — самый могущественный. Отсюда берут свое происхождение все эти древние мифы, длительное время повсеместно распространенные и повествующие о том, как боги одного народа сражались против богов другого. Отсюда же и те места в еврейских книгах, которые ежесекундно обнаруживают распространенное среди иудеев мнение, что боги их врагов существуют, но бог иудеев — сильнее их.

Между тем, в больших государствах появились священники, маги, философы, ибо усовершенствовавшееся общество могло уже там выделять из себя праздных людей, занятых умозрениями.

Некоторые из этих людей изощрили свой разум до возможности тайного признания единого и всеобщего бога. Так, хотя среди древних египтян почитался Озири, Озирис или, точнее, Озирет (что означает: *земля эта — для меня*) и хотя египтяне почитали и другие высшие существа, тем не менее они допускали верховное божество, именовшееся ими *Кнеф,* символом которого была сфера на фронтисписе храма.

По этому образцу греки имели своего *Зевса* (Юпитера), господина других богов, бывших не чем иным,

как ангелами вавилонян и евреев и святыми христиан римского сообщества.

Может ли множество равноправных по своему могуществу богов существовать одновременно? Вопрос этот более щекотливый, чем обычно думают, причем он весьма мало изучен.

У нас нет никакого адекватного понятия о божестве, мы можем только переходить от предположения к предположению, от правдоподобия к вероятности. Нечто существует, а значит, нечто существует извечно, ибо ничто не возникает из ничего. Это достоверная истина, на которой успокаивается ваш ум. Любое творение, указующее нам на средства и цель, указывает тем самым и на творца, а значит, наша вселенная, состоящая из пружин, из средств, каждое из которых направлено на свою цель, обнаруживает очень могущественного и разумного мастера. Вероятность эта приближается к максимальной уверенности; однако бесконечен ли этот верховный мастер? Всюду ли он или лишь в одном месте? И как ответить на этот вопрос с нашим ограниченным интеллектом и слабыми познаниями?

Один только мой разум доказывает мне существование бытия, организовавшего материю этого мира; но разум мой бессилен доказать мне, что бытие это создало эту материю, что оно извлекло ее из небытия. Все мудрецы древности без какого бы то ни было исключения считали материю вечной и существующей самое по себе. Все, что я могу сделать, не прибегая к помощи высшего разума, — верить, что бог этого мира также вечен и существует сам по себе. Бог и материя существуют в силу природы вещей. А другие боги, как и другие миры, могли бы существовать? Целые народы и весьма просвещенные философские школы вполне допускали двух богов только в нашем мире: одного, являющегося источником блага, и другого — источник зла. Они допускали нескончаемую борьбу между двумя равными силами. Но, конечно, природа скорее может вынести наличие в необъятном пространстве многих независимых существ — абсолютных хозяев в своем, принадлежащем каждому из них, пространстве, нежели двух ограниченных и бессильных богов в этом мире, из коих один не в состоянии творить благо, а другой — зло.

Если бог и материя существуют извечно, как это полагали в античности, то перед нами здесь два необходимых бытия; но если есть два необходимых бытия, то их может быть и тридцать. Одни только эти сомнения, являющиеся зародышем бесконечного числа размышлений, должны, по меньшей мере, убедить нас в слабости нашего разума. Нам надлежит вместе с Цицероном признать свое невежество в вопросе природы божества. Ведь мы никогда здесь не узнаем более того, чем знал он.

Схоласты могут сколько угодно твердить нам, что бог бесконечен негативно, а не privативно, *formaliter et non materialiter* *; что он — первый, средний и последний акт; что он — повсюду, не будучи ни в каком определенном месте, — сто страниц комментариев к подобным определениям не могут нас ничуть просветить. Мы не располагаем ни ступенькой, ни *точкой опоры,* которые помогли бы нам подняться до подобных познаний. Мы чувствуем, что над нами простерта длань незримого бытия, но это и всё, и мы не способны сделать ни шага за эти пределы. Безрассудная дерзость—хотеть разгадать сущность этого бытия, понять, протяженно оно или нет, каким образом оно существует и как оно функционирует.

Раздел II

Я всегда боюсь впасть в заблуждение; однако все памятники говорят мне с очевидностью о том, что древние цивилизованные народы признавали верховное божество. Нет ни одной книги, медали, барельефа или надписи, где о Юноне, Минерве, Нептуне, Марсе и о других богах говорилось бы как о созидающих существах, творцах природы. Напротив, древнейшие дошедшие до нас светские книги — Гесиод и Гомер — изображают своего *Зевса* как единственного громовержца, единственного господина богов и людей; ему дозволено даже карать других богов: он сковывает Юнону цепями, изгоняет Аполлона из небесных пределов.

Древняя религия брахманов — первая, допустившая сотворенные небесные существа, и первая, повествовавшая об их мятеже, — изъясняется в высоком стиле по

---

* *«Формально, а не материально»* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

поводу единственности и могущества бога, как мы уже это видели в статье «Ангел».

Китайцы, несмотря на глубочайшую древность этого народа, появились после индийцев; они с незапамятных времен признавали одно-единственное божество; у них не было никаких подчиненных богов, никаких оракулов и абстрактных догм и никаких теологических диспутов среди образованных людей; первым священнослужителем был всегда император, религия же была величественна и проста; именно поэтому сия обширнейшая империя, хоть и подпадавшая дважды под чужеземное иго, постоянно сохраняет свою целостность; она подчинила своих завоевателей своим законам, и вопреки преступлениям и бедам, присущим человеческому роду, она до сих пор является самым процветающим государством в мире.

Халдейские маги, сабеи, признавали одно лишь верховное божество и поклонялись ему в лице звезд — его творений.

Персы поклонялись божеству в лице Солнца. Сфера, помещающаяся на фронтисписе храма в Мемфисе, служила эмблемой единого и совершенного бога, именовавшегося египтянами *Кнефом.*

Римляне всегда прилагали титул *Deus optimus maximus* * к имени одного лишь Юпитера:

Hominum sator atque deorum **.

Не будет чрезмерно частым напоминание об этой истине, кою мы подчеркиваем и в ряде других мест.

Такое почитание верховного бога установилось со времен Ромула и вплоть до полного упадка империи и ее религии. Вопреки всем глупостям народа, поклонявшегося второстепенным, смешным богам, вопреки эпикурейцам, по существу не признававшим никаких богов, доказано, что римские магистраты и мудрецы во все времена почитали лишь одного верховного бога.

Из большого количества свидетельств, оставленных нам в подтверждение этой истины, я бы выбрал прежде всего показания Максима Тирского, процветавшего при Антонинах — этих образцах истинного благочестия, ибо

* «*Бог всемилостивейший*» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

** «Сеятель богов и человеков» (лат.; *Вергилий.* Энеида, I, 258; XI, 725).— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

оно проистекало у них от гуманности. Вот его слова, читаемые в речи, озаглавленной «О боге согласно Платону». Читатель, желающий просветиться, пусть будет добр как следует их взвесить:

«Люди имели слабость придать богу человеческий облик, ибо кроме такого обличья они ничего не видели; смешно, однако, воображать вместе с Гомером, будто Юпитер, или верховное божество, имеет черные брови и золотистые волосы и будто он не может ими повести и встряхнуть, не взбаламутив все небо.

Когда людей вопрошают по поводу природы божества, ответы их бывают самыми различными. Тем не менее посреди этого громадного многообразия мнений вы обнаружите соображение, одинаковое для всего мира, а именно что существует лишь один бог, всеобщий отец, и т. д.».

Что станется после этого четкого признания и после бессмертных речей Цицерона, Антонинов и Эпиктета — что станется, говорю я, с декламациями, без конца твердимыми и сегодня столькими невежественными педантами? На что сгодятся эти вечные попреки в грубом политеизме и ребяческом идолопоклонстве, если не для того, чтобы убедить нас, что люди, настаивающие на этом, не имеют ни малейшего понятия о разумной античности? Ведь они просто спутали фантазии Гомера с учением мудрецов.

Надобно ли приводить более сильные и выразительные свидетельства? Вы найдете их в письме Максима из Мадоры к святому Августину. Оба они были философами и ораторами, по крайней мере они этим похвалялись; они вели между собой откровенную переписку и были друзьями настолько, насколько ими могут быть человек, приверженный к древней религии, и тот, кто исповедует новую.

Прочтите письмо Максима из Мадоры и ответ епископа Гиппонского [14].

ПИСЬМО МАКСИМА ИЗ МАДОРЫ

«Однако кто настолько ограничен и туп, чтобы сомневаться, что существует верховный бог, не имеющий начала, который, не породив ничего, подобного себе, является тем не менее общим отцом всего?

Могущество именно такого бога мы чтим под различными именами во всех частях света. Так, почитая раздельным образом, через различные культы то, что является как бы отдельными его членами, мы чтим его целокупно... Пусть они сохранят для вас этих *подчиненных* богов, под чьими именами и в чьем лице все мы, сколько нас есть на Земле смертных людей, поклоняемся *общему отцу богов и людей,* действительно, при помощи многоразличных обрядов, но эти боги во всем их многообразии между собой согласуются и тяготеют к одной и той же цели!»

И кто же был автором такого письма? Нумидиец, человек из Алжира.

ОТВЕТ АВГУСТИНА

«На вашей городской площади стоят две статуи Марса, одна — обнаженная, другая — во всеоружии, а рядом — фигура человека, держащего в трех пальцах, вытянутых в направлении статуи Марса, узду, накинутую на это злополучное для всего города божество... По поводу того, что вы пишете мне, а именно что подобные боги являются как бы членами единственно истинного бога, я хочу предупредить вас со всей откровенностью, что вы позволяете мне принять все меры предосторожности, дабы не впасть в подобные святотатственные шутки: тот единственный бог, о котором вы говорите, несомненно, признан всем светом, и в отношении него невежды бывают согласны с людьми учеными, как об этом писали некоторые из древних. Но скажете ли вы, что тот, чья мощь — чтобы не сказать «жестокость» — подавляется фигурой мертвого человека, является членом этого бога? Мне было бы нетрудно сбить вас с вашей позиции в этом вопросе, ибо вы отлично видите, что́ можно возразить на сказанное здесь вами; однако я воздержусь от этого из опасения, как бы вы не сказали, что я пускаю против вас в ход не столько оружие истины, сколько риторики».

Мы не знаем, что именно выражали те две статуи, от которых не сохранилось даже следа; однако все статуи, наводнявшие Рим, сам Пантеон и храмы, посвященные всем второстепенным божествам и даже двенадцати великим богам, никогда не опровергнуть того, что *Deus op-*

timus maximus (бог милостивейший, величайший) был признан во всей империи.

Беда римлян заключалась в том, что они были незнакомы с законом Моисея, а позднее — с законом учеников нашего Спасителя Иисуса Христа, в том, что они не имели веры и смешивали с культом верховного божества культы Марса, Венеры, Минервы, Аполлона — богов, коих не существовало, а также в том, что они сохранили такую религию вплоть до века Феодосия. По счастью, готы, гунны, вандалы, герулы, ломбарды и франки, разрушившие эту империю, подчинились истине и воспользовались счастьем, в котором было отказано Сципиону, Катону, Метеллу, Эмилию, Цицерону, Варрону, Вергилию и Горацию *.

Все эти великие люди не знали Иисуса Христа, да и не могли его знать; но они вовсе не поклонялись дьяволу, как это каждодневно твердят педанты. И как могли они поклоняться дьяволу, о котором они никогда ничего не слыхивали?

О КЛЕВЕТЕ УОРБУРТОНА[15], НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ ЦИЦЕРОНА ПО ПОВОДУ ВЕРХОВНОГО БОЖЕСТВА

Уорбуртон оклеветал Цицерона и Древний Рим **, а заодно и своих современников. Он дерзко предположил, будто Цицерон произнес в своей речи в защиту Флакка следующие слова: «Недостойно величия империи почитать одного бога. — Majestatem imperii non decuit ut unus tantum Deus colatur».

Но кто же ему поверит? В речи за Флакка нет об этом ни единого слова, равно как и во всех остальных сочинениях Цицерона. Дело идет там о некоторых притеснениях, в которых обвиняли Флакка, занимавшего должность претора в Малой Азии. Его тайно преследовали иудеи, коими в те времена был наводнен Рим; силой денег они добились для себя привилегий в Риме в то самое время, когда Помпей вслед за Крассом, взяв Иерусалим, велел повесить их царька Александра, сына

* Смотри статьи «Идол», «Идолопоклонник», «Идолопоклонство».— *Примеч. Вольтера.*

** Предисловие к части II тома II «Законодательства Моисея», с. 91. (*Он же*).

Аристобула. В свою защиту Флакк указывал, что в Иерусалим переправлялись золотые и серебряные монеты, а оттуда возвращались поддельные деньги, отчего страдала торговля; поэтому он приказал арестовать золото, незаконно туда поступавшее. Золото это, указывал Цицерон, до сих пор хранится в казне, а потому Флакк действовал столь же бескорыстно, как и Помпей.

Далее Цицерон в свойственной ему иронической манере заявляет: «Каждая страна имеет свою религию; у нас есть своя. Когда Иерусалим был еще свободен и иудеи были замирены, эти иудеи тем не менее питали ненависть к блеску нашей империи, к достоинству римского имени и к институтам наших предков. Ныне же эта нация более чем когда бы то ни было показала силой своего оружия, какое мнение она должна иметь в отношении Римской империи. Своей доблестью она нам продемонстрировала, насколько дорога она бессмертным богам: она доказала нам это, оказавшись разбитой, рассеянной, обложенной данью. — Sua cuique civitati religio est; nostra nobis. Stantibus Hierosolymis, pacatisque Judaeis, tamen istorum religio sacrorum, a splendore huius imperii, gravitate nominis nostri, majorum institutis abhorrebat: nunc vero hoc magis, quod illa gens quid de imperio nostro sentiret, ostendit armis: quam cara diis immortalibus esset, docuit, quod est victa, quod elocata, quod servata».

(*Cic., Oratio pro Flacco, cap. XXVIII*) *.

Это великая ложь, будто Цицерон или кто-то из римлян когда бы то ни было говорил, что величию их империи не подобает признавать единственное верховное божество. Их Юпитер, Зевс греков, Иегова финикийцев всегда рассматривались как владыки подчиненных богов; сия высокая истина не может быть повторяема чересчур часто.

---

* *Цицерон.* Речь в защиту Флакка, гл. XXVIII. Вольтер здесь, как обычно, дает довольно свободный перевод на французский. Слова «tamen istorum religio sacrorum... abhorrebat» («их религиозным святыням... был ненавистен») переданы у него просто: «эти иудеи... ненавидели».— *Примеч. переводчика.*

ВЗЯЛИ ЛИ РИМЛЯНЕ ВСЕХ СВОИХ БОГОВ ОТ ГРЕКОВ?

Не было ли у римлян много богов, не заимствованных ими у греков?

К примеру, они не могли быть плагиаторами, поклоняясь Небу-Coelum, в то время как греки поклонялись Небу-Ouranon, или взывая к Сатурну и богине Теллус*, в то время как греки адресовались к Кроносу и Гее.

Они называли Церерой богиню, именовавшуюся у греков Део и Деметрой.

Римский Нептун у греков был Посейдоном, Венера — Афродитой, Юнона именовалась по-гречески Герой; их Прозерпина у греков была Корой; наконец, их любимец Марс греками именовался Аресом, а возлюбленная их Беллона — Энио. Среди этих имен нет ни одной сходной пары.

Встречались ли между собой образованные греки и римляне или, быть может, одни из них заимствовали у других предмет, давая ему другое имя?

Вполне естественно, что римляне, не советуясь с греками, создавали себе богов неба, времен года, а также существа, ведающие войной, плодородием, жатвой; они не обращались к грекам с просьбой одолжить им этих богов, как позднее те обратились к ним за сводом законов. Когда вам попадается имя, не похожее ни на какое другое, представляется правильным считать это имя туземным.

Однако разве имя Юпитера, господина всех богов, не является словом, принадлежавшим всем народам — от Евфрата до Тибра? Имя это звучало у первых римлян как Йов, Йовис, у греков — Зевс, у финикийцев, сирийцев и египтян — Иегова.

Подобное сходство не может ли служить подтверждением того, что все эти народы имели представление о верховном бытии? Правда, представление это смутное; но может ли какой-нибудь человек обладать здесь отчетливым знанием?

---

* Tellus — богиня Земли у римлян.— *Примеч. переводчика.*

Раздел III

ИССЛЕДОВАНИЕ [УЧЕНИЯ] СПИНОЗЫ

Спиноза не мог устоять против допущения разумного начала, действующего в материи и образующего с ней единое целое.

«Я должен заключить, — *пишет он* *, — что абсолютное бытие не представляет собой ни мысли ни протяженности, исключающих одна другую, но протяженность и мысль являются необходимыми атрибутами абсолютного Бытия» .

Здесь, как кажется, он отличается от всех античных атеистов — от Окелла Лукана [16], Гераклита [17], Демокрита, Левкиппа [18], Стратона, Эпикура, Пифагора, Диагора, Зенона Элейского [19], Анаксимандра [20] и многих других. Особенно он отличен от них своим методом, целиком почерпнутым из чтения Декарта, которому он подражал даже в стиле.

Но более всего толпу крикунов, восклицавших: «Спиноза! Спиноза!», однако никогда его не читавших, поразило его заявление, помещаемое нами ниже и делаемое им вовсе не для того, чтобы пустить пыль в глаза людям, не для того, чтобы усмирить теологов и снискать себе чье-то покровительство, и не для того, чтобы обезоружить противную партию: он говорит как философ, не называя себя и не афишируя; он изъясняется по-латыни, дабы его поняло весьма небольшое число людей. Вот его символ веры:

СИМВОЛ ВЕРЫ СПИНОЗЫ

«Если я заключу также, что идея бога, подразумеваемая под идеей бесконечности Вселенной **, освобождает меня от послушания, любви и культа, я еще более опасно злоупотреблю своим разумом: ведь мне ясно, что законы, обретенные мной не благодаря отношениям с другими людьми или их посредничеству, но непосредственно от бога, — это законы, которые естественный светоч позволяет мне понять как истинных руководителей

---

* С. 13 издания Поппенса.— *Примеч. Вольтера.*

** С. 44.— *Примеч. Вольтера.*

разумного поведения. Если бы в этом отношении мне не хватало покорности, я погрешил бы не только против принципа моего бытия и против общества мне подобных, но и против самого себя, ибо я лишил бы себя самого серьезного преимущества моего существования. Верно, что это повиновение распространяется лишь на обязанности, связанные с моим положением, все же остальное я здесь рассматриваю как пустые занятия, изобретенные либо педантическим суеверием, либо для пользы тех, кто их учредил.

Что касается любви к богу, то эта идея никак не может ее ослабить, и я полагаю, что никакая иная идея не способна ее больше усилить, ибо она дает мне понять, что бог глубоко присущ моему существу, а также, что он дает мне существование и все мои свойства; однако дает он мне их щедро, без страха и упрека и без того чтобы подчинять меня чему-либо иному, кроме моей природы. Идея эта изгоняет опасения, беспокойство, неверие и все погрешности пошлой или корыстной любви. Она дает мне почувствовать, что это — благо, которое я не должен утратить и коим я владею тем более, чем более я его познаю и люблю».

Кто написал эти слова — добродетельный и мягкий Фенелон или Спиноза? Каким образом два человека, столь противоположных друг другу, с их столь различными представлениями о боге сумели протянуть друг другу руку в этой идее любви к богу самому по себе? (*смотрите* «Любовь к Богу»).

Надо признать это; оба они шли к одной цели, но один — в качестве христианина, другой — в качестве человека, имевшего несчастье не быть таковым: святой архиепископ был убежден, как философ, в том, что бог отличен от природы; другой — очень заблуждающийся ученик Декарта — воображал, будто бог — вся природа.

Первый из них был ортодоксом, второй ошибался — я должен это признать; однако оба они были искренни, оба заслуживали высокого уважения за свое чистосердечие, а также за простой и мягкий нрав, хотя в остальном нельзя говорить ни о каком отношении между подражателем *Одиссеи* и суховатым картезианцем, напичканным аргументами, между высокообразованным придворным Людовика XIV, облаченным тем, что именуют *высоким саном*, и бедным, отрекшимся от иудейства ев-

реем, жившим на триста флоринов ренты * в глубочайшей безвестности.

Если между ними и есть какое-то сходство, то лишь в том, что Фенелон был обвинен перед новозаветным синедрионом, Спиноза же — перед синагогой, безвластной и не имевшей для этого повода; первый из них покорился, второй — восстал.

ОСНОВА ФИЛОСОФИИ СПИНОЗЫ

Великий диалектик Бейль выступил против Спинозы **. Ведь система Спинозы не доказана столь же безупречно, как геометрические положения Евклида[21]. Если бы это было так, ее трудно было бы опровергнуть. Но система эта, по меньшей мере, темна.

Я всегда до некоторой степени подозревал, что Спиноза под своей универсальной субстанцией, своими модусами и акциденциями разумел нечто иное, чем разумеет под ними Бейль, а потому Бейль мог быть прав, хоть он и не опроверг Спинозу. Особенно я всегда считал, что Спиноза зачастую не понимал сам себя и это-то и есть главная причина того, что его не поняли другие.

Мне представляется, что цитадель спинозизма можно взять с той стороны, которой Бейль пренебрег. Спиноза считает, будто может существовать лишь одна-единственная субстанция; вся его книга, как кажется, свидетельствует о том, что он основывается на ошибочном положении Декарта о всеобщей заполненности пространства. Но ведь столь же неверно говорить о всеобщей заполненности, как и о всеобщей пустоте. Ныне доказано, что движение столь же немыслимо при абсолютной заполненности, сколь немыслимо, чтобы при полной сбалансированности груз в два фунта перетянул груз в четыре фунта.

Но если всякое движение абсолютно требует наличия пустого пространства, что станется с единой и единственной субстанцией Спинозы? Каким образом субстанция звезды, между которой и нами лежит столь ог-

---

* После его смерти по его счетам можно было увидеть, что он тратил иногда не более четырех с половиной су на свое дневное пропитание. Это не похоже на обеды монахов, собирающихся за церковной трапезой.— *Примеч. Вольтера.*

** См. статью «Спиноза» в *Словаре* Бейля.— *Примеч. Вольтера.*

ромное пустое пространство, окажется в точности тем же самым, что и субстанция нашей Земли, моя собственная субстанция * или субстанция мухи, пожираемой пауком?

Быть может, я заблуждаюсь, но я никогда не понимал, каким образом Спиноза, допуская бесконечную субстанцию, двумя атрибутами коей являются мысль и материя, допуская ту субстанцию, которую он именует богом и чьим модусом или акциденцией является все то, что мы лицезреем, мог тем не менее отвергнуть конечные причины. Если это безграничное и универсальное бытие мыслит, каким образом может не быть у него замыслов? А если оно питает замыслы, как может не быть у него воли? Мы, говорит Спиноза, являемся модусами этого абсолютного, необходимого и безграничного бытия. Я же ему отвечаю: мы желаем, имеем замыслы, мы — простые модусы, а значит, это бесконечное бытие, необходимое и абсолютное, не может их не иметь; следовательно, оно обладает волей, замыслами и могуществом.

Я хорошо знаю, что многие философы, и особенно Лукреций, отрицали конечные причины; знаю я также и то, что Лукреций, хотя стиль его слабо отточен, тем не менее — великий поэт в своих описаниях и своей морали; однако в философии он мне представляется — признаюсь в этом — стоящим намного ниже привратника коллежа или же приходского сторожа. Утверждать, будто ни глаз не создан для зрения, ни ухо — для слышания, ни желудок — для переваривания пищи,—разве это не самая великая нелепость и возмутительная глупость, какая только могла прийти на ум человеку? Каким бы я ни был скептиком, подобное безумие представляется мне очевидным, и я это утверждаю.

Что до меня, то я усматриваю в природе, как и в искусстве, одни только конечные причины, и я полагаю, что яблоня создана для того, чтобы давать яблоки, подобно тому как часы созданы для того, чтобы указывать время.

Должен здесь предупредить, что если Спиноза во многих местах своих сочинений издевается над конеч-

* Бейль не настаивал на этом аргументе потому, что не знал доказательств Ньютона, Кейля, Грегори, Галлея, гласящих, что для движения необходима пустота.— *Примеч. Вольтера.*

ными причинами, то он решительнее, чем кто бы то ни было, признает их в первой части «Бытия в общем и в частности».

Вот его слова:

«Пусть будет мне здесь позволено на мгновение остановиться * и выразить свое восхищение тем, как великолепно распорядилась природа, обогатившая организм человека всеми необходимыми приспособлениями, чтобы продлить до определенного предела его хрупкое существование и оживить его знание о себе самом знанием бесконечного числа далеких от него вещей; при этом, как кажется, она явно пренебрегла тем, чтобы дать ему средства для лучшего понимания вещей, из коих он должен делать более обычное употребление, и даже для лучшего понимания индивидов собственного своего вида. Тем не менее это скорее результат высшей щедрости, нежели отказа, ибо, если бы существовало какое-то разумное существо, способное проникнуть в сущность другого существа против его воли, оно могло бы обрести над этим последним такую власть, что в силу одного этого было бы исключено из общества. Вместо того каждый индивид, в настоящем своем состоянии довольствующийся самим собой с полной независимостью, общается с другими индивидами лишь настолько, насколько ему это удобно».

Какой же я сделаю отсюда вывод? Да тот, что Спиноза часто себе противоречит, что далеко не всегда он обладал четкими идеями, а также что из великого кораблекрушения систем он спасался то на одной дощечке, то на другой. Такой своей слабостью он напоминал Мальбранша, Арно, Боссюэ [22] и Клода [23], иногда противоречивших самим себе в своих диспутах; он никак не отличался здесь от множества метафизиков и теологов.

Итак, я делаю вывод, что на достаточно веском основании я должен подвергнуть сомнению все мои метафизические идеи: я — очень слабое существо, бродящее по зыбучим пескам, постоянно подо мной осыпающимся, и, быть может, для такого существа нет ничего более глупого, чем всегда считать себя правым.

Вы очень туманны, Барух ** Спиноза, однако так ли

* С. 14.— *Примеч. Вольтера.*

** Он звался Барухом, а не Бенедиктом, ибо никогда не был крещен.— *Примеч. Вольтера.*

вы опасны, как говорят? Я утверждаю, что нет; доводом мне здесь служит именно то, что вы туманны, что писали вы на скверной латыни и что в Европе нет и десяти человек, которые бы, хотя вас и перевели на французский язык, прочли вас от корки до корки. Какой автор может считаться опасным? Тот, кого читают праздные придворные, а также дамы.

Раздел IV

О «СИСТЕМЕ ПРИРОДЫ»

Автор «Системы природы» обладал тем преимуществом, что создал себе читателей в лице ученых, невежд и женщин. В стиле у него были достоинства, незнакомые Спинозе: часто он очень прозрачен, иногда отличается выразительностью, хотя ему и можно сделать упрек в том, что он повторяется, бывает высокопарен и противоречит себе, как и все другие. Во имя сути вещей от этих недостатков надо часто воздерживаться как в физике, так и в морали: речь ведь идет здесь об интересах человечества. Исследуем же, стараясь быть при этом сколь возможно краткими, истинна ли и полезна ли его доктрина.

«Порядка и беспорядка вообще не существует и т. д.!» *.

Как! В области физики слепорожденный или лишенный нижних конечностей ребенок, монстр, не противоречит природе вида? Разве обычная правильность природы не создает порядка, а неправильность не являет ли собой, наоборот, беспорядок? Не будет ли это огромным расстройством, гибельным беспорядком, если природа дает ребенку чувство голода, но запирает его пищевод? Регулярные очищения необходимы любому виду, но часто бывает, что протоки не имеют отверстий, — это требует вмешательства медицины; у подобного беспорядка, несомненно, существует своя причина. Нет следствий без причин, но в данном случае мы имеем дело с весьма беспорядочным следствием.

Не является ли убийство друга или своего брата

---

* Часть первая, с. 60.— *Примеч. Вольтера.*

ужасающим беспорядком в морали? Выпады и клевета различных Гарассов, Ле Телье[24], Дусенов против янсенистов и янсенистов — против иезуитов, обманы Патуйэ и Полиана разве не представляют собой маленьких беспорядков? Варфоломеевская ночь, убийства в Ирландии и т. д., и т. д., и т. п. — разве это не омерзительные нарушения? Преступление сие коренится в разгуле страстей, но следствие этой причины мерзко, а причина фатальна; подобное нарушение вызывает содрогание. Остается вскрыть, если это возможно, истоки подобного беспорядка, но беспорядок этот, разумеется, существует.

«Опыт показывает, что материи, рассматриваемые нами как инертные и мертвые, вступая в определенные сочетания, обретают действие, разумение и жизнь» *.

Но именно в этом-то и вся сложность. Каким путем зерно переходит к жизни? Ни автор, ни читатель в этом ничего не понимают. Поэтому-то «Система» и разрослась в два тома; да и не являются ли пустыми грезами все системы мира без исключения?

«Следовало бы дать определение жизни, но именно это я считаю немыслимым» **.

Однако разве такое определение не достаточно легко и избито? Разве жизнь не является формированием, коему присуще чувство? Но то, что вы считаете эти два свойства движения присущими только материи, — именно это доказать невозможно; а если невозможно это доказать, зачем это утверждать? Зачем громогласно заявлять: *Я знаю,* когда про себя мы говорим: *Я не ведаю?*

«Меня спросят, что такое человек, и т. д.» ***.

Параграф этот явно не более ясен, чем самые темные разделы сочинений Спинозы, и многие читатели испытывают чувство негодования из-за решительного тона, принятого здесь автором, но тем не менее ничего не объясняющего.

«Материя вечна и необходима; но формы ее и комбинации преходящи и случайны и т. д.» ****.

Трудно понять, каким образом материя, будучи необходимой, при том, что не существует, согласно автору

---

* С. 69.— *Примеч. Вольтера.*
** С. 78 (*Он же*).
*** С. 80 (*Он же*).
**** С. 82 (*Он же*).

никакого свободного бытия, тем не менее содержит в себе нечто случайное. Под случайным подразумевается то, что́ может быть и не быть, но перед лицом абсолютной необходимости всё, любой способ бытия, неудачно именуемый здесь автором *случайным,* обладает той же абсолютной необходимостью, что и само бытие. Мы здесь вновь попадаем в лабиринт, из которого нет выхода.

Когда осмеливаются утверждать, будто не существует бога, будто материя действует сама по себе, в силу вечной необходимости, сие следует доказывать с такой же точностью, как Евклидову теорему: без этого вся ваша система будет основана на вероятности. Но разве то достаточный фундамент для предмета, более всего интересующего человеческий род?!

«Если человек по своей природе вынужден любить собственное благополучие, то он вынужден любить и направленные на это благополучие средства. Было бы бесполезным и, быть может, несправедливым требовать от человека добродетели, если он не может стать добродетельным, не делая себя несчастным. С того момента, как порок делает его счастливым, он неминуемо возлюбит порок» *.

Максима эта так же омерзительна в области морали, как другие максимы нашего автора ложны в области физики. Если бы оказалось истинным, что какой-то человек не может достигнуть счастья, не страдая, надо было бы ободрять его и поощрять к достижению этого счастья. Положение автора с очевидностью может служить развалу общества. Впрочем, откуда берется представление, что нельзя быть счастливым, не имея пороков? Не доказано ли, напротив, опытом, что удовлетворение от обуздания пороков в сотни раз превышает удовольствие подпасть под их власть? И что́ это за удовольствие — вечно отравленное, ведущее к злополучию? Подавляя свои пороки, мы достигаем спокойствия, утешительного свидетельства собственной совести; отдаваясь порокам, мы утрачиваем покой и здоровье, рискуем всем. Да и сам наш автор в двух десятках мест выражает пожелание, чтобы мы жертвовали всем во имя добродетели; при этом он выдвигает данное положение лишь

---

* С. 152 — *Примеч. Вольтера.*

для того, чтобы дать в своей системе лишнее доказательство необходимости быть порядочным человеком.

«Люди, отвергающие столь основательно врожденные идеи... должны были бы чувствовать, что неизреченный интеллект, помещаемый у кормила мира, существования и качеств которого не в состоянии установить наши чувства, представляет собой разумное бытие» *.

В самом деле, каким образом из факта отсутствия у нас врожденных идей может следовать небытие бога? Не абсурдно ли подобное заключение? И будет ли это каким-то противоречием — говорить, что бог дает нам идеи через посредство наших чувств? Не является ли, наоборот, в высшей степени очевидным следующее: если существует всемогущее бытие, дарующее нам жизнь, то ему же мы обязаны нашими идеями, нашими чувствами, как и всем прочим? Раньше следовало бы доказать, что бога не существует, но именно этого-то автор и не сделал; именно этого он и не попытался сделать вплоть до указанной здесь страницы главы X.

Опасаясь утомить читателей исследованием всех этих разрозненных отрывков, я перехожу к основе книги нашего автора и к той поразительной ошибке, на которой он построил свою систему. Я должен полностью повторить здесь то, о чем писал уже раньше в других местах.

ИСТОРИЯ УГОРЬКОВ, НА СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРЫХ ОСНОВАНА ДАННАЯ СИСТЕМА

Во Франции около 1750 года жил некий английский иезуит, по имени Нидгем, обряженный в мирную одежду и служивший тогда наставником племянника г-на Диллона, архиепископа Тулузы. Человек этот ставил физические, и особенно химические, опыты.

Насыпав в бутылки муку, добытую из пораженной спорыньей ржи, и хорошенько заткнув эти бутылки, в которые был также добавлен бараний соус, вываренный в других бутылях, он затем сделал вывод, что этот бараний соус и ржаная мука породили угорьков, тотчас же породивших следующее поколение, и, таким образом, порода «угрей» безразлично рождается и из бараньего сока, и из ржаного зерна.

---

* С. 167.— *Примеч. Вольтера.*

Натуралист, пользующийся доброй славой, не усомнился в том, что этот Нидгем — атеист до мозга костей. Он сделал вывод: раз можно создавать угорьков из ржаной муки, значит, можно также из пшеничной муки делать людей; он посчитал, что всё — дело рук химии и природы и что доказано, таким образом, будто возможно обойтись без бога — Творца вселенной.

Подобное свойство муки легко ввело в заблуждение человека *, по несчастью обуянного в то время идеями, способными заставить трепетать за человеческий разум и его слабость. Он вознамерился, во-первых, прорыть отверстие вплоть до центра Земли, дабы увидеть срединный ее огонь, затем — анатомировать патагонцев, дабы познать природу души, далее — пропитать кожу больных древесной смолой, дабы воспрепятствовать выпотам, и, наконец, привести свою душу в экстаз, дабы предрекать будущее. Если добавить, что его снедало еще более несчастное намерение — загнать в угол своих двух собратьев, то это вовсе не принесет чести атеизму и послужит лишь нашему замешательству и уходу в самих себя.

Весьма необычно, что люди, отрицая Творца, приписали себе способность порождать угорьков.

Самое печальное здесь, что наиболее образованные натуралисты приняли смехотворную систему иезуита Нидгема, связав ее с системой Майе, утверждавшего, будто океан образовал Пиренеи и Альпы и люди изначально были морскими свиньями, чей раздвоенный хвост перешел в ходе времени в ляжки и голени, как мы уже говорили об этом раньше. Подобные фантазии могут быть помещены рядом с угорьками, рожденными мукой.

Недавно распространился слух, будто в Брюсселе курица зачала от кролика с полдюжины крольчат.

Подлинная смехотворность и лживость преобразования муки и бараньего сока в угорьков все же были выявлены: сделал это г-н Спалланцани — несколько лучший наблюдатель, чем Нидгем.

Не было даже нужды в его наблюдениях для того, чтобы доказать экстравагантность столь явной фантазии. Угорьки Нидгема незамедлительно отправились туда же, куда и брюссельская курица.

---

* Мопертюи.— *Примеч. Вольтера.*

Тем не менее в 1768 году точный и изысканный переводчик Лукреция, человек здравомыслящий, позволил уловить себя до такой степени, что он не только излагает в своих примечаниях к книге VIII, на странице 361, пресловутые опыты Нидгема, но и делает все от него зависящее, дабы указать на их состоятельность.

Эти идеи послужили новым основанием для построения «Системы природы». Начиная с главы второй автор изъясняется так:

«Увлажнив муку водой и закупорив эту смесь, через некоторое время с помощью микроскопа можно обнаружить, что она произвела на свет организованные существа, которые, как считалось, мука и вода не способны творить. Таким образом, неодушевленная природа может совершить переход к жизни, каковая представляет собой не что иное, как сочетание движений».

Даже если бы эта неслыханная глупость явилась правдой, я не вижу, строго говоря, каким образом она могла бы служить отрицанию бога: ведь вполне возможно при этом существование некоего верховного бытия, разумного и могущественного, кое, образовав Солнце и все светила, удостоило бы также создать без семени крошечные микроскопические существа. Здесь нет никакого противоречия в терминах. Доказательного свидетельства того, что бога не существует, следовало бы поискать в чем-то другом; однако именно этого другого никто, разумеется, не встречал и не встретит.

Автор «Системы природы» с пренебрежением пишет о конечных причинах, ибо, по его мнению, это — избитый довод; но столь презираемый им аргумент принадлежит Цицерону и Ньютону. Уже одно это могло бы вызвать у атеистов некоторое недоверие к самим себе. Достаточно велико число мудрецов, которые, наблюдая пути светил и изумительное искусство, царящее в строении животных и растений, признают могущественную руку, создающую это непрерывное чудо.

Автор утверждает, что слепая и неразборчивая материя производит разумные существа. Создавать без разума существа, которые им обладают! Возможно ли это вместить? И опирается ли эта система хоть на какой-то проблеск правдоподобия? Такое противоречивое утверждение требует доказательств, столь же поразительных, как оно само. Но автор их не дает вообще; он ничего не

доказывает, а только утверждает все свои домыслы. Но какой же это хаос! Какая полная неразбериха и какая великая дерзость!

Спиноза признавал, по крайней мере, интеллект, действующий в этом великом целом и устрояющий всю природу; в том была своя философия. Здесь же, в сей новой системе, вынужден я сказать, не нахожу никакой философии.

Материя протяженна, плотна, весома, делима — всем этим я обладаю в той же мере, как и вот этот камень. Но видел ли кто когда-либо ощущающий и мыслящий камень? Если я протяжен, плотен, делим — я обязан этим материи. Но у меня есть чувство и разумение; кому же я ими обязан? Не воде и не тине; весьма вероятно, что обязан я этим чему-то более могущественному, нежели я. Вы говорите мне, будто сила эта — всего лишь комбинация элементов. Докажите же мне это; дайте мне четко узреть, что разумная причина не могла мне дать разума. Вот к чему сводится ваша задача.

Автор успешно сражается со схоластическим богом, с богом, состоящим из противоречивых качеств и коему приписывают, как богам Гомера, людские страсти; бог этот капризен, непостоянен, мстителен, непоследователен, нелеп; но тот же автор не способен сразить бога мудрецов. Созерцая природу, эти последние допускают разумную высшую силу. Быть может, человеческому разуму не под силу без божественного содействия сделать еще один шаг вперед.

Автор вопрошает, где обитает такое бытие; из того, что ни один человек, не будучи бесконечным, не может ответить, где оно есть, автор заключает: его не существует. Но это не по-философски: ведь из того, что мы не в состоянии указать, где лежит причина некоего следствия, мы не в праве делать вывод, будто причины этой не существует. Не видав никогда канониров, но узрев действие пушечной батареи, вы не можете сказать: «Батарея эта действует лишь сама по себе».

Уж не считает ли он, будто сказать: «бога не существует» — достаточно для того, чтобы вам поверили на слово?

Наконец, очень весомое его возражение заключено в указании на несчастья и преступления людского рода —

возражение столь же древнее, сколь и носящее философский характер; оно общераспространенное, но фатальное и страшное, ибо ответить на него можно лишь надеждой на лучшую жизнь. Но что это за надежда? Наш разум не дает нам в ней никакой уверенности. Однако я осмеливаюсь сказать: когда нам доказано, что огромное здание, построенное с величайшим искусством, воздвигнуто архитектором, кем бы он ни был, мы обязаны верить в существование этого архитектора, даже если бы само здание обагрилось нашей кровью, было загрязнено нашими преступлениями и если бы оно раздавило нас своими руинами. Я пока не допытываюсь, добр ли означенный архитектор, надлежит ли мне удовлетвориться его постройкой или я должен скорее уйти из этого здания, чем там оставаться, а также довольны ли им те, кто поселился в нем вместе со мной на несколько дней; я исследую лишь одно — правда ли, что у этого здания есть архитектор, или же сей дом, снабженный огромным числом прекрасных аппартаментов и дрянными мансардами, воздвиг себя сам.

Раздел V

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРИТЬ В ВЕРХОВНОЕ БЫТИЕ

Объектом большого интереса, как мне это представляется, будет не метафизическая аргументация, но возможность взвесить вопрос, необходимо ли для общего блага всех людей, этих несчастных и мыслящих существ допускать существование бога — вознаграждающего и мстителя, служащего одновременно для нас уздой и утешением, или нам надо отбросить эту идею и отдаться нашим бедствиям без надежды и нашим преступлениям без угрызений совести.

Гоббс утверждает: если в каком-либо государстве, где вообще не признают бога, какой-нибудь гражданин предложил бы религию, его следовало бы повесить.

Под этим чрезвычайным и преувеличенным требованием он явно разумел случай, когда какой-либо гражданин вздумал бы захватить власть во имя бога; иначе говоря, он имеет в виду шарлатана, вздумавшего стать

тираном. Мы же здесь разумеем граждан, чувствующих людскую слабость, испорченность и беду и изыскивающих опорную точку для укрепления морали людей, а также поддержку для них в томлениях и ужасах этой жизни.

Начиная с Иова и вплоть до нас очень многие люди кляли свое существование; итак, мы постоянно нуждаемся в утешении и надежде. Ваша философия ее нас лишает. Миф о Пандоре имел бы бóльшую силу, он оставлял бы нам надежду, но вы его у нас похищаете! По вашему мнению, философия не дает никаких доказательств грядущего счастья. Да, не дает; но вы не располагаете никакими свидетельствами противного. Вполне возможно, в нас содержится неразрушимая монада, чувствующая и мыслящая, но при этом мы менее всего знаем, каким образом такая монада устроена. Разум никоим образом не противится этой идее, хотя один только разум не может ее подтвердить. И разве моя мысль не обладает громадным преимуществом перед вашей? Она полезна людскому роду, ваша же для него гибельна: ваша идея способна, что бы вы там ни говорили, воодушевить Нерона, Александра VI и Картуша, моя же мысль их пригибает к земле.

Марк Антонин и Эпиктет верили, что их монада — какого бы она ни была рода — воссоединится с монадой великого бытия, и они были добродетельнейшими из всех людей.

В том сомнении, в каком пребываем мы оба, я не говорю вам вместе с Паскалем: *примите то, что более достоверно.* Не бывает никакой достоверности в неуверенности. Ведь речь идет здесь не о пари, а об исследовании: необходим вывод, а наша воля не детерминирует наше суждение. Я не предлагаю вам ничего необычного для того, чтобы вывести вас из затруднения; я не говорю вам: ступайте в Мекку и облобызайте черный камень, чтобы вы просветились; держите руками коровий хвост; обрядитесь в рясу, станьте фанатиком и одержимым во имя снискания благосклонности верховного бытия. Я говорю: продолжайте культивировать добродетель, будьте милосердны, взирайте с отвращением или сожалением на все суеверия, но восхищайтесь вместе со мной замыслом, обнаруживающим себя в целокупной природе, а значит, и Творцом этого замысла — началь-

ной и конечной причиной всего; надейтесь вместе со мной, что наша монада, мыслящая о великом вечном бытии, обретет с помощью самого этого великого бытия счастье. Здесь не содержится никакого противоречия. Вы не докажете мне немыслимость подобного счастья, точно так же как я не могу вам математически доказать, что дело обстоит именно так. В метафизических рассуждениях мы опираемся на одну только вероятность; мы плаваем в море, берегов коего никогда не зрели. Горе тем, кто сражается между собой во время этого плавания! Пусть атакует, кто может; но тот, кто мне крикнет: «Вы плывете вотще, гавани нет!» — лишит меня мужества и отнимет все мои силы.

О чем же идет речь в нашем споре? Да о том, чтобы найти утешение в нашем злополучном существовании. И кто из нас дает это утешение — вы или я?

В отдельных местах вашего труда вы признаёте сами, что вера в бога удерживала некоторых людей на грани преступления, — этого признания мне довольно. Если бы это предотвратило на Земле всего лишь десять убийств, десяток клевет и десять несправедливых приговоров, я полагаю, весь мир должен был бы ее принять.

Религия, говорите вы, породила несметное число преступлений, но скажите лучше: их породило суеверие, царящее на нашей мрачной планете; суеверие — самый жестокий враг чистого поклонения, которым мы обязаны верховному бытию. Будем же презирать это чудовище, вечно раздиравшее лоно собственной матери; люди, сражающиеся с ним, — благодетели человечества; суеверие — змей, обвивший религию своими кольцами; ему надо размозжить голову, не раня при этом религию, которую он отравляет и пожирает.

Вы опасаетесь, как бы, поклоняясь богу, люди тотчас же не оказывались бы суеверными фанатиками; но разве не следует скорее бояться, что, отрицая бога, они предадутся самым жестоким страстям и самым страшным из преступлений? Разве между этими двумя крайностями не существует вполне благоразумной середины? Каково же убежище между двумя этими подводными рифами? Убежище это — бог и его мудрые законы.

Вы утверждаете, что от поклонения до суеверия —

всего один шаг. Но для ладно скроенных умов между тем и другим лежит бесконечность, а таких умов ныне очень много; они стоят во главе народов, влияют на нравы общества; из года в год фанатизм, заполонивший Землю, видит, как у него забирают то, что он безобразно узурпировал.

Еще кое-что я скажу в ответ на ваши слова на странице 223: «Если предполагать какие-то взаимоотношения между человеком и этим невероятным бытием, надо ему воздвигать алтари, нести дары и т. д.; если мы ничего не понимаем в сущности этого бытия, надо обращаться за разъяснениями к священнослужителям, которые... и т. д., и т. д., и т. п.». Великая беда — собраться в пору жатвы для благодарения бога за хлеб, нам даруемый! Подобная идея смехотворна. И где тут беда, если гражданину, именуемому *старейшиной* или *священником,* вменяется в долг выполнить эти обряды благодарения, возносимого божеству от лица других граждан, при условии, конечно, что таким служителем культа не будет ни Григорий VII [25], шагавший по головам царей, ни Александр VI, осквернивший кровосмешением лоно собственной дочери, которую он зачал в прелюбодейной связи, и убивавший и отравлявший при содействии своего бастарда почти всех соседних с ним государей; разумеется, таким служителем не может быть и приходской священник, жульнически обворовывающий исповедуемых им кающихся и употребляющий украденные деньги на обольщение наставляемых им девочек; таким служителем не может быть Ле Телье, ввергающий в пожар целое королевство мошенничествами, достойными позорного столба, ни Уорбуртон, нарушающий законы общества, предающий гласности секретные бумаги члена парламента, чтобы его погубить, и клевещущий на любого, кто не придерживается его взглядов, хотя эти последние случаи весьма редки. Духовный сан — узда, принуждающая к благопристойности.

Глупый священник возбуждает презрение; злой священнослужитель внушает ужас; добрый духовный отец, мягкий и благочестивый, свободный от суеверия, милосердный, терпимый — человек, коего мы должны ценить и уважать. Вы опасаетесь злоупотреблений — я также. Давайте же объединимся, дабы их предотвратить; но не будем осуждать обычай, если он полезен для обще-

ства и не извращен фанатизмом либо предательской злобой.

Я должен сказать вам весьма важную вещь: я убежден — вы глубоко заблуждаетесь; но я точно так же уверен: вы заблуждаетесь как честный человек. Вы хотите, чтобы люди стали добродетельными, но стали бы ими без бога, хотя вы, к несчастью, и обмолвились, что «с момента, как порок делает человека счастливым, он должен возлюбить порок». Это — ужасное заявление, и ваши друзья должны были заставить вас его вычеркнуть. Помимо этого места, вы всюду внушаете нам стремление к порядочности. Сей философский спор пойдет только между вами и несколькими философами, разбросанными по Европе; прочая часть Земли не услышит отсюда ни слова. Народ нас не читает. Если какой-то теолог вздумает вас преследовать, он будет злыднем, безумцем, который вас лишь укрепит и породит на свет других атеистов.

Вы заблуждаетесь, однако греки не преследовали Эпикура, римляне не преследовали Лукреция. Вы заблуждаетесь, но необходимо чтить ваш талант и вашу добродетель, опровергая вас самого изо всех сил.

Самое высокое уважение, какое можно, на мой взгляд, оказать богу, — это принять его защиту без гнева, тогда как самым недостойным его ликом будет изображение его мстительным и разъяренным. Он — сама истина, а истина лишена страстей. Возвещать бога от доброго сердца и стойкого, невозмутимого ума — значит быть его учеником.

Я, как и вы, считаю фанатизм чудищем, тысячекратно более опасным, чем философский атеизм. Спиноза не позволил себе ни одного дурного поступка. Шастель и Равальяк — оба набожные — умертвили Генриха IV.

Кабинетный атеист почти всегда — спокойный философ, фанатик же всегда мятежен; однако придворный атеист или атеист-государь мог бы стать бичем человечества. Борджа и ему подобные совершили почти столько же зла, сколько мюнстерские и севеннские фанатики: я имею в виду фанатиков обеих партий. Беда кабинетных атеистов заключается в том, что они творят атеистов придворных. Ахилла воспитывал Хирон; он вскармливал его львиным мозгом; и в один прекрасный день Ахилл повлечет тело Гектора вокруг троянских стен и

принесет в жертву своей мстительности двенадцать невинных пленных.

Бог да охранит нас от кошмарного священнослужителя, своим священническим ножом искрошившего в куски царя, или от того, кто, одетый в каску и панцирь, в возрасте семидесяти лет осмелился тремя своими окровавленными пальцами подписать смехотворное отлучение от церкви французского короля, или от... от... от... и т. д.!

Но да предотвратит также бог появление гневливого и грубого деспота, который, не веря в бога, стал бы богом самому себе, оказался бы недостойным своего священного положения и растоптал ногами обязанности, этим положением на него налагаемые; деспота, который без зазрения совести жертвовал бы своих родичей, друзей, слуг и народ своим страстям! Два этих тигра, один из которых носит тонзуру, другой же — корону, равно опасны. И какую узду могли б мы на них наложить? И т. д., и т. п.

Если идея бога, к коему могут приобщиться наши души, породила Тита, Траяна, Антонина, Марка Аврелия и тех великих китайских императоров, чья память столь драгоценна во второй из самых древних и обширных империй мира, мне довольно для моего дела этих примеров, дело же мое — дело всего человечества.

Я не верю, чтобы во всей Европе нашелся хоть один государственный муж или человек, хотя бы немного вращавшийся в свете, который не презирал бы самым глубоким образом все те легенды, коими мир был наводнен сильнее, нежели ныне он наводнен брошюрами. Если религия не порождает больше гражданских войн, мы обязаны этим исключительно философии: на теологические диспуты начинают в наше время смотреть теми же глазами, как на перебранку Жиля и Пьерро на базаре. Эта одновременно одиозная и смехотворная узурпация, основанная, с одной стороны, на обмане, с другой же — на глупости, ежесекундно подрывается разумом, утверждающим свое царство. Булла *In Coena Domini* * [26] — этот шедевр наглости и безрассудства — не осмеливается более появиться на свет даже в Риме. Когда какая-либо пастырская клика позволяет себе хоть

---

* *На трапезе Господней* (лат.) — *Примеч. переводчика.*

малейший выпад против законов государства, эту клику немедленно упраздняют. Но разве, если были изгнаны иезуиты, следует изгнать также бога? Наоборот, его надо за это любить еще больше.

Раздел VI

При императоре Аркадии Логомах [27], константинопольский теолог, отправился в Скифию и сделал остановку у подножия Кавказских гор, в плодородных равнинах Зефирима, у границ Колхиды. Добрый старец Дондиндах находился в это время в своей низкой просторной палате, расположенной между его большой овчарней и обширным гумном; он стоял на коленях вместе со своей женой, своими пятью сыновьями и дочерьми, с родителями и слугами, и все они возносили — после легкого ужина — хвалы богу.— Чем занят ты здесь, идолопоклонник? — вопросил его Логомах.— Но я вовсе не идолопоклонник, отвечал Дондиндах.— Нет, ты должен быть идолопоклонником, возразил Логомах, ибо ты не грек. Но вот скажи мне, что ты пел сейчас на своем варварском скифском жаргоне? — Все языки равны пред слухом бога, ответствовал скиф, мы пели хвалебные гимны.— Чудно́е дело! подхватил теолог. Скифская семья молится богу, не будучи нами обученной! Он тотчас же затеял беседу со скифом Дондиндахом, ибо теолог умел чуть-чуть говорить по-скифски, тот же немного знал греческий. Запись этой беседы обнаружили в рукописи, хранящейся в Константинопольской библиотеке.

Логомах. Поглядим, насколько ты знаешь свой катехизис. Почему ты молишься богу?

Дондиндах. Справедливо почитать верховное бытие, кое нам дает всё.

Логомах. Неплохо для варвара! А что ты у него просишь?

Дондиндах. Я благодарю его за блага, коими пользуюсь, и даже за зло, коим он меня испытывает; но я остерегаюсь что бы то ни было у него просить: он лучше нас знает, что́ нам необходимо, да, кроме того, я поостерегся бы просить у него благовременья тогда, когда мой сосед просит дождя.

Логомах. А! Я знал, что он ляпнет какую-то глупость. Возьмемся за дело повыше: варвар, кто поведал тебе, что есть бог?

Дондиндах. Природа в ее целокупности.

Логомах. Этого недостаточно. Какое представление у тебя о боге?

Дондиндах. Я считаю его своим творцом, хозяином, могущим меня вознаградить за благое дело и наказать за зло.

Логомах. Пустота, скудоумие! Обратимся к сути. Бог бесконечен *secundum quid* * или по существу?

Дондиндах. Я вас не понимаю.

Логомах. Грубая скотина! Находится ли бог в одном месте, вне всякого места или повсюду одновременно?

Дондиндах. Я ничего об этом не знаю... Пусть все будет, как вам угодно.

Логомах. Невежда! Может ли он сделать, чтобы того, что было, не было вовсе, или чтобы палка была лишена двух концов? Усматривает ли он будущее как будущее или как настоящее? Как поступает он, дабы извлечь бытие из небытия или дабы аннулировать бытие?

Дондиндах. Я никогда не исследовал подобные вещи.

Логомах. Что за тупица! Ну же, надо немножко осесть, умериться! Скажи мне, мой друг, веришь ли ты в вечность материи?

Дондиндах. Что за важность, существует ли она извечно или нет? Я-то не существую извечно. Бог всегда является моим господином; он дал мне понятие справедливости, и я должен этой справедливости следовать; я вовсе не желаю превратиться в философа, я хочу быть человеком.

Логомах. До чего же тяжело с этими тугодумами! Давай будем продвигаться вперед постепенно: что есть бог?

Дондиндах. Он — мой господин, судья и отец.

Логомах. Но я вовсе не это спрашиваю. Какова его сущность?

---

* *В соответствии с чем-то* (лат.). — *Примеч. переводчика.*

Дондиндах. Сущность его в том, чтобы быть могущественным и добрым.

Логомах. Но телесен ли он или духовен?

Дондиндах. Как можете вы требовать, чтобы я это знал?

Логомах. Как?! Ты не знаешь, что такое дух?

Дондиндах. Нисколько; да и на что мне все это? Стану ли я от этого более справедлив? Буду ли лучшим мужем, отцом, хозяином, гражданином?

Логомах. Совершенно необходимо объяснить тебе, что есть дух. Это, это, это... я скажу тебе это в другой раз.

Дондиндах. Я очень опасаюсь, как бы вы не сказали мне скорее о том, чем он не является, чем о том, что́ он есть. Позвольте мне в свой черед задать вам вопрос. Когда-то я видел один из ваших храмов; почему вы рисуете бога с бородой?

Логомах. Это очень трудный вопрос, требующий предварительных разъяснений.

Дондиндах. До получения ваших разъяснений я должен вам рассказать, что́ приключилось со мной однажды. Я только что велел построить уборную в конце моего сада, но тут я услышал слова крота, рассуждавшего с майским жуком. «Что за прекрасное заведение,— говорил крот.— Наверное, его создал очень могущественный крот».— «Да вы смеетесь,— отвечал майский жук.— Зодчий, построивший это здание,— гениальнейший майский жук». С той поры я решил никогда не спорить.

МАТЕРИЯ

Раздел первый

УЧТИВЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ФАНАТИКОМ И ФИЛОСОФОМ

Фанатик. Да, враг бога и людей, ты, верящий, будто бог всемогущ и в его власти наделить даром мышления любое существо, какое он удостоит избрать,— я донесу на тебя монсеньору инквизитору, отправлю тебя на костер! Поостерегись — в последний раз тебя предупреждаю.

Философ. Таковы ваши аргументы? Так-то вы учите людей? Я восхищен вашей деликатностью.

Фанатик. Послушай, я хочу чуть-чуть развлечься в надежде услышать всякую чушь. Отвечай мне: что есть дух?

Философ. Я ничего об этом не знаю.

Фанатик. А что такое материя?

Философ. Я знаю об этом немногое. Я полагаю материю протяженной, плотной, обладающей сопротивлением, тяготением, делимой, подвижной. Бог мог придать ей и тысячу иных качеств, неведомых мне.

Фанатик. Тысячу иных качеств, предатель! Вижу, куда ты гнешь! Ты сейчас скажешь мне, что бог был способен одушевить материю, что он дал животным инстинкт и он является господином всего.

Философ. Но ведь вполне возможно, что он действительно придал этой материи многие свойства, вам непонятные.

Фанатик. Мне непонятные?! Ах ты, злодей!

Философ. Да, его могущество простирается дальше вашего разумения.

Фанатик. Могущество! Его могущество! Да это рассуждение атеиста!

Философ. Но в мою пользу свидетельствуют многие святые отцы.

Фанатик. Давай, давай! Ни бог, ни святые отцы не помешают нам тебя быстрехонько сжечь; такова казнь для отцеубийц и философов, не придерживающихся наших взглядов.

Философ. Сам дьявол или ты изобрел этот метод аргументации?

Фанатик. Бесноватый, мерзавец, ты смеешь ставить меня на одну доску с дьяволом?!

(Тут фанатик закатывает оплеуху философу, возвращающему ее с лихвой.)

Философ. Ко мне, философы!

Фанатик. Ко мне, святая Германдада! [28]

(В этот момент с полдюжины философов появляются с одной стороны, и можно видеть, как с другой бегут сто доминиканцев в сопровождении сотни служителей инквизиции и сотни альгвазилов. Партия проиграна.)

Раздел II

Мудрецы, вопрошаемые, что́ есть душа, ответствуют: мы ничего об этом не знаем. Если их спрашивают, что такое материя, ответ их звучит точно так же. Правда, профессоры, особенно школьные, в совершенстве знают все это; твердя, что материя протяженна и делима, они полагают, будто тем самым сказали всё, однако, когда их просят объяснить, что означает «протяженность», они испытывают затруднение. «Протяженная» значит «состоящая из частей», — говорят они. Но из чего состоят эти части? Делимы ли элементы этих частей? И тогда они либо умолкают, либо пускаются в пространные объяснения: то и другое равно подозрительно. Почти неведомое нам бытие, именуемое материей, — вечно ли оно? Вся античность отвечала на этот вопрос утвердительно. Обладает ли она сама по себе активной силой? Многие философы так считали. А те, кто сие отрицает, вправе ли они это делать? Вы не постигаете, каким образом материя может иметь что-либо сама по себе. Но как можете вы утверждать, будто она не обладает сама по себе необходимыми для нее свойствами? Вы не понимаете ее природы и отказываете ей в модусах, заложенных тем не менее в ее природе: ведь в конце концов с того момента, как она существует, необходимо, чтобы она имела определенный вид и форму, а с момента, когда она в силу необходимости получает форму, возможно ли, чтобы она не имела иных модусов, связанных с ее очертаниями? Материя существует, и вы познаете ее исключительно через свои ощущения. Увы! К чему нам служат все вытекающие из рассуждения тонкие ухищренья ума? Геометрия сообщила нам приличное число истин, метафизика — очень мало. Мы взвешиваем материю, измеряем ее, разлагаем на составные части; но если мы хотим сделать хоть шаг за пределы сих грубых действий, мы чувствуем собственное бессилие и пропасть, разверзшуюся под нами.

Извините, ради бога, весь мир за то, что он заблуждался, веря в самостоятельное существование материи. Да и мог ли он поступать иначе? Как можно себе представить, что вещь, не имеющая преемственности, не существовала от века? Если существование материи не было необходимым, почему она существует? И если ей было необходимо быть, почему не была она вечно?

Ни одна аксиома не имела столь универсального распространения, как эта: «Ничто не возникает из ничего». В самом деле, противоположный тезис непостижим. У всех народов хаос предшествовал устроению целого мира, созданного божественной рукой. Вечность материи ни у одного народа не повредила культу божества. Религия никогда не способна была пошатнуть представление, признававшее вечного бога господином вечной материи. Мы довольно осчастливлены ныне верой, помогающей нам понять, что бог извлек материю из небытия; однако ни один народ не был раньше обучен сему догмату; сами иудеи его не ведали. Первый стих «Бытия» гласит, что боги Элогим (а не Элои) создали небо и землю; но там не сказано, будто небо и земля были сотворены из ничего.

Филон, живший в то единственное время, когда иудеи имели некоторое образование, говорит в своей главе о творении: «Бог, будучи по своей природе благим, не питал никакой зависти к субстанции, к материи, не имевшей в себе самой ничего благого и обладающей по своей природе инертностью, смешением, беспорядком. Он удостоил сделать ее благой из скверной, каковой она пребывала».

Идея хаоса, упорядоченного богом, содержится во всех древних теогониях. Гесиод повторял то, что думал об этом Восток, когда возвещал в своей теогонии: «Хаос был первым, что существует». Овидий выступал в качестве глашатая всей Римской империи когда говорил:

> Sic ubi dispositam, quisquis fuit ille Deorum,
> Congeriem secuit...
>
> (Ovid., *Met.* I, 32) *

Итак, материю в божьих руках рассматривали как глину на гончарном кругу, если только допустимо пользоваться этими слабыми образами для выражения божественной мощи.

Материя, будучи вечной, должна была иметь вечные свойства, такие, как очертания, сила инерции, движение, делимость. Последняя является всего лишь результатом движения, ибо без него ничто не разделяется, не

* «Расположенную так, некий бог — какой, неизвестно,// Массу потом разделил...» (*Овидий.* Метаморфозы, I, 32 — перевод *С. Шервинского*).— *Примеч. переводчика.*

дробится и не организуется вновь. Таким образом, движение рассматривали как присущее материи. Хаос был беспорядочным движением, а космос — движением упорядоченным, которое господин мира сообщил всем телам. Но как могла материя иметь свое собственное движение? Согласно всем античным философам, она обладала им, так же как протяженностью и непроницаемостью.

Однако если ее нельзя постичь без протяженности, то вполне можно без движения. На это отвечали: немыслимо, чтобы материя была непроницаема; но если она проницаема, нечто должно постоянно проникать в ее поры; в самом деле, для чего же проходы, если нечему проходить?

Вопросы, ответы — и так без конца; система вечной материи имеет свои великие трудности, как и все остальные системы. Та, что предполагает образование материи из небытия, не менее непостижима. Надо ее допустить, не льстя при этом себя надеждой ее обосновать; философия вообще ничего не обосновывает. Какие только непостижимые вещи не бываем мы вынуждены допускать, даже в геометрии! Можно ли постичь две линии, постоянно сходящиеся, но никогда не пересекающиеся?

Правда, геометры нам скажут: свойства асимптот вам доказаны, вы не можете отказаться их допустить; но творение не доказано вовсе, почему ж вы его допускаете? Что мешает вам верить вместе со всей античностью в вечность материи? С другой стороны, на вас обрушится теолог и скажет вам: если вы верите, что материя вечна, значит, вы признаете два принципа — бога и материю; таким образом, вы впадаете в заблуждение Зороастра и Манета.

Мы ничего не ответим геометрам, ибо эти люди знают одни только свои линии, поверхности и объемы. Теологу же можно сказать: почему вы причисляете меня к манихеям? Вот перед вами камни, не созданные никаким зодчим, но зодчий воздвиг из них огромное здание; я не допускаю двух зодчих: грубый камень подчинился могуществу и таланту.

По счастью, какой бы ни придерживаться системы, ни одна из них не вредит морали, ибо какая разница — создана материя или устроена? Все равно, бог — наш абсолютный хозяин. Мы обязаны быть равно доброде-

тельными при упорядоченном хаосе либо при хаосе, вызванном из небытия; почти ни одна из этих метафизических проблем не влияет на жизненное поведение; диспуты — то же самое, что пустая застольная болтовня: после еды каждый забывает, что́ он сказал, и отправляется туда, куда зовут его его интересы и вкусы.

МЕТАФИЗИКА

Trans naturam * — «за пределами природы». Но материально ли то, что находится за пределами природы? Так как под «природой» разумеется материя, метафизическим является то, что нематериально.

Это, к примеру, ваше мышление, которое ни длинно, ни широко, ни высоко, ни плотно, ни остроконечно;

ваша душа, вам неведомая и порождающая ваше мышление;

ду́хи, о которых всегда говорили и которым долго приписывалось столь тонкое тело, что оно переставало быть телом, пока, наконец, их вообще не лишили даже призрака тела, не ведая при этом, что же на их долю останется;

способ, которым эти духи чувствуют, не обладая такой помехой, как наши пять чувств; способ, которым они мыслят, не имея головы; наконец, способ, которым они меж собой обмениваются мыслями, не говоря при этом ни слова и не пользуясь знаками;

наконец, бог, знакомый нам по его твореньям, но которому наша заносчивость толкает нас дать определение; бог, чью необъятную силу мы чувствуем; бог, между которым и нами — пропасть бесконечности, но природу которого мы тем не менее смеем исследовать.

Все это — объекты метафизики.

Сюда можно было бы добавить принципы математики как таковые, точки без протяженности, линии без ширины, поверхности, лишенные глубины, единицы, делимые до бесконечности, и т. д.

Сам Бейль считал, что эти объекты суть вещи рациональные; но в действительности это материальные

---

* Латинское выражение, соответствующее греч. «метафизика». — *Примеч. переводчика.*

вещи, рассматриваемые с точки зрения их массы, поверхностей, их простых длины или ширины, с точки зрения пределов этих простых длины и ширины. Все измерения точны и доказаны, и метафизике нечего делать в области геометрии.

Поэтому можно быть метафизиком, не будучи геометром. Метафизика забавнее геометрии — часто это роман ума. В геометрии, напротив, надо считать, измерять. Это вечное неудобство, и многие умы предпочли бы, не утомляясь, сладостно грезить.

ФИЛОСОФИЯ

Раздел первый

Пишите *filosofie* или *philosophie,* как вам угодно; согласитесь однако, что с момента появления философии она подвергалась преследованиям. Собаки, которым вы предлагаете пищу, их не устраивающую, тотчас же вас кусают.

Вы скажете — я повторяюсь; но необходимо сотни раз ставить на вид человечеству осуждение Галилея святой конгрегацией, и то, что ханжи, отлучившие от церкви всех добрых граждан, вставших под знамена Генриха IV, были теми же педантами, что осудили немногие истины, которые можно было обнаружить в трудах Декарта.

Все цепные псы теологии, облаивающие друг друга, скопом бросались с лаем на де Ту, на Ламот Лавайе[29] и на Бейля. А какие глупости сочиняли в своих писаниях ничтожные вельшские схоласты против мудрого Локка!

Вельши эти утверждали, будто Цезарь, Цицерон, Сенека, Плиний и Марк Аврелий сколько угодно могли быть философами, однако это не разрешено у вельшей. Мы отвечаем им: это более чем разрешено и почитается очень полезным у французов; ничто не приносило большего блага англичанам — и пора, наконец, истребить подобное варварство.

Вы возразите мне, что трудно достичь здесь цели. Нет, это трудно среди толпы болванов, но среди всех порядочных людей, можете считать, ваше дело сделано.

Раздел II

Одной из великих бед, равно как и одной из самых смешных сторон людского рода, является то, что во всех странах, носящих имя цивилизованных, за исключением, быть может, Китая, священники берут на себя занятия, являющиеся прерогативой философов. Они вмешиваются в порядок календарного года: потому, дескать, им принадлежит это право, что народам необходимо знать дни своих праздников. Так, халдейские, египетские, греческие и римские жрецы считали себя математиками и астрономами. Но что это за математика и астрономия! Слишком уж они были заняты своими жертвоприношениями, оракулами, предсказаниями будущего и своими знамениями, чтобы еще и серьезно заниматься наукой. Никто из делающих своей профессией шарлатанство не может обладать точным и ясным умом. Люди эти были астрологами, а не астрономами.

Сами греческие жрецы считали поначалу год состоящим только из трехсот шестидесяти дней. Понадобилась наука геометров, чтобы они поняли, что ошиблись на пять и более дней. Итак, они преобразовали свой год. Другие геометры вдобавок к этому показали им, что они ошиблись на шесть часов. Ифит обязал их изменить свой греческий календарь. Они добавили к своему неверному году один день в конце каждого четырехлетия, и Ифит отметил это изменение учреждением Олимпиад.

Наконец, жрецы были вынуждены прибегнуть к философу Метону, который, сличая лунный и солнечный годы, создал свой девятнадцатигодичный цикл, в конце которого Солнце и Луна возвращались в свое исходное положение с приблизительной разницей в полтора часа. Цикл этот был начертан золотыми знаками и выставлен на агоре в Афинах — это и есть знаменитое *золотое число,* коим поныне пользуются с соответствующими коррективами.

Достаточно хорошо известно, какую смехотворную путаницу внесли римские жрецы в годичный календарь. Их оплошности были столь велики, что летние их празднества падали на зиму. Цезарь, универсально образованный Цезарь, вынужден был пригласить из Александрии философа Сосигена для исправления чудовищных ошибок понтификов.

А когда во времена папства Григория XIII [30] возникла необходимость реформировать календарь Юлия Цезаря, к кому обратился папа? К какому-нибудь инквизитору? Нет, к философу, врачу, по имени Лилио [31].

Если бы книгу «Наука о календаре» поручили составить профессору Коже [32], ректору университета, он не понял бы даже, о чем идет речь. С этим следовало бы, конечно, обратиться к г-ну Лаланду [33], члену Академии наук, на котором лежит выполнение этой труднейшей работы, вдобавок скверно оплачиваемой.

Ведь красноречивый ритор Коже допустил весьма странный промах, когда предложил на соискание университетской награды столь необычно объявленную тему: «Non magis Deo quam regibus infensa est ista quae vocatur hodie philosophia *.— То, что ныне именуется философией, не более враждебно богу, чем королям». Он хотел сказать «не *менее* враждебно», но принял *magis* за *minus* **. А между тем бедняга должен бы знать, что наши академики не являются врагами ни бога, ни короля ***.

Раздел III

Если философия сделала столько чести Франции в *Энциклопедии* [34], надо также признать, что невежество и зависть, посмевшие осудить этот труд, покрыли бы Францию позором, если бы двенадцать — пятнадцать конвульсионеров, затеявших заговор, можно было рассматривать в качестве рупоров Франции, в то время как они были на самом деле всего лишь слугами фанатизма и мятежа и вынудили короля разогнать подкупленную ими корпорацию. Действия их не были такими насильственными, как во времена Фронды, но были не менее смешны. Их фанатичная вера в конвульсии и жалкий престиж Сен-Медара были столь сильны, что они вынудили некоего чиновника — человека, впрочем, мудрого и уважаемого — заявить во всеуслышание в парламенте, будто «чудеса католической церкви существовали всег-

---

* (Лат.).— *Примеч. переводчика.*

** *больше за меньше* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

*** См. по этому поводу *Рассуждение г-на адвоката Бельгье,* весьма любопытное.— *Примеч. Вольтера.*

да». Под этими чудесами можно было разуметь лишь явления конвульсий. Несомненно, других чудес не бывает, если только не верить в малышей, воскрешенных святым Овидием. Времена чудес миновали: церковь-триумфаторша в них более не нуждается. По правде говоря, понимал ли хоть единое слово кто-либо из гонителей *Энциклопедии* в ее статьях по астрономии, динамике, геометрии, метафизике, ботанике, медицине и анатомии, которыми заполнена в каждом своем томе эта ставшая столь необходимой книга? * Какая груда нелепых обвинений и грубой клеветы обрушилась на эту сокровищницу всевозможных знаний! Стоило бы опубликовать это в конце *Энциклопедии,* дабы увековечить позор этих людей.

Вот что значит вознамериться судить о труде, который вы не в состоянии даже понять. Подлецы! Они вопили, будто философия губит католицизм. Полноте! На двадцать миллионов человек нашелся ли хоть один, кто оскорбил бы малейший обычай прихода? Разве недоставало когда кому-либо уважения к церкви? Или кто-нибудь выступил публично против наших обрядов с единым словом, кое звучало бы столь же язвительно, сколь звучали некогда выпады против королевской власти?

Повторяем: никогда философия не причиняла вреда государству; фанатизм же, сопряженный с корпоративным духом, причинял ему неисчислимый вред во все времена.

Раздел IV

КРАТКИЙ ОБЗОР ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ

Я потратил около сорока лет на паломничество в два-три уголка этого света, целью которого были поиски философского камня, именуемого *истиной.* Я советовал-

---

* Хорошо известно, что не все равноценно в этом огромном труде, да это и невозможно. Статьи Кюзака и других подобных втируш нельзя сравнить со статьями Дидро, д'Аламбера [35], Жокура, Бушэ д'Аргиса, Венелля, Дюмарсе [36] и многих других истинных философов; но в целом труд этот — вечная услуга человечеству; доказательством тому служит то, что его переиздают всюду. Его хулителям не оказывают подобной чести. Да и существовали ли они вообще? Сие можно знать лишь по нашему о них упоминанию.— *Примеч. Вольтера.*

ся со всеми поклонниками античности, с Эпикуром и Августином, Платоном и Мальбраншем, но остался при своей бедности. Быть может, во всех этих философских горнилах содержатся одна-две унции золота; все же остальное — тлен, безвкусное месиво, из которого ничто не может родиться.

Мне кажется, наши учители-греки скорее писали ради того, чтобы обнаружить свой ум, нежели для того, чтобы поставить его на службу познанию. Я не вижу ни одного античного автора, имеющего последовательную систему — методичную, ясную, развиваемую от следствия к следствию.

Пожелав сличить и объединить системы Платона, наставника Александра [37], Пифагора и восточных философов, я извлек приблизительно следующее:

Случай — слово, лишенное смысла; ничто не может существовать без причины. Мир устроен в соответствии с математическими законами, а значит, его устроял разум.

Возглавляло созидание этого мира не такое разумное существо, как я, ибо я не могу создать и клеща; а значит, этот мир — творение интеллекта, значительно превосходящего мой разум.

Бытие это, в столь высокой степени обладающее разумом и могуществом, — существует ли оно в силу необходимости? Так, разумеется, должно быть, ибо ему необходимо либо получить свое существование от другого бытия, либо благодаря своей собственной сущности. Если оно получило его от иного бытия — а это трудно постичь, — я должен прибегнуть к этому иному, и это иное бытие окажется перводвигателем. Куда бы я ни обратился, я должен допустить могущественный и разумный перводвигатель, являющийся таковым по своей сути.

Сей перводвигатель — вызвал ли он вещи из небытия? Это непостижимо: творить из ничего означает превращать небытие в нечто. Я не должен допускать подобное созидание, по крайней мере если не найду неопровержимых доводов, которые заставили бы меня допустить то, что мой ум вовсе не может постичь.

Все сущее кажется существующим необходимо, ибо оно существует. Ведь если сегодня есть причина для бытия вещей, то она была и вчера, и во все времена; причина эта всегда должна была иметь свое следствие, без чего она целую вечность существовала бы в качестве бесполезной причины.

Но как могли извечно существовать вещи, явно находящиеся под управлением перводвигателя? Значит, этой силе необходимо было извечно действовать, точно так же как не бывает Солнца без света или движения без вещи, которая переходила бы из одной точки пространства в другую.

Итак, существует некое могучее и разумное бытие, которое действовало извечно; ведь если бы оно не действовало, к чему было бы ему существование?

Итак, все вещи — вечные истечения этого перводвигателя.

Но как постичь, что камень и тина — истечения вечного, разумного и могущественного бытия?

Нужно одно из двух: либо чтобы материя этого камня и этой тины необходимо существовала сама по себе, либо эти материи необходимо существовали благодаря перводвигателю; третьего не дано.

Таким образом, перед нами два выхода: либо мы должны допустить извечную материю, существующую саму по себе, либо материю, вечно истекающую из могущественного, разумного и вечного бытия.

Но существует ли она по своей собственной природе или же истекает из производящего бытия, она существует извечно, ибо она существует и нет никакой причины, по которой она не существовала бы ранее.

Если материя вечно необходима, немыслимым и противоречивым было бы ее небытие; но кто из людей может утверждать, будто немыслимо и противоречиво, чтобы этот булыжник и эта мошка не имели существо-

вания? Мы вынуждены, однако, снять это сомнение, более поражающее воображение, нежели противоречащее принципам рассудка.

В самом деле, с момента как вы постигли, что все проистекло от верховного и разумного бытия и ничто не проистекло от него без причины, что бытие это, существуя всегда, всегда должно было действовать, а следовательно, все вещи должны были проистекать из лона его природы, вы более не должны падать духом из-за веры в то, что материя, из которой образованы эти булыжник и мошка, есть создание вечное, как вы не огорчаетесь, постигая свет в качестве вечной эманации всемогущего бытия.

Поскольку я — протяженное и мыслящее существо, мои протяженность и мысль суть необходимые творения всемогущего бытия. Мне ясно, что сам я не мог сообщить себе ни протяженности, ни мышления, а значит, я получил то и другое от этого необходимого бытия.

Могло ли оно дать мне то, чего само не имеет? У меня есть разум, и я нахожусь в пространстве; значит, это бытие разумно и также существует в пространстве.

Говорить, что это вечное бытие, этот всемогущий бог извечно наполнял в силу необходимости вселенную своими творениями, не значит лишать его принадлежащей ему свободы; напротив, ибо свобода его есть не что иное, как способность действовать. Бог извечно действовал во всей полноте; итак, он всегда пользовался всей полнотой своей свободы.

Свобода, именуемая свободой *безразличия*,— это слово, лишенное представления, или нелепость: ведь такая свобода означает детерминировать себя без причины, иначе говоря, это следствие без причины. А следовательно, бог не может обладать подобной мнимой свободой, представляющей собой противоречие в терминах. Следовательно, он всегда действовал в силу той самой необходимости, что определяет его существование.

Итак, немыслимо, чтобы мир был без бога, и немыслимо, чтобы бог был без мира.

Этот мир наполнен сменяющими друг друга существами, а значит, бог всегда творил сменяющиеся поколения существ.

Предварительные эти положения являются основой древней восточной философии и философии греков. Здесь следует исключить Демокрита и Эпикура, чья корпускулярная философия опровергала эти догматы. Заметим, однако, что эпикурейцы основывались на совершенно ошибочной физике, а метафизическая система прочих философов продолжает жить наряду со всеми физическими системами. Вся природа, за исключением пустоты, противоречит физике Эпикура, но ни единое явление не противоречит только что мной изложенной философии. Однако не превосходит ли философия, согласная со всем тем, что совершается в природе, и удовлетворяющая самые зоркие умы, любую другую не богооткровенную систему?

Что же остается нам после положений древних философов, сведенных мной воедино настолько, насколько я мог? Хаос химер и сомнений. Не думаю, чтобы на свете существовал хоть один философ-системосозидатель, который не признался бы в конце своей жизни, что он даром терял свое время. Следует признать, что изобретатели в области искусства механики оказались значительно полезнее людям, чем изобретатели силлогизмов: тот, кто изобрел ткацкий челнок, имеет несказанное преимущество перед тем, кто придумал врожденные идеи.

РЕЛИГИЯ

Раздел первый

Эпикурейцы, не имевшие никакой религии, рекомендовали удаление от общественных дел, научные занятие и взаимное согласие. Секта эта представляла собой общество друзей, ибо их главной догмой была дружба. Аттик, Лукреций, Меммий и еще некоторые люди подобного склада способны были на весьма честное совместное существование; такое положение наблюдается во всех странах. Что ж, философствуйте, сколько вашей

душе угодно, между собой. Полагаю, что я способен понять любителей, устраивающих в обществе себе подобных концерт ученой и изысканной музыки; однако поостерегитесь давать подобный концерт перед невежественной и грубой толпой — она может разбить ваши инструменты о ваши головы. Если в вашем управлении находится хоть небольшое местечко, необходимо, чтобы оно имело религию.

Я здесь совсем не касаюсь нашей религии: она — единственно благая, единственно необходимая, единственно обоснованная и вторая богооткровенная.

Мыслимо ли вообще для человеческого ума — я не говорю, допустить религию, которая приближалась бы к нашей, но такую, которая была бы менее скверной, чем все иные религии мира? И какой могла бы эта религия быть?

Не будет ли такой религией та, что учит нас поклонению верховному бытию — единому, бесконечному, вечному Творцу мира, движущему им и его одушевляющему, *cui nec simile nec secundum*? * Религия, которая единила бы нас с этим верховным бытием в награду за наши добродетели и разъединяла бы нас с ним в наказание за преступления?

Религия эта пренебрегла бы догматами, измышленными тщеславным безумием, — вечными темами для дискуссий — и учила бы чистой морали, по поводу которой никто никогда бы не спорил.

Она никоим образом не усматривала бы суть культа в пустых обрядах, таких, как слюнявые поцелуи в рот, обрезание крайней плоти или же кастрация яичка, если принять во внимание, что возможно выполнять все свои общественные обязанности, сохраняя оба яичка и неповрежденную крайнюю плоть, а также избегая слюнявых поцелуев.

Это была бы религия служения своему ближнему во имя любви к богу вместо преследования своего ближнего и его убиения во имя бога; религия эта учила бы терпимости по отношению к остальным и, заслужив таким образом всеобщее расположение, была бы единст-

---

* Полностью этот Горациев стих (Оды, кн. I, ода XII, ст. 18) звучит так: Nec viget quicquam simile aut secundum — «Коему нет ни подобия, ни сходства».— *Перевод наш.— С. Ш.-Т.*

венной, способной превратить человеческий род в народ братьев.

У этой религии были бы торжественные обряды, поражающие умы толпы, и отсутствовали бы мистерии, способные возмутить мудрых и раздражить неверующих.

Она не столько предлагала бы людям искупление прогрешений, сколько воодушевляла бы их к общественным добродетелям.

Она гарантировала бы своим служителям достаточно почетный доход, позволяющий им прилично существовать, и никогда не разрешала бы им узурпировать должности и власть, способную превратить их в тиранов. Она установила бы удобные пособия по болезни и старости, но никогда — по лени и праздности.

Большáя доля этой религии живет уже в сердцах многих государей, и она станет господствующей с того момента, как пункты вечного мира, предложенные аббатом Сен-Пьером [38], будут подписаны всеми владыками.

Раздел II

Нынче ночью я размышлял; я был погружен в созерцание природы; я восхищался необъятностью бесчисленных миров, их путями и связями — тем восхищением, что незнакомо толпе.

Еще больше я восхищался интеллектом, руководящим сим громадным механизмом. Я говорил себе: «Надо быть уже слепым, чтобы не ослепнуть от этого зрелища; надо быть полным тупицей, чтобы не усмотреть здесь Творца; и надо быть глупцом, чтобы пред ним не склониться. Какую же дань поклонения должен я ему принести? Не должна ли эта дань быть одинаковой на всей протяженности [мирового] пространства, поскольку одна и та же верховная сила равно царит в этом пространстве? Разве мыслящее существо, обитающее на каком-то светиле Млечного пути, не обязано ему тем же уважением, коим и мыслящее существо на маленьком шарике, где мы обитаем? Свет единообразен и для звезды Сириус, и для нас; единообразной должна быть также мораль. Если некое чувствующее и мыслящее существо на звезде Сириус было рождено нежными отцом и матерью, стремившимися к его счастью, оно обязано им такой же любовью и заботой, какими мы здесь обязаны

нашим родителям. Если кто-либо в пределах Млечного пути узрит жалкого калеку и если он может утишить его страдания; в том случае, если он этого не сделает, он окажется виновен перед всеми мирами. Сердце повсюду обременено одними обязанностями — и на ступенях божьего трона (если у бога есть трон), и на дне пропасти, если таковая где существует».

Я был погружен в эти размышления, когда один из тех гениев, которыми наполнены межмировые пространства, спустился ко мне. Я узнал то самое воздушное существо, кое некогда явилось ко мне, дабы пояснить мне, насколько суждения бога отличны от наших и насколько доброе дело предпочтительнее пустых препирательств *.

Он перенес меня в пустыню, покрытую грудами окаменелых костей; но среди этих мертвых останков там были аллеи вечнозеленых древес, в конце же каждой аллеи — высокий человек величавого вида, сострадательно созерцавший сии грустные реликты.

— Увы, мой архангел! — молвил я провожатому,— куда вы меня привели?

— В пределы уныния, — мне ответствовал он.

— А кто эти добрые патриархи, коих я зрю в конце каждой из этих зеленых аллей неподвижными и умиленными — кажется, будто они оплакивают это бесчисленное множество мертвецов?

— Ты узна́ешь это, бедное человеческое существо, — ответил мне гений межмировых пространств,— но сначала ты должен пролить слезу.

Он начал с первой груды.

— «Вот эти, — сказал он, — суть двадцать три тысячи иудеев, плясавших перед тельцом, и с ними двадцать четыре тысячи, убитых, когда они возлежали с мадианитянками. Число истребленных за подобные проступки или ошибки достигает почти трехсот тысяч.

В соседних аллеях лежат останки христиан, взаимно истребивших друг друга в ходе метафизических диспутов. Они разделены на множество отдельных куч, каждая из которых вмещает в себя по четыре века. Единая куча могла бы вознестись до самых небес: следовало ее разделить.

---

* Смотрите статью «Догма».— *Примеч. Вольтера.*

— Как? — вскричал я, — братья так обошлись со своими братьями, а я имею несчастье пребывать в этом братстве!

— Вот, — молвил дух, — двенадцать миллионов американцев, убитых на своей родине за то, что они не были крещены.

— О боже! Почему же вы не оставляете эти страшные окаменелости сохнуть в том полушарии, где увидели свет их тела и где они были подвержены столь разнообразной кончине? Для чего собирать здесь все эти ужасающие памятники варварства и фанатизма?

— Дабы открыть тебе очи.

— Но раз ты хочешь меня просвещать, скажи мне, есть ли, кроме христиан и иудеев, другие народы, которым рвение и религия, злополучно обернувшиеся фанатизмом, внушили бы столь ужасающие жестокости?

— Да, есть, — отвечал мне он, — магометане осквернили себя такими же бесчеловечными деяниями, хотя это и редко у них бывало; когда у них просили *amman* — сострадания и когда платили им дань, они вас прощали. Что до других народов, то от начала света среди них не существует ни одного, который бы вел чисто религиозные войны. Теперь следуй за мной.

Я последовал за ним.

Миновав эти скопища мертвецов, мы неподалеку узрели другие груды: то были мешки золота и серебра, каждый из которых имел свою этикетку: «Состояние еретиков, истребленных в XVIII, XVII, XVI веках», и дальше: «Злато и серебро убитых американцев и т. д., и т. д.». Все эти груды были увенчаны крестами, митрами, жезлами и тиарами, усыпанными драгоценностями.

— О мой дух, ведь ради этих богатств были свалены в кучу все эти мертвецы?

— Да, мой сын.

Я залился слезами; когда же своим горем я заслужил того, чтобы быть отведенным в конец зеленых аллей, он меня туда проводил.

«Узри, — рек он мне, — героев человечества, бывших благодетелями Земли: все они объединились между собой, дабы изгнать из мира — насколько хватит их сил — насилие и разбой. Задай им свои вопросы».

Я подбежал к первому из этой компании; голова его

была увенчана короной, в руке он держал небольшое кадило; я смиренно спросил его имя.

«Я — Нума Помпилий, — сказал он мне; моим предшественником был разбойник и мне предстояло править разбойниками; я наставлял их добродетели и культу бога; после меня они не раз забывали как о том, так и о другом; я запретил помещать в храмы какие бы то ни было изображения, ибо божество, одушевляющее природу, не может быть представлено в образе. Под моим управлением римляне не знали ни войн, ни восстаний, религия же моя творила одно добро. Все соседние народы явились почтить мои похороны; это был единственный в своем роде случай».

Я поцеловал его руку и перешел ко второму; то был красивый старец в возрасте примерно ста лет, облаченный в белое платье; он приложил средний палец руки к губам, другой же рукой он метал за собой бобы. Я узнал Пифагора. Он заверил меня, что никогда не имел золотого бедра, а также не был никогда петухом, но правил кротонцами, вскоре после времен Нумы Помпилия с той же справедливостью, с какой Нума повелевал римлянами; такая справедливость, сказал он, была более всего необходима миру и крайне редка. Я узнал, что пифагорейцы держали экзамен на совестливость два раза на дню. Честные люди! Как далеки мы от них! И это мы-то, в течение тринадцати веков бывшие всего лишь убийцами, осмеливаемся называть этих мудрецов гордецами!

В угоду Пифагору я не вымолвил ни единого слова и перешел к Зороастру, занятому тем, что он собирал небесный огонь в фокус вогнутого зеркала, — это происходило в центре зала с сотней дверей, каждая из которых открывала путь мудрости. На главной из этих Дверей * я прочел такие слова, представляющие собой краткое резюме всякой морали и ограничивающие все диспуты казуистов:

«Если ты сомневаешься, хорошо или дурно какое-то дело, воздержись от него».

«Несомненно, — сказал я своему гению, — те варва-

---

* Наставления Зороастра именовались *дверьми*, и их существует сто.— *Примеч. Вольтера.*

ры, что зарезали все жертвы, чьи останки я видел, не читали этих прекрасных слов».

Далее мы узрели Залевка, Фалеса, Анаксимандра и всех мудрецов, искавших истину и практиковавших добродетель.

Когда мы оказались возле Сократа, я тотчас же узнал его по его впалому носу *.

— Прекрасно, — сказал я ему, — вот и вы среди доверенных лиц Всевышнего! Все обитатели Европы, за исключением турок и крымских татар — полных невежд, произносят ваше имя с почтением. Это великое имя любят, пред ним благоговеют вплоть до того, что желают знать имена ваших гонителей. Мелета и Анита знают благодаря вам, подобно тому как Равальяка узнали благодаря Генриху IV; однако я знаю всего лишь имя Анита; я не ведаю точно, каков он был, этот преступник, с легкой руки которого вы были оклеветаны и который достиг своей цели — осуждения вас на цикуту.

— После моего приключения я более никогда не думал об этом человеке, —отвечал мне Сократ, — но коль скоро вы мне о нем напоминаете, я весьма о нем сожалею. То был злобный жрец, тайно торговавший кожами: такой вид торговли считался среди нас, греков, постыдным. Он посылал своих двух детей ко мне в обучение. Однако другие ученики укоряли их в том, что отец их — дубильщик кож; они вынуждены были покинуть меня. Отец, разъяренный, не успокоился до тех пор, пока не восстановил против меня всех жрецов и софистов. На Совете пятисот они уверяли, что я — безбожник, не верящий в то, что Луна, Меркурий и Марс — боги. В самом деле, я думал тогда, как думаю и сейчас, что существует один только бог — господин целокупной природы. Судьи передали меня государственному отравителю, который сократил мою жизнь на несколько дней: ведь я мирно скончался в возрасте семидесяти лет. После этого я веду блаженную жизнь вместе со всеми этими великими людьми, которых вы видите и среди которых я — самый ничтожный.

После того как я некоторое время наслаждался беседой с Сократом, я двинулся с моим проводником в

---

* См. у Ксенофонта.— *Примеч. Вольтера.*

кустарник, расположенный несколько выше тех рощ, где все мудрецы античности, по-видимому, вкушали блаженный отдых.

Я увидал человека с мягкими и простыми чертами лица, показавшегося мне тридцатипятилетним[39]. Он бросал издалека сострадательные взгляды на белеющие скопления останков, через которые я был проведен, дабы достичь местопребывания мудрецов. Меня поразил вид его раздутых и кровоточащих ног, таких же рук, пронизенного [копьем] бока и бедер, содранных до крови ударами бича.

— «Милостивый боже! — сказал я ему, — возможно ли, чтобы справедливый и мудрый человек пребывал в таком состоянии? Я только что видел мудреца, с которым обошлись самым мерзостным образом, однако между его казнью и вашей нет никакого сравнения. Дрянные жрецы и не менее дрянные судьи его отравили; неужели и вас убили столь жестоким образом жрецы и судьи?

Он весьма приветливо ответил мне: «Да».

— Но кем же были эти чудовища?

— Лицемерами.

— А! Этим все сказано. По одному этому слову я вижу, что они должны были присудить вас к высшей мере наказания. Верно, вы им доказывали, как Сократ, что Луна — не богиня, а Меркурий — не бог?

— Нет, речь не шла в моем случае об этих планетах. Мои соотечественники вообще не знали, что это такое — планета: все они были круглыми невеждами. Их суеверия сильно отличались от суеверий греков.

— Значит, вы наставляли их в новой религии?

— Совсем нет; я им просто говорил: «Возлюбите от полноты вашего сердца бога и вашего ближнего, как самого себя, ибо именно это значит быть человеком». Судите сами: разве такое предписание не старо, как мир? И смотрите, принес ли я им новый культ. Я без устали им твердил, что явился не затем, чтобы упразднить закон, но дабы его исполнить; я соблюдал все их обряды — был обрезан, как они все, крещен, как самые ревностные из них, платил, как они, корбан; как и они, я праздновал пасху, вкушая стоя ягненка, вываренного в латуке. Я и мои друзья ходили молиться в храм; друзья мои посещали этот храм и после моей смерти; одним словом, я исполнял все их законы без исключения.

— Как, эти несчастные не могли вам даже вменить в вину отступничество от их законов?

— Разумеется, нет.

— Но по какой же причине довели они вас до состояния, в котором я вас застаю?

— Что могу я вам на это сказать? Они были преисполнены гордыни и корысти. Они видели, что я их узнал, и знали, что я раскрывал на них глаза гражданам; они были сильнее меня, и они лишили меня жизни: люди, подобные им, всегда поступают таким образом, если могут, с любым человеком, оценившим их справедливой меркой.

— Но не сказали ли вы и не сделали ли чего-то такого, что могло бы хотя бы служить им предлогом?

— Все может служить предлогом злодеям.

— Не обронили ли вы однажды, что явились принести не мир, но меч?

— Это ошибка переписчика; я, наоборот, сказал, что пришел принести не меч, но мир. Я никогда ничего не писал; могло быть внесено изменение в мои слова, произнесенные без всякого злого умысла.

— Таким образом, ваши речи, будучи либо плохо составленными, либо дурно истолкованными, никак не способствовали образованию этих груд ужасных останков, кои я зрел на своем пути, направляясь к вам для совета?

— Я с ужасом взирал на тех, кто оказался виновен во всех этих убиениях.

— А эти памятники могущества и богатства, гордыни и жадности, эти сокровища и украшения, эти знаки величия, виденные мной на моем пути поисков мудрости, — от вас ли они исходят?

— Это немыслимо; я и мои приверженцы жили в нищете и ничтожестве; величие мое заключалось только в моей добродетели.

Я был близок к тому, чтобы умолять его соизволить сказать мне правду — кто он таков? Но мой проводник предупредил меня, чтобы я этого не делал. Он сказал мне, что я не создан для постижения великих сих таинств. Я лишь попросил моего собеседника научить меня, в чем заключается суть истинной религии.

— Разве я вам этого не сказал? Любите бога и своего ближнего, как самого себя.

— Как, разве мыслимо, любя бога, вкушать скоромное в пятницу?

— Я всегда ел то, что мне давали, ведь я был слишком беден, чтобы давать кому-то обед.

— Но, любя бога и будучи справедливым, нельзя разве быть настолько благоразумным, чтобы не доверять все свои житейские похождения первому встречному?

— Я поступал всегда именно так.

— Могу ли я, творя добро, избавиться от паломничества к святому Жаку Компостельскому?

— Я никогда не бывал в этих краях.

— Должен ли я заточить себя в уединенное убежище вместе с компанией дураков?

— Что до меня, я всегда совершал небольшие путешествия меж городами.

— Должен ли я встать на сторону греческой или латинской церкви?

— Я не делал никакой разницы между иудеем и самаритянином, когда жил в свете.

— Отлично, если все это так, я избираю вас своим единственным наставником.

Тогда он сделал мне знак кивком, исполнивший меня утешения. Видение исчезло, но при мне осталась чистая совесть.

Раздел III

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РЕЛИГИИ

Вопрос первый

Епископ Уорчестерский Уорбуртон, автор одного из самых ученых трудов, кои когда-либо были написаны, так изъясняется на странице 8 тома I: «Религия и общество, не основанные на вере в иную жизнь, должны поддерживаться исключительным провидением. Иудаизм не основан на вере в иную жизнь, а значит, его поддерживало особое провидение».

Многие теологи восстали против него; и как обычно опровергаются все аргументы, так опровергали и его аргумент, говоря ему:

«Любая религия, не основанная на догмате бессмертия души и на вере в вечные кары и воздаяния, по необходимости ложна; но иудаизм не знал этих догм, а значит, далеко не поддерживаемый провидением, он, согласно вашим собственным принципам, является ложной и варварской религией, противопоставляющей себя провидению».

Епископ этот имел и других противников, возражавших ему, что бессмертие души было известно среди иудеев даже во времена Моисея. Однако он весьма ясно им доказал, что ни в *Десяти заповедях*, ни в *Левите*, ни во *Второзаконии* не было ни слова об этой вере и просто смешно пытаться искажать и портить некоторые места из других книг, дабы извлечь из них истину, коя не была возвещена в книге закона.

Господин епископ, сочинивший четыре тома, дабы доказать, что иудейский закон не предлагал ни кар, ни воздаяний по смерти, так и не сумел дать своим противникам удовлетворительный отпор. Они ему говорили: «Либо Моисею был известен этот догмат, и тогда он обманул иудеев, не обнародовав его; либо он был ему неизвестен, и в этом случае его знаний было недостаточно для основания благой религии. В самом деле, если его религия была благой, почему ее упразднили? Истинная религия должна жить во все времена и во всех местах; она должна быть подобна свету Солнца, освещающему все народы и все поколения».

Прелат этот, каким бы ученым он ни был, едва-едва выпутался изо всех этих затруднений. Но какая система от них свободна?

Вопрос второй

Другой ученый — гораздо больший философ и один из самых глубоких метафизиков наших дней — приводит сильные доводы в доказательство того, что политеизм был примитивной религией людей и они начинали с веры во многих богов, раньше чем разум настолько просветился, что стал признавать одно лишь верховное бытие.

Смею считать, напротив, что люди начали с признания единого бога и лишь впоследствии человеческая слабость добавила к нему многих. Вот как я это понимаю.

Несомненно, до постройки больших городов существовали маленькие местечки и все люди были разделены на небольшие сообщества до своего объединения в большие империи. Вполне естественно, что такое местечко, испуганное раздававшимся с неба громом, удрученное гибелью своей жатвы, подвергаясь обидам со стороны соседей, каждодневно чувствуя свою слабость, ощущая повсюду незримую власть, тотчас же себе говорило: «Над нами есть некое существо, несущее нам и благо и зло».

Мне кажется немыслимым, чтобы они говорили: «Существуют две силы». И действительно, почему они должны были думать о нескольких силах? В любом жанре начинают с простого, затем возникает сложное, и зачастую потом возвращаются снова к простому на основе высшего знания. Таков путь человеческого ума.

Что же это за бытие, к коему первоначально обращались с молитвой? Солнце ли это или Луна? Не думаю. Давайте, исследуем процесс, происходящий в ребенке, ведь дети — примерно то же, что невежественные люди. Их не поражает ни красота, ни полезность светила, одушевляющего природу, ни помощь, оказываемая нам Луною, ни регулярные отклонения в ее движении; они об этом не думают — они чересчур к этому привыкли. Обычно поклоняются, молят и стремятся умилостивить то, что внушает страх; все дети равнодушно взирают на небо; но стоит только послышаться громовым раскатам, они дрожат от страха и ищут убежища. Первые люди, несомненно, вели себя так же. Среди них могли попадаться философы, отмечавшие пути звезд, учившие восхищаться ими и им поклоняться; простые же земледельцы, лишенные всякого образования, слишком мало знали, чтобы впасть в столь благородные заблуждения.

Какая-нибудь деревенька ограничивалась тем, что говорила: существует некая грохочущая сила, побивающая нас градом и убивающая наших детей; надо ее умилостивить, но как? Мы видим: можно успокоить небольшими подарками гнев раздраженных людей; будем же делать небольшие подарки этой неведомой силе. Следовало также дать этой силе имя. Первое напрашивающееся здесь наименование — *вождь, господин, сеньор;* итак, эта сила получила звание «монсеньора». Ве-

роятно, именно это послужило причиной, по которой египтяне называли своего бога *Кнеф*, сирийцы — *Адони*, соседние с ними народы — *Баал* или *Бел*, а также *Мельх* или *Молох*, скифы называли его *Папей*, — все эти слова означают *господин, повелитель*.

Именно таким образом почти вся Америка оказалась разделенной на множество мелких племен, каждое из которых имело своего бога-покровителя. Даже мексиканцы и перуанцы, бывшие большими народами, имели лишь одного бога: последние поклонялись Манко Копаку, первые — богу войны. Мексиканцы дали своему воинственному богу имя Вицлипуцли, подобно тому как евреи нарекли своего повелителя Саваофом.

Все народы начинали с поклонения единому богу вовсе не в силу высокого и изощренного разума: если бы они были философами, они поклонялись бы богу целокупной природы, а не богу—покровителю какой-то деревни; они исследовали бы несметные связи между всем сущим, доказывающие наличие творческого существа, существа-хранителя; но они ничего не исследовали, они просто чуяли. В этом-то и состоит прогресс нашего слабого разума; каждый поселок ощущал свою слабость и нужду в сильном защитнике. Жители его воображали, что это опекающее их страшное существо живет в соседнем лесу, на горе, или в облаках. Они представляли себе лишь одно подобное существо, ибо у поселения был лишь единственный воинский вождь. Они представляли себе это существо телесным, ибо им было немыслимо представить его иным. Кроме того, они не могли бы поверить, что у соседнего племени нет своего божества. Вот почему Иеффай говорит моавитянам: «Вы законно владеете тем, что вам дал захватить бог ваш, Хамос; дайте же нам владеть тем, что дал нам в наших победах наш бог» (*Судьи*, XI, 24).

Речи эти, которые один чужеземец держит перед другими, весьма примечательны. Иудеи и моавитяне согнали туземных жителей с их земли; и те и другие располагали правом одной только силы, и при этом один говорил другому: «Твой бог помог тебе в твоей узурпации, терпи же, что мой бог способствует мне в моей».

Иеремия и Амос вопрошают друг друга о том, «какой смысл был богу Малхому вторгаться в страну

Гада». На основе этих мест представляется ясным, что в древности каждой земле полагался свой бог-покровитель. Следы такой теологии можно найти еще у Гомера.

Вполне естественно, что воспаленное воображение людей, когда ум их обретал лишь смутные знания, вскоре умножило своих богов и назначило покровителей элементам, морям, лесам, источникам и полям. Чем более изучались звезды, тем большее изумление вселяло это в сознание. Можно ли не поклоняться Солнцу, поклоняясь божеству ручейка? Едва лишь первый шаг сделан, как вся Земля покрывается божествами; в конце концов от звезд спускаются к кошкам и луку.

Однако разум с неизбежностью совершенствуется; время, наконец, создает философов, которые понимают, что ни луковицы, ни кошки, ни даже звезды не устрояли порядок природы. Все эти философы — вавилоняне, персы, египтяне, скифы, греки и римляне допускают одно верховное божество, вознаграждающее и мстящее.

Сначала они ничего не сообщают о нем народам: ведь тот, кто осуждал луковицы и кошек пред лицом старейшин и жрецов, подвергался избиению камнями; тот, кто ставил в упрек некоторым египтянам пожирание своих богов, мог быть сам пожран, как это и рассказывает в действительности Ювенал, сообщающий, что некий египтянин был убит и съеден сырым во время ученого диспута.

Однако что было дальше? Орфей и другие учредили мистерии, где посвященные клялись кровавыми клятвами ничего не открывать и все сохранять в тайне, причем сущностью этих мистерий было поклонение единому божеству. Великая эта истина распространилась на половине Земли; число посвященных стало несметным; верно, что древняя религия живет вечно; поскольку она не противоречит догмату единства бога, ей позволяют жить! И для чего бы ее упразднять? Римляне признавали *бога милостивейшего, величайшего* *; у греков был их *Зевс* — их верховное божество. Все прочие боги суть всего лишь промежуточные существа; сделайте милость, помещайте героев и императоров в разряд богов, но достоверно, что Клавдий, Октавиан, Тиберий и Кали-

* У Вольтера: *Deus optimus maximus* (лат.).— *Примеч. переводчика.*

гула не рассматривались как созидатели неба и земли.

Одним словом, представляется доказанным, что со времен Августа все исповедовавшие религию признавали вечное верховное божество, а также множество разрядов второстепенных богов, чей культ позднее был назван *идолопоклонством.*

Иудейские законы никогда не поощряли поклонение идолам: хотя иудеи и допускали существование «малахим» — ангелов, небесных существ низшего разряда, закон их вовсе не повелевал им учреждать культ этих второстепенных божеств. Они поклонялись ангелам — это верно, иначе говоря, при виде их они падали ниц, но поскольку случалось сие не часто, не существовало ни обрядов, ни узаконенного культа ангелов. Херувимы ковчега вообще были лишены поклонения. Твердо известно, что иудеи, по крайней мере со времен Александра, открыто поклонялись единому богу, подобно тому как несметное число посвященных втайне чтили его в своих мистериях.

Вопрос третий

Во времена, когда культ верховного божества повсеместно был учрежден в Азии, Европе и Африке, зародилась христианская религия.

Платонизм сильно способствовал духовности христианских догматов. *Логос,* означавший у Платона мудрость и разум высшего бытия, стал у нас *Словом* и второй ипостасью бога. Глубочайшая метафизика, превышающая человеческое разумение, стала недоступным святилищем, скрывшим в себе религию.

Здесь не стоит повторять, каким образом Мария в дальнейшем была объявлена богоматерью, как была установлена единосущность Отца и Слова и эманация *Пневмы* [*Духа*], божественного орудия божественного Логоса, две сущности и две воли, проистекающие из [единой] ипостаси, и вышнее вкушение, или такое питание души, когда вкушается плоть членов и крови богочеловека, почитаемого и вкушаемого в образе хлеба, явного для глаз и ощутимого на вкус, но тем не менее уничтожаемого. Все эти мистерии были возвышенными.

Начиная со II века принялись за изгнание демонов во имя Иисуса; до того их изгоняли именем Иеговы,

или Яхо (Jhaho); святой Матфей сообщает, что, когда враги Иисуса сказали ему, будто он изгоняет демонов именем их князя, он им ответствовал: «Если я с помощью Вельзевула изгоняю демонов, то с чьей же помощью изгоняют их ваши дети?»

Неизвестно, в какое время иудеи признали главой демонов Вельзевула, бывшего чужеземным богом; но мы знаем (об этом нам сообщает Иосиф), что в Иерусалиме были заклинатели, предназначавшиеся для изгнания бесов из тел одержимых, или, иначе говоря, из людей, страдающих особыми болезнями, которые приписывались тогда на большей части Земли злым духам.

Итак, в действительности демонов изгоняли, возглашая имя *Иеговы*, ныне утраченное, и совершая другие, забытые сегодня, обряды.

Заклинание именем *Иеговы* или при помощи других имен бога было в ходу еще в первые века христианской церкви. Ориген в своем сочинении против Цельса говорит этому последнему на странице 262: «Если, призывая бога или клянясь его именем, его называют богом Авраама, Исаака и Иакова, этими именами достигаются известные цели, ибо природа и сила их такова, что демоны подчиняются тем, кто эти имена произносит; но если его называют иным именем — например, именем бога вопящей матери, изгонителя, — то имена эти не имеют никакого значения. Имя „Израиль“ в переводе на греческий ничего не дает; но произнесите его по-еврейски вместе с другими надлежащими именами — и вы выполните таким образом заклинание».

Тот же Ориген[40] (в разделе XIX) произносит следующие примечательные слова: «Существуют имена, обладающие природным значением, например такие, какими пользуются мудрые люди среди египтян, персидские маги, а также брахманы Индии. То, что именуют магией, не есть пустое и химерическое искусство, как это утверждают стоики и эпикурейцы; ни имя Саваоф, ни Адонай не созданы для сотворенных вещей: они принадлежат мистической теологии, имеющей связь с Творцом; отсюда — значение этих имен, когда их располагают определенным образом и произносят по правилам, и т. д.».

Говоря таким образом, Ориген не выражает своего личного мнения, он лишь передает всеобщую точку

зрения. Все религии, бывшие тогда известными, допускали некий вид магии; при этом различалась магия небесная и инфернальная, некромантия и теургия; всюду были чудеса, прорицания, оракулы. Персы не отрицали египетские чудеса, египтяне не отвергали чудеса персов. Бог дозволял первым христианам верить в оракулы, приписываемые сивиллам, и спускал им вдобавок некоторые пустячные заблуждения, нисколько не подрывавшие основы религии.

Еще более примечательным является то, что христиане двух первых веков питали отвращение к храмам, алтарям и иконам. Ориген заверяет нас в этом на странице 347 своего сочинения. Все изменилось, однако, с введением церковной дисциплины, когда церковь получила жесткую форму.

Вопрос четвертый

Коль скоро какая-то религия бывает однажды легально принята в государстве, судебные трибуналы оказываются сплошь занятыми заботой о том, чтобы воспрепятствовать возобновлению большинства обычаев, принятых в этой религии до того, как она была признана обществом. Основатели ее собираются тайно вопреки запрету властей; теперь дозволяются лишь открытые сборища под бдительным оком закона, и все сообщества, уклоняющиеся от закона, бывают запрещены. Древняя максима гласила, что следует повиноваться не людям, но богу; теперь принято противоположное представление, а именно что повиноваться богу означает следовать законам страны. Ранее только и было слышно об одержимости и бесовском исступлении — дьявол тогда гулял по Земле; ныне он не выходит из своего убежища. Чудеса и пророчества были тогда необходимы; теперь их более не допускают: человек, вздумавший бы пророчить о бедах на городской площади, был бы отправлен в дом для умалишенных. Раньше основатели религии тайно получали от адептов деньги; теперь человек, который бы вздумал собирать деньги на свое дело, если бы он не получил на то визу закона, был бы схвачен и отдан под суд. Таким образом, более не пользуются теми подмостками, кои служили ранее для постройки здания.

Вопрос пятый

После нашей святой религии — несомненно, единственно благой — какую можно считать наименее скверной?

Не самую ли простую? А может быть, ту, что учила бы в большом объеме морали и очень мало — догматам? Ту, что стремилась бы сделать людей справедливыми и не превращала бы их в глупцов? Ту, что не повелевала бы верить в невероятные вещи, противоречивые и оскорбительные для божества, а также опасные для человечества, и не угрожала бы вечными карами любому обладателю здравого смысла? Не явится ли такой религией именно та, что не будет поддерживать веру с помощью палачей и не станет заливать кровью Землю во имя непостижимых софизмов? Та, в которой двусмысленность, игра слов и три-четыре подложные хартии не сделают суверена и бога из святого отца — зачастую кровосмесителя, убийцы и отравителя? Та, что не будет подчинять королей такому священнику? Та, что будет учить одному только поклонению богу, справедливости, терпимости и человечности?

Вопрос шестой

Говорят, будто языческая религия была во многих отношениях нелепой, противоречивой, опасной; но не вменялось ли ей в вину больше зла, чем она сотворила, и большее число глупостей в сравнении с теми, кои она действительно проповедовала?

Ведь наблюдать Юпитера-быка,
Змею и лебедя, и прочье в том же роде
Не кажется прекрасным мне пока,
И не дивлюсь я россказням в народе.

(*Мольер.* Пролог к «Амфитриону»)

Разумеется, такие представления весьма дерзки; но пусть мне покажут, где во всем античном мире можно увидеть храм, посвященный Леде, лежащей в объятиях лебедя или быка? Существовала ли в Риме или Афинах некая проповедь, поучающая девиц зачинать детей от лебедей их птичьего двора? И разве мифы,

собранные и приукрашенные Овидием, — это религия? Не напоминают ли они скорее нашу «Золотую легенду» или «Венец святых»[41]? Если какой-то брамин или дервиш явится к нам, чтобы возразить против нашей истории святой Марии египетской, коя, не имея, чем заплатить морякам, препроводившим ее в Египет, подарила каждому из них то, что у нас именуют благосклонностью, будучи притом переодетой монашенкой, мы, наверное, этому брамину ответим: «Почтенный отец, вы заблуждаетесь, наша религия — не „Золотая легенда“».

Мы ставим древним в упрек их оракулы, их чудеса; но если бы они возвратились к жизни и мы могли бы подсчитать чудеса Мадонны Лоретской и Мадонны Эфесской, чей итог перевесит?

Человеческие жертвы были приняты почти среди всех народов, однако практиковались крайне редко. У иудеев были принесены в жертву только дочь Иеффая и царь Агаг, потому что Исаак и Ионатан не испытали этого жребия. История Ифигении не очень-то достоверна у греков. У древних римлян человеческие жертвы весьма редки; одним словом, языческая религия вызвала очень немного кровопролития, наша же залила кровью всю Землю. Разумеется, наша религия — единственно благая и истинная, но мы ее именем сделали столько зла, что, когда мы говорим о других религиях, мы обязаны блюсти скромность.

Вопрос седьмой

Если какой-то человек хочет обратить в свою религию иностранцев или же своих соотечественников, не должен ли он браться за это по возможности осторожно, мягко и с подкупающей сдержанностью? Если он начинает с утверждения, будто возвещаемые им истины не требуют доказательств, он встретится лицом к лицу с толпой неверующих; если он осмеливается им сказать, что они отвергают его доктрину лишь потому, что он осуждает их страсти, что их сердца развратили их умы, что разум их преисполнен гордыней и заблуждениями, он вызовет их возмущение, восстановит их против себя и самолично погубит то, к устроению чего он стремится.

Коль скоро возвещаемая им религия истинна, сделают ли ее более истинной запальчивость и дерзость? Приходите ли вы в состояние гнева, когда утверждаете, что надо быть мягкими, терпимыми, милосердными, справедливыми и выполнять все свои общественные обязанности? Нет, ибо весь свет с вами здесь согласен. Почему же вы оскорбляете вашего брата, проповедуя ему мистическую метафизику? Да потому, что его здравый смысл раздражает ваше самолюбие. Ваша гордыня заставляет вас требовать от вашего брата, чтобы он подчинил свой интеллект вашему; оскорбленная гордость влечет за собой гнев: другого источника гнева не существует. Человек, пораженный в битве двадцатью выстрелами из ружья, не приходит в состояние гнева; но доктор теологии, пораженный неодобрением, приходит в ярость и становится беспощаден.

Вопрос восьмой

Не следует ли тщательно различать государственную религию и религию теологическую? Государственная религия требует, чтобы имамы регистрировали обрезанных, кюре или пастыри — крещенных; чтобы существовали мечети, церкви, храмы, дни, посвященные культу или же отдыху, узаконенные обряды; чтобы служители культа пользовались уважением, но не властью; чтобы они наставляли народ в благонравии, а слуги закона блюли бы нравы служителей храмов. Такая государственная религия ни в какие времена не может вызвать смуты.

Но не так обстоит дело с религией теологической: последняя — источник всех глупостей и всех мыслимых смут; она — мать фанатизма и гражданских раздоров, враг рода человеческого. Какой-нибудь бонза утверждает, что Фо — бог, что это было предсказано факирами; этот Фо якобы родился от белого слона, и любой бонза может изобразить Фо своими гримасами. Талапоин с своей стороны говорит, что Фо был святым, чье учение извратили бонзы, истинным же богом является Саммонокодом. Пустив в ход сотни аргументов и опровержений, обе фракции договариваются обратиться за разрешением спора к далай-ламе, обитающему в трехстах лье от места их жительства: он-де

бессмертен и непогрешим. Каждая фракция отправляет к нему торжественное посольство. Далай-лама согласно его божественному обычаю начинает с того, что ставит их в очередь к своему стульчаку.

Обе соперничающие секты сперва принимают этот стул с равным почтением, выставляют его для просушки на солнце и обвивают его мелкими четками, которые они благоговейно целуют; но не успевает далай-лама и его совет высказаться от имени Фо, как осужденная фракция начинает бросать эти четки в лицо наместника бога и устремляется к нему, дабы угостить его сотней ударов ременного кнута. Другая фракция защищает своего ламу, от которого она получила в удел тучные пашни; сражение между фракциями продолжается долго, а когда они устают от взаимного истребления, убийств и отравлений, они начинают осыпать друг друга тяжкими оскорблениями. При этом далай-лама смеется и продолжает распределять свой стульчак между теми, кто стремится получить в дар экскременты благого отца-ламы.

СИСТЕМА

Под системой мы разумеем гипотезу; затем, когда эта гипотеза бывает доказана, она превращается в истину. Тем не менее по привычке мы продолжаем говорить *небесная система,* хотя теперь уже подразумеваем под этим реальное расположение звезд.

Полагаю, что когда-то я верил, будто Пифагор перенял у халдеев истинную систему неба; однако больше я в это не верю. По мере того как я становлюсь старше, я начинаю сомневаться во всем.

Между тем Ньютон, Грегори, Кейль приписывают Пифагору и этим халдеям честь открытия системы Коперника; на последнем месте здесь стоит г-н Лемоннье, придерживающийся их точки зрения. Я же имею дерзость более ее не придерживаться.

Один из моих аргументов гласит, что, если бы халдеи так много об этом знали, столь дивное и важное открытие никогда не было бы забыто: оно передавалось бы из века в век, подобно прекрасным доказательствам Архимеда.

Другой довод: для такого открытия требовалась значительно более глубокая образованность, чем та, коей обладали халдеи; ведь нужно было опровергнуть наблюдения всех людских глаз и все небесные кажимости; надо было не только иметь возможность для более тонких экспериментов, но и пользоваться более глубоко разработанной математикой и непременно иметь в своем распоряжении телескопы, без которых было бы невозможно открыть фазы Венеры и которые указали бы ее путь вокруг Солнца; без них также было бы невозможно увидеть пятна на Солнце, указывающие на его вращение вокруг своей почти неподвижной оси.

Не менее сильным доводом является то, что из всех тех, кто приписывал Пифагору эти прекрасные знания, ни один не сказал положительно, о чем же здесь идет речь.

Диоген Лаэрций, живший около девяти веков спустя после Пифагора, сообщает нам, что, согласно учению этого великого философа, единица является первым принципом, из двойки же рождаются все числа; тела, по Пифагору, состоят из четырех элементов — огня, воды, воздуха и земли; свет и тьма, холод и жар, влажное и сухое существуют в равных количествах. Пифагор утверждает, что не следует есть бобы, что душа разделена на три части и что сам Пифагор был некогда Эталидом, затем Эвфорбом, далее — Гермотимом, каковой великий человек основательно изучал магию. Диоген наш не говорит ни слова об истинной системе мира, приписываемой Пифагору, и надо признать, что весьма далеко от его пресловутой неприязни к бобам до наблюдений и расчетов, доказывающих ныне пути планет и Земли.

Знаменитый арианин Евсевий, епископ Цезареи, в своих «Евангелических предуготовлениях» изъясняется так*: «Все философы утверждают, будто Земля покоится; но перипатетик Филолай считает, что она вращается вокруг огня по наклонной орбите точно так же, как Солнце и Луна».

Подобная галиматья не имеет ничего общего с возвышенными истинами, поведанными нам Коперником, Галилеем, Кеплером и особенно Ньютоном.

* Страница 850, издание in-folio 1624 года.— *Примеч. Вольтера.*

Что до пресловутого Аристарха Самосского[42], о котором говорят, будто он развил открытия халдеев в области путей планеты Земля и других планет, то писания его столь темны, что Уоллис был вынужден комментировать каждую их строку, дабы сделать их постижимыми.

Наконец, весьма сомнительно, будто книга, приписываемая Аристарху, действительно принадлежит ему. Враги новой философии были сильно заподозрены в том, что они сфабриковали этот подложный опус во имя защиты своего неправого дела. Мы имели благочестивых фальсификаторов не только в области древних грамот. Этот Аристарх Самосский тем более подозрителен, что Плутарх обвиняет его в ханжестве, в злобном лицемерии, в том, что он был исполнен противоречивых мнений. Вот слова Плутарха в его вздоре, озаглавленном «О лице на диске Луны»: Аристарх Самосец говорил, что греки должны «покарать Клеанта Самосского, предположившего, будто небо неподвижно и будто именно Земля движется по кругу Зодиака и вокруг своей же оси».

Но, скажут мне, именно это и доказывает, что система Коперника уже мелькала в голове Клеанта и многих других. Что за важность, придерживался ли Аристарх Самосец мнения самосца Клеанта или был только доносчиком, подобно тому как иезуит Скейнер стал позднее доносчиком на Галилея? Все равно из этого ясно следует, что истинная система нашего времени была известна древним.

Я возражаю: нет, просто весьма слабое частичное подобие этой системы смутно подозревалось отдельными умами, более высоко организованными, чем прочие. Я говорю, что система эта никогда не была принята и никогда не преподавалась ранее в школах; она никогда не составляла основы доктрины. Внимательно почитайте это плутарховское «Лицо Луны» — и вы там увидите, если угодно, учение о тяготении. Но истинным автором системы является тот, кто ее доказал.

Не будем завидовать славе Коперника, открывшего эту систему. Три-четыре слова, выкопанные из текста старого автора и могущие иметь некую отдаленную связь с его системой, не должны лишить его чести ее изобретения.

Отдадим дань восхищения великому правилу Кеплера, согласно которому квадраты периодов обращений планет вокруг Солнца пропорциональны кубам их расстояний от него.

Еще большую дань восхищения мы принесем глубине и точности открытий великого Ньютона — единственного, кто обнаружил фундаментальные основы этих законов, неведомых всей античности, и кто показал людям новое небо.

Всегда находятся жалкие компиляторы, осмеливающиеся выступать в роли врагов своего времени; они громоздят один на другой пассажи Плутарха и Афинея, дабы попытаться доказать нам, что мы якобы ничем не обязаны Ньютону, Галлею и Брадлею [43]. Они создают себе из древних рупоры славы. Они утверждают, будто эти древние уже все сказали, и имеют глупость считать, будто разделяют их славу лишь потому, что предали их писания гласности. Они выворачивают наизнанку фразу Гиппократа, дабы уверить нас, будто грекам известна была циркуляция крови лучше, нежели Гарвею. Чего только они не придумывают! У греков, мол, были и лучшие ружья, чем у нас, более мощные пушки, выпускавшие снаряды на большее расстояние; они лучше нас печатали книги, выпускали более красивые гравюры и т. д. и т. п.; они также превосходили нас в живописи маслом, имели хрустальные зеркала, телескопы, микроскопы, термометры! И разве не нашлись люди, уверявшие, будто Соломон, не владевший ни одним морским портом, послал флотилию в Америку? И т. д. и т. п.

Одним из величайших хулителей новых веков был некий *Дютан*. Кончилось тем, что он сочинил книжицу, столь же подлую, сколь и безвкусную, против философов наших дней. Книжица эта озаглавлена «Набат»; однако он мог сколько угодно бить в свой набат — никто не явился к нему на помощь; он всего лишь умножил собой число зоилов, которые, будучи бесплодными, изливают свой яд на людей, прославивших свою родину и послуживших человечеству своими творениями.

ТЕОЛОГИЯ

Теология — это исследование, а не наука о боге и божественных предметах; теологи есть среди всех священнослужителей древности — это философы, которые, предоставляя взорам и умам толпы весь внешний, обрядовый облик религии, сами мыслили о божестве и происхождении культовых празднеств в гораздо более возвышенном духе; секреты свои они хранили про себя и для посвященных. На тайных празднествах Элевсинских мистерий представлялся хаос и образование мира, причем жрец пел такой гимн: «Откиньте предрассудки, кои могут вас отвратить от дороги бессмертной жизни, куда вы стремитесь; возвысьте ваши мысли до природы божественного; вообразите себе, что вы шествуете пред повелителем вселенной, единственным бытием, существующим само по себе». Таким образом, на празднестве аутопсии * признавался лишь один бог.

В египетских культах все было исполнено мистицизма; народ же, удовлетворяясь внешней импозантной вуалью, считал себя недостойным проникать за ее пределы, скрывавшие то, что внушало ему тем более высокую почтительность.

Обычай мистерий, естественно введенный по всей Земле, не давал интеллектуальной пищи для диспутов. Языческие теологи совсем не стремились к публичному утверждению своих мнений, ибо достоинством их мнений была как раз их таинственность; и все религии были мирными.

Если бы христианские теологи поступали таким же образом, они приобрели бы себе большее уважение. Народ не создан для познания того, является ли рожденное слово единосущным со своим родителем, существуют ли одна ипостась и две сути, единая суть и две ипостаси или же, наконец, одна ипостась и единая суть; он не создан для понимания того, сошло ли это слово в ад *per effectum* ** и в преддверие рая *per essentiam* ***, вкушают ли его тело только вместе с акциденциями хлеба или с его субстанцией; бывает ли благодать переменчи-

---

* Т. е. непосредственного узрения (греч.; речь идет о мистериях приобщения к божеству).— *Примеч. переводчика.*

** «в результате» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

*** «по сути» (лат.).— *Примеч. переводчика.*

вой, достаточной, сопровождающей и принудительной в сложном смысле или раздельном. Девять десятых человечества, зарабатывающие себе на жизнь трудами рук своих, плохо разбираются в этих вопросах; теологи, не лучше в них разбирающиеся (ибо они терзают эти вопросы вот уже столько лет без всякой согласованности между собой и будут спорить и впредь), несомненно, поступили бы правильнее, если бы отделили себя от профанов вуалью.

Поменьше теологии и побольше морали сделало бы их высокочтимыми среди народов и у царей; однако, устраивая свои публичные диспуты, они сотворили себя хозяевами тех самых народов, которыми хотели руководить. Ведь что произошло? Произошло то, что злополучные эти споры посеяли рознь между христианами, в которую по необходимости вмешались вдобавок корысть и политика. Каждое государство (даже в эпохи невежества) имеет свои частные интересы, а потому ни одна церковь не мыслит едино с другой, многие же из них диаметрально друг другу противоположны. Какой-нибудь доктор теологии из Стокгольма не может мыслить так, как другой доктор из Женевы; англиканин в Оксфорде должен отличаться от того и другого; тому, кто получает свой докторский колпак в Париже, не дозволено поддерживать неотъемлемые мнения римского доктора. Между религиозными орденами, соперничающими друг с другом, произошел раскол. Монах-францисканец обязан верить в беспорочное зачатие; доминиканец должен его отвергать, и в глазах францисканца он — еретик. Кончилось тем, что дух геометрии, распространившийся столь явно в Европе, сильно обесценил всю теологию. Истинные философы не могли себе отказать в том, чтобы выразить самое глубокое презрение к химерическим диспутам, в которых никогда не определялись посылки и которые построены на словесах столь же непостижимых, как и их суть. Среди самих докторов теологии встречается много настоящих ученых, сожалеющих о своей профессии; они напоминают авгуров, о которых Цицерон говорит, что они не могут встречаться между собой без смеха.

ТЕОЛОГ

I. Теолог в совершенстве знает, что, согласно святому Фоме, ангелы в отношении к богу телесны, что душа обретает свою сущность в теле и человек обладает душой растительной, чувственной и рассудочной. Он знает также,

что душа представляет собой всё во всем и всё в каждой части;

что она — действующая и формальная причина тела;

что она — предельное благородство форм;

что вожделение — пассивная потенция;

что архангелы занимают промежуточное положение между ангелами и высочайшими существами;

что крещение возрождает само по себе и акциентально;

что катехизис — не таинство, но он сакраментален;

что достоверность происходит от предмета и субъекта;

что похоть — вожделение к чувственному наслаждению.

что совесть — это акт, но не потенция.

Доктор ангельский написал около четырех тысяч прекрасных страниц в том же духе. Молодой человек, носящий тонзуру, тратит три года на вбивание себе в голову этих возвышенных знаний, после чего получает колпак доктора теологии... в Сорбонне, не в доме для умалишенных!

Если он человек с положением или сын богатых родителей или если он интриган и при этом удачлив, он становится епископом, архиепископом, кардиналом, папой.

Если он беден и не пользуется доверием, он становится теологом, слугой одного из таких людей: он выдвигает за них аргументы, перечитывает для них святого Фому и Скота, составляет для них указы, принимает за них решения в совете.

Титул теолога столь высок, что святые отцы Тридентского собора давали его своим поварам — *cuoco coeleste, gran teologo* *. Наука теологов — главная из наук, их звание — главное из званий, и сами они — первые среди людей — такова власть истинного учения! Таково царство разума среди людей!

---

* «Небесный повар», «великий теолог» (ит.).— *Примеч. переводчика.*

В то время как кто-либо из теологов оказывается благодаря своим аргументам князем Священной империи, архиепископом Толедским, либо одним из семидесяти облаченных в пурпур кардиналов — преемников смиренных апостолов, преемники Галена и Гиппократа живут на свои заработки. Они могли бы сравняться с теми, если бы учились в том же университете, имели бы те же степени и получили бы в удел тот же подбитый мехом колпак. Судьба играет людьми, и те, кто открыл циркуляцию крови, молочные железы, грудной проток, являются слугами тех, кто познал, что такое сопутствующая благодать, а после начисто это забыли.

II. Я знал одного истинного теолога; он владел восточными языками и был, сколько можно, образован по части древних национальных обрядов. Брахманы, халдеи, огнепоклонники, сабеи, сирийцы, египтяне были ему знакомы так же, как иудеи; ему были близки различные наставления Библии, и в течение тридцати лет он пытался примирить между собой Евангелия и воцарить согласие между отцами церкви. Он исследовал, в какое именно время был установлен символ, приписываемый апостолам, а также тот, что известен под именем символа Афанасия; каким образом таинства были учреждены одно за другим; в чем заключается разница между синагогой и мессой; каким образом христианская церковь после своего рождения разбилась на несколько сект и как господствующая корпорация третировала все прочие, еретические. Он погружался в глубины политики, постоянно вмешивавшейся во все эти споры; и он сделал различие между политикой и мудростью, между гордыней, стремящейся поработить умы, и жаждой просветиться самому, между ревностностью и фанатизмом.

Трудность упорядочить в своем мозгу столькие вещи, по своей природе обреченные на смешение, и пролить немного света на всю эту тьму часто его отталкивала; но так как исследования эти были долгом, связанным с его саном, он посвящал себя им вопреки отвращению. В конце концов он достиг познаний, неведомых большинству из его собратьев. Но, чем больше он знал, тем больше открещивался от этих своих познаний. Пока он жил, он был терпелив, но на пороге смерти признался, что даром потратил всю свою жизнь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА И ПРОТИВ *

(Послание к Урании)

Твое, Урания, веленье:
Чтоб, красоте служа, Лукрецием я стал,
Чтоб ревностное дерзновенье
Все суеверия лишило покрывал;
Чтоб взору твоему я пылко начертал
Священных вымыслов опасное виденье;
И чтоб, приняв мое ученье,
Пред ужасом могил твой разум не дрожал
И пре́зрел вечное мученье.
Не ожидай, что, чувств соблазном упоен,
Религию клеймя, хулой непросвещенной
Я стану поносить карающий закон,
Как осудившего поносит осужденный.
Нет, скромно мы войдем, избрав достойный час,
В обитель божества, когда-то
Нам возвещенного и скрытого от нас.
Я чтить его готов, любить сыновне, свято,—
Мне ж предстоит тиран, что злобу сеет сам.
Он смертных сотворил, ему во всем подобных,
Чтоб злей смеяться их скорбям;
Замкнул нас в круг влечений злобных,
Чтоб всех судить по их делам.
Он радость завещал сердцам,
Чтоб стала тем страшней нам вечность мук загробных,

---

* В поэме «За и против» — Le Pour et le Contre — (написана в 1722 г., впервые опубликована в 1732 г.) и «Поэме о гибели Лиссабона» — Poéme sur le desastre de Lissbonne — (написана по поводу катастрофического лиссабонского землетрясения 1755 г. и опубликована в 1756 г.) Вольтер отвергает христианское учение о боге и лейбницеву теодицею с ее принципом «всё идет к лучшему в этом лучшем из возможных миров» (упрощенно — «все благо»). Вольтер противопоставляет им свой деизм, включающий в себя объяснение человеческих бед естественными причинами.

Отрывки из поэм в переводе А. Кочеткова печатаются по книге: *Вольтер.* Избранные произведения. М. 1947.

Чтоб муки здешние больней казались нам.
Он смертных сотворил, не мысля об изъяне,
И вдруг — стал смертных порицать,
Как будто мастеру не подобает знать
Свои погрешности заране.
Слеп в милостях своих, слеп в ярости своей,
Едва успев создать, он стал губить людей.
Он морем сокрушил довольство их земное,
Хоть сам его в шесть дней извлек из мрака он.
Быть может, восхвалим провиденье благое,
Увидев лучший мир, что вновь сотворен?
О, нет, из праха вызывая,
Он мир злодеев создает,
Бесчестнейших рабов, суровейших господ,
Каких не знала жизнь былая.
Что ж станется теперь, и гром какой падет
Из гневных божьих рук, ничтожным отомщая?
Стихии вновь смешав, он в хаос их вернет?
Внимайте, о любовь! о тайна всеблагая!
Отцов волнами затопляя,
Он за детей на смерть идет.
Есть ветренный народ, тупой, непросвещенный,
Священных вымыслов приверженец пустой,
Родившийся в ярме, от века покоренный,
Народам всем чужой, гонимый их семьей.
Сын божества, сам бог, не устрашась паденья,
Народу жалкому становится сродни;
Еврейку он избрал, возжаждав воплощенья;
Он, предан матери, влачит покорно дни
Ребяческого униженья.
Бедняк-ремесленник, корпя над верстаком,
Он свой расцвет сгубил работой принужденной,
Вещал пророчества три года он потом
И пал, бесславно осужденный.
Ужели кровь его, кровь бога, что за нас
Он пролил, не была избыточным вакладом,
Чтоб отвратить казнящий час,
Нам присужденный злобным адом?
Как! Бог пошел на смерть, чтоб всем спасенье дать,
И жертва обернулась ложью!
Как смеют мне хвалить пустую милость божью,
Меж тем как, вознесясь, он гневным стал опять,
Меж тем как вновь с высот грозится вечной бездной,

И, яростью своей любовь свою поправ,
Он, став за мой же грех расплатой бесполезной,
Казнит меня за то, в чем я пред небом прав!
Карает это бог, слепой в любви и в злобе,
Детей — за праотцев, давно истлевших в гробе;
К ответу он зовет семью людских племен,
В ночь лжи поверженных от века;
В своем аду отмщает он
Неодолимому незнанью человека,—
Он сам, пришедший в мир, чтоб мир был озарен.
Америка, пустыни, горы,
Что богом созданы у солнечных ворот;
Гиперборейские просторы,
Чью вековую глушь неведенье гнетет,—
Ужели отвратил от них создатель взоры,
Ужели проклял страны те,—
Пусть не дано им знать, что в Сирии безвестной
Сын плотника рожден Марией неневестной,
Пилатом осужден, был распят на кресте?
Нет, бог мой не таков, и лжет изображенье
Того, кто в этом сердце свят.
Его, боюсь я, оскорбят
Такая похвала, такое поношенье.
Услышь, господь, молю, рожденное тоской,
Из сердца вырванное слово.
Неверью моему ты не отмстишь сурово,
Мой дух раскрыт перед тобой,
И сердце — не хулить, а чтить тебя готово!
Я — не христианин; тем ты верней любим.

. . . . . .

ПОЭМА О ГИБЕЛИ ЛИССАБОНА
или проверка аксиомы: «Все благо»

О жалкая земля, о смертных доля злая!
О ярость всех бичей, что встала, угрожая!
Неистощимый спор бессмысленных скорбей.
О вы, чей разум лжет: «Все благо в жизни сей»,
Спешите созерцать ужасные руины,
Обломки, горький прах, виденья злой кончины,
Истерзанных детей и женщин без числа,
Разбитым мрамором сраженные тела;
Сто тысяч бледных жертв, землей своей распятых,

Что спят, погребены в лачугах и палатах,
Иль, кровью исходя, бессильные вздохнуть,
Средь мук, средь ужаса кончают скорбный путь.
Под ели внятный стон их голосов дрожащих,
Пред страшным зрелищем останков их чадящих
Посмеете ль сказать: так повелел закон,—
Ему сам бог, благой и вольный, подчинен?
Посмеете ль сказать, скорбя о жертвах сами:
Бог отомщен, их смерть предрешена грехами?
Детей, грудных детей в чем грех и в чем вина,
Коль на груди родной им гибель суждена?
Злосчастный Лиссабон преступней был ужели,
Чем Лондон и Париж, что в негах закоснели?
Но Лиссабона нет,— и веселимся мы.
Вы, созерцатели, бесстрашные умы!
Вдали над братьями вершится дело злое,
А вы причину бед здесь ищете в покое;
Но если бич судьбы познать случится нам,
Вы плакать будете, как плачут ныне там.
Поверьте мне: когда бушует море лавы,
Невинна скорбь моя, мои роптанья правы.
Нам, яростью судьбы теснимым там и тут,
Разнузданностью зла, коварством смертных пут,
Чей утлый дом не раз стихии разрушали,—
Дозвольте нам скорбеть, собраться по печали.
Гордыня и соблазн — вещает ваш ответ —
Желать благой судьбы, коль блага в сердце нет.
Отважьтесь вопросить кровавый берег Таго;
В обломках и крови откройте ваше «благо».
Спросите гибнущих на роковом пути,
Гордыня ль в них кричит: О небо, защити,
О небо, смилуйся, да идет чаша мимо!
Всё благо,— ваш ответ,— и всё необходимо.
Как? если б этот ад не пригрозил земле,
Не сгинул Лиссабон,— мир закоснел бы в зле?
Иль, скажете, не мог наш двигатель извечный,
Всё зная, всё творя по воле безупречной,
Нас вовсе не ввергать в печальные края?
Вулканов не зажечь, под почвой смерть тая?
Иль власти у него на это недостало?
Иль к немощи людской в нем состраданья мало?
Иль мастер не имел орудий под рукой,
Чтоб выполнить в веках свой замысел любой?

Смиренно б я желал, с творцом своим не споря,
Чтоб волны серные пылающего моря
Катились без вреда по пустырям земным.
Я бога чтить готов, но мной и мир любим:
Коль стонет человек, от бед изнемогая,
Не гордость то,— увы!— чувствительность людская.

Нет, слишком в эти дни я сердцем возмущен,
Чтоб неизбежности холодной чтить закон,—
Всю цепь вселенных, тел и душ неуловимых.
О сказки мудрецов! Соблазны истин мнимых!
Никем не скован бог и держит цепь в руках;
Всё выбором его предрешено в веках;
Он благ, он справедлив, он волен без предела.
И та благая мощь — терзать нас захотела?
Вот узел роковой, что должно развязать.
Как исцелить недуг, коль про него не знать?
Все племена земли, дрожа пред небесами,
Искали семя зла, не признанного вами.

Когда б страдал лишь я — с единством разобщенный...
Но каждый зверь, на жизнь безвинно осужденный,
Все существа, приняв законы бытия,
Безрадостно живут и встретят смерть, как я.

Враждует вся земля — стихии, люди, звери.
Признаем: зло сродни печальной этой сфере;
Заботливо от нас укрыт его рычаг.
Иль зло ниспослано подателем всех благ?
Тифоном яростным, жестоким Ариманом
Проклятая юдоль страданья суждена нам?
Мой ум не признает чудовищ этих злых,
Пусть некогда рабы — богов узрели в них.
Но как постичь творца, чья воля всеблагая,
Отцовскую любовь на смертных изливая,
Сама же их казнит, бичам утратив счет?
Кто замыслы его глубокие поймет?
Нет, зла не мог создать создатель совершенный,
Не мог создать никто, коль он — творец вселенной.
Всё ж существует зло. Как истины грустны!

Как странно крайности к единству сведены!
Бог не дал торжества спасительной надежде;
Он землю посетил, и что ж — там всё как прежде!
Злорадствует софист: «Он мир спасти не мог!»
«Он мог,— кричит другой,— хотел иного бог!
Он мир еще спасет!» За распрей бесполезной
Забыт и Лиссабон, сметенный гулкой бездной,
И тридцать городов, вдруг превращенных в тлен,
От Таго рдяного до кадиксовых стен.
Иль бог казнит людей, виновных от рожденья,
Иль этот властелин пространства и творенья,
Без гнева, без любви, бесстрастно служит сам
Тому, что завещал стремительным векам;
Иль слепо на творца материя восстала,
Необходимый грех лелея изначала;
Иль нас пытает бог, и смертный этот дом —
Лишь узкий переход пред вечным бытием?
Так, преходящую здесь скорбь претерпевая,
Мы верим: завершит мученья смерть благая.
Но кто, преодолев ужасный переход
И счастье выстрадав, свой путь не проклянет?
Все судьбы нам темны и горестна любая.
Не знаем ничего, бесплодно вопрошая.
Природа в немоте ответов не даст.
Нам, смертным, нужен бог, глаголящий с высот.
И кто б, как не творец, нам разъяснил творенье,
Мудрейших озарил, дал слабым утешенье?
Отвергнут божеством, заблудший род людской
От шатких тростников опоры ждет порой.
Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой
В сей лучший из миров, в порядок нерушимый
Врывается разлад, извечный хаос бед,
Ведя живую скорбь пустой мечте вослед;
Зачем невинному, сродненному с виновным,
Склоняться перед злом, всеобщим и верховным?
Постигнуть не могу в том «блага» своего.
Я, как мудрец, увы, не знаю ничего.
Нам говорит Платон: был человек крылатым,
Был телом просветлен и чужд земным утратам;
Он смерти не знавал и не дружил с бедой,—
Как нынче он далек от доли светлой той!
Он гнется и скорбит; он проклят от рожденья;
Природа — царство зла, обитель разрушенья.

Созданье хрупкое из нервов и костей
Под натиском стихий погибнет тем скорей;
Из крови, праха, влаг возникла плоть живая,
Чтоб снова стать ничем, единство вновь теряя;
И нервы тонкие и хрупкие сердца
Подчинены скорбям, прислужницам конца;
Природа такова — мирюсь с ее законом.
Мне темен Эпикур, я во вражде с Платоном.
Бейль умудренней всех, ему хвалу воздам:
Сомненью учит Бейль, доверясь лишь весам;
Став выше всех систем на собственное горе,
Он всех их ниспроверг и сам с собой в раздоре.
Так некогда слепец разгневанный, Самсон,
Обрушив своды стен, был ими погребен.
Приподнят ли покров великими умами?
Нет: книга жребия закрыта перед нами.
Неведом человек себе же самому.
Кто я, куда иду, какой удел приму?
Рой жалких атомов над этой грудой праха,
У жребия в плену, на поводу у страха,—
Но зрячих атомов, чьи очи мысль вовет
Измерить пустоту безвестную высот.
Мы к бесконечному стремим свои желанья,
Не чая на земле вкусить самопознанья.
Мир, заблуждения и горести приют,
Кишит несчастными, что счастья тщетно ждут;
Стон, жалобы кругом,— всех, всех мечта прельстила!
Смерть каждому страшна, жизнь каждому постыла.
Средь наших горьких дней пусть слезы нам порой
Веселье осушит беспечною рукой,—
Веселье улетит, оно, как тень, мгновенно;
Печаль, утрата, скорбь пребудут неизменно.
Мы в прошлом свято чтим лишь память наших бед;
Всё в настоящем скорбь, коль будущего нет,
Коль мыслящую плоть разрушит умиранье.
«Всё может стать благим» — вот наше упованье;
«Всё благо и теперь» — вот вымысел людской.

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА

«Lettres philosophiques». К работе над этим произведением Вольтер приступил в конце 1727 — начале 1728 г., находясь в Англии, но широко развернул ее по возвращении на родину в 1729 г. и в основном завершил к концу 1732 г. В начале 1733 г. Вольтер направил один экземпляр рукописи в Лондон своему другу Тьерио с поручением издать ее в английском переводе. Второй экземпляр был передан французскому книгоиздателю Жору, которому в середине 1733 г. Вольтер отправил также только что написанные «Замечания на „Мысли" Паскаля», которые должны были заключить «Философские письма».

В Лондоне сочинение Вольтера было опубликовано в августе 1733 г. под заглавием «Письма об английской нации». Французское издание писем Вольтер затягивал, опасаясь репрессий со стороны властей, пока Жор по своему усмотрению не опубликовал их в апреле 1734 г. в Руане как «Философские письма». В интересах конспирации на титульном листе книги в качестве места издания был указан Амстердам, названо голландское книгоиздательство, а автор обозначен лишь начальной буквой его фамилии — «В...». Парижская судебная палата («парламент») незамедлительно осудила «Философские письма» на сожжение как книгу «соблазнительную, противную религии, добрым нравам и почтению к властям». Был отдан приказ об аресте Вольтера, авторство которого установить не стоило труда. Предупрежденный о грозящем аресте, Вольтер успел бежать в Голландию. В том же 1734 г. «Философские письма» трижды издавались в Амстердаме и один раз в Лондоне на французском языке, где они получили название «Письма, написанные из Лондона об англичанах и о других вопросах».

Перевод «Философских писем» сделан по их критическому изданию в 1909 г. известного французского исследователя Гюстава Лансона, который в основу своего труда положил издание Жора 1734 г. с указанием изменений, вносимых Вольтером в ходе 16 последующих прижизненных публикаций этого произведения.

---

[1] Речь идет о реальном лице — Эндрю Питте, с которым Вольтер встречался и беседовал во время пребывания в Англии.

[2] Имеется в виду произведение Роберта Беркли (1648—1690), опубликованное на латыни в 1675 г. под заглавием «Истинная теология — апология христианства» и на английском языке под заглавием «Апология истинно христианского божества как его почитают и проповедуют люди, именуемые в просторечии квакерами».

[3] Имеется в виду колонна высотой в 100 футов, воздвигнутая Карлом II в память о великом лондонском пожаре.

[4] Мальбранш, Николя (1638—1715) — французский философ, который в соответствии с религиозно-идеалистической концепцией окказионализма учил, что люди все видят в боге и существуют в боге.

[5] Это, видимо, опечатка. Проповедь квакерства его основателем Фоксом началась в 1649 г.

[6] Имеется в виду английская буржуазная революция (1642—1648), в которой противоборствующие силы выступали под религиозными знаменами и которую просветители поэтому воспринимали как конфликт, порожденный распрями между фанатичными протестантами и католиками.

[7] Кромвель, Оливер (1599—1658) — командующий революционными войсками, возглавивший английскую республику после ее учреждения в 1649 г.

[8] Сикст V — папа римский (1585—1590).

[9] Карл II — король Англии (1660—1685), сын казненного после победы революции Карла I; занял престол в результате реставрации.

[10] Пенн, Вильям (Уильям) (1644—1718) — английский религиозный и политический деятель, основавший в Северной Америке колонию Пенсильвания.

[11] Яков II — брат Карла II, последний английский король (1685—1689) из династии Стюартов, лишенный престола в результате «славной революции» 1688—1689 гг.

[12] Георг I — английский король (1714—1727), родоначальник Ганноверской династии.

[13] «Философским романом» Вольтер пренебрежительно называет работу Декарта «О страстях души» (1649).

[14] Здесь, видимо, опечатка. Пенсильвания расположена к северу от Мериленда.

[15] Вильгельм III — английский король (1689—1702), являвшийся до этого штатгальтером Голландии под именем Вильгельма Оранского и женатый на старшей дочери Якова II. Занял престол по решению английского парламента в результате «славной революции».

[16] Англиканская церковь возникла в эпоху Реформации в XVI в. и принадлежит к числу протестантских церквей.

[17] Тори — так после английской буржуазной революции середины XVII в. стали называть сторонников партии консервативных землевладельцев. Тори были одной из двух главных политических партий в Англии

[18] Анна — английская королева (1702—1714), преемница Вильгельма III.

[19] Виги — так после английской буржуазной революции середины XVII в. стали называть сторонников партии, отражавшей преимущественно интересы буржуазии и нового дворянства. Виги были одной из двух главных политических партий в Англии.

[20] Гвельфы и гибеллины — две противоборствующие группировки в Германии и Италии XI—XIV вв. В целом гвельфы поддерживали

папство в его борьбе за светскую власть, а гибеллины — императоров Священной Римской империи.

[21] Харлей (1661—1724) занимал в 1712—1714 гг. пост канцлера и главы казначейства.

[22] Болинброк (1678—1751) возглавлял кабинет тори в последние годы правления королевы Анны (с 1711 г.).

[23] Курейе (1681—1776) — каноник и библиотекарь церкви св. Женевьевы в Париже, автор изданной в 1723 г. в Брюсселе книги «Рассуждение о достоинстве установлений англичан и о преемственности епископов англиканской церкви».

[24] Имеется в виду архиепископ Паркер (1504—1575).

[25] Эта ссылка на Франсуа Рабле (1494—1553), одного из крупнейших французских вольнодумцев эпохи Возрождения, гуманиста и антиклерикала, носит иронический характер.

[26] Имеется в виду Диоген из Синопа (404—323 гг. до н. э.), философ-киник, критиковавший учение Платона об идеях и отличавшийся смелостью и независимостью по отношению к властелинам.

[27] Платон (428/427 — 347 гг. до н. э.) — один из крупнейших древнегреческих мыслителей, философ-идеалист.

[28] Имеется в виду Александр Македонский (356—323 до н. э.) — властелин огромного царства, простиравшегося от Греции до Индии.

[29] Речь идет о древнеримском государственном деятеле и мыслителе Марке Порции Катоне Старшем (234—149 до н. э.) как проповеднике нравственного ригоризма, неуклонного следования «добрым старым нравам».

[30] Три королевства — это Англия, Шотландия и Ирландия, входящие в состав Соединенного королевства Великобритании.

[31] Янсенист — сторонник янсенизма (по имени голландского богослова Янсения (1585—1638)), близкого к протестантизму нравственно-религиозного течения внутри католицизма. Наибольшее распространение янсенизм получил во Франции, являясь в XVII — начале XVIII в. формой выражения социального протеста буржуазных слоев населения против феодально-абсолютистского общества. Своих главных противников янсенисты видели в это время в иезуитах.

[32] Иезуит — член монашеского ордена «Общество Иисуса», созданного в 1534 г. Игнатием Лойолой для борьбы против Реформации, упрочения папства и католицизма в целом. Ради достижения своих целей иезуиты сознательно шли на использование любых средств, цинично попирая мораль. В феодально-абсолютистской Франции иезуиты пользовались огромным влиянием и были надежной опорой королевской власти.

[33] Социниане, ариане, антитринитарии — христианские секты, для которых общим является отрицание троичности божества.

[34] Имеется в виду один из «отцов церкви» — Афанасий Александрийский (295—373), который в борьбе с арианством разработал догмат о единосущности бога-отца и бога-сына, включенный на I Вселенском соборе в Никее (325 г.) в христианский символ веры.

[35] Ньютон, Исаак (1643—1727) — великий английский физик, в мировоззрении которого материалистические идеи о природе противоречиво соединялись с религиозностью и теологическими рассуждениями.

[36] Кларк, Сэмюел (1675—1729) — английский теолог.

[37] Имеется в виду книга Кларка «Рассуждение о бытии и атрибутах бога» (1705—1706).
[38] Имеется в виду книга Кларка «Истинность и достоверность естественной и откровенной религии» (1705).
[39] Имеется в виду книга Кларка «Святое учение о троице» (1712).
[40] Лютер, Мартин (1483—1546) — зачинатель Реформации, основатель лютеранства — первой и главной разновидности протестантизма.
[41] Кальвин, Жан (1509—1564) — один из крупнейших деятелей Реформации, основатель новой влиятельной разновидности протестантизма — кальвинизма.
[42] Цвингли, Ульрих (1484—1531) — глава Реформации в Цюрихе, основатель одной из разновидностей протестантизма — цвинглианства.
[43] Магомет (Мухаммед) (570—632) — основатель ислама, одной из главных мировых религий.
[44] Джон Локк (1632—1704) — английский философ-материалист.
[45] Леклерк (ум. 1736) — философ, способствовавший распространению идей Локка в странах Европейского континента, прежде всего в Голландии.
[46] Рец де, кардинал (1614—1679) — один из главных вдохновителей Фронды (1648—1652), сложного социального движения, направленного с различных классовых позиций против королевского абсолютизма.
[47] Шиппинг, Вильям (1673—1743) — видный тори, член палаты общин английского парламента.
[48] Марий, Гай (156—86 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель, жестоко преследовавший приверженцев своего главного противника в борьбе за власть в Риме — Суллы.
[49] Сулла, Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель, установивший в Риме военную диктатуру и жестоко расправившийся с приверженцами своего противника Мария.
[50] Помпей, Гней (106—48 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель, погибший в борьбе с Цезарем за власть в Риме.
[51] Цезарь, Гай Юлий (100—44 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель, установивший в Риме диктатуру и тем самым положивший конец республиканскому строю.
[52] Антоний, Марк (83—30 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель, участник правившего Римом после смерти Цезаря триумвирата, затем боролся за власть с Октавианом и потерпел поражение.
[53] Август — имя, принятое древнеримским полководцем и политическим деятелем Октавианом (63 до н. э.— 14 н. э.) в связи с дарованием ему в 27 г. до н. э. императорской власти; первый римский император.
[54] Фламины — жрецы древнеримской религии.
[55] Людовик XIV — французский король (1643—1715), вел широкую экспансионистскую политику.
[56] Карл IX — французский король (1560—1574), в царствование которого католики устроили резню гугенотов в Париже, известную под именем Варфоломеевской ночи (1572 г.).

[57] Генрих III — французский король (1574—1589), приказавший умертвить главу католической партии герцога Гиза и в отместку за это убитый монахом-доминиканцем Жаком Клеманом.

[58] Гизы — старинная французская аристократическая фамилия, возглавившая в период религиозных войн во Франции (1562—1594) воинствующих католиков и стремившаяся воспользоваться этим для овладения французским престолом, низложив династию Валуа.

[59] Имеется в виду Фронда (1648—1653).

[60] Джулио Мазарини, кардинал (1602—1661) — всесильный первый министр в годы детства и юности Людовика XIV (1643—1661).

[61] Карл IV — французский король (1380—1422), в царствование которого происходили многочисленные жестокие войны внутри страны, прежде всего между бургундцами и арманьяками.

[62] Лига — наименование возглавлявшегося Гизами в период религиозных войн объединения французских католиков, стремившихся искоренить в стране гугенотов (протестантов).

[63] Карл I — английский король (1625—1649), казненный по приговору революционного верховного трибунала.

[64] Генрих VII — германский император (1308—1313).

[65] Генрих IV — французский король (1589—1610), убитый монахом Равальяком за веротерпимость в отношении гугенотов.

[66] Вильгельм I Завоеватель — английский король (1066—1087), основатель Нормандской династии в Англии.

[67] Инас — король Уэссекса (VIII в.), одного из семи англосаксонских государств; в начале IX в. объединил их в одно государство — Англию.

[68] Иоанн Безземельный — английский король (1199—1216).

[69] Людовик VIII — французский король (1223—1226).

[70] Имеется в виду французский король Людовик XI (1226—1270).

[71] Генрих III — английский король (1216—1272).

[72] Речь идет о Великой хартии вольностей, которую в 1215 г. был вынужден даровать своим подданным английский король Иоанн Безземельный, затем отказавшийся ее соблюдать; его сын Генрих III был принужден подтвердить эту хартию.

[73] Генрих VII — английский король (1485—1509).

[74] Вильгельм III — английский король (1689—1702).

[75] Здесь, видимо, опечатка. Отправка эскадр произошла в 1726 г.

[76] Принц Евгений (1663—1736) — знаменитый полководец, состоявший на службе у германского императора.

[77] Таунсенд (1676—1734) — премьер-министр при Георге I.

[78] Имеется в виду Харлей (см. примеч. 21).

[79] Неточность: в действительности — дочь.

[80] Речь идет о жене Георга II (1727—1760) Каролине, завоевавшей огромную популярность в Великобритании. Вольтер посвятил ей «Генриаду» (1728) — существенно переработанный вариант произведения, которое первоначально называлось «Поэма о Лиге» (1723).

[81] Мильтон, Джон (1608—1676) — великий английский поэт, видный публицист и деятель английской революции. Первый перевод на французский язык его лучшей поэмы «Потерянный рай» был осуществлен Вольтером. Дочь Мильтона миссис Кларк, умершая в 1728 г., получила в дар от королевы годом ранее крупную сумму в 50 гиней.

[82] Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646—1716) — великий немецкий философ-идеалист и ученый-энциклопедист, полемизировавший с Кларком (выступавшим в защиту воззрений Ньютона) по вопросу о сущности пространства и времени.

[83] Людовик XV — французский король (1723—1774).

[84] Бэкон, Френсис (1561—1626) — один из основоположников новоевропейской философии. По характеристике К. Маркса, Ф. Бэкон — «настоящий родоначальник *английского материализма* и всей *современной экспериментирующей* науки» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 142).

[85] Тамерлан, правильнее Тимур (1336—1405) — знаменитый азиатский завоеватель.

[86] Яков I — английский король (1603—1625).

[87] Работа Бэкона «Новый органон» была опубликована в 1620 г.

[88] Мнение древнегреческого философа-материалиста Эмпедокла (483—423 до н. э.).

[89] Мнение древнегреческого философа-материалиста Анаксагора (500—428 до н. э.).

[90] Торичелли, Эванджелиста (1608—1647) — видный итальянский физик и математик, основоположник гидростатики.

[91] Имеется в виду работа Бэкона «Опыты и наставления нравственные и политические» (1597).

[92] Ларошфуко, Франсуа де (1613—1680) — французский писатель-моралист, считавший интерес движущей силой человеческих поступков.

[93] Монтень, Мишель де (1553—1592) — крупнейший французский философ-гуманист эпохи Возрождения, представитель материалистического свободомыслия и антиклерикализма.

[94] Бэконовская «История Генриха VII» была опубликована в 1622 г.

[95] Де Ту, Жак Огюст (1583—1617) — французский историк, написавший хронику своего времени и сравниваемый Вольтером с Титом Ливием.

[96] Имеется в виду знаменитый авантюрист Уорбек Перкин, который выдавал себя за второго сына покойного короля Эдуарда IV. Герцогиня Бургундская — сестра Эдуарда IV. В 1498 г. Перкин принял участие в восстании против Генриха VII, попал после поражения восстания в плен и был обезглавлен в 1499 г.

[97] Эпикур (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, сторонник атомизма.

[98] Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ, в учении которого наряду с доминирующей идеалистической линией имеются также подходы к материализму.

[99] Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, стоящий у истоков античного идеализма.

[100] Мнение о телесности души поддерживали раннехристианские теологи Тертулиан, Афанасий, Августин и др.

[101] Имеется в виду теолог и церковный деятель Бернар Клервосский (1091—1153).

[102] Мабильон, Жан (1632—1707) — французский бенедиктинец, проповедник и церковный историк, публикатор сочинений Бернара Клервосского.

[103] Так называли в средние века схоластиков Александра Гэльского, Дунса Скота, Фому Аквинского, Бонавентуру.

[104] Декарт, Рене (1596—1650) — французский философ и естествоиспытатель, разработавший рационалистический метод, материалистическое учение о природе («физику») и идеалистическое учение о душе и боге («метафизику»).

[105] Депрео, собственно Буало-Депрео, Никола (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма.

[106] Стиллингфлит, Эдвард (1635—1699) — английский теолог и церковный деятель, епископ Вустерский; полемизировал с Локком, в «Опыте о человеческом разуме» которого усмотрел отрицание троичности христианского бога в духе учения унитариев.

[107] Бейль, Пьер (1647—1706) — французский философ, предшественник просветителей, ниспровергавший теологию и спекулятивную «метафизику» XVII в. оружием скептицизма.

[108] Спиноза, Бенедикт (1632—1677) — голландский философ-материалист, критик религии и теологии.

[109] Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ-материалист, критик религии и теологии.

[110] Шефтсбери, Антони Эшли Купер (1671—1713) — английский политический деятель и философ-деист, развивавший концепцию секуляризованной этики.

[111] Коллинз, Энтони (1676—1729) — английский философ-деист, развивал материалистический детерминизм и материалистическое понимание души.

[112] Толанд, Джон (1670—1722) — английский философ-материалист, критик религии и теологии.

[113] Кордельеры — члены монашеского ордена; упоминаемый диспут имел место в 1581 г.

[114] Архимед (ок. 287—212) — великий древнегреческий ученый, механик и математик.

[115] Здесь и далее Вольтер противопоставляет физике Декарта, господствовавшей во Франции, положения физической теории Ньютона, утвердившейся в Англии.

[116] Фонтенель, Бернар де (1657—1757) — французский философ, представитель материалистической ветви картезианства, постоянный секретарь Французской академии.

[117] Видимо, опечатка: в момент проведения инквизицией судебного процесса против Галилея (1564—1642) в 1633 г. ему было около 70 лет.

[118] Шоотен и Ферма — голландский и французский математики XVII в.

[119] Имеется в виду книга французского ученого Рого (1620—1672) «Физический трактат» (1671), являвшаяся во Франции в течение нескольких десятилетий основным учебным пособием по физике.

[120] Кеплер, Иоганн (1571—1630) — великий немецкий астроном, открывший законы движения планет вокруг Солнца.

[121] Пикар, Жан (1620—1682) — французский ученый, преемник Гассенди на кафедре астрономии Коллеж де Франс, осуществил уточненное измерение градуса широты, что позволило внести существенные коррективы в определение размера Земли.

[122] Галлей, Эдмунд (1656—1742) — английский астроном, изучавший движение комет.

[123] Бернулли, Якоб (1654—1705) — немецкий математик.

[124] Вильстон, точнее Вистон (Whiston), Вильям (1667—1702) — предшественник Ньютона на кафедре математики. Имеется в виду его

работа «Установленная причина всемирного потопа», опубликованная в 1714 г. в виде приложения ко второму изданию его книги «Теории Земли».

[125] Сорен, Жозеф (1655—1737) — французский ученый, автор работы «Исследование важного возражения, выдвинутого Гюйгенсом против картезианской системы по вопросу о причине тяжести».

[126] Домини, Антонио де (1566—1624) — итальянский ученый, исследовавший оптические явления.

[127] Уоллис, Джон (1616—1703) — профессор математики в Оксфорде, автор работы «Арифметика бесконечного» (1655).

[128] Бранкер, Уильям (1620—1684) — английский математик, один из основателей Королевского общества.

[129] Меркатор — псевдоним немецкого математика XVII в. Кауфмана (не путать с географом Меркатором!), автора работы «Техника логарифмирования».

[130] Гарвей, Вильям (1578—1657) — английский естествоиспытатель и врач.

[131] Перро, Клод (1613—1688) — французский естествоиспытатель.

[132] Гартсукер, Никола (1656—1725) — голландский естествоиспытатель.

[133] Левенгук, Антони (1632—1723) — голландский естествоиспытатель, изобретатель микроскопа, основоположник микробиологии.

[134] Гюйгенс, Христиан (1629—1695) — голландский естествоиспытатель, создатель волновой теории света.

[135] Имеется в виду изданная в Лондоне в 1728 г. книга Ньютона «Исправленная хронология древних царств».

[136] Менес — основатель первой египетской династии.

[137] Сетон — возможно Сетос I, фараон XIX династии, отождествляемый некоторыми историками с Сезострисом.

[138] Гиппарх (160—125 до н. э.) — древнегреческий математик и астроном.

[139] Климент Александрийский (ок. 150—215) — раннехристианский теолог, один из «отцов церкви».

[140] Метон — афинский математик и астроном V в. до н. э. Пелопоннесская война началась в 431 г. до н. э.

[141] Аполлоний Родосский — древнегреческий математик III в. до н. э.

[142] Гиппократ из Хиоса (ок. 450—330 до н. э.) — древнегреческий математик.

[143] Диоклесс (IV в.) — древнегреческий математик.

[144] Никомед (III—II вв. до н. э.) — древнегреческий математик.

[145] Гарриот — английский математик XVI в.

[146] Вьетт, Франсуа (1540—1603) — крупнейший французский математик XVI в.

[147] Кавальеро, точнее Кавальери, Бонавентура (1598—1647) — итальянский математик.

[148] Роберваль, Жиль (1602—1675) — французский математик, физик, астроном.

[149] Сен-Винсент де, Грегуар — голландский математик XVII в.

[150] Клеро, Алексис-Клод (1713—1765) — французский математик.

[151] Лалубер, А. де (1600—1664) — французский математик.

[152] Арий (270—336) — священник из Александрии, выступивший с отрицанием догмата о «единосущности» Иисуса Христа богу-отцу; взгляды Ария были осуждены на Никейском соборе 325 г. как

еретические, но они находили приверженцев во все последующие века.

153 Апокалипсис, или откровение Иоанна,— новозаветное произведение, предрекающее скорый «конец света», борьбу между «воинством небесным» и «силами антихриста», завершающуюся установлением «тысячелетнего царства Христова».

154–155 Мариотт, Эдм (1620—1684) — французский физик.

156 Поклен, Жан-Батист (1622—1673), именовавший себя с начала своего литературного творчества Мольером,— великий французский драматург.

157 Полиньяк, Мельхиор (1661—1746), кардинал — французский писатель и дипломат, автор поэмы «Анти-Лукреций», опубликованной посмертно в 1747 г.

158 Мария Тюдор — английская королева (1553—1558), в правление которой развернулась феодально-католическая реакция.

159 Коперник, Николай (1473—1543) — великий польский ученый, основоположник научной астрономии, создатель гелиоцентрической системы.

160 Шекспир, Уильям (1564—1616) — великий английский драматург.

161 Корнель, Пьер (1606—1684) — великий французский драматург.

162 Лопе де Вега (1562—1635) — великий испанский драматург.

163 Имеется в виду трагедия Шекспира «Отелло».

164 Отоуэй, Томас (1651—1685) — английский драматург.

165 Гомер — легендарный древнегреческий поэт, приписываемые которому поэмы «Илиада» и «Одиссея» были записаны в VII в. до н. э.

166 Вергилий (70—19 до н. э.) — великий древнеримский поэт.

167 Драйден, Джон (1631—1730) — английский драматург и литературный критик.

168 Аддисон, Джозеф (1672—1719) — английский государственный деятель, писатель, драматург.

169 Мюро, Беа де — швейцарский протестант из Берна, опубликовавший в 1725 г. «Письма об англичанах и французах».

170 Шадуол, Томас (ум. 1692) — английский драматург.

171 Уичерли, Уильям (1640—1715) — английский драматург.

172 Ванбрук, Джон (1666—1726) — английский драматург.

173 Конгрив, Уильям (1670—1729) — английский драматург.

174 Люлли, Жан-Батист (1632—1687) — французский композитор, основоположник классической оперы во Франции.

175 Бончини — итальянский композитор XVIII в.

176 Мид, Ричард (1673—1754) — известный английский врач, автор трудов по медицине.

177 Имеется в виду отец философа Клода-Адриана Гельвеция, являвшийся врачом французской королевы в царствование Людовика XV и дававший медицинские советы Вольтеру.

178 Сильва — знаменитый французский врач XVIII в.

179 Стил, Ричард (1671—1729) — английский комедиограф и критик.

180 Сибер, Колей (1671—1757) — английский драматург, поэт, актер.

181 Плавт, Тит Макк (ок. 255—184 до н. э.) — древнеримский комедиограф.

182 Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — древнегреческий комедиограф.

183 «Эдип» (собственно «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне»), «Электра» — трагедии великого древнегреческого драматурга Софокла (497—406 до н. э.).

[184] Видимо, имеется в виду лорд Гервей (р. 1696), возвратившийся из Италии в Англию в 1729 г. Произведение, отрывок из которого приводится далее, Гервей не публиковал, и рукописи его не имеется. Возможно, эти антиклерикальные стихи об Италии сочинены самим Вольтером.

[185] Граф Рочестер, Джон Уильмот (1648—1680) — крупный английский поэт-вольнодумец.

[186] Шолье (1639—1720) — французский поэт-вольнодумец, аббат.

[187] Сарраси (1605—1654) — французский поэт-вольнодумец.

[188] Шапель (1626—1686) — французский поэт-вольнодумец, ученик Гассенди, друг Мольера и Лафонтена.

[189] Гораций Флакк, Квинт (65—8 до н. э.) — знаменитый древнеримский поэт.

[190] Ювенал, Децим Юний (60-е гг.— после 127) — крупнейший римский поэт-сатирик.

[191] Сент-Эвремон, Шарль (1613—1703) — французский философ-вольнодумец.

[192] Отрывок из X сатиры Буало.

[193] Уоллер, Эдмонд (1606—1687) — английский поэт.

[194] Вуатюр, Венсан (1588—1648) — ведущий поэт наиболее значительного французского литературного салона первой половины XVII в.— Отеля Рамбуйе.

[195] Сегре (1624—1701) — малозначительный французский поэт, принадлежавший к Отелю Рамбуйе.

[196] Кино, Филипп (1635—1688) — французский поэт и драматург, автор либретто к операм Люлли.

[197] Граф Дорсет, Томас Секвил (1536—1608) — автор первой английской трагедии.

[198] Граф Роскоммон, Уэнтворт Диллон (1633—1684) — один из придворных Карла II, перевел на английский язык «Поэтическое искусство» Горация.

[199] Первый герцог Букингемский, Джордж Вильерс (1627—1688). Второй герцог Букингемский, Джон Шеффилд — придворный королевы Анны. Оба выступали как писатели.

[200] Маркиз Галифакс, Джордж Севилл (XVII в.) — автор ряда литературных произведений.

[201] Прайор, Мэтью (1664—1721) — английский поэт.

[202] «Гудибрас» — героико-комическая поэма английского поэта Батлера (1612—1680), пронизанная вольнодумством.

[203] «Мениппова сатира» — произведение XVI в. в прозе и в стихах, направленное против католической Лиги и написанное группой авторов, примыкавших к противникам религиозных войн — «политикам».

[204] Свифт, Джонатан (1667—1745) — знаменитый английский писатель-сатирик.

[205] Поп, Александр (1688—1744) — английский поэт, просветитель-деист, приверженец философии Лейбница.

[206] «Певчие» — героико-комическая поэма Буало.

[207] Милорд Мальборо — английский вельможа, перешедший во время «славной революции» на сторону Вильгельма III.

[208] Бурдалу, Луи (1632—1704) — французский иезуит, знаменитый проповедник.

[209] Мария Стюарт — королева Шотландии, потерявшая трон в 1568 г. в результате восстания, проходившего под знаменем протестантизма. В поисках убежища обратилась к королеве Англии Елизавете, но была подвергнута последней заключению, участвовала в организации заговоров против нее, претендуя на английскую корону, и была казнена в 1587 г.

[210] Рапен де Туара, Поль (1621—1725) — французский историк.

[211] Булла Unigenitus, обнародованная папой Климентом XI в 1713 г., осуждала янсенизм, получивший значительное распространение в кругах французской буржуазии. Ставшая знаменем церковной реакции иезуитов, булла вызвала длившиеся несколько десятилетий ожесточенные споры, в которые наряду с духовенством и фанатичными приверженцами янсенистов и иезуитов оказались вовлечены также правительство, судебные палаты («парламенты») и общественное мнение Франции.

[212] Данте, Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт.

[213] «Радамист и Зиновия» (1711) — имевшая огромный успех трагедия французского драматурга Клода-Проспера Жолио де Кребильона (1674—1762).

[214] Речь идет о сыне французского драматурга Расина, которому врач Людовика XIV Фагон выхлопотал должность налогового инспектора, а затем директора.

[215] Имеется в виду Вестминстерское аббатство, в котором находится усыпальница английских королей.

[216] Мисс Олдфилд (ум. 1730) — знаменитая английская актриса.

[217] Адриана Лекуврер (ум. 1730) — знаменитая французская актриса, которой из-за ее профессии католическая церковь отказала в погребении.

[218] Принн (1600—1669) — магистр искусств в Оксфорде, фанатичный пуританин. Речь идет о его книге «Хистриомастрикс, или Бич для актеров».

[219] Теренций, Публий Афр (ок. 190—159 до н. э.) — древнеримский драматург.

[220] Сенозини — знаменитый итальянский певец XVIII в.

[221] Куззони — знаменитая итальянская певица XVIII в.

[222] Имеется в виду осуждающее отношение руководства французской церкви к театральным представлениям.

[223] Речь идет о том, что иезуиты поощряли постановку театральных пьес (тщательно отобранных и переработанных в религиозном духе) в находящихся под их началом учебных заведениях и монастырях.

[224] Видимо, намек на вольтеровскую трагедию «Заира», которая после прохождения строгой цензуры, видоизменившей ее, была в октябре 1732 г. поставлена на сцене театра в Фонтенбло, где ее смотрел Людовик XV с супругой.

[225] Имеется в виду написанное Лебреном в 1694 г. и опубликованное в 1731 г. «Рассуждение о комедии».

[226] Под английской Академией наук Вольтер имеет в виду лондонское Королевское общество, датой основания которого считается 1662 г. Во Франции Академия наук была основана в 1666 г.

[227] Жак Кёр (1395—1456) — французский негоциант-ростовщик, имя которого стало синонимом обладателя сказочного богатства; ссужал деньги королю Карлу VII для ведения Столетней войны.

[228] Делм, сэр Питер — английский негоциант (ум. 1728).
[229] Бернард, Сэмюел (1651—1739) — богатейший английский негоциант.
[230] Имеется в виду член Французской академии аббат де Ротлен, занимавший в период публикаций «Философских писем» Вольтера пост правительственного цензора.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

«Traité de métaphysique». Эмилия дю Шатле (1706—1749), с которой в 1733 г. Вольтер связал свою жизнь, сочла публикацию «Метафизического трактата» недопустимо опасной и хранила его рукопись среди своих бумаг, подлежащих сожжению после ее смерти. При исполнении воли покойной секретарю Вольтера Лоншану посчастливилось заметить эту рукопись и спасти ее из огня.

Впервые «Метафизический трактат» был опубликован в 80-е годы XVIII в. в посмертном 70-томном Собрании сочинений Вольтера. Он представляет собой первый свод взглядов Вольтера на важнейшие философские вопросы. Многие из этих взглядов воспроизводились и развивались в последующих работах Вольтера, некоторая же их часть была им затем значительно изменена вплоть до радикального пересмотра и замены.

Перевод «Метафизического трактата» и всех последующих произведений Вольтера сделан по наиболее авторитетному из завершенных изданий полного собрания его сочинений: *Voltaire.* Oeuvres complètes. Garniers frères/Edition de Louis Moland. V. 1—52. P. 1877—1882 (v. 17—22, 26—29).

---

[1] Очевидная опечатка: вместо «шестнадцать планет» надо читать «шесть планет», известных во времена написания «Метафизического трактата» (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн).
[2] Аббат Дюбо, Жан-Батист (1670—1742) — историк, секретарь Французской академии наук, опубликовал упоминаемые Вольтером «Размышления» в 1719 г.
[3] Имеются в виду в первую очередь Декарт и Лейбниц.
[4] Имеется в виду ньютоновский принцип «гипотез не создаю».
[5] Эти слова относятся прежде всего к Декарту, которого Вольтер неоднократно называл создателем «романов» о мире, о душе и т. д.
[6] Называя в числе своих оппонентов античных скептиков, Вольтер здесь полемизирует, по сути дела, в основном с субъективно-идеалистическими положениями философии Беркли.
[7] Имеются в виду и схоластики.
[8] Имеются в виду картезианцы.
[9] Второзаконие, XXIII, 13.
[10] Имеется в виду вероучение Евангелий, приписываемое Иисусу Христу.

[11] Ламот-Левайе, Франсуа (1588—1672) — французский философ-вольнодумец, учивший о независимости моральных норм от религии.

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НЬЮТОНА

«Eléments de la philosophie de Newton». Первые главы этого произведения Вольтер передал голландскому издателю Леде в 1736 г. Длительное время не получая последующих глав от Вольтера, издатель поручил написать их одному голландскому математику и в таком виде опубликовал рукопись в 1738 г. После протестов Вольтера в том же году было опубликовано другое, просмотренное и одобренное им издание «Основ философии Ньютона». В 1740 г. Вольтер опубликовал в Голландии работу под названием «Математика Ньютона». В 1741 г. он осуществил во Франции (но с указанием Лондона в качестве места публикации) полностью переработанное издание «Основ философии Ньютона», разделив книгу на три части, первой из которых стала «Метафизика». Во второй и третьей частях, посвященных ньютоновской физике, написанное голландским математиком было замещено вольтеровскими текстами. В 1748 и 1756 гг. при подготовке к печати собрания своих сочинений Вольтер исключил ряд глав из второй и третьей частей книги, добавив (1756 г.) к первой части главу «Сомнения о свободе, которую называют свободой безразличия».

В книге Вольтера, успешно способствовавшей ознакомлению европейского общества с передовой физической теорией, одновременно излагалась совокупность философских воззрений, которые знаменовали новый этап в развитии материалистической мысли во Франции и объективно подготавливали почву для ее дальнейшего мощного взлета.

В настоящем издании публикуется перевод первой части и введения ко второй части «Основ философии Ньютона». Именно в них сконцентрировано философское содержание этой работы Вольтера.

---

[1] В 60-е годы (статья «Пространство» в «Философском словаре») Вольтер решительно отмежевался от ньютоново-кларковой трактовки пространства как «чувствилища бога».

[2] Это существенное изменение в вольтеровском понимании воли по сравнению с «Метафизическим трактатом»: мысль Вольтера движется в сторону материалистического детерминизма, признаваемого универсально значимым.

НЕСВЕДУЩИЙ ФИЛОСОФ

«Le philosophe ignorant». Работа была опубликована в 1766 г. в нескольких сборниках произведений Вольтера. В 1767 г. она под заглавием «Вопросы ничего не знающего человека» появилась в IV томе вольтеровских «Новых разных произведений».

В «Несведущем философе», означавшем возвращение Вольтера — после четвертьвекового перерыва — к жанру философского трактата наиболее детально и рельефно выражена скептическая форма вольтеровского философствования во всей ее многозначности и вместе с тем в той заостренности против последовательно материалистического миропонимания, какую она приняла со второй половины 60-х годов в условиях мощного развертывания воинствующего атеистического материализма Гольбаха и Дидро. Проведение общепросветительского тезиса о свойственном людям существенном «незнании» с целью разрушения теологической догматики и утверждения ряда материалистических воззрений на природу и человека сочеталось в этом и последующих философских трактатах Вольтера с возрастанием характерной для деистов абсолютизации актуальной ограниченности естественнонаучного исследования и эмпирико-сенсуалистической методологии, создающей принципиальные препятствия для широких философских обобщений. При этом девальвация последних закономерно распространялась и на «метафизику» вольтеровского деизма, свидетельствуя о растущем разочаровании самого Вольтера и убедительности его собственных теоретических «доказательств» бытия бога.

Несостоятельность антиматериалистического истолкования актуальной ограниченности человеческих знаний была аргументированно показана в «Системе природы» (1770) Гольбаха.

---

[1] «Зрелище природы» (1732) — пользовавшаяся широкой известностью книга теолога Ноэля Антуана Плюша (1688—1761). Приор и шевалье — персонажи, ведущие между собой беседу на страницах этой книги.

[2] Имеется в виду Декарт.

[3] Бытие, IX, 5.

[4] Леопольд I — германский император (1658—1705).

[5] Вольтер говорит об изменении своего понимания проблемы свободы и необходимости по сравнению с «Метафизическим трактатом».

[6] Евангелие от Луки, XVI. 26.

[7] Имеется в виду статья «Спиноза» в «Историческом и критическом словаре» Бейля.

[8] Альберт Великий (род. между 1193—1207, ум. 1280) — немецкий теолог, философ и естествоиспытатель.

[9] Абелли (1603—1691) — французский теолог, автор книги «Существо теологии».

[10] Имеется в виду Лейбниц, учивший, что люди живут в лучшем из возможных миров.

[11] Имеется в виду Лейбниц с его учением о монадах.
[12] Кэдворт, Ралф (1617—1688) — английский философ-идеалист, главный представитель группы кембриджских платоников, автор книги «Истинная интеллектуальная система вселенной».
[13] Имеются в виду древние иудеи.
[14] Имеется в виду учение английского философа Томаса Гоббса (1588—1679), что люди по природе своей злы и в «естественном состоянии» для них характерна «война всех против всех».
[15] Ламберт — французский иезуит, автор «Собрания любопытных наблюдений о нравах, обычаях, искусствах и науках у различных народов Азии, Африки и Америки» (1749).
[16] Шарден, Жан (1643—1713) — французский путешественник, побывавший в Индии, Иране, Закавказье, Крыму и других странах, автор книги «Путешествие в Персию» (1686).
[17] Пифагор (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий философ.
[18] Залевк (VII в. до н. э.) — законодатель греческой колонии Локры в Южной Италии.
[19] Гесиод (VIII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор «Теогонии».
[20] Диоген Лаэртский (1-я половина III в.) — греческий писатель, автор важнейшего сводного труда по истории античной философии «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов».
[21] Арно, Антуан (1612—1694) — французский философ и теолог-янсенист.
[22] Эпиктет (ок. 50—138) — римский философ-стоик.
[23] Антоний Пий — римский император (138—161).
[24] Юлиан Отступник — римский император (361—363), отвергший христианство и пытавшийся восстановить язычество в качестве официальной религии.
[25] «Блистательные прегрешения» — выражение крупнейшего из «отцов церкви» Аврелия Августина (354—430).
[26] Имеется в виду знаменитый спор в средневековой схоластике относительно того, существуют ли общие понятия реально или же только номинально.
[27] Дунс Скот Иоанн (1265/66—1308) — виднейший средневековый схоласт, критик Фомы Аквинского.
[28] Фома Аквинский (1225—1274) — крупнейший средневековый теолог, основатель томизма как ведущего философского течения в католицизме.
[29] Эколампадий — псевдоним немецкого реформатора начала XVI в. Гейсгена, безуспешно пытавшегося примирить учения Лютера и Цвингли.
[30] Меланхтон (Шварцерд), Филипп (1497—1560) — немецкий протестантский богослов, сподвижник Лютера.
[31] Имеется в виду Янсениус, основатель янсенизма.
[32] Имеется в виду испанский теолог Луис Молина (1535—1601), оспаривавший учение Фомы Аквинского о благодати и предопределении. Его последователи — молинисты — были постоянными оппонентами янсенистов.
[33] Имеется в виду Жан-Жозеф Мур (1682—1738) — «сюринтенданте музыки» герцогини Мэнской.
[34] Фукидид (ок. 460—395 до н. э.)— древнегреческий историк.
[35] Ксенофонт (ок. 430—335 до н. э.) — древнегреческий историк.
[36] Апедевт — вводимый Вольтером персонаж, имя которого означает по-гречески «невежда».

[87] Тацит, Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — крупнейший древнеримский историк.
[88] Карл Великий — франкский король (768—814) и император (с 800 г.).
[89] Гольдаст из Хайминсфельда (1576—1635) — немецкий историк, автор «Собрания имперских конституций» (1613).
[40] Нерон — римский император (54—68).

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ, ПРОЧИТАННЫЕ В ПРИВАТНОМ СОБРАНИИ В ЛОНДОНЕ В 1765 ГОДУ

«Homélies, prononcés à Londres en 1765, dans une asseblée privée». Эта работа, опубликованная в 1767 г., состоит из четырех частей («проповедей»): об атеизме, о суеверии, о понимании Ветхого завета, о понимании Нового завета. Критика атеизма и обоснование деизма сочетаются у Вольтера с решительной критикой реально существовавших религий и церквей, в первую очередь иудаизма и христианства.

В настоящем издании публикуются первые две части «Назидательных проповедей».

---

[1] Критике Вольтером английских приверженцев оптимизма как составной части теодицеи предшествовало его решительное выступление против Лейбница по этим вопросам в «Поэме о гибели Лиссабона» (1755) и в философском романе «Кандид» (1759).
[2] Имеется в виду античный философ Посидоний (ок. 135—51 до н. э.).
[3] Второзаконие, XXVIII, 15—30.
[4] Имеется в виду судебный процесс против маршала Марийяка, организованный по приказу кардинала Ришелье — всесильного первого министра (1624—1642) французского короля Людовика XIII (1610—1643).
[5] Имеется в виду Давид — царь Израильско-Иудейского государства (конец XI в.— ок. 950 до н. э.).
[6] Амвросий — христианский теолог и церковный иерарх (миланский епископ) IV в.
[7] Нума Помпилий — легендарный древнеримский царь, преемник Ромула (конец VIII — начало VII в. до н. э.).
[8] Филон Александрийский (ок. 30 до н. э.— 40 н. э.) — еврейский религиозный философ, оказавший значительное влияние на формирование христианского вероучения.
[9] Иосиф Флавий (ок. 37—102) — еврейский историк.
[10] Апион Александрийский — египетский историк I в. н. э.
[11] Зороастр — легендарный основатель религии (зороастризма), возникшей в древнем Иране в VII—VI вв. до н. э.
[12] Конфуций (Кун-фу-цзы) (551—479)—древнекитайский мыслитель, создатель этическо-политического учения (конфуцианства), превратившегося на рубеже н. э. в религию.
[13] Фаларис (VII в. до н. э.)— жестокий тиран г. Агригента, сжигавший своих противников в железных быках.

[14] Бузирис — легендарный древнеегипетский царь, убивавший всех попадавших в его страну чужеземцев и приносивший их в жертву богам.

[15] Эпикур из Самоса (ок. 341 — ок. 270) — древнегреческий философ-материалист, сторонник атомизма, который был «подлинным радикальным просветителем древности, он открыто нападал на античную религию, и от него ведет свое начало атеизм римлян..» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 127). Эпикур явился основателем широкого течения античного и последующего атеистического свободомыслия.

[16] Аттик, Помпоний Тит (109—33 до н. э.) — древнеримский мыслитель, близкий к эпикуреизму.

[17] Цицерон, Марк Туллий (106—43 до н. э.) — выдающийся древнеримский оратор, политический деятель, писатель, философ.

[18] Барро, Жак Валле де (1602—1673) — французский поэт, атеист, служил в судебном ведомстве.

[19] Ламетри, Жюльен Юфре де (1709—1751) — великий французский философ-материалист и атеист. Преследуемый за свои произведения, Ламетри с 1748 г. жил в безопасности при дворе прусского короля Фридриха II (1740—1786), старавшегося прослыть «просвещенным государем» и охотно предоставлявшего убежище гонимым французским мыслителям.

[20] Борджа, Чезаре — герцог Романьи (ок. 1476—1503), сын папы Александра VI Борджа (1492—1503).

[21] Тит — римский император (79—81).

О ФЕНОМЕНАХ ПРИРОДЫ

«De singularitées de la nature». Первые издания этого произведения датированы 1768 г., но достоверные упоминания о его появлении относятся к началу 1769 г. Оно наиболее полно выражает вольтеровские представления о природе (существенно расширившиеся по сравнению с 30-ми годами) в их связи с его философскими воззрениями. Производя обзор тех новейших данных естествознания, которые находились в центре внимания философской рефлексии 40—60-х годов, и обращая внимание на их значение в деле дальнейшего подрыва доверия к религиозным мифам и теологическим догматам. Вольтер вместе с тем решительно оспаривал правомерность их философского обобщения в духе последовательно материалистического понимания природы. Хотя в естественнонаучном обосновании этого миропонимания Вольтер вскрывает ряд уязвимых для критики пунктов, в целом он проигрывает борьбу с ним и на этой почве. Как несостоятельные попытки отрицать факты, свидетельствующие об изменении природы во времени, так и частичное признание Вольтером истинности трансформизма свидетельствовали, по сути дела, о разрушении механистическо-фиксистского базиса вольтеровского деизма.

[1] Линней, Карл (1707—1778) — великий шведский естествоиспытатель, создатель первой научной классификации растений и животных.
[2] Бернет, Томас (1635—1715) — английский теолог.
[3] Вудворт, Джон (1665—1728) — английский естествоиспытатель.
[4] Уистон, Уильям (1667—1752) — английский естествоиспытатель, автор «Новой теории Земли» (1696).
[5] Фай — директор ботанического сада и кабинета естественной истории короля в Париже.
[6] Эти стихи принадлежат Вольтеру и представляют собой отрывок из его «Рассуждения о человеке» (1737).
[7] В биологической систематике XVIII в. класс насекомых определялся значительно шире, чем в настоящее время.
[8] Вокансон, Жак (1709—1782) — французский механик, прославившийся созданием механических устройств, имитирующих движения различных животных и человека.
[9] Приор Жонваль и граф — персонажи, ведущие беседу в «Театре природы» аббата Плюша.
[10] Речь идет о составленной богословами в VIII в. подложной грамоте, по которой римский император Константин в IV в. якобы предоставил папе Сильвестру I и его преемникам власть над Римом, Италией и западными провинциями империи и признал превосходство папы над светскими властителями.
[11] Соломон — царь Израильско-Иудейского царства (965—928 до н. э.), изображаемый в Библии великим мудрецом, автором «Притчей Соломоновых», «Екклезиаста», и «Песни песней».
[12] Имеются в виду аммониты.
[13] Имеется в виду 36-томный труд Бюффона «Естественная история, общая и частная, вместе с описанием кабинета короля» (1749—1788).
[14] Масильон — знаменитый французский проповедник XVIII в.
[15] Фенелон, Франсуа (1651—1715) — прогрессивный французский мыслитель, автор знаменитого философско-педагогического романа «Приключения Телемаха» (1699).
[16] «Ученые женщины» (1672) — комедия Ж. Б. Мольера.
[17] Имеется в виду высказывание самого Вольтера.
[18] Ле Руайе д'Артезер де ля Соважер, Феликс-Франсуа (1707—1781) — автор нескольких работ о естественной истории и о древностях. Вольтер переписывался с ним и послал ему экземпляр своего сочинения «Об удивительных явлениях природы».
[19] Овидий, Публий Назон (43 до н. э.— 17 н. э.) — древнеримский поэт, автор поэмы «Метаморфозы», излагающей мифологические представления.
[20] Имеется в виду Бюффон.
[21] Палисси, Бернар (1510—1589?) — французский естествоиспытатель.
[22] Реомюр, Рене Антуан (1683—1757) — французский естествоиспытатель.
[23] Имеется в виду Бюффон.
[24] Сваммердам, Ян (1637—1685) — голландский естествоиспытатель.
[25] Фалес (из Милета) (ок. 624—547 до н. э.) — первый древнегреческий философ, основатель стихийно-материалистической милетской школы.

[26] Афиней (III в.) — греческий писатель.
[27] Плутарх из Херонеи (ок. 45—ок. 127) — греческий писатель и философ-моралист.
[28] Автором книги «Физическая Венера» является Мопертюи.
[29] Нидгем, Джон Табервилл (1713—1781), иезуит — английский естествоиспытатель, делавший из своих исследований вывод о возникновении микроорганизмов из смесей различных органических веществ и воды.
[30] Имеется в виду перевод на французский язык (1768) поэмы великого античного материалиста Лукреция «О природе вещей» Ларанжем.
[31] Спалланцани, Лазар (1729—1799), аббат — итальянский естествоиспытатель, делавший из своих микробиологических исследований вывод о невозможности «самопроизвольного зарождения» простейших организмов и резко критиковавший эксперименты Нидгема за их некорректную постановку.
[32] Кассини, Джованни Доменико (1625—1712) — итальянский астроном, работавший в течение ряда лет во Франции, основатель Парижской обсерватории.
[33] Имеется в виду Фонтенель.
[34] Имеется в виду Сорбонна — богословский факультет Парижского университета.
[35] Бойль, Роберт (1627—1691) — английский физик и химик.
[36] Бургаве, Герман (1668—1738) — голландский врач и естествоиспытатель.
[37] Борелли, Джиованни Альфонсо (1608—1679) — итальянский ученый.
[38] Юллоа, Антуан де (1716—1795) — французский ученый, участник экспедиции, проводившей измерение дуги меридиана.
[39] Траян Ульпий — римский император (98—117).
[40] Автором «Опыта о нравах и духе народов» является сам Вольтер.
[41] Имеются в виду слова, приписываемые французскому королю Людовику XV: «Пусть мой преемник выпутывается как знает».

ПИСЬМА МЕММИЯ К ЦИЦЕРОНУ

«Lettres de Memmius à Cicéron». Эта работа была опубликована в 1771 г. в XVI томе Собрания сочинений Вольтера. В 1772 г. она была напечатана в IX томе вольтеровских «Вопросов, относящихся к „Энциклопедии"». Это был первый развернутый полемический отклик Вольтера на гольбаховскую «Систему природы» (1770), в которой наряду со всесторонней детальной разработкой положений французского материализма XVIII в. содержалась радикальная критика религии, выявлялась несостоятельность всех, в том числе деистических, доказательств бытия бога.

Печатается с сокращениями (опущены фрагменты характеризующие иудаизм и его воздействие на древнееврейский народ).

[1] «Русский адмирал Шереметьев», якобы нашедший рукопись «Об удивительных явлениях природы» в Ватиканской библиотеке и переведший ее с латыни на русский язык,— лицо вымышленное.
[2] Подразумевается «Сумма теологии» Фомы Аквинского (являющегося также автором «Суммы против язычников»).
[3] Катон, Марк Порций (95—46 до н. э.) — древнеримский политический деятель, непреклонный республиканец и противник Цезаря, покончивший с собой после поражения республиканских войск в битве при Тапсе.
[4] Брут, Марк Юний (85—42 до н. э.) — древнеримский политический деятель, республиканец, один из убийц Цезаря.
[5] Клеопатра — царица Египта (51—30 до н. э.).
[6] «Ограниченным умом» Вольтера назвал Дидро.
[7] Стратон из Лампсака (340 — ок. 270) — древнегреческий философ-материалист и естествоиспытатель, учивший, что «все существующее произведено природой», а не богами.
[8] Архит (V в.) — древнегреческий философ-пифагореец.
[9] Имеется в виду Бюффон.
[10] Катилина, Луций Сергий (108—62 до н. э.) — древнеримский политический деятель, строивший заговоры против республики.
[11] В этом абзаце Вольтер в форме предвидения Меммием возможных перемен в религиозной жизни Римской империи излагает суть своего понимания происхождения христианства, его распространения и его влияния на жизнь народов Европы.

НАДО СДЕЛАТЬ ВЫБОР, ИЛИ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

«Il faut prendre un parti ou le principe d'action». Работа опубликована в 1772 г. В ней Вольтер предпринял попытку усилить — в полемике с «Системой природы» Гольбаха — деистическую аргументацию, но устранение им некоторых прежних слабостей в трактовке бога и природы сопровождалось разрушением целого ряда теоретических принципов вольтеровского деизма.

---

[1] Имеется в виду война между Россией и Турцией, начавшаяся в 1768 г. и закончившаяся в 1774 г. подписанием мирного договора в Кучук-Кайнарджи.
[2] В 1771 г. в результате конфликта королевской власти с «парламентами» (судебными палатами) последние были распущены и на их месте созданы новые, получившие название «парламентов Мопу» — по имени их инициатора и главы Рене Николя Мопу (1714—1792), занимавшего в 1768—1774 гг. также пост канцлера. Как старые, так и новые парламенты были враждебны просветительскому движению и вызывали большое общественное недовольство своим консерватизмом.
[3] Имеется в виду английский король Карл I, казненный после победы буржуазной революции.
[4] Имеется в виду изобретатель пороха немецкий монах Шварц.

[5] Имеются в виду католические священники.
[6] Александр VI Борджа — римский папа (1492—1503), правление которого отличалось крайней жестокостью.
[7] Юлий II — римский папа (1503—1513), политика которого принесла много бедствий Италии.
[8] Тиберий — римский император (14—37).
[9] Калигула — римский император (37—41).
[10] Клавдий — римский император (41—54).
[11] Константин — римский император (306—337), при котором христианство стало официально дозволенной религией (311 г.).
[12] Тотт, Франсуа де (1733—1793) — французский офицер и коммерсант.
[13] Гроций, Гуго (1583—1645) — голландский политический деятель, основоположник новоевропейской теории международного права, автор сочинений по вопросам религии и церкви.
[14] «Золотая легенда» — произведение итальянского религиозного писателя, архиепископа генуэзского Якова из Ворагин (ок. 1230—1298).
[15] Имеются в виду «чудеса», якобы совершавшиеся в начале 60-х годов XVIII в. на могиле дьякона Париса, прослывшего праведником и похороненного на парижском кладбище Сен-Медар, которое вследствие массового наплыва паломников было закрыто властями.
[16] Екатерина II — русская императрица (1762—1796).
[17] Гарасс, Франсуа (1585—1631) — реакционный писатель, один из издателей иезуитского «Журнала Треву».
[18] Гиньяр, Жан (ум. 1595) — французский иезуит, активный деятель католической Лиги, призывавший к убийству королей Генриха III и Генриха IV, за что был казнен.
[19] Малагрида — иезуит, совершивший в 1758 г. вместе с сообщниками покушение на португальского короля Жозе I, при котором под руководством маркиза Помбаля проводились прогрессивные реформы.
[20] Патуйе, Луи (1699—1779) — французский иезуит, злобный обличитель просветителей, особенно ожесточенно нападавший на Вольтера.
[21] Нонотт, Клод-Франсуа (1711—1793) — французский иезуит, проповедник и писатель, автор пасквильных работ, направленных против Вольтера.
[22] Полиан, Анри (1722—1801) — французский иезуит, автор «Философско-богословского словаря» (1770), составленного с целью опровержения «Философского словаря» Вольтера.
[23] «Церковная газета» — французское клерикальное периодическое издание, основанное в 1670 г.

О ДУШЕ

«De l'âme». Написание и публикация этой работы датируется предположительно 1774 г. В вольтеровских «Новых разных произведениях» она появилась в 1776 г. в XVIII томе. Здесь с наибольшей полнотой изложено понимание Вольтером вопроса о том, что представляет собой психика в ее отношении к материи.

[1] Имеется в виду Плиний Старший, Гай Секунд (23—79) — древнеримский ученый, работа которого «Естественная история» явилась сводом знаний античности о природе.
[2] Имеются в виду английские индологи Холуэл и Доу.
[3] Енох — мифический библейский праведник, взятый живым на небо богом.
[4] Имеется в виду учение французского философа Н. Мальбранша (1638—1715), представляющее собой разновидность идеалистического пантеизма.
[5] Излагаемые Вольтером воззрения принадлежат не Анаксагору, а древнегреческому философу Ксенофану из Колофона (около 570 — после 478 до н. э.).

ДИАЛОГИ ЭВГЕМЕРА

«Dialogues d'Evhémère». Это последнее обобщающее философское сочинение Вольтера было опубликовано в 1777 г. В нем трактовка Вольтером важнейших мировоззренческих проблем развивается в полемике одновременно с выразителями идеалистической линии в философии от Платона до Лейбница и с представителями последовательно материалистической философии от Демокрита, Эпикура и Лукреция до Гольбаха и Дидро.

Евгемер, которому Вольтер отвел роль выразителя своих воззрений, был древнегреческим философом IV в. до н. э. В сочинении «Священная запись», дошедшем до нас в кратком изложении Диодора Сицилийского и относящемся к жанру философского романа-утопии, Евгемер рассматривал религию как возникшую из почитания и обожествления древнейших царей, облагодетельствовавших подчиненные им народы. Эта концепция о естественном происхождении веры в богов, сыгравшая значительную роль в истории свободомыслия и имевшая немало сторонников, получила название евгемеризма. В античности Евгемера, примыкавшего к сократической философской школе киренаиков, считали одним из крупнейших атеистов. Поэтому рисуемый Вольтером образ Евгемера как философа-деиста, убежденного противника атеистов, исторически неадекватен.

Другой собеседник рассматриваемого диалога — Калликрат имеет прототипом афинянина, упоминаемого под этим именем Корнелием Непотом в «Жизни Диона». Образ Калликрата как эпикурейца, переходящего на позиции деизма, также лишен исторической достоверности.

---

[1] «Система природы» — главный философский труд Гольбаха, итоговое произведение французского материализма XVIII в.
[2] Под Диагором как автором «Системы природы» имеется в виду Гольбах.

[3] Под сирийской богиней здесь имеется в виду дева Мария, мать Иисуса Христа; под ее жрецами подразумеваются христианские священники.
[4] Имеются в виду Коперник и Галилей.
[5] Анаграмма имени Коперника.
[6] Анаграмма имени Галилея.
[7] Имеется в виду папа Урбан VIII и инквизиция.
[8] Эта республика — Венеция.
[9] Башня св. Марка.
[10] Имеется в виду Англия.
[11] Имеется в виду кальвинистская Швейцария.
[12] Анаграмма имени Декарта.
[13] Имеется в виду французский баснописец XVII в. Лафонтен, отрывок из басни которого Вольтер дает в своем вольном переложении.
[14] Имеется в виду Мальбранш.
[15] Имеется в виду учение Лейбница.
[16] Подразумевается Англия.
[17] Имеется в виду Ньютон.
[18] Имеется в виду книга Лассэ (1652—1738) «О различных вещах», первое издание которой вышло в 1727 г.
[19] Анаграмма имени Гарвея.
[20] Имеется в виду Левенгук.
[21] Имеется в виду Голландия.
[22] Имеется в виду Нидгем.
[23] Имеются в виду воззрения Мопертюи в его книге «Физическая Венера».
[24] Имеется в виду Бюффон.
[25] Имеется в виду Лейбниц.
[26] Имеется в виду Бюффон.
[27] Имеется в виду Бернар де Палисси.
[28] Имеется в виду де Майе как автор книги «Теллиамед».
[29] Имеется в виду Бюффон.
[30] Имеются в виду англичане.
[31] Имеется в виду изобретение очков.
[32] Имеется в виду изобретение телескопа.
[33] Имеется в виду изобретение книгопечатания.
[34] Имеется в виду изданная под руководством Дидро «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел».
[35] Имеется в виду Паскаль.
[36] Имеется в виду Кондильяк как автор «Трактата об ощущениях».
[37] Имеется в виду Бюффон.
[38] Имеется в виду Мопертюи.
[39] Имеется в виду Руссо как автор педагогического романа «Эмиль».
[40] Имеется в виду высоко ценившееся Вольтером «Исповедание веры савойского викария» — антиклерикальное и деистическое кредо Руссо, включенное в роман «Эмиль».
[41] Тимофей — имя флейтиста Александра Македонского.
[42] Имеется в виду антипросветительский журнал «Литературный год», в котором помещались пасквили Фрерона-отца, а после его смерти в 1777 г.— сына.

СТАТЬИ ИЗ «ФИЛОСОФСКОГО СЛОВАРЯ»

«Dictionnaire philosophique». «Карманный философский словарь» был анонимно опубликован в 1764 г. в Женеве (из конспиративных соображений в качестве места издания на титульном листе был указан Лондон) в составе 73 статей. В 1765 г. этот словарь издавался дважды. В издании 1767 г. в словарь были включены еще 34 статьи, и в последующих прижизненных изданиях он постоянно расширялся. В первом Полном собрании произведений Вольтера, изданном после его смерти (г. Кель, 1784—1787) в 70 томах, «Философский словарь» занял 8 томов, в которые были включены статьи, предназначавшиеся для «Энциклопедии» и печатавшиеся в ряде сборников 60—70-х годов.

«Философский словарь» — один из самых значительных и действенных выражений воинствующего просветительства — имел огромный успех, широко распространяясь не только во Франции, но и во многих других европейских странах до России включительно. Аббат Шодон, стремившийся своим «Антифилософским словарем» (1767) создать противоядие вольтеровскому произведению, с ненавистью писал о последнем: «Из всех сочинений, которые извергла на свет ярость безбожия, нет ни одного, отмеченного более мрачными чертами, чем „Философский словарь"... Его все читают, все его цитируют — военные, магистраты, женщины, аббаты; это чаша, из которой все состояния и все возрасты отравляются ядом безбожия...» (*Chaudon.* Dictionnaire Anti-Philosophique. P., 1767. P. V). Вызвав массу безуспешных опровержений со стороны теологов, «Философский словарь» вместе с тем подвергся юридическому осуждению со стороны властей. Его приговорили к сожжению суды Женевы и Парижа, папской курией он был включен в «Индекс запрещенных книг». Обвинительное заключение французского королевского прокурора Жоли де Флери указывало на связь антирелигиозного содержания «Философского словаря» с подрывом доверия ко всем властям, освящаемым религией: «Таинства, догматы, мораль, дисциплина, культ, истины религии, авторитет божественной и человеческой власти — все это становится мишенью богохульствующего пера этого автора...» (Цит. по: *Hervier M.* Les ecrivains français jugés par leurs contemporains. P. 1831. T. II. P. 122). Хотя все сведущие люди не сомневались в том, что «Философский словарь» написан Вольтером, формальных улик против него не было, и он упорно отрицал свое авторство, прося своих друзей помогать ему в этом.

В России отдельные статьи из «Философского словаря» переводились и издавались с конца XVIII в.

Большая подборка статей из «Философского словаря», содержащих критику религий и церквей, имеется в книге: *Вольтер.* Бог и люди. Статьи, памфлеты, письма в двух томах. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Во втором томе этой книги помещены со значительными сокращениями, в частности (в переводе Л. Ю. Виндт), статьи «Атеист», «Бог, боги», «Теизм, теист», «Философ», «Философия». В настоящем издании названные статьи публикуются полностью и в переводе С. Я. Шейнман-Топштейн.

---

[1] Моисей — библейский персонаж, изображаемый пророком бога Яхве, основателем религии и законодательства древнееврейского народа.

[2] Клодий — Публий, Клодий Пульхр (92—52 до н. э.) — древнеримский политический деятель.

[3] Имеется в виду Никомед III (91—74 до н. э.), царь Вифинии, который был союзником римлян.

[4] Веррес, Гай — правитель (пропретор) Сицилии в 73—71 гг. до н. э., который по иску сицилийцев был благодаря усилиям Цицерона приговорен судом в Риме к выплате огромного штрафа за свои злоупотребления.

[5] «О трех обманщиках» — анонимный атеистический трактат на латинском языке, изданный в Германии в 1753 г. и проводящий взгляд на Моисея, Иисуса и Мухаммеда как на великих обманщиков (в роли основателей иудаизма, христианства и ислама).

[6] Анаксагор из Клазомен (ок. 500—428 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.

[7] Дасье, Анна (1654—1720) — французская специалистка в области древних языков, принимала участие в издании греческих классиков во Франции.

[8] Алкивиад (451—404 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец.

[9] Л'Опиталь, Мишель (1507—1573) — французский государственный деятель, занимавший в период религиозных войн пост канцлера и пытавшийся примирить католиков с гугенотами.

[10] Ванини, Джулио Чезаре (1584—1619), аббат — свободомыслящий итальянец, резко критиковавший католическую церковь и ряд важнейших религиозных представлений. Обвиненный в атеизме, был сожжен на костре по приговору Тулузского суда («парламента») под председательством Граммона.

[11] Аверроэс — латинизированное имя средневекового арабского философа и ученого Мохаммеда Ибн-Рушда (1126—1198), развивавшего материалистическую версию аристотелизма, которая под именем аверроизма оказала значительное влияние на западноевропейскую мысль.

[12] Мерсенн, Марен (1588—1648) — французский теолог-францисканец и естествоиспытатель.

[13] Николь, Пьер (1625—1695) — французский теолог-янсенист, моралист и логик.

[14] Епископ Гиппонский — это Аврелий Августин.
[15] Уорбуртон, Уильям (1698—1779), епископ Глостерский — английский теолог.
[16] Окелл Лукан (V в. до н. э.) — древнегреческий философ-пифагореец, учивший о вечности мира (в работе «О природе всего»).
[17] Гераклит из Эфеса (ок. 544 — ок. 483 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.
[18] Левкипп (ок. 500—440 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, родоначальник атомистики.
[19] Зенон из Элеи (490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, один из крупнейших представителей Элейской школы.
[20] Анаксимандр из Милета (ок. 610—546 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.
[21] Евклид (ок. 323—283 до н. э.) — великий древнегреческий математик, систематизатор античной геометрии, автор «Начал».
[22] Боссюэ, Жак-Бенинь (1627—1704), епископ Мо — французский католический теолог.
[23] Клод, Ивон (1714—1791) — французский католический теолог.
[24] Ле Телье, Мишель (1643—1719) — глава («провинциал») иезуитов Франции, теолог, духовник Людовика XIV, инициатор преследования гугенотов и янсенистов.
[25] Григорий VII (Гильдебранд) — папа римский (1073—1085), вел ожесточенную борьбу за верховенство папы над государями Европы.
[26] Булла In Coena Domini (1362) папы римского Урбана V (1362—1370) предавала анафеме еретиков и всех некатоликов.
[27] Логомах — вымышленный (как и Дондиндах) персонаж, имя которого на греческом языке означает «борец против разума», «разумоборец».
[28] Святая Германдада — наименование испанской инквизиции.
[29] Ламот Левайе, Франсуа (1588—1672) — французский философ, известный вольнодумец.
[30] Григорий XIII — римский папа (1572—1585), провел в 1573 г. реформу юлианского календаря.
[31] Лилио, Алоиз (ум. 1576) — итальянский ученый и философ, подготовивший реформу юлианского календаря.
[32] Коже, Франсуа-Мари (1723—1780), аббат — ректор Парижского университета, выступал против просветителей.
[33] Лаланд, Жозеф (1732—1807) — французский астроном, математик, философ-материалист.
[34] Речь идет об изданной под руководством Дидро просветительской «Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел».
[35] Д'Аламбер, Жак Лерон (1717—1783) — французский математик, философ-просветитель, соредактор «Энциклопедии» в первые восемь лет ее издания.
[36] Дюмарсе, Сезар-Шено (1676—1756) — французский философ-материалист, атеист.
[37] Имеется в виду Аристотель, который в юношеские годы Александра Македонского был его наставником.
[38] Сен-Пьер, Шарль (1658—1743), аббат — французский писатель, прогрессивный политический мыслитель, автор «Проекта вечного мира» (1713).

[39] Здесь Вольтер рисует образ Иисуса, внося деистические коррективы в поучения, приписываемые этому легендарному основателю христианства.

[40] Ориген (ок. 185—253/254) — раннехристианский теолог и философ, отдельные воззрения которого были объявлены церковью еретическими.

[41] «Венец святых» — произведение испанского иезуита Педро Рибаданейра (1527—1611), содержащее фантастические повествования о жизни и подвигах католических «святых».

[42] Аристарх Самосский (ок. 320 — ок. 250 до н. э.) — древнегреческий астроном.

[43] Брадлей, Джемс (1692—1763) — английский астроном.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Н. Кузнецов
ФИЛОСОФСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВОЛЬТЕРА И СОВРЕМЕННОСТЬ 5
ФИЛОСОФСКИЕ ПИСЬМА 70
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ 227
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НЬЮТОНА 275
Часть I — Метафизика 275
Часть II — Физика Ньютона 313
НЕСВЕДУЩИЙ ФИЛОСОФ 321
НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ, ПРОЧИТАННЫЕ В ПРИВАТНОМ СОБРАНИИ В ЛОНДОНЕ В 1765 ГОДУ 374
О ФЕНОМЕНАХ ПРИРОДЫ 401
ПИСЬМА МЕММИЯ К ЦИЦЕРОНУ 472
НАДО СДЕЛАТЬ ВЫБОР, ИЛИ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 501
О ДУШЕ 539
ДИАЛОГИ ЭВГЕМЕРА 554
ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ 620
Атеист 620
Атеизм 629
Бог, боги 646
Материя 676
Метафизика 681
Философия 682
Религия 689
Система 709
Теология 713
Теолог 715
ПРИЛОЖЕНИЕ 717
За и против (Послание к Урании) 717
Поэма о гибели Лиссабона или проверка аксиомы: «Все благо» 719
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ 724

ВОЛЬТЕР

Философские сочинения

Утверждено к печати
Институтом философии АН СССР

Редактор издательства Л. В. Пеняева
Художник Ю. А. Марков
Художественный редактор М. Л. Храмцов
Технический редактор Н. Н. Плохова
Корректоры Ф. Г. Сурова, Н. А. Несмеева

ИБ 36323

Сдано в набор 29.10.87
Подписано к печати 17.06.88
Формат 84×108$^{1}/_{32}$
Бумага кн.-журнальная
Гарнитура литературная
Печать высокая
Усл. печ. л. 39,48. Усл. кр. отт. 39,48. Уч.-изд. л. 41,1
Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 979
Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6